



**Рауль  
Мир-Хайдаров**

---

Том первый



# Рауль Мир-Хайдаров

Том первый

---

Горький  
напиток счастья

Казань  
Kazan-Kazanь  
2011

УДК 82  
ББК 84-4  
М-63

**Мир-Хайдаров, Р. М.**

Том первый. Горький напиток счастья.

М-63 Собрание сочинений. В 6 т. Том I. Горький напиток счастья/  
Рауль Мир-Хайдаров.— Казань: Kazan-Казань, 2011.— 504 с.

ISBN 978-5-85903-071-2 (1)

ISBN 978-5-85903-070-5

«Пешие прогулки» — остросюжетный социально-политический роман с детективной интригой, написанный на огромном фактическом материале. Бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Гайданов в недавно вышедшей вторым изданием мемуарной книге «На должности Керенского, в кабинете Сталина», стр. 431 сказал о Мир-Хайдарове и его романах: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного в работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ...криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать». В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в верхних эшелонах власти, сращивание криминала со всеми ветвями власти...» Не зря американская газета «Филадельфия инкуайер» назвала Рауля Мир-Хайдарова «исследователем мафии», а специалисты из спецслужб называют его крупнейшим аналитиком, заглянувшим на десятилетия вперед, предвидевшим исламский фактор и терроризм XXI века».

ISBN 978-5-85903-071-2 (1)

ISBN 978-5-85903-070-5

© Мир-Хайдаров Р. М., 2011  
© Изд-во «Kazan-Казань», 2011

## ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

**МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ** — писатель, заслуженный деятель искусств (1999), лауреат премии МВД СССР (1989), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар.

По образованию — инженер-строитель. Он много лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей.

В сорок лет Рауль Мир-Хайдаров оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более трех десятков книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература». Его книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Есть книги, изданные на грузинском, каракалпакском, узбекском. Вся проза Р. Мир-Хайдарова переведена на татарский язык. Почти все его произведения имели журнальные публикации и записаны на Всесоюзном радио. У него пять раз выходили собрания сочинений.

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять-пятнадцать изданий каждая. Это остро сюжетные политические романы с детективной интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман из тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Этот роман на сегодняшний день выпущен двадцатью изданиями (из них четыре раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя двадцать восемь дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на Р. Мир-Хайдарова и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже писатель выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и. о. Генерального прокурора России Олег Иванович Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и ...криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

В своих романах автор зафиксировал хронику смутного времени. После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров переезжает в Москву и, конечно, пишет. Уже в России дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 году вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными».

В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым... Любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискери. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.

Ныне остались увлечение живописью и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.

В 2001 году в Казахстане, на родине писателя, на государственном уровне был отмечен его юбилей. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены шестьдесят картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова. Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — почетный гражданин Казахстана.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### **Романы:**

- «Пешие прогулки» (1988). 20 изданий
- «Двойник китайского императора». 16 изданий
- «Масль пиковая» (1990). 15 изданий
- «Судить буду я» (1992). 10 изданий
- «Ранняя печаль» (1996). 6 изданий
- «За всё — наличными» (1997). 8 изданий

### **Книги повестей и рассказов:**

1. «Полустанок Самсона» (1975) — рассказы
2. «Оренбургский платок» (1978) — рассказы
3. «Такая долгая зима» (1978) — рассказы
4. «Путь в три версты» (1979) — рассказы
5. «Знакомство по брачному объявлению» (1980) — повести
6. «Жар-птица» (1981) — рассказы
7. «Дамба» (1984) — повести и рассказы
8. «Чти отца своего» (1987) — повести и рассказы
9. «Из Касабланки морем» (1987) — повести и рассказы
10. «Седовласый с розой в петлице» (1988) — романы и повести
11. «Налево пойдешь — коня потеряешь» (1990) — романы и повести

### **Собрания сочинений:**

1. Изд-во «Художественная литература» (Москва, 1990) — однотомник
2. Изд-во «Голос» (Москва, 1992-1993) — собрание сочинений в 4-х томах
3. Изд-во «Грампус Эйт» (Харьков, 1995) — собрание сочинений в 3-х томах
4. Изд-во «Южная Пальмира» (Днепропетровск, 1996) — собрание сочинений в 4-х томах
5. Изд-во «Идел-Пресс» (Казань, 2006) — собрание сочинений в 5-ти томах

Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Масль пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания.

Общий тираж книг превышает 5 миллионов экземпляров.

e-mail: [mraul61@hotmail.com](mailto:mraul61@hotmail.com)  
сайт: [www.mraul.ru](http://www.mraul.ru)

## О ПРОЗЕ И РАННЕЙ ПЕЧАЛИ ПИСАТЕЛЯ РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА

Сергей АЛИХАНОВ  
академик

Мне, в силу личных симпатий к прозе писателя и дружеских отношений с автором (к тому же я оказался биографом Рауля Мир-Хайдарова), известны все его литературные пристрастия, его любимые поэты и прозаики. Он еще не ступил на литературную стезю, когда его кумиром стал И. А. Бунин, и прочитал прозу мастера в юные годы, когда все ложится на сердце крепко и навсегда. Переболел он и западной литературой, что было характерно для молодежи шестидесятых-семидесятых годов — Фицджеральдом, Томасом Вулфом, Голсуорси, Дзюмпеем Гомикавой — романистами, тяготевшими к социальным проблемам, а главное, к емкой, образной фразе.

Позже, уже сложившимся писателем, издавшим десятки книг, Рауль Мир-Хайдаров открыл для себя Валентина Катаева, обязательно надо добавить, позднего Катаева. И Катаев, лично знавший Бунина с юных лет и всю жизнь считавший его учителем, стал для Рауля Мир-Хайдарова вровень с великим Буниным.

Поздний Катаев, на взгляд писателя, никак не уступает по музыкальности фразы, стилистике, ярчайшим, неожиданным эпитетам и сравнениям кудеснику слова — Бунину. А по форме, построению сюжета дает большую фору традиционалисту Бунину. Впрочем, как считает Рауль Мир-Хайдаров, и в мировой литературе не очень много писателей, так виртуозно владеющих формой, как Катаев.

Такое трепетное отношение к своим кумирам, глубокое знакомство с их творчеством не могли не сказаться на манере, стилистике писателя. Он так же, как и его кумиры, тяготеет к предложениям на треть и полстраницы, умеет так описать вещь, обстановку, интерьер, застолье, что невольно видишь описываемое перед собою как на экране.

Писатель всегда сетовал, что поздно открыл для себя Катаева, хотя понимал, что лучшие свои произведения тот написал на излете жизни. Рауль Мир-Хайдаров завидовал молодым, идущим вслед ему писателям, для которых был уже написан и издан весь поздний Катаев. Еще больше жалел он, что Катаев не успел показать Бунину свои лучшие вещи, настоящего Катаева, оправдавшего, да что оправдавшего, далеко превзошедшего ожидания своего учителя. Иван Алексеевич оценил бы и форму, и содержание книг

юноши, когда-то, в далеком 1918 году, пришедшего к нему на дачу с первыми своими стихами. До слез обидно, что Бунину не удалось прочитать «Траву забвения» — воспоминания о нем самом. Новая форма и новое содержание пришли к Катаеву через пятнадцать лет после смерти кумира юности.

Катаев повлиял на Рауля Мир-Хайдарова, повлиял на его главный роман «Ранняя печаль», хотя автор, может быть, пришел к такой форме неосознанно, интуитивно. Недавно, перечитывая, по настоянию Рауля Мир-Хайдарова, произведения Катаева, в «Траве забвения» я наткнулся на авторское рассуждение. Привожу текст дословно: «...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим...»

И меня тут же пронзила мысль, что именно по этому «рецепту» скроен роман «Ранняя печаль». Автобиографическая книга Рауля Мир-Хайдарова, написанная от имени вымышленного Рушана Дасаева. Я тут же связался с автором и зачитал катаевские строки, высказал свои соображения. Странно, не единожды читавший «Траву забвения» Мир-Хайдаров не помнил этих строк и бросился листать томик Катаева, который у него всегда на письменном столе. Через минуту он радостно сообщил мне, что только теперь разгадал мучившую его тайну: откуда родилась блестящая форма самой любимой его катаевской вещи «Юношеский роман». Еще одного мгновения ему оказалось достаточным, чтобы соотнести «рецепт» Катаева с «Ранней печалью» — и он с грустью сказал: «Как жаль, что Валентина Петровича нет уже почти двадцать лет, а то я сейчас бы поставил эти слова эпиграфом и отнес любимому писателю».

Вот так: Катаев не успел к Бунину, Мир-Хайдаров — к Катаеву. В таких горестных утратах, когда ученик не успевает отчитаться перед учителем, и рождается литература, и что-то по-настоящему стоящее создается только на излете жизни.

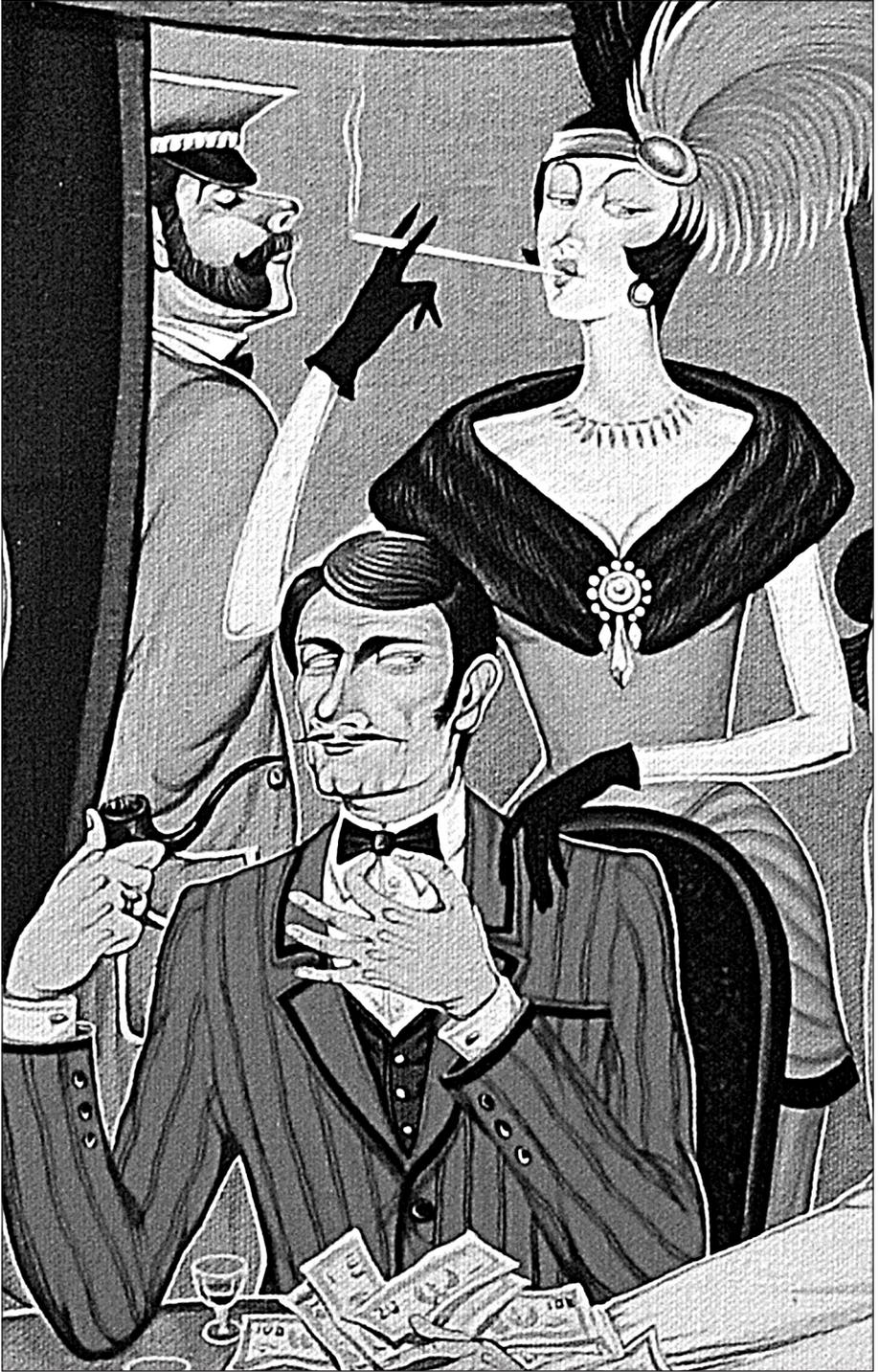
Рауля Мир-Хайдарова роднит с любимым писателем еще одно качество — сила воображения. Эта грань таланта Рауля Мир-Хайдарова наиболее очевидна.

Рауль Мир-Хайдаров добился заслуженного признания у себя на родине и далеко за ее пределами. Литературное имя он приобрел, создав серию социально-политических романов, в которых современный мир предстает перед читателями в правдивом и даже шокирующем отображении.



РОМАН





# Пешие прогулки

Роман

## ГЛАВА I. «ЛАС-ВЕГАС»

**В** середине сентября неожиданно пошли дожди, столь редкие в этих жарких краях, и пыльный городок, выцветший за долгое азиатское лето от немилосердного солнца, преобразился: исчезли с окон выгоревшие до хрупкой желтизны газеты, распахнулись ставни, старившие и без того неказистые здания, вымытая ночными ливнями листва деревьев обрела подобающий осени цвет.

Обозначились истинные цвета железных крыш коттеджей и особняков, утопавших в пыльных, млеющих от жары садах, — зеленые, темно-красные, голубые; иные, крытые белой жесью, заиграли зеркальным блеском, а ведь еще неделю назад все были на одно лицо под бархатистым слоем мелкой серой пыли. Пыль преследовала горожан повсюду, забираясь даже в наглухо закрытые комнаты, где с весны не отворяли окон. Конечно, будь полегче с водой, в долгие летние вечера не составило бы труда выбрать минутку и обдать из шланга палисадник под окнами, но воды в нынешнем году явно недоставало: давали ее лишь в определенные часы, о чем заблаговременно оповещали горожан по радио. Засушливым выдалось лето, резко обмелела Сырдарья — главная поилница этих мест.

После дождей обрели цвет разбитые мостовые и тротуары, омылись бордюры из светлого местного камня — за лето прибило к ним всяких бумажек, окурков, опавших листьев и, опять же, пыли,



оседающей лишь к ночи. Лишь темнота и скорее подразумеваемая вечерняя свежесть, которую, кроме старожиллов, вряд ли кто ощущал, как бы гасили запах пыли, заставляли забыть о ней до утра.

А тут, как после генеральной уборки в хорошем доме, отмылись подоконники, карнизы, фасады, заблестели стекла, и теперь по вечерам городок, словно обновленный, светился огнями, гремел музыкой.

Поселок обрел статус города лет двадцать назад, но таковым по существу не стал, и теперь вряд ли когда-нибудь станет, потому что рудник, благодаря которому поспешили назвать городом заолустный райцентр, быстро оказался выработанным, хотя геологи раструбили на всю страну о якобы уникальном заложении, неисчерпаемых запасах, о промышленных разработках на сотни лет самой качественной и дешевой руды в мире. Поселок, заметно расстроившийся, но так и не ставший настоящим городом, имел почти все, что положено городу. За десять лет, пока работал рудник, успели построить кинотеатры, Дворец горняков, рестораны, музыкальную школу, помпезное здание рудоуправления, стадион, две гостиницы. Не обделили себя и местные власти: здание городского суда и прокуратуры, которое в городке называли Домом правосудия, было под стать столичному. Из местного белого камня отстроили и горком партии, и горисполком, на их фасады мрамора тоже не пожалели. Не успели достроить только драмтеатр и больницу — финансирование прекратилось сразу, как только на руднике начались сбои с планом. И стояли наполовину поднятые корпуса как напоминание о былой финансовой мощи городка и его некогда стремительном росте, а окрестный люд, выждав, по его мнению, приличное время, начал потихоньку тащить со стройки все, что только можно. Успели за эти годы отстроить два микрорайона из пятиэтажек, как и всюду по бедности фантазии нареченные Черемушками — первыми и вторыми, и несколько улиц с уютными коттеджами и особняками для технической интеллигенции и руководства комбината.

Когда рудник закрыли, специалисты и часть рабочих уехали на новые разработки, а часть осталась в городке, какая, сказать трудно, скорее всего из местных, тех, что за десять лет успели стать шахтерами или работали на многих вспомогательных участках комбината и на стройках. Как бы там ни было, ни одна квартира в Черемушках не пустовала. Пока работал рудник и бурно расстраивался городок, воды всегда хватало вдоволь — комбинат содержал мощные насосные станции и решал любые, подчас сложные проблемы снабжения

города водой. И в эти десять лет городок не только рос, но и щедро озеленялся,— отцы города денег не жалели, с управления благоустройства спрашивали строго, и улицы утопали в зелени.

Рудоуправление свернуло свои дела и откочевало в неизвестном направлении, оставив новоявленному городу множество проблем, день ото дня нарастающих, словно снежный ком. Наверное, и в области, и в республике долго не могли опомниться от шока после закрытия прибыльного рудника, и от всех запросов города отбивались как от назойливой мухи, потому проблемы и множились год от года. Вернуть городу прежний статус поселка никто не решался,— такого прецедента, пожалуй, не было в стране. Шаг назад, даже разумный, не поощряется, да и местное начальство вряд ли одобрило бы подобную идею, кто же станет рубить сук, на котором сидит.

В городе имелся маломощный авторемонтный заводик, комбинат прохладительных напитков, куда входил пивзавод, станция технического обслуживания «Жигулей», фабрики постельного белья и керамической посуды, шелкомотальные цеха, которые даже с натяжкой трудно было назвать фабрикой, хотя именно так они официально именовались, но все это были предприятия мелкие, с незначительным штатом, устаревшим оборудованием, по преимуществу полукустарные. Раньше, до изменения статуса поселка, они числились артелями и вели свою родословную из далеких тридцатых годов, когда звались еще товариществами. Все эти слабосильные предприятия, как и по-городскому разветвленная сеть бытового обслуживания, общественного питания, конечно, не могли обеспечить работой всех жителей полупоселка-полугорода, на две трети состоящего из частных усадеб, где кое-кто до сих пор держал корову, свиней или пяток овец и жил или за счет сада, или за счет огорода, а чаще за счет того и другого. В давние времена, когда поселок зарождался, делили байскую землю щедро, и подворья оказались и по пятнадцать, и по двадцать соток, словно люди тогда еще предчувствовали, что кормиться придется все-таки с земли.

В первый год после ликвидации рудника городок жил словно в оцепенении: что же будет дальше, ведь жизнь свою люди прочно увязывали с шахтами. Те, кто не представлял себе будущего без рудника, в основном горняки из пятиэтажек, покинули поселок без особого сожаления, а оставшиеся стали принаравливать к новым обстоятельствам, и, надо сказать, небезуспешно. Уже через два года, похоже, тут стали забывать и о руднике, и о высоких шахтерских



заработках, городок зажил новой, не похожей на прошлое жизнью. Резко вздорожали дома, и город-поселок, лишенный работы, стал вновь бурно расстраиваться — правда, теперь уже его частный сектор. Один за другим поднимались добротные кирпичные дома с просторными открытыми верандами, столь популярными в жарком краю. Появился даже целый район, сразу прозванный почему-то Шанхаем, наверное, оттого, что строились там преимущественно корейцы, неожиданно полюбившие новоявленный город, на что у них имелись свои причины. Местные власти, поначалу ломавшие голову, как трудоустроить потерявших работу жителей, вскоре успокоились: жизнь как-то сама все утрясла.

Город неожиданно охватила бурная предпринимательская деятельность: спешно возводились теплицы, оранжереи, парники, лимонарии, домашние инкубаторы, размаху которых могли позавидовать иные государственные предприятия. Появились и пчеловоды. Конечно, и раньше кое у кого в поселке имелась пасека или теплица, но то было так, любительство, дилетантство; теперь же строились основательно, так сказать, на индустриальной основе, благо опыт имелся. Часть горожан специализировалась на цветоводстве: одни занимались тюльпанами и гвоздиками, другие предпочитали зимние каллы и весенние бульдонежи, третьи выводили розы каких-то немислимых сортов, четвертые — хризантемы и гортензии. Были среди них занимавшиеся только выведением семян и луковиц для продажи. У каждого дела стихийно объявлялись лидеры, авторитеты, при них складывался совет, инициативная группа, решавшая все вопросы — от конкуренции до объемов производства, они же регулировали цены — оптовые и розничные. Одни занимались цветоводством круглый год, другие выращивали цветы лишь к определенным датам — к Восьмому марта, Новому году...

А уж какие только ранние овощи не поспедали в парниках и теплицах! И опять же люди старались специализироваться на чем-нибудь одном или чередовали производство овощей с фруктами и зеленью. В конце февраля у самых умелых уже поспедали помидоры, а огурцы не переводились всю зиму. Ранняя редиска, капуста, обычная и цветная, сладкий болгарский перец и острый мексиканский, которые до мая продают не на вес, а поштучно, радовали глаз покупателя. А зелень! Первый тонкий лучок, по-местному лук-барашек, укроп, киндза, кресс-салат, называемый армянами кутен, а грузинами цицмати, молодой чеснок, первая морковка, что продается в пучках

рядом с зеленью, шавель, мята, трава тархун, даже летом стоящая не менее пятидесяти копеек за пучок,— все росло в просторных дворах-усадебках и приносило немалый доход хозяевам.

А как тут лелеяли рассаду, какой селекцией занимались, чтобы снять урожай пораньше да побольше, отдавая работе не только дни и ночи, но и свое жилье до весны, до теплых дней. Этому энтузиазму и знаниям могли бы позавидовать специалисты из академии сельскохозяйственных наук. Здесь не только знали всё о гидропонике, но и широко использовали ее, особенно семьи, занимавшиеся выращиванием рассады. Заключали договоры с овощными совхозами и продавали в сезон до ста тысяч штук той или иной рассады, а иная стоила по двадцать копеек,— и все это на законных основаниях.

Одни, начав с цветов или ранних помидоров, накопив достаточную сумму, строили лимонарии, потому что в Ташкенте селекционер-самоучка вывел сорт лимона, вызревающий в Средней Азии и по вкусу и размерам намного превосходящий иные известные сорта. И не только вывел, а вырастил целые промышленные плантации, и для желающих приобрести саженцы и консультацию это не составляло труда, было бы желание. А уж вырасти десяток лимонных деревьев, и они себя оправдают. Можно и на базар не возить — потребкооперация охотно закупала лимоны, благо продукт не скоропортящийся. Лимонарий казался горожанам беспроектной лотереей, самым надежным вложением труда и средств.

Пожалуй, трудно даже перечислить их все — какими только промыслами не занимались жители небольшого городка, на неопределенное время предоставленные сами себе, пока городские власти готовили проекты, предложения, просьбы в вышестоящие инстанции, выпрашивая для города какое-нибудь крупное предприятие или завод, чтобы занять население. Но такие предложения, даже самые благие, быстро не осуществляются: нужно попасть в планы пятилетки, необходимы экономические обоснования и расчеты, технические проекты, решения Госплана — в общем, годы и годы.

А пока кто-то умудрялся в погребе и старых темных хлебах выращивать шампиньоны и без особых помех сдавать их в местные рестораны при гостиницах. Другие без затей, без парников, теплиц и гидропоники просто сажали капусту, огурцы, помидоры, и что не удавалось продать, солили и всю зиму торговали соленьями. Капуста, стоившая в сезон десять копеек, зимой, квашенная с морковкой, тянула уже на два рубля. Солили капусту с морковкой и яблоками — летом их тоже



некуда было девать,— солили и по-гурийски, с красной свеклой, целыми кочанами, солили вперемешку с арбузами — наверное, вряд ли упустили какой-то рецепт, известный в народе.

Если овощами, фруктами, зеленью увлекались многие, то были в поселке и люди, занимавшиеся промыслом редким: держали нутрий, песцов, кроликов. А раз появился мех, объявились и скорняки, и шапочники, и вся округа щеголяла в прилизанных нутриевых шапках, мужских и женских, сразу вдруг ставших модными. А одна семья разводила даже породистых собак — от комнатных болонок до сторожевых овчарок, пользующихся особой любовью и спросом во всех окрестных кишлаках. Так у них очередь на потомство была расписана на год вперед, и, чтобы заполучить щенка, следовало заранее оставлять аванс. Наезжали к ним не только из соседних городов, но даже из соседних республик — так далеко разнесся слух о необычном заводчике.

Город, утративший былую экономическую значимость, конечно, сняли с щедрого государственного довольствия, коим по праву пользуются люди такой тяжелой профессии, как шахтеры. Но жители, приспособившись к новым обстоятельствам, вряд ли ощущали себя в чем-нибудь ущемленными, хотя, памятуя о том, что большинство из них не занято «общественно полезным» трудом, время от времени, особенно перед выборами, давали наказы своим депутатам: дескать, городу нужен завод или фабрика. Правда, вряд ли избиратели верили в скорое решение проблемы, и потому не сидели сложа руки, а занимали их чем могли.

## 2

Была в городе улица, не самая главная, не самая шумная и оживленная, но на ней всегда по вечерам, а иногда и далеко за полночь из конца в конец слышалась музыка. Так случилось, что на этой улице оказались все три городских ресторана, и можно было, прошагав ее всю, переходить от мелодии к мелодии, словно участвуя в музыкальной эстафете. Улица эта ничем не отличалась от остальных в центре городка, если не считать того, что на ней располагалось управление благоустройства, и только на ней да еще на площади, где находились главные административные здания города, единственная поливомочная машина горкомхоза дважды в день щедро обдавала водой

не только мостовую и тротуары, но и деревья, цветы и клумбы у обеих гостиниц. Наверное, улица эта была самой уютной, но местный люд предпочитал шумную, в огнях, главную улицу имени Ленина, где располагались почти все магазины городка и два однозальных кинотеатра, названные отчего-то на кавказский лад «Арагат» и «Арагви», — здесь по вечерам всегда было многолюдно. Кино в городке любили и ходили по старинке смотреть новые фильмы целыми семьями: с бабушками и дедушками, с внуками, что непременно засыпали во время сеанса на коленях. У многих за долгие годы здесь имелись чуть ли не свои фамильные ряды, свои места, и приезшему попасть на хороший фильм, да еще на последний сеанс, было не так-то просто.

В большинстве народ в городке был, так сказать, «при деле»: кто трудился на своем подворье, кто работал на маломощных местных предприятиях, и праздный люд можно было видеть только у кинотеатров перед началом сеансов. Даже подростки не болтались по улицам — им-то более всего находилось дел в усадьбах.

Но жил в городе человек, который ежевечерне совершал прогулки по той самой неглавной улице имени маршала Будённого, где редко умолкала музыка. Он любил эту улицу, ее малолюдые, пустые тротуары, вдоль которых еще шли в рост серебристые тополя, стройные чинары, молодые дубки. Особое очарование улице придавали высокие кусты аккуратно подстриженной живой изгороди, тянувшиеся на целые кварталы вдоль гостиниц.

Запах роз он улавливал еще в переулке, спускаясь вниз от «Арагви». Обилие зелени, цветов, щедрый ежедневный полив создавали на улице как бы свой микроклимат, и, как он понимал, этот воздух был необходим его организму. Он и улицу эту отыскал сам. Чтобы попасть сюда, он проделывал немалый путь, и всегда пешком, хотя мог приехать автобусом.

Жил он в пятиэтажке и был одним из немногих, не имевших, как здесь говорили, ни кола ни двора, что в местном понимании имело широчайший спектр толкований, означавших, впрочем, одно — неудачник. Появился он тут год назад, когда нравы и порядки в городе не только сложились, а достигли полного расцвета. В той, прежней его жизни не было ежевечерних прогулок, к которым он бы привык, пристрастился, и сейчас продолжал свои моционны уже по привычке. Просто после очередного сердечного приступа врачи настоятельно рекомендовали — нужно ходить пешком, желательно постоянно.



Амирхану Даутовичу Азларханову, совершавшему каждодневные пешие прогулки, было под пятьдесят. Выправкой и особой статью он не отличался и не выглядел моложе своих лет — наоборот, ему можно было дать и больше. Ребяшня во дворе называла его дедушкой, и он не обижался, как обижаются иные молодящиеся бабушки и дедушки, только иногда грустил, но не оттого, что жизнь прошла, пронеслась, поскольку дедушка, как ни хорохорься, есть дедушка, а потому, что он, к сожалению, дедушкой в полном смысле этого слова не был. Не дал ему бог ни внуков, ни детей, хоть мечтали они с женой о ребенке.

Высокий, крепкий в кости, он сейчас заметно сутулился, плечи его время от времени безвольно никли, словно смирясь с непосильной ношей, и он, чувствуя это, вдруг спохватывался, распрямлял спину, скидывал голову, и тверже, четче становился его шаг.

Внимательному наблюдателю все эти преобразования непременно бросились бы в глаза, и наверняка этому любопытному пришлось бы на ум, что в молодые годы незнакомец обладал завидным здоровьем и был хорош собой. Сейчас на его лице выделялись усталые погасшие глаза, они-то более всего старили человека, что, в общем, случается не часто — как правило, природа дольше всего оставляет нам неизменными голос да взгляд. Он был сибиряк, а это понятие не случайно связывают со здоровьем, крепостью характера, цельностью натуры; более того, был он не просто сибиряком, а потомственным, и помнил свой род до седьмого колена, хоть со стороны матери, хоть со стороны отца, происходившего из старинного рода сибирских татар.

Немолодой человек, каждый вечер не спеша прогуливавшийся мимо трех городских ресторанов по немногочленной улице Буденного, невольно обращал на себя внимание. Нет, не своим костюмом — пожалуй, он был вообще чужд пристрастиям моды — и тем не менее выпадал из толпы, как сказала однажды о нем бухгалтерша с завода, где он работал. И не то чтобы он был человеком старого воспитания, старомодной учтивости, но его ровное, без подобострастия, но и без гордыни поведение, желание как-то обособиться, не выделиться, а именно обособиться, умение держаться даже с сослуживцами на определенной дистанции, которую он определял сам, ограждали его от людей некоей стеной, хрупкой и прозрачной, но осязаемой, создавали вокруг него пустое пространство, род убежища, которым он явно дорожил.

Конечно, в небольшом городке его знали, и при встрече, будь то на прогулке или по пути на работу, он сдержанно раскланивался со знакомыми, старомодным жестом, вышедшим из обихода, приподнимал шляпу. И тогда можно было увидеть тронутые сединой, но еще по-молодому густые, с живым блеском волосы, чуть вьющиеся, коротко подстриженные, с четким пробором; при этом он сразу становился похож на знаменитого киноактера. Правда, сам он вряд ли об этом догадывался, потому что в кино ходил редко.

И еще одно обращало на себя внимание в поведении этого человека. Никто и никогда не видел его мечущимся, спешащим, суевливым, с явной озабоченностью на лице, как у новых его земляков, по горло занятых подворьем или предпринимательской деятельностью.

Возвращаясь с обеда на службу, он часто по пути заглядывал в книжный магазин, по нашим временам довольно-таки богатый — книгами в городке интересовались мало. Входя, он непременно здоровался с продавщицами как со старыми знакомыми, и те, еще только завидев его в окне, спешно ставили на полку две-три отложенные книги из модных новинок. Но книги он покупал не часто, и редко именно те, которыми хотели его порадовать молодые продавщицы, чем всегда вызывал удивление — уж они-то полагали, что знают, какая книга чего стоит.

Поначалу его даже принимали за нового секретаря горкома, вроде бы так вот демократично, по-простому знакомящегося с местной жизнью, и город полнился слухами. Народ ведь любит байки, когда якобы тот или иной большой чин, подобно старинному падишаху, явно или тайно обходит свои владения, чтобы увидеть все самому, послушать, о чем народ говорит. Заходит, к примеру, в магазин и просит взвесить полкило дефицитной колбасы, а его принимают там за шутника. Или упорно пытается проехать каким-нибудь автобусным маршрутом от конечной до конечной, чтобы наутро вызвать директора автотреста на ковер... Молва есть молва, и везде она одинакова, поскольку проблемы те же... Он, конечно, чувствовал в те дни необычное внимание к себе, ловил изучающие взгляды, но мысль, что его могут принять за кого-то другого, тем более «хозяина» города, ему и в голову не приходила. И вряд ли он когда-нибудь узнал бы о подобном курьезе, если б не рассказали ему об этом на работе. Он весело посмеялся вместе со всеми, но в душе посчитал этот знак добрым предзнаменованием судьбы.



Конечно, самообман горожан скоро рассеялся, и кто уж очень любопытствовал, тот узнал, что незнакомец работает на местном консервном заводике на неприметной должности. Но, как ни странно, новость ни у кого не вызвала ни насмешек, ни иронии, наоборот, что бы там ни говорили о нем люди, но в одном сошлись любители посудачить: приезжий, прогуливающийся каждый вечер пешком, был некогда, несомненно, большим человеком. Народ любит «опальных князей», и незнакомец, немногословный и замкнутый, вызывал скорее симпатию, чем безразличие.

И потому, когда Азларханов появлялся на базаре, покупая в одних торговых рядах лепешку, в других зелень, в третьих фрукты, и всегда понемногу, ибо не лишал себя удовольствия часто ходить на рынок, какому-нибудь новичку на вопрос — кто это? — обычно, поднимая взгляд к небу, отвечали: большой человек. При этом, разумеется, не вдавались в подробности, впрочем, этого и не требовалось: восточному человеку достаточно этих двух слов.

И на базаре, и в тех местах, где он обедал, его принимали как своего, как соседа, порою он даже чувствовал себя неловко.

Обедать ходил он в чайхану при автостанции, где частники жарили шашлык, подавали лагман, приготовленный где-нибудь в усадьбе поблизости, торговали тут и самсой, и нарынком, и хасыпом — район возле автовокзала весьма успешно конкурировал с общепитом. Заходя в чайхану, он непременно раскланивался с чайханщиком, человеком своих лет, и всегда у чайханщика находились для него стул и место, даже если и тесно было в помещении. С чайханщиком они иногда обменивались ничего не значащими словами о погоде, здоровье, пока тот заваривал для него чай и ополаскивал крутым кипятком пиалу без единой щербинки. А когда он усаживался, рядом сразу появлялся какой-нибудь мальчишка из тех, что помогают в чайхане или крутятся возле своих домашних, торгующих на улице.

Его обед, по местным городским понятиям, был более чем скромным — пол-лагмана и палочка шашлыка или полшурпы и одна горячая самса, или пара палочек шашлыка из свежей печени, или штуки три манты с курдючным салом и мелко нарезанной бараниной и горячая лепешка. Мальчишки никогда не заставляли себя ждать: и лепешка оказывалась румяная, шашлык хорошо прожаренным, шурпа обжигаящая, а сдачу ему приносили до монетки, хотя тут любили округлять суммы. Поднявшись, он сдержанно благодарил чайханщика, и если проходил мимо торговых рядов, то и тех, у кого мальчишки покупали

еду, причем он безошибочно угадывал, у кого брали шашлык, у кого самсу — и сдержанная благодарность эта особо ценилась бесцеремонным торговым людом. Привыкшие к тому, что кругом лебезили, заискивали, продавцы уважали ту дистанцию, что установил с ними этот одинокий немногословный человек. И, отодвигая в очереди какого-нибудь важного и денежного клиента, они тем самым как бы намекали на некую причастность к нему, случайно попавшему в их город человеку, которого, по слухам, должны были вот-вот куда-то отозвать, затребовать, и, конечно, вызов предполагался по самому крупному счету.

3

Однако шло время, бежали недели, месяцы, никто и никуда Азларханова не отзывать, а он продолжал совершать свои каждодневные пешие прогулки, только изредка пропадая из города на несколько дней по делам консервного заводика: ездил то в область, то в столицу республики отстаивать интересы своей «фирмы», которой все чаще и чаще предъявляли штрафные санкции за качество продукции. Возвращался он из центра всегда расстроенный, потому что в оба конца — и от производителя, и от потребителя — ве неутешительные вести; но, памятуя о здоровье, а чаще все-таки по инерции, сложившейся привычке, выбирался по вечерам из дома. Проходя по улице Буденного, мимо трех городских ресторанов, каждый из которых назывался еще претенциознее, чем местные кинотеатры, а именно: «Лидо», «Консуэло» и «Шахерезада», он невольно отмечал: вот уж где жизнь всегда бьет ключом. И пусть рядом пересеивают после весенних ливней или заморозков хлопок, пусть люди в кишлаках плохо питаются, особенно туго бывало с мясом, пусть тысячи и тысячи студентов и школьников трудятся вдали от дома на сельхозработах, пусть где-то наводнение, землетрясение, голод, ураганы, пожары, месячники, субботники, воскресники, засухи, перевороты, локальные и региональные войны — тут всегда царил праздник сытой жизни, и кому-нибудь в городе, наверное, казалось куда престижнее быть завсегдаем «Лидо», чем, скажем, почетным членом Европейского географического общества.

Что время бежит стремительно, это, пожалуй, ощущает каждый, но если вдруг выпадаешь из жизни, в которой еще живешь,— такое



примечает не всякий, и то не сразу, а постепенно, сначала в мелочах. Гуляя как-то по излюбленной улице, он словно впервые услышал, что нынче в ресторанах исполняют другую музыку, поют новые песни. Теперь он прислушивался к музыке внимательнее, полагая, что ошибся, что вот-вот, через день-другой, зазвучит что-нибудь знакомое, донесется из распахнутых настежь окон, в стеклах которых полыхали отсветом яркие люстры, знакомая песня. Но проходила неделя, вторая, и хотя репертуар трех ресторанных оркестров был довольно-таки обширным, он не услышал ни одной старой, привычной мелодии и отчего-то расстроился. «Я как инопланетянин», — впервые сказал он себе тогда.

Музыкой он особенно не увлекался, но в молодости отдал ей должное, ходил на танцы и студенческие вечера. Тогда, в годы его юности, они не были перекормлены музыкой, как теперешние молодые, и оттого многое сохранилось в памяти. Так вот, из того музыкального багажа он не слышал сейчас ни одной мелодии, ни одной песни — и это усиливало ощущение выключенности из жизни.

Тем более неожиданным для него было, когда во время обычной вечерней прогулки, занятый своими мыслями, он однажды услышал из окна «Шахерезады» мелодию, которая вроде бы показалась ему знакомой. Поначалу он решил, что ошибся; это была современная музыка с рваным ритмом и неистовыми ударными. Оркестр смолк, и он постоял еще немного под окнами, надеясь, что, возможно, кто-нибудь попросит повторить вещь — дело обычное. Случалось, что какой-нибудь шлягер звучал во всех трех ресторанах одновременно и по три, четыре раза подряд. Хотя он не бывал до сих пор ни в одном из местных заведений, но догадывался, что оркестры играли, как правило, на заказ, потому музыку на этой улице можно было услышать и далеко за полночь.

Но на этот раз не повезло, музыканты заиграли что-то другое.

Однако, когда он подходил к «Лидо», словно угадав его желание, эта музыка зазвучала вновь, и он невольно улыбнулся: ну, конечно, новомодная штучка, раз играют в каждом ресторане — и, уже теряя интерес, двинулся дальше. Но странно, чем дальше он уходил, тем явственнее слышал эту музыку. «Что за чертовщина, неужто с годами у меня обострился слух?» Он действительно предугадывал, что сейчас вот начнет саксофон или партия перейдет к трубам, а потом вступят ударные.

И наконец он вспомнил!

Ну, конечно, Элвис Пресли, «Рок круглые сутки»! Далекие студенческие времена! Неожиданно для самого себя он вдруг решил заглянуть в «Лидо».

Когда он появился в зале, вечерняя жизнь ресторана уже набирала силу, вино и музыка делали свое дело. Громкие, возбужденные разговоры, преувеличенно раскатистый смех, радостные лица кругом, короче — подобие праздника. Хотя окна были распахнуты настежь и под высокими потолками вращались лопасти вентиляторов, все же сигаретный дым густо стлался над столами, но это, наверное, заметно было только тому, кто входил с улицы.

Сквозь голубой дым он разглядел, что зал полон — ни одного свободного столика, — и уже собирался уйти, не особенно надеясь на удачу, как неожиданно из-за колонны появился метрдотель, словно кто-то показал ему на входную дверь, и, вежливо поздоровавшись с гостем, пригласил его пройти.

В глубине просторного зала, в стороне от прохода, рядом с мраморной колонной притаился сервированный двухместный столик с табличкой «Занято», туда и привел его хозяин заведения. Хотя столик вроде и находился в тени колонны, обзор оказался широким, практически он видел весь зал, и особенно хорошо небольшую эстраду и площадку перед нею, где уже танцевали. Официант не заставил себя ждать и не отходил от стола, пока он не просмотрел меню.

Наличие шампиньонов и перепелок не удивило посетителя, поскольку предпринимательская деятельность местных жителей не была для него тайной. Правда, сам он ни разу в жизни не пробовал этих деликатесов, поэтому сейчас, пользуясь случаем, заказал то и другое и попросил принести еще чайник зеленого чая. После ухода терпеливого официанта, не выказавшего неудовольствия по поводу чайника чая в вечернее время, гость оглядел зал. Впрочем, оглядеть как раз не удалось, внимание его сразу привлекла компания неподалеку от него. Большой, богато накрытый банкетный стол занимали четверо хорошо одетых мужчин, все от тридцати пяти до сорока лет; они о чем-то шумно спорили, оживленно жестикулировали. Судя по обилию закусок на столе и батарее бутылок, они ждали еще кого-то. Что-то в этой компании насторожило бывшего прокурора, хотя кругом, куда ни глянь, гуляли широко, шампанское, как говорится, лилось рекой.

За банкетным столом перехватили его заинтересованный взгляд, хотя гость, конечно, не был так прост, чтобы откровенно изучать



соседей. Отводить глаза ему показалось недостойным, в конце концов, он же не подсматривал. И тут произошло неожиданное: под его взглядом все четверо вдруг встали и учтиво раскланялись. Он ответил легким кивком, не поднимаясь с места. Кто они такие, что за вежливость? Может, ошиблись? Но мысль об ошибке он отвел сразу: четверо обознаться одновременно не могут. Пригодился прежний опыт: тренированная память услужливо, словно снимок из фотоателье, выложила перед ним групповой портрет компании за соседним столом, хотя он больше в ту сторону не смотрел. Кто же эти хорошо одетые, уверенные в себе люди? Преуспевающие хозяйственники, высокопоставленные руководители? Было в их повадке что-то от власти имущих — работников аппарата бывший прокурор знал хорошо.

Скорее всего, это бывшие коллеги, он мог встречаться с ними в прошлой жизни, на пленумах и совещаниях в столице республики. Вот только из какой они области — непонятно, городок располагался на границе двух областей, и из обоих центров, при нынешних скоростях и автострадах, сюда рукой подать. Потому и переполнены каждый день местные рестораны: наезжают издалека люди небедные, особенно те, кому по долгу службы подобные заведения следует обходить за версту. А тут вроде ничейная территория образовалась. Не случайно приезжие «хозяева жизни» окрестили городок «Лас-Вегасом».

Догадка эта не порадовала бывшего прокурора, он подумал, что среди тех, кого эти четверо ожидают за столом, вполне могут оказаться люди, которых он действительно знал, с кем дружески общался прежде. И миновать с ними встречи и разговора будет невозможно. Но ни с кем из своей прошлой жизни он видеться не желал; хочешь не хочешь, пришлось бы отвечать на какие-то вопросы, рассказывать о нынешнем своем положении, выслушивать слова сочувствия и возмущения несправедливостью. Поэтому он не стал задерживаться в зале, быстро расправился с ужином и покинул «Лидо». В другой ситуации с удовольствием попросил бы принести еще чайник зеленого чая, хотя настоящий китайский чай тоже остался там, в прежней жизни.

Дома он принял свое обычное сердечное, хотел заодно принять и таблетку снотворного, но передумал — в эту ночь вряд ли удастся уснуть, даже со снотворным. И не ошибся. Если бы не усталость, разбитость и заметные сбои «мотора», он, наверное, оделся и вышел бы снова погулять по ночному городу, как делал иногда, когда мучила

бессонница, которую он обрел почти одновременно с первым инфарктом; теперь уже и не помнит, что чему предшествовало. Бессоннице он не придавал особого значения, больше того, считал, что это удел людей думающих, склонных к самоанализу, а у него в жизни — так уж получилось — сейчас как раз была пора раздумий, подведения итогов. В иные бессонные ночи приходили такие мысли, идеи, что он откровенно жалел, что не знал подобных бессонниц в молодые годы.

Сегодня мысли упорно возвращались к «Лидо», к той мелодии из давно прошедшей жизни, которая заставила его свернуть с обычного маршрута.

Тогда, четверть века назад, на танцплощадках страны «знатоки» уже лихо отплясывали полузапретные рок-н-ролл и буги-вуги, и, кроме Пресли, восхищались и другим кумиром, джазовым певцом Джонни Холидеем. Но из того времени студенческих музыкальных увлечений, кстати, весьма непродолжительного, он запомнил именно этот «Рок круглые сутки». И на то была особая причина, достаточно веская, чтобы и сейчас, через столько лет, вспомнить все вновь и почувствовать в душе разлад, хотя теперь и без того хватало печалей.

Он давно не вспоминал свою молодость, может, оттого, что повода не представлялось. Да и была она скорее трудная, чем радостная или интересная. Как ни странно, в студенческие годы он не знал особых привязанностей, не изведал и большой любви, словно жизнь запланировала для него другой отрезок времени, когда у него появятся разом увлечения, пойдут удачи и придет к нему настоящая любовь. Так, в общем, оно и произошло. Он думал: одни раскрываются рано, и на всю жизнь их душевным багажом остаются ощущения юности, у других наоборот: все к ним приходит позже. И первые удивляются такой метаморфозе вторых, не всегда умея правильно оценить духовные взлеты, профессиональные и иные успехи, принимая все за случай, за удачу, не видя подготовительной работы души...

Вспоминая давно прошедшие дни, он сделал для себя еще одно открытие: чем дальше они уходят, тем яснее и четче их видишь, и теперь многое, над чем когда-то бился, мучился, запоздало легко открывается, но все эти открытия только добавляют печали — ведь всего-то порою нужно было войти в другую дверь. И открытие не бог весть какое, прописные истины, скажет иной, обо всем этом писано и переписано, он даже повторял иногда слова поэта — «помню только детство, остальное не мое». Но даже в самых умных книгах это был чужой опыт. А вот когда чужой опыт, один к одному, подтверждается



личным, это совсем другое дело, тогда любое открытие поднимается в твоих глазах, обретая особенную ценность. Хорошо, если время подтверждает твою правоту, и пусть запоздало, но доставляет тебе удовлетворение, а если наоборот, время безжалостно высветит твои ошибки, заблуждения, и ладно, коль за свои промахи ты заплатил сам,— обидно, но справедливо. А если за них расплачивались другие? Что может быть тягостнее, чем признавать за собой такое, тем более, если ты всегда был убежден, что живешь и жил только по справедливости, боролся и отстаивал только ее?

## 4

В его студенческие годы стройотрядов еще не было, в каникулы они отправлялись на казахстанскую целину. Отовсюду, со всех концов Союза, съезжались летом студенты в необъятные и необжитые казахские степи. Строили в колхозах и совхозах, многие из которых были пока лишь обозначены на фанерном щите в открытом поле, и жилье, и больницы, школы, крытые тока, дороги, бурили артезианские скважины, трудились на кирпичных заводах...

После первого курса работали они на севере Акмолинской области, краю суровом, со злыми холодными зимами, жестокими ветрами, утихавшими ненадолго только по ранней весне, а летом с невероятной жарой и сухью. За все лето не проливалось ни одного дождичка, от немилосердного солнца выгорало, кажется, все живое вокруг. Неоглядные пространства,— можно ехать по степи полдня, и вряд ли встретишь человеческое жилье. Вот тогда они по-настоящему ощутили, как необъятна наша страна.

Однажды Амирхан с шофером ездили на новом газике в райцентр за продуктами. Задержавшись на базе, обратно тронулись поздно вечером. Ночь выдалась темная, протяни руку — не увидишь, в июле-августе в казахстанских степях такие не редкость. Что за дороги в целинной степи, известно: проселочные, колея едва накатана, немудрено, что они заблудились. Проплутав довольно долго, решили остановиться и подождать рассвета, но фары неожиданно высветили невдалеке нечто похожее на человеческое жилье. Шофер, обрадованный, прибавил газу.

Страшным оказалось то место... Тесно, впритык друг к другу, уходили вдаль выкопанные в несколько рядов землянки, знакомые

им лишь по военным кинофильмам. Под лучами фар осыпавшиеся входы в подземное жилье напоминали норы; на сохранившихся кое-где покосившихся дверях виднелись порядковые номера, одни, похоже, выжженные, другие написанные масляной краской, от времени уже выцветшей и частью облупившейся. О том, что здесь некогда царил «порядок», говорили не только номера, но и то, что землянки выстроились строго в линию и между рядами тянулось пять-шесть просторных «улиц», да и расстояние между землянками выдерживалось одинаковое. В центре — вроде площадь или плац, в свое время его, видно, так вытоптали, что даже сейчас, спустя годы, здесь не пробилась трава. У края этой площади-плаца, пугая пустыми глазницами окон, стоял приземистый, мрачный дощатый барак, построенный явно наспех, неумело: крыша посередине осела, провалилась, словно ему сломали хребет. Вдали, насколько выхватывал свет фар, виднелись опавшие кое-где проволочные ограждения. Вдруг, потревоженные шумом мотора и ярким лучом, из ближней землянки выскочили шакалы, целая стая, и, подвывая, исчезли в темноте. Страшным, гиблым показалось это место молодым людям, и Амирхан, впервые видевший подобное, спросил у шофера, что все это значит.

— Говорят, здесь держали врагов народа. Ну, тех, с тридцать седьмого года... Тут неподалеку должен быть карьер и кирпичный заводик, они выжигали особый жаропрочный кирпич. Там же на карьере и кладбище. Большое, люди сказывают, — хмуро ответил шофер и невольно тяжело вздохнул.

Видно, и он попал сюда впервые, хотя работал на целине уже второй год и изъездил немало дорог по степи.

В душной ночи зияющие провалы входов в землянки показались обоим незасыпанными могилами, откуда несет запахом тлена. В немом ужасе, не говоря ни слова, рванули на газике в сторону и, как ни странно, часа через два выбрались на знакомую дорогу.

С шофером о том ночном видении Амирхан не заговорил ни разу... Хотя дважды в неделю они по-прежнему отправлялись на базу за продуктами, но в сумерки уже никогда не выезжали из райцентра, оставались ночевать в доме для приезжих. Не говорили они об этом и ни с кем из ребят, но у него долго стояли перед глазами эти норы для людей среди ровной и голой степи. Иногда казалось, что ему все привиделось или приснилось, но он знал, что это, к сожалению, не так.



Потом он не мог понять, почему вначале никак не соотнес судьбу своих родителей с этим лагерем политзаключенных. Казалось, при чем здесь бескрайняя дикая степь, эти норы — и его родители? Но чем чаще он задумывался, тем все больше допускал мысль, что на кладбище в глиняном карьере могли быть похоронены его мать или отец, ибо уже знал, что существовали отдельные лагеря для мужчин и женщин. И вот так сложилась судьба, что провидение, быть может, привело его к затерянным следам родителей. Однако этими мыслями он опять же ни с кем не делился, хотя в студенческой группе у него были друзья, с которыми он работал на грузовом дворе. Годами живший в ребенке страх, что его родители — враги народа, не исчез бесследно, даже когда Амирхан узнал, что мать и отец реабилитированы, что произошла трагическая ошибка, сделавшая его сиротой.

Этот непроходящий страх, чувство ущербности подтачивали его изнутри, мешали стать самим собой, а у многих, наверное, страх так и остался пожизненным комплексом. И часто, в какие-то крутые минуты жизни и в детском доме, и на флоте, и даже в университете — на злополучном собрании, где он оказался неправедным судьей над своим однокашником Гиреем, например, — он как бы ожидал этого подлого вопроса: «А кто ваши-то родители? Враги народа? Реабилитированы? Может, реабилитированы заодно со всеми, а может, опять же по ошибке?»

Услышь он такой гнусный вопрос, вряд ли с твердым убеждением дал бы достойную отповедь любопытному, если б такой нашелся. В те времена об этом — ни о правых, ни о виноватых — распространяться было не принято, вот и не говорили. Да и сами вернувшиеся из лагерей без повода и всякому о своих мытарствах не рассказывали, словно старались поскорее забыть о них. Оттого и он, Амирхан Азларханов, в ту ночь ни словом не обмолвился шоферу, что, может, в таких лагерях погибли и его родители. Но та ночь не прошла для него бесследно, он почувствовал неодолимое желание побывать в бывшем лагере снова, пройти по этим «улицам», постоять на плацу, заглянуть в землянку, заглянуть в коридор разваливающегося тухлявого барака — сделать хоть несколько шагов по возможному следу родителей. И однажды, возвращаясь из райцентра, купил на базаре охапку простеньких астр. Шоферу он объявил, что намерен вечером съездить на свидание в соседний совхоз к девушке, и попросил у него на ночь машину — явление по целинным меркам того времени вполне нормальное.

Как только они вернулись, одевшись как на свидание, он уехал в степь, не решившись расспросить шофера о дороге даже как-нибудь обиняком. Но он все же нашел это место, и еще засветло, когда степные сумерки только-только начали сгущаться. Нашел он разваливающийся кирпичный заводик и огромный карьер, где в одной из боковых выработок располагалось кладбище — осевшие под осенними дождями холмики без каких-либо опознавательных знаков. На каждый холмик, сколько хватило, он положил по астре и пожалел, что не взял цветов побольше, хотя купил у цветочницы целое ведро.

Прошагал не спеша все шесть «улиц», зашел в самую большую и мрачную землянку, прошел в оба конца барака, постоял на плацу. Уходя, он хотел найти хоть какую-то вещицу: пуговицу, кружку, ложку, огарок свечи, но, так ничего и не найдя, отломил от колючего заграждения кусочек ржавой проволоки, хранящийся у него в бумажнике до сих пор. Тронулся в обратный путь уже в темноте, но, не сделав и двух километров, вернулся. Подъехав к бараку, плеснул на полусгнившие доски с двух сторон бензином и чиркнул спичкой. Огонь, по мусульманским поверьям, очищает воздух от злых духов, и потому на кладбищах-мазарах иногда жгут костры; но, кроме того, он хотел уничтожить хоть то гнусное, что ему под силу. И долго в степи, пока машина выбиралась на дорогу, полыхал костер.

Между этими главными событиями его первого года университетской жизни — собранием и пожаром в акмолинской степи — прошло всего два месяца, и то, и другое всколыхнуло, обожгло душу Амирхана. Глядя на охваченный пламенем барак в ночной степи, он еще не осознавал, что навсегда избавился от комплекса ущербности; но чуть позже он поймет, что сжег его на том вытоптанном плацу, и уже больше никогда не будет испытывать страха перед анкетами и графой «родители». Он отмечал, что его откровенность в этом вопросе еще долгие годы будет смущать и настораживать людей, но уже не собьет его с позиции и, наоборот, словно рентгеном просветит человека, вздрогнувшего от такой записи в анкете или в биографии. Здесь, в казахстанских степях, где Амирхан с товарищами строил овечьи кошары для совхоза «Жаножол» — «Новый путь», два этих события, казалось бы, разных, не имеющих друг к другу никакого отношения, дали толчок к размышлениям о времени, о судьбе своих родителей, о себе, о своем месте в этом непростом во все времена человеческом мире.



Вспоминая суд над Гиреем, своим однофамильцем,— а про себя он иначе то собрание и не называл, и в комитете комсомола в разговорах мелькало слово «суд», и в деканате оно проskalзывало не раз,— он думал теперь: а что, если и в отношении его родителей все было predetermined заранее, приговор вынесли без суда и следствия, без права на защиту? И кто же были те судьи? Убеленные сединами и умудренные жизнью люди, отягощенные званиями и академическим образованием, для которых закон свят? Люди, которым были понятны заботы и тревоги интеллигенции, собиравшейся в доме его родителей? А что, если судьба отца и матери решалась вчерашним уполномоченным по приемке кожсырья или по сверхплановому севу, за успехи и рвение переброшенным на службу Фемиде?

Отчего же такого не могло быть, тем более в годы, когда действительно не хватало образованных людей,— вполне могло. Ведь даже спустя двадцать лет пытался же он сам вместе с другими членами комитета комсомола судить товарища по курсу за пристрастие к музыкальной моде. Это он-то, имевший одни штаны и на каждый день, и на выход и не имевший о моде даже смутного представления. Но бог с ней, с модой, там хоть что-то можно сказать: не по-принятому короткое или длинное, узкое или широкое, и тем более, если что-нибудь слишком яркое, тут уж точно индивидуализмом попахивает, желанием выделиться. Но ведь пытался же и музыку судить, к которой действительно не знал как подъехать, оценить: разве «буржуазная», «вредная», «растлевающая», «разлагающая», «бездуховная» — это музыкальные термины? А у них в докладе на комсомольском собрании других слов и определений не было. И какая музыка по-настоящему облагораживает человека, делает его гармоничной личностью, вообще — в каких отношениях состоит музыка с жизнью — знал ли он это? Конечно, как бы они, первокурсники, ни осуждали тогда на собрании модные зарубежные ритмы, запретив от имени комсомола звучать подобной музыке в стенах университета отныне и навсегда, музыка все равно жила, неподвластная диктату и администрированию. Сейчас он, обремененный опытом, ни за что не взялся бы определить судьбу музыкального произведения. Оказалось вот, что мелодии тех лет не забыты и в наши дни, спустя три десятилетия,— а ведь в искусстве выживает только настоящее,— так он думал теперь. Тогда же, в день собрания, осуждая товарища за «пропаганду не нашей

музыки» — за принесенную на студенческий вечер пластинку с записью рок-н-ролла (а комсомольское обсуждение могло повлечь за собой исключение из института), он ни разу даже себе не признался, что не вправе выносить вердикт, что не знает досконально предмета, коему должен быть судьей.

В те дни на целине он сделал для себя открытие, не бог весть какое, но долженствующее, по его понятию, повлиять отныне на его жизнь: научись говорить «нет». Человек начинается с того, что может честно сказать «нет». Ведь и впрямь желание везде и всюду угодить, быть добреньким заставляет людей браться за дела, решать вопросы, к которым они не готовы. Умея вовремя твердо сказать «нет», человек будет в ладах с собственной совестью, а не это ли главное в жизни? Вряд ли кто станет опровергать истину, что большинство бед исходит от людишек, на чьем лице несмываемой краской написано — «чего изволите?» И чем выше забрались такие люди, тем масштабнее беды человека, народа, страны...

Снова и снова он возвращался в памяти к тому, что сказал Гирей в конце собрания, где молодые ораторы запальчиво убеждали себя и зал, что «такому не место в наших рядах». «Я внимательно слушал ваши выступления. И, знаете, тоже сделал для себя вывод, что не смогу учиться с вами дальше. Уходя, хочу сказать, что сегодняшнее комсомольское собрание скорее походило на суд с заранее вынесенным приговором, а это во сто крат преступнее всяких рок-н-роллов. В любом другом вузе это не имело бы такого значения... Но в нашем... Вы же будущие юристы. И вы судили меня только потому, что я — другой, непохожий. Лучше или хуже — вопрос второстепенный. А ведь вам всю жизнь придется судить или защищать других, на вас никак не похожих. Что же выходит — непохожий, значит, чужой, виноватый, ату его?! Только сейчас, побывав в роли обвиняемого — правда, непонятно в чем,— я понял, что дело, которому мы все хотели посвятить свою жизнь, слишком серьезно. Понял, что нравственно не готов быть судьей другим, а без этого преступно служить правосудию. Это главная причина, почему я решил бросить юридический факультет».

А весь-то сыр-бор разгорелся из-за того, что Гирей принес на первомайский вечер в институт пластинку с записью Элвиса Пресли, того самого «Рока круглые сутки», который свободно звучал сегодня на улице Буденного, дав толчок воспоминаниям прокурора.



Там, в акмолинской степи, вспоминая клятву, данную самому себе еще на флоте, на эсминце, где служил срочную до института,— непременно стать юристом и посвятить жизнь борьбе за справедливость,— он понял, что одного желанья, даже самого страстного, искреннего, ой как мало. И только тогда он по-настоящему осознал, почему некоторые преподаватели выделяли Гирея, ценили в нем эрудицию, кругозор, интеллект. А ведь еще совсем недавно Амирхану казалось: чтобы стать хорошим юристом, путь один — учись на пятерки, у кого красный диплом, тот и лучший юрист. Тогда, в акмолинской степи, не отменяя и не принижая значения диплома с отличием, он понял, что должен воспитать в себе личность, душевный потенциал которой, подкрепленный знанием закона, даст ему моральное право быть судьей другим.

...Прокурор, вернувшийся с прогулки раньше обычного, правильно рассчитал, что в эту ночь ему действительно не заснуть. Уже затихли улицы, угомонились все собаки в микрорайоне, и ночная свежесть, прибив вездесущую пыль, пала на город. Во всем жилом массиве ни в одном окне не горел свет, только в квартире у него попеременно светилось то одно окно, то другое, словно там искали что-то важное и никак не могли найти.

Азларханов ходил из кухни в комнату, которая служила ему и спальней, и кабинетом, присаживался на постель, но желанья прилечь не было. Он подходил к одному, к другому окну, вглядывался в безлюдный ночной двор, замечая даже при слабом лунном свете его неустроенность, запущенность, неубранную помойку и свалку, возле которых копошились кошки и собаки. Глядя на это запустение, можно было подумать, что в домах вокруг обитали временные жильцы, и даже не жильцы, а транзитные пассажиры, готовые вот-вот схватить чемоданы и сняться с места, хотя это было совсем не так — никто никуда сниматься не собирался, и прокурор знал это. Отчего такое равнодушие кругом? Ведь даже если квартира казенная, то все равно это твой дом, где проходят твои дни, растут твои дети. И, может быть, другого дома у тебя не будет, дом твой здесь — на втором или третьем этаже, и это твой двор, который иначе, чем поганым, не назовешь. Так оглянись, если уж не в радости, так в гневе на дом свой, так ли полагается жить человеку в собственном доме, на своей земле в одной-разъединственной жизни, отпущенной судьбой? Об этом он размышлял не раз, но нынче мысль, скользнув поверхностно, не задержалась на сегодняшнем, думалось о другом. Впервые

за долгое время он мысленно вернулся в далекие студенческие годы, в первые годы своей стремительной карьеры, шаг за шагом вспоминая давние дни, и многое оживало в памяти — в красках, с шумами, запахами.

Да, в крошечной холостяцкой квартирке на третьем этаже, где всю ночь горел свет, действительно происходило важное для хозяина дома событие...

## ГЛАВА II. ЛАРИСА

**О**канчивая третий курс, Амирхан одолел «Римское частное право» и труды Ликурга о государственном устройстве — в подлиннике, специально для этого выучив латынь. «Римское право» изобиловало цитатами, изречениями философов и поэтов, так что, увлекаясь интересной мыслью, он открыл для себя античную литературу, древних мыслителей и историков — одна ниточка тянула за собой другую. Книжного бума не было еще и в помине, в университетской читалке он без всякой очереди получил три тома «Опытов» Монтеня, а Плутарха, Цицерона, Фрейда, Шопенгауэра приобрел в букинистических магазинах для своей будущей личной библиотеки. Жизнь в детдоме и служба на флоте приучили его к строгому распорядку, но даже в расписанных наперед по часам неделях ему теперь не хватало времени на многое.

Основное время, конечно, «съедала» учеба, о том, чтобы повысить свой культурный уровень (как тогда выражались) за счет занятий, не могло быть и речи: первоначально поставленная цель — окончить университет с отличием — не отменялась даже тогда, когда он ввел и другую, личную систему самообразования. Столь напряженная



программа (да к тому ж еще и приходилось подрабатывать на грузовом дворе), конечно, лишала его отдыха, достаточного общения со сверстниками, не давала полноты ощущения студенческой жизни, университетской среды. Он сам понимал это, но расплыться все же не стал; временно лишая себя приятных сторон жизни — общения с друзьями, спорта, частых в те годы студенческих пирушек, даже свиданий, он не поступился главным — учебой и своей программой культурного самообразования. Кто знает, не потому ли он был неожиданно для себя щедро вознагражден: единственный из выпускников курса он получил целевое направление в московскую аспирантуру. Это сейчас легко, без особого трепета произносятся слова «столица», «Москва»... А в те годы от этих высоких слов дух захватывало, голова кружилась. Москва! Три года в Москве! Как он радовался, и как ему завидовали, как его поздравляли! Пожалуй, теперь этого не понять нынешним студентам — у них какие-то иные радости, как и совсем другие критерии жизни.

Три года в Москве пролетели для него одним счастливым днем, они и в воспоминаниях мелькали как что-то нереальное, фантастическое, словно не с ним, не в его жизни это все происходило. Да и как же иначе! Отдельная комната в только что сданном доме аспирантов, с новенькой мебелью и даже холодильником, показалась ему верхом роскоши, а аспирантская стипендия после студенческой целым состоянием. А Москва! Он готов был до полуночи бродить по улицам и, пожалуй, за три года исходил ее почти всю пешком. У него была карта города, по которой он прокладывал себе маршруты, а уж в особо примечательных местах побывал на первом же году жизни в столице. Вот где пригодилось его умение распоряжаться своим временем! Учеба его не очень затрудняла; в те годы, как-то поверив в себя, он начал печатать в специальных юридических журналах статьи, и гонорары казались ему непомерно завышенными.

Тогда не так было трудно попасть в любой театр, на выставку, в музей, было бы желание, — сложнее, правда, на вечера поэзии, необычайно популярные тогда в Москве, но он умудрялся не однажды побывать и в Политехническом музее, где чаще всего проводились такие встречи, и даже в Доме литераторов на улице Герцена. Когда Амирхан познакомился с Ларисой, учившейся на факультете искусствоведения в театральном, он даже одну зиму частенько заглядывал в модное кафе «Синяя птица», неподалеку от площади Маяковского, где день играл саксофонист Клейбанд, а день — гитарист Громин

со своими небольшими оркестрами; в кафе приходили послушать игру именно этих виртуозов.

А еще Лариса, заядлая любительница коньков, приохотила его к катку. Какое это было чудо, волшебство — залитый светом и музыкой сверкающий лед, медленно падающие снежинки, смех и улыбки, улыбки кругом. Неужели этот высокий молодой человек в белой щегольской шапочке, лихо режущий лед на поворотах катка на Чистых прудах, в кого он хочет взглядеться сквозь время, — он, вчерашний детдомовец, бывший аспирант Института государства и права Амирхан Азларханов?..

...Прокурор вглядывается в залитый лунным светом грязный двор, но видит давние зимние вечера на Чистых прудах, юношу в белой шапочке, медленно кружащего в танце изящную девушку в лиловом костюме, отороченном белым пушистым мехом, которую иные принимают за балерину, и это ей льстит, она так грациозна на льду, так легка, что кажется, тут уж не коньки, а пуанты. Он пытается увидеть лицо юноши, заглянуть ему в глаза, понять, ощутить, насколько он был тогда счастлив, но это ему не удастся. Кружится и кружится пара, лицо зеленоглазой девушки в лиловом, румяной от мороза, он хорошо видит — и смеющимся, и улыбающимся, и грустным, но юноша так и не поворачивается лицом к светящемуся окну на третьем этаже, словно между ними ничего не может быть общего, и расстроенный прокурор отходит от распахнутых настежь ставен и направляется на кухню, чтобы поставить на газ чайник. Чай теперь для него лучшее средство в ночных раздумьях и воспоминаниях. И вдруг, когда, казалось, мысли его отвлеклись от Москвы, он припомнил, как однажды они с Ларисой были в старом Доме кино на улице Воровского.

В Доме кино он оказался впервые. Билеты достала Лариса, — были у нее какие-то влиятельные родственники, связанные с миром искусства, и оттого им иногда удавалось бывать и на премьерях.

Тогда в Доме кино проходил не то просмотр нового фильма, не то какая-то предфестивальная программа — картина оказалась французской; название он запомнил, а вот режиссера помнил — Бюффо, из авангардистов французского кино. Фильм оставил двойственное впечатление. И смятение вызвало даже не содержание картины, а заложенная в ней неожиданная мысль; он и сейчас отчетливо помнил все, до последнего кадра.

...На Северный вокзал Парижа приезжает, опаздывая к отправлению экспресса, герой фильма. Рискуя жизнью, он успевает-таки,



порастеряв вещи, вскочить в последний вагон трогającego состава. По ходу фильма становится ясно, что опоздать герой никак не мог, — это была бы не только его личная катастрофа, но и катастрофа многих вольно или невольно связанных с ним людей, и без этого вообще не могло быть фильма. Реалистический, жесткий фильм, со страстями, с назревающей к финалу трагедией. Зал, замерев от волнения, следил за судьбой не только главного героя, но и других персонажей, с которыми уже сжился за час экранного времени. И вдруг, в момент кульминации, когда должна бы наступить развязка, вновь возникли первые кадры фильма, и вокзал, и герой, молодой, каким он был в начале фильма, пытающийся догнать уже знакомый зрителям поезд. Но на этот раз герой не догоняет состав и остается на перроне с чемоданами в руках. И началась совершенно иная история, с новыми персонажами, правда, изредка появлялись и те, которых зритель уже знал, и к которым успел привыкнуть, из-за которых волновался, — но в новом фильме они, увы, мало значат в судьбе главного героя. И дело не в том, что, успев на поезд, он оказался более счастлив, удачлив, а, опоздав, потерял себя, потерпел жизненный крах, — нет, такого сравнения режиссер не собирался делать. Вторая часть, вторая версия жизни героя оказалась не менее сложной и интересной, чем первая, она и волновала не меньше, чем первая. Но волею судьбы из-за минутного опоздания это была уже другая жизнь, другая судьба, а всего-то, казалось, герой вошел не в ту дверь. Вот тогда-то он впервые подумал: ведь и в его судьбе не было бы ни Москвы, ни Ларисы, ни юрфака университета, ни аспирантуры, уйди он при демобилизации со всеми в торговый флот, в рыбаки или в китобои, как сманивали их богатыми посулами вербовщики.

Как бы сложилась тогда его жизнь? В ту пору он, счастливый, видевший впереди только успех, продвижение, служение делу, к которому тянулись душа и сердце, не пожалел ни о рыбацких сейнерах в холодной Атлантике, ни о раздольной моряцкой жизни, и Ларисе, конечно, о такой неожиданной проекции фильма на свою жизнь не рассказывал, но фильм долго не шел у него из головы. И сейчас, видя мысленно за окном не пыльный двор, а зимний каток на Чистых прудах, он вновь вспомнил ту давнюю французскую картину: ведь и еще раз мог свершиться крутой перелом в его жизни, останься он в Москве. А такое легко могло случиться — не заупрямься он, не настаивай на том, что дело его жизни — конкретная работа с людьми, а не бумаги, теории, преподавание.

А как упрашивала Лариса остаться в Москве, говорила, что ей еще два года доучиваться в аспирантуре, как она не хотела разлуки, и родители намекали на простор своей пятикомнатной квартиры, доставшейся от деда, профессора МГУ, говорили, что вряд ли когда еще представится ему такая благоприятная возможность остаться в столице. Да и в аспирантуре он значился на хорошем счету, оканчивая, стал членом партбюро, и заикнись, что женится на москвичке и желает поработать над докторской диссертацией, ему пошли бы навстречу, подыскали интересную работу. Согласись он тогда, послушай Ларису, сейчас, наверное, жил бы на Чистых прудах, рядом с новым зданием театра «Современник», давно уже был бы доктором юридических наук, а то, глядишь, и членом-корреспондентом, потому что еще тогда его идеи вызвали одобрение у научных руководителей, людей с именем, по чьим учебникам он учился в университете.

2

Заваривая чай, он неожиданно представил себе, как сложилась бы его жизнь, останься он тогда после аспирантуры в Москве. То видел себя седовласым профессором на кафедре, то членом Верховного суда или Прокуратуры СССР. Вдруг с пронзительной ясностью вспомнил старинный желто-белый особняк с колоннами в ложно-классическом стиле, где жила Лариса, и кабинет ее деда, профессора права в еще дореволюционном университете. Какие там были книги! И эти книги все годы учебы ему великодушно разрешали забирать с собой. Ее родители шутили, что не зря сохраняли библиотеку, чувствовали, что будут у них, если не в роду, так в родне юристы. Помнил он и их дачу в Голицыне, на берегу речки, совсем недалеко от бывшего имения князей Голицыных, где сейчас открыт музей... Какие там пейзажи! Поленовские!

Солидная, степенная жизнь, многочисленная родня, которая обожала Ларису и в общем-то одобряла ее выбор. Бывал он на больших семейных праздниках, свадьбах, поминках, где собирались все ответвления рода и где Амирхана и в шутку и всерьез представляли как жениха Ларисы, а будущий тесть иногда называл его «наш сибирский хан» и уверял, что у них в роду тоже некогда были татарские ханы и их фамилия Тургановы — от степняков.



То вдруг он видел прекрасно изданные книги, те, что мечтал написать, когда еще учился в аспирантуре, но так и не написал — закрутила, завертела новая жизнь, не то чтобы писать, на чтение порой не хватало времени. Но неожиданно его пронзила такая боль, что он даже вздрогнул. Никогда прежде не задумывался об этом, не связывал воедино: останься он в Москве, наверное, совсем иначе сложилась бы жизнь, судьба Ларисы...

Лариса написала диссертацию о декоративно-прикладном искусстве республик Средней Азии, специализировалась по керамике, исколесила южные республики, побывав почти во всех кишлаках, где народные умельцы работали с глиной. В свои редкие отпуска он сопровождал ее в поездках и, честно говоря, никогда не жалел об этом. У неё были вкус, чутье, она находила забытые школы, направления, систематизировала их. Благодаря ее стараниям и энергии в Москве издали два красочных альбома, рассказывающих о прикладном искусстве южных республик, она же организовала международные выставки среднеазиатской керамики в Цюрихе, Стокгольме и Турине, не говоря уже о выставках в Москве, Ленинграде, Таллине, Тбилиси. У нее быстро появилось имя в кругах искусствоведов, на нее ссылались, ее цитировали, зарубежные журналы заказывали ей статьи, приглашали на всевозможные международные семинары, коллоквиумы и гостем, но чаще членом жюри.

В счастливые годы, когда у нее выходили альбомы, книги, удачно проходили выставки, она на радостях говорила мужу:

— Я так признательна тебе, твоему упрямству, что ты не остался в Москве и меня утешил, без тебя я не нашла бы себя в искусстве, не сделала себе имени.

А ведь керамикой она увлеклась случайно, купив на базаре за трешку ляган,— так поразили ее простота и изящество обыкновенного большого глиняного блюда, которые изготавливают тысячами в любом среднеазиатском районе. Она смогла увидеть в обыкновенном предмете домашнего обихода необыкновенную художественную выразительность, самостоятельность в нехитрой росписи, индивидуальной даже для маленького кишлака, ведь мастерство и рецепты передавались из поколения в поколение, из века в век. Глина во все времена была самым любимым материалом бедного человека, и он по-своему улучшал и украшал ее. В нашем унифицированном мире, где переплелись, обогащая и размывая друг друга, множество национальных школ, художественных течений, керамика, которую

открыла для себя Лариса, каким-то непостижимым образом уберечь от стороннего художественного влияния. В личной коллекции у них имелись керамические предметы, которые передавались из рук в руки уже в пятом или шестом поколении, но манерой исполнения, красками и другими внешними признаками и даже размерами они вряд ли отличались от работ нынешних сельских гончаров. «Вероятно, народ сохранил до наших дней классические образцы керамики», — писала она в своей кандидатской диссертации.

О том же она писала и в альбомах, где щедро была представлена керамика, которую отыскала она в степных и горных кишлаках, цветущих оазисах Ферганской долины, в самых, казалось бы, забытых и глухих уголках. На организуемых выставках всегда присутствовала подробная карта Средней Азии с указанием мест, где обнаружено то или иное изделие, и специалисты, пользовавшиеся не только каталогами выставки, но и картой, поражались огромной работе, которую проделала Лариса всего за десять лет. С ее легкой руки обыкновенный ляган для кухни, без малейшего изменения в технологии изготовления, расцветки, размерах, стал декоративным предметом — для этого на днище перед обжигом делались две дырочки, чтобы можно было укрепить его на стене. Таким образом обыкновенный хозяйственный ляган получил вторую жизнь, декоративное его предназначение дало взлет фантазии местных умельцев, и, пожалуй, тогда всерьез заговорили о моде на восточную керамику из республик Средней Азии, а художественные салоны стали получать заказы на нее даже из-за рубежа. И в этом, конечно, определенная заслуга принадлежала Ларисе — ее энергия, подвижничество способствовали неожиданному взлету древнего и почти забытого ремесла.

В крае, куда он приехал с женой после аспирантуры, люди более всего ценили семейный очаг, домашний уют, родство, детей. Нельзя сказать, чтобы молодые были уж совсем равнодушны к своей домашней жизни, скорее наоборот: Лариса, впервые вырвавшаяся из-под опеки матери, бабушек, дорожила ролью хозяйки, самостоятельностью, хотя поначалу оказалась беспомощной в делах хозяйственных, особенно на кухне. Но никто не делал из этого трагедии — главное, у них была любимая работа, и каждый мечтал достигнуть в ней успеха.

Поначалу она работала в краеведческом музее искусствоведом, а года через три, когда в музее появились созданные ею стенды и статьи ее стали периодически появляться в республиканских газетах,



Лариса неожиданно получила предложение занять должность от столичного музея искусств. Эта должность давала ей возможность самостоятельно прокладывать маршруты своих изысканий, и время от времени она стала выставлять свои новые находки уже в музеях Ташкента.

Азларханов продвигался по службе куда стремительнее жены и через три года уже возглавлял областную прокуратуру. В свои тридцать шесть лет он был едва ли не самым молодым областным прокурором, и когда приехал в первый раз в Москву на представление Генеральному прокурору страны, тот даже удивился его молодости.

Сейчас, среди ночи, вспоминая свою семейную жизнь, Азларханов ходил от окна к окну и подолгу вглядывался в залитый лунным светом пыльный двор, но теперь он видел не каток на Чистых прудах, а коттедж, в который они переехали из малогабаритной квартиры, и где они прожили с Ларисой почти десять лет.

Коттедж к тому времени был основательно обжит, года три в нем жил управляющий крупным областным строительным трестом. Наверное, для себя его и возводил, настолько умело, добротно, со вкусом оказался он спроектированным и построенным, — а дом в жарком краю поставить, да чтобы радовал, не так-то просто. Управляющий получил неожиданное повышение и переехал с семьей в Ташкент, а они переселились в дом с садом. Переселились в самый пик саратана, когда ртутный столбик термометра зашкаливал каждый день за сорок. И вдруг такой подарок — коттедж с садом!

Дом не был отделан деревом, не имел паркетных полов, он вообще был без излишеств, в те годы мода на роскошь еще не захлестнула должностных лиц, но все в нем оказалось сработано прочно, основательно, а главное — удобно. Нравилась им большая открытая деревянная веранда, где по вечерам гулял слабый ветерок, и они любили пить там чай, ужинать на воздухе. Сад казался им огромным, хотя восемь соток для современного горожанина и в самом деле немало. Более чем наполовину двор был умело затенен виноградником, и оттого в любое время дня можно было найти здесь прохладный уголок, а по осени, когда созревал виноград, двор, особенно в вечернем освещении, приобретал прямо-таки сказочный вид: над центральной дорожкой, ведущей к зеленой калитке, висели темно-фиолетовые, до черноты, крупные гроздья «Чораса», «Победы» — иная гроздь и в полтора, и в два килограмма. А то вспыхнувшая лампочка на дальней аллее в глубине сада высвечивала тяжелые кисти красноватого

«Тайфи», напоминающие детские воздушные шары. Вдоль веранды, только протяни из-за стола руку, тянулась царица лоз — золотистый виноград «Дамские пальчики», или, как его называют местные, — «Хусайни». Они сразу полюбили свой новый дом, и даже днем, в обеденный перерыв, спешили к себе.

Город по тем годам был невелик, это потом, лет через десять, он начнет стремительно расти, и их коттедж окажется чуть ли не в центре. Благодаря новому дому года полтора-два они бывали вместе так подолгу, как никогда больше в их совместной жизни.

Позже жена уйдет из краеведческого музея, и закружит ее по дальним дорогам ее единственная страсть — керамика. А пока, счастливые, они спешили днем домой, благо музей располагался в соседней махалле, а у прокурора имелась служебная машина. Наверное, можно было понять, почему они жертвовали полноценным обедом где-нибудь в чайхане: дома их ждали маленький бассейн и летний душ в саду, а в сорокаградусную жару это немалая роскошь.

Однажды, в конце лета, в воскресенье, он накрывал на веранде стол перед обедом, а Лариса, уже в который раз бултыхаясь в бассейн, окликнула его:

— А знаешь, дорогой, мне пришла в голову потрясающая идея: сделать у нас в саду музей керамики под открытым небом. Все равно же весной уберем эти грядки с овощами и зеленью. Для ухода за ними у нас с тобой нет ни опыта, ни времени, тем более такой баснословно дешевый базар под боком.

То лето, наверное, было и пиком их любви, и он, больше вслушиваясь в милый голос жены, чем в смысл того, что она говорила, не задумываясь ни на секунду, ответил:

— Поступай как знаешь. Я полагаюсь на твой вкус.

Предложение жены о музее под открытым небом в саду он не то чтобы не принял всерьез, а просто не предполагал, что она могла затеять.

### 3

Больше они о задуманном домашнем музее не говорили. Наступила долгая теплая осень, созрели и были убраны с грядок овощи, зелень, выкопали и картошку в дальнем углу, у забора. С ночными заморозками потихоньку осыпались розы, но по-прежнему запах



их в полдень долетал до открытой веранды. В бассейне уже не купались, однако заполняли его каждый день, Лариса говорила, что когда смотришь на водную гладь, успокаиваешься душой,— и по утрам в бассейне плавали опавшие листья и лепестки роз.

Как-то он уехал по делам на три дня в Ташкент, а когда вернулся, не узнал собственный двор: он казался теперь просторным и... чужим. Не осталось и намека на былой своеобразный восточный уют, даже живая изгородь была ровно подстрижена.

Лариса с улыбкой спешила навстречу,— она звонила в аэропорт и знала с точностью до минуты, когда муж будет дома.

— Ты только не волнуйся и не думай, что я все испортила. Я ведь за лето изучила парковую архитектуру всей Европы: и немцев, и французов, и англичан, нашла и старые российские книги — мне друзья из Москвы помогли,— и до японской добралась, думаю, она нам больше подходит из-за наших восьми соток...

Покормив мужа с дороги, она повела его посмотреть перемены. Двор теперь весь был покрыт привозным дерном и превратился в зеленую лужайку. На фоне изумрудной зелени деревья, что росли ранее среди грядок картофеля и томатов, выглядели иначе — стройнее, элегантнее — что и говорить, в этих английских лужайках что-то было. Лариса с воодушевлением рассказывала, какие деревья доставят на следующей неделе, какие кусты роз и куда надо пересадить. Он слушал ее внимательно, ему нравилась затея жены и то, что она так увлеклась. Слишком уж часто в последнее время она поговаривала о Москве, а тут дел на годы и годы, можно было не сомневаться, он знал свою жену. Улыбнувшись, он только спросил:

— Ты успеешь устроить свой музей в саду, пока меня не снимут с работы?

Она подошла к мужу и, счастливая, положила руки ему на плечи; понимая, что он одобрил ее затею, улыбаясь, ответила:

— Плохо же ты знаешь свою жену. С «Зеленстроем» я рассчиталась по смете и через кассу и даже на всякий случай квитанцию храню. А то, что слишком уж хорошая лужайка получилась, да живую изгородь аккуратно подстригли, так они ведь старались не для областного прокурора, не воображай, нужен ты им! Я объяснила, что задумала музей на воздухе, и всем это понравилось, мне даже обещали кое-что подарить из керамики. Учти, я ведь тоже старалась для рабочих, сама готовила, и моими кулинарными способностями остались довольны, так что, дорогой муж, все взаимно. Единственное,

в чем я виновата,— гарнитур для спальни, что мы с тобой приглядели, купим теперь года через два, не раньше...

Он обнял и расцеловал жену, согласный с ней во всем, что она делала.

— Но это еще не все.— Она, смеясь, вырвалась из его сильных рук.— Тебе, как областному прокурору, придется использовать свои связи и влияние, чтобы добыть мне одну-единственную голубую елочку, она просто необходима в ландшафте, что я задумала, озеленители мне такого подарка не обещали...

#### 4

Вдруг он вспомнил, что у него ведь есть возможность увидеть и голубую елочку — он все-таки достал ее для жены, и аккуратные газоны своего бывшего дома. Из той прежней счастливой жизни он взял с собой в этот город, кроме самого необходимого, альбомы, книги, проспекты, что успела издать жена. Впрочем, и забирать-то особо нечего было, жили они, по местным понятиям, чересчур скромно, и главным их достоянием, наверное, был тот самый музей, или, точнее, коллекция керамики, которую собрала Лариса. Со временем, не довольствуясь экспозицией в саду, она заняла под керамику две самые большие комнаты в доме — все равно они пустовали, и появилось у них еще два «зала» малой керамики, восемнадцатого и девятнадцатого веков. Альбомов, с ее текстами, комментариями, было всего два, хотя имелись еще семь альбомов, где она написала раздел или главу, они были изданы за рубежом, и некоторыми она очень гордилась. Наверное, это и было признанием ее труда искусствоведа, исследователя, ученого. Но он, отдавая должное полиграфии, вкусу, изыску, с которыми подавалась в зарубежных изданиях керамика со всего света, все же больше любил альбомы, изданные на родине, в Москве.

В одном из них и были снимки музея под открытым небом и двух комнат его бывшего дома — того самого, где они прожили десять счастливых лет.

Прокурор раскрыл альбом наугад: на ярко-зеленой лужайке, рядом с пушистой голубой елью, на низкой дубовой подставке лежал глиняный сосуд для воды — хум; раньше такой имелся в любом дворе, ведь не только водопровод, но и колодец в этих краях был редкостью. Сосуд из красноватой глины литров на пятьдесят-шестьдесят



потерял от времени первоначальный цвет, но на фотографии смотрелся хорошо, выцветшие краски свидетельствовали о возрасте. В нескольких местах сосуд был умело залатан, медные скобы успели покрыться зеленоватым налетом.

Фотографии для этого альбома готовились лет через пять после того, как Лариса задумала и начала осуществлять свой план музея в саду. За это время экспозиция менялась десятки раз. Когда она привозила из дальних поездок какую-нибудь интересную вещь, все в саду начинало двигаться, перемещаться, но, надо признать, от каждой перестановки, замены экспонатов общий вид, панорама улучшались несомненно.

За пять лет подросла и голубая ель, которую они наряжали к несказанному удовольствию окрестной детворы на Новый год, укрепились карликовые деревья. Лариса отыскивала их у садоводов-любителей по всей Средней Азии заодно с поисками керамики, и по весне во дворе розово цвело деревце фейхоа, наполняя воздух тонким ароматом. Исчез розарий, но отдельные кусты роз: алой, багряно-красной, белой, желтой, росли в соседстве с редкими карликовыми деревьями. Перестроили они и свой крошечный бассейн: отодвинули в глубь сада, эмалированную ванну сменили на бетонную, выложенную голубым кафелем, но все это делалось не только для собственно го удовольствия — рядом с водой керамика смотрелась совсем иначе.

Когда Лариса всерьез заявила о себе и ее керамикой заинтересовались музеи, галереи, Амирхану удалось побывать с женой на двух из трех ее зарубежных выставок — в Цюрихе и Стокгольме. Конечно, он ездил туда по туристической путевке, но главное, он был рядом, мог помочь, поддержать, был свидетелем ее успеха, видел жену необыкновенно счастливой, и позже не раз благодарил судьбу за то, что она предоставила ему такую возможность.

Наверное, он ценил альбомы, изданные в Москве, еще и потому, что хоть и приезжала съемочная группа с осветителями, с десятком чемоданов всякой аппаратуры, лучшие снимки все-таки были сделаны самой Ларисой. Когда она стала бывать за границей, обзавелась и японской, и западногерманской камерами, и все деньги в поездках тратила на фотобумагу и реактивы. Снимков она делала много, фотографировала и на рассвете, и на закате, и в ослепляющий полдень, и никогда не снимала дома без него, — помогая, муж понимал ее без слов. Оттого ему была дорога каждая фотография в альбоме, ведь он помнил их от замысла до воплощения.

Были в их домашней коллекции и красовались в этих альбомах такие вещи, что дарили ему лично, зная, что жена, да и сам прокурор увлечены столь странным, на местный взгляд, делом, как собирание глиняных поделок. Понятно бы — старинное серебро, хрусталь, бронза, ковры ручной работы, все то, что имеет, так сказать, материальную ценность, а тут — черепки... Дарили часто, от сердца, объясняя этот жест своим долгом помочь популяризации национального прикладного искусства. Если отказывался принять — обижались: на что, мол, человеку один-единственный кумган, даже если он сохранился от дедов, когда рядом живет собиратель, у которого к этому кумгану уже есть пара, да и чаша похожая найдется.

«Даров не принимай», — прочитал он некогда на латыни, и эту истину усвоил крепко, особенно имея в виду свое служебное положение, но, увлеченный азартом коллекционера, не отнес ее на счет простой дешевой керамики, а зря. Хотя девиз этот он не забывал и не раз заворачивал доброхотов, пытавшихся преподнести ему огромные напольные китайские вазы, двухведерные медные кувшины или сосуды для воды. Может, и тут встречались люди, дарившие от души, но он спокойно объяснял, что все это уже, так сказать, из другой оперы, и китайский фарфор, даже ручной работы, его абсолютно не интересует. Китайский фарфор пытались дарить не один год, чего только не приносили, — особенно восхищали метрового диаметра тарелки, очень похожие на восточные ляганы. Прокурор поражался количеству фарфора в здешних краях, хотя знал, что некогда тут проходили древние караванные пути из Китая в Европу.

Много спустя после тех счастливых дней в коттедже на улице Лахути, когда он уже не был областным прокурором, а работал там же, в следственном отделе, на небольшой должности, попадались ему дела так называемых «коллекционеров». А ведь он точно помнил, поскольку его жена проработала три года искусствоведом в местном музее, что еще недавно даже понятия такого — «частная коллекция» — в этих краях не знали, не говоря уже о самих коллекциях. А тут, в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, враз расплодилось владельцев частных коллекций, и вряд ли тому примером послужила подвижническая деятельность его жены, хотя областная печать не раз писала о собрании керамики в их саду. Коллекции эти были, конечно, иные, они представляли художественную ценность, и зачастую немалую, порой приходилось обращаться к признанным экспертам, но главным мерилom подобных коллекций



считалась их материальная стоимость, и «собирателями» чаще всего руководило желание вкладывать добытые несправедливым путем деньги в антиквариат, который, по их твердому убеждению, будет дорожать день ото дня.

Коллекционировали монеты, портсигары, браслеты, галстучные зажимы, булавки, брелоки — разумеется, только золотые; правда, один из «знатоков» презрел золото и успел собрать шестнадцать платиновых шкатулок и табакерок; попался и рекордсмен по серебряным работам, из его «коллекции» московские эксперты отобрали для музея четыре неизвестные ранее работы Фаберже. Поразила прокурора еще одна разновидность «собирателей», едва ли известная даже искусствоведам: у них в области, наравне с золотом, «коллекционировали» жемчуг, но эти, не в пример любителям антиквариата, знали о жемчуге действительно много, порой поболее искусствоведов. Прокурор благодаря своей работе видел жемчуг из стран Ближнего Востока, из Африки и Австралии, с Филиппин и новейший японский с океанских ферм, — у мусульман жемчуг прежде ценился выше золота и бриллиантов. Владей он сколько-нибудь пером, обязательно написал бы роман о путях жемчуга, который стекался в эти края со всего света, наверное, получился бы настоящий бестселлер. Вот с такими «коллекционерами» приходилось ему иметь дело, и те, зная об увлечении бывшего областного прокурора, иногда говорили ему, — мол, вы должны понять меня как коллекционер коллекционера, хотя мало кто из них мог сказать что-то вразумительное о художественной ценности своего собрания.

## 5

...Рассвет, стремительно набравший силу, сделал излишним электрическое освещение. «Как быстро пролетела ночь! — отметил бывший прокурор. — Пора сворачивать выставку». Убирая альбомы, он не удержался — заглянул еще в один, изданный в Швейцарии. Последняя экспозиция, за полгода до смерти Ларисы. Она, наверное, и была наиболее ценной, в тот раз жена выставляла в Цюрихе только керамику начала века. Совершенно случайно она отыскала в архивах Ферганской долины документы, свидетельствовавшие о том, что в русском поселении Горчакове в 1898 году по приказу генерала Скобелева были открыты две керамические мастерские, где работали

местные умельцы. Мастерские просуществовали шестнадцать лет, вплоть до начала первой мировой войны. Лариса затратила долгие месяцы, пытаясь отыскать среди долгожителей хотя бы одного человека, работавшего там, но безуспешно. Однако керамики из этих мастерских сохранилось достаточно, — изделия надолго пережили своих безымянных творцов. Кроме серийной продукции — ляганов, чайников, пиал, наверное, предназначавшихся для солдат, расквартированных в долине, изготавливались в мастерской и особые партии дорогой посуды — видимо, для дома губернатора, для офицерского собрания и даже для наместника, великого князя Михаила Алексеевича. Вот эта керамика, сделанная на заказ, представляла интерес, особенно та, что имела формы и пропорции, традиционные для Востока, отличаясь при том неожиданной росписью и цветовой гаммой.

Но прокурор открыл альбом, изданный в Швейцарии, не для того, чтобы увидеть восточную керамику, к которой приложили руку первые русские поселенцы в Туркестане.

Именно в этом альбоме были запечатлены два экспоната, которые принесли бывшему прокурору большие неприятности. Сняты они были в доме на Лахути. Низкий стол покрывала большая хорошо выделанная волчья шкура. Плотный мех гиссарского волка вряд ли напоминал бы о грозном хищнике, если б не старинное кремневое ружье рядом. Кто бы мог представить тогда, что волчья шкура да кремневое ружье для фона — символы грядущих бед!

Прокурор хорошо помнил то воскресное утро в середине апреля. В саду у них уже буйно цвела сирень, и газоны, еще ни разу не стриженные с осени, скорее походили на лесные лужайки. Кое-где в углах двора еще цвели подснежники и одинокие тюльпаны, а в тени деревьев — голубые крокусы. Зима выдалась снежная, холодная, долгая и продержалась до середины февраля — редкость для здешних мест. И оттого приход весны в том году воспринимался острее обычного. Пьянил воздух, пьянили запахи согревающейся земли, тонкий аромат молодой зелени и цветов. В тот день, впервые весной, они решили позавтракать на открытой веранде. Он выносил стулья из дома, когда у зеленой калитки раздался звонок. Лариса хлопотала у плиты, и он пошел навстречу раннему гостю.

У калитки стоял хорошо одетый человек в велюровой шляпе, а чуть поодаль — светлая служебная «Волга» с областным номером. Шофер, выйдя из кабины, протирал и без того сверкающий капот, наверное, хозяин был большой аккуратист. Незнакомец поздоровался,



назвав прокурора по имени-отчеству, а на приглашение войти отказался, объяснил, что очень спешит. Сказал, что коллеги из районной прокуратуры передали с ним хозяину дома два керамических сосуда, и он с удовольствием выполняет их поручение, тем более что наслышан о деятельности его жены и желает ей всяческих успехов. Добавил еще несколько слов о том, как важно пропагандировать искусство древнего края в стране, и тем более за рубежом. Держался гость с достоинством, говорил вполне искренне, без подобострастия, нередкого в этих краях. Не успел он закончить последнюю фразу, как шофер, оказавшийся тут как тут, подал хозяину машины, предварительно сняв оберточную бумагу, один из сосудов, а тот, оглядев подарок еще раз, как бы убеждаясь, что довез в целостности и сохранности, вручил его прокурору.

Слушая приезжего из района, так и не назвавшего себя, Азларханов подумал сначала, что это очередной китайский фарфор, но ошибся. Сосуд оказался действительно керамическим, удивительной сохранности, и если бы он не знал состояния нынешней керамики в крае, решил бы, что это работа последних десяти-пятнадцати лет. Только увидев его вблизи, понял, что изделие старое, очень старое. Прокурор, взяв хум в руки и машинально отметив, что он тяжеловат для традиционной керамики, не благодарил, но и не возражал, хотя шевельнулось в нем какое-то сомнение: слишком хорош был сосуд, чтобы принять его в подарок. И тут у калитки появилась Лариса. Увидев сосуд, она потеряла дар речи, даже забыла поздороваться с гостями; однако сразу же опомнилась и пригласила их в дом. Ее восхищение и радость были столь явны и неподдельны, что приезжий тут же отметил весело:

— Вот и хорошо, кажется, мы угодили хозяйке.

В это время шофер принес второй хум и передал в руки ошарашенной Ларисе. Так и стояли они у калитки, муж и жена, держа в руках по сосуду.

Такой радостной он видел жену не часто, и мысль о том, чтобы не принять, вернуть подарок обратно, как заворачивал он китайский фарфор, появилась и тут же пропала. Они настойчиво и вполне искренне пригласили гостей в дом, но те, поблагодарив, сразу уехали.

В тот день о завтраке не могло быть и речи, полетели и все обширные планы на воскресенье. Сосуды вносили и выносили из дома, под лупой не раз и не два осматривали каждый квадратный сантиметр поверхности — в общем, до самого вечера Лариса не выпускала

их из рук. Даже Амирхан, уже привыкший к находкам и открытиям жены, на этот раз был взволнован, таких изделий ни в местном музее, ни в ее личном собрании до сих пор не было. Если бы не традиционная для этих мест форма, не роспись, известная как намаганская и классифицированная давно, еще до Ларисы, он подумал бы, что керамика привезена издалека.

Тяжесть сосудов Лариса объяснила мужу сразу — глины здесь ровно столько, сколько необходимо для придания формы и обжига, остальное — тонко выверенные пропорции минеральных наполнителей, горные породы, дающие такой стойкий цвет, не подвластный времени, и главное свойство — прочность. Лариса была убеждена, что за долгий век хумы эти не раз роняли; другой сосуд, имея такие зазубрины, наверняка уже давно раскололся бы. А тяжесть оттого, что внутри сосуд был облит толстым слоем особой эмали, в состав которой входило серебро; та треть или четверть неизвестных компонентов эмали и составляла тайну старых мастеров. Несомненно, что сосуды предназначались для воды, для долгих караванных переходов, когда в дороге ценилась каждая капля влаги. Она объяснила, что такая техника известна в Европе давно, особенно в Германии и Голландии, и что предметы, изготовленные подобным образом, ценились высоко и не были доступны бедному люду. Конечно, ясно, что старые сосуды не могли принадлежать простому человеку, а были специально изготовлены для кого-то или заказаны самим владельцем, человеком богатым и власть имущим, что в прежнее время и сейчас означает одно и то же. Не исключено, что глину для этих сосудов замешивали на молоке верблюдиц и крови животных с использованием желтков; это не было особой тайной для тех, кто изучал местную керамику, тайной оставались пропорции смесей.

Сосуды можно было бы назвать кувшинами, если бы они имели ручку; рассчитаны они были на долгую дорогу и оттого имели в стенках по три прорези для ремней. Прорези ни на миллиметр не нарушали пропорций хума, и увидеть их можно было только вблизи, глядя сбоку.

Сосуды попали к ним без ремней, но Лариса года два переписывалась со своими коллегами из разных республик, и однажды из Горного Алтая ей прислали два ремня, каждый чуть подлиннее метра. Возрастом сосуды и ремни вряд ли уступали друг другу, если и была разница, то несущественная. Кожаная опояска оживила сосуды, придала им законченный вид. На темно-серой, с желтыми



подпалинами шкуре волка два сосуда цвета спелого абрикоса смотрелись удивительно хорошо. Особенно красивы были горловины, взятые в серебряный оклад, тщательно притертая серебряная пробка-крышка венчалась мусульманским символом — полумесяцем...

Сейчас бывший прокурор смотрел на фотографию, не испытывая ни любви, ни ненависти к этим предметам, хотя знал теперь о сосудах то, чего не успела узнать Лариса.

### ГЛАВА III. ПРОКУРОР

**З**а год жизни в «Лас-Вегасе» прокурор, казалось, узнал об этом городке все,— слухи стекались в чайханы, где он бывал ежедневно, и Азларханов невольно оказался осведомлен обо всем происходящем вокруг. Иногда кто-нибудь намеренно подкидывал ему информацию. И трудно было понять, с какой целью это делается, скорее всего, тут полагали, что большой человек и в опале остается власть имущим, и стоит ему захотеть... У восточных людей свой взгляд на любое событие, и надо долго прожить здесь, чтобы понять логику иных поступков и слов. Нет, прокурора не забавляла игра в бывшего большого человека, и он не подыгрывал в таких случаях, хотя возможность постоянно предоставлялась. Достоинство, с которым он держался повсюду, и в чайхане тоже, бесстрашие, когда чайхана гудела, переваривая очередную новость, еще более укрепляли веру в тайную власть бывшего прокурора.

Месяц назад в чайхане один пенсионер доверительно сообщил ему, что город их облюбовали картежники, и съезжаются они, мол, отовсюду, и даже из других республик и из Москвы. «Игра на выезде, собрались мастера высшей лиги»,— пошутил словоохотливый пенсионер.

Оказалось, его племянник работает в гостинице электриком и часто ладит картежникам особо яркое освещение над столом. Называя суммы выигранных и проигранных денег, пенсионер от волнения заикался, чего в обычной его речи не замечалось. Но Азларханов никак не среагировал на удивительную новость, ибо не понаслышке знал и о выигранных и проигранных суммах, и о масштабах игры. В бытность областным прокурором приходилось сталкиваться — за крупными хищениями, убийствами, грабежами, если копнуть глубже, нередко стояли карты, крупный проигрыш.

Две недели назад, прогуливаясь вечером, он видел возле гостиницы Сурена Мирзояна — Сурика, за ловкость рук прозванного Факиром, и москвича, легендарного картёжника Аркадия Городецкого, по кличке Аргентинец. Какие дела могли привести Факира с Аргентинцем в этот дремотный городок, кроме карт? Да никакие. Хотя он не сомневался: легенда у них на случай проверки имелась безукоризненная. Наверное, если бы пенсионер узнал, что как-то за одну ночь Факир выиграл сумму, в сто раз превышающую ту, от которой он начал заикаться, то, бедный, наверняка потерял бы дар речи вообще. Правда, после той давней ночи председатель райпотребсоюза и один крупный хозяйственник покончили с собой, отчего все выплыло наружу, а остальные шесть человек, проигравшие казенные деньги, сели в тюрьму. В те времена прокурор и познакомился с Факиром. Ни рубля не удалось вернуть тогда обратно: Мирзоян не отрицал, что выиграл чемодан денег, но сообщил, без особого сожаления, что проиграл их через три дня, и описал подробно приметы удачливого игрока, которого якобы видел впервые.

Значит, теперь картежники облюбовали «Лас-Вегас»?

Почему бы и нет? Гостиницы, не осаждаемые толпами командировочных, рестораны, куда приезжают из двух соседних областей «хозяева жизни» пошиковать, пустить пыль в глаза, посорить деньгами вдали от любопытных глаз,— их нетрудно подбить на игру. «Стоящих» людей, которых можно крупно выпотрошить, порой готовят на игру месяцами, к иному «денежному мешку» годами ищут подход, чтобы «хлопнуть» в одну-единственную ночь,— только бы сел за карточный стол. В том, что все три ресторана служили поставщиками клиентуры для картежников, обосновавшихся в гостинице, он не сомневался.

Но сногшибательные новости, вызывавшие оживленное обсуждение в чайханах, и вообще тайная жизнь необычного города,



о которой прокурор знал, а иногда догадывался благодаря опыту прошлой жизни, не трогали все же в его душе каких-то главных струн. Нет, он не был равнодушен к тому, что видел, в нем все-таки не удалось убить главное — чувство гражданина, даже в минуты отчаяния он не говорил: это не мое дело, меня не касается. Просто после двух инфарктов он берег не себя, а время, отпущенное ему; из последнего инфаркта он выкарабкался чудом, благодаря прежнему сибирскому здоровью.

Да и что он мог сделать в нынешнем своем положении? Писать? Кому? По опыту своей беды знал, что редко какое письмо, адресованное в верх, может одолеть границы области или республики. Какая-то тайная рука, неподвластная закону, перекрывала дорогу кричащим о боли и несправедливости конвертам. И немудрено, если повсюду насаждались люди, у которых за версту на физиономии читалось: «Чего изволите?», если приказы первого лица даже на уровне захолустного района выполнялись беспрекословно, какими бы вопиюще незаконными они ни казались. А если и просачивалось что наверх, то оттуда же и возвращалось к тому, на кого жаловались, с издевательской пометкой: «Разберитесь!» И разбирались, перетряхивая историю жизни автора письма с ясельного возраста до наших дней, а если она оказывалась чистой, как родниковая вода, то принимались за родню до седьмого колена и, конечно, в жизни, зарегистрированной до предела инструкциями, постановлениями, указами, принятыми во времена царя Гороха, — где в каждом пункте: нельзя... нельзя... — отыскивалось желаемое. А если еще учесть, что сейчас многие вещи реже покупаются, а чаще достаются, то редкий автор жалобы выглядел невинным, непорочным рядом с тем, на кого посмел жаловаться. А жалобы людей с «подмоченной» репутацией не имеют даже силы анонимки (не оттого ли так в ходу анонимки?) и закрываются куда быстрее, чем анонимные.

Наслышан Азларханов, например, был о таком курьезе: коллеги в области, до его назначения прокурором, не принимали жалоб на ресторанный сервис. Еще и выговаривали обшарпанному — не ходи, мол, по ресторанам, не сори деньгами! А иному строптивому прозрачно намекали: вот выясним, откуда у вас такая страсть к ресторанам, у начальства на работе для объективности письменно спросим, с женой потолкуем — вызовем по повестке, в удобное для нас время, — тут уж у всякого обшарпанного жажду справедливости отбивали на долгое время.

С высоты житейского и профессионального опыта он понимал, что одними лишь частными мерами, энергией да энтузиазмом низовых исполнителей нарастающих как снежный ком преступлений не изжить. Ну, приложит он усилия, добьется, чтобы выслали Факира с Аргентином из города, — так оставшиеся конкуренты катал только обрадуются, а само зло разве перестанет существовать? Тогда, шесть лет назад, Мирзоян, ерничая, сказал ему:

— Какой же из меня преступник, товарищ прокурор? Я что — крал, вымогал? Обыграл рабочего, колхозника или советского интеллигента, оставил до полочки семью без денег? Говорите, что обобрал уважаемых людей? Это для вас они уважаемые, в горкоме и райкоме, а для меня — воры, да крупные воры, иначе откуда у них сотни тысяч? И если бы не я, и мне подобные, вряд ли выявилась бы их настоящая сущность, так «уважаемые» и продолжали бы набивать свои мешки деньгами. Вот и выходит, что я даже приношу обществу пользу — вывожу ворье на чистую воду. За это не сажать надо, а спасибо сказать. Но куда там, от вас дожدهшься...

Прокурор, конечно, ни в коем разе не разделял взглядов каталы, хотя своеобразная логика в его словах была. Оглядываясь на свою жизнь, он сознавал сейчас, как мало успел. Порою он сравнивал прежнюю свою работу с работой дворника, расчищающего двор в большой снегопад. Очистил, пробил дорогу к калитке, к людям, оглянулся дух перевести, а сзади опять намело, да поболее прежнего. Он видел и знал, как ловко научились в республике обходить закон. Заведет прокурор дело, передаст материалы в суд, вроде выполнил свой долг до конца, а результата нет. На суд оказывают давление и партийные, и советские органы, народный контроль, партконтроль, — глядишь, от прокурорских требований пшик остался: этого нельзя трогать, этот брат, тот сват, этот депутат, тот Герой. Выкрутился один, по ком тюрьма явно плачет, второй, а третий, имеющий прикрытие и тылы, и вовсе перестал обращать внимание на прокуратуру, посчитав, что власть имущим закон не писан.

Когда прокурор был моложе, энергичнее, когда беда еще не приключилась с ним самим, дав почувствовать, кто и в чьих интересах распоряжается в стране от имени закона, — ему думалось: вот тут подтяну, тут уберу, еще одно усилие — и пойдут дела на лад. Сегодня прошлая уверенность, оптимизм по поводу светлого завтрашнего дня правосудия вызывали печальную улыбку.

Признавал он и более жестокое крушение своих жизненных надежд.



Много лет назад, на борту эсминца в Тихом океане, он дал себе клятву, что посвятит жизнь правосудию, чтобы не было вокруг ни одного униженного и оскорбленного, чтобы каждый нашел защиту и покровительство у закона. Так думал он и позже, повторяя клятву в акмолинской степи, среди сотен безымянных могил. Теперь он понимал: его поколению, детям тех сгинувших без следа в жерле ГУЛАГов, не удалось вернуть правосудию безоговорочную чистоту и непогрешимость.

Он был кандидатом юридических наук, занимал немаловажную должность — и не раз выступал на совещаниях с докладами, приводившими в замешательство не только коллег, но и членов Верховного суда и Прокуратуры республики. Имел репутацию теоретика, хотя свой воз областного прокурора, практика, тянул куда исправнее многих других. Не раз и не два садился он за докторскую диссертацию, контуры которой определились еще в аспирантуре, но текучка так и не дала довести задуманное до конца. А предлагал он решения по тем временам смелые, именно они и вызывали споры.

Юриспруденция не медицина, где бывали случаи, когда иную вакцину врач сначала проверял на себе, чтобы обезопасить здоровье человечества. Но раз так распорядилась судьба, что он полной мерой испытал на себе силу беззакония, для него, как для юриста, невозможно было не сделать вывода, не осмыслить случившееся с ним лично. Происшедшее лишь подтверждало его прежнюю позицию, его точку зрения по поводу сложившейся в республике и в стране ситуации с органами правопорядка — назрела необходимость перемен. И теперь главным делом его жизни стало завершить работу, исследующую деятельность правовых органов. Потому-то он и берег время, и не хотел размениваться по мелочам. Врачи ведь ясно предупредили: третьего инфаркта сердце не выдержит, то, что остался жив после второго, — и так подарок судьбы. Да и то надолго ли?

Каждый год он инспектировал подотчетные ему в области правовые органы, — делал это без предупреждения, внезапно. Бывало, инспекция проводилась в несколько этапов, потому что в соседних районах руководители уже были заранее оповещены о его поездке. Но к концу года — шесть ли, семь ли раз ему приходилось начинать инспекцию — в каждой из пятнадцати толстых амбарных книг, завешенных по числу районов, появлялась подробная запись — и многое бы отдали руководители, чтоб заглянуть в эту книгу. Лет пять спустя, как он их завел, прокурор узнал, что за книгами охотились: взламывали машину, рылись в номерах, где он останавливался в поездках.

Уделял он внимание и обстановке в исправительно-трудовых колониях области, организации труда в местах лишения свободы, степени его воспитательной эффективности. По его мнению, тут требовался ряд неотложных мер, усиление материально-технической базы труда в колониях, заинтересованность осужденных.

Как и некоторые другие юристы, он предлагал вывести следственный аппарат из прокуратуры, рекомендовал увеличить число народных заседателей в суде, расширить их права. Настаивал на усилении роли адвоката в судебном процессе, на том, чтобы к лицам, взятым под стражу, допускать адвоката с момента предъявления обвинения.

Именно такого рода идеи в его выступлениях приводили в замешательство коллег по службе, членов Верховного суда и Прокуратуры республики.

Однако, кроме общих, характерных для всей страны, были в республике и свои, специфические проблемы, и мимо них тоже никак нельзя было пройти.

Революция отменила сословия, но осталась живуча, затаилась иная зараза, набиравшая год от года силу — принадлежность к тем или иным родам. И опять негласно стало выплывать на свет определение: белая и черная кость. И надо было уже заводить специалистов по генеалогии в каждом районе, чтобы разобраться, какими кадрами комплектуется та или иная отрасль: в высшем образовании люди из одного рода, выходцы из одной местности, в торговле — другие, в здравоохранении — третьи, и так куда ни глянь, особенно в ключевых и денежных отраслях. Забралась эта зараза и выше. Как рассказывал Азларханову его товарищ, прокурор соседней области, у них все восемь членов бюро обкома — выходцы из одного рода, пятеро к тому же состоят в близком родстве, и куда бы он ни писал, все остается по-прежнему, потому что представители рода сидят и наверху, в республике.

Нынешние обязанности юрисконсульта на консервном заводе едва ли отнимали у него больше часа в день, в остальное время он писал, печатал на машинке, делал выписки, запросы, заказывал нужные книги. Это и впрямь была работа ученого. Давно известно, что многое в жизни сделано не теми, кому это положено по должности, а теми, у кого душа болела за дело. Душа у прокурора болела, это уж точно...



С работой этой, никому не известной пока, никто его, естественно, не торопил, не подгонял; не связывал он с завершением ее и каких-то перспектив, перемен в своей судьбе, не мечтал ни о славе, ни о признании заслуг; труд этот успокаивал душу, и день ото дня крепла в нем уверенность, что таков его человеческий и гражданский долг. Наверное, он был похож на тех чудаков, что в одиночку в глухих горах строят мост через ущелье, или изо дня в день, из года в год наводят переправу через бурную реку, или растят на пустыре сад, заведомо зная, что никогда не будут наслаждаться его плодами. Не нужны им ни слава, ни признание, им важно, чтобы остался на земле сад, мост, переправа, колодец в пустыне. И как тот, возводящий мост или роющий колодец, он не сомневался в необходимости своей работы и, как всякий мастер,— а дилетанты вряд ли взваливают на себя подобную ношу,— верил в ее необходимость. Ну, в его случае пусть не каждая строка станет законом или постановлением, но эта работа может послужить толчком для некоторых важных решений.

Нервничал и торопился он лишь в те дни, когда заметно поднималось давление, болело сердце, съедала тоска: не успею, не успею... На всякий случай в служебном столе и дома лежали письма, куда все это отправить, если вдруг с ним что...

Выполненная часть работы, уже перепечатанная и вычитанная, хранилась в отдельных папках в сейфе на службе; в каждой папке имелось и сопроводительное письмо. Многие, с кем он оканчивал аспирантуру в Москве, стали крупными юристами, занимали высокие посты, и он верил, что его бумаги попадут в надежные руки.

А тут и новая тема стала занимать ум: разве он не должен как-то обобщить опыт последнего года жизни в этом необычном со всех точек зрения городе? Будь Азларханов лет на двадцать моложе, он, конечно, не задумываясь, назвал бы деяния своих новых земляков незаконными. Но, подойдя к пятидесятилетнему рубежу, позабыв о спецбуфете и спецпайке, он теперь не был столь категоричным. Однажды, совсем не в русле «законно или незаконно», у него вырвалось: «Как много удобств в этом городе!» И в самом деле: нужен небольшой ремонт в доме — нет проблем, чайхана, где собираются малярных дел мастера, за углом. Корзину цветов ко дню рождения жены? Оставьте на базаре адрес цветочницам,— к определенному часу у вас дома раздастся звонок. Перекрасить

машину, устранить вмятину — это у Варданяна, на выезде из города. Хорошо делает? Обижает — золотая голова, золотые руки, и берет по-людски.

У вас свадьба, день рождения, голова кругом идет, никогда не принимали гостей больше пяти пар? Ничего страшного, в обед возле автостанции найдите Махмуда-ака. Плов на сто человек, триста палочек шашлыка, двести горячих самсы, сотню горячих лепешек — все будет обеспечено по высшему разряду. Живете в коммунальном доме, в квартире не развернуться? Нет проблем. Сделают навесы, собьют временные столы у вас же во дворе.

Зная не понаслышке о состоянии общепита, он сам охотнее ходил в чайхану при автостанции, чем в заводскую столовую. Ну ладно, в этом городе так случилось, неожиданно, незапланированно, и жизнь сама отрегулировала существование жителей. И стало очевидным, что индивидуальная деятельность не помеха государству, а подспорье, вон как расцвел город, вместо того, чтобы захиреть после закрытия рудника.

Известно, что не всякая деятельность во благо. И не оттого ли, что многие понимают незаконность своего промысла, так переполнены по вечерам рестораны: гуляй, однава, брат, живем! Узаконь, разреши, помоги людям на первых порах, пусть поверит народ, что это всерьез и надолго, и вряд ли кто из местных станет заглядывать так часто в «Лидо». С годами он понял, что хоть запретить легче легкого, да сила закона совсем не в запрете, на интересе должен держаться закон.

Конечно, никому он о своей работе не говорил, в помощи ничьей не нуждался, да кто и чем мог ему помочь? Скорее, следовало оберегать свой труд от любопытных, узнай кто-нибудь, чем он занимается, подняли бы на смех: тоже законодатель выискался! А уж поверить в то, что даже не закон, а какая-то строка его могла родиться в обшарпанном кабинете юрисконсульта консервного завода — вряд ли нашелся бы хоть один такой человек. Здесь властвовала иная психология: законы вынашиваются и рождаются где-то там, наверху, в огромных роскошных кабинетах, где уходящие в высоту стены обшиты темным мореным дубом.

И в тот вечер, когда прокурор единственный раз зашел поужинать в «Лидо», встретиться он случайно с кем-нибудь из бывших коллег, окажись с ними за одним столом, конечно, не обмолвился бы ни словом о главном сейчас деле своей жизни. Ну, этого разговора



он, положим, избежал бы. Но разговора о том, как он, один из самых известных прокуроров республики, покатился вниз, избежать вряд ли удалось бы.

Да, от разговора о собственной жизни, о судьбе, ему вряд ли удалось бы уйти.

## 2

Хотя прокурор не хотел возвращаться памятью к тем страшным дням пятилетней давности, сегодня, как никогда за эти годы, он вдруг ясно вспомнил тот ранний междугородный телефонный звонок. Звонили ему домой, на Лахути. Взволнованный мужской голос, назвавший его по имени-отчеству, сказал:

— Беда, большая беда, товарищ прокурор. Убили Ларису Павловну, срочно приезжайте... — и тут же положил или уронил трубку.

Он не успел спросить: как — убили?! Где?! Но минут через пять, когда он лихорадочно собирался, телефон уже звонил непрерывно.

Вызвав машину, Азларханов сделал единственный звонок; работал у них в областной милиции толковый парень, капитан Джураев, сыскник от бога. Но жена Джураева ответила, что тот уже час назад вылетел на вертолете на место происшествия; значит, милиция уже была поднята на ноги. После первого звонка еще оставалась какая-то смутная надежда, что произошла ошибка или, если что и случилось с Ларисой, то, по крайней мере, жива, но после второго и третьего звонка он понял, что надеяться не на что — в таких случаях даже районные судмедэксперты точны в диагнозе.

Через три часа он был на месте — в самом дальнем районе области, хотя точно знал, что Лариса с коллегами работала неподалеку, но уже в другой республике, где ее тоже хорошо знали. Там местные археологи вскрыли крупное захоронение шестнадцатого века, и её пригласили как специалиста, — обнаружилось много хорошо сохранившейся домашней утвари из керамики.

У морга районной больницы, куда привезли Ларису, после того как ее обнаружил мальчик, случайно наткнувшийся на тело во дворе заброшенной усадьбы, прокурора поджидало все руководство района. Азларханов вошел в морг один и оставался там так долго, что капитан Джураев на всякий случай осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Прокурор стоял в изголовье жены и окаменело глядел то ли

на нее, то ли в пространство, все еще не веря в случившееся. Густой кровоподтек на левом виске и явно испуганное выражение лица говорили ему и без подсказки медиков, что смерть наступила почти мгновенно. «Я не уеду отсюда, пока не найду негодяев сам», — молча поклялся он жене и вышел к ожидавшим его людям.

— В нашем районе двадцать лет не было убийства, — удрученно сказал глава поселка.

Район, не имевший каких-либо серьезных промышленных предприятий и избежавший наплыва людей из других мест, и впрямь числился в благополучных, но до статистики ли было ему сегодня?

— Я думаю, что к вечеру выйду на след, — уверенно сказал капитан Джураев, когда они остались одни в комнате милиции, которую выделили специально для прокурора, и протянул ему цветную фотографию, сделанную «Полароидом».

На веранде сельской чайханы, на айване, покрытом грубым домотканым дастарханом, где лежала кисть винограда и стояла тарелка с парвардой, постным сахаром, сидели четверо стариков, перед каждым чайник и пиала. Живописные старцы, в глазах удивление. Отчего — он догадывался: Лариса вынимала из «Полароида» готовый снимок и дарила каждому из них, как тут не удивиться. «Полароид» помогал Ларисе устанавливать контакты с людьми на базаре, в чайхане или в частном доме.

— Я успел побеседовать с каждым из них, они выражают вам соболезнование, говорят — очень милая женщина, так много знает о нашем крае. Она выпила с ними чайник чая и все расспрашивала о Каримджане-ака, которому уже почти сто лет, а он до сих пор делает из глины игрушки. Ее интересовало, не работал ли он в молодые годы в русских мастерских на станции Горчаково, потому что старики уверяли, мол, родом тот из Маргилана. Вот и весь разговор. Она пробыла с ними почти час и, расспросив дорогу к дому Каримджана-ака, отправилась к нему.

— Как она попала сюда? — спросил прокурор, всматриваясь в снимок, словно пытаясь увидеть там, за ним, свою жену.

— Они вчера возвращались домой с раскопок в Таджикистане на «рафике» краеведческого музея. По пути подвезли какую-то женщину, которая и рассказала о старике, что живет тут в районе и делает потешные игрушки из глины, этим всю жизнь и кормится. Лариса Павловна и загорелась, сошла, машину задерживать не стала, — коллеги спешили домой, сказала, что зайдет в районную прокуратуру и попросит, чтобы как-нибудь ее отправили. До Каримджана-ака она



не дошла, но двор, где ее нашли в глухом переулке, по пути к нему.— Джураев тяжело передохнул.— Ясна мне и причина. При ней осталась сумка, а в ней триста восемьдесят рублей, судя по документам, взятые в подотчет в бухгалтерии, на случай, если придется что-нибудь приобрести для музея. Скорее всего, кто-то польстился на необычный фотоаппарат, пытался вырвать, а она оказала сопротивление, и тот, или те, со страху или по злобе ударили ее чем-то тяжелым и тупым по виску.

Прокурор невольно передернул плечами, словно воочию видел эту картину и слышал душераздирающий крик жены о помощи. Крик в глухом безлюдном переулке.

— У нее должен был быть с собой еще один фотоаппарат, более дорогой, западногерманский «Кодак»,— обронил Азларханов.— Она всегда брала с собой две камеры.

Джураев покачал головой...

— Этого я не знал. И никто мне о втором аппарате не говорил. «Кодака» при ней не оказалось, не было его и в сумке, где лежали деньги. Это меняет дело. Она сошла с «рафика» на автостанции, где в тот час было многолюдно. Человек, понимающий толк в аппаратуре, склонный к преступлению, увидев ценную вещь у хрупкой женщины, к тому же одинокой, мог пойти за ней следом. Но знающий цену «Кодака», скорее всего, не из местных. С «Полароидом» проще: его явная необычность могла привлечь и местного, это сужало, по-моему, круг поиска. Но если человек, которого мы ищем, пошел вслед за ней с автостанции, сейчас он вполне может гулять по Москве или Ростову, в любой точке нашей страны...— Тут Джураев осекся: — Амирхан-ака, клянусь вам, я добуду негодяя хоть из-под земли, такие преступления не должны прощаться...— и с покрасневшими глазами выскочил из комнаты.

Прокурор просидел в комнате час, другой,— телефон молчал, новостей не было. Он держал в руках фотографию и вглядывался в добродушные лица стариков, беседовавших с Ларисой всего шестнадцать часов назад, всего шестнадцать... И при этой мысли он как бы наперед почувствовал всю предстоящую горечь жизни, одиночество, пустоту, ибо знал, что до конца дней своих будет теперь прибавлять к этим шестнадцати сначала часы, затем дни, месяцы, годы... Ему вдруг так захотелось увидеть стариков, последних, с кем говорила его жена, увидеть без всякой цели, без намека на допрос, ибо ничего нового они ему сказать не могли — все, что нужно, уже выспросил дотошный Джураев.

Он выглянул в коридор,— у двери дежурил милиционер, так, наверное, распорядилось местное начальство, на всякий случай. Передал милиционеру фотографию, чтобы вернули ее хозяину,— он не хотел отнимать подарок жены; попросил собрать стариков в чайхане через полчаса.

Машина вернулась минут через десять, старики, оказывается, в чайхане с утра и готовы встретиться с ним. Но аксакалы были явно чем-то напуганы, и разговора не получилось, хотя он понимал, что вряд ли их напугал Джураев — не та школа, не тот стиль. Настораживало его и то, что они прятали свой испуг. Одно прояснилось: был у Ларисы и второй фотоаппарат, и они точно описали его. Значит, версия с человеком с автостанции могла быть верная.

Когда прокурор шел к машине, на высокой скорости подскочил милицейский мотоцикл. Сержант, не слезая с сиденья, выпалил:

— Поймали, товарищ прокурор. Поймали...

Прокурор прыгнул в кабину, и машина рванула с места.

В милиции толпился народ в штатском и в форме. Когда в узком коридоре появился Амирхан Даутович, толпа расступилась, растекаясь вдоль обшарпанных стен, и он шел как сквозь строй, но вряд ли кого видел, взгляд его тянулся к полковнику, стоявшему у распахнутой настежь двери в середине длинного безоконного прохода. Полковник широким жестом хозяина пригласил его в кабинет и торопливо, боясь, что его опередит кто-то из местных должностных лиц, миглом заполнивших помещение, выпалил:

— Признался, подлец, признался. Все бумаги подписал.

Посреди комнаты на стуле сидел неопрятного вида мужчина средних лет, по виду бродяга. Шум, гам, толчея в коридоре и в кабинете его словно не касались, отрешенный взгляд анашиста говорил о покорности судьбе, лишь бы его оставили в покое. Прокурор, лишь мельком глянув на задержанного, сказал собравшимся:

— Оставьте меня с ним наедине.

Люди нехотя освободили помещение.

Через полчаса Азларханов попросил зайти в кабинет начальника милиции. Полковник, не отходивший от двери все это время, переступил порог, заметно волнуясь.

— Послушайте, Иргашев, разве я когда-нибудь давал повод, потакал раскрытию преступлений любой ценой? Может, это практиковалось там, откуда вас перевели, но вы работаете у нас в районе



давно, пора бы и уяснить. Я не могу вас благодарить за рвение, даже если в данном случае оно касается меня лично. Признание, которое вы выбрали у этого несчастного, ничего не стоит. Что же до ваших методов — заглядывайте иногда в Уголовный кодекс, советую, иначе мы с вами не сработаемся.— Потом, после долгой паузы, от которой полковника прошиб пот, продолжил: — А этого человека определите на принудительное лечение и не числите его фамилию в резерве, чтобы «закрыть» еще какое-нибудь очередное преступление, память у меня крепкая, не советую вам испытывать ее.

Полковнику хорошо была знакома статья, которую имел в виду прокурор, когда говорил об Уголовном кодексе: именно из-за должностных злоупотреблений он с поста начальника областной милиции слетел сначала до поста руководителя городской службы, затем районной в городе, пока не докатился до сельской местности, что, впрочем, никак не отразилось на его погонах — может, оттого, что ему до сих пор так открыто, в лицо, никто не говорил о служебном несоответствии.

Едва за полковником закрылась дверь, в коридоре дружно прошагали к выходу сопровождающие его чиновники, захлопали во дворе двери машин, и площадь перед зданием быстро опустела.

В зарешеченное окно прокурор видел, как по двору тащился задержанный, он испуганно оглядывался, все еще не веря в свое освобождение, ждал: вот сейчас из какого-нибудь окна раздастся грозный окрик и наручники снова сомкнутся на его трясущихся руках, как бывало прежде, когда ему уже приходилось отвечать за чужие дела. И только дойдя до калитки и оглянувшись в последний раз, он неожиданно побежал, хотя жалкую дерготню больного человека вряд ли можно было назвать бегом. «В каждом человеке, даже таком, где до распада личности остался всего лишь шажок, живуч инстинкт самосохранения», — почему-то подумал прокурор и впервые почувствовал, как острая боль кольнула в сердце.

### 3

Наступил вечер, милиция опустела, исчез даже старшина, стоявший весь день у двери временного кабинета прокурора, тишина легла в длинном и мрачном коридоре бывшего барака. Только у входной двери, в комнате дежурного, то и дело раздавались звонки, но телефон перед Азлархановым молчал. Дежурный по райотделу время от времени

заносил в кабинет чайник чая, но заговорить не решался, не спрашивал его ни о чем и прокурор. Обхватив голову руками, он сидел, упершись локтями в залитый чернилами грязный стол, и, казалось, дремал, но это было не так: он вздрагивал от каждой трели звонка в конце коридора, от каждой проехавшей мимо милиции машины. Он ждал вестей от капитана, но от того не было сообщений с самого утра.

Скоро опустились легкие дымные сумерки, и во дворе милиции появился садовник со шлангом. Быстро и ловко он обдал мощной струей воды свободную от машин площадь, запылившиеся за долгий день розарии и даже нижние ветви мощных дубов, наверное, посаженных первыми жильцами этого мрачного, уходящего окнами в землю старого барака.

Прокурор не видел, как управлялся во дворе садовник, хотя все происходило у него под окном, но неожиданную свежесть из распахнутой настежь форточки он почувствовал. Наверное, он еще и потому особенно остро ощутил спасительную свежесть, что уже часа два-три чувствовал, как ему отчего-то не хватает воздуха, хотя прежде никогда не жаловался на здоровье, легко переносил жару и духоту.

У розария уже зажглись фонари, в ярком освещении жирно поблескивал свежeweымытый асфальт, над лужицами поднималась легкая пелена пара.

«Дождь, что ли, прошел?» — очнулся Азларханов, но тут же отменил эту мысль, дождь летом в южных краях большая редкость. Он поднялся из-за стола — при этом заныли затекшие ноги — подошел к форточке и, расстегнув ворот рубашки, жадно вдохнул свежий воздух. Потом подумал, что ему ведь ничто не мешает выйти из душного кабинета во двор, телефон он услышит — лишь бы позвонили.

Первая горячая волна от вымытого асфальта и освеженной земли прошла, и все вокруг уже не источало накопленный за день жар, как час назад, а дышало прохладой; в палисаднике, под окнами, и чуть дальше, у розариев, остро пахло землей и зеленью, как после дождя. «Волшебная сила воды!» — машинально отметил прокурор. Он стоял во дворе, напротив ярко освещенного зева распахнутых настежь дверей затихшей к ночи милиции, и вглядывался в темноту — не вынырнет ли вдруг из-за высоких кустов колючей живой изгороди ловкая и бесшумная фигура лучшего розыскника области Джураева, не раздастся ли шум подъезжающей машины, не засветятся ли фары вдалеке.

Дежурный районной милиции, застувивший в ночь, видел через окно, как областной прокурор вышагивал вдоль розария. Ему



нравилось, как тот по-мужски держался в горе, но ему еще больше понравилось, как тот отчитал сегодня начальника милиции, как поступил с бродягой. Милиционер был молод, заочно учился на юридическом факультете университета и, конечно, как многие юристы, мечтал стать прокурором. Потому и вглядывался он пристально в молчаливого прокурора, о котором был достаточно наслышан и от коллег по службе, и от товарищей по университету. Дежурный жалел, что должен всю ночь просидеть за столом, он знал, что сегодня все силы милиции, вплоть до работников вневедомственной охраны, брошены на розыск убийцы, и не сомневался, что сейчас, в эти минуты, несмотря на позднее время, идет напряженный поиск, и не только у них в районе или области.

Заступив на дежурство, он прочитал в журнале две телефонограммы, переданные капитаном Джураевым в Министерство внутренних дел республики и во всесоюзный уголовный розыск. Первая была зарегистрирована еще до приезда областного прокурора на место происшествия:

«Прошу обратить внимание на всех подозрительных лиц, имеющих при себе фотоаппарат «Полароид», делающий моментальные цветные фотографии».

И вторая:

«Разыскиваемый с «Полароидом» может иметь также и другой фотоаппарат — последней модели «Кодак».

«Жаль, нет пока никаких вестей,— подумал дежурный.— Как хорошо бы сейчас выйти и сказать: не волнуйтесь, товарищ прокурор, нащупали кое-что ребята, надо только ждать». Но не мог он сказать этого и, снова заварив свежий чай, взял стул и вышел к прокурору.

Ни от чая, ни от стула прокурор не отказался и, поблагодарив кивком головы, продолжал вышагивать вдоль забора. Но когда дежурный направился к себе, прокурор все же спросил:

— Нет ли вестей от капитана Джураева?

Милиционер сожалющее вздохнул:

— Пока нет, товарищ прокурор...— Затем, помедлив секунду — говорить или не говорить,— все же стал докладывать: — Час назад звонил лейтенант Мусаев, он из местных — его отрядили в помощь капитану Джураеву. Так вот, он с обидой сказал, что Джураев оставил его в дураках и без машины. А дело было так... Зашли они пообедать к Мусаеву домой. Джураев попросил вдруг гражданскую одежду, переделся очень простецки, под кишлачного парня. После обеда

они выехали на личной машине Мусаева, — был у них кое-какой совместный план, — но неожиданно Джураев попросил подъехать к автостанции. Пропадал он там минут двадцать, затем вернулся в машину и приказал лейтенанту, чтобы тот занял удобную позицию в чайхане при автостанции, и, если появится человек, приметы которого он довольно подробно описал, велел задержать того любой ценой. А сам он, мол, на машине поедет к вам, поставит обо всем в известность и тотчас же вернется на подмогу. Наказав не покидать пост ни при каких обстоятельствах, Джураев уехал. Наш Мусаев добросовестно просидел в чайхане семь часов, до самого закрытия, и понял, что капитан почему-то решил от него избавиться и что тому нужны были лишь «жигули» с местным номером. Вот и все, товарищ прокурор. А Джураев сюда не заезжал, как обещал нашему Мусаеву...

Но прокурор уже не слушал его. Что еще за трюки с переодеванием, угоном машины? Все это никак не походило на Джураева, он как раз из всех розыскников, — а там подобрались неплохие ребята, — меньше всего увлекался внешними эффектами, хотя результаты его работы поражали выдавших виды спецов. Отказаться от помощи местного человека? Казалось, не было в этом никакой логики. Да, не было логики, если бы это был не Джураев! «Значит, ему как раз местный чем-то мешал, — подытожил прокурор. — Ждать! Ждать!» — приказал он себе и продолжал вышагивать вдоль высоких кустов живой изгороди.

Неожиданно к зданию из темноты вырулила машина, на звук ее из дежурки кинулся милиционер. Волнения оказались напрасными: приехал районный прокурор и пригласил коллегу на ужин, но тот, перекинувшись с ним двумя-тремя словами, отказался.

Ночь прочно вступала в свои права: погасли в соседней махалле огни, угомонились поселковые псы и последние магнитофоны, все реже и реже шум какой-нибудь случайной машины нарушал тишину поселка. Заметно посвежело, и Амирхан Даутович вернулся в свой временный кабинет. «Теперь уже до утра не будет вестей», — решил он, поглядев на упорно молчавший телефон, и надолго задумался, провалился памятью в какой-то давний счастливый день с Ларисой. Потому, верно, не услышал нарастающего шума двигателя. И только когда свет фар влетевших во двор «жигулей» полыхнул по стеклам, Азларханов, ослепленный на миг, услышал визг тормозов и одновременно, еще из машины, голос капитана, который сегодня прокурор узнал бы из тысячи.



— Закрой ворота на замок, сейчас налетят родственнички! — громко приказал он дежурному. — И не открывай никому с пол часа. Слышишь, никому — даже полковнику Иргашеву. Скажешь, ключ забрал Джураев, пусть лезут через забор, если кому удастся. — И, уже обращаясь к кому-то еще, велел: — А вы вытряхивайтесь из машины и живо в тот кабинет, где горит окно. Там вас ждут, и очень давно.

Не успел прокурор очнуться от воспоминаний, вернуться в настоящее, как Джураев энергично втолкнул в комнату двух парней. Каждый жест, движение капитана говорили, что он почему-то очень спешит.

— Посмотри за ними, и пусть не разговаривают! — бросил Джураев появившемуся в дверях дежурному и жестом пригласил прокурора в соседний кабинет.

Амирхан Даутович включил в комнате свет и, видя, как устал, издергался розыскник, предложил ему сесть. Но тот жестом отказался от предложения, плотнее прикрыл дверь.

— Нет, товарищ прокурор, садитесь вы, вам предстоит нелегкие часы. Я свое дело сделал, и, пожалуйста, выслушайте меня, не перебивая, у нас очень мало времени. Сейчас примчатся десятки машин, налетят родственники, друзья и начальство, несмотря на полночь, и вряд ли тогда они дадут мне возможность остаться с вами наедине.

Он чуть ли не силой усадил прокурора в драное кресло, протянул ему фотографию.

— «Полароид»?! — вырвалось у прокурора изумленно.

— Тише! — предупредил его капитан. — Да, «Полароид».

С прямой фотографии прокурору улыбались два парня, стоявшие в обнимку. Один был рослый, перекормленный, барственный-надменный. Другой, не достававший ему до плеча, — типичный дистрофик, с таким подобострастным лицом, что казалось, он вот-вот сорвется с фотографии и бросится исполнять любое желание своего господина. И мысль о какой-то дружбе, взаимной привязанности между ними как-то не возникала, сколько ни вглядывайся в их счастливые лица.

— Запомнили? — почему-то настойчиво переспросил капитан.

Прокурор кивнул головой; именно эти парни сейчас находились в соседней комнате. Капитан взял фотографию и, на глазах прокурора изорвав на мелкие кусочки, положил их к себе в карман.

— Будем считать, что фотографии у нас нет. Я дал слово, что снимок нигде фигурировать не будет, иначе этой семье здесь не жить,

но это вы сами скоро поймете. Главное, что убийцы у нас в руках, и сейчас, пока не понаехали их защитники, надо в присутствии дежурного успеть провести первый допрос. У меня такое впечатление, что местная милиция вышла на них гораздо раньше меня и они о чем-то уже столковались. В доме Бекходжаева, того, мордатого, мелькнуло несколько важных лиц, мне кажется, я даже слышал голоса полковника Иргашева и районного прокурора Исмаилова, но я на этом не настаиваю. Несмотря на поздний час, находился там и второй парень со снимка. Его я собирался взять первым и допросить одного, но дома его не оказалось, мать с гордостью объяснила, что два часа назад приехал на мотоцикле его друг Анвар, сын очень больших людей, и пригласил в гости, мол, они сегодня черного барана зарезали<sup>1</sup>.

— Кто такие Бекходжаевы? — быстро спросил прокурор.

— Суюн Бекходжаев — председатель хлопководческого колхоза-миллионера, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета республики. У него еще шесть братьев и две сестры, которых он вырастил и поставил на ноги, и всех братьев и сестер его вы хорошо знаете, они в области на больших должностях. Но и это не все: они из самого знатного и влиятельного рода в здешних краях, и много людей поднялось благодаря финансовой помощи Суюна Бекходжаева.

— А вы, капитан, из рода ходжа<sup>2</sup>? — неожиданно спросил прокурор.

Джураев улыбнулся:

— Разве похож? Когда-то я любил девушку, оказавшуюся из очень знатного рода. Нам не разрешили обручиться ее родители и братья, они с друзьями много раз избивали меня до полусмерти. Мужчина из знатного рода может себе позволить жениться на простолюдинке, а вот женщине никогда не разрешат выйти замуж за неровню. И вот тогда я на собственной судьбе... — Джураев вдруг оборвал себя на полуслове. — Нам пора, уже едут.

В тишине слышалось, как вдали надсадно ревели моторы: машины — оба это знали — спешили сюда.

Они вернулись в смежную комнату. Не успел капитан приготовить бумаги для допроса, как у высокой милицейской ограды

<sup>1</sup> Черного (или коричневого — но не белого) барана в прежние времена подносили мутле, судье и т. д.

<sup>2</sup> Х о д ж а — человек, совершивший паломничество в Мекку, то есть, по мусульманским понятиям, «очистившийся». В данном случае подразумевается «чистый» — богатый и уважаемый род.



появились первые машины, лучи фар скрестились на единственном окне, где горел свет. Увидев замок на воротах, приехавшие загомонили, закричали, стали нажимать на клаксоны, зазвучала брань. Перекрывая шум, послышалось уверенное и возмущенное:

— Что, если убили жену прокурора, можно допускать произвол, хватать наших детей среди ночи?

— Знакомьтесь, это сам Суюн Бекходжаев, — объяснил капитан, обращаясь к прокурору.

Шум, гвалт, автомобильные гудки подняли на ноги махаллю, залаяли собаки, зажглись во дворах огни, кто-то уже молотком сбивал замок. А вот и зычный бас полковника Иргашева:

— Немедленно откройте ворота! Приказываю открыть ворота!

Но дежурный неподвижно стоял в дверях, смотрел на бледного парня, дававшего показания.

— Студент юридического факультета? — поразился прокурор.

— Да, отец сказал: прокурором буду, — промямлил трясущимися губами Бекходжаев-младший.

Капитан пытался остановить прокурора, чтобы успеть задать свой главный вопрос, но тот не слышал его: поднявшись над столом, вдруг закричал:

— Ты — будущий юрист?! — Затем, словно спохватившись, сел и сказал капитану: — Продолжайте.

Но не успел Джураев задать новый вопрос, Азларханов встал из-за стола и подошел к окну. Прямо напротив, у ворот, бесновалась родня и дружки Бекходжаевых; увидев прокурора в окне, толпа зашумела пуще прежнего. Прокурор повернулся и, оказавшись между капитаном и допрашиваемыми, стал медленно надвигаться на дружков, те испуганно закричали стульями.

Джураев почувствовал неладное; зная, что прокурору нельзя допускать ни малейшей ошибки, он метнулся к нему. Когда тот поднял руку, то ли замахаясь, то ли желая схватить за грудки закричавшего от страха Анвара Бекходжаева, капитан уже был рядом, готовый предупредить любое опасное движение прокурора. Но Амирхан Даутович с поднятой рукой вдруг стал медленно валиться на него.

Капитан подхватил Азларханова, не давая упасть, и крикнул дежурному:

— Срочно «скорую»! — И добавил вдогонку: — Спецсвязь с Ташкентом на этот телефон! — А сам, сунув под голову прокурора чужой чапан, осторожно уложил его на полу.

Вместе со «скорой» из районной больницы, находившейся неподалеку, во двор милиции ворвалась и толпа, но дежурный по приказу Джураева пустил в здание только должностных лиц, которых в такой поздний час оказалось неожиданно много. Тут же раздался звонок из Ташкента по спецсвязи.

— Это капитан Джураев,— докладывал розыскник.— Убийца задержан, подробности через час-полтора в Ташкенте. А сейчас немедленно свяжитесь с санитарной авиацией и вышлите к нам в район самолет, десять минут назад у областного прокурора случился тяжелый инфаркт.

— Зачем самолет, можно к нам в районную больницу, можно в областную,— недовольно заметил полковник Иргашев, как только капитан положил трубку. Держался он теперь куда увереннее, чем днем.

Джураев внимательно оглядел полковника, словно чувствовал, что впереди им еще предстоит долгая борьба, и, чеканя слова, ответил:

— Ни у вас, ни в области я прокурора не оставлю, передам с рук на руки врачам в Ташкенте.

#### ГЛАВА IV. БЕКХОДЖАЕВЫ

**В**се эти годы прокурор ощущал посмертную вину перед женой, ведь он даже похоронить ее не мог — в последний путь провожали ее друзья, коллеги по музею, его товарищи по прокуратуре, но главная тяжесть пала на капитана Джураева: он доставил Азларханова на санитарном самолете в кардиологический центр республики, а убитую — в осиротевший дом на Лахути. Он же сфотографировал для Амирхана Даутовича похороны,— так в последний раз сослужили службу отыскавшиеся «Полароид» и «Кодак».



Приехал прокурор на могилу жены поздней осенью, в дождливый слякотный день, прямо из аэропорта, когда через два с половиной месяца его выписали из клиники в Ташкенте. Выписали с весьма суровыми предписаниями. Была у него на руках и путевка в кардиологический санаторий в Ялте. Лечение следовало еще продолжать и продолжать, ни о какой работе не могло быть и речи, хотя он по-прежнему занимал пост областного прокурора. Как ни пытались врачи охранять его от волнений, прокурор, как только пришел в себя, конечно, узнал, как развивались дальнейшие события. Узнал он кое-что новое и от Джураева, когда капитан привез ему в больницу фотографии с похорон жены.

Полковник Иргашев обвинил Джураева в превышении своих полномочий, ведении розыска недозволенными методами, и капитана отстранили от расследования.

Дело для суда затруднений не представляло. Преступник, которому до совершеннолетия не хватало двух месяцев, в содеянном полностью сознался. Сказал, что это он «задумал и осуществил разбойное нападение на искусствоведа Турганову». Нет, убивать ее он не собирався, все получилось непреднамеренно. Когда он сорвал фотоаппараты и побежал, потерпевшая кинулась за ним, а он, отбиваясь тяжелым мотоциклетным шлемом, случайно попал ей в висок. Его товарищ Анвар Бекходжаев, владелец мотоцикла «Ява», на котором они догнали женщину и, совершив разбойное нападение, потом уехали, от этой затеи его отговаривал, но желание завладеть диковинным фотоаппаратом было настолько велико, что он, Худайкулов, пригрозил приятелю ножом, и Бекходжаев был вынужден подчиниться.

На вопрос судьи, почему он в момент задержания оказался в доме Бекходжаевых, обвиняемый объяснил: мол, он знал, что ведутся поиски убийцы, и боялся, что товарищ может его выдать, потому пошел к нему домой и еще раз пригрозил убить, если тот кому-нибудь проговорится. Он представил суду и нож, которым якобы угрожал другу. Суд, учитывая непреднамеренность содеянного — что подтвердил и свидетель, студент юридического факультета Бекходжаев, — а также то обстоятельство, что обвиняемый не достиг совершеннолетия и искренне раскаивается в преступлении, учитывая и его семейное положение — на его содержании находится тяжелобольная мать, — приговорил убийцу к десяти годам. Следствие и суд провели оперативно, в кратчайшие сроки. Правда восторжествовала, преступник найден и осужден, едва не пострадавший от руки негодяя студент

Бекходжаев приступил к занятиям на третьем курсе университета, неожиданно обретя опыт свидетеля в суде, который может пригодиться ему в дальнейшей практике будущего юриста.

Человеку безучастному, постороннему, конечно, могло бы показаться, что справедливость и в самом деле восторжествовала, зло наказано быстро, оперативно, чем обычно суд похвалиться не может. Заседание суда было открытым, хотя открытость эта, если разобраться, тоже имела свою историю. Суд по разным причинам трижды откладывали, и коллегам Ларисы Павловны, приезжавшим на заседание, приходилось всякий раз возвращаться назад в город рейсовым автобусом, и с каждым разом их становилось все меньше и меньше — путь все-таки не близкий, да и рабочий день как-никак. А затем вдруг процесс состоялся, но на день раньше объявленного срока, и тому тоже нашлась вроде объективная причина — пожелай кто-нибудь выразить недовольство, не придерешься. И зал был полон, — однако людей, действительно равнодушных к судьбе Ларисы Павловны и находящегося в критическом состоянии прокурора, здесь почти не было. Зато наехали люди из области — родные дяди и тети свидетеля Анвара Бекходжаева, все до одного, а также прибывшие с ними на белых и черных «Волгах» сочувствовавшие беде, в которую попал несмышленный студент, сын уважаемых родителей. Было бы, конечно, несправедливо утверждать, что в зале все поголовно переживали за студента, боялись, как бы он из свидетелей не перекочевал на скамью подсудимых. Нет, местный люд хорошо знал, кто на что способен, и без помощи суда, но им хотелось увидеть, как выпутается на этот раз из истории всемогущий Суюн Бекходжаев. Он уже не один год, подвыпив, орал на колхозников: «Закон — это я!» — и показывал жирным пальцем на Звезду Героя и депутатский значок. И вот представился редкий случай проверить, не переоценивает ли свои возможности их председатель. Хотя мало кто сомневался в силе Бекходжаевых, но иным казалось — а вдруг? Суд все-таки, и убили не какую-то темную кишлачную бабу, за которую и заступиться толком некому, а жену областного прокурора, говорят, ученую, известную даже за границей.

А вышло так, как и судачили люди по углам, правда, шепотом и с оглядкой, не дай бог дойдет до героя-депутата...

Присутствовал на суде и капитан Джураев. Его, конечно, никто специально о заседании не предупредил, не извещал, более того — его отстранили от дела, недвусмысленно посоветовав подальше



держаться от этого случая. Правда, официально все же поблагодарили и поощрили за скорую поимку преступников. Но его, опытного розыска, трудно было сбить с толку: сценарий, который разыграют на суде, он уже знал наперед.

На суд он явился, не привлекая внимания, спрятав под просторным плащом небольшой японский магнитофон. Трех кассет хватило, чтобы записать катившееся без сучка и задоринки судебное заседание.

И все это время Джураев не спускал глаз с нужного ему человека. Этого человека капитан «вычислил» еще в день убийства и обязательно встретился бы с ним в ту же ночь, если бы не приключилась беда с прокурором.

После суда капитан не сразу вернулся в город. До вечера он пропал на базаре, слонялся из чайханы в чайхану; везде судачили о сегодняшнем суде. Последние часы, пока не стемнело, он провел в чайхане при автостанции, куда когда-то спровадил порядком струсившего лейтенанта Мусаева. Жуткий портрет гипотетического убийцы он тогда нарисовал лейтенанту; впрочем, ничего не сочинял — в прошлом году взял именно такого на одной квартире. А что ему оставалось делать? Он быстро понял, что старики со снимка Ларисы Павловны видели кого-то у чайханы, но боялись назвать, а это могло означать только одно — человек этот местный. Из области ему сообщили, что в райцентре постоянно не проживает ни один уголовник, ни один рецидивист, вернувшийся из мест заключения, а только бывшие расстратчики да казнокрады. Значит, боялись они не местного человека с преступным прошлым, а того, с кем связываться было нежелательно. Так выстроил свою версию Джураев в день поимки преступников и понял, что лейтенант Мусаев, которого в округе знает любая собака, ему не помощник, и даже наоборот — в его присутствии вряд ли кого расположишь к откровенности.

Он тогда сразу обратил внимание и на дом на взгорке, наискосок от того двора, где нашли убитую, — с его веранды хорошо просматривались и улица, и весь двор за дувалом. Но к дому этому он вернулся позже, уже вечером. Время бежало, а у Джураева не было никакой ниточки, за которую можно было бы зацепиться, и капитан решил еще раз начать все с начала — со встречи с мальчиком, нашедшим Турганову. Ему казалось, а точнее, хотелось, чтобы именно мальчик забрал второй фотоаппарат, «Кодак», если он находился у нее в сумке.

Через несколько минут разговора капитану стало яснее ясно, что мальчик никакого фотоаппарата не видел, хотя, конечно, он его так в лоб не спрашивал. Чтобы как-то оправдать свое вторичное появление в доме, капитан попросил поподробнее рассказать, как тот нашел убитую женщину. Может, в такой вот интуиции и таился его талант сыщика. В который раз мальчик говорил: играли уже в поздних сумерках в футбол, тут, прямо на улице, мяч залетел во двор, и старшие ребята, как обычно, послали его за мячом...

Джураев на всякий случай дотошно расспрашивал: какие мальчишки, после чьего удара мяч улетел за дувал... И тут-то мальчишка вспомнил, что мяч поначалу влетел во двор напротив, к Суннату-ака, тот как раз копался у себя в огороде. Обычно он сразу возвращал мяч ребятам, перекинув рукой через дувал, а тут запузырил его ногой во двор через дорогу и добавил еще: «Ищите теперь во дворе бабушки Раушан, пока окончательно не стемнело». И как только нашли убитую, тут же набежали взрослые, и кто-то сказал, что нужно позвонить в милицию. Телефон на этой улице был только у Сунната-ака, но он, оказавшийся во дворе со всеми, заявил, что телефон не работает, и попросил ребят на велосипедах доехать до милиции. Вроде несущественная деталь, но восточному человеку она говорит о многом: здесь поостерегутся сообщить неприятную вест, даже если к ней и непричастны, или, как говорят на языке юристов, имеют стопроцентное алиби. Мог, мог видеть со своего двора случайно Суннат-ака то, что совершилось в этот день на пустынной улице, может, хоть самый конец, может, крики слышал, оттого и направил ребят во двор, чтобы наткнулись на убитую. Но Сунната-ака в тот час дома не оказалось, а чуть позже Джураев уже вышел на фотографию, сделанную «Полароидом», и точно знал, кто убил жену прокурора. В суде Джураев не спускал глаз с Сунната-ака — вроде подтверждалась и вторая его версия. Вот к нему-то и направился капитан, как только стемнело...

Суннат-ака оказался человеком вовсе не робким, как предполагал вначале капитан, встретил он его без всякого замешательства и суеты, хотя ночной гость, предъявляющий милицейское удостоверение, заставит растеряться любого, тем более человека сельского. Он провел капитана на открытую веранду, откуда действительно хорошо проглядывались улица и двор напротив, и усадил за стол, над которым свисала яркая, без абажура, лампочка. Потом, тут же извинившись за оплошность, сказал:



— Наверное, здесь вам будет гораздо удобнее,— и показал на низкий айван в саду.

«Пожалуй, так будет удобнее нам обоим»,— согласился про себя Джураев, потому что с улицы освещенная веранда дома на взгорке тоже хорошо просматривалась.

Суннат-ака, захватив со стола чайник и две пиалы, подсел на айван, с вызовом и нескрываемой усмешкой заявил:

— Я слушаю вас, человек закона.

Но капитан от него лучшего приема и не ждал, опасался, что и во двор в такое время могут не пустить, поэтому сделал вид, что не заметил иронии, и начал издалека:

— Суннат-ака, я не стану вас спрашивать, почему вы навели ребят на двор, где нашли убитую, почему не позвонили в милицию, хотя телефон у вас работал — это я знаю точно, потому что звонил к вам и разговаривал с вашей женой. Понимаю, вам не хотелось иметь дело с милицией. Не знал я одного, когда и как вы узнали или увидели, что во дворе напротив находится убитая женщина. Может, это случилось за час перед тем, как ребята начали играть в футбол, а может, несколько раньше, а может, даже в тот же час, когда ее убили, с вашей веранды улица и усадьба Раушан-апы как на ладони — в этом я убедился сейчас еще раз. Так вот, до сегодняшнего дня я не мог ответить на вопрос, что же вы знаете об этой истории: какую-то малость или все.

— И почему же вы прозрели именно сегодня? — опять же с вызовом, но без всякого замешательства спросил хозяин дома. Он протянул руку и налил чаю ночному гостю.

Джураев кивком головы поблагодарил его, отпил глоток.

— Сегодня я был в суде и все время наблюдал за вами. Происходящее в зале меня не интересовало, я знал ход заседания наперед, к тому же я все записал на магнитофон.

— И чем же я вас заинтересовал?

— Очень любопытна была ваша реакция на некоторые показания, например, вот на это,— и капитан, достав портативный магнитофон, включил то место, где судья задавал вопросы свидетелю.

— Какое имеет значение, как я реагировал в суде, когда все уже ясно. Убийца ведь пойман и осужден? — не то спросил, не то подытожил, закругляя разговор, Суннат-ака, но былой неприязни в его голосе уже не было.

— Ну, положим, то, как вы реагировали, может и не иметь значения, но то, что вы знаете, имеет. Ваша реакция меня убедила,

что не Азат Худайкулов затеял разбойное нападение, и не он, пусть даже по неосторожности, убил жену прокурора.

Суннат-ака зло рассмеялся:

— Да, нечего сказать, проникательные люди стоят у нас на страже закона и порядка! Вы что же, считаете, я тут один сомневался? Вы что, всерьез думаете, что Азат мог угрожать, заставлять и даже поднять нож на сына Суюна Бекходжаева? Да он глаз на него не смеет поднять в самом сильном гневе, он у него в холуях чуть ли не с пеленок. Умные люди рассудили здраво: зачем отвечать вдвоем, когда лучше одному, к тому же несовершеннолетнему. Конечно, наобещали Азату, что не оставят в беде. А тому почему не поверить, если видит, что все идет, как и разыграли у него на глазах. Значит, и его вытащат потом, года через два-три, как только история утихнет. Понятно, не задаром выручал дружка — Бекходжаевы люди не скупые, тем более, когда им это позарез надо.

— А мне казалось, Суннат-ака, вам, человеку верующему, уважаемому сельчанами, дорога правда, истина, справедливость... — тихо обронил капитан.

Суннат-ака сперва вроде растерялся от этих слов, но затем встал, давая, видимо, понять, что считает разговор оконченным, и, не скрывая неприязни к непрошеному гостю, сказал:

— Почему это вам, образованным да власть имущим людям, всегда нужно на борьбу за справедливость выставлять наперед себя нас, простых людей? Не по совести это...

Джураев слушал, не возражая, не прерывая. А Сунната-ака словно прорвало:

— Как вы сами считаете, поняли бы меня сегодня на суде, если б я вдруг встал и выложил все то, что вы так ладно придумали? Мой дед, мой отец жили под ними, и я живу под Суюном Бекходжаевым, и дети мои, как я убедился сегодня, будут жить под Анваром Бекходжаевым. А пока, как мне их прокормить, — а у меня их шестеро, — зависит только от председателя. И я должен встать на дороге их сыночка Анвара? Да вы понимаете, чего вы хотите? Ладно, пусть я, по-вашему, человек слабый, безвольный, трус, как вам будет угодно, но я уверяю вас, здесь не найдется ни одного человека, который поступил бы так, как вы добиваетесь. И не вините строго нас — ни меня, ни других односельчан — не мы в этом виноваты. Наведите между собой, наверху, порядок, покажите нам другой, действительно народный суд, тогда, может,



и мы поднимемся с колен, скажем свое слово правды. Я все сказал, больше мне добавить нечего... Так что уходите.

Капитан нехотя поднялся и, не попрощавшись, двинулся к выходу. Не успела захлопнуться за ним тяжелая дверь в высоком дувале, как тотчас погас во дворе свет, и растерянный гость остался в крошечной тьме. Он долго стоял, прислонившись к дувалу, так был подавлен. Когда-то он думал, что покорность народа — благо. Сейчас, выйдя со двора Сунната-ака, он понял, что это беда.

## 2

Вот о чем вовсе не хотелось бы рассказывать прокурору в тот вечер в «Лидо», если бы он оказался за столом с бывшими коллегами. Но любой разговор вряд ли не коснулся бы убийства Ларисы Павловны, которую все они наверняка знали. А следующий вопрос, естественно, был бы к нему: как он оказался здесь, в «Лас-Вегасе»? Уж кому-кому, а его коллегам было известно неофициальное название городка. И вновь пришлось бы возвращаться к тому сырому, слякотному вечеру поздней осени пять лет назад, когда он, возвратившись после инфаркта из ташкентской больницы, утопая в грязи, покидал унылое, донельзя запущенное городское кладбище...

С самого утра, не прекращаясь ни на минуту, моросил дождь. Подъехав к воротам, прокурор оставил машину внизу у дороги, а на кладбищенские холмы поднялся пешком. Шофер напомнил ему про зонт, но он подумал — есть в этом что-то оскорбляющее память Ларисы. Он даже шляпу оставил в машине, — ему казался нелепым этот жест: подойдя к могиле, снять шляпу, а затем вновь ее надеть. Ведь так здороваются с живыми.

Затяжные осенние дожди размыли холмик, тяжелая желтая глина просела, следовало бы подсыпать. На фанерном щите в изголовье можно было разобрать только даты рождения и смерти, написанные фломастером, остальное слизали дожди, — годы, отпущенные судьбой его жене. Там же, на завалившемся вправо щите, висели еще два жестяных венка с истлевшими черными лентами — наверное, от прокуратуры и музея. «До чего убого, казенно, — тоска сжала сердце прокурора. — И при жизни мало что успеваем дать человеку, а такие кладбища — насмешка над памятью». И тут он на миг представил, как мотался, искал, кланчил, заказывая гроб, Эркин Джураев, как,

может быть, потом сколачивали его из досок какого-нибудь отслужившего забора или сарая... Он так ясно увидел эту картину, как хоронили Ларису, что неожиданно заплакал, в первый раз с того проклятого утра, когда ему сообщили, что её больше нет...

Среди всей этой убогости, грязи, заброшенности любые слова казались неуместными, и он, так ничего и не сказав жене на их горьком свидании, молча побрел к выходу. Погруженный в свои мысли, он не замечал ни дождя, ни того, что уже сильно промок.

Недалеко от выхода с кладбища он вдруг поскользнулся на мокрой глине, нелепо взмахнул руками и упал. Встал — и упал снова. Но во второй раз уже не смог подняться, почувствовал, как сердце знакомо подкатилось к горлу, и с неожиданным облегчением обреченно подумал: «Ну, вот и все, конец! Прости, милая, что не защитил, не уберег... не покарал твоего убийцу. Прости за пошлость железных венков, за фанерный щит без имени... Прости, что в последние твои часы на земле не был рядом с тобой и в твоей могиле нет горсти моей земли...»

На миг он представил холодные ветреные ночи на этих холмах, как гремят у изголовья, тревожа ее покой, ржавые венки, и от бессилия что-либо изменить заплакал снова. Потом, как ему показалось, что-то закричало в нем: «Нет!!» — и он из последних сил пополз к выходу. Он молил у судьбы месяц, только месяц, чтобы не осталась на земле безымянной могила его любимой жены. Это последнее желание — выжить сейчас во что бы то ни стало, наверное, и спасло его.

Моросил дождь, сгущались сумерки, по разбитой машинами и повозками грязной дороге пустынного кладбища полз человек — ему необходимо было выжить.

Шофер, задремавший в тепле машины, очнулся, — кладбище на горе потонуло во тьме, ни единого огонька, и тишина кругом, только шелест дождевых струй убаюкивал монотонно. Он понял, что с прокурором что-то случилось. Привычным жестом потрогал в кармане куртки тяжелый пистолет и бегом кинулся к кладбищу. У самого выхода наткнулся на Азларханова, быстро нащупал еле пробивающийся пульс, не медля, поднял прокурора и потащил его к машине...

И снова реанимационная палата, затем кардиологическое отделение областной больницы, где его лечили и от тяжелой пневмонии, — еще два месяца между жизнью и смертью. Через месяц, когда врач разрешил навещать больного, Азларханов попросил, чтобы к нему заглянул начальник городского отдела ОБХСС. За все годы своей



работы прокурор ни разу не обращался к тому ни с какой просьбой, хотя прекрасно знал, какими безграничными возможностями обладал этот щедушный человек по прозвищу Гобсек, занимавший свой пост лет двадцать. Начальник отдела появился в палате прокурора в тот же день, и не без опаски: может, решил, что какая-нибудь со знанием дела написанная анонимка поступила. Но после первых же слов больного облегченно вздохнул: просьба прокурора выглядела пустяком, и он был рад, что представился случай оказать услугу самому неподкупному Азларханову.

На другой день в палату провели двух молодых людей, по внешности братьев; это, как оказалось, и были известные в городе мастера, братья Григоряны. Держались оба с достоинством, больному выказали подобающее уважение; с первого взгляда поняли, что прокурору действительно худо, и потому слушали стоя, не перебивая.

— Наверное, вам уже объяснили, зачем я попросил вас прийти? Братья молча одновременно кивнули.

— У меня нет никаких предложений, никаких пожеланий. Я очень надеюсь на ваш вкус, ваше мастерство, ваш талант. Одно могу сказать вам, как мужчинам: я очень любил ее...— И он протянул им фотографии жены.

— Мы хорошо ее знали, и она нас знала, мы ведь скульпторы, да вот как сложилась жизнь...— Потом, видимо, старший, после паузы продолжил: — Мы уже были утром на месте. Несмотря на убожество кладбища, место для могилы выбрано неплохое, выигрышное для такого памятника, который мы с братом уже представляем... Положитесь на нас, не переживайте, все сделаем как надо, и с вашего позволения заберем эти фотографии...— Братья, переглянувшись, направились к двери.

— Одну минуту,— остановил их слабым жестом Азларханов.— Сколько это будет стоить?

Братья назвали сумму, не маленькую, но гораздо меньше, чем стоила такая работа. Прокурор улыбнулся и протянул приготовленный заранее конверт.

— Вот возьмите, расчет сразу... Знаете мое положение, сегодня жив... Здесь ровно в три раза больше, чем вы сказали...

Братья хотели было вскрыть запечатанный конверт, но он снова остановил их:

— Не надо. Мы не дети,— всякий труд, тем более такого рода, должен хорошо оплачиваться. Особенно если хочешь получить

что-то достойное. Ну, а человеку, что отыскал вас по моей просьбе, можете назвать другую сумму, вашу, я не буду в претензии...

Братья понимающе улынулись и тихо вышли из палаты.

Прокурор закрыл глаза. Успел все же... Хорошо, что успел.

3

В доме на Лахути прокурор появился только спустя пять месяцев после того утреннего звонка в конце августа, когда ему сообщили о смерти Ларисы. Шла вторая половина января, сыпал мелкий снежок, на проезжей части дороги быстро превращавшийся в грязное месиво, но сад во дворе был красив. Увидев голубую ель, он с грустью отметил, что впервые она стоит на Новый год не наряженной.

Прокурор оглядел не укрытый на зиму виноградник: кое-где еще висели грозди не опавшего, не убранного по осени винограда, особенно живучим оказался сорт «Тайфи», — красные, слегка пожухлые кисти еще дожидались пропавших хозяев. Слабые карликовые деревья впервые встречали зиму не утепленными, и Азларханов подумал, что если и выживет сад — только волею случая; впрочем, это он относил и к себе. Лужайки заросли сорной травой, кусты живой изгороди нестрижены. Сколько труда уходит, чтобы что-то сделать, создать, и как мало нужно, чтобы все пошло прахом...

Он медленно прошел по дорожкам сада, засыпанного пожухлой осенней листвой, пытаясь воскресить какое-нибудь давнее, счастливое воспоминание, но это ему не удалось. Сорвав крупную кисть «Тайфи», вошел в дом, ставший теперь словно чужим...

Через три недели он улетел в Крым, — после двух инфарктов подряд прокурор нуждался в санаторном лечении и постоянном надзоре опытных врачей.

Крым пошел ему на пользу, — здесь он воспрянул духом и уже не чувствовал себя обреченным, как в тот день, когда впервые появился у себя во дворе после пятидесятидневного вынужденного отсутствия. В середине февраля, когда он приехал в Ялту, следов зимы уже было не сыскать — все шло в цвет, дурманяще пахло весной, морем. С гор, с виноградников «Массандры» легкий ветерок приносил в город запах пробудившейся к жизни земли. Наверное, эта неодолимая тяга всей окружающей природы к росту, к жизни, цветению



сказалась и на настроении прокурора. Он подолгу гулял в одиночестве по набережной, вглядывался на причалах в названия кораблей. Но все они, как видно, были спущены на воду недавно, пять-десять лет назад, а ему хотелось встретить хоть один корабль-ветеран, на который он мог завербоваться когда-то в юности. Странно, казалось бы, море и корабли должны были вызывать в нем ностальгию — как-никак четыре года отдано Тихому океану, — но из той прошлой жизни помнилось лишь одно: там, на флоте, он дал себе клятву непременно стать юристом и посвятить свою жизнь правосудию. Когда-то, много лет назад, он вглядывался с палубы эсминца в почти невидимый за туманом берег и с волнением думал о том, как сложится дальше его судьба. Теперь он тоже подолгу стоял на разогретом солнцем берегу, вглядываясь в уходящую за горизонт морскую ширь, и тот же вопрос мучил его десятилетия спустя.

После короткой беснежной зимы вновь ожили кафе, вынесли на набережную легкие пластиковые столы. Прокурор даже облюбовал одно такое — «Восток» и заглядывал туда сразу после обеда. Народу было немного, и вскоре ему уже привычно ставили на стол бутылку минеральной воды и стакан красной крымской «Алушты», что предписали курортные врачи после тяжелой пневмонии. Он сидел тут, греясь на солнышке, не спеша выпивал свой стакан вина, разбавляя его минеральной водой, чем вызывал удивление малочисленных посетителей. Изредка перебрасывался с соседом фразой-другой, но предпочитал одиночество. Что-то стариковское было в этих долгих часах раздумий на открытой веранде «Востока», напротив главного причала порта, и человеку, знавшему прокурора раньше, бросилось бы в глаза, как резко постарел он за эти последние полгода, каким рассеянным стал его взгляд.

Но взгляд его, заблудившийся в морских просторах, скорее всего, видел вовсе не силуэты уходящих к Босфору кораблей. Может быть, он блуждал мысленно по тем кладбищенским холмам, где сейчас братья Григоряны трудились над памятником его жене. Нет, ни о районном суде, ни о «свидетеле» Анваре Бекходжаеве прокурор не забывал, но он старательно гнал от себя эти мысли, понимая, как еще физически слаб для борьбы. С трудом выкарабкавшись из двух подряд инфарктов, он боялся не третьего, — он должен был укрепить сердце, чтобы оттянуть третий, хотя бы ровно настолько, сколько ему потребуется времени для схватки с кланом Бекходжаевых. Он помнил, как милостива оказалась к нему судьба там, на залитом дождем

осеннем кладбище, и верил, что она предоставит ему еще один шанс, других желаний и просьб к Всевышнему у него не было.

В марте, когда до окончания курса лечения оставалось дней десять, прокурор неожиданно получил письмо от капитана Джураева. Что и говорить, грустное и тревожное письмо. Капитан писал о том, что полковник Иргашев пошел на повышение, возглавляет теперь областную милицию и стал его, Джураева, непосредственным начальником. Одновременно поднялся и районный прокурор Исмаилов, державший на контроле дело об убийстве, — он тоже занял немалый пост в городской прокуратуре. Хотя капитан никак не комментировал свое сообщение, прокурор понимал: клан Бекходжаевых щедро оплачивал выданные полгода назад векселя. Остался на месте лишь судья, двадцать лет бессменно сидевший в районе, — был он преклонного возраста и вряд ли хотел искушать и без того благополучную судьбу, служебная карьера, конечно, уже не интересовала его. Но и тут, наверное, были свои варианты, в результате которых выигрывали дети и внуки покладистого судьи.

Но Азларханова больше огорчило другое известие, видимо, ради него и было послано письмо. Капитан писал, что новый начальник задался целью не только выжить его из милиции, но подвести при случае под статью, а уж с опытом Иргашева, мол, проделать такое ничего не стоит. И капитан просил прокурора посодействовать его переводу в другую область или в Ташкент.

Азларханов понимал, что полковник Иргашев догадывался: Джураев знает гораздо больше, чем стало известно суду, и оттого спешил дискредитировать капитана, пользуясь отсутствием прокурора. Если уж капитан Джураев открытым текстом просил о помощи, значит, положение действительно серьезное. В тот же день он заказал телефонный разговор с Ташкентом, и через неделю вопрос о переводе опального капитана в столицу был решен.

Письмо отчаяния, полученное от капитана Джураева, послужило как бы сигналом, он понял: есть ли, нет ли здоровья, выдержит ли сердце еще одно испытание или разорвется окончательно, пора действовать...

Из Ялты в коттедж на Лахути он вернулся в конце марта. Уезжая, оставлял запущенный дом, заснеженный сад — и тревожился, перезимуют ли деревья; но в середине зимы что-то предпринимать казалось поздно, да и не было у него на это ни сил, ни здоровья, ни желания. Каково же было его удивление, когда он распахнул калитку



своего дома. Сад выжил! Покрылись листвой все до одного карликовые деревца, любовно собранные Ларисой; зацвел розовым миндаль; в дальнем углу двора, под старым платаном, словно дожидаясь его, одиноко тянулся к свету тюльпан; у кустов персидской сирени отцветали последние крокусы. Давно не стриженные кусты живой изгороди, омытые весенними дождями, дружно пошли в рост и поднялись выше виноградника, тоже вроде перезимовавшего без потерь, — густая зелень его уже отбрасывала на дорожках тень. Выжил сад, порадовал хозяина, поддержал, словно пример показывая...

## 4

В прокуратуру, после полугодового отсутствия, Амирхан Даутович пришел без предупреждения, никого заранее не оповещая, хотя о том, что он вернулся из санатория, многие, видимо, знали. Прокурора неприятно поразило, что его служебный кабинет, который он считал опечатанным, занимал человек, временно заменявший его. Прежний кабинет заместителя, копия азлархановского, находился тут же, через приемную, — никаких видимых причин для переселения не было.

Амирхан Даутович обживал свой кабинет почти десять лет, иногда сутками не выходил из него, даже ночевал тут не раз. За эти годы тут накопилось немало личных предметов, и сейчас ему было неприятно, что его книги брали в руки незнакомые люди, пользовались в душевой его полотенцами. Никому он, понятно, высказывать претензий не стал, хотя и не скрывал своего неудовольствия. И на просьбу своего заместителя позволить досидеть хотя бы до конца дня ответил отказом. Когда обескураженный заместитель перебрался к себе, Азларханов распахнул окна и попросил вызвать уборщицу. С ней он проговорил гораздо дольше, чем с коллегами; заодно попросил тщательнейшим образом убрать и проветрить помещение, а также сменить всю посуду. Оглядев внимательно сейф, вмурованный в стену, который он накануне того злополучного дня в спешке не опечатал, прокурор отправился в обком, чтобы доложить, что приступает к своим обязанностям, и больше уже в тот день на службе не появлялся.

По дороге в обком он думал о сейфе — там лежали его знаменитые амбарные книги, на каждый район в отдельности. В том,

что они на месте, он не сомневался, но вот касались ли их чужие руки, как касались все эти месяцы его чайников, пиал, полотенец, утверждать однозначно он не мог, потому что знал по крайней мере трех человек в городе, кому по силам был и более серьезный шифр сейфа, а если бы кто и поостерегся привлекать местного человека, мастеров подобных дел немало имелось в исправительно-трудовых лагерях — их в области было несколько, — и полковник Иргашев, конечно, мог доставить оттуда любого.

И в обкоме, и в прокуратуре Азларханов выслушал немало соболезнований по поводу безвременной смерти жены, — со многими с того злополучного дня в конце августа прошлого года он виделся впервые. Соболезновали искренне: Ларису Павловну уважали, знали о его нежном отношении к жене, да и сама жизнь прокурора после гибели жены — из больницы в больницу, из инфаркта в инфаркт, из реанимации в реанимацию — не могла не вызывать сочувствия. Даже внешний вид прокурора, поседевшего, постаревшего на много лет, поникшего от болезней, напоминал о трагедии. Никто из тех, с кем он общался в эти дни, ни разу не обмолвился ни о суде, ни об обстоятельствах смерти Ларисы, и прокурор уяснил для себя, что скорый и решительный суд успокоил общественное мнение. О чем и говорить, если преступник пойман, в содеянном сознался и получил суровое наказание?

В эти же дни на одном из служебных совещаний Амирхан Даутович встретился с полковником Иргашевым и с Исмаиловым, бывшим прокурором того района, где произошло убийство, ныне работающим в городской прокуратуре. Оба они подошли к нему, справились о состоянии здоровья, сказали, что свой долг они выполнили и очень сожалеют, что трагедия случилась на их территории. Прокурор сдержанно поблагодарил, но расспрашивать ни о суде, ни о следствии не стал. Дело лежало у него в столе, и он знал, что осужденный находится в исправительно-трудовой колонии у них же в республике, в соседней области, где некогда работал полковник Иргашев.

Азларханов уже не раз просматривал документы, собранные по делу о гибели жены. Конечно, явно зацепиться здесь было не за что — все чин чином, протокол к протоколу; только уж очень заинтересованного и дотошного человека могла насторожить такая гладкость следствия и суда, легкость и скоротечность процесса, ведь все-таки убийство, а не хулиганство какое-то... Он понимал: не случись с ним беды в ночь задержания, в чем бы ни признался убийца,



наутро провели бы тщательнейший следственный эксперимент, затем по свежим следам велели бы обоим по минутам расписать время до и после убийства, и вряд ли трусоватый Бекходжаев-младший долго продержался бы в отведенной ему роли свидетеля. Сгодились бы тут и показания матери обвиняемого, рассказавшей капитану Джураеву, что за сыном к вечеру, затемно, специально приезжал пригласить в гости Анвар Бекходжаев на своей красавице «Яве», а не сам Азат отправился, глядя на ночь, во двор Бекходжаевых, чтобы пригрозить убийством своему дружку. Да, не отстрани тогда прокуратура от дела капитана Джураева, не возмись вести его сам полковник Иргашев, неизвестно, каков бы был результат суда. Вряд ли отвертелся бы Анвар Бекходжаев от справедливого возмездия, даже если б капитан Джураев и не смог обеспечить явку на процесс человека, отдавшего ему снимок, сделанный «Полароидом», и Сунната-ака, наотрез отказавшегося засвидетельствовать то, что видел во дворе через улицу.

Не свали его инфаркт в ту ночь, одного признания обвиняемого оказалось бы недостаточно,— пришлось бы в суде доказывать его вину, а не согласиться с тем, что разыграли ушлые дяди в угоду всесильному клану. Но все это — если бы да кабы... Не стоило сбрасывать со счетов и клан Бекходжаевых, уж они-то наверняка воспользовались неожиданно предоставившимся временем на тот случай, если Азларханов попытается вновь поднять дело, как только оправится от инфаркта. Но главная сложность ситуации заключалась в другом: что бы он ни предпринял, любой его шаг давал противоположной стороне повод обвинить его в предвзятости, субъективности, чувстве личной мести, злоупотреблении служебным положением, а это означало одно: его, как и капитана Джураева, не подпустили бы к делу.

Азларханову оставался лишь один выход, и он им воспользовался: отправил частное письмо прокурору республики, где, не вдаваясь в подробности, просил в порядке надзора поднять дело об убийстве своей жены. Прошла неделя, вторая, заканчивалась третья, но ни письменного ответа из прокуратуры республики, ни телефонного звонка, на что он рассчитывал, не было. Зато произошел у него неожиданный разговор в административном отделе обкома партии, куда он зашел по каким-то текущим делам. Он уже уходил, когда заведующий отделом, заметно волнуясь, попросил его задержаться еще на несколько минут. Начал он издалека...

— Амирхан Даутович, вам ли не знать, как вас здесь ценят и уважают. Мы понимаем, что благодаря вам правопорядок в нашей

области на ступень выше, чем в целом по республике, в этом, конечно, ваша заслуга. Знаем, и как высок ваш авторитет среди коллег. Поэтому мы все очень переживали за ваше здоровье после трагической гибели Ларисы Павловны. Вы даже не можете представить, какой общественный резонанс вызвал этот прискорбный случай,— у меня в отделе ни на минуту не умолкал телефон. Люди требовали найти и наказать негодяя, ведь вашу жену в наших краях знали многие, гордились ее успехами. Я думаю, мы приложили все усилия, чтобы найти и покарать убийцу, и успокоили общественность, которая вряд ли простила бы органам правопорядка промедление и проволочку в таком шумном деле. Какие только слухи не ходили по городу, и мне десятки раз приходилось объяснять людям, что вы живы и вот-вот появитесь на работе. Вот в такой нервной обстановке пришлось работать в ваше отсутствие.— И тут, несколько замявшись, он перешел к тому, ради чего и затеял этот разговор: — И вот теперь, когда мы видим вас в добром здравии и радуемся вашему возвращению в строй, надеясь, что ваша душа хоть немного успокоилась, вдруг узнаем, что вы бы хотели вновь вернуться к делу об убийстве жены. Конечно, поймите меня правильно, вы вольны этого требовать, но это может худшим образом отразиться на вашем здоровье, на вашей работе, не говоря уже о том, что вновь всколыхнется общественное мнение, начнутся нежелательные пересуды, слухи. Неизвестно, чего вы добьетесь, а шума будет много, это уж точно... Я думаю, что вашу просьбу о пересмотре дела вряд ли поймут и поддержат. Но это, так сказать, мое личное мнение, и, пожалуйста, не сочтите этот товарищеский разговор за вмешательство в вашу личную жизнь и тем более в вашу служебную компетенцию.

Прокурор слушал молча, не перебивая,— сразу понял, что отделом говорит по чьему-то поручению, это чувствовалось,— он тяготился возложенной на него миссией. Может, он говорил вполне искренне, и логика в его рассуждениях была, но этот человек ведь не знал и доли того, что было известно об этом деле Азларханову. Может, он даже допускал мысль, что Анвар Бекходжаев, проходивший по делу свидетелем, и достоин какого-то наказания, но как человек, привыкший мерить общими категориями, а не частными, нисходящими до каждой отдельной судьбы, считал, что ради этого не стоит вновь будоражить общественность и признавать за судебным процессом и решением какие-то ошибки. Прокурор понял: запущен пробный шар, разговор этот затеян как предупреждение, как зондаж



его настроения и духа. Уразумел он и то, что письмо его не вышло за пределы области, и зря он дожидался звонка прокурора республики. Ни о письме, ни о том, кто же стоит за этим разговором, он спрашивать заведующего отделом не стал. Поблагодарив за заботу о своем здоровье, за память о Ларисе Павловне, ничего не ответив по существу, откланялся. Но и заведующий не был так прост, и вряд ли ему доверили бы столь деликатную миссию, если бы он не обладал проницательностью: он тоже понял, что прокурор от задуманного не отступится.

Разговор в обкоме прокурор принял к сведению, уяснив, что писать снова в столицу не следует: через месяц там предстояло крупное совещание — вот тогда-то он выберет момент и попросит аудиенции у Прокурора республики. К этой встрече он должен был подготовиться и, может быть, пойти на нее вместе с капитаном Джураевым.

Следует четче определить круг прямых родственников Суюна Бекходжаева, занимавших в области большие посты. Это даст повод, чтобы дело на расследование забрали в столицу. О том, какое тут может оказываться давление, такой список говорил бы красноречивее любых слов. Двух сестер главы клана, под фамилиями мужей, он установил сам, но из братьев на номенклатурных должностях обкома пребывали только двое Бекходжаевых. Пришлось ему обратиться к людям, которым он доверял, и тут же «отыскались» остальные четыре брата депутата, но уже под другими фамилиями. Поразительный факт для человека, не знающего тонкостей Востока: здесь единокровные братья и сестры могут носить разные фамилии — скажем, отца или деда. Может случиться, да и случается зачастую, что, жалуясь на какого-нибудь чинушу, бюрократа, мздоимца, человек обращается к его родному брату или сестре, только фамилия чинуши повторяет фамилию отца, а у брата фамилия образована от имени того же отца. Кроме братьев и сестер председателя колхоза, три его старших сына, родные братья «свидетеля», тоже занимали высокие посты в области и районе. Внушительный список составил прокурор — этот клан и без помощи извне мог одолеть любую преграду и свалить кого угодно. А ведь была еще ближняя и дальняя родня, да и просто преданные люди, обязанные чем-нибудь всемогущему клану.

Утвердившись в мысли, что через месяц он непременно попадет на прием к Прокурору республики, Азларханов успокоился и без суеты стал готовиться к встрече. Принятое решение сказалось и на его настроении, он обретал душевное равновесие.

На дворе стояла весна, и он, как прежде, хоть и несколько запоздало, подолгу копошился в саду. В одно из воскресений с приглашенным в помощь садовником тщательно подстриг кусты живой изгороди, и двор сразу сделался просторнее, принял прежние привычные очертания. Целую неделю после работы он выгребал с лужаек, изо всех углов двора остатки прошлогодней листвы, и казавшиеся безвозвратно запущенными английские лужайки удалось привести в приличный вид. Работы в саду и в осиротевшем доме оказалось так много, что ему не хватало ни суббот, ни воскресений, ни долгих весенних вечеров, но занятия эти не тяготили его, наоборот, наполнили жизнь каким-то смыслом. Обрезая погибшие за зиму лозы виноградника, ладя новые опоры для молодых побегов, хозяин двора нет-нет да и возвращался мыслями к предстоящей встрече в Ташкенте, к последнему своему шансу добиться справедливости.

Конечно, в своих планах он просчитывал, как в шахматах, различные варианты, размышлял о том, что могут предпринять против него Бекходжаевы. Ему было яснее ясного, что они постараются обязательно, любым способом дискредитировать его — это верный, многократно подтвержденный жизнью путь против тех, кто добивается правды. Но, как бы строго он ни подходил к себе, «пятен» не находил, — сколько помнил себя, всегда старался жить честно, достойно. Прокурору казалось, что здесь клану и их советчикам придется туго.

Неожиданно пришла мысль: хорошо, что осужденный находится в заключении далеко, не под рукой клана и полковника Иргашева. Ведь случись с ним какая беда, например, несчастный случай, — все бы в планах прокурора рухнуло; тогда бы его действия уж точно показались бы только личной мстью. И он на всякий случай пометил в бумагах, что на приеме у прокурора надо попросить, чтобы осужденного на время следования взяли на особый режим охраны. Пойдя на компромисс с совестью, задавленный обстоятельствами, парень теперь уже собственной рукой стягивал петлю на своей шее — могли Бекходжаевы разыграть и такую карту.

5

Недели через две после памятного разговора в административном отделе обкома, рано поутру, в кабинете прокурора раздался звонок по особому телефону — звонил первый секретарь обкома. После



выхода на работу Азларханов виделся с ним несколько раз, а однажды они провели вместе четыре часа, так много накопилось важных дел за время его болезни.

Встречались они и накануне, поэтому для прокурора звонок явился неожиданностью. Удивил его и сухой, сдержанный тон первого секретаря, который просил непременно зайти в обком в первой половине дня. О чем предстоит разговор, какие бумаги следует захватить, ничего не сказал, как бывало прежде. Удивило и время — «в первой половине дня» вместо привычного «сейчас же» или «во столько-то». Он словно предоставлял прокурору возможность подготовиться к разговору или, наоборот, изрядно поволноваться.

Долгая работа в должности областного прокурора научила Азларханова многому, прежде всего выдержке, хладнокровию, — впрочем, едва ли слабонервный долго продержится на такой работе, — и он не комплексовал от того, мило или не мило говорит с ним секретарь обкома, у того тоже работа: что ни день — сюрпризы, на каждого улыбок и хорошего настроения не напасешься. Но какое-то чувство подсказывало, что дело все-таки касается его лично.

Перед самым обедом прокурор вошел в приемную. Секретарша, по-видимому, была предупреждена о его визите. Кивнула на обитую добротной кожей дверь: «Ждет, уже спрашивал дважды».

Едва прокурор вошел в кабинет, секретарь обкома поднялся из-за стола и направился ему навстречу, так он поступал всегда, когда был в настроении. На Востоке вопросов сразу, в лоб не задают — таковы давние традиции: вначале, пусть мимоходом, но справятся о здоровье, о семье, а уж потом — разговор о деле. И хотя они виделись только вчера, секретарь обкома все равно спросил прокурора о здоровье, самочувствии, о том, не нужно ли чем помочь. Потом вызвал секретаршу и попросил чаю, она, словно предугадав желание хозяина кабинета, тут же внесла чайник с пиалами. Азларханов понял, что разговор предстоит долгий и, скорее всего, малоприятный.

Секретарь обкома, поблагодарив расторопную секретаршу, разлил крепкий ароматный чай, но усаживаться не стал. Взяв пиалу, подошел к окну. Окна кабинета выходили на внутренний двор, в настоящий сад, тщательно спланированный и любовно ухоженный. Сейчас в обкоме был перерыв, и в летней столовой и чайхане обедали сотрудники. Из окна третьего этажа старинного особняка, выстроеного некогда для русского генерала-наместника, было хорошо видно,

чем потчуют сегодня повара. Впрочем, запахи плова, жарящегося шашлыка, тандыр-кебаба, горячих лепешек, ангреноского угля из кипящего трехведерного самовара — подарка делегации из Тулы, долетали и до распахнутого окна. Но сегодня аппетитные запахи не привлекали, а прежде они не раз обедали вместе там внизу, в саду.

Сейчас Первый молча стоял у окна, словно выглядывая кого-то или не решаясь начать разговор, который, видимо, тяготил его — такой нерешительности прокурор за ним раньше не замечал. Затем он подошел к своему огромному столу, взял бумагу, лежавшую на видном месте, отдельно, и вернулся за другой стол, где стоял чайник. Жестом пригласил гостя сесть и протянул ему письмо, ради которого, наверное, и пригласил прокурора.

На фирменном бланке — дорогая вощенная финская бумага — сразу бросалось в глаза крупно набранное название учреждения на трех языках: арабском, английском, русском. Прокурор недоуменно прочел: «Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана» и на миг усомнился, не перепутал ли свои бумаги на необъятном столе хозяин кабинета, но Первый, перехватив его удивленный взгляд, сказал с сожалением:

— Не ошибся, не ошибся, читай дальше. Думаешь, только к тебе стекаются жалобы и анонимки на всех и вся. Пришла вот и на тебя, в первый раз за десять лет, да так некстати, словно кто-то задумал добить тебя после того, что ты перенес...

Письмо было направлено по двум адресам: в ЦК компартии республики и копия — первому секретарю обкома. «Круто начинают», — подумал прокурор без особого волнения, но письмо его заинтриговало.

«Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана обращается к Вам за помощью. В частной коллекции керамики Азларханова А. Д. вот уже несколько лет находятся предметы, изъятые из Балан-мечети селения Сардоба, представляющие особую религиозную ценность для мусульман этих мест. В 1867 году торговый человек, уроженец Сардобы, Якубходжи, на чьи средства и построена Балан-мечеть, совершил тяжелый караванный хадж в святую для мусульман Мекку. По возвращении он прожил недолго, умирая, все свое немалое состояние завещал мечети. Среди многих предметов, доставшихся сельской мечети, особую ценность для верующих представляли два дорогих сосуда, инкрустированных серебром, внутри сосуды были обработаны особой серебряной эмалью — для хранения воды



в долгой дороге. Сосуды, по завещанию Якубходжи хранившиеся до недавних пор в Балан-мечети, изготовил известный гончар двора эмира бухарского — Талимарджан-кулал. Сосуды эти, представляющие, безусловно, и эстетическую ценность, совершили долгий путь с Якубходжой в Мекку и вернулись в Сардобу и стали предметами, освященными в святых местах. После смерти ходжи они приобрели в глазах верующих мусульман еще большую ценность.

В подтверждение прилагаем к письму цветной снимок предметов из Балан-мечети. Фотография из художественного альбома, изданного в 1978 году в Локарно, Швейцария, под снимком подпись на английском языке: керамика из частного собрания Л. П. Тургановой (жена областного прокурора).

Просим восстановить справедливость и вернуть святые реликвии мусульман в Сардобу.

С уважением...»

Далее следовала хорошо известная в крае подпись.

Удар был нанесен тонко, ловко, вовремя — он понял это, как только прочитал первые строки жалобы. В ком не вызовет возмущения и протеста подобное кощунство по отношению к вере. Такого варварского поступка, как изъятие из мечети святых реликвий, не одобрили бы даже атеисты. А чей справедливый гнев призван в союзники? Духовного управления, ЦК партии, обкома... Да, слаб оказался он в стратегии против клана Бекходжаевых — о таком шаге он и подумать не мог. Выискивал какие-то «пятна» в своей жизни, а, оказывается, здесь не просто «пятна», тут и злодеем предстать недолго, если кому-то уж очень надо. Конечно, он ни на секунду не поверил, что Бекходжаевы подобрали ключи к Духовному управлению, а тем более — к секретарю обкома, они просто использовали известный прокурору прием: умелую подтасовку фактов — в данном случае ход просто изощреннейший, иезуитский. Да, они сделали ход, на который ответить было совсем не просто, оттого он сидел молча, ничего не отвечая озадаченному первому секретарю обкома.

Нарушил затянувшееся тягостное молчание сам хозяин кабинета:

— Не пойму, кому и зачем все это понадобилось? Кому-то необходимо свалить тебя? Понадобился кому-то твой пост? Но я пока этого не замечал, и если это так, узнаю. Тут, конечно, не эти черепки важны, что-то другое, но я никак не возьму в толк, что именно? Мы тут решали с заведующим административным отделом... Да ты и сам понимаешь: без разбирательства не обойтись, письмо на контроле

в ЦК партии, и ответ туда мы обязаны представить. Случай с вашей семьей вызвал огромный общественный резонанс, ты лежал в больнице и не можешь вообразить, что тут творилось. Мы очень благодарны начальнику милиции полковнику Иргашеву и тамошнему прокурору Исмаилову: они оперативно провели расследование и суд, сурово наказали убийцу, тем самым успокоив народ. И когда пришло предложение поощрить их за оперативность, я не возражал, теперь они оба работают в области. Им я и поручил расследовать эту историю с Балан-мечетью.

Затем, после небольшой паузы, отхлебнув глоток чая, он спросил, разглядывая цветной снимок, приложенный к письму:

— А сосуды эти — пропади они пропадом — где: у тебя дома или в нашем краеведческом музее?

— Дома,— ответил Азларханов подавленно.

— Вот и хорошо, очень хорошо. Я беспокоился, что они пропали, а это уже был бы скандал. Пожалуйста, пусть твой шофер немедленно привезет их сюда, ко мне. А я попрошу, чтобы пригласили имама Балан-мечети, и верну ему их лично. Главное, появится возможность дать лаконичный ответ в Духовное управление и в ЦК партии: реликвии возвращены мечети,— может, тем и отделаемся.— И, считая, что разговор окончен, секретарь обкома поднялся.

Прокурор ничего объяснять не стал. Он понял, что ему предстоит это делать не один раз, и устно, и письменно,— клан неожиданно получил еще один козырь. Комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, конечно, постарается раздуть историю с сосудами из Балан-мечети, уж кому-кому, а им проигрывать единоборство с прокурором было нельзя.

Подавленный новостью, Азларханов медленно спустился вниз и долго сидел в машине, раздумывая: потом, вспомнив просьбу секретаря обкома, велел ехать на Лахути. И тут он благодарно оценил прозорливость Первого: еще не зная всей ситуации, тот почувствовал, что за сосудами из мечети что-то кроется и пропажа их может неблагоприятно отразиться на его судьбе. Впервые он с ужасом подумал: а ведь, действительно, пропади, не дай бог, эти чертовы плошки, какую бы только напраслину не возвели на Ларису, вплоть до того, что она не привезла их обратно из Швейцарии. Они были главным экспонатом ее последней выставки и вызвали там пристальный интерес у антикваров. Сейчас, осознав все это, прокурор усомнился и в правильности своего ответа секретарю обкома, в комнаты, где



располагалась коллекция, он не заходил ни разу после своего возвращения домой. Но то, что она привезла свои любимые экспонаты обратно из Швейцарии, он помнил точно.

Не без волнения переступил он порог комнаты, где Лариса собрала керамику девятнадцатого века. Сосуды Якубходжи стояли на обычном, отведенном им с первого дня месте, фоном служила деревянная панель из трех старых резных створок дверей. Прокурор и сейчас нехотая отметил, что сосуды смотрелись прекрасно и без ухищрений фотографа, без огромной шкуры гиссарского волка и кремневого ружья. Он вспомнил, как любовался, не скрывая восхищения, этой фотографией секретаря обкома.

Снимая тяжелые хумы с полки, хозяин дома горько усмехнулся: теперь ему нужно думать вовсе не о том, как смотрятся эти сосуды или какое они произвели впечатление на секретаря обкома, а что следует ему предпринять в связи с жалобой, ведь он ясно представлял, кто стоял за всем этим. Но как бы ни гнал он от себя эти мысли, перед глазами отчетливо стояла страница из альбома, изданного в Локарно. И вдруг сам собой выплыл логичный вопрос: «Откуда у них эта страница, где они взяли альбом, изданный в Швейцарии?» Ведь альбом выпускался специально к выставке, небольшим тиражом, и даже Ларисе удалось добыть всего три экземпляра. Один они подарили по возвращении в Москву дальним родственникам, рьяным поклонникам ее увлечений, а два других находились у них дома. И вряд ли даже при большом желании можно было так скоро отыскать столь редкое издание. Оставив сосуды, он прошел в кабинет, который делил с женой и где у них была библиотека. Книги по искусству, репродукции занимали отдельную полку, и альбом, изданный в Локарно, сразу бросался в глаза — он стоял не торцом в ряду, а был развернут обложкой.

Прокурор снял альбом с полки и торопливо перелистал страницы, снимок керамики из Балан-мечети был на месте, цел. Он поставил альбом обратно на полку и начал искать второй экземпляр. Посмотрел на стеллажах, в ящиках стола... И вдруг вспомнил, что брал альбом в прошлом году на службу, когда рассказывал сослуживцам о поездке в Швейцарию. Вспомнил, что видел его недавно среди бумаг в сейфе, когда интересовался, целы ли его амбарные книги по каждому району, что вел он в течение последних десяти лет.

Отправив машину с сосудами Якубходжи в обком, Амирхан Даутович пешком вернулся к себе в прокуратуру. Он думал, может,

прогулка по весеннему городу наведет его на мысль об ответном ходе, который ему следовало предпринять без промедления. Но мысли приходили какие-то вялые, разрозненные...

В приемной его никто не дожидался, не нужно было никуда срочно звонить, и он открыл сейф. Альбом лежал в глубине, на второй полке, и яркий его корешок заметно выделялся среди тяжелых, уже потрепанных амбарных книг. Прокурор достал альбом, почему-то машинально пересчитал амбарные книги и, закрыв сейф, вернулся за стол.

Открыл альбом наугад — получилось как раз там, где была керамика из Балан-мечети, но от страницы остался лишь корешок — обрезали весьма аккуратно. «Значит, предчувствие не обмануло меня.— Прокурор захлопнул альбом.— Так вот какой, выражаясь шахматным языком, оказалась домашняя заготовка Бекходжаевых. Что ж, зря они времени не теряли, пока я кочевал из больницы в больницу, прямо-таки гроссмейстерский ход придумали. А сколько у них таких ходов про запас приготовлено или уже сделано?»

Азларханов размышлял, что же ему теперь предпринять. Конечно, он мог наперед рассчитать кое-какие их ходы, да что толку, Бекходжаевы не сидели полгода сложа руки и каждую его попытку готовы встретить во всеоружии. Он снова вернулся к сейфу и достал книгу по району, где находилась Балан-мечеть. Прочитав пять-шесть записей по Сардобскому району, не стал листать дальше, положил ее обратно в сейф. Даже этих беглых, наугад взятых записей, с фактами, а главное, с его предположениями, вполне хватало, чтобы клан, спекулируя этими сведениями, заполучил из района любую удобную для него версию исчезновения сосудов из Балан-мечети. И можно было не сомневаться, что комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым представит секретарю обкома «подтверждение», где он будет выглядеть отнюдь не лестно, и, может, даже подведут его действия под Уголовный кодекс — в том, что Бекходжаевы не будут придерживаться никаких правил приличия, прокурор не сомневался.

Оценивая положение, он просидел, не выходя из кабинета, до позднего вечера, но ответа, равного ходу противника, так и не придумал. Все сходилось на том, что необходима встреча с Прокурором республики, где он должен был выложить теперь все как есть: и о Ларисе, и о могущественном клане, и о сосудах из Балан-мечети, и об исчезнувшей из сейфа странице альбома, и о своих амбарных



книгах, за которыми уже давно охотятся, и о полковнике Иргашеве, и о прокуроре Исмаилове, неожиданно получивших повышение, и о заключенном Азате Худайкулове, которого следовало перевести куда-нибудь подальше и взять под особый надзор. И встреча эта выглядела бы куда убедительнее, если бы на ней присутствовал и капитан Джураев.

Конечно, рассчитывая только на встречу с Прокурором республики, он, по сути, расписывался в собственном бессилии, но какие бы он ни строил планы, понимал, что противник имел огромный выигрыш во времени и готов ответить на любой его ход.

Поздно вечером того же дня на Лахути раздался неожиданный междугородный телефонный звонок. Звонил из Ташкента Прокурор республики. Расспрашивая о здоровье, жите-бытье, он так же, как и секретарь обкома, долго не переходил к главному, ради чего побеспокоил в столь поздний час. И прокурор, как и утром в обкоме, почувствовал это.

— Ты, конечно, догадался, что неспроста я звоню тебе среди ночи, да еще домой. Но с работы мой звонок тебе могли бы и не понять, такая уж у меня должность. Впрочем, тебе ли об этом говорить, — усмехнулись на другом конце провода. — Но я знаю тебя уже больше десяти лет и по-человечески, думаю, просто обязан поставить тебя в известность. Тут в последние три недели пошли потоком на тебя анонимки. Первые откладывал в стол, а вот последние не могу придержать даже я, потому что адресованы они в ЦК и к нам. Чушь вроде бы, а реагировать мы обязаны. Одна пришла из Ялты, оттуда один отдыхающий санатория, где ты лечился, сообщает, что ты предлагал за семьдесят пять тысяч интересную коллекцию керамики XVIII и XIX веков, которая неоднократно выставлялась за рубежом и указана в известных в Европе каталогах по искусству. Якобы в поисках клиентов ты ежедневно ходил в модное и дорогое кафе «Восток», где просиживал долгие часы. Тут даже написано, что официанты нашли тебе клиента за шестьдесят тысяч, но ты не согласился, и есть намек, что анонимка — в отместку за твою жадность и неуступчивость в цене.

Другая анонимка более подробна и написана с большим знанием твоей жизни, наверняка консультировали люди, близко знавшие вашу семью. Там тоже ваша коллекция оценивается, но гораздо выше, цитирую: «По самым скромным подсчетам, коллекция, собранная в доме прокурора, стоит от ста до ста двадцати тысяч...»

Еще пишут, опять же цитирую: «скромная жизнь прокурора области лишь ширма, главная цель его — обогатиться за счет уникальной коллекции». Обращают внимание, что ты ни разу в своей жизни не пользовался бесплатной обкомовской путевкой в отпуске, а проводил эти дни в экспедициях с женой, чтобы, используя служебное положение, ускорять поиски необходимых для коллекции предметов. Пишут, что твоя жена специально издала альбом музея под открытым небом в вашем саду на Лахути, чтобы разрекламировать свое частное собрание и позже выгоднее его реализовать. Пишут, что и в зарубежных альбомах, особенно последних, она старалась подать керамику только из своего собрания, и что, мол, вывозила свои личные экспонаты за рубеж, чтобы прицениться, сколько же это будет стоить. И что главной ее целью в будущем было показать свое частное собрание за границей полностью, и при удобном случае остаться там, разбогатев на продаже известной коллекции.

В общем, чушь несусветная. Там еще много всяких небылиц, вроде той, что вы с женой собирались остаться в Швейцарии на последней выставке, да что-то вам помешало, или Швейцария вас не устраивала, тем более у Ларисы Павловны через год намечалась выставка в Америке, в Нью-Йоркском Центре современного искусства.

Короче, восемь страниц убористого текста на машинке... Ты же знаешь, у нас жалобы и анонимки на судей и прокуроров одни — взятки, потому и раздумывали, как это обвинение классифицировать, как подступиться. Тут нам рекомендовали сверху создать комиссию, включили и экспертов по искусству, чтобы оценить ваше собрание, — в общем, ждите ее на днях. Трудные тебе предстоят дни, но я от души желаю выпутаться из этой нелепой истории...

И разговор неожиданно прервался, Азларханов не успел даже слова в ответ сказать. Впрочем, о чем было тут говорить? О том, что никогда не только не предлагал никому коллекцию жены за семьдесят пять тысяч, но даже и не подозревал, что она может стоять таких денег? Или спросить, в здравом ли уме люди, берущие на контроль подобные анонимки, — до денег ли, пусть даже и семидесяти пяти тысяч, человеку, только что потерявшему любимую жену и чудом оправившемуся от двух подряд тяжелейших инфарктов, человеку, месяц не покидавшему реанимационной палаты?

В эту ночь он не сомкнул глаз. Нет, не потому, что испугался коварных анонимок, или лихорадочно прикидывал ответы на вопросы во всех инстанциях, или мысленно готовился к встрече

М

с комиссией, которая должна была вот-вот нагрязнеть. После неожиданных разговоров в один день с секретарем обкома и Прокурором республики, особенно после ночного звонка из Ташкента, понял, что он уже не контролирует положение, угловое суденышко его жизни сорвало с причала и понесло в открытый штормящий океан. В эту бессонную ночь он меньше всего оценивал серьезную опасность, нависшую над его репутацией честного человека. Как прокурор, охраняющий права граждан, он думал о том, что закон несовершенен: одной умело написанной анонимки достаточно, чтобы закопошились вокруг тебя комиссии, проверяющие, уполномоченные, и откуда только сразу и люди, и средства на подобные мероприятия находятся. И даже кристально честный человек обязан в таких случаях выворачивать карманы, оставаться в нижнем белье, показывать свою спальню, кухню, кладовки, дабы уверились, что он живет по средствам.

И даже если комиссия подтвердит твою кристальную честность, не велика ли плата за доставленное анонимщику удовольствие? Как же дальше смотреть в глаза друг другу, и тому, кто проверял, и тому, кто велел проверять, и тому, кого проверяли? Делать вид, что ничего не произошло? Если находятся люди, так легко раздевающиеся перед другими, кто гарантирует, что они в ином случае не будут раздевать догола следующих, причем ссылаясь на собственный пример и подавая его уже как образец поведения.

Не давала ему покоя и другая мысль: два человека, наделенных высокими полномочиями, — и первый секретарь обкома, и прокурор республики — проявили человеческое участие в его судьбе. Выскажи он при случае им какую-то обиду на несправедливость, они едва ли теперь поймут его, потому что, даже выказывая ему сочувствие, они как бы совершали героический поступок, ибо преступали некую запрещающую линию, прочерченную анонимкой. Значит, на открытую помощь этих людей, хорошо знавших и даже ценивших его, он рассчитывать больше не мог, и тому подтверждение — полутайный ночной звонок; но, как говорится, и на том спасибо.

## 6

А дальше события развивались куда стремительнее, чем он предполагал. Комиссия, возглавляемая полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, управилась с делами в Сардобском районе

за один день и к вечеру представила в обком материалы об изъятии сосудов Якубходжи из Балан-мечети. Любопытные документы... Выходило, что прокурор трижды посещал Балан-мечеть, и даже были точно указаны даты, которые совпадали с теми днями, когда Амирхан Даутович действительно проверял район. И все три раза он якобы требовал от имама мечети подарить ему сосуды Якубходжи, побывавшие в Мекке, на что имам всегда отвечал отказом. Была якобы однажды в мечети и жена прокурора. Она, мол, тоже восхищалась керамикой Талимарджана-кулала, гончара эмира бухарского, и очень хотела приобрести кувшины для своей коллекции. Она даже оставила собственноручно написанную записку имаму. На страничке из блокнота было написано ее стремительным почерком:

«Очень понравились ваши кувшины, думаю, они украсили бы любую выставочную коллекцию. Музей готов приобрести их по разумной цене. Жаль, не застала вас, заеду еще раз на этой неделе.

С уважением, Л. П. Турганова».

Такие записки она не раз оставляла в домах, если не заставала в тот час хозяев интересовавших ее предметов.

А изъясил сосуды прокурор якобы собственноручно, при следующих обстоятельствах. Понимая, что имам мечети добровольно никогда не отдаст святые реликвии мусульман в частную коллекцию, он вроде наказал работнику районной прокуратуры Шамирзаеву следить за работой Балан-мечети и при первой же мало-мальски противоправной деятельности тут же поставить его в известность. И такой повод скоро представился. При ремонте мечети завезли два кубометра пиломатериалов и машину кирпича, первоначально предназначенных для строительства школы в соседнем кишлаке. И Шамирзаев, согласно распоряжению областного прокурора, завел уголовное дело на имама мечети, купившего ворованный материал.

Вывод был таков: путем угроз, шантажа старого больного человека прокурору удалось заполучить желанные хумы для своей коллекции. За ними он якобы явился лично в сопровождении Шамирзаева. И дата «изъятия» тоже документально подтверждалась: он действительно в тот день приезжал в Сардобу и был в прокуратуре, где провел короткое совещание.

Ознакомившись с заключением комиссии в административном отделе обкома, прокурор лишь спросил у заведующего:

— Нельзя ли вызвать в обком Шамирзаева из Сардобы?



На что завоетделом грустно закатил глаза и развел руками:

— Умер, умер, к вашему и нашему сожалению, Шамирзаев, еще в позапрошлом году. А имам скончался год назад.

— Что ж, логично,— усмехнулся Азларханов.

Не заставила себя ждать и высокая комиссия из Ташкента, о которой предупредил коллегу ночным звонком Прокурор республики. Прибыли они впятером: два незнакомых искусствоведа-эксперта, работник из прокуратуры республики — из новеньких, важный чиновник, представлявший народный контроль на республиканском уровне, и представитель из парткомиссии при ЦК.

Комиссию, да еще столь солидного состава, не ждали ни в обкоме, ни в прокуратуре, не ожидал такого внимания к себе и Азларханов.

В обкоме, понятное дело, были рады, что заключение своей, областной комиссии по жалобе насчет раритетов из мечети у них уже имелось. И приезжие, еще не увидев частного собрания Тургановой, были тут же ознакомлены с выводами комиссии полковника Иргашева. О прибытии комиссии в обком прокурору сообщили на работу и просили через полчаса быть дома, чтобы показать проверяющим коллекцию.

Прокурор не стал вызывать машину, а отправился домой пешком, полчаса ему вполне хватало, чтобы не заставляя себя ждать.

Было начало апреля, и весна день ото дня набирала силу. Подойдя к дому, он на секунду залюбовался подстриженной живой изгородью, сочная зелень радовала глаз. Оставив калитку распахнутой, прошел во двор. За эти дни, после возвращения из Ялты, он с помощью нанятого садовника привел двор в порядок. Возвращаясь с работы, прокурор до полуночи проводил время в освещенном саду, подбеливал, обрезал, окучивал, и сегодня, после обильных мартовских дождей, двор, кусты роз, сирени выглядели так, словно нарочно были подготовлены для осмотра. И он невольно залюбовался творением рук Ларисы — все здесь до мелочей было продумано ею и напоминало о ней.

Задумавшись, прокурор и не слышал, как комиссия появилась у него за спиной.

— Впечатляюще! — изрек представитель народного контроля, и в голосе его не слышалось усмешки, скорее наоборот.

Оба эксперта-искусствоведа разбежались по двору, их восторженные возгласы раздавались то у одного экспоната, то у другого. Азларханову пришлось давать объяснения, чаще всего о том,

в каких каталогах и где были представлены те или иные предметы. Все, что он говорил, эксперты тщательно вносили в затрепанные толстые тетради; запись вел и представитель из народного контроля, следовавший за прокурором по пятам,— он словно боялся, что хозяин может о чем-то сговориться с экспертами. Два других члена комиссии, по всей вероятности заядлые садоводы, проявили неподдельный интерес к карликовым деревьям, редким кустарникам и цветам, к английским лужайкам, и если задавали вопросы, то они касались только сада.

Пробыв в саду более часа и осмотрев все экспонаты «музея под открытым небом», перешли в дом. Две самые большие комнаты коттеджа, отданные под коллекцию, Азларханов уже успел привести в порядок, после того как вернул сосуды Балан-мечети секретарю обкома. Здесь гости пробыли гораздо меньше, чем во дворе, и тут он тоже отвечал только на вопросы искусствоведов-экспертов и важного чиновника из народного контроля, у которого их оказалось всего три. Указывая на ту или иную вещь, он спрашивал: «А это за сколько приобретено?», «Где приобретено?», «У кого приобретено?» Вот на эти вопросы отвечать хозяину было затруднительно, особенно на первый — за сколько приобретено? — потому что он точно знал, что редко какое изделие покупалось за деньги. Большинство предметов было принесено незнакомыми людьми, подарено друзьями, соседями, коллегами по работе. Он и говорил об этом, но по глазам видел, что его ответ не вызывал веры у представителя из народного контроля, который, наверное, и был председателем комиссии, слишком уж надменно и официально держался.

В комнатах, несмотря на теплый весенний день, было прохладно, тянуло из углов сыростью, видимо, и керамика хранила еще зимний холод нежилых помещений, и комиссия выразила желание посмотреть альбомы, каталоги выставок, во дворе, на весеннем солнышке. На открытой летней веранде уже стоял стол, и хозяин вынес туда все то, что попросили проверяющие. Разобрав альбомы, члены комиссии стали внимательно разглядывать их, время от времени делая какие-то выписки в свои записные книжки и тетради. По тому, как увлеченно рассматривали издания искусствоведы-эксперты, он понял, что большинство из них они видели впервые. Особенно быстро и шумно листал альбомы и каталоги тот, которого прокурор негласно признал председателем комиссии. То и дело раздавался не столько восторженный, сколько полузавистливый возглас:



— Во дает, в Испании издалась...

Или:

— Смотри, смотри, вот тот хум, что под дубом лежит, напечатан в швейцарском альбоме!

Разглядывая композицию с сосудами из Балан-мечети, он произнес, не скрывая удивления:

— Это ж надо, какого огромного волка охотник подстрелил из такого древнего ружья!..— и долго сокрушенно качал головой.

Альбомы и каталоги рассматривали дольше, чем всю коллекцию керамики. Они, наверное, задержались бы у него во дворе еще с часик, но неожиданно подъехали две машины, и человек, прибывший за ними, объяснил хозяину дома, что обед для гостей в загородной резиденции обкома уже готов. Пригласили на обед и прокурора, не очень настойчиво, правда, но он отказался. С тем комиссия и отбыла. О ее выводах он узнал только через неделю на бюро обкома партии, собранном по его персональному делу.

Если быть точнее, с заключением комиссии его ознакомили перед началом бюро, которое было перенесено по каким-то причинам на более позднее время. Он с трудом прочитал до конца путаное, неконкретное заключение, все, что выдвигалось и вменялось ему в вину. Не смогли эксперты-искусствоведы и правильно оценить коллекцию керамики, но тумана напустили немало. Дважды в заключении ссылались на лондонский аукцион «Сотби», где в последние годы участились продажи частных собраний керамики из разных стран. Приводили в пример коллекцию господина Кемаля из Анкары, которая была продана за восемьдесят четыре тысячи фунтов стерлингов; фигурировала здесь и коллекция генерала Чарлза Грея, которую тот, еще в начале века, вывез из Египта,— ее на аукционе «Сотби» оценили в сто тысяч. Не преминули эксперты указать, что в рецензиях о выставках Тургановой западные журналисты не раз писали о стоимости экспонатов,— а газетчики оценивали коллекцию щедро, зная, что она не продается. Оттого предполагаемая цена, называемая восторженными журналистами, была куда выше, чем назначил аукцион «Сотби» за коллекции из Анкары и Порт-Саида. И эта, гипнотизирующая любого простого человека, живущего на зарплату, цифра витала в стенах обкома задолго до начала бюро, она определила его тон и настроение. Наверное, слух опережает скорость света, обрастая деталями или, наоборот, теряя их, и уже скоро не говорили, что коллекция керамики оценивается экспертами примерно в сто пятьдесят

тысяч, а уверяли, что областной прокурор собрал сто пятьдесят тысяч, или просто называли эту потрясающую цифру, увязывая всяк на свой лад с его фамилией такие большие деньги. Но все эти слухи распространялись и ширились уже после бюро, на котором и решилась судьба областного прокурора.

Конечно, и до бюро обкома его члены знали и о заключении комиссии полковника Иргашева, и о выводах проверяющих из Ташкента. Комиссия из Ташкента не преминула отметить, что иметь в домашнем саду «музей под открытым небом» — вызывающая нескромность, и партийная, и должностная.

Однако, обшарив чуть ли не все углы коттеджа, комиссия даже мельком не упомянула о спартанской скромности жилья прокурора, где не было ни одной вещи, которые принято называть предметами роскоши.

Членом бюро обкома оказался и один из младших братьев Суюна Бекходжаева, из тех, что носили другую фамилию. Он не стал выступать первым, но, видя, что собравшиеся не вполне разделяют выводы двух комиссий, все же не утерпел, взял слово.

— Я бы хотел, чтобы меня поняли правильно. Мне совсем не просто говорить слова правды человеку, перенесшему такое большое горе — потерю жены, и едва оправившемуся после двух тяжелых инфарктов, но долг коммуниста обязывает к этому. Я тоже, можно сказать, косвенно соприкоснулся с бедой товарища Азларханова, убийца-маньяк, так быстро пойманный и сурово наказанный органами правосудия, угрожал жизни моего родственника, студента, будущего коллеги нашего прокурора. Поверьте, если он не пострадал физически, то психологическую травму он получил на всю жизнь, я знаю это точно. Так что мне, больше чем кому-либо, понятна беда товарища Азларханова. Беда неожиданно высветила и другое, и я убежден, даже не случись беды, рано или поздно ситуация с частной коллекцией выплыла бы наружу. И тут мы подходим к сути дела. Я хочу сказать о корысти, какие личины она может принимать. Если раньше на бюро мы обсуждали людей, наживших неправедным путем дома, машины, дачи, ковры, хрусталь, то сегодня мы сталкиваемся с более изощренной формой стяжательства. Меня поразила оценка уважаемых и авторитетных экспертов из столицы — сто пятьдесят тысяч! В такую астрономическую цифру оценивается собранная семьей прокурора редкая керамика нашего края. На такую сумму у нас не тянул еще ни один хапуга.



Азларханов видел, как члены бюро неодобрительно закивали головами, и непонятно было, то ли это неодобрение относится к говорившему, то ли к нему, прокурору. А брат Суюна Бекходжаева между тем продолжал:

— Я не знаю всех методов, посредством которых собрана коллекция, и не хочу знать, копаться в грязи, но, например, изъятие святых для мусульман реликвий Балан-мечети не разделяю даже я, убежденный атеист. Этот факт дискредитирует товарища Азларханова и как коммуниста, и как должностное лицо. Это большой политический вопрос, и, я думаю, бюро обкома даст принципиальную оценку такому поступку.

Но вернусь к корысти. Она шла под руку с неумным тщеславием жены товарища Азларханова, и в лучах этой славы, как я знаю, любил покрасоваться и сам областной прокурор. Партийной нескромностью я считаю и то, что он дважды сопровождал жену в ее зарубежных поездках. Сегодня, когда была названа астрономическая стоимость коллекции, сумма, я понял, наконец, объяснил для себя действительно неумную энергию искусствоведа Тургановой. Убежден, ею двигали тщеславие и корысть, что отчасти и привело эту женщину к гибели...

Прокурор, до этого хладнокровно выслушивавший всех выступающих, неожиданно поднялся с места.

— Прекратите свои подлые измышления, товарищ Бекходжаев, и не касайтесь грязными руками имени моей жены, иначе я... — и он, как тогда, в день задержания преступников, вышел из-за стола и, не помня себя, угрожающе двинулся на Бекходжаева.

Такое на бюро обкома случилось впервые, и дядя Анвара Бекходжаева взвизгнул от страха точно так же, как некогда племянник. Амирхана Даутовича под руки вывели из кабинета секретаря обкома, где проходило бюро, и заседание закончилось уже без него.

Бюро обкома началось во второй половине дня; когда Азларханов покинул приемную, рабочий день в старинном особняке давно закончился, и он брел по пустым, гулким коридорам, спускался по устланной коврами лестнице, не встретив ни одного человека. Между вторым и третьим этажами у прокурора снова прихватило сердце, и он, присев прямо на ступеньке лестницы, принял нитроглицерин. Нашел в себе силы подняться только потому, что чувствовал — заседание бюро вот-вот закончится, а он не хотел, чтобы его видели в таком жалком состоянии — ни друзья,

ни враги. Осторожно, держась за широкие, отполированные временем перила мраморной лестницы, он спустился вниз.

Уже сгущались весенние сумерки, и в воздухе заметно посвежело,— прокурор даже поежился, но, наверное, знобило его не от холода. Он не спеша пересек нарядную площадь перед обкомом и направился к стоянке служебного транспорта. Несмотря на поздний час, машин на стоянке оказалось много. Обычно, когда Амирхан Даутович еще переходил площадь, его машина уже выруливала навстречу, но на этот раз «Волга» не спешила к нему, и он решил, что шофер заговорился с коллегами. Подойдя ближе, Азларханов не увидел своей машины и стоял некоторое время в растерянности, заметив, однако, как из других машин наблюдают за ним. Он уже хотел повернуть назад, как из «Волги», крайней в ряду, вышел пожилой шофер и направился в его сторону. Прокурор узнал Усмана-ака, несколько лет назад тот возил его. Усман-ака подошел к нему, поздоровался и, жестом пригласив к своей машине, не скрывая смущения, сказал:

— Ваш-то... бежал, как крыса с тонущего корабля. Пронюхал, видно, что вы уже не областной прокурор и у вас крупные неприятности, и уехал, как только ушли на бюро... Такая нынче молодежь пошла практичная, а, небось, у вас характеристику в институт подписывал, заочник... — и Усман-ака от злости сплюнул.

Прокурор, поблагодарив старого шофера, от его услуг отказался и отправился домой пешком — пройтись ему не мешало.

Была суббота, последняя суббота апреля, и на улицах большого города вечерняя жизнь вступала в свои права: люди шли в кино, в парки, просто гуляли. Многие раскланивались с ним, оборачивались ему вслед: после смерти Ларисы Павловны вряд ли в городе был человек, не наслышанный об их семье. Не знали они только о сегодняшнем бюро обкома, о выводах которого он догадывался еще до заседания. Особых иллюзий он не строил: после ночного звонка прокурора республики понял, что обложили его основательно, после таких обвинений едва ли кого оставили бы на столь ответственном посту.

О своем несдержанном поступке на бюро обкома прокурор не жалел, знал: не останови он Бекходжаева, тот продолжал бы поливать грязью Ларису, а подобных заготовок у них на этот счет, наверное, имелось немало,— безошибочно высчитали, как дорога для него память жены. Не жаль ему было и должности, которую наверняка потерял надолго, если не навсегда,— обидно было сознавать,



что проиграл борьбу, считай, без боя. Растоптали как мальчишку, и пикнуть не позволили. Эта мысль и не давала покоя ни по дороге домой, ни дома.

«Если Бекходжаевы думают, что, дискредитировав меня как прокурора, лишили должности, власти и теперь я им не опасен,— рассуждал он,— так зря они успокоились. Может, мне без чинов и легче будет отстоять свою честь, и то, что они считают концом, будет только началом».

Он долго расхаживал по пустому, неуютному дому, не зажигая света, затем вышел в сад. Весенние сумерки быстро перешли в ночь, и бурно разросшийся по весне сад пугал темнотой. Прокурор стоял на открытой веранде, не желая возвращаться в дом и не включая фонари в саду, мысль о том, что он сдался без боя, точила сердце.

И вдруг он представил себе, как Бекходжаев, по паспорту Садыков, вернулся после бюро обкома домой, где его наверняка дожидались остальные родственники, включая и самого Суюна Бекходжаева, и сейчас они за столом празднуют победу, упиваясь своей властью, вседозволенностью; ведь не шутка — отстояли убийцу и заодно стерли в порошок областного прокурора. Это ли не показатель мощи их клана.

Прокурор так ясно увидел это торжество самодовольных людей, что, не задумываясь, решил испортить им преждевременный праздник.

Он вошел в кабинет и поднял трубку прямого телефона, такой же аппарат с двузначным номером — он знал — стоял и на квартире члена бюро обкома Садыкова. Звонить по городскому телефону он не стал, зная, что трубку поднимут домашние, и вряд ли задуманный разговор в этом случае состоится, а к обкомовскому Садыков подойдет сам. Так оно и вышло: ответил хозяин, в голосе которого сквозило довольство, ликование. Прокурор понял, что поднял Садыкова из-за стола, тот что-то торопливо дожевывал, но к телефону поспешил, наверное, ждал поздравлений по поводу своей бескомпромиссной речи на бюро.

— Это Азларханов,— представился прокурор и услышал, как на другом конце провода человек от неожиданности икнул и тяжело засопел, куда и веселость, с какой он поднял трубку, девалась.

— Товарищ Бекходжаев...— Он упорно называл Садыкова Бекходжаевым, и тот ни на бюро, ни сейчас не возразил.— Мне кажется, вы рано празднуете победу. Если я сегодня и потерял

должность, это не означает, что смирился с решением суда. Я хорошо знаю, кто убил мою жену, и есть люди, которые помогут мне доказать это. Если я не найду правды здесь, в республике, я дойду до Генерального прокурора страны. И раненый зверь куда опаснее здорового, примите это к сведению. Меня поставить на колени не так просто, бороться буду до последнего дыхания...— Прокурор чувствовал, с каким напряженным вниманием слушают его на другом конце провода, и, возможно, увидев, как изменился в лице хозяин дома, к нему уже поспешили его братья и сестры или старшие сыновья Суюна Бекходжаева.

Видимо, он в своем предположении не ошибся, Садыков вдруг нервно сказал:

— Подождите две минуты, не кладите трубку...— Прикрыв микрофон, он, вероятно, совещался с набежавшими родственниками. Через несколько минут он ответил: — Я буду у вас через два часа, нам необходимо переговорить с глазу на глаз.

Прокурор посмотрел на часы, и в этот момент городские куранты отбили десять; значит, ровно в полночь в коттедж на Лахути должен прибыть Акрам Садыков, родной дядя убийцы его жены.

Хозяин дома прошел на кухню и поставил на газовую плиту чайник, за весь день он не выпил и пиалушки чая, такой суматошной выдалась суббота.

«Полгода им не хватило, еще и два часа выторговали,— подумал зло прокурор о Бекходжаевых. В том, что у них поубавился аппетит за столом, он был уверен.— Для чего им понадобились эти два часа?» — думал он, но, сколько ни перебирал варианты, к единственному выводу не пришел.

Однако в том, что им действительно необходимы эти два часа, прокурор не сомневался,— все их поступки до сих пор оказывались точно выверены, просчитаны, и чувствовалось, что мозговой трест клана работает четко и оперативно.

«Один придет Акрам Садыков или вместе с братом, а может, заявится вся мужская половина рода?» — продолжал размышлять прокурор. И опять ни в чем уверенности не было, все ходы этого семейства для него оказались непредсказуемы, не стоило и голову ломать. Один ли придет визитер, или заявится с кем-то, Азларханов был готов к разговору и действию, чаша терпения переполнилась. Конечно, не мешало бы, чтобы сейчас в его квартире оказался капитан Джураев, единственный свидетель, на чью помощь мог рассчитывать теперь



прокурор. Но это невозможно... Если бы он знал, что в эти самые минуты в доме Акрама Садыкова, словно читая его мысли, тоже говорили о капитане Джураеве, зная, что этот упрямец, не убоявшийся арестовать сына всесильного Суюна Бекходжаева,— единственная надежда прокурора.

Так в бесплодных размышлениях и пролетели два часа...

## 7

Едва городские куранты начали отбивать полночь, по сонной Лахути тихо прошуршала шинами черная «Волга» с выключенными огнями и остановилась у ворот дома прокурора. Хлопнула дверца машины, и по слабо освещенной дорожке сада к дому двинулся человек. Один...

На бетонных плитах дорожки, ведущей от калитки к веранде, четко отдавались уверенные шаги. Ритм шагов, упругая поступь сразу подсказали прокурору, что это не Акрам Садыков и уж тем более не Суюн Бекходжаев — братья были в теле, каждый за сто килограммов, и при ходьбе от ожирения шумно дышали.

Хозяин дома поднялся навстречу полуночному визитеру. В ярко освещенной прихожей стоял подтянутый молодой мужчина, лет тридцати пяти — тридцати семи, хорошо одетый, можно даже сказать элегантно, в правой руке он держал новенький кожаный дипломат с цифровым кодом. Встреть прокурор ночного гостя на улице среди празднично одетой вечерней толпы, принял бы его если не за иностранца, так за москвича, настолько он не вписывался в улицы их провинциального областного города.

— Добрый вечер,— сказал незнакомец и нервным жестом поправил свой безукоризненный пробор — на его крепком запястье сверкнули золотом не то «Картье», не то «Ролекс», дорогие и редкие швейцарские часы, особо престижные, прокурор это знал.

Хозяин дома ничего не ответил и тоже жестом пригласил пройти в дом. Незнакомец сделал шаг и задержался в дверях, пропуская вперед прокурора. «Осторожный»,— машинально отметил Амирхан Даутович.

В кабинете, не дожидаясь приглашения, незнакомец занял кресло, ближе к входной двери, тем самым оставляя прокурору место у письменного стола.

Люстра свисала как раз над креслом, где расположился ночной гость, и прокурор хорошо видел его. Гость чувствовал это, но не отодвигал кресло,— оттуда просматривался и коридор. Внешне гость был спокоен, сдержан, не суетлив, но Азларханов чувствовал в нем собранность, готовность к любой неожиданности.

— Считайте, что я Акрам Садыков или Суюн Бекходжаев, все равно, как вам будет удобнее,— у меня самые широкие полномочия от Семьи,— заговорил пришелец, усаживаясь поудобнее в кресле, и попросил разрешения закурить.— Разговор нам, товарищ прокурор, наверняка предстоит долгий,— добавил он, но тут же, погасив зажигалку, неожиданно попросил: — Ради бога, простите мне мое любопытство, но прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы одним глазом взглянуть на вашу коллекцию — много наслышан. Вряд ли у меня будет еще возможность появиться в гостях у областного прокурора, да и вообще в Средней Азии. Признаюсь, я не люблю Восток, здесь люди непредсказуемо коварны, и не все поступки объяснимы даже изощренному европейскому уму.— Гость поднялся...

Прокурор расценил его просьбу как возможность проверить соседнюю комнату: нет ли там какой-нибудь приготовленной для него опасности, засады. И чтобы гость успокоился,— а прокурору побольше хотелось выведать у него, и, похоже, можно было рассчитывать на удачу, потому что человек явно принадлежал к породе упивающихся собственным красноречием,— пригласил его в зал.

Керамика, видимо, несколько не интересовала гостя — в комнатах он задержался не более двух-трех минут. Вернулся он в кабинет более спокойный и сказал разочарованно:

— И эти черепки оценили в сто пятьдесят тысяч?! Впрочем, хорошо, что остановились на этой сумме, потому что на лондонском аукционе в последние годы продано несколько известных коллекций керамики, и гораздо дороже, чем коллекции из Анкары и Порт-Саида. Эти собрания, доложу вам, также сравнивались с коллекцией вашей жены, особенно с той, что выставлялась в последний раз в Цюрихе, и некоторые искусствоведы отдавали предпочтение вашей. Что и говорить, хорошо поработали люди в Москве, горы газет перелопатили, копии со статей в зарубежных журналах и газетах снимали, они-то и подали идею исходить из оценки лондонских аукционов. Все статьи, где указывалась достаточно высокая предполагаемая цена коллекции или отдельного экспоната, были высококачественно отсняты на японской копировальной машине и тут же, рядом, давался



перевод на русский язык. Эти документы, а их набралось немало, прилагались к каждой анонимной жалобе на вас. Так что бедным экспертам ничего не оставалось, как следовать по заранее указанному пути и воспринимать коллекцию глазами восторженных западных журналистов, иначе бы их заподозрили в симпатиях к вам, в необъективности и некомпетентности. Хотя я убежден: надумай любой наш музей приобрести у вас эти черепки, вряд ли предложил бы более тысячи рублей. Но тысяча нас не устраивала. Какой от тысячи резонанс, что она для общественного мнения? Нуль! Вот сто пятьдесят тысяч — это масштаб! Сто пятьдесят — это хапуга, за сто пятьдесят можно любого обвинить во всех смертных грехах...

Прокурор внимательно слушал ночного пришельца: тот явно хотел дать понять, что он в курсе всех его неприятностей, и даже больше — он выдавал себя за одного из стратегов, организующих эти неприятности.

Он пытался вспомнить, где он видел это жесткое, волевое лицо, характерный прищур пугающих холодом глаз, высокий лоб с едва заметными залысинами — то ли в картотеке особо опасных преступников, то ли встречал фотографию в документах, когда просматривал личные дела, инспектируя колонии на территории области? И вдруг, то ли желая сбить с гостя спесь, то ли проверяя, все ли он знает, прокурор спросил:

— Не вы ли вскрыли у меня в прокуратуре сейф?

Для незваного гостя вопрос не оказался неожиданным, он сделал презрительную гримасу:

— Не мой профиль, шеф. Берите выше, я работаю головой, а не отмычкой. — И опять он поправил свою безукоризненную прическу. — А что касается вашего сейфа, то конечно, открыл его человек, отбывающий тут срок, но он о нашем деле, то есть о вашем, ни гу-гу. Ему сказали, что хозяин кабинета потерял ключи и его надо выручить. В сейфе нас интересовали ваши амбарные книги по каждому району. В обмен на информацию из этих книг было необходимо получить содействие должностных лиц против вас. И, как видите, план вполне удался. Суд в районе, где случилось преступление, прошел без сучка и задоринки, и в Сардобском районе, где расположена Балан-мечеть, тоже оказали всяческую поддержку. А за то, что повредили альбом, вы уж извините, у нас другого выхода не было. В вашей дыре нет копировальной машины, передающей цвет, а Духовное управление могла тронуть, вызвать праведный гнев только подлинная фотография.

— Почему вы мне все это рассказываете? Не бойтесь, что каждое ваше слово в определенной ситуации я могу повернуть против вас? Организованная преступность у нас карается сурово.

Незнакомец зло рассмеялся в ответ:

— Не боюсь, товарищ прокурор, не боюсь. За это и деньги получаю. «Организованная преступность»... Как вы боитесь произнести это определение, как вообще боитесь что-либо сообщать народу о преступлениях и преступниках, все тешите себя иллюзией: этого у нас нет, этого быть не может. Скажу вам, раз выпала мне такая честь — пообщаться с самим прокурором, попавшим в беду: преступность в основном и есть организованная, и так организована, что вам и представить трудно, иначе бы вы успешнее боролись с ней. Вы же умный человек, разве вас не пугает такая компания: Суюн Бекходжаев, Герой Труда, депутат Верховного Совета, председатель колхоза, Акрам Садыков, член бюро обкома, крупное должностное лицо, тоже депутат, Иргашев, начальник областной милиции, прокурор Исмаилов, и я, профессиональный преступник, будем называть вещи своими именами.

— Хорошо, хоть так представились,— сухо заметил Азларханов.

— А мне скрывать нечего,— заявил гость.— Вот вы прокурор, из тех, что не идут на сделку с совестью, уж мы-то знаем, кто есть кто. Наверное, о том, что вы достойный человек, знают и люди на высоких постах,— почему же они оставили вас одного против нас, почему на бюро не приехал прокурор республики, чтобы защищать вас? Честно говоря, мы не были уверены, что удастся растоптать прокурора области сомнительными подметными анонимками и демагогическими выступлениями, но Садыков оказался прав, он, конечно, лучше знает вашу среду — у нас, в преступном мире, так легко оболгать человека не удалось бы. Воистину — тут, у вас, сместились все понятия о нравах.

— Ну, какие у нас нравы, позвольте разобраться нам самим, обойдемся без благородной помощи преступного мира,— парировал прокурор.— Не все так мрачно, как вам видится, молодой человек. А союз ваш — не надолго, не так уж много в наших рядах Иргашевых, Бекходжаевых, иначе бы вы сейчас не отбывали срок,— прервал он философствующего преступника и заметил, что ночной посетитель нервно среагировал на его последнюю фразу. Значит, угадал...

— Много ли, мало, а вам они испортили жизнь, сломали карьеру. Ваша песня спета, прокурор, вы проиграли. А впрочем, давайте



не будем препираться, мы люди полярных взглядов, проговорили уже с полчаса, а к делу и не приступали...

Но Азларханов, глядя на удобно устроившегося в кресле человека, думал о своем — о закрытых совещаниях в прокуратуре республики, где его коллеги не раз пытались поднимать вопрос о сращивании организованной преступности с органами правопорядка у них в крае и в стране, и как такие разговоры круто пресекались, а то и поднимались на смех, хотя примеры приводились далеко не смешные. Глядя на уверенно державшегося ночного визитера, он сейчас не поручился бы, что «гастро-лер» прибыл откуда-то из Ростова или Грозного, Москвы или Тбилиси. Он вполне мог быть выпущен полковником Иргашевым на время операции из мест заключения на территории области.

Если бы он мог, если бы он только мог задержать этого незваного гостя! Но он понимал, что сделать ему это не удастся. Во-первых, того наверняка подстраховывали, — возможно, сообщник стоял в тени летней веранды и в мгновение ока оказался бы в комнате; во-вторых, преступник был вооружен. Амирхан Даутович сразу, еще в прихожей, отметил едва заметную ремennую лямку пистолета под мышкой, — тонкий модный пиджак гостя не очень годился для такого снаряжения. А главное, — что он мог сделать после двух инфарктов и тяжелой пневмонии с человеком безусловно сильным, да и жестоким. Глупо было бы погибнуть от пули, от приема каратэ или кунфу, которыми, несомненно, владел этот человек, — не исключено, что ощущение этой власти силы над другими и подтолкнуло его к преступлению. Обиднее всего, что убийство такое, случись оно, вряд ли когда-нибудь и раскроется: преступник к утру вернулся бы к месту заключения, и какая светлая голова догадалась бы искать убийцу за тюремной решеткой?

Гость достал новую сигарету из длинной золотистой пачки, щелкнул дорогой зажигалкой.

— Бьюсь об заклад, вы никогда не догадаетесь, зачем я к вам пришел...

Прокурор не перебивал, давая возможность ему вновь разговариваться.

— Скажу коротко: передать вам этот французский дипломат, кстати, модную ныне вещь, и заручиться вашим честным словом. И ничего больше. Но прежде чем расшифровать свое скромное поручение, я должен передать вам от всей огромной Семьи Бекходжаевых искреннее соболезнование по поводу гибели вашей жены.

Видя удивление на лице хозяина дома, гость повторил:

— Да-да, самые искренние соболезнования. Не станете же вы утверждать, что вашу жену убили... специально... Это тот самый случай, который принято называть трагическим. В данном случае и для вас, и для них трагичнее не придумаешь. Но от судьбы не уйти ни вам, ни им. Мне понятна и ваша утрата, понятна и позиция Суюна Бекходжаева. Он рассуждает так: понесет ли их сын наказание или нет, вашу жену уже не вернуть, и стоит ли губить еще одну судьбу? Цинично, но для такого цинизма есть причины. Суюн Бекходжаев имеет в этих краях определенную власть, и многие люди на высоких постах обязаны своим восхождением ему. В конце концов, Семья не отрицает своей вины и готова нести ответственность, скажем, материальную, готова на определенную компенсацию. Против вас лично у них нет никаких предубеждений, и, не затевай вы столь решительно пересмотр дела, до сих пор оставались бы на своем посту. Так что должности вы лишились благодаря собственным усилиям,— таковы жесткие условия игры: или вы их, или они вас, другого не дано. В случае вашего успеха понесли бы суровое наказание и полковник Иргашев, и прокурор Исмаилов, как видите, игра зашла слишком далеко и назад хода нет. Впрочем, извините за откровенность, мало кто думал, что вы выкарабкаетесь из двух инфарктов. Но опять же, повторяю, ни у кого не было мысли лишать вас должности, и в подтверждение — вот эта компенсация.

Незнакомец поднял на колени стоявший на полу вишневого цвета кожаный дипломат, быстро набрал шифр. Раздался легкий щелчок, и крышка стала сама медленно подниматься. Как только дипломат открылся, гость развернул его к хозяину кабинета.

— Здесь ровно сто тысяч. Это компенсация за организованную Семьей потерю должности и вытекающие из этого последствия: лишение служебной машины, бесплатных путевок, буфета и т. д. Учли и предстоящую разницу в зарплате, и потерю коттеджа с великолепным садом, который наверняка у вас отнимут, вот до чего может довести упрямство...

Незнакомец неожиданно захлопнул дипломат, ловким жестом опустил на пол, подтолкнул легонько ногой к креслу прокурора.

Прокурор молча, правда, не так ловко, как ночной гость, отпихнул носком ботинка дипломат обратно.

— Не устраивает сто тысяч? Мало? Впрочем, я бы тоже за потерю такой должности потребовал «лимон».



Прокурор прекрасно знал, что на жаргоне «лимон» означает миллион и что у них в крае есть подпольные миллионеры.

— У меня повышенная кислотность, и лимон мне противопоказан. Не нужно мне и ста тысяч, да еще в таком роскошном дипломате. Должность свою, на ваш манер, я никогда не оценивал в деньгах, так что напрасно думаете, что я лью слезы, потеряв место областного прокурора. Хотя, честно говоря, очень жалею, что потерял его в такой момент, когда у меня на многое открылись глаза, сегодня я работал бы уже по-другому. Моя личная трагедия высветила жизнь совсем по-иному. И поймите наконец вы со своими компаньонами, что не все потери в жизни компенсируются, не за все в жизни можно расплатиться деньгами...

Незнакомец вдруг хищно улыбнулся и похлопал в ладоши:

— Bravo, прокурор, bravo!

— Перестаньте паясничать! — оборвал прокурор.

— Я не паясничаю. Я сейчас выиграл пари в двадцать тысяч, — почему бы не поаплодировать себе? Поясню. Идея с дипломатом не моя, я сразу сказал — деньги он не возьмет, не тот человек. С ним, то есть с вами, по-другому надо говорить, вплоть до крайней меры, извините за откровенность. А братья смеются, говорят — кто же от ста тысяч откажется? Тогда я предложил каждому из них пари, в счет своего будущего гонорара за особые услуги... Так что на вашей порядочности я заработал двадцать тысяч...

— Тяжелый у вас хлеб, — прервал прокурор посланника Бекходжаевых, — и я честно хочу предупредить: если наши пути пересекутся, а они пересекутся рано или поздно, я приложу максимум усилий, чтобы вы никогда больше не жили среди нормальных людей, вы крайне опасный человек, настолько опасный, что у нас даже статьи для таких нет.

Незнакомец поправил галстук и, улыбаясь, ответил:

— Я на вашу милость никогда и не рассчитывал и отдаю себе отчет, что мы с вами враги, настоящие враги — и стоим по разные стороны баррикады, как у вас говорится. Но ваша убежденность, вера мне нравятся, как это ни парадоксально, особенно, наверное, на ваш взгляд... Знаете, критерии человеческих отношений ныне настолько размыты, что настоящих врагов не осталось, может, только вы и я, товарищ прокурор, теперь, правда, уже бывший, поэтому давайте будем уважать друг друга. И, заканчивая нашу беседу, я хочу заручиться

вашим честным словом, что вы отныне не будете настаивать на пересмотре дела по убийству вашей жены.

— Это тоже ваша идея? — спросил язвительно прокурор.

— Да, моя, и она намного благоразумнее, чем те, на которых настаивают другие, назовем их «радикалами».

— И каковы же планы ваших «радикалов»?

— А вот этого я вам сказать не могу, чужие секреты. Но уверяю вас, жестокие планы, они пугают даже меня. Будьте благоразумны, прокурор, и примите мои условия. Вам сегодня не выиграть схватку, слишком неравные силы: и моральные, и материальные, время на стороне Бекходжаевых. К тому же каждый ваш ход Семья может рассчитать наперед, или, точнее, рассчитала еще полгода назад и, как видите, до сих пор ни разу не ошиблась. Она имела фору в полгода и, поверьте, не сидела сложа руки. Их действия для вас непредсказуемы, как непредсказуемы и силы, что они могут ввести по ходу дела в игру. Ваши тетради оказывают им бесценную помощь, слишком уж большому количеству уважаемых ныне людей выгодно лишить вас поста и дискредитировать.

— Да, в этом вы преуспели, — согласился прокурор.

— Вот именно. Да и на что вы можете рассчитывать? У вас есть один-единственный шанс, или, точнее, единственный человек, на чью помощь и свидетельство вы можете рассчитывать. Тут вы нас немного опередили, успели перевести его в Ташкент, а жаль, у полковника Иргашева в отношении Джураева был интересный план, не успели реализовать, иначе не было бы сейчас у вас и этого шанса. Не скрою, Семья проделала огромную работу и установила того, кто помог Джураеву так быстро задержать убийц. Установили и человека, с кем встречался капитан после суда. На них можете не рассчитывать, их и запугали и задобрили одновременно, припомнили им их собственные грешки, не получившие огласки в свое время. Если они до суда отказывались вам помочь, то теперь тем более. С Джураевым несколько посложнее, его не запугаешь и не купишь. Вам, наверное, лучше меня известно, что однажды он задержал человека в бегах, у которого денег с собой было гораздо больше, чем в этом дипломате. Задержанный просил в обмен на эти деньги отпустить его, но Джураев отказался.

Прокурор помнил этот случай, но не из-за денег, а потому, что Джураев задержал особо опасного рецидивиста, на чьей совести было три убийства.



— Так вот... Джураев... А что, собственно, Джураев? Работа сыщика — опасная работа, и в ней всякое может случиться, вы это хорошо знаете, прокурор. Больше всего милиция теряет людей в уголовном розыске. Известны радиопозывные и рабочая частота его радиации в машине. Ну, например, капитан, поздно вечером возвращаясь домой, проезжает мимо одного особняка, где частенько собираются люди, чьи фотографии он бережно хранит в нагрудном кармане, и вряд ли, учитывая его храбрость и благородство, он избежит искушения встретиться с ними. Он не станет осторожничать, ведь там будут люди, за которыми он давно охотится, люди в розыске. Но всегда есть возможность предупредить и тех, кто в особняке.

— И пусть выживет более удачливый? — уточнил Азларханов.

— Нет, — покачал головой гость. — Капитан не выживет, потому что в суматохе, если надо будет, его пристрелит тот, кто будет страховать эту трогательную встречу. А поскольку там без выстрелов не обойдется, он погибнет честно, на боевом посту, и смерть его ни у кого не вызовет подозрений.

Я логично рассуждаю, прокурор? У этого плана есть несколько страховочных вариантов: такому отчаянному человеку, как Джураев, несложно организовать встречу с пулей или ножом в темном переулке или подъезде. И последнее. Предугадываю, вы скажете: есть Азат Худайкулов, и, может, в нем заговорит совесть и он расскажет начистоту, как все было? Не расскажет. Потому что на снисхождение суда ему рассчитывать не приходится, а правда для прокурора его не волнует, его волнует его жизнь, когда он выйдет на свободу, а она целиком зависит от Бекходжаевых, как и жизнь его больной матери.

К тому же он не капитан Джураев и тревоги у Семьи не вызывает. Если надо будет, чтобы он замолчал навсегда, для полной гарантии, то он замолчит, будьте уверены. Он как раз работает на строительстве высотного дома, в третью смену, и ходит как сонная муха, того и гляди — сам улетит в монтажный проем.

Наверное, беседа затягивалась дольше рассчитанного, потому что гость нервно глянул на свои часы.

— Теперь, надеюсь, и вы понимаете, в обмен на что я прошу вашего честного слова.

Прокурор сидел, понутив голову, он поверил сразу в этот иезуитский план клана — они хотели получить его молчание в обмен на две жизни, а в том, что они, спасая свои шкуры, не остановятся ни перед чем, он не сомневался. Как ни парадоксально, оставалось

только радоваться, что «радикалы» в группировке не одержали верх, и эти люди оставались живы до сих пор.

У прокурора перед глазами встала семья Джураевых, его двое маленьких детей. Вспомнился и сам Эркин, надежный и верный товарищ. Нет, какие бы цели ни преследовал, он не мог сейчас собственной рукой подписать ему смертный приговор, как не мог рисковать и жизнью Азата Худайкулова, которому только недавно исполнилось восемнадцать лет.

Мысль прокурора работала лихорадочно, искала хоть какой-то просвет в тупике, но выходило, что загнали его основательно, не шевельнуться.

«Давать честное слово этому подонку — значит стать перед ними на колени, признать их правоту...» — в отчаянии рассуждал прокурор, не замечая, что гость уже нервничает и торопится.

И вдруг посланник Бекходжаевых, словно прочитав его мысли, сказал:

— Кажется, я допустил какую-то бестактность, требуя от вас честного слова, извините, я не буду настаивать на такой форме решения вопроса. Сделаем так. Я оставлю вас одного, взвесьте мои предложения и свои шансы. Ровно через полчаса, если вы приняли наши условия, включите в зале свет. Если нет, бог вам в помощь, дальше события будут контролироваться «радикалами».

— Вы числите себя в «либералах»? — еще нашел силы для иронии прокурор.

— Представьте себе, да. И ваше счастье, что с вами говорят не они. — И гость, подхватив дипломат, быстро выскользнул из кабинета.

Когда он проходил бетонной дорожкой вдоль летней веранды, хозяин дома ясно уловил шаги еще двух человек.

Прокурор еще долго сидел, понутив голову, не находя в себе сил встать и что-то предпринять, потом он неожиданно вскочил и бросился к телефону. Поднял трубку одного, второго — телефоны не работали.

И впервые за долгую ночь чувство страха охватило его. Ведь у них могли быть варианты куда короче и надежнее...

Он прокручивал в памяти долгий разговор с ночным гостем, и порою казалось, что это сцены из детектива, причем детектива зарубежного; настолько все было нереально для нашей жизни, что, поведая он кому-нибудь об этом разговоре, вряд ли его рассказ приняли бы

А

всерьез. Но в том-то и ужас, что все было всерьез, прокурор знал это. И знание это не облегчало душу, он понимал: в том, что страшные люди, подобные ночному гостю, полковнику Иргашеву, прокурору Исмаилову и Бекходжаевым, здравствуют и считают себя хозяевами положения, есть и его прямая вина.

Но долго рассуждать ему о своей вине не пришлось: раздался слабый звук автомобильной сирены — с улицы напоминали, что время, отпущенное ему, истекло.

Прокурор тяжело поднялся, шатаясь, прошел в зал и на секунду включил огни.

В ответ клаксоны двух машин сыграли радостный марш и, разрывая ночную тишину, «гости» резко рванули по сонной Лахути.

## ГЛАВА V. АЙСБЕРГ

С этой ночи, накануне Первомая, жизнь прокурора круто изменилась. Он лишился должности и получил суровое взыскание по партийной линии. Но подкосила его не тяжесть и несправедливость наказания, а откровенность и наглая уверенность ночного посланника Бекходжаевых — открытие для себя неконтролируемого участка жизни. Выходило, что все эти годы он жил в каком-то изолированном и надуманном мире, а в жизни меж тем процветали слои, пласты ее, которые были неведомы ему даже как человеку, не то что прокурору. А ведь он-то считал, что прочно стоит на земле и смотрит на жизнь глазами реалиста; выходит, действительность оказалась куда многозначнее и мрачнее, чем он себе представлял. Спроси его кто до гибели Ларисы, знает ли он жизнь своей области, контролирует ли ее, он, наверное, обиделся бы. Теперь он понимал: его знания были неполными,

а точнее — бумажными, телефонными, газетными, победные рапорты застили ему саму жизнь. И даже останься он на своем прежнем посту, все равно почувствовал бы свою надломленность — переход из веры в неверие никогда не проходит бесследно для людей честных.

Его оставили работать в прокуратуре на должности, с которой он некогда начинал в этом здании. Осенью он попал в больницу с нервным расстройством и пробыл там более двух месяцев.

— Вы потеряли какие-то жизненно важные для себя ориентиры... — говорил ему лечащий врач.

И хотя пожилой врач считал, что нервное расстройство связано только с его личной трагедией и неожиданными последствиями после нее, диагноз он поставил точно. Но прокурор, соглашаясь с доктором и признавая его диагноз, все же до конца откровенным с ним не был.

А расстройство началось из-за того, что в стенах прокуратуры ему стал повсюду чудиться подвох: казалось, здесь идет двойная жизнь. Тайный пласт по-прежнему оставался скрытым от него, а открытый не внушал доверия. Он уже не мог, как прежде, с верой выслушивать на заседаниях своих коллег; за каждым выступлением пытался найти подтекст, понять, что стоит за их словами: корысть, скрытый расчет или все же интересы справедливости, закона. Раньше он не обращал внимания, когда шушукались по углам, — мало ли у людей личных забот. Не придавал он значения и тому, кто навевается в прокуратуру и с кем общается. Теперь же ему казалось, что вся работа бывшего в его подчинении аппарата состоит из каких-то тайных встреч, шушуканий не только по углам, но и за закрытыми дверями.

Еще год назад он вряд ли интересовался, с кем дружат его коллеги, подчиненные. Теперь же он замечал, что многие из них на дружеской ноге с завмагами, директорами, и люди эти, которым, по расхожему мнению, следовало бы за версту обходить здание прокуратуры, не таясь заезжали сюда на собственных машинах за своими приятелями, уверенно держались в коридорах. Раньше ему как-то не бросалось в глаза, что даже у самых молодых сотрудников прокуратуры есть собственные «жигули» или «москвичи». И хотя он получал в три раза больше, чем владельцы личных машин, они с Ларисой едва сводили концы с концами. Правда, немалую толику средств тратили они на коллекцию, на альбомы и книги. Но все равно о «жигулях» и не помышляли, хотя машина Ларисе в ее разъездной работе была просто необходима.

А приглашения на свадьбы и иные частые торжества? Почему так настойчиво зазывались работники прокуратуры и к кому? И этих



связей никто не таил, даже с гордостью рассказывали наутро, что были у того-то или того-то, и какие роскошные столы были накрыты на пятьсот человек, и какие щедрые подарки им там преподнесли, якобы по национальному обычаю. А ведь хлебосольный хозяин, так восхищавший коллег, был всего лишь заведующим складом с зарплатой в сто двадцать рублей.

Когда он попытался завести разговор о профессиональной этике работника правосудия, его подняли на смех:

— Ах, вот как вы заговорили, сменив кабинет? Что же вы раньше молчали, когда сидели этажом выше?..

Как бы ни противилась его душа тому, чтобы подозревать своих коллег, но ведь кто-то же помогал Иргашеву вскрывать сейф, рыться в его бумагах. Кто-то помогал отыскать в давно прошедших днях даты, когда он посещал Сардобский район. Возможно, кто-то из ближайших коллег консультировал как юрист несправедное дело Бекходжаевых, помог ускорить суд, свести концы с концами. Оттого его нервы были натянуты до предела. И в одном из нелюбимых разговоров с коллегами он сорвался, в результате чего и очутился в психоневрологической больнице.

Корпуса больницы, бывшей когда-то военным госпиталем, возводились давно, одновременно со зданием, где ныне располагался обком партии, здание окружал ухоженный парк, предусмотрительно разбитый не то архитекторами, не то первым медицинским персоналом. Окна палаты выходили на дубовую аллею, где могучие деревья уже роняли желуди, с сухим треском падавшие на асфальт садовых дорожек. Лежал он в одноместной палате, светлой, с высоким потолком и большим окном. Палата нравилась ему, она действовала на него успокаивающе. Старые мастера строили не только добротнo и на века, но и наверняка знали какие-то особые секреты, чтобы храм получился как храм, театр как театр, а госпиталь как госпиталь.

— Мне кажется, даже стены здесь дышат милосердием,— сказал он главному врачу больницы. Наверное, он знал, что говорил, потому что в последний год имел достаточно дел с больницами.

Главврач Зоя Алексеевна Ковалева, бывавшая в свое время у них в доме, по-женски участливо отнеслась к нему. Он был окружен заботой и вниманием — отсюда и одноместная палата, которая ныне по рангу вроде и не была ему положена. Больница отличалась строгим режимом, но у него уже через две недели наладился свой

распорядок. Осень в тот год выдалась без дождей, теплой, и он подолгу гулял в парке; старые дубы, мирно ронявшие желуди, действовали на него умиротворяюще. Тем летом как раз вышло новое трехтомное издание «Опытов» Монтеня в серии «Литературные памятники», и прокурор подолгу просиживал наедине с книгой где-нибудь в беседке — укромных уголков в парке было много, и он не переставал удивляться, отыскивая их почти на каждой прогулке.

Наверное, в больнице прокурор задержался бы не более трех-четырёх недель, если бы главный врач случайно не узнала, что уже готово решение отобрать у Амирхана Даутовича коттедж на Лахути. Еще одна неожиданная крутая перемена в жизни могла непредсказуемо повлиять на психику ее больного, и Ковалева постаралась продержать его в стенах больницы подольше. Зная, что вопрос с коттеджем решен окончательно, она исподволь готовила его к мысли, что ему нужна маленькая, уютная квартира, наподобие его палаты, где он будет чувствовать себя увереннее. Настойчиво внушаемая врачом мысль сделала свое дело — прокурор вполне искренне стал соглашаться, что ему действительно нужно отказаться от дома на Лахути, слишком многое напоминало там ему о Ларисе.

Жалея пациента, щадя его здоровье и психику, а главное — самолюбие, главврач уговорила Азларханова написать заявление о том, что он добровольно отказывается от коттеджа, и пообещала, пока он лечится, через горисполком подыскать ему необходимое жильё; она уже знала, где определили прокурору однокомнатную квартиру.

Когда он написал заявление-отказ от коттеджа на Лахути, сам по себе встал вопрос: как же быть с коллекцией керамики? Прокурор вполне резонно заметил, что отныне собрание жены для него существует только в альбомах и каталогах, с которыми он не намерен расставаться, а саму коллекцию готов безвозмездно передать местному краеведческому музею.

Но вот с передачей коллекции музею вышла заминка... Попросили не указывать в дарственной, которая заверяется юридически у нотариуса, стоимость коллекции в сто пятьдесят тысяч, иначе музею придется брать на баланс такую огромную сумму.

Прокурор же заупрямился: ссылаясь на недавнее заключение экспертов, настаивал на указании именно такой стоимости. Дело на время застопорилось. Тогда директор музея предложил компромиссное решение: определить стоимость коллекции местным экспертам-искусствоведам. Вскоре в больницу принесли новое



заключение, где коллекция оценивалась в одну тысячу четырнадцать рублей шестьдесят две копейки.

Прокурор долго смотрел на заключение, не в силах вымолвить ни слова... Может быть, ему виделось бюро обкома, загипнотизированное суммой в сто пятьдесят тысяч, а может, припомнился страшный ночной гость, угадавший нынешнюю цену с поразительной точностью, хотя и был экспертом совсем иного рода. Затем, взглянув на главврача, стоявшую рядом с директором музея, прокурор поставил свою размашистую подпись, означавшую, что он согласен с такой оценкой.

Как только музей вывез коллекцию в свои запасники, Зоя Алексеевна объявила пациенту, что вопрос с обменом жилплощади решен и необходимо срочно переезжать. Сказала, что хлопоты по переезду решили взять на себя его коллеги, хотя все обстояло совсем иначе. Иргашев доставил на Лахути милицейский взвод, и молодые ребята за два часа перевезли весь нехитрый скарб прокурора на квартиру в новом микрорайоне, причем милиционеров крайне удивила бедность хозяина особняка на Лахути; этот же взвод помогал весной переезжать полковнику Иргашеву в областной центр, и там уж пришлось потрудиться!

Чтобы не вызвать у больного подозрений в отношении квартирного обмена, Зоя Алексеевна продержала его в стенах клиники еще две недели. И эти две недели упорно добивалась для него путевки в неврологический санаторий куда-нибудь подальше. Подальше, в центральные, не получилось — он уже не числился номенклатурным работником; нашлась путевка в местный санаторий Оби-Гарм, в горах Таджикистана. В том, что прокурору необходимо срочно сменить обстановку, она была уверена как врач. Гулявшие в городе слухи, что у прокурора отобрали коттедж и коллекцию, могли вызвать новый рецидив болезни, и путевка оказалась как нельзя кстати. Переночевав на новой квартире всего одну ночь, прокурор уехал продолжать лечение в санатории...

## 2

Так сложилась жизнь, что Азларханов никогда не бывал раньше ни в горах, ни на море, а тут в один год судьба забросила по весне в Ялту, а поздней осенью в горы Таджикистана. Ни организовать, ни отменить ни ту, ни другую поездку он не мог — так распорядилась

жизнь: весь последний год он жил в тисках обстоятельств. «Год потерь,— однажды горестно констатировал он.— Потерял жену, потерял дом. Потерял сад. Потерял работу, потерял честное имя... Потерял коллекцию, музей под открытым небом... Потерял здоровье...»

Но жизнь питает человека надеждой, верой... Осень в горах в тот год выдалась на удивление долгой, теплой. Лес на крутых склонах Гиссарского хребта еще не обронил листву и стоял, полыхая багряными всплесками кленов. Сады на горных склонах, виноградники одарили обильным урожаем, оттуда доносило запах спелых яблок, груш, айвы, хурмы. По вечерам в горах заметно свежело, и оттого с наступлением темноты за территорией санатория жгли костры на пионерский манер. Прокурор любил, закутавшись в чапан, просиживать у огня часы перед отбоем. У костра обычно не вели шумных разговоров, не веселились, и это вполне устраивало его.

Днем он подолгу гулял в окрестностях санатория, иногда пропускал обед, но никогда не жалел об этом, сожалел лишь о том, что так запоздало в жизни общается с природой. Иногда приходила в голову отчаянная мысль бросить город, прокуратуру, найти в горах посильное дело где-нибудь в заповеднике или лесничестве и так дожить оставшиеся дни.

Но потери, случившиеся в последний год, были столь велики, что он не мог не думать о них, как бы ни гнал от себя эти мысли. И оттого однажды на прогулке он принял решение все же подробно написать о том, что случилось с ним и его семьей, Прокурору республики. У подножья горы у него уже было облюбовано место, где он подолгу просиживал с книгой, время и ветры так обработали горную породу, что получился как бы настоящий письменный стол с креслом. Целую неделю он провел за этим каменным столом, сотворенным природой, и исписал своим аккуратным почерком толстую общую тетрадь; подробно обо всем, что произошло с ним за последний год, и что он обо всем этом думает. Не забыл написать и о том, что нашумевшую коллекцию жены недавно оценили в тысячу рублей и что он ее безвозмездно передал в местный краеведческий музей. Написал и о дипломате со ста тысячами, и о ночном госте, и его друзьях — полковнике Иргашеве, прокуроре Исмаилове, депутатах Бекходжаевых. Просил обезопасить жизнь капитана Джураева и заключенного Азата Худайкулова.

Отправив в Ташкент тетрадь ценной бандеролью, он несколько воспрянул духом, повеселел. Тогда, накануне Первомая, уступив



жестким условиям клана Бекходжаевых, он посчитал свое решение капитуляцией. И этот поступок тоже жег ему душу, не давал покоя. Но вот спустя чуть более полугода он нашел в себе силы, чтобы снова начать борьбу.

Отчаянная исповедь прокурора благополучно дошла из соседней республики до Ташкента и попала в канцелярию прокурора республики. Более того, оказалась в руках человека, хорошо знавшего и уважавшего Азларханова, и тот, начав ее читать, не смог уже остановиться до самого конца. Прочитав послание, он тут же позвонил в областную прокуратуру. Трубку поднял человек, некогда помогавший полковнику Иргашеву вскрывать сейф Амирхана Даутовича.

— Я получил очень странное и страшное до неправдоподобия письмо от прокурора, как бы мне с ним связаться?

Но отвечавший не растерялся:

— Странное? Да каким же должно быть письмо из психушки...

На другом конце провода возникла тягостная пауза.

— Как из психушки?

— Да так, к сожалению, из настоящей психушки. Держали тут его чуть ли не три месяца в отдельной палате для тяжелобольных, а теперь отправили подальше, в горы.

И остальная часть телефонного разговора была о превратностях жизни, о печальной судьбе некогда известного в крае человека...

Начальник канцелярии Прокуратуры республики после разговора долго сидел в растерянности и недоумении. «Какая странная и страшная судьба и как непредсказуемы обстоятельства — за год сломали и разметали жизнь человека, у которого, казалось, такие блестящие перспективы», — думал коллега прокурора. Затем профессиональная привычка и осторожность взяли верх, он понимал, что самое лучшее не только доверять, но и проверять. Тут же связался с неврологическим диспансером. К сожалению, сообщение человека из областной прокуратуры, что Амирхан Даутович после больницы продолжает лечение в горах, подтвердилось. Он долго раздумывал, как поступить с тетрадью, положил на время в нижний ящик стола, месяца через два вспомнил, хотел официально сдать в архив, но ее на месте не оказалось.

А в областном городе человек полковника Иргашева, говоривший с начальником канцелярии, довольно потирал руки, что так ловко ввернул про неврологическую больницу и душевное расстройство прокурора. Затем, возбужденный удачей, он выскочил в коридор

и с печалью в голосе поведал первому же встречному сотруднику, что, мол, сейчас звонили из Ташкента и намекнули: почему, мол, держите душевнобольных в прокуратуре. И пошла гулять по прокуратуре новая волна слухов...

3

Вернулся Азларханов из Оби-Гарма домой, на новую квартиру, накануне Нового года. Уже второй Новый год встречал он без Ларисы: уходящий провел в реанимационной палате областной больницы, а этот предстояло встретить на необжитой квартире. Выходило, что у него два события сразу — новоселье и Новый год, но не было праздника в душе. Вспомнил, как прежде с Ларисой наряжал в эти дни голубую ель в своем саду на радость окрестной детворе.

«Как там новые, незнакомые хозяева на Лахути, догадаются ли нарядить ель?» — мелькнула на секунду и пропала мысль — заботы обступали его со всех сторон. Ведь он даже не разложил вещи толком, с тех пор как перевезли их с Лахути. На новой квартире пока не было у него привычного и столь необходимого в быту телефона, может, кто-нибудь справился бы о его здоровье, поздравил, пожелал ему более удачного года. Не был он знаком и с соседями, не удалось ему даже включить телевизор — в областях нужна мощная наружная антенна, а у него не было даже комнатной, все осталось на Лахути, в прежней жизни. Единственным утешением оказалось для него, что к полуночи он более или менее удачно расположил свои вещи и квартира обрела жилой вид. Когда местные куранты отбивали начало 1980 года, он сидел на кухне, за скромно накрытым столом, и надеялся, что наступающий год будет для него удачнее и счастливее, чем два последних.

Но не стали более милосердными ни наступающий, ни следующие за ним годы... К тому времени, как он вернулся из Оби-Гарма, слух о том, что якобы Ташкент настаивает на его увольнении из областной прокуратуры, давно витал в ее стенах. Сделали даже попытку заполучить в неврологической больнице бумагу о том, что Амирхану Даутовичу работа в органах правопорядка противопоказана. Но Зоя Алексеевна выдержала давление и на подлог не пошла, объяснив ретивому начальнику отдела кадров, что подобное нервное расстройство может произойти с каждым, даже не испытывавшим того, что довелось вынести прокурору.



В прокуратуре он проработал до лета,— пришлось уйти, слишком уж нервная обстановка складывалась вокруг него. Способствовало и то обстоятельство, что он был прежде прокурором требовательным, и теперь всяк пытался при случае припомнить ему давние обиды. Может, это случилось еще и потому, что травля его как бы поощрялась новым руководством, во всяком случае, глаза на это закрывали.

Азларханов устроился на завод. Работа юрисконсульта на небольшом заводе не была обременительна, но через год у него начались неприятности: к тому времени он разобрался в технологии производства, сбыте, себестоимости и плановых затратах на продукцию.

Производство было настолько несложным, бесхитростным — ассортимент изделий не менялся десятки лет,— что только абсолютно равнодушный человек не мог вникнуть в суть дела. А вникнув, он даже несколько растерялся: на новой работе от него требовали одного — отстаивать только интересы предприятия, а они, по глубокому убеждению прокурора, противоречили интересам государства и потребителя, а если уж быть до конца откровенным, зачастую наносили только вред. Это-то и попытался объяснить он своему новому руководству, доказывая необходимость перестройки дела во благо и предприятия, и государства, и потребителя. Но его не захотели ни выслушать серьезно, ни понять, более того, когда за юристом закрывалась дверь, крутили пальцем у виска: ненормальный, мол, сам себя без премии хочет оставить. После очередного крупного скандала, когда Азларханов отказался подписывать акт на списание, ему пришлось уволиться.

Новую работу он искал долго... Мучился, переживал и оттого частенько наведывался в больницу к Зое Алексеевне. Она же, благодаря своим связям, помогла ему найти работу на кирпичном заводе в пригороде. Эта работа оказалась для него еще более тягостной, чем прежняя, к тем же проблемам и разногласиям с администрацией завода, что существовали и прежде, добавились новые...

Больше половины рабочих были из досрочно освобожденных заключенных, давших согласие оставшийся срок отработать в горячих цехах кирпичного завода — так называемые вольнопоселенцы. И тут как юрист он видел явные промахи закона. Чтобы выйти из заключения на вольное поселение, осужденные соглашались на все, но согласие не подкреплялось ни желанием, ни умением работать в горячих и опасных цехах. Странное это было социалистическое предприятие, и он откровенно жалел и рабочих, и администрацию, и самого себя, ему нередко приходилось подменять то мастера,

то технолога, учетчика или кладовщика — текучка была невероятной, больше увольнялось, чем принималось, недостающий персонал пополнялся досрочно освобожденными... Не проходило недели без каких-либо происшествий или несчастных случаев. Работа осложнялась ещё и тем, что уже на другой день после его появления все знали, что он бывший областной прокурор; это, мягко говоря, не вызывало симпатий у издерганных, озлобленных людей.

И Зоя Алексеевна с новой энергией принялась искать ему работу, но повсюду встречала то вежливый, то холодный отказ, хотя знала, что опытные юристы нужны были всюду.

— Стена, заговор какой-то против человека,— говорила она в отчаянии.

Однажды он вернулся с работы поздно вечером — вышла из строя обжиговая печь, и вся администрация принимала участие в ремонте. Рабочих не интересовал ни заработок, ни производительность, ни качество, им лишь бы день прошел, им среднее все равно выведут, и пусть за все голова у начальства болит, им даже лучше, если завод не работал. Задержался он и на остановке, более часа прождал автобус, хотя висел график движения и объявленный интервал не превышал десяти минут. Поведай ему кто в его бытность прокурором, что автобусы ходят с часовым перерывом, что есть предприятия, подобные кирпичному заводу, он бы наверняка сказал: сгущают краски, обобщают частные, нетипичные случаи.

И к той горестной вине, что признал он за собой в апрельскую ночь, после ухода ночного посланника Бекходжаевых, он без жалости к себе прибавлял и горе-завод, и автобус, который люди дожидаются часами. Ведь все это должно было находиться под контролем прокуратуры; это он, прокурор, должен был отстаивать интересы граждан, вынужденных пользоваться подобными маршрутами и работать на таких дышащих на ладан предприятиях.

Наверное, на кирпичном заводе у него впервые и зародилась мысль продолжить теоретическую работу в области права, но уже не для докторской, как рассчитывал когда-то. Нет, не волновала его теперь ни докторская, ни какая другая ученая степень; но как человек, как гражданин он не имел права не обобщить опыт последних трех лет жизни.

В почтовом ящике вместе с газетой лежало письмо. Писем он ни от кого не ждал, потому удивился. Обратного адреса на конверте не было...



На миг ему подумалось — может, Бекходжаевы еще чем-нибудь решили порадовать, но он ошибся. Письмо оказалось от доброжелателя, от анонимного доброжелателя. Это обрадовало и огорчило его одновременно. Если даже добро люди пытаются делать тайно, это еще раз говорило о неблагоприятии нравственной атмосферы вокруг. В письме лежала вырезка из газеты и краткая записка, отпечатанная на машинке. Он сразу узнал пишущую машинку из прокуратуры — сам часто печатал на ней и видел сейчас четкий дефект, свойственный только ее шрифту: у буквы «ф» не хватало одного круляша. В записке говорилось, что отправитель письма знает о трудном положении прокурора; ему вряд ли найти в области подходящую работу, недоброжелатели широко распространили слух о его нервном заболевании — оттого-то ему везде и отказывают.

Доброжелатель предлагал обратить внимание на объявление в газете, вырезку из которой прилагал. Более того, автор письма сообщал, что он туда уже рекомендован и там его ждут. Объявление в газете гласило: «Консервному заводу срочно требуется опытный юрист-консульт. Оплата по штатному расписанию. Предоставляется жилплощадь в ведомственном доме».

Он долго мял в руках письмо и понимал, как оно оказалось кстати: после двух инфарктов и тяжелой пневмонии работать в горячих цехах среди пыли и озлобленных людей у него уже не было сил. Иногда среди дня ему казалось, что он сейчас упадет или на узкоколейку, или на вагонетки с горячими кирпичами и уже больше никогда не поднимется. Пробегая трижды на дню по территории склада готовой продукции, он каждый раз думал: вот сейчас этот криво-косо уложенный штабель кирпича рухнет на него, и это будет конец. Но, как ни странно, не испытывал страха, хотя знал, что такие происшествия не редкость, и все списывалось — несчастный случай на производстве. Да и попробуй отыскать виновника, когда над территорией склада целый день не опадает пыльный туман, а от лягза и скрежета старых вагонеток не слышно ничего уже в двух шагах, и народ тут тертый, найдет время и место поудачнее, чтобы свалить на голову что-нибудь потяжелее, если задумает.

Да и был ли смысл, ради чего стоило держаться за такую работу? Тому, что он попал сюда, могли радоваться только Бекходжаевы.

Утром из заводоуправления Азларханов позвонил в соседнюю область. По тону разговора сразу уловил, что о нем кто-то ходатайствовал и там его действительно ждали. Не возникло проблем

и с переездом: машина с консервного завода через день доставит сюда на областную базу свою продукцию и может перевезти вещи прокурора хоть в один прием, хоть в два, как будет удобно ему самому, пусть только назовет день. На том и порешили.

Амирхан Даутович поспешил подать заявление, и уже через день получил расчет, в понедельник он ждал машину с консервного завода.

В воскресенье, упаковав книги и сложив свои нехитрые пожитки, он поехал на кладбище попрощаться с Ларисой.

Ему нравился памятник из темно-зеленого с красными прожилками гранита, сделанный братьями Григорьянами. Как и обещали, постарались они от души. Памятник меньше всего напоминал кладбищенское надгробие, он вполне мог быть представлен на любой художественной выставке — чувствовалась твердая рука и вкус настоящих скульпторов. Хороша была и отлитая по их эскизам бронзовая ограда. На кладбищенской земле деревья растут быстро, и сейчас вокруг могилы тополя и дубы заметно поднялись, а кусты роз так щедро разрослись, что скрывали соседние ограды.

Прокурор бывал здесь часто, почти каждое воскресенье, потому могила была ухожена. Сегодня он пробыл здесь дольше обычного и спустился с кладбищенского холма, когда начало смеркаться.

Возвращаясь, он решил заглянуть на Лахути, попрощаться с домом, где они вырастили сад, прожили столько лет с Ларисой и где были так счастливы. Все это время, послушный совету Зои Алексеевны, он избегал не только разговоров, даже мыслей о своем бывшем доме.

Кто живет или жил там в эти трудные для него времена?

Свернув на Лахути, он не увидел привычной высокой стены живой изгороди. И это так ошеломило прокурора, что он невольно замедлил шаг. Кусты ограды, так радовавшие их, были безжалостно выкорчеваны, а двор со всех сторон окружала мощная бетонная ограда из плит перекрытия, поставленных вертикально: прямо-таки железобетонная крепость возникла перед прокурором.

«Видно, большой начальник живет, раз целую пятиэтажку оставил без панелей перекрытия», — подумал он, подходя к дому.

Бывший хозяин долго ходил вокруг коттеджа, ему хотелось заглянуть во двор, но это оказалось непросто. Прежней зеленой калитки, обычно не запертой, теперь не было, ее заменили мощные железные глухие ворота, выкрашенные в зловещий черный цвет. Все крепко, надежно, на века, нигде ни щелочки — ни в заборе, ни в воротах.



У соседнего дома в переулке стояла пустая железная бочка, и Азларханов, оглянувшись по сторонам — не видит ли кто, — подкатил ее к бетонной ограде. Освещение во дворе, видно, не убрали, и сейчас кое-где на дорожках уже горели огни. Двор свой он не узнал: от того задуманного Ларисой двора не осталось и следа. Да и зачем он был нужен новому, наверное, с крепкой хваткой, хозяину? Не осталось ни одного карликового деревца, с такими трудами собранных отовсюду и так долго приживавшихся. Не было и бассейна, выложенного голубым кафелем, исчезли и английские лужайки. Спилили могучий дуб в углу двора, в тени которого по весне расцветали крокусы, ни одного редкого, экзотического дерева, которыми так гордилась жена. Сказать, что двор пришел в упадок, зачах, он не мог; здесь царил новый порядок: грядки, грядки, грядки — и ни одного бесполезного цветка.

Дом сиял огнями, из распахнутых настежь окон слышалась музыка.

«Наверное, смотрят телевизор... — Прокурор напоследок окинул взглядом безлюдный двор. — Надо будет спросить, кто же это оградились от мира таким железобетонным забором».

Но в этот момент щелкнул выключатель на открытой веранде, и в свете огней он увидел знакомую фигуру в полосатой пижамной паре. Прокурор поначалу подумал, что обознался, но тучный человек властно крикнул кому-то в доме, чтобы выносили самовар, и последние сомнения развеялись. Да, он не ошибся, — в его доме жил и здравствовал полковник Иргашев...

## 4

...Да, тяжелый и долгий разговор мог бы состояться, повстречайся он в тот вечер в «Лидо» со своими бывшими коллегами.

Вряд ли прокурор собирался кому-нибудь жаловаться на свою судьбу, а ведь рассказ о себе, о Ларисе иначе и выглядеть не мог и ничего, кроме жалости и сострадания, не вызвал бы. Поверженные, побежденные редко вызывают другие чувства, такова уж человеческая психология — он знал это, поэтому и не хотел встречаться ни с кем из бывших знакомых. Прав оказался ночной гость, когда сказал, что нынче время Бекходжаевых и все его попытки добиться справедливости заранее обречены на провал. На справедливость

он мог рассчитывать только при изменении общей обстановки в стране, когда само время больше не сможет терпеть Бекходжаевых и насаждаемых ими порядков и нравов.

Совершая каждодневные вечерние прогулки по улице Буденного, он больше не заходил ни в один из ресторанов — не хотел ни с кем встречаться, даже случайно.

Неожиданная ревизия собственной жизни как бы укрепила его дух, утвердила еще раз в мысли, что работа его над юридическим исследованием необходима, нужна людям.

И он понимал, что должен спешить, спешить из-за здоровья — все чаще и чаще сердце давало о себе знать. Была еще одна причина, почему он торопился. Чувствовал он — особенно после того, как оставил пост областного прокурора и жил жизнью большинства людей, разделяя с ними тревоги и заботы,— что в стране на первый план неожиданно выдвинулись люди, подобные Бекходжаевым. Правда, в газетах и по телевидению еще продолжали восхищаться «бегом на месте» под бурные аплодисменты, и Бекходжаевы еще крепко сидели в своих креслах, но недовольство все растущей социальной несправедливостью уже витало в воздухе, и он не мог этого не замечать. Да и как не заметишь день и ночь переполненные рестораны городка, пьяные оргии, картежную игру по-крупному и все растущую вольность нравов — словно пир во время чумы.

И если при всем желании Азларханов не мог укоротить сроки царствования Бекходжаевых, то к новому, грядущему времени хотел прийти не с пустыми руками — он понимал, что придется перестраивать многое.

Прошла неделя, вторая, и он, поглощенный работой, постепенно забыл о музыке давних юношеских времен, заставившей его в воспоминаниях заново прожить жизнь, забыл и о посещении ресторанчика «Лидо», где незнакомцы так учтиво раскланялись с ним,— хотя ежевечерние прогулки по улице Буденного продолжались.

Но пришел день, и его размеренная жизнь нарушилась...

Как-то вечером, когда прокурор вернулся с прогулки, у двери раздался звонок. Время было позднее, гостей он не ждал,— в этом городе почти ни с кем не общался,— поэтому ночной звонок удивил. Все же дверь он открыл. В полутьме на лестничной площадке стояли двое, он сразу их узнал — из тех, что раскланялись с ним недавно, за соседним столиком в «Лидо».



— Добрый вечер, Амирхан Даутович,— приветствовал один из них хозяина дома, другой — просто кивнул головой.— Проезжали мимо, видим, свет горит, решили зайти поведать, не возражаете?

Теперь, лицом к лицу увидев этих мужчин — каждому едва ли было за сорок,— он убедился еще раз, что он их не знает. Нельзя сказать, чтобы бывший прокурор обрадовался ночным визитерам, но и не испугался. Терять ему в этой жизни больше было нечего, все дорогое уже потеряно или отнято. Поэтому он шире распахнул хлипкую дверь своей квартиры и пригласил неожиданных гостей в дом.

Те прошли в комнату, представились. Повыше ростом, голубоглазый, уверенный, назвался Артуром Александровичем Шубариным, а другой — чернявый, вертлявый — Икрамом Махмудовичем Файзиевым. Прокурор предложил сесть, но гости усаживаться не спешили. Оглядев более чем скромную обстановку в комнате, Артур Александрович с нотками сочувствия в голосе спросил:

— Что ж так бедно живете, прокурор?..— Видимо, вопрос был приглашением к разговору, но Азларханов промолчал.— Не жалеете, что отказались от компенсации в сто тысяч?

Наверное, гость ожидал, что хозяин дома удивится неожиданному вопросу, но прокурора уже ничего не удивляло после того, что произошло с ним, поэтому он ответил бесстрастно:

— Нет, не жалею...— Усмехнувшись, в свою очередь спросил: — И много вы знаете таких подробностей из моей жизни?

Гость оживился, довольный тем, что сумел заинтересовать хозяина.

— Думаю, что много. Пожалуй, ничью биографию я не изучал так досконально — ни в школе, ни в институте, как вашу...

— За что же мне выпала такая высокая честь? — поинтересовался Азларханов, еще раз предложив гостям располагаться — разговор начинал вызывать у него интерес. Визитеры заняли один кресло, другой — стул. Нить разговора взял в руки Шубарин.

— Не спешите, все узнаете в свое время. Одно могу сказать, прокурор,— не возражаете, если я буду вас так называть? — изучал я вашу биографию по личной инициативе и, не скрою... с симпатией. Смею надеяться, что мы с вами будем друзьями, по крайней мере, нам этого очень хочется.

Прокурор не понимал, куда клонит гость, но то, что его сразу попытались расположить к себе, настораживало. Ему уже ясно стало, что никакие это не бывшие его коллеги и не работники партийного

или советского аппарата, за кого он ошибочно принял их тогда в «Лидо». Но кто они на самом деле, он и предположить не мог.

Шубарин, видимо, желая быстрее перейти к делу, выложил еще один козырь:

— Мы даже знаем, кто убил вашу жену... Известно нам и то, что Анвар Бекходжаев с прошлого года работает прокурором в районе, где некогда совершил преступление. Ну, а чтобы вы не сомневались, что мы знаем о вас не понаслышке, мой друг зачитает сведения, что нам удалось собрать о вашей персоне. Пожалуйста, Икрам.

Чернявый подвижный Файзиев, все время зыркавший глазами по сторонам, явно отрепетированным демонстративным жестом открыл кожаную папку и достал бумаги.

— Итак... Азларханов Амирхан Даутович, родился в 1933 году, в Сибири. Воспитывался в детском доме; родители, юристы, были репрессированы в 1937 году. Служил четыре года в военно-морском флоте на Тихом океане. Закончил в родном городе университет с отличием и аспирантуру в Москве. Был женат. Жена — Лариса Павловна Турганова, искусствовед, собрала частную коллекцию восточной керамики, которая неоднократно выставлялась за рубежом...

Прокурор жестом остановил чернявого — читать тому еще предстояло много, и он не сомневался, что знают о нем все или почти все.

— Зачем вам это? — спросил он устало. — Вряд ли я нынче представляю для кого-то интерес, даже шантажировать меня нет смысла...

Шубарин нетерпеливо перебил хозяина:

— Мы не шантажисты. И, пожалуй, вы правы, что едва ли для кого-то представляете нынче интерес. Время такое, интерес, внимание только к тем, кто на коне, то есть в кресле. Однако хотелось бы, чтобы вы не принимали нас и за филантропов, у нас совсем другие цели, но они не могут принести вам худого, наоборот, изменят вашу жизнь в лучшую сторону. А то, что нам пришлось так тщательно изучить вашу биографию, этого требовали обстоятельства, вы потом это поймете и, надеюсь, не будете в претензии. Слишком многое мы собираемся вам верить, потому и не хотели бы подвергать себя неоправданному риску.

— Нельзя ли яснее? — перебил незваного гостя прокурор.

— Нет, яснее пока нельзя. Только в общих чертах, яснее и подробнее — когда получим ваше принципиальное согласие на сотрудничество.



— Что же вам от меня нужно?

— Не гоните лошадей, прокурор, дело серьезное. Я представляю местную промышленность, и нам позарез нужен юрисконсульт, если уж вы так настаиваете на краткости.

— Юрисконсульт? — удивился бывший прокурор. — Да нашего брата сейчас развелось хоть пруд пруди, разве это проблема?

— Не скажите. Проблема, да еще какая, — гость тяжело вздохнул, удивляясь непонятливости бывшего прокурора, и пояснил: — Нам ведь не всякий юрист подойдет, нужен человек с большим опытом — юридическим и жизненным. Больше того — изощренный в законах, знающий и понимающий их противоречия. И притом не робкий, привыкший к коридорам власти, знающий дорогу в Москву, — и туда простираются наши интересы. Лучше всего молодой, внушающий доверие и уважение, образованный и эрудированный. В общем, нужен человек с умом и характером. Вот почему мы собирали столь подробное досье на вас, прокурор... Признаюсь, доля риска, и немалая, свяжись мы с вами, имеется. Но в случае удачи, если мы найдем пути к сотрудничеству, — выигрыш для нас несомненен: ваш юридический опыт, ваши связи принесли бы нам неоценимую пользу.

— И что же все-таки толкнуло вас на риск? — спросил прокурор, все еще не понимая, чего хотят от него ночные гости.

Видимо, гость ожидал этого вопроса, поэтому ответил не задумываясь:

— Логика, уважаемый прокурор, логика... и обстоятельства вашей жизни. — Гость выразительно повел взглядом вокруг.

— Не понимаю вашей логики, нельзя ли конкретнее.

— Что ж, можно и подробнее, если уж так настаиваете. Я даже рад: вы, кажется, не утратили прокурорской хватки. А логика такая, хотя и придется кое в чем повториться. Нам кажется, государство никогда не ценило и теперь уже вряд ли когда оценит вашу верность идее или долгу, затрудняюсь, как это точнее назвать. Не оценили в свое время ваших родителей, скажем так. Они сгинули без следа, сами вы росли сиротой. Вашу жену убили, вас лишили дома, работы, честного имени, здоровья... Убийца и его покровители не только на свободе, но и процветают на тепленьких постах. Так что у вас должны уже сложиться свои взгляды на отношения личности с государством. В то же время то, что вы не взяли сто тысяч у Бекходжаевых, вызывает уважение...

Прокурор, выслушав эту откровенно циничную тираду, опешил, мелькнула даже мысль показать гостям на дверь. Но какое-то внутреннее чувство удержало его от этого поступка. Кто знает, может, жизнь предоставляет ему редкий, последний шанс послужить правосудию, и хоть запоздало, но искупить, пусть частично, свою вину перед обществом? Вину эту он, как прокурор, с себя не снимал. А выгнать непрошенных гостей он всегда успеет, не в этом геройство.

Ему кстати или некстати припомнился один толковый хозяйственник, поднявший разваленное предприятие, не вылезавшее из долгов лет десять. Привлекался он за то, что без документации, без государственных строительных организаций возвел ремонтную базу и утепленные гаражи для своего автохозяйства. Нарушение с точки зрения закона было налицо, хотя корыстных целей он не преследовал. Так этот хозяйственник сказал ему однажды с горечью:

— У нас никогда не судили за неделанное, судят постоянно за сделанное.

Так и в данном случае: легче всего и, видимо, безопаснее было бы, пылая праведным гневом, указать пришельцам на дверь, и это был бы искренний поступок; но разумнее выходило сдержаться, ждать, слушать, вникнуть в суть — ведь он даже не знал еще подоплеки дела, в котором ему отводилась роль, и немалая, судя по откровению ночного визитера. А что касается логики гостя, которую тот считал неотразимой, единственно верно рассчитанной, бьющей в десятку, в сердце, так был ли смысл ее оспаривать — все равно каждый из них останется при своем мнении, в таком возрасте им обоим поздно менять убеждения. Разве понял бы ночной гость, что для него Бекходжаевы, Иргашевы никак не олицетворяли ни советскую власть, ни партию, ни государство, как не олицетворяли эти понятия и те, что сгубили его родителей. Беда его родителей была одной из составляющих общей беды, и сейчас, на новом витке истории, случившееся с ним также нельзя было считать только личной трагедией, это тоже было одно из проявлений общей беды — и только так он понимал события, происходящие вокруг. Было ясно — его втягивали в какое-то крупномасштабное предприятие, и дело это, скорее всего, напоминало айсберг: верхняя, надводная, часть имела легальный статус, а основная, подводная, была темна, как океанские глубины, и она-то требовала определенного юридического прикрытия.

Не исключено, что этот Шубарин является представителем новой волны советских миллионеров, ворочавших «теневою»



экономикой, о существовании которой проницательные люди не только догадывались, но и ощущали ее присутствие повсюду. И идти добровольно в объятия такого синдиката, где царят жестокие законы, было небезопасно. Уж об этом он знал. Но пришла и другая мысль: «С юности я поклялся посвятить жизнь борьбе за справедливость и оказался вдруг не нужен закону и правопорядку. Так, может, ценой такого риска я послужу в последний раз тому, чему и собирался отдать жизнь?»

Эта неожиданная мысль как-то сразу сняла начинавшее подниматься раздражение. Внутренне он был готов рискнуть, поэтому стал слушать ночного гостя внимательнее, боясь пропустить хоть слово. Да, похоже, жизнь звала еще раз послужить правосудию, и отступить, по его понятиям, не следовало.

Он даже задал Шубарину вопрос, в котором как бы крылось не то его согласие, не то сомнение:

— Вот вы сказали — поездки в Москву... коридоры власти. Вы считаете, что такие нагрузки мне по силам? Я перенес два инфаркта и тяжелейшую пневмонию, которая до сих пор дает о себе знать. Не переоцениваете ли вы мои способности?

Гость вдруг так искренне и весело рассмеялся, словно сбросил с себя какую-то тяжесть.

— Как вы нас до сих пор еще не выставили за дверь, если считаете, что пришли два нахала и пытаются все свои заботы спихнуть на вас? Не волнуйтесь, мы прекрасно осведомлены о вашем здоровье и, уверяю вас, будем всячески оберегать его. Что касается вашей работы, она будет носить официальный характер, и вам никогда и нигде ничего отстаивать ценой здоровья не придется. Все, что внешне будет напоминать защиту интересов разных сторон, скажем, бурные прения, вас не должно волновать. Куда бы вы ни пришли, все или почти все будет предрешено заранее, и это уже не ваши заботы. Ваша работа будет заключаться совсем в другом. Не знаю, понравится ли сравнение, но вы будете, скажем так, послом по особо важным поручениям и юридическим советником. Но сегодня, я думаю, о подробностях работы мы говорить не будем, важно ваше принципиальное согласие. А что касается поездок в Москву или другие города, они, конечно, будут. Но опять же, вряд ли у вас возникнут там какие-то проблемы... Не придется даже нести свой чемодан, вас всюду будут сопровождать наши люди. Однако я полагаю, на сегодня деловых разговоров хватит, и нам следовало бы обмыть наш союз, не так ли?

Прокурор впервые за вечер растерялся.

— У меня только чай, да и то азербайджанский, второго сорта.

Но тут в разговор вступил чернявый — наверное, остальное было по его части:

— Не волнуйтесь, прокурор, мы предусмотрели и это. Знали о вашем спартанском быте и ваших возможностях... — Он распахнул окно, выходящее во двор, и подал какой-то знак.

Прошло несколько минут, и раздался осторожный звонок. В прихожей появился официант, тот самый, из «Лидо», где единственный раз ужинал прокурор. В руках он держал две тяжелые корзины, накрытые не то скатертью, не то салфетками. Ловкий Икрам тут же перехватил у него одну из корзин. Официант сдержанно поздоровался с хозяином и прошел в комнату — видимо, такое выездное обслуживание было ему не в диковинку. Вдвоем с Икрамом они ловко выдвинули стол на середину комнаты, и официант, достав из корзины туго накрахмаленную скатерть, быстро усталил ее тарелками, бокалами и прочим, привезенным из ресторана. Затем, попросив у хозяина дома разрешения воспользоваться газовой плитой, подхватил корзины и скрылся на кухне. Прокурор чуть ли не больше, чем своим неожиданным гостям, подивился расторопности молчаливого официанта и ночной скатерти-самобранке.

Через несколько минут из кухни поплыли аппетитные запахи. Пока на сковороде что-то шкворчало, подогревалось, официант бесшумно ставил на стол закуски, зелень, «Боржом», который Азларханов в последний раз пил лет пять назад в обкомовском буфете.

Шубарин, не обращавший внимания на суету официанта у стола, долго стоял у фотографии Ларисы Павловны, висевшей на стене.

— Красивая была женщина. Талантливая. У меня есть её альбомы.

Наблюдая за ночным гостем, прокурор почувствовал: Артур Александрович ждал от него вопросов; он не стал торопить события, и тут его выручил официант, внесший на большом лягане жареных перепелок с грибами; внимание всех переключилось на роскошное блюдо, украшенное зеленью и помидорами. Официант, поставив ляган посередине, поправил кое-что на столе, словно художник, добавляющий штрихи на готовой картине, затем вопросительно глянул на Шубарина. Тот, видимо, мысленно еще продолжавший разговор с прокурором, машинально ответил:



— Спасибо, Адик. Можешь идти, Ашот отвезет тебя домой.

Официант попрощался, пожелав приятного застолья, и тут же удалился. Такого вышколенного официанта прокурор видел впервые.

— Ну что ж, прошу за стол,— пригласил Артур Александрович, едва за расторопным Адиком захлопнулась дверь. Чувствовалось, что в любых ситуациях он привык быть хозяином положения.

Икрам разлил предусмотрительно открытый официантом коньяк, несмотря на возражения прокурора, налил и ему.

— За взаимопонимание и успех,— таков был первый тост ночного гостя, и хозяин дома пригубил рюмку вместе со всеми; гости не настаивали на том, чтобы он выпил. Правда, прокурор с большим удовольствием выпил бокал темного чешского пива «Дипломат», похвалил.

Чернявый среагировал сразу:

— Нет проблем, завезу как-нибудь пару коробок «Хольстена», в жаркий день нет напитка лучше.

Сидели долго, но ни о работе, ни о каких-то проблемах больше не говорили; хотя Икрам дважды пытался получить консультацию по каким-то конкретным делам, Артур Александрович мягко, но настойчиво уводил разговор в сторону.

Бывал Шубарин, оказывается, и за границей, в том числе в Японии, и они обменялись с прокурором своими впечатлениями о тамошней жизни и порядках.

Расстались далеко за полночь, уговорившись встретиться на другой день за обедом в «Лидо».

После ухода гостей прокурор еще долго размышлял о необычном визите, о своей жизни, в которой с завтрашнего дня, похоже, начинается новый этап. Вновь и вновь он возвращался памятью к сказанному Артуром Александровичем и к редким репликам Икрама.

Что крылось, например, за фразой: «Мы отдаем себе отчет в том, что идем на большой риск, посвящая вас в свои дела»?

Одно было ясно: дело, в которое он вступит завтра, или, точнее, уже вступил с этой полуночи,— крупномасштабное, солидное, оттого они и шли на риск. И прокурор понимал, что какое-то время, пока он не выдержит изощренной проверки или чем-то особенным не привяжут его к делу, за ним будет глаз да глаз, ведь он, как юрист-консульт, будет знать гораздо больше, чем кто-либо. Ясно, что хозяин не из тех, кто любит посвящать лишних людей в свои дела, а вот с юристом, хочешь не хочешь, придется консультироваться.

Но какую бы опасность, риск он ни предвидел, ни предчувствовал, ему хватило мужества не отказаться — обстоятельства сложились так, что жизнь еще раз решила устроить ему проверку — и как юристу, и как гражданину.

Шубарин ничего не сказал ему о требованиях на будущей работе, но прокурор знал: они вряд ли будут отличаться от тех, что предъявляются на теперешнем заводе, да и повсюду, где ему пришлось работать юрисконсультом.

Парадокс заключался в том, что и дельцы подпольных трестов, и директора официальных предприятий требовали одного — соблюдать интересы своей фирмы, даже если они шли вразрез с государственными и народными, хотя, если быть объективным, подпольная экономика учитывает интересы потребителя и никогда не работает ради пресловутого плана — на склад-свалку.

Дойдя в своих рассуждениях до такой горькой истины, прокурор успокоился и отправился спать — назавтра ему тоже предстоял нелегкий день...

## 5

В назначенное время прокурор появился в ресторане «Лидо». У входа его встретил вчерашний официант и проводил к тому самому столику, за которым он уже однажды ужинал. Шубарин появился неожиданно, откуда-то из-за спины, наверное, он вошел в другую дверь, что вела прямо из ресторана в гостиницу. Выглядел собранным, подтянутым, наверное, он был из тех, кто никогда не дает себе расслабиться. Зал уже почти заполнился, и прокурор видел, как многие тянутся взглядом к их столу, желая поздороваться или хотя бы попасть на глаза его сотрапезнику, но тот словно ничего не замечал вокруг, все внимание его было отдано собеседнику за столом.

— Ну как, не переменили вчерашнее решение? А то вольному воля, я предпочитаю в делах добровольные начала,— сказал он, разливая «Боржоми» в бокалы,— он по своей привычке сразу захватывал инициативу.

— Нет, не передумал,— раздумчиво ответил Азларханов.— Старость не за горами, и, как вы правильно заметили, я оказался к ней не готов. Однако я задам вам встречный, возможно, несколько



меркантильный вопрос — будет ли у меня возможность скопить на маленький уютный домик в Крыму, скажем, в Ялте? Это то самое место, что рекомендуют мне врачи.

— Не только на маленький, но и на самый что ни есть роскошный, какими владеют в Крыму некоторые отставные генералы,— заверил Шубарин.— Я тоже люблю Крым, Ялту и рад помочь вам, чтобы было куда пойти в гости по старой дружбе. А может быть, я и сам куплю что-нибудь по соседству,— наверное, наступит день, когда и мне наскучат дела. Все зависит от вас, повторюсь еще раз: ваш опыт, знания, прежние связи нам необходимы позарез. Но давайте спокойно пообедаем, а разговор наш о делах перенесем наверх, ко мне в номер.

Когда они поднялись из-за стола, прокурор осторожно подсказал:

— Обратите, пожалуйста, внимание на того молодого человека в красной рубашке, что сидит недалеко через проход. Мне кажется, он слишком тщательно выбирал место, чтобы лучше просматривался наш столик, и все время не сводит с вас глаз.

Артур Александрович, не поворачивая головы в ту сторону, куда кивком указал прокурор, улыбнувшись, ответил:

— Я не ошибся в вас, прокурор! Есть еще порох в пороховницах, не утратили хватки. Вы правы, он не сводит с меня глаз и место выбрал с умом, но он так и должен поступать, потому что это мой телохранитель.

Видя, что своим сообщением явно огорошил сдержанного, владеющего собой Азларханова, будущий шеф рассмеялся:

— Да, да, телохранитель, не удивляйтесь. У вас тоже будет свой, впрочем, он уже есть, подыскали подходящего человека, прибудет недели через две-три. Ну, а с Ашотом, я надеюсь, вы подружитесь, надежный парень, не подведет.

Поднялись на третий этаж, номер располагался в конце коридора. Еще когда входили, прокурор обратил внимание на тяжелую дубовую дверь и два финских замка особой секретности — такие замки были врезаны некогда у него в кабинете областной прокуратуры.

Двухкомнатный «люкс», на первый взгляд, ничем особо не отличался: маленькая спальня, в которой едва умещался спальный гарнитур, и небольшой зал, наверное, служивший хозяину кабинетом и приемной. Бесшумно работал кондиционер, и оттого в комнатах

стояла приятная прохлада. Чувствовалось, что здесь живут давно, уют больше походил на домашний, чем на гостиничный.

Оглядевшись, прокурор увидел в углу большой японский телевизор «Шарп», а рядом, на специальной подставке, плоскую серебристую деку, похожую на магнитофон, но понял, что это видеоприставка.

Хозяин номера, поймав взгляд прокурора, подтвердил:

— Да, домашнее кино. Интересные есть фильмы, «Крестный отец» Копполы, например. Жаль, времени не хватает смотреть, впрочем, у вас со временем будет лучше. Так что при желании можете смотреть здесь или систему поднимут к вам в номер.

Прокурор вопросительно глянул на хозяина «люкса».

— Да, да, к вам в номер, я не оговорился, просто забежал немного вперед, к слову пришлось. Мы решили, что ваше жилье не подходит ни вам, ни нам. Прежде всего, оно не подходит вам — далековато для ваших каждодневных пеших прогулок, да и потом, что это за квартира, не по вашим заслугам. Поскольку однокомнатные здесь дефицит, как и в любом другом городе, мы подыскали вам обмен на двухкомнатную, недалеко от гостиницы, в соседнем квартале. Я был там и уверен — она вам должна понравиться. Не скажу, чтобы квартира особо нуждалась в ремонте, но решили все же обновить ее, тем более в этом городе есть настоящие мастера. Через два часа мы закончим с вами кое-какие дела, а затем вы с Икрамом поедете и посмотрите новое жилье. Там вас будут ждать — на месте все и обговорите. Месяца два вы будете мне нужны ежедневно: накопилось много дел, по которым хочу получить у вас консультацию или обсудить, как законнее поступить. Вашу квартиру в Черемушках надо срочно освободить, а на новой будет пока идти ремонт. Поэтому на четвертом этаже, надо мной, вам зарезервирован точно такой же номер, и вы сегодня или завтра должны переехать в гостиницу.

Слушая четкие распоряжения нового шефа, прокурор невольно усмехнулся. Шубарин тут же среагировал, вопросительно подняв бровь:

— Я что-нибудь не так говорю?

— Ремонт, «люкс» на четвертом этаже... Вы слишком оптимистичны насчет моих финансовых возможностей, Артур Александрович.

Тут уж рассмеялся хозяин «люкса»:

— С вами не соскучишься, прокурор. Знаем ваши возможности, знаем. Мы ведь не прежнее ваше руководство: приглашая человека,



ожидаю от него отдачи, думаем прежде всего о нем. Какова забота, такова и работа — это наш девиз. Потому и идут к нам охотно, хотя и элемент риска не скрываем...

Он выдвинул незапертый ящик письменного стола и, не глядя, достал пачку денег в банковской упаковке.

— Вот, получите. Это вам на первое время. Не хватит, обращайтесь, не смущаясь. Повторюсь, я не филантроп, и, как всякий деловой человек, умею считать деньги, но ваша работа будет оплачиваться высоко, так что вы вправе брать вперед любые суммы. Помните из классики: в старой России могли выдать жалованье за годы вперед — у нас приблизительно такая же отжившая система, но не для всех, конечно, далеко не для всех...

Прокурор взял протянутую ему пачку пятидесятирублевых и небрежно сунул в карман. Видимо, обтрепавшийся рукав его пиджака напомнил хозяину номера что-то, и он добавил:

— И последнее, прежде чем перейти к делу. После встречи со строителями поедете с Файзиевым на торговую базу соседней области. Звонили перед обедом, — у них крупное поступление. Вам следует капитально обновить свой гардероб, что называется, «от и до». Сами понимаете, нужна солидность, респектабельность... По одежке встречают, по уму провожают — это придумал не я.

Возможно, Шубарин вспомнил бы еще о чем-нибудь неожиданном, прежде чем перейти к делу, но тут раздался междугородный телефонный звонок. Хозяин номера долго выслушивал кого-то на другом конце провода, изредка вставляя непонятные прокурору реплики; чувствовалось, что разговор не доставляет ему удовольствия. В конце концов, не дослушав до конца, он сказал:

— Сегодня буду, ждите, — и бросил трубку.

Артур Александрович заходил по комнате, заглянул зачем-то на минутку в спальню; вернулся в зал по-прежнему спокойным, уравновешенным, он умел владеть собой.

— Не люблю, когда срываются планы. Сегодня я собирался вести вас в курс дела, но не хочется впопыхах. Отложим на послезавтра. Я должен срочно, сейчас же, выехать в Ташкент. А вы решайте пока свои личные дела, устраивайтесь. — Он взял со стола ключ и протянул его прокурору. — Это от номера надо мной, посмотрите и оформляйтесь. — Он помолчал. — И вот что я вам скажу на прощанье... Я специально не затронул этой темы вчера, считал, что ваше согласие работать с нами должно быть добровольным. — Он посмотрел гостю

прямо в глаза.— Я думаю, у вас есть еще одна причина сотрудничать с нами и, насколько я знаю вас, более важная, чем деньги, но вы о ней еще не подозреваете. Так вот, я думаю, теперь у вас появится возможность свести кое с кем счеты... Доберемся и до Бекходжаевых, дайте только срок. А пока — всего хорошего.

Когда Азларханов вышел из номера, у окна в коридоре курил тот самый молодой человек в красной рубашке. Увидев прокурора, он соскочил с подоконника, отбросив сигарету, улыбнулся как старому знакомому, но прокурор, словно не замечая его, прошел к лестнице, ведущей на четвертый этаж.

Вернулся он с Файзиевым из соседней области поздно вечером, затемно. День выдался напряженный, и от каждодневной прогулки пришлось отказаться. Так устал, что и покупки разглядывать не стал, свалил коробки, свертки, пакеты в прихожей, все равно завтра придется перевозить в гостиницу.

Отказался он и от ужина в ресторане, куда зазывал его Икрам, хотелось побыть одному, обдумать еще раз неожиданные перемены в своей жизни. В том, что новые хозяева всерьез рассчитывают на его помощь и кое-какие прошлые связи, он не сомневался, отсюда такая щедрость, намерение быстрее благоустроить его быт, желание спешно расположить к себе и своему делу.

Из каких побуждений Артур Александрович уверял его, что появится возможность свести кое с кем счеты? Чтобы заинтересовать в сотрудничестве? А может, его дела где-то перехлестнулись с кланом Бекходжаевых и ему нужен еще более заинтересованный в месте, чем он сам, сообщник, и по каким-то соображениям именно он подходит более всего на эту роль?

Странно, казалось, только войдет в дом, рухнет на неразобранную постель и от усталости и напряжения тут же заснет мертвым сном. Но сон не шел, какая-то тревога зрела в душе; прокурор встал и заварил чай. Хороший чай — осталась пачка от ночного визита. За чаем ему всегда думалось лучше. Нет, он не копался в прошлом, мысли его нацелились на будущее. Из минувшего сейчас вспоминалась только встреча с посланником Бекходжаевых, и то потому, что тогда ночью он признался себе, что недооценивал преступный мир, плохо знал его возможности, или, точнее, современный уровень его. Сегодня же, готовясь к сотрудничеству и борьбе с тайным синдикатом, он признался себе и в другом — что знает жизнь куда абстрактнее, чем его новые хозяева: не знал ее толком, когда был областным



прокурором, не узнал как следует и в последние четыре года. Почему он пришел к такому выводу? Да потому, что давно уже поступали сигналы о набирающих силу артельщиках, цеховиках, хозяевах теневой экономики, об их влиянии в округе, но он отмахивался от этих проблем, не считая их серьезными, как отмахивались наверху, когда заходил разговор об организованной преступности, наркомании, проституции, сращивании криминала с законом.

За демагогическими фразами — «у нас этого не может быть» или «у нас нет социальных причин для подобного рода преступлений» — проглядел реальную жизнь и сейчас безжалостно признавался себе в этом.

Да и как не признаться, если, едва столкнувшись, даже еще не войдя в курс дела, он уже почувствовал, каким огромным влиянием обладает тот же Артур Александрович.

Азларханов только заикнулся о номере на четвертом этаже, как дежурная расплылась в улыбке, и минуты не держала у окошка, лишь глянула в паспорт.

Позвонил в ЖЭК по поводу обмена квартиры, там тоже оказались предельно внимательны, все решалось заочно и быстро.

А на торговой базе сам директор водил их из склада в склад, показывая дефицит из самых потаенных углов. И все потому, что упоминалась, как волшебный «сезам», фамилия Артура Александровича — Шубарин. Мог ли он считать себя знающим жизнь, если не разглядел вовремя раковые опухоли на теле общества, чьи права, покой, здоровье он обязан был защищать по долгу службы?

И теперь прокурор понимал, что его долг — помочь удалить эти опухоли, разорвать связи клана Бекходжаевых и осветить тайную жизнь подпольной экономики и тех, кто стоит за нею, потворствует, прикрывает.

Нет, конечно, не только возможность свести счеты с Бекходжаевыми толкала прокурора в синдикат Шубарина: он чувствовал за ним еще более разветвленный и могучий клан, чем тот родоплеменной бекходжаевский, так сказать, местного значения, с которым он столкнулся — и потерпел поражение. Рука Шубарина, подсказывали ему опыт и интуиция, доставала куда как дальше и выше.

Осознавал Амирхан Даутович и опасность своей затеи. Если уж Бекходжаевы ни перед чем не останавливались, то этот теневик тем более. Прокурор на миг представил лицо Ашота, бывшего

чемпиона страны по самбо; этот думать не станет, если поступит приказ... В памяти всплыло предупреждение конвоя для особо опасных преступников: «Шаг в сторону считаю за попытку бегства и стреляю без предупреждения...»

Да, на предупреждение теперь он рассчитывать не мог — не та игра и не с теми...

«С волками жить — по-волчьи выть», — вспомнилась вдруг поговорка, и кстати, — наверное, это и было ответом на мучившие его вопросы: так и следовало поступать, чтобы войти в доверие и стать незаменимым человеком для синдиката.

Это решение приободрило и словно освободило от сомнений прокурора. Он распаковал несколько свертков и коробок, и через десять минут в щербатом зеркале гардероба отражался высокий, элегантно одетый мужчина в светло-серой тройке, серебристой рубашке с голубым галстуком, в модных итальянских ботинках. «Да, пожалуй, этот тип, что в зеркале, уже ближе к теневикам, могут принять за своего», — с усмешкой подумал Азларханов и пошел спать.

На другой день, впервые за все время пребывания в «Лас-Вегасе», он завтракал не в чайхане. Утром он прошел обычным своим вечерним маршрутом и был у «Лидо» к восьми часам — он уже знал распорядок своих новоявленных шефов. И действительно, когда вошел в зал, Файзиев был уже там. Линию поведения прокурор уже выстроил для себя окончательно и потому уверенно, не дожидаясь приглашения Адика, сразу направился к столу.

— Доброе утро, — приветствовал Азларханов растерявшегося Икрама, — тот явно не ожидал встретить его здесь поутру, да еще так неожиданно преобразившегося.

— С утра такой парад! Решили нанести визит в горком, горисполком? — поинтересовался он на всякий случай.

— Нет, никаких официальных визитов. Шеф не разрешил никакой самодеятельности, — усаживаясь, ответил прокурор.

— Да, он этого не любит, — подтвердил Икрам, располагаясь напротив.

За завтраком неожиданно пришла мысль и как вести себя с Файзиевым. За два дня общения, из разговоров, коротких реплик, прокурор понял, что хотя Файзиев вроде и является вторым лицом в деле, но вся власть, принятие важных решений остается за Шубариным, и не исключено, что не во все планы посвящал



он своего помощника. Значит, ему следовало прибиваться к одному берегу, откуда могла исходить вся информация, и не бояться, даже если кому-то покажется, что он оттирает зама и претендует на особое положение. Такое поведение в подобном кругу вполне объяснимо и логично: кто владеет большей информацией и причастен к стратегии дела, тот и весит больше. Чем алчнее, бесцеремоннее он будет выглядеть, тем естественнее покажется его поведение, — нравы дельцов он знал хорошо.

Поэтому под конец завтрака, давая понять, что над ним властен лишь один Шубарин, Азларханов сказал:

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы телевизор и видеомагнитофон перенесли с третьего этажа ко мне в номер. Шеф рекомендовал мне посмотреть несколько фильмов. Боюсь, когда он вернется, мне будет не до кино. А я пока схожу к себе на новую квартиру и встречу со строителями. Я решил все же отделать прихожую деревом, а не пенопластом, так, кажется, будет уютнее. — И, считая разговор оконченным, встал.

Файзиев, еще не привыкший даже к внешнему преображению прокурора и явно не знавший, как истолковать такое неожиданное поведение, ответил:

— Делайте как хотите. Квартира ваша, лишь бы она вас радовала. А насчет видика я сейчас же дам команду. Верно вы сказали: когда вернется хозяин, вам не до кино будет, слишком много накопилось дел.

Из ресторана прокурор выходил в хорошем настроении: он чувствовал, что одержал первую маленькую победу, радовался, что выбранная линия поведения оказалась верной. В просторном холле «Лидо», обставленном на старый нэпманский манер фикусами и оранжевыми пальмами в кадках, отражавшимися в зеркальных стенах, он увидел картежного шулера Аргентинца. Аркадий Городецкий, ожидавшийся кого-то, окинул прокурора цепким взглядом, но сразу не признал. Только когда тот уже дошел до выхода, резко развернулся и бросился к стеклянной двери зала: наверное, хотел предупредить Икрама на всякий случай.

В новой квартире уже всю кипела работа; в одной из комнат поверх деревянных полов настилали паркет, в ванной и кухне хозяйничали слесари — меняли сантехнику.

Вчера, получив от нового шефа нераспечатанную пачку пятидесятирублевков, прокурор равнодушно подумал: «Зачем мне такая

сумма, куда я буду девать деньги?» Но после похода на торговую базу у него осталось даже меньше половины. Один кожаный бельгийский плащ, который ему навязал завбазой, стоил ровно тысячу рублей. Но сейчас он не жалел о вчерашних тратах, показавшихся вначале бессмысленными: в окончательно выбранной стратегии подобным тратам отводилась не последняя роль. Соря деньгами, тратя их направо и налево, он скорее сократит дистанцию недоверия. Да и плащ, надо отдать должное, хорош и сидит на нем отлично, словно сшит на заказ.

Эта самая стратегия натолкнула его еще на одну неожиданную мысль, и он пешком, не спеша отправился в мебельный магазин.

Магазин принадлежал областной потребкооперации и, как все построенное в последние годы, поражал размахом. Наверное, следовало бы кое-кому заинтересоваться волшебством сельских кооператоров, как это им удалось в столь короткий срок настроить столько ресторанов и кафе, одно богаче другого, или вот таких магазинов. Или попросить их поделиться ценным опытом с органами здравоохранения и просвещения, чьи здания, даже вновь отстроенные, никак не могут сравниться по качеству с предприятиями торговли и общепита.

Богатым оказался магазин и внутри. Откровенно говоря, Азларханов заходил в мебельный магазин последний раз много лет назад, когда, получил коттедж на Лахути. Лариса тогда затащила его посмотреть немецкий спальный гарнитур, очень уж он нравился ей, но купить его так и не удалось. Затеялся музей под открытым небом, и все свободные деньги, что откладывала жена на мебель, как-то растаяли. Позже купили две отдельные кровати, и вопрос о спальном гарнитуре отпал сам собой.

Глядя на деревянное изобилие, прокурор невольно подумал: «Да-а, выходит, теперь не только песни другие, но и мебель другая...»

Площадь магазина позволяла, и товар подавали, что называется, лицом: жилые комнаты, спальные гарнитуры, кухонные наборы, зеркала, ковры — все представало перед покупателем в продуманном интерьере, дизайнеры поработали на славу. Но больше, чем сама мебель и работа художников-оформителей, его поразила цена. Тот не купленный спальный гарнитур, ставший для них с Ларисой семейным преданием, стоил всего семьсот рублей — он хорошо запомнил цену. Теперь на эти деньги он мог бы приобрести только письменный стол настоящего



дерева, да и то не всякий, или пару кресел, и тоже с оговоркой, потому что были здесь кресла и по пятьсот, и по шестьсот рублей.

Ныне спальные гарнитуры стоили от двух до шестнадцати тысяч, кухонные от шестисот рублей до двух тысяч, а жилых комнат меньше пяти тысяч не было ни одной. «Это на кого же рассчитаны такие цены? — озабоченно думал прокурор. — Не все же состоят на службе у Шубарина и могут высокое жалованье получить за годы вперед».

Что и говорить, и сами гарнитуры, и выбор поражали воображение, хотя он заметил, что приглянувшаяся мебель вся оказалась импортной. Расхаживая по огромному залу, прокурор размышлял о странной своей задаче — истратить как можно больше денег. Но, даже замыслив ошеломить Шубарина своим неожиданным жизненным энтузиазмом, он не предполагал, что могут предстоять такие расходы. Нет, он вовсе не собирался приобретать ни резную венгерскую спальню «Чаба» за четырнадцать тысяч, ни жилую комнату «Сибилла» за двенадцать или шведский кухонный гарнитур «Викинг» за пять тысяч, но даже надумай он кое-что купить по самым средним ценам, это обошлось бы не менее чем в десять тысяч. Сделав кое-какие заметки в записной книжке, прокурор покинул ошеломивший его магазин.

На другой день, после обеда, когда он смотрел у себя в номере «Репетицию оркестра» Феллини, раздался неожиданный стук в дверь.

Прокурор взял пульт, нажал на клавишу «пауза» и нехотя пошел к двери. На пороге стоял Шубарин.

— Извините, что помешал, — сказал гость, увидев на экране застывший кадр.

— Нет, что вы, проходите, пожалуйста. Вы знаете, в том и состоит прелесть домашнего кино, что его можно прервать и возобновить в любое время...

— А вы осваиваетесь в новой жизни куда быстрее, чем я предполагал, — улыбнулся Шубарин. — Строители говорят, подгоняете их, сообщили, что и к мебели проявляете интерес?

Прокурор отметил, что шеф невольно проговорился: значит, как он и предполагал, фиксировался каждый его шаг. Наверняка Файзиев сообщил уже о крутой перемене в настроении и привычках прокурора, и, как бы подтверждая наблюдения Икрама, он решил развить успех: достал записную книжку и, вырвав страничку, заполненную в мебельном магазине, протянул ее гостю. Там значилось:

1. Жилая комната «Лувр» (Югославия) — 5400 рублей.

2. Спальный гарнитур «Рижанс» (Румыния) — 2900.

3. Кухня «Комфорт» (Югославия) — 1700.

Итого — 10 тысяч рублей.

Шубарин прочел это вслух и усмехнулся.

— Неплохой аппетит для начала, неплохой,— сказал он, продолжая улыбаться.

— Поэтому я готов сегодня же приступить к своим обязанностям,— пошутил прокурор.— Такие деньги придется долго отрабатывать.

— Сегодня не получится, конец недели, я не стал брать из сейфа документы. К тому же часа через два я с Икрамом уезжаю на свадьбу, к директору торговой базы в соседней области, где вы были недавно. Он выдает дочь замуж за сына одного влиятельного человека в крае.

— Вы такой любитель восточных свадеб или вам необходимо там быть, вы ведь только с дороги? — невольно посочувствовал прокурор.

— Да, вы попали в точку: я не поклонник свадеб — ни восточных, ни европейских, и вообще многолюдных торжеств. С большей пользой провел бы вечер у себя в номере, и Адик накрыл бы нам стол не хуже свадебного. Но я должен быть там непременно. Прожив так долго в Средней Азии, вы, я думаю, знаете не хуже меня: на подобных мероприятиях и решаются зачастую дела и судьбы. Правда, дел у меня на сей раз немного — я всего лишь должен потушить небольшой огонь, пока он не привел к пожару, потому и вынужден ехать, хотя, как вы правильно заметили, я чертовски устал в Ташкенте. Так что я желаю вам приятного времяпрепровождения с Феллини.

Шубарин направился к выходу, но у самой двери остановился, словно вспомнив о чем-то:

— Вы, кажется, сказали, что готовы немедленно приступить к работе?

— Да, я так сказал и готов отложить «Репетицию оркестра» до более благоприятного времени,— подтвердил прокурор.

Шубарин с минуту о чем-то раздумывал, потом махнул рукой, точно принял неожиданное решение:

— Начнем лучше репетицию н а ш е г о оркестра. Даю вам два часа на сборы. Икрам доложил, что вы купили какой-то сногшибательный костюм, так что жду вас у себя при полном параде. На свадьбу



едем втроем.— И, видя недоумение на лице прокурора, повторил: — Да, да, на свадьбу. Работать... Помните пословицу: «Весенний день год кормит»? Не знаю, как поэтично перевести эту мудрость на наш деловой язык, но ситуация приблизительно такая... Так что я вас жду — ровно через два часа.

Прокурору ничего не оставалось делать, как начать собираться — надо было не подкачать, произвести впечатление.

— Ну вот, вид вполне преуспевающего человека,— одобрил Артур Александрович, когда в назначенное время Азларханов спустился на третий этаж.— Только держаться посоветовал бы несколько увереннее, вальяжнее,— так, словно ничего страшного в вашей жизни не произошло и ничто не сломало вас, вы снова на коне. Даже хорошо, если кто-то подумает, что это мы возле вас, а не вы возле нас. Понимаете?

— В такое мне самому трудно поверить, не то что внушить другим. Впрочем, я постараюсь,— пообещал прокурор, не понимая, что там еще задумал новоявленный великий комбинатор.

Но Шубарин больше ничего не добавил, и они спустились вниз, где у машины их уже дожидались.

Когда вырвались из города на шоссе, Ашот хотел включить магнитофон, но шеф, сидевший рядом, остановил его. И тут прокурор увидел рядом с магнитофоном телефонную трубку и удивленно спросил:

— У вас в машине телефон?

— Да, совсем недавно удалось купить японскую автономную установку на десять номеров. Действует в радиусе ста километров. Когда у вас в доме закончится ремонт и уйдут посторонние люди, поставят аппарат и там, он свяжет вас в любое время со мной в машине или в моем номере; но учтите, о такой связи знают немногие.

Ехали больше молча, редкие реплики, обрывочные фразы были малопонятны прокурору, и он сам ни о чем постороннем не расспрашивал, чтобы разговор не ушел далеко от дел; все надеялся, что шеф вот-вот прояснит, какая же ему отведена роль на свадьбе.

Но Шубарин, видимо, только сейчас всерьез обдумывал свою затею взять на свадьбу прокурора, а может быть, даже и жалел о своем поспешном решении. По его лицу ни о чем нельзя было догадаться.

В бытность свою областным прокурором Азларханов редко ходил на свадьбы и подобные мероприятия, столь частые в этом краю, в последние годы его даже приглашать перестали, зная, что у него на этот счет свои взгляды. И потому только сейчас, в машине, ему пришло

в голову, что на свадьбе у директора торговой базы будет, конечно же, весь цвет местного общества, а может, надо брать и повыше, потому что, как сказал Шубарин, его друг выдает дочь за сына влиятельного человека в крае. «Так кому же хочет меня представить Шубарин на этой знатной свадьбе? Или удивить кого, что я вновь поднялся, и если не при власти, то при деньгах, что для этих людей означает одно и то же?» Такие вот мысли вертелись в голове прокурора, и он даже обрадовался, что едут молча и есть возможность просчитать кое-какие варианты. В том, что нащупал что-то реальное, он не сомневался.

А может, Шубарин хочет припугнуть Бекходжаевых? Смотрите, мол, с кем я вошел в союз, видите, оправился от невзгод скинутый вами прокурор и готов к борьбе, сам пришел к вам в логово напомнить о себе.

И, словно подтверждая его мысли, Шубарин, не оборачиваясь, спросил:

— Вы знакомы с Хаитовым, тамошним областным прокурором?

— Да, был знаком.

— Отношения у вас были нормальные, признает он вас теперь?

— Думаю, что да. В свое время я помог ему кое в чем. Он даже несколько раз приезжал ко мне советоваться в трудные для себя дни.

— Ну что ж, это обнадеживает, значит, не зря я оторвал вас сегодня от Феллини,— Шубарин удовлетворенно откинулся на сиденье.

«Хаитов, Хаитов... Адыл Шарипович...» — прокурор пытался припомнить, но ничего скандального с этой фамилией увязать не мог. На него, как и на других, постоянно оказывали давление сверху, но, судя по делам, по которым он консультировал когда-то Хаитова, тот не из тех, что готовы плясать под любую дудку. Впрочем, когда это было — последний раз они виделись лет семь назад, а семь лет — это немалый срок. Кто бы мог еще пять лет назад предсказать Азларханову такую судьбу? Семь лет, когда правят бал люди, подобные Бекходжаевым, могли поколебать убеждения многих.

«Адыл Шарипович, Адыл Шарипович...» — мысленно повторял он, словно это имя должно было натолкнуть его на что-то важное. Почему Шубарин спросил, признает ли тот его теперь? Какие у него планы, чего он хочет от Хаитова?

Но подобных вопросов можно было задавать себе десятки, и вряд ли хоть одна отгадка оказалась бы верной — диапазон интересов его нового хозяина, похоже, был столь широк, что гадания



казались излишней тратой сил. И Азларханов признал, что пока это для него чужая игра, а он стоит у кромки поля, готовый вступить в нее, ведь назад хода уже не было.

Вдали показались пригороды областного центра, и прокурор подумал, что вступать ему в игру придется уже через полчаса; поэтому он откинулся на сиденье, закрыл глаза и попытался сосредоточиться, снять напряжение. Но последние полчаса ему так и не удалось побыть наедине со своими мыслями. Шубарин опять же, не поворачивая головы, стал наставлять своего юрисконсульта:

— А теперь слушайте меня внимательно. Нас в этих краях хорошо знают, по крайней мере в последние годы, и ваше появление в компании с нами не останется незамеченным. Впрочем, не меньший интерес вы бы вызвали, даже появившись один. Ваша задача такова: показать, что вы крепко стоите на ногах, дать понять своим старым знакомым, что вы при деле, что преуспеваете и готовы вернуть себе положение в обществе. Если будут спрашивать, где вы работаете, — отвечайте, в управлении местной промышленности, не вдаваясь в подробности. Если Хаитов не будет избегать встречи с вами, при первой удобной возможности представьте меня ему, я давно ищу с ним личных контактов, лучшего шанса, чем сегодня, кажется, у меня не будет. Ну, остальное по ходу свадьбы, я подскажу, с кем из ваших прежних знакомых следует поддерживать отношения. Вот и все ваши заботы, гуляйте, приглядывайтесь к жизни по-новому, и в новом качестве — ее хозяина. Не исключено, что и ваши враги будут здесь; в этом случае я представлю вас двум-трем людям, которых вы, возможно, и знаете, но лучше, если я все-таки заново рекомендую вас. Эти лица находятся в серьезной конфронтации с Бекходжаевыми, не могут поделить кое-какие сферы влияния, нашла коса на камень. И ваши контакты не останутся незамеченными, за это я ручаюсь.

Потом, после некоторого раздумья, словно взвесив известное только ему, он добавил:

— Мне кажется, у нас самих будет возможность поквитаться с Бекходжаевыми. Хотя я думаю, вы не настолько тщеславны... Вряд ли вам нужно, чтобы все вокруг шумели — мол, это вы нанесли Бекходжаевым смертельный удар. Отдадим победу другим, для меня всегда был важен лишь результат. — И, оборвав разговор на этой туманной фразе, он с азартом охотника воскликнул: — Приехали!

Машина свернула в зеленый проулок среди частных домов, утопающих в садах. Далеко, насколько хватало взгляда, вдоль

садов уже теснились машины,— судя по номерам, были здесь гости из разных областей. Ашот уверенно подрулил к самому дому, хотя уже квартала за два не оставалось свободного места для стоянки. У железных ворот, даже на улице, в тени деревьев, по местному обычаю, тянулись накрытые столы. Возле этих столов и встречал приезжающих Джафаров — хозяин внушительного особняка. Увидев «Волгу» Шубарина, директор базы оставил гостей, с которыми разговаривал, на кого-то из родственников и поспешил к машине.

Шубарин обнялся с отцом невесты, вручил пухлый конверт от имени компании и представил прокурора, прежде что-то шепнув хозяину на ухо.

Джафаров, видимо, понявший Шубарина с полуслова, взял Азларханова под руку и сам повел во двор, где уже собралось много народу. Компаньоны шли рядом, словно сопровождали очень важного человека.

Когда-то прокурору казалось, что у него на Лахути огромный двор, но этот, куда он вошел, оказался раз в пять больше; он словно был задуман для грандиозных приемов, где одновременно могут разместиться за столами шестьсот-семьсот человек.

Редкий нынешний городской сквер мог тягаться с двором Джафарова, а об ухоженности и говорить не приходилось, вряд ли один садовник мог управляться в такой усадьбе. Наверное, хозяин продумывал планировку своего двора куда тщательнее, чем некогда Лариса, замысливая свой музей под открытым небом.

В самом центре двора красовался большой фонтан — судя по мрамору, его обновили к свадьбе. От фонтана разбегались дорожки, посыпанные влажноватым красным песком, по ним и прогуливались многочисленные гости. В глубине двора, у глухого дувала, затянутого ползучим вьюном, располагалась летняя кухня; прямо напротив, под кроной могучей орешины, сразу на двух вертелах жарили целыми тушами баранов, плотный аромат жареного мяса забивал другие запахи в огромном саду.

В разных местах были натянуты цветные тенты, под ними приготовлены уже накрытые столы. Хозяин дома показал приехавшим отведенные им места и вновь поспешил к воротам,— гости подваливали дружно. По двору сновали какие-то молодые люди в наушниках, видимо, в последний раз проверяли усилители и микрофоны, чтобы отовсюду можно было услышать и быть услышанным. Молоденькие девушки в кокетливых нарядных шальварах обносили



гостей минеральной водой и пепси-колой. Понятно было, что в этом доме не впервой принимать такое количество гостей. На возвышении, устланном большим красным ковром, рядом с фонтаном, музыканты настраивали инструменты. Предчувствие праздника и веселья витало в дымном воздухе, будоражило гостей, отовсюду слышался смех, радостные возгласы давно не видевшихся знакомых.

Хотя прокурор и не суетился и не озирался по сторонам, тем не менее, замечал все происходящее вокруг; вот когда пригодился опыт его прошлой жизни. Видел он и реакцию гостей, когда Джафаров ввел его во двор; похоже, мало кого лично встречал и обхаживал этот человек. Чувствовалось, что многие знают и Шубарина и Файзиева, но не понимают, с чего это уделяется столько внимания бывшему прокурору соседней области. Слышал он и волной прошелестевший шепоток: «Азларханов... Азларханов... Азларханов...»

Узнали и теперь гадают: как, каким образом поднялся, как попал сюда, к избранным? Это были наблюдения только первых минут, пока они оставались втроем. Но тут же к ним стали подходить,— правда, поначалу больше знакомые и друзья Шубарина и Файзиева, и те обязательно представляли всем прокурора. Однако вскоре начали обращаться и к нему самому. Некоторых он припоминал с трудом, но попадались и очень знакомые лица — большинство из соседней области, где он некогда был прокурором. «Значит, могут оказаться здесь и Бекходжаевы»,— решил он, правда, пока никого из представителей семейства он не видел.

Замечал он и реакцию Артура Александровича: тот, кажется, проверял правильность своей идеи и, видимо, пока не жалел, что захватил его на эту свадьбу и что вообще привлек к делу; но до разгадки замыслов Шубарина ему, конечно, было далеко, особых иллюзий на этот счет он не строил.

Не забывал прокурор и свою главную задачу — войти в контакт с Хайтовым. От первого успеха могло зависеть многое, прежде всего доверие шефа, ведь пока все, что выстроил умозрительно Шубарин,— теория, а ему важен результат. И результат надо было получить сегодня,— они оба проходили проверку на успех.

И вдруг мелькнула простая мысль (на секунду он поставил себя на место Хайтова): приехал бы он сам в иные времена на свадьбу, на эту роскошную виллу, утопающую в цветах? Ведь не обязательно быть прокурором, чтобы догадаться об источнике такого

благополучия. И он ответил себе: если Хаитов остался прежним — тем, который приезжал к нему консультироваться, чтобы отстоять законность, — конечно, он сюда никогда не пожалует. На первый взгляд убедительно. Однако же шеф рассчитывал встретить тут Хаитова, а уж Шубарин ничего наобум не делал, не стал бы он тащиться сюда, за сто двадцать километров, чтобы отведать свадебный плов да взглянуть на полуголых танцовщиц. Значит, были у него основания встретить здесь Хаитова.

Долго ломать над этим голову Азларханову не пришлось. Гостей пригласили за стол, и в самый последний момент, когда они, огибая фонтан, направлялись к ярко-красному тенту, на свои места, к Шубарину подошел человек и что-то тихо шепнул.

Шеф негромко сообщил, адресуясь к прокурору:

— Ну вот, прибыл и наш долгожданный гость, — и замедлил шаг.

Теперь Хаитов никак не мог миновать их, не увидеть, разве только демонстративно отвернуться. Шубарин, видно, сразу хотел прояснить для себя ситуацию.

Если бы прокурор специально не поджидал Хаитова, то вряд ли признал бы его — за семь лет, что не виделись, тот раздобрел, прибавилось седины, а ведь он был моложе Азларзанова. Он появился во дворе в сопровождении хозяина дома и в окружении друзей, с которыми приехал на свадьбу.

Но он узнал прокурора, хотя Амирхан Даутович изменился сильно с тех времен, когда они часто общались. Цепок прокурорский взгляд, цепок, он безошибочно выхватил из толпы старого коллегу, хотя тот и не лез ему на глаза; Хаитова окликали со всех сторон, приглашая за свои столы.

— Кого я вижу! — воскликнул он и, оставив Джафарова, поспешил к прокурору, обнял его. — Амирхан Даутович, какими судьбами?! А впрочем, какая разница, расскажете потом. Я рад вас видеть живым, здоровым, — и, сделав шаг назад, с улыбкой оглядел его и добавил: — И преуспевающим. Шикарно смотрите. Я сразу приметил вас, думаю, кого это занесло в наше захолустье, взгляделся — вы! Джафаров меня предупредил, мол, у меня для вас сюрприз, ваш старый друг пожаловал ко мне на свадьбу, но не объяснил кто. — И, уже обращаясь к хозяину, сказал: — Спасибо, порадовал мою душу. Ты не ошибся, он действительно мой старый друг и много для меня сделал. Давай усаживай нас где-нибудь рядом, мы очень



давно не виделись...— И, забыв про свою свиту, обняв коллегу, направился под красный тент.

Артур Александрович отошел несколько в сторону и наблюдал за встречей как бы сбоку, но он все видел и все слышал, однако ему были важны не слова, а скорее интонации. И за столом он не лез на глаза Хаитову, хотя сидел рядом с ним, чтобы в любую минуту поддержать разговор.

Только они уселись за стол, с возвышения у фонтана грянула музыка — свадьба началась. Но два областных прокурора, один из них бывший, увлеченные разговором, не следили за событиями вокруг, да их и не отвлекали, Шубарин зорко наблюдал за этим. Икрам, занявший место напротив, следил за бокалами, подавал закуски, подкладывал зелень. Азларханов, сославшись на нездоровье, только пригубливал рюмку с коньяком, а коллега его не пропускал ни одного тоста и пил с какой-то непонятной жадностью, словно что-то изнутри сжигало его.

Пригласили на красный ковер к микрофону и Адыла Шариповича — поздравить молодых. Он сказал тост, не преминув добавить, что сегодня счастлив вдвойне, потому что на этой свадьбе встретил своего давнего друга Азларханова Амирхана Даутовича, и очень рад видеть его здоровым и счастливым, среди своих друзей. Если первую, традиционную половину тоста слушали вполуха, то сообщение, которым Хаитов закончил, вряд ли кто пропустил мимо, не принял к сведению, оно вызвало новое оживление среди гостей.

Вскоре застолье поутихло: приехала на свадьбу самая известная и высокооплачиваемая в республике танцовщица; наверняка ей сегодня предстояло выступать еще на одной свадьбе, а то и на двух, и оттого она торопила свой выход. Специально для нее расстелили огромный ковер, чей-то подарок новобрачным, о чем объявили по микрофону. Что такое танцовщица на восточной свадьбе, в полной мере могут понять и оценить только люди, живущие в Средней Азии; поэтому застолье на время увяло, многие поспешили к отведенной для танцев площадке, и прежде всего мужчины.

Шубарин не успел предупредить Икрама, чтобы тот надолго не отлучался — мог понадобиться, а того уже и след простыл. Файзиев, как оказалось, был большой поклонник свадеб, просто фанатик, на манер театрала или футбольного болельщика, не пропускал ни одной в округе, и особенно обожал он пляски известных танцовщиц.

Трезвый и обычно практичный человек, Файзиев сделался рабом одной идеи, чуть ли не маньяком: он возмечтал, чтобы у него на будущей свадьбе сына присутствовало не менее тысячи гостей, и, конечно, уважаемых из уважаемых; потому он и боялся пропустить хоть одну знатную свадьбу, полагая, что ему ответят тем же вниманием и вернут конверт не тоньше, чем вручил он, а одаривал он всегда щедро.

Наверное, Икрам был еще и тщеславен; он любил, чтобы его имя упоминалось рядом с именами известнейших танцовщиц и певцов, а потому не давал остывать этим слухам от свадьбы к свадьбе.

На восточных свадьбах и танцовщицы, и певцы, приглашенные за вознаграждение хозяином дома, получают за свое исполнение подношения еще и от гостей. Если на кавказской свадьбе эти деньги идут потом новобрачным, то тут деньги гостей достаются исполнителю. И неудивительно, что популярные в народе певцы и танцовщицы — люди весьма состоятельные; на свадьбах не остается незамеченным не только мастерство исполнителей, но равно и щедроты тех, кто раз за разом поощряет артистов крупной купюрой. Редко на какой свадьбе в округе находились люди, выдерживавшие этот денежный «марафон» в соперничестве с Файзиевым, и потому, рассказывая о той или иной шумной свадьбе, где упоминались имена известных певцов и танцовщиц, непременно называли и его имя.

Шубарин не одобрял привычек своего помощника и поначалу даже пытался как-то бороться с этим, но потом махнул рукой. Сомнительная реклама его зама порою приносила неожиданные положительные результаты.

Икрам искренне считал, что он на свой лад совершает вложение капитала, и не раз объяснял шефу, что тот не понимает Востока. На что Шубарин как-то ответил ему по-европейски рассудительно:

— Если я доживу до того времени, когда ты в один день соберешь, как рассчитываешь, все то, что ты вложил, считай, десять тысяч с меня...

Обоих прокуроров, настоящего и бывшего, так же как и Артура Александровича, танцовщица, даже такая известная, как Санобар, приехавшая на свадьбу на собственном «мерседесе», ничуть не волновала,— у них были другие интересы и проблемы.



Оставшись за столом одни, они решили прогуляться по просторному двору. Чувствовалось, что Адыл Шарипович здесь впервые, а вот Шубарин заглядывал сюда, и не раз: он уверял прокурора, что не знает кулинара более изысканного, чем хозяин этого роскошного особняка и сада.

Выйдя из-за стола, они не спеша направились в глубь двора, где через территорию Джафарова протекал широкий полноводный арык, отчего в саду был особый микроклимат. Хаитов взял коллегу под руку, и они шли ухоженной аллеей, разговаривая вполголоса. Артур Александрович пристроился чуть сзади, и только очень внимательный человек мог бы заметить, что он в разговоре не участвует.

Выходя из-за стола, он успел шепнуть Азларханову:

— Выводите разговор на меня, пока он не опьянел. Странно, что он сегодня так много пьет.

Возможно, прокурор еще долго искал бы момент, чтобы перевести разговор в нужное для Шубарина русло, если бы Хаитов не спросил вдруг напрямик:

— Так кто же вам протянул руку помощи, мой друг? Я ведь слышал, что у вас совсем плохи дела?

Прокурор приостановился и, считая, что вряд ли представится момент удобнее, объяснил:

— Да вот он, Артур Александрович, и протянул...

Шубарин, услышав последнюю фразу, шагнул поближе, надеясь, что сейчас произойдет то, на что он рассчитывал. Но Хаитов не остановился, даже прибавил шагу и, в упор не замечая Шубарина, переспросил:

— Этот гангстер? Акула? Впрочем, я вас понимаю: у вас не было другого выхода и других предложений. А вот кто поймет когда-нибудь меня да и всех остальных, тоже не избежавших его сетей? Тех, кто попал в капканы ему подобных или ваших недругов Бекходжаевых — много их нынче развелось у нас в крае, да и по стране тоже... Значит, говорите, Шубарин вам помог? — переспросил он, и они поняли, что Хаитов вовсе не так пьян, как кажется.

— Да, он. Кстати, познакомьтесь, Адыл Шарипович. Наши дороги с ним теперь сошлись...

Артур Александрович подошел с достоинством, протянул руку, словно и не слышал последних слов Хаитова. И негромко, веско сказал:

— Я думаю, ваш старый друг на нас не в претензии, я уверен, что в местной промышленности у него большие перспективы. Может быть, мы с вами еще увидим его министром нашей отрасли. Впрочем, если надумаете уйти в отставку, знайте, что и для вас у нас всегда найдется интересная работа.

— Ловко покупает, стервец! — мрачно рассмеялся Хаитов.— Всех купил, все у него пляшут, как Санобар, только пошибче — он ведь любит темп. Спрут, настоящий спрут, далеко щупальца запустил. Я ведь знаю, чего он хочет,— просить за Ахрарова. Пока просить, а если откажу, будет угрожать и принимать меры. Так ведь, Шубарин? Небось и материала на меня собрал предостаточно? — Прокурор ронял слова размеренно, не сбиваясь с шага, и даже как-то бесстрастно, но Азларханов чувствовал его внутреннее напряжение.

— Не совсем так,— возразил Шубарин.— Вы человек эмоциональный и сгущаете краски. Гангстер... Акула... Спрут... Несерьезно все это. А просить я действительно хотел за Ахрарова, и если вы уделите мне завтра полчаса, то получите информацию из первых рук, и уверен — у вас будет иное мнение и обо мне, и о моих коллегах, в числе которых пребывает и уважаемый нами Амирхан Даутович.

Хаитов показал на скамейку под орешинной и сказал вяло:

— Давайте присядем, я сегодня устал. А что касается аудиенции, приезжайте завтра к концу дня, ваши покровители и опекуны, а точнее, прихлебатели, обложили меня со всех сторон, считайте, что вы меня дожали.

Но посидеть спокойно у орешины им не удалось: Хаитова разыскал дежурный по прокуратуре и сказал, что он должен немедленно связаться по телефону с Ташкентом. Хаитов приобнял на прощание коллегу, напомнил Шубарину о завтрашней встрече и быстро удалился.

Артур Александрович, откинувшись на покрытую яркой курпачой спинку скамьи, после ухода Хаитова о чем-то размышлял и на время забыл о существовании прокурора. Очнувшись, он заметил, что и Азларханов глубоко задумался, и мысли его, наверное, были нерадостными: как-то постарел и увял сразу прокурор, куда и стать, с какой он так замечательно держался до сих пор, подевалась.

А думы бывшего прокурора были действительно невеселыми: он чувствовал себя подсадной уткой, к которой приваживали дичь, муторно было на душе. Шубарин, словно читая его мысли,



вдруг сказал бодро, как человек, снявший с себя груз давних неразрешимых проблем:

— Что за печаль, прокурор? Выше голову, это только начало, и, ради бога, не думайте, что вы провоцируете своего друга на сомнительное дело. Свой путь он выбрал давно, еще года три назад, потому и такой театральный монолог перед вами. Вечная проблема: выбор между долгом, совестью и такой малостью, как деньги, комфорт, блага жизни. На обратном пути, в машине, напомните, я расскажу, чего я от него хочу. А теперь, когда мы свою миссию выполнили, и я считаю — выполнили отлично, может, и погуляем на свадьбе от души? — и он поднялся со скамьи.

Возбужденные гости все еще теснились возле площадки, где танцевала Санобар. Гремела музыка, ухали не в такт карнаи, взвизгивали от восторга подвыпившие мужчины, раз или два прокурор слышал смех Файзиева.

Наверное, Санобар танцевала прекрасно, вокруг буквально стояли от восторга, и она не успевала в танце выхватывать из тянущихся к ней рук деньги. Конечно, она не заставляла долго тянуться тех, у кого в руках была сиреневая или зеленая купюра, возле таких она проделывала какие-то особые па, от которых взвизгивала в экстазе публика. Пройдя круг, она сбрасывала к ногам музыкантов мятые бумажки, и вся эта четко контролируемая Санобар бухгалтерия никак не мешала ее танцу — стремительному, азартному, успевала она и одарить улыбкой кого надо, и возле кого-то особо покачать бедрами.

Разглядели они и Икрама, он был так возбужден, словно сам участвовал в танце. За эти минуты Санобар дважды одарила его улыбкой и исполнила возле него свое коронное па. В руках Икрам держал банковскую упаковку пятидесятирублевых, заметно отощавшую. От внимательного взгляда шефа не ускользнули мрачные лица других танцовщиц, которым предстояло выступить позже, и недовольные лица певцов, которых Шубарин знал лично, потому что все они были приятелями его зама. Наверное, Санобар нарушала конвенцию — танцевала сверх лимита времени, вычищая кошельки до дна.

Артур Александрович попытался подать какой-то знак Икраму, но тот, словно замороженный, не мог оторвать взгляда от извивающейся Санобар.

— Файзиев сегодня для нас потерянный человек, — констатировал Шубарин с улыбкой и вдруг неожиданно предложил: — Поедемте-ка,

дорогой прокурор, домой. Эти развлечения не про нас, да и дело свое, ради которого мы приехали, уже сделали.

Азларханов чуть замешкался с ответом: он все еще надеялся, а вдруг подъедут Бекходжаевы, потому что люди продолжали прибывать, рядами стояли накрытые столы, дожидаясь запоздалых и дальних гостей,— знал он, что восточные свадьбы длятся до утра.

Но Шубарин уже в который раз за этот вечер будто прочитал его мысли:

— Я вижу, вам не терпится схлестнуться хотя бы взглядом с Суюном Бекходжаевым или с его братом Акрамом Садыковым. Но, увы, должен вас огорчить: вы не увидите сегодня с ними.

И в подтверждение своих слов он достал из кармана пиджака аккуратно сложенный листок из записной книжки и протянул прокурору.

— «Бекходжаевых не будет»,— прочитал прокурор торопливо написанную тонким фломастером строку.

— Да, да, это совершенно точно,— подтвердил Шубарин.

— Что ж, я не возражаю против вашего предложения. А как же ваш зам?

— Файзиев загулял, и завтра его кто-нибудь доставит в город, у него много приятелей, сочтут за честь. А теперь поспешим, пока танцует Санобар; может, удастся уйти по-английски, не привлекая внимания...

Он повернулся, ища взглядом водителя. Но Ашот подошел откуда-то сзади, словно слышал их разговор.

— Я здесь, шеф,— сказал он тихо.

Тот ничуть не удивился и так же тихо ответил своему телохранителю:

— Отведи машину незаметно на соседнюю улицу и дожидайся нас, мы с прокурором решили уехать.

Пока Шубарин разговаривал с Ашотом, прокурор подумал: даже хорошо, что так сложилось и они уезжают пораньше со свадьбы, может, в дороге, в отсутствие Файзиева, довольный вечером и знакомством с Хаитовым, шеф кое-что прояснит ему наконец из того сплошного тумана намеков и недомолвок, которыми он уже был сыт по горло. В дороге представлялась возможность задать вопросы как бы из любопытства, праздного интереса — он видел, что слишком уж разные люди спешили на свадьбе выразить свое уважение Шубарину и Файзиеву.



С о свадьбы они ускользнули незамеченными, хотя это далось нелегко; Ашоту пришлось еще дожидаться хозяина на соседней улице. И прокурор отметил ловкость Шубарина, умение моментально раствориться и исчезнуть в толпе. Эта игра, когда удалось незаметно покинуть многолюдное празднество, позабавила их более всего за вечер, и в машину они садились в веселом настроении.

— С вами можно идти в разведку, — сказал довольный Шубарин.

Но прокурор не поддержал эту тему, зная, что она выльется в ничего не значащий разговор, а то и в обсуждение какого-нибудь полицейского фильма, что десятками лежали в видеотеке шефа. Поэтому он задал вопрос, как будто волновавший его или вызвавший в нем ревность, хотя всего лишь желал втянуть Шубарина в нужный для него разговор:

— На что вам в деле понадобился еще один юрист, и именно прокурор?

Артур Александрович не понял вопроса и переспросил:

— Не уловил, о каком юристе, каком прокуроре вы говорите?

По минутной растерянности Азларханов понял, что Шубарин не хитрит и не лукавит, поэтому напомнил:

— Вы сказали Хаитову, если он надумает в отставку, то и для него найдется интересная работа. Разве я один не справлюсь с юридической стороной дела?

— Ах, вот вы о чем! Право, я уже забыл о своем предложении Хаитову. — Артур Александрович улыбнулся. — Странное сочетание образованности, житейской мудрости, прокурорской хватки и почти детской инфантильности живет в вас одновременно, вы уж извините за откровенность. Нет, Хаитов мне вовсе не нужен как юрист — в юридических делах лучше полагаться на одного человека, и вам вполне по силам справиться с объемом предстоящей работы.

— Тогда зачем же вам понадобился Хаитов? — наседал прокурор, показывая личную заинтересованность.

Шубарин ослабил узел галстука, словно готовился к долгому разговору.

— Мне нравится ваше стремление быть хозяином в своей сфере, в этом мы с вами схожи: я люблю держать под контролем все сам. Даже если Файзиев и считает себя в синдикате вторым человеком, а это далеко не так, он не в курсе всех дел, тем более касающихся перспективы. Он нужен мне, так сказать, для связи с местной общественностью. О, тут меня охотно убрали бы с пути, да чувствуют, что свои кадры еще не доросли до нужного уровня, так что для меня это вынужденный альянс, как и для них. Хаитов мне нужен не как юрист, я не уверен в его квалификации, и мне не нужны люди с полужнанием. Как в наших краях получают образование, я знаю по себе: закончил два курса политехнического в Ташкенте, а затем поступил на первый курс Бауманского в Москве. Так что у меня есть примеры для сравнения... К сожалению, полуинженеры, полуврачи, полужурналисты, полуспециалисты, которым преподавали опять же полупрофессора, полудоценты, только бы свои, местные — из-за ложно понятой национальной гордости, рано или поздно могут завести край в такой тупик... — Он покачал головой. — А что касается Хаитова, то мне нужен не он сам, мне необходимы его связи, а они у него огромные, он давно уже тут в прокурорах. Вот мы часто говорим о западных политиках, ушедших в отставку, которых тут же берут к себе крупные компании. Так было почти со всеми мало-мальски известными американскими политиками, вспомните хоть Макнамару, Хейга, Киссинджера. И у нас некоторым образом происходит то же самое... Правда, масштабы не те и возможности иные, но суть одна. Ручаюсь за это, опираясь на свой опыт: я подобрал немало «бывших», и они оправдали мои надежды и вложенные в них средства. Правда, многие не выдержали испытания временем, ни у себя на прежней работе, ни на службе у меня «лоббистом». Их почему-то постоянно заносит; то ли прежняя должность и безмерная власть в своей сфере их портит, — и у меня, оправившись, оперившись, они пытаются что-то мне диктовать. Но хозяйственные дела решаются не диктатом и амбицией, а экономическими расчетами, быстрой и четкой стратегией, поэтому я без сожаления расстаюсь с такими. Говорю об этом не для того, чтобы предостеречь вас на будущее, вы человек иной, моим «бывшим» не чета: вы лишены мелкого тщеславия, а это важно.



Когда я говорил Хаитову о ваших перспективах, я не шутил. Подумайте на досуге об этом, у нас действительно нет преград, чтобы получить здесь любой высокий пост, нужно только время. Хозяйствовать, управлять «теневой» экономикой, как выражаются некоторые юристы, это прежде всего тонко чувствовать политику, кадровый вопрос. Пока существует партийная номенклатура должностных лиц, «бывшие» долго еще будут в цене. Опыт показывает, что на должностях постоянно тасуются одни и те же люди, оттого я иногда делаю ставку на «бывших». Восточный народ — осторожный, на всякий случай поостережется отказать вчерашнему хозяину, завтра «бывший» вновь может оказаться на коне, то есть в кресле, и тогда я выигрываю вдвойне. «Бывшие» тут долго не теряют влияния и связей. Вот почему я хотел бы перетянуть к себе Хаитова, он избавил бы меня от множества неприятных для меня визитов к чиновникам разного ранга в партийном и советском аппарате. Для него просто открывается любая труднодоступная для меня дверь. Опыт наших классовых врагов я не только изучаю, но и беру на вооружение. Все в мире повторяется, только с запозданием и в более уродливой форме. Наверное, вас в студенческие годы страшили кока-колой и жвачкой, атрибутами буржуазной жизни, а теперь мы сами построили такие заводы по их лицензиям. И совсем не шутки ради я содержу телохранителя, который влетает мне в копейку... — шеф весело похлопал по плечу Ашота, не отрываящего глаз от ночной дороги.

Чувствуя, что Шубарин сегодня расположен к разговору, прокурор решил не упускать подходящего момента.

— Вы обещали рассказать на обратном пути о Хаитове...

Шубарин прикрыл окошечко в боковом стекле, видно, опасался сквозняка.

— О Хаитове? О нем я пока ничего сказать не могу, хотя и располагаю не менее подробным досье, чем на вас. Лучше расскажу, почему я добивался у него аудиенции, которую он наконец-то назначил на завтра. Впрочем, история эта в двух словах, но значение ее вы поймете, как только войдете в курс дела. Маленький ликбез, с вашего разрешения?

Прокурор согласно кивнул головой и откинулся на сиденье.

— Для теневой экономики, — остановимся на этом термине, поскольку определение «подпольная» не отражает нашей сути — мы организация официальная, действуем в рамках существующих законов, но для нас реализация готовой продукции гораздо важнее,

чем само её производство. Как это ни парадоксально звучит для человека, знакомого с экономикой страны, ведь куда ни глянь — у нас дефицит! Меня реализация волнует больше, чем производство товаров. Имея постоянно возрастающий капитал, я могу влиять на производство. Но тут возникает вопрос о рынках сбыта. Обозначим сразу сферу нашего влияния — она только в пределах республики. Выход за ее границы чреват непредсказуемыми последствиями. Нет, вовсе не оттого, что там, в других республиках, тверже закон или блюдут интересы государства строже. Просто там мы чужие, и на нас можно показать действительную силу закона, поскольку там у нас нет покровителей. Не совсем просто и в своей республике: в каждой области свой хозяин, запретить, чинить препятствия всегда найдется повод, поэтому я и держу «лоббистов», наводящих мосты. В области, где прокурором Хаитов, мы ничего не производим, только продаем изготовленное. Признаюсь, это наиболее существенный наш рынок, потому что половина туристических маршрутов в республике проходит через эту область. Каждый день сотни новых потенциальных покупателей с карманами, полными денег... Но за этот рынок приходится бороться. Откровенно говоря, мы сами и создали этот рынок, не без наших усилий был заключен договор с экскурсионными бюро областей России, и каждую пятницу по трехдневным путевкам сюда прибывают сотни туристов из Кемерово, Донецка, Тюмени, Хабаровска — краев с традиционно высоким заработком. В расчете на них мы шьем дубленки и продаем их, что называется, с пылу, с жару, ориентируя производство именно на конец недели, и наши лавки при гостиницах работают до глубокой ночи, до последнего покупателя, — где вы еще видели такую торговлю? Там же в киоске лежит книга заказов: те, кто ничего не подобрал или кому не досталась вещь нужного размера, могут оставить аванс, а в следующую пятницу выкупить.

У вас будет возможность ознакомиться с нашим овчинно-шубным хозяйством, оно прекрасно отлажено — от сбора шкур у населения до реализации готовых изделий. Дубленки я привел в пример только потому, что это самое дорогое и рентабельное производство, хотя ассортимент нашей продукции составляет сотни наименований, и все, безусловно, прибыльно и даже сверхприбыльно. И на таком вот, по существу, нами же созданном рынке время от времени возникают препятствия. В области трудно с занятостью населения, и Хаитов хочет, чтобы я часть своих предприятий перевел сюда.



Но мне не резон, а почему, я объясню позже, или вы потом поймете сами. Реализацией продукции в области занимается Ахраров, человек энергичный, коммерсант от бога, — так прокурор опечатал у него пять киосков и не разрешает продавать с лотков на улицах, а это преимущественный вид нашей торговли — прямо с колес. Для нас каждый день простоя влетает в копеечку. Мы работаем не на склад и производим дефицит, поэтому оплата труда только с учетом проданной покупателю продукции. Да и оборудование у нас индивидуальное, штучное, дорогое, оно окупается только при условии полной загрузки. Действия Хаитова для меня — нож к горлу, мы должны прийти к какому-то обоюдному согласию. Наверное, нас терпят еще и потому, что мы делаем большие отчисления с реализации в местный бюджет, и так просто потерять дармовые деньги властям не хочется, не говоря уже о том, что нас «доит» всякий, кому позволяет должность. Но нам выгоднее заплатить, чем сбиваться с ритма. Имеет свою дань с Ахрарова, и уже давно, и ваш бывший коллега Хаитов, но теперь... выкручиванием рук он хотел бы навязать нам еще и свою политику в производстве.

Прокурора так заинтересовал рассказ Шубарина, что у него невольно вырвался вопрос:

— А почему бы вам и вправду не открыть здесь свои предприятия или хотя бы филиалы, цеха, если тут так легко с рабочей силой и местные власти заинтересованы в этом?

— Ну вот, и вы туда же! Дорога дальняя, пройдем и этот раздел экономики, он наиболее существенный в нашем деле. Почему я не использую предлагаемые вашим другом трудовые ресурсы? Отвечаю — мне нужны не всякие трудовые ресурсы. Вот вам простой пример... В какой-то местности шумят, мол, у нас не заняты в производстве женщины, девяносто процентов их сидит дома, и следует использовать такой мощный потенциал. А толком ведь не изучают, сколько женщин, каков их возрастной состав, семейное положение, чем бы они хотели заниматься, к чему склонны, готовы ли к ритму современного производства, увязывается ли он с укладом их жизни...

Разведут газетную демагогию насчет раскрепощения восточной женщины и строят в глубинке, скажем, ковровую фабрику — женское, по сути, как и везде в мире, предприятие. Поначалу все женщины в округе дружно идут туда устраиваться, потому что, еще не ведая, чем будут конкретно заниматься, уже знают и о больничных листах по уходу за детьми, и о декретных отпусках, и о послеродовом

отпуске в полтора года, и о доплате на детей, и о прочих преимуществах работающей женщины,— ведь в сознание уже как-то внедрилось, что зарплата не зарабатывается, а выдается в любом случае всем, кто числится на предприятии. А потом начинается хаос... Что прикажете делать директору, если у него каждый день не выходит в цех треть работниц — у каждой тут трое-четверо детей, а то и больше, и все они продолжают еще рожать, а дети частенько болеют. Вот и получается, что все двести семьдесят рабочих дней в году вполне могут оказаться состоящими из больничных листков. А если к больничным обычным постоянно прибавляются больничные по декрету, то иных работниц можно видеть на рабочем месте раз пять в году, и так из года в год. А какая из нее работница, если она в год работает в среднем по два-три дня в месяц?

Современное предприятие требует навыков, высокой профессиональной выучки, четкой технологической дисциплины. К тому же такую работницу ни за что нельзя уволить — вот и лихорадит фабрику, кстати сказать, оборудованную новейшей импортной техникой. В конце концов рядом срочно строят общежития и привозят по набору, суля всякие блага, из разных краев молодых девушек. О какой рентабельности, какой себестоимости продукции может быть разговор на таких горе-предприятиях, даже если выполняют девушки по полторы нормы в день? Построив такой завод, государство заведомо обрекает себя на убытки; правда, в данном случае, может быть, спасают несуразно высокие цены на ковры.

Надеюсь, вам теперь понятно, какую бы я получил тут «рабочую силу»? У меня не бюро добрых услуг, не собес и не филантропическая организация. По идее, наши предприятия — прообраз будущих хозрасчетных, самокупаемых, самофинансируемых организаций, у которых есть возможность добиваться неограниченных прибылей, исключаящих потолок заработка; но зато над ними постоянно висит угроза банкротства без всяких выходных пособий. Чтобы этого не случилось, нужно постоянно изучать спрос, рынок, следить за насыщением его, обновлять и улучшать ассортимент, а то и вовсе срочно перестраиваться на выпуск нового изделия, снижать себестоимость за счет максимальной загрузки оборудования и использования меньшего числа работающих за счет их высокой, я бы сказал — высочайшей квалификации. О качестве я уже не говорю — на том и держимся. И такие кадры подбираю я сам. Мои люди чувствуют ответственность за дело. Мы находим их по рекомендациям, если надо, учим, но учим тех,



на кого надеемся, тех, кто хочет работать и зарабатывать. При ином подборе кадров, подходе к труду, я бы вылетел в трубу, поэтому меня не устраивает навязываемое Хаитовым предложение.

— И все-таки, мне кажется, ваше нежелание открыть в области свои предприятия связано не только с вопросами кадров, не так ли?

Шубарин от души рассмеялся и вновь потрепал по плечу молчаливого шофера.

— Сколько больших людей, Ашот, перебивало в этой машине, и ни один из них не соображал так быстро, как наш новый юрист. Быть вам когда-нибудь министром местной промышленности, если так будете хватать проблемы на лету.

Да, вы правы, вопрос о кадрах — всего лишь часть проблемы, хотя тоже существенная. И я скажу вам откровенно: как бы не были ценны наши кадры, все же главным для нас является высокопроизводительное оборудование и сырье. За ту зарплату, что платим, мы всегда найдем людей, готовых научиться и работать по пятнадцать часов в сутки, и резерв рабочей силы мы, как ни парадоксально, находим в инженерной среде, в среде людей с образованием, недовольных своим материальным положением. Этот высокообразованный контингент, уже помятый жизнью, быстро овладевает любыми трудовыми навыками, ибо ясно видит, что работает на конечный результат. У нас нет проблем с трудовой дисциплиной, нерадивостью, невыгодно у нас болеть, тем более простаивать. Никому не приходится напоминать об экономии сырья, энергии, ибо опять же от этого зависит заработок. Поощряется всякое новшество, экономия, идеи. Но даже среди таких работников у нас есть своя элита, незаменимые люди. Вот, например, когда организовали овчинно-шубное производство, пригласили скорняка из Белоруссии. Без его знаний, энергии, организаторских способностей, наконец, нам никогда бы не поставить на поток такое выгодное дело, хотя его заработок привел бы в ужас любого фининспектора. Раз уж заговорили о мастерах, похвалюсь — у нас на учете почти все умельцы края и даже за пределами его: модельщики, лекальщики, технологи, художники, наладчики станков и оборудования, конструкторы, изобретатели... Располагая финансовыми возможностями, нам легко перестраиваться, налаживать то или иное производство, ведь в нашем деле главный выигрыш — время. Как говорится, дорого яичко ко Христову дню!

Вернусь к главному, к оборудованию... Оно у нас не серийное, а переделанное из стандартного умельцами, или сконструированное

и построенное в нескольких экземплярах изобретателями и рационализаторами на местных заводах, а чаще всего в небольших конструкторско-технологических бюро. Есть у нас и импортное оборудование, добываем, вымениваем правдами и неправдами. Среди нас, руководителей, большинство с техническим образованием, и сам я, как уже говорил, закончил Бауманское, поэтому мы в курсе всех дел на машиностроительных заводах, знаем их возможности. Следим, конечно, и гораздо оперативнее, чем отраслевые министерства, за новинками за рубежом, технологией, оснасткой, за всем тем, что повышает производительность и улучшает качество. У многих станков, машин, оборудования, не удивляйтесь, есть личные хозяева, и я вынужден платить их владельцам немалые суммы за эксплуатацию, а куда денешься, это как раз редчайшие станки.

Год назад, например, нашел меня один человек из Одессы. Работал он некогда судовым механиком на сухогрузе, толковейший инженер, трудяга, каких поискать. Так он, когда стояли в чужих портах на ремонте, не шмотками, не джинсами и аппаратурой интересовался, а к технике присматривался. Не знаю уж как, каким образом — это не мое дело (говорит, за два двигателя и мощный насос выменял) — привез он два итальянских станка-полуавтомата, довольно-таки громоздких, штампующих из пластмассы «хрустальные» подвески для люстр на медной фурнитуре. Оба станка выпускают по три разные модификации — значит, шесть типов. Чудо-люстры, не успеваем завозить на продажу, моментально разбирают. Цена приемлемая — от тридцати до пятидесяти рублей, и выглядят вполне прилично за такую сумму. Пытались мы сами создать подобную установку, сделали, работает, но качество далеко не то. Так у нас с этим бывшим судовым механиком договор: по две тысячи рублей за амортизацию каждой установки в месяц в течение двух лет, а после полуавтоматы переходят в нашу собственность; и, конечно, зарплата у него с выработки. Сам он с семьей работает на них в три смены, и никак не насытит рынок. За два года семья заработает столько, сколько иной за всю жизнь не получит, но он днюет и ночует у своих станков, холит и лелеет их, разве только не целует своих кормильцев.

Должен вам сказать, не только мы ищем толковых умельцев, изобретателей, талантливых инженеров, но и они нас, знают: их детище тут же воплотят в металле, и дадут путевку в жизнь без проволочек, и с оплатой не поскупятся.



Когда нужное оборудование не удается купить по безналичному расчету или получить по фондам, в ход идут деньги, большие деньги, мало кто устоит перед такими суммами. Деньги эти принадлежат пайщикам; может, со временем, и вы станете пайщиком, или, как у нас говорят, войдете в долю. Половина оборудования принадлежит пайщикам, и первейшая задача — вначале вернуть вклад пайщикам, это свято; потом пайщикам идет процент с доходов. Сложная на первый взгляд бухгалтерия, но это только на первый взгляд. Счетные работники у нас тоже самые толковые, к тому же у каждого пайщика в кармане своя многофункциональная счетная машинка «Кассио» с памятью, она никогда не ошибается. Так могу ли я такое оборудование разместить где попало, как предлагает Хаитов? К тому же этот вопрос решаю не я один, а вместе с влиятельными пайщиками, хозяевами оборудования, а пайщиком может быть и прокурор, и начальник ОБХСС, и крупный партийный работник, и даже директор завода или министр, добывший по нашей указке и за наши деньги уникальное оборудование.

Услышав о влиятельных пайщиках, прокурор вспомнил слова Хаитова: «всех купил, всех втянул в свои дела, все они у него крутятся пошибче, чем Санобар...». Припомнились ему и другие слова прокурора: «считайте, что дожали меня ваши друзья-приятели, а точнее, прихлебатели...»

«Все правильно рассчитано: вложив деньги, кто же не будет способствовать своему процветанию,— думал Азларханов.— Прямо-таки синдикат тайный...»

Он еще раз внимательно оглядел своего шефа, спокойного, уравновешенного, уверенного в себе. Надо отдать должное, перед ним сидел далеко не заурядный человек, талантливый и очень опасный. Вероятно, в иных ситуациях он был влиятельнее министра финансов и председателя Госбанка республики, потому что, исходя из сложившейся ситуации, молниеносно оперировал огромными живыми деньгами; к тому же, как всякий хозяйственный руководитель, пользовался поддержкой казны, имел счета, кредиты, ссуды... Здесь Азларханову как правоведа было над чем подумать.

Конечно, прокурор понимал: чтобы разобраться в «хозяйстве» Шубарина, ему нужно будет еще много потрудиться: необходимо срочно пополнить свои знания по экономике, хозяйствованию, банковскому делу; но и тогда трудно сказать, удастся ли разгадать все финансовые махинации, слишком уж изощрен был в делах Шубарин, надо отдать ему должное.

Чтобы продолжить разговор, Азларханов спросил:

— Почему зародилась и процветает теневая экономика?

— Вполне логичный для прокурора вопрос,— непринужденно пошутил шеф.— Но я не закончил свою мысль об оборудовании, иначе вам не понять ответа на ваш новый вопрос, здесь все взаимосвязано...

— Что ж, я вас внимательно слушаю...

— Основные производственные мощности, наиболее рентабельные, находятся у нас в Бухаре. Там я начинал, там оперился, получил кое-какую поддержку, а главное, нашел через «лоббистов» подходы к первому человеку в области, к хозяину. С ним я теперь на коротке, пребываю в числе тех редких людей, которые могут прийти к нему в любое время, а ведь он далеко не демократ. В свою очередь, он один из приближенных, можно даже сказать любимчиков, первого лица в республике. Его вы знаете лучше меня, наверняка встречались не раз, будучи областным прокурором, думаю, властную руку этого человека ощущали повсюду, и не однажды. Вот почему я думаю: почему бы вам при случае не стать министром местной промышленности — у нас есть прямой выход на Первого, а в республике кадровый вопрос решает только он, повсюду сидят только его люди.

Однажды я пришел к Первому в области и сказал, что мне позарез нужны пятьдесят тысяч, обещал через год вернуть с удвоением — деньги нужны были, чтобы срочно заполучить фонды в Москве на дефицитное сырье. Деньги он мне дал, там же, в кабинете, вынул из личного сейфа пять аккуратных банковских упаковок — он любит крупные купюры и крупные суммы, и вообще масштабный человек. Не стал даже расспрашивать, на что мне они. Я, конечно, вернул их день в день, как и обещал, с удвоением, десять таких же пачек. Но на этот раз он, как бы шутя, спросил, нет ли возможности пустить их еще в оборот. А я оговорился, что только в случае его поддержки кое в чем, хотя в тот момент планов у меня никаких конкретных не было; да заодно и удвоил срок оборота капитала, поскольку понимал, что он опять имеет в виду только двойной рост. Так неожиданно я получил, что называется, карт-бланш и уж тут развернулся вовсю. Имея в доле такого пайщика, я мог вовлекать в дело самых осторожных людей, мог без страха приобретать дефицитное и высокопроизводительное оборудование, работать с перспективой, с долгосрочной программой. Так я открыл в сорока местах цехи по пошиву шуб из искусственного меха — мужских, женских и детских. Кроили в одном



месте наши лучшие закройщики, опять же в три смены, непрерывно, и даже успевали следить за модой и менять ассортимент, хотя товар и так отрывали с руками — рынок у нас поистине ненасытный. Вышел я напрямую и на поставщиков, и за наличные, за треть цены, вагонами получал сырье, опять же отправляемое только в Бухару.

Вот почему в Бухаре и самой области я насыщал предприятия оборудованием, у меня не было причин опасаться кого-то, я там застрахован от всего, только дерзай. Но, как видите, центр тяжести нашей деятельности все же переместился сюда, в «Лас-Вегас», где мы с вами познакомились. Но открытие «Лас-Вегаса», я думаю, самая большая удача, выпавшая мне.

— Так, так,— заинтересованно оживился Азларханов.— Что же в нем примечательного?

— А вот что... Однажды, когда рудник еще был в силе и действовала мощная производственная база, обслуживавшая строительство и эксплуатацию шахт, меня привели сюда дела. Я пытался открыть цех резинотехнического литья: всякие кольца, прокладки, сальники, модная пляжная обувь — опять же дефицит из дефицита, и хотел, чтобы мне помогли здесь с пресс-формами, поточной линией; хороший проект и технические условия были у меня на руках. Побродив по предприятиям день-другой, поговорив кое с кем из руководства, я, наверное, раньше, чем кто-либо, понял, что дни рудокombината сочтены: не позже чем через год его закроют, и останутся мощнейшая, современная производственная база и производственные площади, на создание которых обычно уходят годы и реки денег.

И я тут же смекнул, какой я окажусь палочкой-выручалочкой для местных властей, если предложу открыть на этих площадях наши цеха по выпуску товаров народного потребления, с отчислением в бюджет города от реализации наших изделий. Конечно, о подлинных масштабах производства я не собирался никого ставить в известность, зато хотел оговорить долгие сроки становления, набора темпа.

Когда случилось то, что я и предвидел, я оказался первым на пепелище, и у меня с моими влиятельными пайщиками была уже определена четкая программа, которую не без нажима со стороны приняли городские власти.

Никогда прежде я не работал так масштабно, с такой энергией... На фоне растерянности, беспомощности городских властей я действовал по-пиратски, так, как мне хотелось, получая к тому же всяческую поддержку местной администрации.

— А еще обиделись, когда Хаитов назвал вас гангстером... — попенял прокурор.

Шубарин усмехнулся, приняв это за остроумную шутку, и продолжал:

— Для местных властей, ориентированных на добывающую промышленность, мое дело оказалось темным лесом, а я их, естественно, просвещать не собирался. Еще не имея никаких прав, мы провели тщательную ревизию того, что хотели заполучить. И хотя по распоряжению горного ведомства многое подлежало демонтажу и вывозу, мне удалось оставить абсолютно все, на что мы нацелились. А при существующей неразберихе, безответственности большая часть оборудования до сих пор не взята нами на баланс и висит где-то в воздухе — фантастика!

Хотите верьте, хотите нет, но до сих пор мы не заплатили ни копейки ни за электроэнергию, ни за воду, ни за газ, хотя пользуемся термическими печами, а цеха наши работают с напряжением, коэффициент сменности оборудования у нас, наверное, самый высокий в стране, спасибо горному ведомству за его бездумную щедрость.

Наверное, даже вы, не экономист, понимаете, какая у нас низкая себестоимость изделий, если учесть, что и сырье, кроме фондов, мы покупаем чаще за наличные — когда за полцены, когда за четверть, а когда, пользуясь полной бесхозяйственностью, и за бесценок.

Артур Александрович на секунду сделал паузу, оглянулся, наверное, желая увидеть, какое впечатление производит его рассказ на собеседника.

Прокурор был весь внимание. «Интересно, — думал он, — удачно сделанное дело и похмельная расслабленность подвигли Шубарина на такую лекцию, или он и впрямь ничего не боится — такая у него поддержка в республике? Меня, во всяком случае, он не боится — точно...»

— Однажды, лет десять назад, я прочитал в «Известиях» статью о некоем авторемонтном заводе в Армении, которого фактически не было в природе — по указанному адресу находился пустырь. Хотя предприятие значилось в республике в числе передовых, рентабельных и неоднократно награждалось, поощрялось, были о нем и статьи в прессе. Всю его бухгалтерию, отчетность вел один-единственный человек, на мой взгляд, финансовый гений, а создали это предприятие несколько аферистов, хорошо изучивших наш неповоротливый хозяйственный механизм, идеально функционирующий только на бумаге.



Тогда еще, не обладая ни нынешней властью, ни капиталом, ни возможностями и связями, я сделал для себя вывод, что предприятие, которое я когда-нибудь создам, должно быть реальным, процветающим, легальным, передовым во всех отношениях, но... построено по принципу айсберга, подводная часть которого в три раза превышает надводную, предназначенную для витрины и отчетности. А для этого нужны бухгалтеры, экономисты не хуже того, из Армении; со временем я отыскал таких людей, не говоря уже о том, что я и сам одолел экономику и планирование. Руководитель, не разбирающийся в экономике в совершенстве, — нонсенс, абсурд, такое в теневой экономике невозможно, здесь выживают только асы своего дела, киты, имеющие, кроме головы, капиталы и надежную страховку.

Любое выражение: «двойная бухгалтерия», «тройная» — не отражает нашей финансовой сути, она должна определяться понятиями высшей математики — пятимерное, что ли, измерение, если такое в природе существует. Наши предприятия в отрасли самые рентабельные, механизированные, у нас высочайшая выработка, самая низкая себестоимость, самая лучшая фондоотдача, стопроцентная реализация продукции, лучшие условия труда, не говоря уже об оплате. Мы рекордсмены по всем показателям, даже самым надуманным, если хотите — образец социалистического предприятия, как ни кощунственно это для вас звучит. Нас невозможно сравнить с какой-нибудь отраслью в округе, да и в целом по республике — мы идем впереди по всем статьям. Мы награждены какими хочешь знаменами: союзными, республиканскими, областными, городскими, отраслевыми, знаменами ВЦСПС, Совета Министров, ЦК комсомола, переходящими и вручаемыми навечно, у нас есть специальный зал наших наград — и это впечатляет. Не удержусь от похвалы себе: я имею орден Трудового Красного Знамени и являюсь депутатом горсовета в «Лас-Вегасе».

Прокурор вдруг случайно поймал в зеркальце над лобовым стеклом лицо Ашота и какое-то время наблюдал за ним. Он уловил, что Ашоту неприятны похвалы подвыпившего шефа, возможно, такое откровение хозяина для него было новостью. Но, как бы там ни было, прокурор почувствовал, что в каких бы отношениях он ни находился с его шефом, симпатией и доверием у Ашота он сам не пользуется. Для парня, наверняка знакомого с Уголовным кодексом не понаслышке, бывший или настоящий прокурор в любом случае оставался «ментом». И там, за решеткой, его учили никогда,

ни при каких обстоятельствах не доверять им. У Ашота этот принцип сработал, может, не от широты ума, а инстинктивно, но сработал, хотя он не выказывал внешних признаков недружелюбия, даже наоборот; но вот случайно пойманный взгляд, выражение лица сказали прокурору о многом, и он отметил для себя, что Ашота следует остерегаться.

Прокурор бросил взгляд за окно и, несмотря на темень азиатской ночи, по огням тянувшихся вдоль дороги кишлаков понял, что они уже недалеко от города — и пожалел об этом. Сегодня он хотел, чтобы дорога не кончалась, согласен был и на ремонт в пути, хоть на прокол шины, как случалось не раз, когда раньше спешил куда-нибудь; но «Волга» шла ходко, минут через сорок они наверняка будут у себя в гостинице. Значит, у него оставалось еще время задать несколько вопросов разоткровенничавшемуся дельцу, и он этим воспользовался.

— А как реагирует на такую постановку дела основная масса ваших рабочих и средний персонал? И попутно еще один вопрос: насколько уязвима созданная вами модель айсберга — или это целиком зависит от кровительства власть имущих пайщиков и одариваемых чиновников?

Артур Александрович на минуту задумался, а Ашот впервые за вечер подал голос:

— Вот такие они, прокуроры, все им вынь да положь — расскажи обо всем сразу... — и, довольный собой, натужно рассмеялся.

Рассмеялся и Шубарин. И прокурор мог бы принять сказанное за шутку, если бы опять боковым зрением не зацепил в зеркале холодный взгляд темных навывкате глаз.

— Жесткие вопросы, да, но если бы я вступал в дело, наверняка задавал бы их в такой же четкой и ясной форме.— Хозяин похлопал Ашота по плечу, то ли одобряя шутку, то ли предупреждая, мол, не лезь не в свое дело.

Прокурор лишний раз отметил про себя неоднозначность поступков и жестов Шубарина.

Артур Александрович тем временем продолжал:

— Насчет рабочих... Вы, я думаю, зря преувеличиваете их социальную активность. Для них важны заработок, хорошие условия труда и справедливое отношение. Эти основополагающие, на мой взгляд, факторы мы стараемся обеспечить максимально, и, отладив это триединство, я меньше всего думаю о социальной стороне



вопроса и всяческой словесной демагогии, в которой мы скоро утонем. Я твердо знаю одно — без внимания к человеку и хорошей оплаты его труда рассчитывать на успех бесполезно. К тому же, я говорил, мы не берем людей с улицы — в этом краю, где избыток рабочей силы, можно позволить себе выбор. А потом, что они могут знать? Им я подобных лекций не читаю, а структура создана таким образом, что вряд ли и инженеру ясна картина целиком. Все раздроблено и, уж поверьте, не для утайки, а для эффективности: кроют, положим, в нескольких местах, шьют в десятках других мест, реализуют в сотнях населенных пунктов.

Да и куда им, рабочим, пойти, если что-то у нас не устраивает? Где выбор? На такой кирпичный завод, где работали вы? Где ни заработка, ни порядка? Я пожинаю плоды не своих усилий: людей приучили помалкивать, не высовываться, мол, есть начальство — оно за вас и думает. И мы своих рабочих пока устраиваем, но, если возникнет какое-то недовольство, мы тут же его устраним, думаю, что разумный компромисс всегда возможен.

Каждый год одна, а то и две группы наших рабочих ездят по путевкам, как представители самой передовой организации в области, за границу, в социалистические страны. И страны эти я подбираю с учетом специфики труда — к своим коллегам, значит, с возможностью позаимствовать опыт.

Скорняки наши ездили в Югославию, обувщики — в Чехословакию, занятые пошивом одежды и трикотажники — в Венгрию и Польшу, и везде, по предварительному согласованию, у людей была возможность побывать на интересующих нас предприятиях. Не было случая, чтобы они не привезли десятки предложений, которые мы тут же, без проволочек, использовали в производстве. Бывает, что, сложившись, они покупают там какую-нибудь новейшую швейную машинку, о существовании которой мы и не догадывались, а она, оказывается, в десять раз ускоряет и улучшает процесс. А то купят целые чемоданы особо прочных ниток, которых у нас днем с огнем не сыскать, или десятки коробок иголок «зингеровских» и кучу запчастей; привозят коробками какие-нибудь заклепки, пистоны, кнопки, все, что может пойти в дело и улучшить нашу продукцию. Мы, конечно, компенсируем затраты не скупясь, поощряем подобное отношение к делу, нас это радует. Некоторые рабочие вместо отдыха и развлечений, бывает, не один день пропадают в цехах, чтобы научиться необычному для себя раскрою или иному технологическому

процессу. И все это потому, что мы платим за конечный результат всего коллектива, и им не все равно — реализуется их продукция или нет, нам об этом им напоминать не надо, это всегда отражается на зарплате. И я пытаюсь свои отношения с людьми строить на интересе, а не диктате.

Конфликты, конечно же, бывают и с рабочими, но не на такой основе, как вы предполагаете. Чаще разногласия случаются в верхах, в отношениях с пайщиками, но и тут мы всегда готовы пойти на разумный компромисс. Тех, кто хочет выйти из игры, мы не держим, возвращаем пай, тем более что желающих войти в долю хоть пруд пруди, да и не всякого мы берем, просто денежный вклад нас теперь мало интересует. Но если конфликт становится неконтролируемым, может нанести ущерб делу, тут уж на все приходится идти. В крайнем случае обращаюсь к Ашоту и его друзьям, — бесстрастно заключил Шубарин.

— И помогает? — поинтересовался бывший прокурор.

— Мы ведь не уговорами занимаемся, — зло засмеялся Ашот.

— Но это вынужденная, крайняя мера, как я сказал, — поторопился вступить в разговор шеф, наверное, чтобы Ашот не сболтнул чего лишнего. — А что касается второго вопроса — об уязвимости айсберга и насколько я завишу от покровителей-пайщиков... Я бы ответил так: что-то добыть, что-то организовать, произвести, продать, даже с большой выгодой, это, на мой взгляд, талант мелкого махинатора, цель которого — заработать, ну, скажем, сто тысяч, двести, на большее при таких жизненных устремлениях не потянешь. Давно, когда я уже создал четкую модель своего айсберга, прочитал как-то интересную статью о японском судостроении, это одна из древнейших и одна из наиболее современных отраслей человеческой деятельности. Здесь ныне сфокусировались все достижения науки и техники.

Японцы строят в принципе непотопляемые суда. Раньше достаточно было пробоины, и корабль шел ко дну. Теперь же редко какой удар может оказаться для корабля роковым, страдает только его часть, остальные отсеки, неповрежденные, держат судно на плаву. Больше того, из соседних отсеков можно успешно устранить аварию, если не возникла паника. Еще не ведая о специфике судостроения, я создал примерно такую же модель непотопляемого айсберга. Полный расклад знают, кроме меня, двое: главный бухгалтер и главный экономист, можно сказать, мы вместе денно и нощно стоим на вахте.



Но вряд ли кто принимает их за членов мозгового треста, да и мне нет резона выпячивать их роль. Даже пайщики уверены, что все сосредоточено в моих руках, хотя некоторые думают, что ответственность со мной разделяет Икрам Махмудович.

За людей, составляющих мозговой трест, я не тревожусь и доверяю им как самому себе. Нет, не потому, что запугал их или они чем-то намертво повязаны... Просто они люди умные и знают, что айсберг непотопляем. При любой неудаче, провале страдает только какой-то участок, в конце концов, ответственность за это всегда можно принять, у кого не бывает упущений. Притом существуют разработанные нами, как на случай пожара, варианты отступления из огня — без паники. И как на японском корабле, в момент удара автоматически подключаются соседние отсеки и начинают тушить пожар, дабы не пропало и свое добро. Именно моя модель дает мне уверенность и силу, а не покровители-пайщики. Хотя их помощь нельзя недооценивать. Раньше, в пору становления, мне нужны были деньги, теперь особой надобности в них нет, колесо закрутилось, да и сырье дают под залог. Ныне нам нужны вкладчики на должностях: одни — добывающие дефицитное сырье и оборудование, другие — гарантирующие свободную, без помех, реализацию, третьи — выступающие в роли «пожарных». Вкусив выгоду, они теперь сами ищут контактов со мной. Да вы сами видели, что творилось на свадьбе. Каждый торопился засвидетельствовать свое почтение, попасться на глаза.

Артур Александрович сделал паузу и, обернувшись, посмотрел на прокурора, словно приглашая его задать очередной вопрос. Азларханов не замедлил воспользоваться этой возможностью, хотя вдали уже поблескивали огни пригородных кишлаков. Важно было удержать Шубарина в состоянии приятного возбуждения, расположенности к разговору; конечно, он понимал, что ему еще предстоит оценить эти откровения, степень их искренности, правдивости, соответствия фактам, и все же момент упустить было нельзя.

— И, тем не менее, вы развернулись не только оттого, что взяли в долг пятьдесят тысяч у влиятельного человека, получили его покровительство? Наверное, были и объективные причины для вашего быстрого роста? Я понял так, что вы не только удваивали капитал, но и удваивали, утраивали мощности производства?

Артур Александрович, явно пребывавший в хорошем расположении духа, рассмеялся:

— Если б я не знал доподлинно всю вашу биографию, подумал бы, что вы состояли в доле у себя в области у артельщиков, как называют нас в народе. У меня такое впечатление, что вы знаете ответы на все ваши вопросы. Но я шучу, ведь догадываться одно, а получить подтверждение своим мыслям, прогнозам у человека компетентного — совершенно другое. Не так ли?

— Вполне резонно,— согласился прокурор.— Почерпнув информацию из нашей беседы, меньше буду отвлекать вас потом, когда займусь бумагами. В принципе я уже понял, что от меня требуется.— И он откинулся на спинку сиденья, предоставляя слово Шубарину.

— Да, вы правы, наличие денег и воли мало что решает в нашем деле, должны созреть объективные экономические предпосылки. Конечно, взяв на очередное удвоение капитал первого человека в области, я получил, так сказать, режим наибольшего благоприятствования в торговле. Но все это покровительство по отношению ко мне и к моему делу не стоило бы и гроша ломаного, если б рынок оказался насыщен товарами. Я и сам не однажды мучился этим вопросом, да и сейчас порой задумываюсь. Как могло так случиться, что наш рынок планомерно, из года в год все меньше и меньше насыщался товарами?

А знаете, Икрам, не мудрствуя лукаво, объясняет это так: мол, есть люди поумнее нас с тобой, которые несут в Госплан, Госснаб, Внешторг, Минторг деньги чемоданами или сумками и говорят: это не закупать, это не производить, этим не торговать,— вот и создается дефицит, напряженка, а этот вакуум, мол, заполняем мы с тобой.

Я отвечаю ему: в том-то и загвоздка, что никто никуда ничего не несет, никто на них не давит, не стоит у них за спиной Ашот с друзьями, а они тем не менее с каждым годом наращивают в стране дефицит. Тогда Икрам тут же предлагает вторую версию, он вообще скор на решения, имейте в виду.

Он говорит: если за это еще и ничего не берут, значит, наверху сидят или дураки, или враги. Видите, какую он выстраивает логику. Я, конечно, не разделяю ни первой его версии, ни второй, но и логики, здравого смысла в таком планировании и производстве не вижу.

Вот вам первая причина нашего подъема — наличие дефицита на широкий круг товаров. Вторая причина, которую я бы отметил, на мой взгляд, даже важнее первой. Это стоимость изделия, нет, не того, что производим мы, а того товара, что имеется в государственной торговле.



Сапоги меньше ста рублей уже не стоят — это, заметьте, из искусственной кожи. Дубленка импортная тянет уже тысячу, а наши, семипалатинские, казанские, на которые еще больший спрос — по шестьсот рублей. Босоножки — два шнурочка и ремешочек — пятьдесят рублей... и так все, на что ни глянь. Мужские рубашки дошли уже до двадцати рублей, а шапка из искусственного меха сравнялась по ценам шестидесятого года с ондатровой, копейка в копейку, головой ручаюсь. Шуба из искусственного меха тянет на три средние зарплаты, а мужской кожаный пиджак из лайки, а проще, из козлилки — мы шьем их тоже — так на все пять.

Поэтому ценообразование для нас не проблема, есть ориентиры. Мы, конечно, не прыгаем выше государственных, но и не отстаем, что называется, дышим в затылок. Честно говоря, радуемся каждому повышению, а наверху вроде кто-то специально прислушивается к нашему желанию и радуется нас все чаще и чаще, у нас даже есть люди, следящие за розничными ценами в торговле. Если откровенно, то именно цены и натолкнули меня на создание своего айсберга. Глядя на ту или иную вещь, я сразу определял ее стоимость и приходил в трепет при мысли о той прибыли, которую мог заполучить, организуй я ее производство. Я даже знал приблизительно, во сколько обойдется ее выпуск. Не посчитайте за бахвальство, просто это моя стихия, у меня такой дар, талант. Никакому капиталисту такие прибыли и не снятся, но опять же такую ситуацию в экономике и ценообразовании создал не я, я только пожинаю плоды.

Да, главной побудительной причиной, толкнувшей меня на деловую активность, на желание постоянно расширять, множить производство, послужила государственная стоимость товаров ширпотреба и тенденция постоянного роста цен, это как на духу.

Не будь таких манящих перспектив, сулящих необычные прибыли, я бы, наверное, так и остался где-нибудь на производстве, ну, имел бы, конечно, свои две-три тысячи в месяц, потому что человек с деловой хваткой в сфере материального производства, куда ни глянь, может найти бесхозные деньги, только пошевели мозгами.

Ну, посудите сами, был бы смысл налаживать обувное дело, если б сапоги стоили шестьдесят — шестьдесят пять рублей, а босоножки двадцать пять — тридцать — да такое и в голову никому не придет, как говорится, овчинка выделки не стоит.

Кстати, об овчинке, она у нас дороже ясоновского золотого руна. Мы даем кассобу-мяснику за баранью шкуру пять рублей — это вдвое

больше, чем платит государство. Так он и сдает ее нам в таком состоянии, в каком она нам нужна. И мы каждого из них научили, как обрабатывать ее, как хранить, снабдили и химикатами первичной обработки свежей шкуры. На дубленку в среднем уходит от восьми до десяти шкур, ну как тут удержишься от соблазна наладить производство, если мы продаем их почти по пятьсот рублей.

«Лектор» сделал паузу, — переводил дух после длинного монолога. Прокурор молчал, ожидая продолжения.

— На всякий случай, я хочу предварить один ваш вопрос, который вы, быть может, по своей тактичности и не зададите, но он витает в воздухе, и уж лучше я вам отвечу на него. Это, мне кажется, более всего необходимо перед тем, как вы приступите к делам.

Сегодня вы уже слышали обо мне: гангстер, акула, спрут. Вам, много лет отдавшему правопорядку, наверное, кажется: вот они, которые тянут нашу экономику назад, грабят народ, покупают должностных лиц, способствуют организованной преступности. Нелегко отмахнуться от справедливых, на первый взгляд, обвинений, но в том-то и дело, что мы не причина, мы — следствие, мы возникли здесь по-настоящему лет семь-восемь назад, когда созрели все предпосылки для нашей деятельности; о некоторых мы уже говорили, к некоторым еще вернемся. Если мы зло, то мы родились из зла и питаемся злом вокруг нас. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны...

Наносим ли мы вред народному хозяйству? Это как посмотреть. Когда я только начинал, меня часто мучили угрызения совести: иногда я перехватывал фонды того или иного предприятия. Я ведь знал, что фабрики эти будет лихорадить, у них будет срываться план. Но я знал и то, что в беде их не оставят, а уж рабочие тем более не останутся без зарплаты, неважно, работали они там или нет. Я не знаю случая, чтобы на каком-то заводе или стройке, в научно-исследовательском институте, фактически не работавшем по тем или иным причинам, не выплатили зарплату. Без зарплаты могли остаться лишь мои рабочие, это уж точно, нам не из чего покрывать убытки, дотаций и субсидий нам никто не дает.

Но, когда я, став депутатом, работал в планово-бюджетной комиссии и получил доступ к информации, я ужаснулся тому, что при дефиците на многие товары ими забиты все какие только есть склады в области, и хранение их обходится в миллионы рублей. Каждый год я участвую в комиссиях, которые подписывают к списанию



и уничтожению десятки тысяч пар обуви, одежды, всего и не перечить, тысячи наименований всякого добра идет в костер. И теперь мои сожаления уже о другом: жаль, не могу использовать чужие фонды в еще больших размерах — все равно у них многое пойдет либо в огонь, либо на свалку. Когда распределяют местное сырье, нам выделяют в первую очередь, и не только потому, что я влияю на распределение, а потому что знают: заберу я — и оно будет пущено в дело, и моментально в казну поступят деньги... У вас наверняка возник вопрос: можем ли мы быть альтернативой официальной экономике?

— Да, да, я как раз хотел об этом спросить,— оживился прокурор.

— Отвечу без колебаний — нет и еще раз нет. Буду откровенен, наша продукция все же рассчитана на тех, кто слаще морковки не едал. Ни я сам, ни другие пайщики артельную продукцию не покупают. Хотя, должен оговориться, дубленку я ношу только нашей фирмы и не поменяю ее ни на канадскую, ни на французскую. Но таких дубленок у нас шьют мало, в среднем одну на семьдесят-восемьдесят, и распределяю их я сам — это мой личный фонд. Кроме того, каждый сентябрь наш заведующий скорняжным цехом Яков Наумович Гольдберг командировается в Москву — снимать мерки с должностных лиц и их домочадцев, этим людям мы обязаны фондами, дефицитным сырьем, первоочередными поставками. А отвозит готовое Файзиев или я сам. Да, кстати, зима не за горами, нужно, чтобы сняли мерку и с вас, в январе мы с вами обязательно должны быть в Москве.

Дубленки пока единственная стоящая вещь из того, что мы производим, да и то лучшее не стоит на потоке, а шьется специально в мизерных количествах, для избранных.

Мы держимся только на фоне товаров госторговли, которые не отличаются ни качеством, ни моделями, то есть опять же по пословице: на безрыбье и рак рыба. Главный наш потребитель — самая неискушенная часть покупателей, которых, к нашему удивлению, оказалось много. Их привлекает в первую очередь внешний вид товара — мы ведь зачастую имитируем какое-нибудь импортное изделие, пытаемся, несмотря на авторское право фирмы, копировать его один к одному. И такое жалкое подобие платья «от Кардена» или сапог «Саламандра» идет нарасхват.

Мои друзья шутили, когда я собирался в туристическую поездку во Францию и Германию,— мол, они позвонят в «Адидас» или самому Кардену, и меня там четвертуют за то, что я нещадно эксплуатирую

название этих фирм на своих пошлых изделиях. Как ни крути, а «Адидасу» я обязан половиной своих прибылей — на что только мы не шлепаем этот волшебный трилистник.

Ну ладно, я понимаю, когда покупают настоящее изделие «Адидас» — добротное, нарядное, модное; я же ставлю только знак, словесное обозначение — и метут все подряд — магия, гипноз, волшебство, иначе назвать не могу. Вот бы нашей промышленности найти свой такой волшебный трилистник...

Конечно, мы могли бы хвалиться, что все же одеваем и обуваем людей, найти оправдание своему существованию, если бы теневая экономика не оплачивалась простыми людьми, не лежала бременем у них на плечах, но от этого факта никуда не уйдешь — мы вычищаем и без того скудные кошельки. Это мой личный и, думаю, безжалостный, социальный анализ.

Я уверен, как только в официальной экономике начнутся радикальные перемены, мы исчезнем тут же, так же незаметно, как и появились. А пока в такой благоприятно сложившейся обстановке как же нам не появиться и не процветать? Если один прокурор у нас в пайщиках сидит, другой, наподобие Хаитова, не знает, то ли дать нам пинка под зад, то ли продолжать потихоньку щипать Ахрарова, третий, простите за откровенность, вроде вас, то ли жил словно в другом мире, не ведая, что творится вокруг, либо руки у вас были связаны. Я не знаю в округе ни одного руководителя — хозяйственного или партийного, к которому мы бы искали ходы и не нашли. Ни один не попытался пресечь наши дела или хотя бы послать нас куда-нибудь подальше. Я ведь и Ашота не создал, а взял уже готовым. Так что и тут, как ни крути, я не сеял, а пожинал плоды общей обстановки, сложившейся в крае. Ничто не произрастает на пустом месте, из зла рождается зло, и теперь, чтобы защитить себя, свои интересы, я вынужден прибегать к помощи телохранителя и даже юриста... Вот, пожалуй, из этого триединства: дефицита, стоимости и сложившейся обстановки вседозволенности, на мой взгляд, возникла и процветает теневая экономика.

— Как на академической лекции, уложились секунда в секунду, — подытожил прокурор, потому что они въезжали во двор гостиницы.

— Я нужен буду вам? — прервал свое долгое молчание Ашот, обращаясь к хозяину.

— Пожалуй, нет, понадобится — позвоню. Встретимся утром, как обычно.



Стояла уже глубокая ночь, погасли огни шумного «Лидо», в редком окне четырехэтажной гостиницы горел свет. Ночной швейцар, видимо, привыкший к поздним возвращениям высоких гостей, не задавая вопросов и не выказывая недовольства, распахнул хорошо смазанную дверь.

— Может, вы хотите перекусить, мы ведь так и не дождались свадебного плова? — спросил Шубарин. — Я думаю, в холодильнике у меня найдется что-нибудь, Адик следит.

Сидение за свадебным столом, долгая дорога туда и обратно утомили прокурора — он давно уже не жил в таком активном ритме, несколько раз за вечер пришлось принимать сердечное, но откровения Шубарина вызывали неподдельный интерес, ему хотелось задать еще два-три вопроса. Он понимал, что вряд ли скоро выпадет такой удобный случай, да и где гарантии, что тот будет так словоохотлив, как сегодня. Следовало не упустить момент...

— Есть я не хочу, а вот чаю выпил бы с удовольствием, да поздно, и заботливый Адик уже, наверное, спит.

— Ну, это не проблема, мы сейчас мигом организуем. — И как только они поднялись на третий этаж, он сказал дежурной, тут же вскочившей с дивана:

— Галочка, если не затруднит, приготовь, пожалуйста, нам самоварчик, — и, не дожидаясь ответа, широким жестом пригласил прокурора к себе.

Не менее расторопный, чем Адик, хозяин ловко накрыл на стол — в холодильнике у него действительно нашлось чем перекусить.

Прокурор, расположившись в кресле, вытянул затекшие ноги и попытался вернуться к прежнему разговору, начатому в машине:

— Н-да-а, сегодня я многое узнал впервые, надо честно признаться. Такая лекция! Не мешало бы вам дать на время кафедру в Академии народного хозяйства.

— Думаю, меня не устроит почасовая оплата, — легко отшутился Шубарин, уходя от продолжения разговора.

Раздался стук в дверь — дежурная по этажу принесла кипящий самовар, и хозяин принялся заваривать чай, предложив на выбор индийский, цейлонский или китайский. За чаем, чувствуя, что разговор может уйти в сторону, прокурор попытался еще раз вернуться к интересовавшей его теме:

— Экономические предпосылки, способствовавшие появлению вашего дела, вы разложили мне как на ладони. Но интересно и другое: что вас побудило заняться предпринимательством, какие личные мотивы? Страсть к деньгам?

Шубарин с любопытством выслушал вопрос, мимолетная печаль проглянула в его всегда внимательных глазах, но он тут же взял себя в руки. Начал он издали, расплывчато:

— Не берусь утверждать категорически, но со стороны кажется, что у нас легче реализовать себя людям творческих профессий — тут открыты все пути, твори, дерзай. И если есть талант, как бы ни было трудно ему пробиться, все равно заметят, результат всегда говорит за себя. А что прикажете делать тому, кто наделен иным талантом — склонен к коммерции, предпринимательству? Не побоимся сопоставить несопоставимые, на взгляд обывателя, понятия... Ведь коммерция, предпринимательство не только в ранг таланта не возведены, но в сознании общества значатся занятием, недостойным порядочного человека. Оттого мы ни произвести, ни продать как следует не можем, треть жизни держим человека в бесконечных очередях.

И ведь людей, наделенных коммерческим, предпринимательским, изобретательским талантом, гораздо меньше, чем одаренных творчески. Одних писателей, говорят, официально состоящих в творческом союзе, десять тысяч, а еще тысяч сто, наверное, ждут очереди для вступления, а ведь это только часть творческих сил, то есть талантов, признанных официально. А художники, композиторы, артисты, певцы, музыканты, режиссеры, журналисты? Их ведь тоже у нас тьмы и тьмы, известных и обласканных.

А стране нужен один толковый министр сельского хозяйства, всего один путевый министр строительства, министр энергетики, машиностроения, путей сообщения — нужны всего-то сто талантливых предпринимателей, и мы заживем совсем по-другому. Хороших писателей чтим, художников, композиторов — чествуем, даже футболистов знаем поименно и в лицо, но кого из технократов, что дают нам свет и тепло, мы знаем, кого помним? Пожалуй, лишь первых наркомов, а остальным, почти всем, вслед одни упреки, если не проклятия, мол, все до ручки довели.

Прокурор почувствовал по волнению собеседника, что он задел какую-то чувствительную струну; обычно сдержанный, хладнокровный, Шубарин загорячился:



— Ну, в моем случае, наверное, все более или менее ясно, теперь генетику, слава богу, никто не отвергает. Будем считать, что во мне выиграла дурная кровь. Кто мало-мальски знаком с историей этого края, тот знает, что Шубарины владели тут многим — ремонтными мастерскими, масложиркомбинатом в Андижане, доходными домами. Дед и его брат были инженерами-путейцами, учились в Петербурге. Инженером, и незаурядным, был и мой отец, он, как и я, закончил Бауманское. Да вот наглядный пример... В начале шестидесятых годов, когда вошли в быт шариковые ручки, мой отец за три дня сконструировал и за неделю изготовил полуавтомат, из которого непрерывным потоком, все двадцать четыре часа в сутки, вылетали в три стороны три детали готовой ручки, а стоила она, как помню, по тем временам семьдесят копеек, и многие годы была в дефиците. Отец шутил, что создал аппарат, печатающий деньги — так оно на самом деле и оказалось.

Отец был инженер до мозга костей, и это проявлялось даже в мелочах. Чтобы избавить нас от подсчетов, он, рассчитав, заказал на местной картонной фабрике коробки, в которые помещалось ровно сто шариковых ручек. И задача всей нашей семьи свелась к одному — успевать укладывать их в эти коробки. В гараже у нас стояли рядом три таких полуавтомата, и, если мне не изменяет память, каждый из них штамповал в день тысячу штук, такова была их производительность. Не было проблем и с сырьем: в те годы в наших краях построили не один комбинат бытовой химии, и пластмассу — брак с этих предприятий — шоферы время от времени за бутылку водки вместо свалки завозили к нам во двор. Тогда, в шестидесятые, еще существовали официально артели, промкомбинаты, входящие в систему местной промышленности, поэтому с реализацией тоже не знали хлопот. С каждой ручки отец, кажется, имел сорок копеек дохода, выходит, только станки, стоявшие в нашем гараже, приносили ему в день больше тысячи рублей.

Отец быстро сообразил, что напал на золотую жилу, и, уже привлекая людей со стороны, изготовил еще штук тридцать таких полуавтоматов и развез их по областям республики. Не знаю, какую уж там он имел долю, но помню, что каждую последнюю неделю месяца в сопровождении двух парней, как Ашот, отец объезжал на «Волге» свои владения. Он никогда не продавал свои изобретения, а сдавал их в аренду или вступал в долю. Однажды он показал мне установку, за которую предлагали десять тысяч, казалось бы,

огромные деньги, но он ее не продал, а сдал в аренду. Установка служила пять лет и принесла ему за это время сто тысяч — так он преподал мне наглядный урок коммерции, поэтому я тоже не расстаюсь со своими изобретениями.

Мы построили в Бухаре, в старинной узбекской махалле, где некоторые старики, сидящие в красном углу чайханы, еще знали и помнили моего деда и его брата, большой каменный дом. Почему в узбекской махалле? Потому что между нами не было языкового барьера, в нашей семье все без исключения знали местный язык, эта традиция пошла от деда, и еще потому, что жизнь в махалле особая: тут не вмешиваются в жизнь соседа, но и не дадут его в обиду. Да и вокруг нас жили люди с достатком, родовитые, и мы особо не выделялись. К тому же отец никогда не скупился: щедро финансировал махаллинский комитет, давал крупные суммы на общественные нужды и мероприятия, поэтому мы не чувствовали своей инородности, хотя и были единственной русской семьей в квартале.

Но о доме я хотел сказать только потому, что отец построил там такую мастерскую, с такими станками и сварочным оборудованием, что я не перестаю удивляться ей до сих пор. Практически, не выходя со двора, отец мог изготовить сам то, что конструировал. Можно считать, что я вырос в этой мастерской, и нет станка там, которым я бы не владел в совершенстве. Так что, как видите, у меня были все предпосылки, чтобы стать инженером... и коммерсантом...

— Выходит, он и передал вам свое дело по наследству? — уточнил прокурор.

— Да нет. Не совсем так. Отец никогда не втягивал меня в свои дела и старался, чтобы я держался подальше от них, — он хотел видеть меня настоящим инженером. Оттого я и переменял институт — о Бауманском он говорил всегда в самых возвышенных тонах, считал, что оно ничуть не уступает таким известным в мире техническим вузам, как, скажем, Массачусетский технологический.

Я точно не знаю, каким образом, но Шубарины вышли из революции без особых потерь. Конечно, все, что подлежало национализации, отобрали, но существенную часть капитала удалось сохранить — впрочем, не нам одним. Это я отвечаю на ваш вопрос относительно тяги к деньгам.

В традициях нашей семьи — основательность жизненного уклада, исключая мотовство, показуху. Мы могли позволить себе многое, но не настолько, чтобы вызывать зависть



и раздражение окружающих, привлекать к себе нездоровое внимание. Того, что заработал отец, было вполне достаточно, чтобы мы с братом прожили долгую и безбедную жизнь, конечно же, правильно распоряжаясь капиталом.

Брат мой живет в Москве, его привлекла наука, ныне он заметный ученый-физик. В его судьбе родительские деньги сыграли немалую, если не главную роль — благодаря им он мог спокойно заниматься любимым делом, не отчаиваясь при неудачах, без которых немислимы настоящие исследования, и в конце концов сделал открытие, над которым бился почти двадцать лет. Я думаю, он живет счастливой жизнью.

У меня все сложилось иначе. После института я вернулся в родные края, вроде неплохо начал, стал продвигаться по службе. Но очень скоро я почувствовал потолок своего роста — большего мне не позволяли. Это как раз пришлось на годы, когда должности отдавались по родственным, национальным признакам, по принадлежности к роду, правящему в городе или области. А я был наивно уверен, что должность главного инженера завода, на котором я работал главным технологом, отойдет ко мне, как только прежний уйдет на пенсию. Причем я имел на эту должность все права, так считали и многие на заводе. Но не тут-то было... Главным инженером стал зять очередного секретаря райкома, заочно доучивавшийся в местном институте. Отца, к сожалению, к этому времени уже не было в живых, он наверняка помог бы мне пробиться, потому что прекрасно знал закулисную возню вокруг должностей, знал тех людей, которые делили места. Он видел, с каким энтузиазмом я работал, знал о моих планах реконструкции этого завода. Но что не получилось, то не получилось...

Оставшись, как говорится, у разбитого корыта, я потерял интерес к работе... А ведь совсем недавно, скажу без утайки, мечтал стать даже директором крупного завода, а может, со временем и возглавить отрасль, чтобы сравняться со своим братом, у которого к тем годам было уже имя в науке — отец, слава богу, дожил до этого часа...

Рассказывая, хозяин не забывал ухаживать за гостем — подливал чай, подкладывал закуски, печенье. Но прокурор, кажется, и забыл, что попросился на чай, так заинтересовал его рассказ Шубарина.

— ...Конечно, в нашем тогда еще небольшом городе событие это не осталось незамеченным, отца, как вы понимаете, знали, он там многим дал подняться. Тогда уже всю, правда, не в таких

масштабах, работали всякие артели, и почти в каждой у отца имелся пай. Он предусмотрительно познакомил меня с делами, зная, что дни его сочтены, и я каждый месяц исправно получал свою долю прибыли, каждая из которых намного превышала оклад главного инженера, за место которого я бился. Но потеря этой должности, а главное — перспектив роста выбила меня из колеи, и для всех это было очевидно.

С уходом из жизни отца, казалось, что-то умерло и в деловой жизни нашего города — мне об этом не раз с сожалением говорили. Однажды пришли старые компаньоны отца с какой-то безумно дерзкой авантюрой и попросили меня как инженера обсчитать свои предложения, короче, пришли с тем, с чем раньше приходили к отцу.

Месяц я бился не только с расчетами, но и с самим проектом — от него только идея и осталась. Воплотить без меня результат в металле они не могли, хотя и пытались, и опять пришли ко мне на поклон. Я, как и отец, отказался от предложенных денег, а потребовал половину доли за эксплуатацию моего детища; скрепя сердце они согласились, уж слишком выгодной оказалась штука. За три месяца я выполнил заказ — и расстался с заводом без особого сожаления. Устроился механиком с окладом девяносто рублей на одну из фабрик местной промышленности. От вынужденного безделья, на одном чистом энтузиазме, я принялся за модернизацию тех маленьких цехов и предприятий, где у отца был пай. Меня охотно подпускали к делам, ведь я занимался только тем, что ускоряло выход и улучшало качество изделия, такой подход устраивал всех. Мой инженерный зуд не давал мне покоя. Работа увлекала, тем более что результат был налицо.

Меня заметили в управлении местной промышленности, предложили возглавить реконструкцию обувной фабрики, выпускающей ичиги, кавуши, женские и мужские туфли, традиционные для Востока. После реконструкции резко обновился ассортимент: вместе с национальной обувью мы стали выпускать обувь на платформе — помните, была такая тяжеловесная мода? — стали ориентироваться на молодежные изделия, — в общем, дела на фабрике круто пошли в гору.

В ходе реконструкции, когда я дневал и ночевал на фабрике — а она находилась в райцентре, в шестидесяти километрах от Бухары, — я понял, что нашел свое место в жизни, здесь я мог развернуться куда масштабнее, чем на заводе, где так и не стал главным инженером.

Тут уж взыграло мое инженерное тщеславие, как ни смешно звучит это слово в наших занятиях. Не поверите, но, чтобы двигалось



порученное мне государственное дело, я вложил немало своих средств, зато выиграл самое бесценное — время, тем самым приблизив результат — выход готовой продукции. Видел я и другое: как без особого риска смогу изъять, вернуть с прибылью вложенные в реконструкцию деньги, лишь только производственная машина наберет заданный ей ход.

Наверное, в немалой степени успеху способствовало и то, что я хорошо знал не только явную, но и тайную жизнь бесчисленных предприятий местной промышленности, меня сложно было провести, я был осведомлен об истинных возможностях каждого станка, каждого цеха и, владея почти везде определенным паем, скоро прибрал все к своим рукам. Никто не ожидал от меня такой прыти, ведь мне еще не было и тридцати. Однако тогда я меньше всего думал о деньгах, я создавал свою отрасль, или, как говорит Файзиев,— свою империю. Меня пьянила моя творческая свобода, возможность самостоятельно принимать решения и... рисковать, ведь я не однажды ставил на карту почти все, что имел. А это — неизведанное чувство для руководителя обыкновенного предприятия. Худшее, что может с ним случиться,— снимут с работы, а вот прогореть, потерять свои деньги, на которые можно было бы безбедно прожить десятки лет, этого он никогда не узнает. Только ныряя в такие бездны риска, становишься настоящим хозяином, понимаешь всю цену ответственности, но уж и выигрыш тут иной — двойной, тройной...

Прокурор, почувствовав, что Шубарин вновь, как и в машине, увлекся, сел на любимого конька, уточнил:

— Значит, вы, как и ваш дед, через полвека стали миллионером? Наверное, стояла и такая цель?

Артур Александрович, доливая воды в электрический самоварчик, неопределенно пожал плечами.

— Да нет, ни дед мой, ни его брат не были миллионерами. В ту пору деньги имели очень большую цену. У нас сохранились кое-какие бумаги, я их изучил... Хотя владели дед с братом многим и многое от них осталось на земле и служит людям до сих пор. Тот же масложирокомбинат в Андижане, доходные дома, которые ныне, как архитектурные памятники старины, взяты государством под охрану, а на базе ремонтных мастерских в Ташкенте выросли заводы.

Не скрою, у меня есть миллионы, может, даже их три-четыре. Немудрено, если я кое-кому делаю за три года из пятидесяти тысяч двести, правда, такой прирост только у него одного, ему положено

по рангу... Но скажите, какой толк от этих миллионов? — вдруг спросил он, в свою очередь, прокурора.

Азларханова удивила неожиданная горечь в тоне Шубарина. До сих пор он казался ему человеком сугубо деловым, лишенным каких-либо сантиментов. А вот поди ж ты... хозяин, кажется, уловил это во взгляде, в выражении лица гостя.

— Да-да, не удивляйтесь... Я веду скромный образ жизни: не курю, пью крайне редко и умеренно, не чревоугодник, не играю в карты. Хотя меня окружают разные люди, чьи нравственные принципы я не всегда разделяю. У Икрама Махмудовича, например, две жены, и все его страсти влетают ему в копеечку. Из-за риска, своеобразия нашей работы я вынужден порой терпеть возле себя людей, которых в иной ситуации и на порог своего дома не пустил бы. У меня нет ни явных, ни тайных страстей, правда, я собираю картины, и есть кое-что поистине удивительное.— Он неожиданно оживился, словно прикоснулся к чему-то дорогому, заветному.— Есть две картины Сальваторе Розе, наверное, они попали сюда во время войны, с беженцами, а может, еще раньше, до революции. Правда, большинство картин — неизвестных мастеров, хотя есть пять полотен Николая Ге, ведь его дочь закончила в Ташкенте гимназию. Я бы с удовольствием пригласил экспертов, наверное, многое бы прояснилось, так ведь нельзя, все держится в тайне, взаперти, как у вора. Я даже не могу совершить жест благотворительности и перечислить крупную сумму, скажем, детдому; не могу ничего и завещать после себя открыто, а анонимно не хочется, душа не лежит, мне ничего легко не доставалось. А вы говорите: страсть к накопительству. Ничего я не коплю! Я работаю, а деньги множатся сами собой, и уйти от дела нет сил: я запустил машину, а она не отпускает меня, заколдованный круг — не вырваться.

Я знаю, изменись что в стране, я пойду под вышку, под расстрел, знакома мне такая статья: «Хищения в особо крупных размерах».

Не хочу хвалиться, но я не боюсь ответственности, потому что воспринимаю возмездие как плату за реализацию своих творческих возможностей, за это часто расплачивались жизнью, такова судьба многих незаурядных людей.

Странно, но в этих словах прокурор не уловил ни наигрыша, ни позерства. Кажется, Шубарин был с ним предельно откровенен.

— Обидно только вот за что: ведь ничего в жизни я не разрушил, не развалил, не загубил, не довел до ручки — я только создавал и множил, создавал добро в прямом смысле.



А ведь куда ни глянь — тьма иных примеров. Можно поименно назвать всех, кто загубил тот или иной колхоз, совхоз, завод, фабрику, комбинат, институт, газету, отрасль, наконец, загубил землю, убивает озера и реки, сводит леса, выпускает телевизоры, от которых горят дома и гостиницы,— так им все как с гуся вода. Никого из них не постигла суровая кара,— в голосе хозяина прорвалась нота горечи.

— Вы можете мне не верить, дело ваше, но скажу честно: истинную радость я получил не от денег, а реализуя свой талант инженера и предпринимателя, и этим я обязан теневой экономике.— Он помолчал, точно раздумывал о чем-то, и все же решился — скорее всего, ему надо было выговориться перед кем-то, а бывший прокурор представлялся идеальным слушателем.— Я был бы неискренен, если бы не сказал об удовлетворении еще одного, не самого достойного для человека чувства... Как бы это понятнее объяснить?.. Я щедро кормлю свое чувство презрения, держа в зависимости от моих подачек многих здешних партийных бонз. Если Икрам любит, когда перед ним выламываются танцовщицы, выпрашивая у него купюру покрупнее, то я получаю удовольствие от «танцев» продажных руководителей, стремящихся выцыганить у меня то же самое, что и полуголые танцовщицы. Это — моя месть за то, что не дали мне возможности состояться как инженеру в легальном, что ли, мире. Ведь в большинстве своем это как раз те люди, что заправляют кадрами и экономикой. Ни одному из них, кроме Первого, конечно — тот мужик крутой, настоящий хан,— я не дал взятки или пая, не унижая.

Например, мне доставляет удовольствие приглашать за мздой одновременно человека, ведающего правопорядком, контролем, и какого-нибудь крупного чиновника. Оба догадываются, за чем пришел каждый из них, но ведут такие высокопарные беседы — скажем, о предстоящем идеологическом пленуме... Бывает, у одного в это время конверт уже в кармане, а купюры как раз «попались» мелочью, вроде десятков или четвертных. И вот сидит он с оттопыренным, распухшим карманом и, не моргнув глазом, рассуждает о партийной честности, морали, нравственности. Если когда-нибудь мне предъявят обвинение в организации теневой экономики в крае, я, пожалуй, буду настаивать, чтоб признали мое авторство в создании такого постоянно действующего «театра марионеток», моего особо любимого детища, где я был и остался полновластным и бессменным

режиссером, почище Станиславского. В этом театре я видел такой моральный стриптиз, что определение «циничный» здесь звучит просто ласково. Если что и должно караться сурово, так это подобное идеологическое перерожденчество. И в руках таких политических хамелеонов судьба не только экономики края, но и людей...

— Да вы просто Мейерхольд экономики, — постарался попасть в тон прокурор, но Шубарин шутки не поддержал, он был весь во власти одолевавших его мыслей; не исключено, что он выплескивал их в первый раз.

Гость еще раз отметил, что Шубарин не только не боится, но и не стесняется его — это говорило о многом, и прокурор пожегся. Явно не такой был человек Артур Александрович, чтобы дать уйти каким-то сведениям о себе куда бы то ни было.

Не мог не отметить бывший прокурор, что страсть, захлестнувшая сегодня хозяина номера, несколько иначе высветила сдержанного, уравновешенного, всегда владеющего собой Шубарина. Он успел увидеть жесткое, волевое лицо бескомпромиссного человека с холодным рассудком и вполне определенным взглядом на жизнь, внушающего, однако, другим, что якобы компромисс — главный принцип его действий, а сам он — неудавшийся главный инженер, всего лишь. Прокурору вдруг вспомнился ночной посланник Бекходжаевых: что-то в них было общее. Прокурор не хотел сейчас отвлекаться от разговора, чтобы додумать мысль, доискаться, в чем же это сходство, но одно напрашивалось само собой: Шубарин был такой же, если не более страшный человек, как и тот ночной гость.

Неожиданно прорвавшаяся в речи Шубарина страсть могла, пожалуй, вылиться и в еще большую откровенность; хотя гость очень устал и болело сердце, но он не хотел заканчивать беседу.

— Так все же какой из талантов вы считаете важнейшим в своем деле: талант инженера или предпринимателя?

Увлечшись разговором, они забыли про кипящий самовар. Извинившись, хозяин стал вновь заваривать чай, словно выгадывал несколько минут для ответа...

— Как это ни парадоксально, но теперь, когда предприятия набрали темп и мощь, когда нет недостатка в средствах, менее всего наше благополучие зависит от инженерного таланта и предпринимательской хватки.

Собеседник удивленно приподнял бровь, на что Шубарин откровенно усмехнулся.



— Да, да, не удивляйтесь... На сегодня самый главный талант состоит в том, чтобы защитить, уберечь достигнутое, обеспечить безопасное производство, а главное — реализацию.

— От кого же? — уточнил бывший прокурор, глядя, как струйка пара поднимается над чашкой.

И опять хозяин номера не удержался от усмешки, но было в ней уже что-то жесткое и злое.

— Прежде всего от многих «актеров» моего уникального театра, а еще больше от тех, кому там не досталось роли, — театр-то у меня все-таки камерный и народным по составу вряд ли когда станет.

— Скорее всего — никогда, — не сдержался гость и тут же пожалел об этом.

Шубарин едко прищурился, испытующее глянув на прокурора.

— Вы полагаете?.. Ну, пусть даже так... Но вы не можете себе представить, как разбух сейчас бюрократический аппарат: я вынужден кормить всех — от пожарного инспектора до санитарного врача, хотя и не произвожу продуктов питания. А ведь им есть куда приложить свои усилия и кроме моих предприятий, ну, скажем, открыть в городе хоть одну по-настоящему приличную столовую, где можно, не боясь отравиться, пообедать, или, простите, хоть один общественный туалет, не унижающий человеческого достоинства гражданина великой страны. Впрочем, я, кажется, слишком много хочу... В общем, помочь мне не может никто, а вот помешать, запретить — сотни людей и организаций, и за всем этим стоит одно — дай! Но если корову доить десять раз в день, даже самая породистая и двужилная может вскоре протянуть ноги, не так ли?

Не менее тревожной для меня становится и проблема все нарастающего роста преступности и наркомании. Наверное, вы, как прокурор, не могли не почувствовать, что с ростом числа миллионеров в нашем крае — хлопковых, золотодобывающих, каракулевых, тех, кто контролирует производство и сбыт наркотиков, миллионеров из органов, из хозяйственной и партийной элиты, из теневой экономики и прочих и прочих нуворишей — сюда потянулись преступники со всей страны, и приезжают они с серьезными намерениями. И моя задача оберегать не только себя, но и людей, работающих со мною, обеспечить им и их семьям покой.

И если, прежде чем выстроить свой айсберг, я когда-то изучил право и экономику, то в последние годы ради своего существования я вынужден был изучать и преступность. И смею думать,

что располагаю гораздо большей информацией — а в данном регионе и силой, — чем прокурор нашей республики и даже министр внутренних дел. Например, в прошлом году люди Ашота обезвредили банду из Ростова, прибывшую по мою душу или по душу моих компаньонов. Я встречался с ними, когда мои ребята задержали их, — мрачные типы, кроме силы, они ничего не понимают. Не проходит и месяца, чтобы не появлялись все новые люди, пытающиеся шантажировать меня, моих сотрудников или членов их семей, с этим мы тоже боремся, и, могу вас заверить, весьма эффективно.

— Выходит, вы дон Корлеоне, Крестный отец? — спросил прокурор, постаравшись скрыть усмешку.

— Выходит, что так. Вы быстро освоились с моей видеотекой, — улыбнулся Артур Александрович. — Теперь я уж и сам не понимаю, какой талант в жизни действительно более важен, хотя меня и не радует, что прокурор Хаитов побаивается меня, ведь он далеко не трус. Я бы не хотел такой зловещей популярности.

Разговор делался все более напряженным, и гость подумал, что пора бы остановиться: дальнейшее любопытство могло привести к непредсказуемому результату. И так он получил массу информации, которую еще необходимо переварить.

— Я замучил вас сегодня вопросами, вы уж извините. Не хотел бы больше злоупотреблять вашим гостеприимством и откровенностью... Завтра у вас — впрочем, уже сегодня — напряженный день. Да и мне выходить на работу, потому разрешите поблагодарить за столь насыщенный и приятный вечер и откланяться...

Хозяин тайного синдиката бросил взгляд на часы и удивился:

— Да, скоро светать начнет, — сказал он со странным сожалением — ему, кажется, не хотелось расставаться с гостем, словно он спешил выговориться, исповедаться.

«Что бы это могло значить? — мелькнула у прокурора мысль. — Минутная слабость? Расчет? Искреннее желание заполучить в деле надежного союзника, для которого деньги не играют особой роли в жизни? Или он, как и я, чует грядущий ветер перемен в общественной жизни и хочет сам подпалить свой «театр» со всех сторон? Хлопнуть напоследок дверью?» Об этом еще предстояло поразмыслить.

— Это вы извините меня, ради бога, что заговорил вас. Я ведь знаю, что вы живете в определенном режиме, а я сегодня лишил вас не только прогулки, но и сна. Неделью назад, в первое наше знакомство,



я заверял вас, что мы будем всячески оберегать ваше здоровье, а сам, выходит, не держу слова. Хотя я рад, что так вышло. Кажется, я никогда в жизни не был столь многословен. Как говорят женщины: наболело...

— Ну что вы, мне было очень интересно... — не кривя душой, заверил Азларханов.

Шубарин опять глянул на часы:

— Сейчас уже почти утро. Вы отдохайте, затем, как обычно, обед у Адика, а после обеда я представлю вас на работе, к этому времени подготовят ваш кабинет, я распорядился там кое-что изменить...

### 3

Прокурор проспал почти до обеда, и крепкий сон восстановил его силы. Принимая душ, он подумал, что, пожалуй, придется привыкать и к ночной жизни, коли уж взялся выяснить истинные размеры айсберга и выявить по возможности всех актеров уникального театра Шубарина.

Зная пунктуальность шефа, прокурор спустился вниз точно в назначенное время. Шубарин уже сидел за столом и подливал помятому после бессонной ночи Икраму боржомом в тяжелый хрустальный бокал — чувствовалось, что Файзиев появился лишь минутой раньше. Перекинувшись с шефом двумя-тремя фразами, зам от обеда отказался и ушел отдыхать.

Глядя на Шубарина, никто бы не предположил, что у него за плечами бессонная ночь, а до обеда он уже провел в трех местах планерки, посетил два ремонтных завода и нанес визит в горисполком.

Ритуал обеда, похоже, тоже был выработан давно и носил деловой характер; суеты не было: все чинно, размеренно, но в этой размеренности чувствовался ритм. На обед они затратили ровно столько времени, сколько и в первый раз. Прокурор обратил на это внимание — отныне он должен был свыкаться с ритмом жизни своего нового начальства.

Когда они поднялись из-за стола, прокурор обратил внимание, что Ашот тоже в зале, и обедал он за тем же столом, где и в прошлый раз. Видно, Артур Александрович все, что мог, доводил до автоматизма, подвергая любую мелочь тщательному учету и анализу, ничто

в его поступках не было случайным, и это следовало учитывать, если задумал разобраться в конструкции его системы...

— Давайте прогуляемся до службы пешком, вам ведь вчера не удалось погулять,— предложил Шубарин и подал знак Ашоту, уже ожидавшемуся их в машине. «Волга», медленно вырлив на дорогу, тут же уехала.— Это совсем недалеко, да и после обеда пройтись не мешает.

Идти пришлось действительно недолго и не совсем туда, куда предполагал прокурор.

Они подошли к внушительному зданию бывшего рудоуправления.

Поднявшись по мраморной лестнице, прокурор увидел респектабельную, золотом на граните вывеску: «Управление местной промышленности».

— Да, теперь это наше здание,— подтвердил не без гордости Шубарин, заметив удивление на лице своего юриста.

Поднялись на второй этаж, в просторную приемную, где слева и справа располагались кабинеты бывших руководителей рудоуправления. На массивной дубовой двери столяр прилаживал ярко начищенную бронзовую табличку: «Азларханов А. Д.». На противоположной двери значилось: «Шубарин А. А.». Туда и пригласил хозяин своего нового юриста.

«Помещение явно не по рангу. И тут наш «хозяин» пожинает то, что не сеял»,— успел подумать прокурор, переступив порог роскошного кабинета.

Но у шефа, видимо, день был расписан по минутам — он не дал возможности ни толком разглядеть кабинет, ни порассуждать о нем, тут же распорядился по селектору:

— Татьяна Сергеевна, будьте добры, пригласите тех, кому я назначил на четырнадцать двадцать.— Обернувшись к прокурору, пояснил: — Сейчас я представлю вас нашим главным специалистам, они помогут вам войти в курс дела. Есть несколько неотложных исков по штрафным санкциям к поставщикам, есть материалы, которые, на мой взгляд, стоит передать в Госарбитраж; но таких дел мало, и у вас будет время спокойно ознакомиться и со структурой, и с отчетной документацией. Если что будет не ясно, эти товарищи помогут разобраться.

Распахнулась высокая дверь, вошли двое. Первым шеф представил Александра Николаевича Кима, а вторым — Христоса Яновича Георгади. У каждого в руках было по три-четыре увесистые папки.



И главный бухгалтер, и главный экономист управления оказались людьми преклонного возраста, чего прокурор никак не ожидал. Не исключено, что старый кореец застал еще времена нэпа, по крайней мере, имел о них не книжное представление, в этом можно было не сомневаться.

Георгади, судя по выговору, принадлежал к тем грекам, что приехали к нам в страну в конце сороковых. Этот тоже, видимо, знал рыночную экономику отнюдь не по учебникам, да и «Капитал» Маркса, наверное, трактовал несколько иначе, чем предполагал автор.

И прокурор лишний раз убедился, что айсберг Шубарина, безусловно, создан с умом и потопить его будет непросто. В таком составе мозговой трест, конечно, представлял силу, нешуточную силу, таких голыми руками не возьмешь.

Вся церемония знакомства прокурора с высшим советом управления заняла не больше десяти минут. Оставив папки с документами для ознакомления новому юристу, старики удалились, пообещав ему всяческое содействие в работе.

— У вас, я вижу, интернациональный коллектив,— не преминул заметить Азларханов, надеясь, что хозяин кабинета несколько шире представит своих главных специалистов.

Но Шубарин, видимо, в рабочее время редко пускался в иностранные разговоры, ответил коротко:

— Видите ли, у меня несколько иной принцип подбора кадров, чем в обкоме. Я не раздаю должности ни по номенклатуре, ни по связям, тем более для меня не важен пятый пункт в анкете, то есть национальная принадлежность,— я подбираю людей по деловым качествам, иных критериев у меня нет. И пусть моему бухгалтеру уже восемьдесят, я не променяю его и на двух сорокалетних и мирюсь с тем, что он работает два-три часа, да и то не каждый день.

Наверное, заметив, что юрист удивлен краткостью процедуры представления, счел нужным добавить:

— Не удивляйтесь, что они ничего у вас не спрашивали. Они прекрасно знакомы с вашим досье, я не один решал, приглашать вас на эту должность или нет. Они знают, чем вы будете заниматься, и чего мы от вас хотим. А теперь я покажу ваш кабинет, и приступайте... с богом...

Шубарин поднялся из-за стола, чтобы помочь прокурору перенести оставленные для него папки.

Столяра в приемной уже не было. Послеобеденное солнце било в окно, надраенная табличка с его именем сияла отражением. Привинчено было основательно, на четыре медных шурупа. «Надолго ли? — мелькнула у прокурора тревожная мысль.— С Шубариным шутки плохи».

А тот широко распахнул дверь:

— Добро пожаловать,— и пропустил юриста первым.

Кабинет по размерам, по убранству походил на тот, из которого они только что вышли, но там чувствовался стиль самого хозяина — он был строг, официален, а этот как бы еще не имел лица.

Прокурор положил папки на двухтумбовый стол, крытый зеленым сукном, и огляделся. И сразу же на боковой стене, как прежде у себя в прокуратуре, увидел привычный рекламный плакат выставки Ларисы. Он невольно шагнул к стене и долго молча вглядывался в лукавое лицо старика на ишачке, возвращающегося с базара с голубым ляганом. Неожиданное волнение охватило бывшего прокурора; не оборачиваясь, он глухо сказал:

— Спасибо, я тронут вашим вниманием.— Затем, возвратившись к столу, спросил: — Если не секрет, кто занимал этот кабинет до меня?

Шубарин, поправляя белые сборчатые занавески, очень красивые высокое окно, ответил:

— Никакого секрета здесь нет. Раньше тут сидел Икрам.— Заметив удивление юриста, пояснил: — Нет, это не должно вас волновать. Он даже рад, что так вышло. Мне кажется, он всегда тяготился соседством со мной. Ему хотелось иметь свою приемную, собственную секретаршу. Человек он шумный, общительный, у него всегда много народа, у меня же несколько иной стиль, и порою он чувствует мое недовольство. Иногда, я догадываюсь, он не хотел, чтобы я видел и знал, кто к нему приходит. Татьяна Сергеевна всегда на работе, даже если меня не бывает неделями, и он просто мечтал уйти из-под такого контроля. Хотя я, разумеется, знаю обо всех его делах, которые он проворачивает за моей спиной.

— Например, если, конечно, это не какая-то тайна? — поинтересовался прокурор.

— Пожалуйста... Например, он завел свой частный таксопарк: купил десять «жигулей», и молодые люди денно и ночью левачат на него. С властями у него проблем нет, его старший брат — начальник областного ГАИ.



— Интересно, что же он с этого, кроме хлопот, имеет?

— Да вы знаете, немало. Ежедневно каждый должен выплачивать ему по пятьдесят рублей, почти государственный тариф. Это из расчета трехсот рабочих дней в году. Работал, не работал — это твое личное дело, и так в течение трех лет, после чего машина переходит в собственность таксиста. Все проблемы, связанные с ремонтом, эксплуатацией, резиной, бензином, его не касаются, он вмешивается только в случаях скандала или аварии. Машина окупается и приносит доход в пять тысяч рублей уже на первом году, а дальше в течение двух лет ему лично идет чистая прибыль: с десяти авто — пятьсот рублей в день.

— Ну и хват! — невольно вырвалось у прокурора.

— Ну, я бы так не сказал, — ответил шеф. — Просто он происходит из рода, что правит в области, наподобие Бекходжаевых, с которыми вы имели счастье столкнуться. И мне навязали его уже на готовое. Конечно, он по-своему деловит, энергичен и годится для реализации чужой идеи, но все-таки нас кормят сами идеи, а за реализацией у нас дело не стоит. Так что он не в претензии, что перебрался на третий этаж и будет жить, как ему кажется, независимой от меня жизнью — в этом здании места всем хватит.

Обживайте кабинет, если нужно что-то изменить, добавить или убавить, завхоз в вашем распоряжении. Чувствуйте себя в нашем управлении как дома. Ну, а сейчас не буду вас отвлекать от дела. Если не забыли, мне предстоит долгая дорога, чтобы вновь встретиться сегодня с прокурором Хаитовым; честно говоря, жалею, что вас не будет рядом в машине, мы бы нашли, о чем поговорить. — И Шубарин направился к двери. Уже взявшись за массивную ручку, он вдруг замешкался, вновь вернулся к столу. — Как бы много мы ни говорили вчера с вами, да и сегодня тоже, я все-таки не сказал вам главного. А главное, ради чего я привлек вас к работе, заключается вот в чем... — Он помедлил, раздумывая.

— Я вас внимательно слушаю, только разрешите, я сяду... — Азларханов выдвинул из-за стола массивный стул.

— Пожалуйста, — спохватился Шубарин. — Прошу вас... Видите ли, дело вот в чем... Наше управление росло и развивалось стремительно, и многие свои действия мы не подкрепляли нормативными актами, приказами, отчасти от незнания, спешки, случилось, и из-за низкой правовой культуры организаций и ведомств, которым мы подчинены. Я не живу одним днем, и сегодня отсутствие

каких-то документов не беда, все легко уладить — тем более, в моем распоряжении могучий клан Файзиевых. Но нужно смотреть дальше, вглубь, когда обстановка вокруг может измениться. И я не хочу в той изменившейся обстановке отвечать за все один. Вы улавливаете мою мысль?

Прокурор согласно кивнул.

— Я думаю, это справедливо, если каждый будет отвечать за себя. Я хотел бы, чтобы такие юридические документы были составлены не только касательно нашей внутренней жизни — их будет, конечно, более всего, но чтобы, пусть и запоздало, появились юридические документы относительно планирующих и контролирующих нас организаций, всех, кто стоит над нами. И чем больше будет таких документов и организаций, с нами связанных, тем лучше. Если вы подготовите такие документы, где — конечно, юридически тонко — будут отражены наши интересы и ответственность каждого, без особого труда и проволочек тут же проведу их в жизнь.

Шубарин испытующе смотрел на прокурора, осознал ли тот, чего от него хотят, и уловил понимание в его внимательных глазах.

— Я хочу отвечать только за себя, — жестко заключил шеф. — И не желаю, чтобы мои прегрешения перед законом тянули на самую суровую меру наказания. Вот для чего, если откровенно, мне понадобились ваши знания, опыт и авторитет. — Сказав это, он решительно направился к двери...

Прокурор успел отметить, что этот пространственный монолог не был монологом испугавшегося человека, — скорее, знающего, чего он хочет, далеко наперед рассчитывающего свои ходы.

Оставшись один, Азларханов еще раз оглядел свой новый кабинет, заглянул в пустой сейф, обратив внимание на сложную систему запоров, подошел к окну. Окна выходили на площадь; внизу, у подъезда, машины Ашота уже не было.

Прокурор перебрал восемь папок, лежавших на столе, как бы раздумывая, с которой начать. Он прекрасно понимал, что уже в ближайшую неделю необходимо выдать какой-нибудь документ, и эта бумага должна была поднять его авторитет и в глазах Шубарина, и в глазах двух главных финансистов управления, которые, кажется, несколько скептически отнеслись к приглашению юриста в свои ряды. Но последний спич Шубарина прояснял его роль до конца. Уж, конечно, им, своим компаньонам, он не разъяснял основную задачу юриста в деле, как обрисовал ее пять минут назад. Откровенничая во многом,



он даже при верноподданном Ашоте не сказал, что главная цель юриста — отвести ответственность от него самого и по возможности распределить ее на большее количество плечей, особо не боясь перегрузить того же Файзиева.

Он еще раз подумал о дальновидности Шубарина: два старичка, помогавшие ему создать «айсберг» и до сих пор являющиеся его главными экономическими советниками, вряд ли могли быть привлечены к ответственности, и, в случае чего, весь удар пришлось бы принять ему, а он, естественно, этого не хотел.

Взяв наугад первую папку, прокурор приступил к изучению документов. Уже через час ему понадобилось кое-что выписать — вопрос следовало прояснить у главного бухгалтера. Работа продвигалась, и скоро на столе лежали отдельные листы с вопросами и к Христосу Яновичу, и к Файзиеву, и к самому Шубарину. Время от времени его отвлекали телефонные звонки — судя по молодым женским голосам, звонили Икраму, и отнюдь не по делу. К концу дня звонки так участились, что прокурор был вынужден отключить телефон.

Лишь однажды отвлекла его Татьяна Сергеевна, она принесла ему чай, весьма кстати. Уходя с работы, она поинтересовалась, долго ли он еще задержится, и оставила ключ от приемной, наказав забрать его с собой и ни в коем случае не оставлять внизу на вахте.

Увлечшись, прокурор не заметил, как за окнами стемнело; он успел просмотреть лишь три папки из восьми,— впрочем, к каждой из них ему еще предстояло не раз возвращаться. Ему хотелось как можно скорее разобраться с делами, вникнуть в суть, потому что не был уверен, что ему долго удастся играть свою роль и водить за нос Шубарина. Оттого решил одолеть еще одну папку, а затем пешком вернуться в гостиницу. Шеф к этому времени наверняка уже будет у себя в номере, и можно будет вопросы, адресованные ему, задать уже сегодня. Четвертая папка оказалась весьма любопытной, прокурор уже начал понимать структуру снабжения и списания материалов — и незаметно для себя он потянулся к следующей, самой толстой, не отдавая себе отчета в том, что часы в углу пробили полночь.

Неожиданно на лестнице послышался какой-то шум, топот шагов стремительно поднимавшихся людей, раздались возбужденные голоса в приемной, и тут же распахнулась дверь. Первым в кабинет ворвался Ашот, за ним Икрам и бледный от волнения Шубарин.

— Да вот он, жив-здоров, работает, как и положено деловому человеку! — возбужденно выпалил Ашот.

На радостях он, кажется, готов был обнять прокурора — наверное, свою долю взбучки он уже получил по дороге.

Все взгляды потянулись к шефу. Артур Александрович подошел к столу и, устало опустившись в кресло, услужливо придвинутое Ашотом, сказал ничего не понимающему прокурору:

— Извините, ради бога, действительно нелепо получилось. Приезжаю, поднимаюсь к вам, хочу поделиться радостью и поблагодарить вас — с Хаитовым уладили дела в лучшем виде, а вас нет дома. Спрашиваю у дежурной — говорит, не приходил. Иду к Адику — говорит, не ужинал. Звоню — никто не отвечает... Ну, я подумал, не случилось ли с вами чего, объявил тревогу. Гляньте на часы, уже полночь. Все в машину — и сюда. Вахтер спит, говорит, не знаю никакого юриста, все давно ушли, впрочем, он вас точно не знает.

Тут уж рассмеялся прокурор...

— Не ожидал такой заботы, честно говоря.

— А почему телефон не отвечал? — спросил Ашот, подошел к аппарату, потряс его.

— Да замучили поклонницы Икрама, мешали работать, звонили каждые пять минут, вот и вынужден был отключить.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— подытожил шеф.— Но я не люблю зависеть от случая, это мой принцип. Завтра же с утра решите вопрос с телефоном, а то будут мучить человека еще год.— Он обернулся к своему шоферу: — А ты, Ашот, немедленно реши вопрос с Коста: или пусть приезжает завтра, или подбери другого человека — мы не можем так работать, сегодняшний случай пусть для всех будет уроком. Я не могу в нашем деле рисковать ни одним человеком. Тем более тем, который еще не сделал главного дела своей жизни.

Часа через два, когда прокурор входил к себе в номер после позднего ужина в компании своих новых сослуживцев, он размышлял: «А была ли опасность извне? Или Шубарин больше испугался того, что я исчез с документами, уже владея достаточной информацией, чтобы начать раскручивать клубок?» Испугался он, точно,— прокурор ясно видел волнение на обычно бесстрастном лице теневика. Как и неподдельную радость, когда юрист оказался на месте.

Трудно было прокурору понять, что же все-таки крылось за этим, какую роль он играл в чужой игре, почему его так оберегали? Чтобы



он успел сделать «главное дело своей жизни», как выразился шеф... Намек на Бекходжаевых, на месть? А какое им дело до его личной боли? С чего бы вдруг, почему такая трогательная забота и внимание? Но какие бы вопросы он ни задавал себе, Азларханов понимал, что сегодня ему еще не ответить ни на один из них, придется терпеливо ждать. Правда, один вывод он мог сделать безотлагательно: теперь за ним будет глаз да глаз, Шубарин прекрасно знал, во что может ему обойтись отступничество нового юрисконсульта. После ночного инцидента мог появиться еще один нюанс в отношениях с шефом: скорее всего вряд ли возможны в дальнейшем столь откровенные беседы, как в последние дни. Но тут дело за самим прокурором: он должен как можно быстрее подготовить ряд документов, доказывающих, что Шубарин не ошибся в своей тайной стратегии: только это может поднять цену юрисконсульта в глазах настороженных пайщиков, ослабить их внимание. С этой мыслью он и отправился спать...

## 4

Наутро, отказавшись от машины, прокурор пешком отправился в управление. Сегодня он решил отменить знакомство с бумагами, а сделать что-нибудь реальное, поэтому сразу попросил в бухгалтерии документы, связанные со штрафными санкциями к поставщикам и делам, что следовало передать в арбитраж,— и то, и другое ему было хорошо знакомо по трем последним своим службам в должности юрисконсульта. Он снова так увлекся работой, что проворонил время обеденного перерыва,— оторвал его от дел телефонный звонок, первый за весь день. Звонил Шубарин:

— Амирхан Даутович, у нас, как и на всех предприятиях, действует трудовое законодательство, охрана труда, и обеденный перерыв никто не отменял. Опять же оценка деятельности у нас не по выработке часов, а по результату, так что бросайте бумаги и выходите — сейчас за вами подъедет машина. Мы тоже спускаемся к Адику. Обед — дело святое...

Когда Азларханов вошел в зал, сослуживцы уже сидели за столом. Рядом с Шубариным расположился довольно молодой мужчина, франтовато одетый, в крупных дымчатых очках, красивших его жесткое, с волевым подбородком лицо.

— Знакомьтесь, это наш долгожданный гость,— представил соседа шеф.

Прокурор протянул через стол руку и назвал. Гость привстал и отрекомендовался несколько странно:

— Меня зовут Коста.

Амирхану Даутовичу на миг показалось, что ему знаком голос этого человека, да и внешность как будто тоже, но крупные очки скрывали пол-лица, а главное — глаза. Однако прокурор не признал, как ему показалось, ожидаемых за столом слов: а мы с вами где-то встречались,— торопиться ему было некуда.

Но тут не выдержал хладнокровный шеф, явно режиссер этого маленького спектакля, спросил удивленно:

— Неужели вы не признали Коста?

Гость неторопливым жестом снял и положил на стол очки, и прокурор сразу узнал ночного посланника Бекходжаевых. Довольный тем, что несколько подпортил компании ожидаемый эффект, Азларханов спокойно пояснил:

— Но мы действительно не знакомы с... Коста...

Тут гость непринужденно рассмеялся:

— Да, так и есть, забыл тогда представиться.

И теперь уже засмеялись все за столом, включая и прокурора.

И запоздало, через четыре года, прокурор только теперь вспомнил фамилию Коста — Джиев; он был родом с Северного Кавказа, уголовник со стажем, вор в законе, обвинявшийся в убийстве. Он точно в то время отбывал наказание у него в области, и его документы прокурор держал в руках во время инспекции, но теперь это дела не меняло.

— Насколько я знаю, он тогда спас вам жизнь и теперь обязан оберегать ее. Он будет для вас тем же, что для меня Ашот. Я надеюсь, вы подружитесь — Коста о вас прекрасного мнения. Правда, мне кажется, он до сих пор не пережил вашего отказа от дипломата,— шеф был явно в хорошем настроении.

— В таком случае он не выиграл бы двадцати тысяч. Надеюсь, Бекходжаевы расплатились с вами? — как можно небрежнее отозвался прокурор, почувствовав, что опять проходит какое-то пока непонятное ему испытание.

— Попробовали бы не рассчитывать, со мной такие номера не проходят,— ответил не зло Коста, но было ясно, что с ним такие шутки действительно не пройдут.

После обеда прокурор вернулся с Шубариным в управление, а Файзиев остался с Коста в гостинице,— необходимо было



переселить жильца из соседнего номера, чтобы Джюев жил через стенку с прокурором, на этом настаивал телохранитель.

В приемной шефа ждали несколько посетителей, и прокурор сразу прошел к себе, хотя собирался подать на подпись бумаги для арбитража. Часа через два Шубарин, освободившись, сам зашел к юристу.

— Во вчерашней суете я не смог вас толком поблагодарить за Хаитова — вы для него явились последним аргументом, которого у нас не доставало. Отныне он не будет чинить нам препятствий, даже наоборот: разрешил торговать на площади перед центральным универмагом. Не секрет, что я обещал солидный гонорар тому, кто выведет меня на Хаитова. Никто не сумел устроить мне встречу напрямую, кроме вас. Вот ваш заслуженный гонорар... — и он выложил на стол перед прокурором банковскую упаковку сторублевки.

— Как первому и без свидетелей? — пошутил юрист и, взяв деньги, небрежно бросил их в пустой ящик письменного стола.

— Обижаете, мы же с вами друзья, я за вас вчера действительно перенервничал, разве вы это не почувствовали?

— Спасибо. Меня тронул вчера ваш жест, да и сегодня тоже: это та сумма, которую я хотел просить у вас на мебель. Спасибо и за Коста. Но не дорого ли он вам станет — специалисты такого класса, видимо, обходятся в немалые деньги? — прокурор надеялся как-нибудь перевести разговор в нужное русло.

Но шеф не стал вдаваться в подробности:

— Да, работа таких людей оплачивается высоко, но не дороже, чем ваша жизнь. Это временная мера, я думаю, через полгода он вам не понадобится, а пока я не вправе рисковать: у нас с вами столько дел, вы даже не представляете. — И, считая, что разговор окончен, Шубарин поднялся.

Прибытие Коста несколько осложнило жизнь прокурора, — нет, не оттого, что была ограничена его свобода или Джюев следовал за ним по пятам; внешне все шло как обычно, но чувствовал себя бывший прокурор скованно. Следовало определить по отношению к своему охраннику какую-то тактику, линию поведения. Конечно, о том, чтобы совершать с ним вместе пешие прогулки по вечерам, не могло быть и речи, как не желал бы прокурор и есть с ним за одним столом, хотя, надо отдать должное такту телохранителя, на такое фамильярное отношение он и не напрашивался. Но тут был и пример: шеф не слишком церемонился с Ашотом, о том, чтобы Шубарин подпускал охрану к своему столу, не могло быть и речи — каждый знал свое место.

Даже чтобы изредка обмениваться рукопожатием с Коста, Азларханову нужно было переступить в себе через многое, — он-то знал, что это за человек. Но и перегибать палку не следовало: Коста не Ашот, хотя и тот, судя по реакции на разговоры в машине, нисколько не доверял бывшему прокурору; а этот быстро раскусит игру — и по таким мелочам, что только ахнешь, тем более что дел у охранника других нет, и он мог держать прокурора под микроскопом.

Поначалу Азларханов просто-напросто вгрызся в работу: целыми днями сидел, обложившись горами бумаг; он хотел быстрее выдать какой-то результат, а заодно размагничивал Коста, стараясь не особенно общаться с ним якобы из-за своей чрезвычайной занятости. Надо отдать должное, держался тот хорошо, работал профессионально, и вряд ли кто мог разгадать истинный смысл его занятий. Учтивый, общительный, щедрый, через две недели он повсюду — в управлении, гостинице, ресторане — имел друзей и знакомых. Он мастерски умел разыгрывать этакого беспечного доброго малого, сохраняя в то же время предельную собранность. Прокурор, знавший приемы слежки, догляда, попытался дважды, крайне осторожно, проверить, надежно ли он блокирован, и был поражен его мертвой хваткой. Да, с Коста шутить не стоило.

Конечно, прокурор чувствовал и контроль хозяев, но то был догляд, так сказать, администраторов, да и практиковался он эпизодически, у них обоих забот невпроворот, огромная машина, все набиравшая ход, требовала внимания гораздо больше, чем новый юрисконсульт с особыми полномочиями. И контроль этот Азларханов предугадывал, психология дельцов была понятна ему.

Другое дело Коста, человек, с иной меркой подходящий к жизни, и с иным опытом ее. Конечно, перед ним поставлена задача не только оберегать юриста от внешних посягательств, но и смотреть за ним в оба, ведь день ото дня он все больше обогащался информацией, к которой имели доступ всего три-четыре человека. Кроме этих явных причин плотного надзора, наверняка были и другие, которых прокурор до сих пор не мог понять, хотя проработал уже больше месяца.

Бдительность шефа он уже заметно притушил несколькими удачными предложениями. Первое, которое Шубарин провел через Госснаб республики, Совет Министров и Министерство местной промышленности, давало управлению возможность самостоятельно выходить к поставщикам за пределами республики с правом



выкупать у них нереализованную или сверхплановую продукцию. Этот документ придавал законность многим разбойничьим актам Шубарина. Ему всегда нужно было доказательство, что он получал оттуда-то официально, положим, тысячу метров ткани, хотя на самом деле он мог получить и десять, и сто тысяч метров неучтенной продукции у таких же ловкачей, как он сам. Эта бумага снимала в будущем обвинение в сговоре, подкупе поставщика, в противозаконных операциях в крупном масштабе. Хотя без сговора, без толкачей, и по фондам получить непросто. Это знает каждый, кто хоть немного знаком с материальным снабжением. Шубарину сырье отовсюду отправляли в первую очередь и самое лучшее, а уж потом, что осталось, выбирали те, кто имел фонды.

По мере того, как прокурор готовил все новые документы, получавшие одобрение Шубарина, прокурор вдруг почувствовал, что ревностное отношение к нему Файзиева неожиданно сменилось интересом, который тот, как ни странно, не афишировал при шефе.

Эту внезапную перемену отношения к себе Азларханов анализировал долго, недели две, и кажется, понял, что клан Файзиевых не прочь при случае скинуть Артура Александровича, слишком уж тот властен, не подпускает к финансовым секретам. Наверное, клан считал, что машина, запущенная Шубариным, теперь уже может функционировать и без него. И, по их подсчетам, юрист вполне подошел на место Шубарина.

Открытие не обрадовало прокурора — меньше всего ему хотелось оказаться между жерновами; его волновала только своя игра, и карты день ото дня шли к нему козырные: он уже составил наполовину список людей в области и в республике на самых высоких постах, состоявших на содержании у Шубарина, и доказать это не составляло труда. Сложнее оказалось выйти на людей из Москвы, но и тут следовало ждать и работать. Однако и не учитывать новый расклад, принимать безоговорочно сторону Шубарина, как решил он прежде, значило обрекать себя на дополнительный риск: из опыта противоборства с Бекходжаевыми он догадывался и о возможностях клана Файзиевых. Оставалось одно: осторожничать, потихоньку блефовать и, собрав достаточную информацию, при первой же возможности исчезнуть.

Ремонт в квартире заканчивался, наводили последний глянец, оставалось лишь отлакировать новые паркетные полы — и можно переезжать; у него уже не раз интересовались, когда же новоселье?

Прокурор прекрасно понимал, что вряд ли ему удастся прожить в этой квартире хотя бы несколько месяцев, но начатую игру следовало продолжать, всем своим поведением показывать, что вьет гнездо всерьез и надолго.

Пачка денег, что вручил ему Шубарин за посредничество в сделке с Хаитовым, так и покоилась в ящике стола, он даже не удосужился переложить ее в сейф. Странно: он даже не считал эти деньги деньгами, они не вызывали никаких желаний. То же самое и с квартирой, за ходом ремонта которой он якобы ревностно следил... И деньги, и квартира, так неожиданно свалившиеся на него, казались ненастоящими, обманом, миражом... Только свое положение в «системе» он воспринимал всерьез.

Пачка в столе и навела на мысль хотя бы на полмесяца нейтрализовать Коста, внушить ему, что хозяин пустил корни в «Лас-Вегасе» глубоко.

— Коста, я хотел бы обратиться к вам с личной просьбой. Во-первых, я доверяю вашему вкусу, о котором все вокруг говорят, а во-вторых, у меня совершенно нет времени. Документы, которые я готовлю, во сто крат важнее моих личных дел. И мне хотелось бы скорее оправдать заботу и внимание, что проявляют ко мне мои и ваши благодетели. Я уже не говорю о том, что, не дожидаясь результата, меня щедро авансировали, а я человек старой школы, не могу жить в кредит, оттого и корплю над бумагами день и ночь. А просьба у меня такая... Через неделю-две закончится ремонт квартиры на Красина, где вам тоже, кажется, сняли комнату. В общем, необходимо обставить квартиру мебелью.— Прокурор достал нераспечатанную пачку банкнот.— Вот вам деньги. Здесь есть хороший магазин, с выбором импортных гарнитуров. Пожалуйста, вымеряйте квартиру и подберите мебель на ваш вкус в спальню, зал и на кухню. Заодно присмотрите что-нибудь из посуды,— и он протянул Коста пачку.

Коста машинально, по привычке надломил пачку, проверяя, не подложили ли ему «куклу», затем, вспомнив, с кем имеет дело, рассмеялся...

Засмеялся и прокурор, оба поняли жест однозначно. Предложение оказалось для Коста столь неожиданным, что он, кажется, растерялся, хотя и пытался скрыть это.

В первое мгновение Джиоев, похоже, подумал, что прокурор дает ему возможность смыться с этими деньгами и не мешать ему



в чем-то, но тут же отбросил эту мысль, понимал: прокурор знает, что для него, Коста, одна банковская упаковка денег, даже сторублевая, ничего не значит, и он не станет даже мараться.

После ухода своего опекуна Азларханов как-то сразу сник, навалилась усталость, и, если бы в кабинете стоял диван, наверное, прилег бы, пропала охота к бумагам... Хотя он начал вновь регулярно совершать пешие прогулки и ел куда лучше прежнего, чувствовал себя неважно: сердце то и дело напоминало о себе, спасали сверхдефицитные заморские таблетки, которые добывал ему Шубарин, да обычный нитроглицерин постоянно держал в кармане. Прежде чем совершить решающий шаг, следовало окончательно стать в компании своим, но он не чувствовал пока к себе полного доверия ни со стороны старого бухгалтера Кима, ни его давнего друга Христоса Георгади: они постоянно, очень ловко, чего-то недоговаривали ему, а без этого задуманное им дело заходило в тупик, он должен был найти ключи к конструкции шубаринского «айсберга».

Оба старичка, несмотря на преклонный возраст, любили заглянуть в «Лидо», каждый из них еще не прочь был пропустить рюмку-другую хорошего коньячку, да и на кухне в такие дни готовили для них какие-то особые блюда и тонкие закуски. В такие вечера и прокурор вынужден был появляться в «Лидо», строить из себя человека, довольно-го жизнью и своим новым положением. Гуляли широко, к ним за стол, сменяясь, подсаживались разные люди, и ему приходилось терпеть фамильярное отношение незнакомых типов и даже молодых приятелей и приятельниц Икрама Махмудовича, лезущих в подпитии с объятиями. Но более всего его раздражал ресторанный дым — он едва не задыхался в табачных клубах, хотя ради поставленной цели терпел и это.

После ухода Коста прокурор вспомнил: опять не предупредил шефа, что через неделю годовщина смерти Ларисы, пять лет; он собирался поехать на могилу — надо было решить вопрос с машиной и сопровождением. Разговор этот ему не хотелось откладывать, могли возникнуть и неотложные дела, требующие его присутствия. В последнее время ни одно мероприятие не проводилось без согласования или консультации с ним, в отсутствие Шубарина люди часто обращались к нему с неотложными делами, и он никогда не уходил от решения, а по одобрительному отношению хозяина понимал, что пока попадал все время в точку.

Шубарин подписывал бумаги для бухгалтерии, но, увидев в дверях Амирхана Даутовича, отложил их в сторону. Чувствовалось,

что в последнее время он убедил оппонентов в необходимости участия в «синдикате» опытного юриста, и дела подтверждали его стратегию. Шубарин пошутил однажды наедине с прокурором, что если он и дальше так будет огражден за счет умело использованных юридических тонкостей, то вскоре, пожалуй, не ему, а он будет предъявлять счет властям и требовать для себя особого положения в обществе и признания заслуг.

Прокурор напомнил шефу о годовщине, сказал и о поездке. Шубарин как-то очень странно выслушал простейшую просьбу, словно прокурор подслушал его тайную мысль или даже оказался в курсе неких его сиюминутных планов, но, как всегда, очень быстро овладел собой. Юрист уже знал, что в разговоре с Артуром Александровичем следовало ловить его первоначальную реакцию, через мгновение тот опять становился «нечитаемым».

Шубарин вышел из-за стола, что делал в сильном волнении или когда распекал кого-то, прошелся по кабинету.

— Ну и задали вы мне задачу. Я обязан вас предупредить и, если хотите, даже приказать: вам не следует появляться в том городе еще с полгода, однако сегодня я не могу объяснить вам, почему. Поверьте, это в ваших интересах. А что касается даты, я не забыл, и на этот счет уже дана команда. Мы, ваши новые друзья, коллеги по службе, помянем вашу жену вместе с вами. Впрочем, почему вам нежелательно там появляться, я объясню недели через две, а может, даже раньше. Что касается могилы вашей жены, она в порядке. Григоряны, сделавшие такой прекрасный памятник,— дальние родственники нашего Ашота. За могилой хорошо смотрят, и в печальную годовщину она не останется без цветов, пусть ваша душа будет спокойна...

Вернулся к себе в кабинет прокурор крайне озадаченный,— о работе не могло быть и речи, да и нездоровилось что-то. Что крылось за этим предостережением? Каким орудием он был в руках у Шубарина? Что тот еще затеял и почему нежелательно или даже опасно появляться ему в соседнем областном городе, где он долго пробыв прокурором?

Опять у него вопросов оказалось больше, чем ответов.

Он не сомневался, что Шубарин действительно был на прошлой неделе на могиле его жены и, как человек деятельный, наверняка с кем-то договорился о присмотре, оставил деньги. Не сомневался он и в том, что и цветы появятся на могиле в годовщину,

Ж

как обещано, и самые роскошные, а не жалкие жестяные венки от обществности, что увидел он, когда появился в первый раз на кладбище. Почему-то казалось, что умри он сейчас — неожиданно, скоропостижно, от сердечного приступа, — похоронят его Шубарин с Файзиевым с подобающим вниманием и наверняка положат рядом с женой. Не исключено, что братья Григоряны сделают еще один, возможно, даже общий для них с Ларисой, памятник, и для этого найдутся и деньги и время, которого всегда так не хватает этим деловым людям. И поминки справят как положено, и добрые слова какие-нибудь скажут, и на могилу хоть однажды, но заглянут...

## ГЛАВА VII. ИГРА С ВЫБЫВАНИЕМ

Неделя прошла нервозная, напряженная, что сказало на его самочувствии. Дважды среди ночи пришлось вызывать «скорую» — вот где по-настоящему он оценил опеку Коста. В первый раз, когда почувствовал себя плохо, прокурор потянулся к стене и слабо ударил по ней кулаком, так у них было условлено, на всякий случай. Коста появился тут же — как сказали врачи, весьма кстати, вызвал «скорую» и просидел, не отходя от прокурора, до утра, пока не стало лучше. Но к концу недели все как-то образовалось, прокурор чувствовал себя прилично и вышел на работу; об одном жалел — что не может поехать на могилу жены. С Шубариным они больше на эту тему не говорили, и прокурор не допытывался, отчего же нельзя туда ехать; понимал — придет срок, и он узнает.

В пятницу, когда они обедали вдвоем в «Лидо» — это был день смерти Ларисы, — Артур Александрович протянул ему через стол цветную фотографию, сделанную «Полароидом».

— Вот, привезли полчаса назад. Снято сегодня, в девять утра.

На фотографии могила утопала в цветах, не видно было даже кованой ограды, только памятник. На переднем плане — несколько роскошных венков из белых и красных роз. На самом большом, в центре, из одних белых роз, на широкой муаровой ленте значилось: «От управления местной промышленности». На другом можно было прочесть только краткое «От мужа».

Прокурор смотрел на фотографию и чувствовал, как слезы невольно подступают к глазам, а комок в горле мешает говорить.

— Спасибо, — наконец сказал он. — Я очень тронут вашим вниманием, мне даже неловко, что вы проявляете столько заботы обо мне.

— Не стоит благодарности. Я делаю лишь то возможное, что обязан сделать как человек, а теперь уже и как ваш товарищ — ведь моя жизнь, мое благополучие отчасти в ваших руках, мы связаны одним делом, одними целями. — Шубарин подбадривающе хлопнул прокурора по руке. — Впрочем, не будем опережать события. Вечером мы соберемся здесь в закрытом банкетном зале. От вашего имени я пригласил узкий круг близких вам людей. Так что после обеда вы поднимайтесь к себе, отдохните, а в восемь я зайду за вами, и мы спустимся к гостям; надеюсь, сегодня никто не будет опаздывать. — И они распрощались до вечера.

Вернувшись к себе, прокурор вспомнил тот давний августовский день, когда он сидел в здании районной милиции и ждал сообщений от капитана Джураева. Прошло всего шестнадцать часов, как не стало Ларисы, и он с горечью подумал тогда, что к этим шестнадцати он теперь всю жизнь будет прибавлять часы, дни, недели, годы, а теперь вот набежало пятилетие.

Пять лет! Разве мог он предположить, что потеря жены, сама по себе трагедия всей жизни, обернется еще и такими крутыми зигзагами в его личной судьбе. Странно, в свои пятьдесят он после смерти жены реальной своей жизнью воспринимал только эти последние пять лет, остальное виделось как сквозь туман, и он с трудом соотносил себя с теми давними счастливыми днями.

А теперь новый этап жизни, снова навязанный ему, мог продлиться несколько месяцев, от силы полгода, на большее он не рассчитывал; слишком неравны силы, чтобы долго противостоять изощренному Шубарину и его компаньонам. А что дальше? Что ожидает его, когда он сделает последний шаг в задуманном деле, как

М

решил в первый же вечер, в тот давний и недавний вечер, когда пришли вербовать его в полутайный синдикат? Чтобы раскрутить то, с чем он собирался прийти к властям, нужны годы и годы, он-то знал стиль и темпы работы прокуратуры — надеяться, что жизнь подарит ему такой срок, не приходилось. Даже здесь, под неослабным вниманием всесильного Артура Александровича, несмотря на полный комфорт и возможность в любую минуту связаться с профессором в столице, заполучить консультацию, а если надо, и самого профессора (не говоря уже о том, что доступны были лекарства, какие только есть в природе), и то на неделе пришлось дважды вызывать «скорую».

Но о том, что будет после, думать не хотелось... Путь свой он выбрал давно, тридцать лет назад, еще там, на шаткой палубе эсминца, и сейчас, на краю жизни, следовало последние дни свои прожить достойно и до конца исполнить долг.

Ровно без пяти минут восемь раздался стук в дверь, на пороге стоял Шубарин. Прокурор не сомневался, что тот уже провел инспекцию в банкетном зале, отдал последние распоряжения, прежде чем подняться за ним. В той торжественности, с какой отмечали день памяти его жены, Азларханов усмотрел непонятную для себя значительность события в глазах синдиката — похоже, это мероприятие Артур Александрович затеял с какой-то нужной ему целью. Может, ему хотелось собрать людей, редко встречающихся за одним столом? А может, кому-то лишний раз нужно было продемонстрировать единство и, так сказать, благородство стиля своего консорциума? Впрочем, не стоило ломать голову, Шубарин, как всегда, был труднопредсказуем, и все следовало принимать как есть...

Прокурор никогда прежде не заглядывал в банкетный зал, хотя в последние недели почти ежедневно бывал в «Лидо». У двери ресторана их встретил Адик, одетый сегодня несколько торжественнее, чем обычно, он и провел их в зал. Как только они вошли в ярко освещенную комнату, собравшиеся, не сговариваясь, поднялись из-за стола, словно отдавая дань торжественности и скорбности момента. Прокурора удивил состав собравшихся за столом: кроме Кима и Георгиади, оказались тут и Адыл Шарипович, братья Григоряны. Сидели за столом и Ашот рядом с Коста, и еще несколько неизвестных прокурору людей — одни мужчины.

Проходя на указанное Адиком место, Амирхан Даутович увидел на стене большую цветную фотографию жены, наверное, перснятую из первого альбома,— она улыбалась на фоне медресе

в Куня-Ургенче,— снимок этот очень нравился самой Ларисе. Угол фотографии перехватывала черная муаровая лента с датами рождения и смерти. О скорбном дне напоминало и множество роз, все только белые; высокие хрустальные вазы под цветами, наверняка доставленные на время из магазина, тоже были перетянуты черными лентами, завязанными в кокетливые банты.

Шубарин, деловито поправлявший цветы в напольных вазах у входа, сел на свое место последним; во главе стола, слева от него, оказался прокурор, справа Икрам. За время общения с шефом прокурор привык к хорошо сервированным столам, но этот удивлял роскошью, чувствовалось, что Файзиев перетряс не одну спецбазу; ножи-вилки-бокалы вряд ли были казенные: опять же, наверное, зам постарался, то ли из дома привез, а может, и с какой-нибудь обкомовской дачи или резиденции позаимствовал на время. Прокурор как-то слышал за обедом, что Георгади, как человек европейского воспитания, предпочитает столовое серебро и тяжелый голубой хрусталь — может, добро из его запасников? И все это организовано в память Ларисы? Зачем ей было бы все это?..

Сидели как на больших приемах — свободно, громадный стол позволял, и от этого создавалось ощущение официальности, строгости — впрочем, как давно заметил прокурор, некая чопорность была в духе Шубарина, а он и правил бал. Имел Артур Александрович слабость, может, опять же наследственную, или, скорее, русскую: любил застолья, любил угощать, принимать гостей, хотя бражником не был.

Адику сегодня помогли еще два официанта, и по какому-то неуловимому знаку шефа они быстро разлили водку и коньяк, вероятно, знали, кто чему отдает предпочтение.

Шубарин встал и попросил минутой молчания почтить память той, ради которой они сегодня здесь собрались. Потом стал говорить о Ларисе Павловне, наверное, адресуясь прежде всего к тем нескольким мужчинам за столом, что были не знакомы прокурору. Говорил долго — он действительно знал о ней немало... Упомянул события, подзабытые и самим прокурором. Память незаметно унесла прокурора в минувшие счастливые дни, и он перестал слушать хозяина стола. Он не отрывал глаз от портрета жены, висевшего прямо над головой Коста... Мелькнула мысль, что ведь это первые многолюдные поминки Ларисы — все прошлые годы он поминал ее один, и годы выпадали один безрадостнее другого, единственным утешением ему служило то, что успел, не оставил ее могилу безымянной.



Прокурор благодарным взглядом потянулся к Григорьянам, поставившим памятник Ларисе,— братья внимательно слушали эмоциональную речь. И когда все подняли рюмки, Азларханов тоже выпил коньяку. Потом слово взял прокурор Хаитов — он говорил о трагической судьбе Ларисы, которую хорошо знал, говорил о нелегкой доле, выпавшей его другу, о том, с каким мужским достоинством нес он свой крест. Слушая эти речи, прокурор вдруг ощутил, какой волшебной магией обладает целенаправленное, страстное слово... Скажи сейчас Шубарин, что нужно тут же встать и пойти врукопашную на Бекходжаевых, вряд ли кто уклонился бы, не говоря уже о том, чтобы усомниться душой в необходимости такого шага. Какой дух братства, единства, жертвенности витал над столом! И создал эту атмосферу Шубарин. Собираясь на поминки, прокурор никак не предполагал, что увидит такое сострадание своему горю, услышит столько искренних слов сочувствия, взволнованные заверения в том, что он всегда может положиться на них, сидящих за столом, в борьбе со своими недругами, сгубившими его жену. Не рассчитывал он и выпить более одной-двух рюмок армянского коньяка «Ахтамар», но как можно было отказаться, если обращались к тебе с такими трогательными словами и заверениями?

Взволнованные речи не мешали бесшумным официантам без устали сновать взад-вперед, меняя холодные закуски на горячие, одни деликатесы на другие, выставляя все новые и новые батареи охлажденного боржоми. Принесли и первое горячее — плов из перепелок, который, как объявил Файзиев, он приготовил по такому случаю сам. Постепенно в банкетном зале становилось все более шумно, к плову появились за столом новые лица. Шубарин, державший все под контролем, глазами отдавал распоряжения все понимающему Адиду, не забывал ухаживать за соседом, замечая, что тот время от времени как будто выпадает из компании, проваливаясь памятью в прошлое. Подкладывал прокурору закуски, потчевал, как хлебосольный хозяин: попробуйте — это миноги, или вот этот особый салат из молодого папоротника, его регулярно присылают бухгалтеру с Камчатки, или шампиньоны, приготовленные по давнему греческому рецепту, хранящемуся в семье Георгади.

На улице давно стемнело, и в распахнутые настежь окна банкетного зала врвался свежий ветерок. Наступало время его каждодневной прогулки, но уйти из-за стола было неудобно, хотя прокурору

как никогда хотелось сейчас побыть одному. И вдруг, в который уже раз словно читая его мысли, Артур Александрович, наклонившись, тихо предложил:

— Не хотите ли выйти на свежий воздух? Здесь уже накурили не меньше, чем в зале.

Не дожидаясь ответа, Шубарин встал, и Азларханов последовал за ним.

— Давайте пройдемся вашим маршрутом,— сказал шеф,— подышим. Может, нагуляем аппетит — еще предстоит отведать какие-то особенные манты и самсу, начиненную рублеными ребрышками из баранины. Привезли из кишлака какого-то чародея по этой части, вы ведь знаете, Файзиев у нас гурман, и вкус у него отменный. Ему бы еще такой вкус в делах проявлять, цены бы не было.

Прокурор понимал, нужно как-то поблагодарить и за цветы на могиле Ларисы, и за вечер памяти, так прекрасно организованный, и за добрые слова о ней, но что-то сдерживало, мешало ему говорить.

Шубарин сам прервал затянувшееся молчание.

— Я знаю, что на поминки не принято делать подарки, сюрпризы, но все же не удержусь от возможности сообщить одну приятную для вас новость именно в этот горестный день. Я буду рад, если известие утешит вас и отчасти вернет утерянный душевный покой.

Прокурор почувствовал, что сейчас Шубарин скажет что-то важное, и не ошибся.

— Сегодня, в день памяти Ларисы Павловны, хоронили убийцу вашей жены, прокурора Анвара Бекходжаева...

— Вы не ошиблись? — спросил тревожно прокурор.

— Разве я до сих пор давал вам повод сомневаться в своих словах? — в свою очередь спросил Шубарин.— Его убили вчера вечером, и я даже знаю — кто.

— И кто же? — Голос прокурора дрогнул, хотя он и попытался скрыть свое волнение и охвативший его неожиданно страх.

— Вот этот молодой человек,— и шеф протянул снимок побледневшему Азларханову.

На черно-белой фотографии крупным планом был заснят сам прокурор, а рядом с ним прилепился невзрачного вида молодой человек с короткой стрижкой. Сколько он ни вглядывался в снимок, сделанный в зале «Лидо»,— человек с раскосыми глазами на тонком бледном лице с крупным ртом, портившим симметрию лица, был ему не знаком. Он не мог припомнить его, а фотография была настоящая,



не монтаж, скорее всего незнакомец присел рядом с ним на секунду по сценарию и по приказу Шубарина в один из вечеров, когда прокурор спускался выпить свой чайничек чая.

— И кто же это? — спросил уже спокойнее прокурор.

— Не узнали? Странно. Это же ваш старый знакомый, отбывающий срок за убийство вашей жены, а, точнее, за своего друга, Анвара Бекходжаева...

Прокурор еще раз внимательно посмотрел на фотографию.

— Возмужал, не узнать... Хищный какой-то, я запомнил его почти мальчишкой...

— Пять лет все-таки прошло, выжил, заматерел, настоящий волк, он еще дел наворотит. Я ведь уже говорил вам: зло рождает только зло... — прокомментировал Шубарин.

Слушая шефа, прокурор вдруг вздрогнул от неожиданной догадки: он понял ход Шубарина — для того и фотография на всякий случай. Вот оно, дело, которым тот решил повязать его на всю жизнь. Теперь Шубарин не сомневается, что прокурор у него на привязи, и крепко — даже мысли вильнуть в сторону не может возникнуть — вместе до гробовой доски. Старый, как мир, прием уголовников — привязать кровью, мокрым делом, то есть убийством. И если что, Азат Худайкулов, приведись ему отвечать за содеянное, скажет, что нанял его прокурор, чтобы отомстить за свою жену.

— За что же он своего друга так?.. Ведь росли вместе, говорят, он у того в адъютантах ходил чуть не с пеленок?

— Было, да былдем поросло. Разошлись далеко детские дорожки, в разные стороны, оттого и месть крутая. Не сдержали Бекходжаевы свое слово... На первых порах помогали, посылки регулярно присылали, навевывались, матери его больной оказывали всяческое содействие. А потом подустали, видно — мало кто выдерживает испытание временем — в обузу стали Худайкуловы. Мать умерла, а перед смертью написала горестное письмо сыну и обвинила в своих бедах Бекходжаевых. Каково в тюрьме получить такое письмо от матери, зная, что ты отбываешь срок за них? И стал он жить одной мыслью, одной-единственной надеждой: отомстить своему вероломному другу — других желаний, насколько мне известно, у него в жизни нет. И подогревали его, конечно, дружки по тюрьме, тем более узнав, что вероломный товарищ к тому же стал прокурором, злым, невежественным, свирепствующим, задушил поборами всех вокруг. Ведь в тюрьму, как ни парадоксально,

сведения доходят быстро и в большом объеме, и о реальной жизни там знают получше, чем в райкоме. Так что он жил, моля Аллаха, чтобы не убили его врага другие, потому что год назад узнал, что есть люди, и весьма серьезные, которые уже приговорили к смерти прокурора Бекходжаева. А в той среде, где это было сказано и в которой Азат теперь не последний человек, словами на ветер не бросаются, это не профсоюзное собрание, отвечать приходится, — репутация в уголовной среде дороже жизни.

— Одно дело желать, другое выполнить. Ему удалось бежать из колонии?

— Не совсем так. Когда я узнал вашу историю, а затем историю этого несчастного молодого человека, пострадавшего, как и вы, я понял, что ваши интересы совпадают. А для себя я посчитал весьма благородным поступком, если смогу помочь восстановить, хоть и запоздало, справедливость. Я попросил доставить Азата в «Лас-Вегас» на несколько часов, тогда и засняли его в ресторане. Я хотел поговорить с ним, понять, насколько серьезны его намерения, что он за человек, можно ли положиться на него. В тюрьме он прошел большую школу, рассуждал вполне здраво, а намерения его были серьезные, дальше некуда. Я обещал ему помочь, обговорив кое-какие условия, — он принял их.

— Вы помогли ему бежать? — нетерпеливо спросил прокурор.

— Нет, зачем же, побега я ему не обещал.

— Как же тогда удалось ему совершить свою месть?

— Ну, это несложно. Если ваш знакомый полковник Иргашев мог воспользоваться услугами Коста, так почему я не мог взять Азата из колонии всего на несколько часов. Люди Ашота, хорошо изучив привычки Бекходжаева, разработали план, и Азату преподнесли все на блюдечке с голубой каемочкой, вся операция заняла пять минут.

— Значит, раскрыть это преступление будет непросто и есть гарантии безопасности? — уточнил Азларханов на всякий случай.

— Трудный вопрос, особенно насчет гарантий. Я не знаю, как раскрываются у нас преступления, но то, что осужденный через три часа вернулся на место, в тюрьму, это точно. А при его нынешнем опыте жизни брать на себя еще одно убийство, теперь, правда, свое, — безумие, тем более он знает, что, когда выйдет, получит помощь не от Бекходжаевых, а от меня. А о том, что я слов на ветер не бросаю, он знает, убедился в моих возможностях. Гарантии скорее в другом; помните, я говорил: нам неважно, кто нанесет



удар врагу, мы не тщеславны, нам важен результат. Я упоминал, что Анвара Бекходжаева уже давно приговорили, и он об этом знал, знали и в прокуратуре. Впрочем, многие хотели бы посчитаться с ним, и не только уголовники и дельцы, ему и за его донжуанство давно обещали оторвать голову — вы же знаете, в районах на этот счет строго, а он и тут плевал на понятия чести и морали своего народа. Так что поле деятельности у следователей и без нас широкое; если надо будет, подбросим и другие варианты, там есть кому держать под контролем ход расследования. Свести счета и дурак сумеет, а вот жить и радоваться назло врагам не каждому удастся. В конце концов, Азат у нас в руках еще лет пять... — закончил, как всегда, неопределенно Шубарин.

Они ушли далеко, занятые разговором, почти до старой махалли Допидуз, и, когда возвращались обратно, наткнулись на спешившего навстречу Коста.

— Я от общества, вас ждут к столу. Ким с Георгади хотели бы уехать домой, — сказал Коста, обращаясь к шефу.

— Скажи, мы будем через пять минут, — ответил Шубарин, и Коста в мгновение ока растворился в темноте.

Когда они снова вошли в банкетный зал, прокурор заметил, что поминки превратились в очередную гулянку — прибавилось, и заметно, новых лиц; но стоило появиться Артуру Александровичу, как шум, гам, смех моментально стихли, и все чинно заняли места за столом. Внесли ляганы с обещанными особенными мантами — обложенные зеленью, посыпанные красным корейским перцем, смотрелись они аппетитно, и все взгляды дружно потянулись к тамаде. Но вдруг поднялся один из тех незнакомых мужчин, что находились в компании с самого начала. Все за столом, как понял прокурор, делалось только с ведома Шубарина, значит, настал черед и для этого человека. Говорил он тоже долго и не менее искусно, чем другие, и хотя он старался придерживаться темы, то есть поминок незнакомой ему Ларисы Павловны, он то и дело ловко съезжал на другое, ради чего, наверное, и был приглашен сюда. Он говорил о том, что удостоился большой чести разделить горе, выпавшее на долю большого друга его давних друзей, и он готов служить верой и правдой таким людям, для которых горе ближнего воспринимается как свое.

Говоря, он все поглядывал на Шубарина, как тот воспринимает сказанное. Делал он это, на свой взгляд, ловко, осторожно,

но ему мешало выпитое, и прокурор ясно понимал, что сегодня шеф вербовал в свою вотчину еще одного влиятельного человека, поражая его богатством стола, а главное, щедрым вниманием к своему ближнему.

Слушая после прогулки говоривших, Азларханов пытался определить, кому еще известна новость, которую сообщил ему Шубарин, но установить это было непросто. Конечно, Файзиев знал, потому что слишком внимательно глянул на прокурора, когда они вернулись, и, поднимая рюмку, кивнул с намеком, словно поздравляя его.

Наверное, застолье продолжалось бы до глубокой ночи, потому что на столе и выпить и закусить было более чем предостаточно, но засобирались домой Ким и Георгади, и шеф вместе с Ашотом поехали развезти стариков по домам. Это и послужило сигналом к завершению, и не догулявшие стали переходить в большой зал, где оркестр наяривал жизнерадостные ритмы.

Вскоре за столом остались только прокурор и Икрам, да чуть поодаль Коста с аппетитом доедал самсу. Наверное, заму хотелось что-то сказать юрисконсульту, и он сделал знак Коста. Тот быстро оставил банкетный зал, вместе с ним ушли и официанты. Прокурор, вроде не заметив жеста Икрама Махмудовича, пересел поближе к Файзиеву и налил коньяку ему и себе — он хотел сам завести нужный разговор, у него созрел кое-какой план.

— Давайте выпьем за здоровье моего самого ценного друга, все-сильного Артура Александровича. Отныне я ему обязан по гроб жизни и буду служить верой и правдой до последнего дыхания.

Файзиев как-то странно посмотрел на него:

— За него выпью с удовольствием, — и опрокинул рюмку коньяка залпом, как пьют водку. — А вот с тем, чтобы считать себя обязанным ему до гробовой доски... По-моему, вы в этом несколько переусердствовали.

— Да вы же не знаете, — сказал с притворным возмущением прокурор. — Он... он отомстил за смерть Ларисы и снял с моей души такой камень... Мне теперь от жизни ничего не надо, справедливость восторжествовала, зло наказано.

— Почему же не знаю? — усмехнулся Файзиев. — Знаю. Вы зря недооцениваете меня, в этом деле, я считаю, есть и моя заслуга: к тюрьме нашел подходы именно я.

— Спасибо и вам... — благодарно закивал прокурор.



— Дело не во мне,— нетерпеливо отмахнулся зам.— Устроил это Шубарин вовсе не ради вас и уж тем более не ради торжества справедливости, как он обычно любит представлять свои затеи,— он далеко не Робин Гуд, каким хотел бы выглядеть.

— Тогда ничего не понимаю...— Азларханов изобразил на лице недоумение.— Зачем же ему тогда так рисковать? Убийство прокурора все-таки...

— Вот с этого вопроса и надо было начинать,— назидательно объявил Икрам. Наверное, он решил, что именно сейчас ему представляется шанс перетянуть юриста на свою сторону.— Дело в том, что пять лет назад, когда вы еще были прокурором, он уже имел интересы в вашей области. Сначала, правда, незначительные. Но вы ведь изучили его хватку, аппетиты, ему только палец покажи, он всю руку отхватит. Знаете, как его в Москве называют? Японец! Потому что ему удается наладить даже то производство, что всегда прогорает и считается нерентабельным. Он действительно толковый инженер, а как финансист и предприниматель — просто гений. Сколько раз мы выручали прогоревших коллег, выкупая у них оборудование и сырье, разумеется, за бесценок, и налаживали дело так, что вокруг только диву давались. Уметь поставить на поток — главное наше дело.

Файзиев опрокинул рюмку коньяка, словно у него пересохло в горле.

— Тогда он полагал, что обоснуется в вашей области навсегда, там будет у него резиденция. Много он своих денег вложил туда, и дела у него пошли не хуже, чем здесь, и покровители у него были там,— кто бы вы думали? Разумеется, Бекходжаевы... Наверное, помогая ему развернуться, они и не предполагали, какой золотосной курочкой окажется дело Шубарина — деньги потекли рекой. Но Бекходжаевы не учли одного: Шубарин согласен делиться и кормить многих, но хозяином дела и денег он считает только себя. Короче, нашла коса на камень. Тогда он еще не имел власти над преступным миром, как сейчас, иначе он бы живо поставил их на место. Бекходжаевы через нового прокурора области, давнего своего друга, обложили Шубарина со всех сторон, и он вынужден был оставить налаженное дело, личное оборудование, станки и ретироваться из области, даже не выбрав паи. Я знаю людей, которые видели, как лютовал тогда Японец. Нет, не о потерянных деньгах жалел — он не мог простить предательства, коварства, не смог снести позора и унижения — он поклялся тогда, что Бекходжаевы заплатят ему за это только

кровью. Вот и подкараулил свой час, да так расправился, что комар носа не подточит. Я уверен, что пройдет какое-то время, и он пошлет к Бекходжаевым их старого знакомого Коста и предъявит ультиматум, чтобы вернули ему то, что он вложил, да еще и прибыль за все годы,— я знаю, такие расчеты старики Ким и Георгади давно уже подготовили. А если не вернут — а сумма перевалила за миллион,— будет убит следующий Бекходжаев, и так до тех пор, пока не добьется своего, он безжалостный человек...

— Страшный человек! — невольно вырвалось у прокурора.

— Настоящий мафиози,— согласился Файзиев.— Не зря боится его прокурор Хаитов. И знаете, любимый фильм у него «Крестный отец», он его каждый месяц смотрит. Мне кажется, он и у них, в Италии или Америке, все быстро к рукам прибрал бы. А теперь и вас в это дело впутал...— Он вдруг осекся, поняв, что сказал лишнее, и громко позвал Адика, попросив чайник чая.

Разговор сразу как-то разладился, и прокурор понял: Икрам почувствовал, что упустил шанс перетянуть его в свой лагерь, хотя нынче вроде, как никогда, был близок к этому.

Вот-вот мог вернуться Шубарин, но Азларханов сегодня уже не желал ни с кем общаться, слишком серьезный оборот принимали события. Не хотелось ему и оставлять Файзиева без надежд, кто знает, к кому придется вдруг обращаться за помощью, чтобы уцелеть, поэтому он сказал:

— Я признателен вам — вы на многое открыли мне глаза. Но я вынужден все перепроверить и взвесить свое положение, разумеется, не затрагивая ваших интересов,— вы ведь сами сказали, что шеф безжалостный человек. Я думаю, мы с вами еще продолжим сегодняшний разговор и проясним свои отношения на будущее...

И, оставив зама переваривать сказанное, прокурор поднялся из-за стола и направился в конец зала, где висел портрет жены. Осторожно сняв застекленную фотографию, он вышел с нею в узкий коридор, что вел прямо в гостиницу.

— Пауки! — вырвалось у него вслух, едва он закрыл дверь своего номера.

Он понимал: не обладай Шубарин властью и не имей за плечами опыт поражения, семейство Файзиевых и дня не церемонилось бы с ним, и так же, как Бекходжаевы, попытались бы все прибрать к рукам; но теперь Японец был учен и всегда начеку, оттого и не во всем доверял своему заму.



А может, убийство Анвара Бекходжаева заодно и предупреждение семейке Файзиевых? Не мог не догадаться столь проницательный человек, как Шубарин, на что нацелилось окружение Икрама Махмудовича. Опять возникали вопросы и вопросы, и главный: почему вдруг осекся Файзиев, сказав: «Вот и вас втянул в дело...»? Что крылось за этим? Во что еще втягивает его Японец?

Прокурор догадывался и о том, в какую зависимость попал к нему теперь сам Файзиев: стоило ему только намекнуть Шубарину о разговоре в пустом банкетном зале, и жизнь того не стоила бы и ломаного гроша.

Вдруг его взгляд упал на фотографию жены, и мысли о главарях тайного синдиката, наемных убийцах и мерзавцах прокурорах улетучились сами собой — сегодня день Ларисы, и кощунственно думать о другом, даже если это самые неотложные дела. Он снял со стены блеклую репродукцию и повесил на ее место фотографию, убрав траурную ленту.

«Благословила бы меня Лариса на то, что я задумал, будь жива, зная, какому риску я себя подвергаю?» И, вспомнив давние дни и споры с ней о законе и праве — она точно так же интересовалась его работой, как он ее керамикой,— ответил себе утвердительно. Лариса понимала, чему посвятил жизнь ее муж, и слово «долг» было для нее не пустым звуком, потому что выросла она в среде русской интеллигенции. И опять мысли его закружились вокруг понятий «честь», «достоинство», «долг», и, размышляя об этом, он неожиданно наткнулся на парадоксальное открытие: хоть он обладал большой властью — и не один год, ему ни разу не пришлось принимать такое ответственное решение или совершать поступок, равный тому, который предстоял ему теперь. И вдруг, только сегодня, сейчас, в день годовщины смерти жены, он понял, что внутренне никогда не слагал с себя полномочий прокурора — от этой мысли стало как-то спокойнее на душе, исчез страх, сидевший в нем, как гвоздь, весь вечер.

## 2

Прошло две недели... Прокурор ни разу не виделся с Шубариным после поминок Ларисы,— в ту же ночь шефа поднял поздний звонок из Москвы, и он срочно улетел в столицу. Две эти недели Азларханов провел с большой пользой для себя, понимая, что времени у него

в обрез: много занимался делами, подготовил несколько документов, которые наверняка обрадуют Шубарина, а главное, он понял из бумаг некоторые принципы непотопляемого «айсберга». Хитрый трюк финансовых мошенников преклонного возраста Кима и Георгади и их главаря Японца состоял в том, что они организовали немало предприятий на стыке двух областей или двух районов, с одним и тем же штатом: по одну сторону границы существовало реальное, по другую фиктивное производство, как тот армянский авторемзавод, о котором рассказывал шеф,— это давало большие возможности манипулировать финансами и сырьем, вроде как обходясь без мертвых душ и без откровенного подлога. Вычислил прокурор и несколько банков, откуда слишком щедро снабжали их чековыми книжками на крупные суммы, которые без труда обналичивались; через эти банки они наверняка получали деньги, «заработанные» и по другим каналам.

Прежде чем отдать Коста пачку сторублевок, прокурор отметил в записной книжке банковский штамп и, выйдя по документам на этот же банк, утвердился в своей мысли, что именно там приберегали для «синдиката» крупные купюры. И пачки денег — сторублевыми купюрами из этого же банка — наверняка хранятся в тайниках у первого секретаря Бухарского обкома партии, главного покровителя и друга Шубарина: вряд ли тот доверял такие суммы сберкассе.

...Вернулся из Москвы Шубарин днем и первым делом заглянул в кабинет юрисконсульта.

— Рад вас видеть в добром здравии,— едва переступив порог, сказал он, радушно улыбаясь.— Надеюсь, вы не подумали, что в такой сложный момент я бросил вас? Я наказал Коста до моего возвращения особо тщательно охранять вас и через день звонил ему, не замечает ли он чего-нибудь подозрительного вокруг вас. Слава богу, никаких происшествий. Но теперь я рядом с вами, и душа моя спокойна, я не люблю удаляться от своих дел, даже если имею хороших помощников. Но дела есть дела, и есть люди, которым я не могу отказать в помощи, если они попали в беду. Вот почему пришлось срочно отправиться в Москву: решил и свои, и чужие проблемы. Как служебные успехи?

Юрист молча пододвинул к нему красную папку с оттиском: «На подпись».

Шубарин быстро пробежал глазами все четыре документа и тут же дал им оценку, правда, пытаясь придать сказанному шуточный тон:



— Каждый из этих циркуляров вы могли продавать мне поштучно, и сколько бы я ни заплатил, думаю, что не прогадал бы.— Вспомнив что-то, добавил: — А у меня для вас тоже припасены подарки,— и открыл кейс, вроде того, что прокурор некогда видел в руках у Коста.— Это швейцарские часы «Патек Филипп», надеюсь, они вам понравятся — солиднее не бывает, золотые, с платиновым циферблатом и стрелками. Многофункциональная счетная машинка «Кассио» — она необходима вам в работе. И еще — маленький диктофон «Шарп» — можете наговаривать текст для машинистки у себя в кабинете, я вижу, она раздражает вас своей медлительностью.

Прокурор раскрыл коробку с часами, они и в самом деле оказались великолепными — массивные, с сапфировым стеклом.

— Ну, теперь мне будет завидовать сам Коста,— пошутил юрис-консульт. Но Шубарин покачал головой:

— Нет, не должен, ему я тоже привез прекрасные часы в подарок — «Юлисс Нардан». Коста и для меня, и для вас очень нужный человек, он долгое время был у Бекходжаевых доверенным лицом, и мы нанесем им с его помощью еще один сокрушительный удар.

Узнав о приезде хозяина, с третьего этажа спустился Икрам. Увидев в руках у юриста коробку с часами, он совсем не солидно, по-мальчишески обиженно спросил:

— А мне?

Шубарин в ответ рассмеялся — он, видимо, был в хорошем настроении — и, приобняв Файзиева, сказал:

— А тебе подарок посерьезнее: я решил твой вопрос с белым «мерседесом», посылай человека, пусть пригоняют. Машина Санобар, которой ты завидуешь, просто колымага по сравнению с этой моделью: обивка из мягкой красной кожи, белые, из ламы, чехлы, кондиционер, бар... двести сорок лошадиных сил!

Файзиев взвизгнул от радости и пустился плясать посреди кабинета, и в этот момент вошли Ким и Георгади, неразлучные, словно сиамские близнецы, старики.

Подарки открыто лежали на столе, юрист не пытался их убрать, и не ясно было, доволен он ими или нет. Стало шумно, и шеф, незаметно озорно подмигнув юристу, увел незваных гостей в свой кабинет.

Прокурор и после ухода Шубарина долго не убирал со стола дорогие презенты из Москвы — нет, он не любовался ими, хотя они не вызывали в нем и неприязни, он просто был равнодушен

к ним; все эти страсти с модными тряпками и престижными вещами прошли как-то мимо него и Ларисы. Он думал о том, сколько есть путей и способов подкупа: деньгами, должностью, женщиной, машиной, модной одеждой, редкой книгой, дачей, антиквариатом, драгоценностями, спортивным снаряжением... Наверное, существует целая наука, которой в совершенстве владел Артур Александрович, он-то знал, как к кому подступиться: старому и молодому, мужчине и женщине, богатому и бедному, жадному и моту, трезвеннику и пьянице, лодырю и трудяге...

Да, внимательный, тонкий человек Шубарин.

Прокурор вспомнил две прошедшие недели. Догляд за ним Коста в это время действительно был особо тщательным, хотя тот ни о какой опасности не говорил, не предупреждал и даже не намекал, видимо, чтобы не беспокоить. Но несколько раз, выходя в гостиничный коридор, он встречал там Коста, неизменно собранного, улыбчивого, учтивого. Значит, существовала какая-то опасность, которой остерегался Шубарин? От кого она должна была исходить? От Бекходжаевых? А может, его изолировали от человека, который хотел передать ему особо важную информацию? Тогда кто же он? Не прокурор ли Адыл Хаитов? С ним ведь они так толком и не поговорили, и на поминках Ларисы им не дали возможности и минуты побыть вместе. Прокручивая в памяти вечер в банкетном зале, он почувствовал, что, кажется, Хаитов действительно порывался что-то сказать ему, а может, даже и что-то передать. О чем бы поведал ему старый знакомый, дольше других сопротивлявшийся системе Шубарина? Надо как-нибудь связаться или встретиться с ним, решил прокурор. Может, Хаитов так же, как и он, вступил в контакт с Шубариным с единственной целью — нанести в конце концов ему удар? Этот вариант следовало продумать и проанализировать особо тщательно, он чувствовал страх прокурора перед Шубариным. Да, такой союзник, обладающий официальной властью, ему не мешал бы, но пока приходилось рассчитывать только на свои силы.

В конце рабочего дня Шубарин зашел к юристу еще раз.

— Поужинаем вместе по случаю моего приезда и обмоем «Патек Филипп», чтобы носились? — предложил он и, по привычке не дожидаясь ответа, продолжал: — Я привез кое-что из Москвы: ваше любимое баночное пиво «Хейнекен» и к нему краба свежемороженого килограммов на пять. Икрам уже отправился в «Лидо» распорядиться насчет ужина. И старики наши на краба придут... Посидим, я люблю



видеть своих людей рядом, и лучше всего — за накрытым столом. Это объединяет, дает чувство семьи.— Внимательнее всмотревшись в осунувшееся лицо юриста, сказал неожиданно: — Что-то вы неважно выглядите, прокурор, вас гнетет наш самосуд? Но другого способа мести я, к сожалению, не знаю. У вас, мне кажется, психологический шок — это бывает, бывало и со мной вначале, надо привыкать — большое дело требует крепких нервов. А впрочем, может, вам стоит развеяться, сменить обстановку на две-три недели, попутно и хорошим врачам показаться? Кстати, через неделю Гольдберг, наш заведующий цехом овчинно-шубных изделий, едет в Москву, — как обычно, снимать мерки с нужных людей для дубленок. Не составить ли вам ему компанию? Он заодно и представит вас своим клиентам, многим мы уже не первую дубленку шьем. Побудете в Москве, вы ведь там учились, тряхнете стариной. Вам забронируют прекрасный номер в гостинице «Советская», будет закреплена частная машина. Правда, Яков Наумович ездит только поездами, самолеты не переносит, но двухместное купе в вагоне «СВ» вам обеспечат. Настоящее путешествие, три дня у вагонного окна! Ну как? Соблазнил?

— А что, прекрасная идея,— оживился юрист. И впрямь разрядка и отдых ему сейчас не помешали бы. Надо многое обдумать, но без посторонних всевидящих глаз.— Признаться, я напуган каким-то предчувствием беды, плохо сплю, и, если бы не присутствие Коста рядом, наверное, издергался бы совсем. Конечно, если Гольдберг не возражает, я с удовольствием составлю ему компанию, я уже давно не был в Москве...

— А почему он должен возражать? Надеюсь, вы приятно проведете время в дороге и в столице. Кстати, Яков Наумович в свое время закончил философский факультет МГУ, образованнейший человек, я с удовольствием бываю у него дома. Убежден, у него одна из лучших частных библиотек в Ташкенте, такие раритеты имеются... Ну, вот и отлично, что договорились. В дорогу вам все подготовят, только одна просьба...— Шубарин заговорщически понизил голос: — Никому, даже Икраму Махмудовичу, о поездке ни слова. Я объявлю о командировке вечером накануне отъезда. И еще личная просьба, чуть не забыл, если вас не затруднит.— Он вынул из верхнего кармашка пиджака чью-то визитную карточку.— Пожалуйста, запишите: Кравцов Николай Федорович, рабочий телефон... Вы учились с ним в аспирантуре в одной группе. Неплохо бы возобновить контакты, а через него и с другими товарищами по курсу. Англичане

говорят: школьный галстук объединяет крепче родственных связей. Устройте ужин в хорошем ресторане, денег не жалейте... Пока никаких конкретных задач — возобновите контакты, а там видно будет.

После ухода шефа, осмысливая неожиданное предложение, прокурор отметил обдуманность действий Шубарина, слишком он поспешил навязать ему телефон Кравцова, это-то и выдало его с головой. Наконец-то он разгадал наперед ход Шубарина, это обрадовало прокурора куда больше, чем подарки из Москвы.

Вечером за ужином в «Лидо» он, улучив момент, спросил у Шубарина, а как же быть с новосельем, которое намечалось через неделю. Артур Александрович, показав на стол, ответил с улыбкой: вот вернетесь из Москвы, навезете вкусной еды, как я сегодня, тогда и справим новоселье. На том и порешили. Шубарин, глянув на календарь в записной книжке, объявил всем дату новоселья на Красина, пришлось она на последнюю субботу октября.

### 3

Две недели с небольшим, что они пробыли в Москве, выпали дождливые, слякотные. С Яковом Наумовичем, как и предсказывал Шубарин, он сдружился еще в дороге — три дня по нынешним меркам все же срок немалый. В двухместном купе фирменного поезда «Узбекистан» они вели долгие, неспешные беседы обо всем, но ни разу не касались ни дел, что оставили дома, ни тех, что ждали их в Москве. Прокурор не форсировал события, а Гольдберг наверняка не хотел выглядеть болтливым, подозревая, что его вагонный попутчик важный для Японца человек в деле, хотя уже прошел и неясный слух среди артельщиков, что вроде не Шубарин с Файзиевым настоящие хозяева, а Азларханов стоит за всем, и называлась астрономическая сумма пая, которым якобы он владеет. Гольдберг знал Шубарина много лет и в такой расклад, конечно, не верил, но как человек осторожный, повидавший на своем веку немало, иногда думал: чем черт не шутит, и потому сам о делах не заговаривал. Они подолгу молча стояли на закате дня в коридоре у окна, вглядываясь в скупой пейзаж казахских степей. Прокурор одолевал этот путь впервые; а Гольдбергу дорога была известна до мелочей: он знал, где и что выносят к поездам, и оттого деловая поездка напоминала путешествие, с прогулками на перронах степных городов, наполовину состоявших



из вросших в землю мазанок, с непривычными для уха названиями: Шубаркубук, Челкар, Чиили, Кзыл-Орда, Арысь...

Яков Наумович помнил столицу пятидесятых годов, когда учился в МГУ, помнил первый Всемирный фестиваль молодежи пятьдесят седьмого года, первый Московский кинофестиваль, приезд Симоны Синьоре и Ива Монтана, Жерара Филипа, впрочем, тогда многое было впервые. Москва, воспоминания о ней, наверное, более всего сблизили этих двух немолодых людей...

Иногда за неспешным ужином в купе прокурору хотелось спросить Якова Наумовича, почему он с таким образованием, со знанием двух иностранных языков оказался далеко от Москвы в овчинно-шубном цехе, но каждый раз понимал, что не следует этого делать. Скорее всего, он услышал бы историю не более веселую, чем свою. Но как бы ни был приятен в общении Гольдберг, прокурор не забывал о своих целях: ему неожиданно выпал шанс выявить в Москве круг должностных лиц, сотрудничающих легально и нелегально с Шубариным, и всех этих людей, или большинство из них, хорошо знал Яков Наумович. Если бы, не вызывая у него подозрений, удалось заполучить информацию об этих людях! Оттого, когда им в гостинице «Советская» дали два отдельных номера, он предложил Гольдбергу взять двойной «люкс», мотивируя тем, что в последнее время из-за сердца боится оставаться один. Предложение Гольдберг понял как приказ, и они поселились вместе; впрочем, трехкомнатный номер, в который он попал впервые, понравился ему куда больше, чем однокомнатный «люкс», что занимал он всякий раз, бывая в Москве.

Имелся у прокурора и кое-какой план, который он продумал в дороге, под мерный стук колес. Во время ужина в ресторане гостиницы на месте бывшего «Яра», где некогда сживал еще дед Шубарина, он сказал небрежно:

— Я очень давно не был в Москве и не хотел бы тратить время на знакомство со всеми, с кого вы должны снять мерку. Пожалуйста, подготовьте список, на ваш взгляд, самых влиятельных людей, кому я должен нанести визит, сопровождая вас, а остальным временем я распоряжусь по своему усмотрению, тем более что мне дали и конкретное задание.

— Как пожелаете,— ответил Гольдберг.— Хозяин — барин, я вам не указ. Думаю, таких людей будет не больше десяти, остальные, так сказать, среднее звено, но и без них шагу не сделаешь.

После ужина они поднялись в номер. Азларханов, словно забыв о своей просьбе, пошел принять перед сном душ, а Яков Наумович включил телевизор. Но когда прокурор, выйдя из ванной, хотел составить Гольдбергу компанию перед телевизором, оказалось, тот сидел за столом и листал толстую замусоленную тетрадь в коленкором переплете. Увидев юриста, оживленно воскликнул:

— Один момент! Куда-то затерялся в моих записях один важный чин, пятьдесят восьмого размера. Отыщу — и список будет готов.

— Судя по вашей тетради, клиенты наши уже не одной дубленкой разжились у вас,— поддел Амирхан Даутович скорняка.

— Да, всяко бывает, есть и постоянные клиенты,— ответил Яков Наумович, не поднимая головы от стола.— Вот, к сожалению, двое уже умерли, хорошие были люди, большие начальники! Иных перевели на новую службу, повысили, номенклатура, сами понимаете, и они уже не представляют для нас интереса, а большинству — вы правы — шьем не в первый раз. А, вот, нашел наконец! — вырвалось у него обрадованное.— В прошлый раз ушло на него двенадцать овчин, неужели поправился еще? — И Яков Наумович передал юристу набросанный список.

Прокурор пробежал взглядом листок в клетку, надеясь, что, оставшись один, внимательнее вчитается в него.

— Наверное, за неделю управимся?

— Раньше не удавалось,— охотно ответил Гольдберг.— Это не простое дело... Снять мерку мне и десяти минут хватает, да вот чтоб в иной кабинет зайти, не один день ездить приходится — то совещание, то заседание, то неожиданно в Совмин вызвали, то в ЦК... А другого мы должны в ресторан пригласить на ужин, мерку здесь в номере снимать будем. К третьему домой поедем, подарки и гостинцы повезем. Так что не забивайте себе голову сроками, давайте сегодня отдохнем, а завтра я с утра составлю расписание визитов.

Поездку можно было считать удачной, даже слишком. Сосед по номеру начинал день с телефонных звонков, и толстая тетрадь, где у него были записаны адреса и телефоны клиентов, почти все дни лежала на письменном столе и убиралась с глаз лишь в те вечера, когда приходили к ним гости,— мерку с них снимали после обильного ужина в ресторане. Разных людей повидал прокурор на таких мальчишниках, как называл Яков Наумович подобные мероприятия.



У некоторых гостей на руке он видел точно такие же часы, какие привез ему Шубарин, и невольно хотелось спросить: не Артура ли Александровича подарок? Но мог и ошибиться: наверное, тут, в Москве, не один Шубарин раздавал щедрые подарки, сидели эти люди на самом дефиците из дефицита, заправляли материальными ресурсами страны, от одного росчерка их пера зависела судьба целых регионов и отраслей. И тут вроде Шубарин не пахал, не сеял, а пожинал плоды опять же не им ухоженного поля.

Много ели, много пили и много говорили важные гости, привыкшие к ресторану в гостинице «Советская», который меж собой упорно величали «Яром»,— они чувствовали себя тут уверенно, как Икрам Махмудович в «Лидо». После каждого такого застолья, оставаясь один, прокурор вносил кое-какие сведения в записную книжку, куда уже перекочевали адреса и телефоны из замусоленной тетради скорняка, обладавшего каллиграфическим почерком.

Удалось побывать ему и в нескольких кабинетах высокого, даже по московским понятиям, начальства, где Яков Наумович снимал мерки. Если бы прокурор набрался терпения, то мог бы нанести визит всем, чьи фамилии значились в списке, составленном в день прибытия в Москву, но личное знакомство на будущее с людьми без будущего, а в этом он не сомневался, не интересовало его. И потому, когда прием не мог состояться в оговоренное время, он, не дожидаясь, оставлял терпеливого Якова Наумовича мучиться в приемной, а сам уходил гулять по дождливой Москве. Главное, он знал, где сидит очередной хапуга, взлетевший так высоко.

Удачей посчитал он и то, что Кравцов, на контакте с которым настаивал Шубарин (наверняка главная причина его командировки в Москву), находился в отпуске. Хотя, узнав уже тут, на месте, что его давний товарищ по аспирантуре стал прокурором одного из районов Москвы, он отметил для себя, что при случае просто обязан спросить, какие у Кравцова в этот период находились в производстве уголовные дела,— они наверняка переплетались с интересами если не самого Шубарина, так его московских коллег, и, если копнуть глубже, обнаружатся новые источники сырья, оборудования, новый круг высоких покровителей.

В суете дел, неотвязных раздумий о действиях, которые ему следует предпринять, он совсем забыл о новоселье, назначенном на последнюю субботу октября. Выручил его Гольдберг... Однажды

вечером, когда оставалось снять мерку с двух самых неуловимых клиентов, Яков Наумович заявился в номер, как обычно, нагруженный коробками, пакетами, свертками. Каждый, с кого снимали мерку в гостинице, не уходил с пустыми руками — такова давняя традиция, объяснял скорняк. Кому-то выдавали набор коньяка или дорогого виски, кому банку икры килограмма на полтора, хорошей колбасы и другие деликатесы. Укладывая содержимое пакетов в холодильник, Гольдберг поинтересовался:

— А когда же мы продукты для вашего новоселья будем закупать? Времени осталось всего ничего.

Но Азларханов не растерялся — такая забывчивость могла оказаться чревата последствиями:

— Извините, я думал, что вы сами распорядитесь на этот счет, как только закончите свои дела. Я готов хоть завтра поехать с вами, заодно и подскажете, что следует взять. Если честно, я слабо разбираюсь в деликатесах.

— А разбираться и не надо. Артур Александрович дал мне список, что нужно взять, а если появится что-то стоящее, не учтенное шефом, так на складе и без нашего напоминания упакуют — они знают вкус Шубарина.

Возвращаясь опять же поездом «Узбекистан», прокурор мысленно благодарил Гольдберга за его нелюбовь к самолетам — дорога давала возможность осмыслить положение и принять окончательное решение. Тянуть дольше не имело смысла: теперь, включая московские связи, он знал достаточно, чтобы попытаться отбуксировать «айсберг» куда следует. Ему нужно было два-три спокойных дня, чтобы привести бумаги в порядок, изъять из старых годовых отчетов управления несколько странных ведомостей на зарплату, где фигурировали любопытные фамилии, и — отбыть в Ташкент, а может, даже в Москву, это тоже следовало просчитать. То, что в Москву его отпустили без сопровождения Коста, говорило о доверии Шубарина, хотя он допускал мысль, что могли наблюдать за ним и в столице; «хвоста», правда, он не замечал ни в ресторане, ни гуляя по улицам, — впрочем, он и повода для тревоги не давал. Что ему хотелось узнать о московских связях, он узнавал, не выходя из номера в «Советской», благодаря Гольдбергу. Определился теперь и срок исполнения своего плана — он должен был исчезнуть до новоселья, скорее всего, в канун его, а может, даже в субботу, в назначенный для гостей день.



Разрабатывая свой последний план, он осознавал, как не хватает ему помощника, даже просто человека, которому бы он доверял, может, тот отвез бы его в Ташкент или сразу в аэропорт, заранее позаботился о билете, чтобы прибыть прямо к самолету. Но сколько ни перебирал в памяти знакомых, довериться никому не мог — слишком многим он рисковал. Да и опекали его уж очень старательно.

И опять выручила дорога... Под мерный стук колес он вспомнил: Коста как-то обмолвился, что Джураев уже стал подполковником и возглавляет угрозыск одного из районных отделений Ташкента. Упомянул Коста Джураева потому, что тот, оказывается, лично взял в прошлом году его сокамерника по последней отсидке, взял на какой-то тайной «хате». «Заколдованный ваш друг,— мрачно пошутил тогда Коста,— ни пуля его не берет, ни нож. Сколько на него покушений было, другой давно бы уже оставил такую рискованную работу, а этот только злее и хитрее становится».

Может, следовало при первой возможности связаться с капитаном Джураевым и вызвать его с машиной в «Лас-Вегас», в какое-нибудь укромное место. У Джураева вряд ли сумеют отбить его, даже если и попытаются. Он и поймет сразу, с первых слов, и наверняка подстрахуется как следует, зная, что бывший прокурор зря паниковать и обращаться за помощью не станет, не одно совместное дело у них за плечами. «Что ж, это тоже вариант, и пусть останется на всякий случай в резерве,— решил Азларханов.— Если не удастся исчезнуть тихо, чтобы выиграть время».

Прибыли они в Ташкент утром, встречал их на перроне Ашот. Когда они вышли на привокзальную площадь и подошли к стоянке для частных машин, увидели белый «мерседес», возле которого толпился любопытный народ.

— Как же Икрам доверил тебе, лихачу, такую красавицу? — спросил скорняк, когда они отъехали.

— А он и не доверял,— мрачно ответил Ашот.— Файзиев сам приехал вас встречать — шеф велел, а я его сопровождаю на всякий случай. Зашел он в Госплан с какой-то бумажкой, думал, на минуту, а вышло на час, я и поехал за вами на вокзал, время поджимало; заберем его — и домой. А машина — класс, картежники дают за нее Икраму уже мешок денег, да разве деньги ему нужны, он и так не знает, куда их девать. Артур Александрович обещал и мне достать, как только я денюжат поднакоплю.

У Госплана уже дожидался их Икрам Махмудович, он и сменил Ашота за рулем. Только вырвались за город, стрелка спидометра пошла гулять за цифрами 120–140. Яков Наумович съязвил не без тревоги:

— Я думал, у нас один Ашот лихач, оказывается, и вы грешны этим?

Файзиев, улыбаясь, не без доли хвастовства ответил:

— На такой машине грех плестись вслед «жигулям», к тому же, я спешу к столу. Шеф, если не запомнили в Москве, не любит, когда опаздывают.

Ашот, подлаживаясь под голос Файзиева, добавил:

— Обед — дело святое...

И все засмеялись, зная, что Икрам пропустит что угодно, только не застолье.

К «Лидо» подъехали вовремя, Шубарин с Коста стояли у подъезда, словно предчувствовали, что «мерседес» Икрама вот-вот вынырнет из-за угла.

Пока возвратившиеся из столицы обменивались с Артуром Александровичем приветствиями, расспросами о здоровье, самочувствии, о впечатлениях от Москвы, Коста с Ашотом быстро подняли чемоданы, сумки, коробки наверх и отогнали машину во двор ресторана.

Сели за стол как обычно — с последними звуками городских курантов, отбивших два часа пополудни.

Шубарин расспрашивал о поездке больше Гольдберга, наверное, желая провести разговор с юристом наедине.

Выпили бутылку шампанского, чего обычно среди дня Шубарин никогда себе не позволял. Он сам попросил ее у Адика, неожиданно сказав:

— Я рад видеть всех вместе за столом. Знаете, такие суматошные недели выпали, вы даже не поверите — ни разу за это время и не погуляли. Хотя поводов хватало... На прошлой неделе получили по итогам третьего квартала два переходящих Красных знамени — одно областное, другое республиканское. Ну, а ваш приезд мы, конечно, не должны оставить без внимания, не едиными делами жив человек. Давайте вечером соберемся в банкетном зале и отметим два события сразу: и награждение нашего управления, и возвращение наших товарищей из Москвы. Успеют на кухне часам к восьми организовать все как следует?



Файзиев, что-то лениво дожевывая, заверил:

— Куда они денутся? Это я беру на себя.

— Ну, вот и хорошо, договорились, значит.

— И, обернувшись к Гольдбергу, спросил: — Надеюсь, и наши москвичи чего-нибудь вкусенького к столу не забудут?

— Конечно, конечно,— поспешил заверить Яков Наумович.— Мы много чего привезли, хватит и на новоселье, и на сегодняшний вечер, я ведь тоже помню о традиции: после Москвы — застолье.

#### 4

После обеда Артур Александрович уехал с Гольдбергом в цех, у них были срочные дела, а прокурор остался в гостинице. Уходя, Шубарин сказал, что о поездке они поговорят как-нибудь на днях, в более спокойной обстановке. Азларханов поднялся к себе, номер оказался тщательно убраным, проветренным, на столе стояли свежие цветы и фрукты. Расхаживая по комнате, он машинально дернул дверцу холодильника, и сразу понял, что Адик был предупрежден о его приезде. Да, Шубарину во внимании к ближнему трудно было отказать.

Он еще долго стоял у большого окна, выходящего на площадь, хотелось пойти сейчас же в управление и приняться за дела, как решил в дороге, но рвения проявлять не следовало, энтузиазм мог и насторожить кое-кого... Потом он задумался о предстоящем банкете. Ему необходимо было, чтобы старички Ким и Георгади оказались на вечере. Надо было задать каждому из них несколько вопросов в неофициальной обстановке, на работе к ним с такими вопросами трудно было подступиться; а главное, после обильного застолья они дня два не выходили на работу. Ему и нужны были эти два дня — в бухгалтерии и в плановом отделе уже привыкли, что юрисконсульт то и дело требует разные документы.

Вечер предстоял нелегкий, да еще после дороги, и прокурор решил отдохнуть, но какое-то внутреннее напряжение не позволяло расслабиться. Предчувствие развязки не давало покоя, он заметил, что пошаливает не только сердце, но и нервы, это ощущение оказалось для него внове, он всегда считал, что владеет собой. Это открытие он посчитал своевременным, обидно было бы в самом конце срезаться на каком-нибудь пустячке, а о том, что здесь никому не доверяют до конца и промахов не прощают, он знал.

«Будет ли сегодня на званом ужине Адыл Хаитов?» — мелькнула вдруг неожиданная мысль. Необходимо быть готовым и к такому варианту и попытаться дать понять тому, что он тоже хочет с ним встречи. И будут ли его сегодня так же тщательно стеречь, как в прошлый раз, когда их ни на минуту не оставляли наедине? И вдруг его осенило, что он должен сделать. Прокурор подошел к столу и написал короткую записку: «Мне кажется, вы хотели мне что-то сказать?» Он уже знал, и как передаст ее: единственный, с кем он дружески общался при встрече, — это Хаитов, остальное дело техники. Записка никак его не компрометировала. В любом случае он нашелся бы, что ответить, зато в случае удачи становилось ясно, что они единомышленники. Решение это ободрило прокурора: получить помощь Хаитова на последней стадии его деятельности в синдикате было бы очень кстати.

В раздумье прошли послеобеденные часы, отдохнуть, как хотелось, так и не удалось. В назначенное время раздался стук в дверь. Прокурор, сунув записку в кармашек пиджака, поспешил открыть. На пороге стоял Коста, судя по парадному костюму, он и сегодня получил приглашение на банкет.

В зале на этот раз оказалось многолюднее, чем на поминках, да и выглядел он как-то официальнее; может быть, этому способствовали два больших красных стяга в углах и множество цветов, опять в высоких хрустальных вазах. Наверное, это все же реквизит управления для торжественных случаев, решил прокурор. Он попытался разглядеть в толпе гостей Хаитова, но быстро понял, что его нет. Зато среди приглашенных увидел работников обкома профсоюза, людей из горкома и горисполкома. Артур Александрович опять сочетал личные и производственные интересы, устраивал под легальным предлогом богатую пирушку для чиновников среднего ранга, без которых, как упоминал Гольдберг, дел не провернешь.

Обычной оказалась сегодня и сервировка стола, не было давешнего великолепия, голубого хрусталя и серебряных приборов — то ли времени не хватило, то ли Шубарин посчитал, что на этот раз сойдет и так, хотя любитель столового серебра Георгади и его неперемный друг Ким занимали свои привычные места в зале. Зато куда плотнее оказался заставлен стол спиртным и закусками, видимо, Артур Александрович хорошо знал аппетиты среднего «лас-вегасского» аппаратчика. Что и говорить, Шубарин



на застолье не экономил; щедро выставили и московские деликатесы, в этом, видимо, и состояла приманка для таких далеко не голодных людей.

Артур Александрович, как обычно, занимал свое председательское место за столом. На этот раз, словно открепясь от происходящего, сразу предоставил слово человеку из профсоюзов, и эстафета скучных тостов стала переходить от одного чиновника к другому. Слушая поднаторевших в публичных выступлениях краснобаев дубовых трибун, прокурор впервые ужаснулся косности, казенности их языка. Хотя в то же время он замечал восторг иных за столом, в глазах читалось: «Во дает, мне бы так, начальником бы стал!» И тут он неожиданно понял: это был особый кодовый язык провинциального начальства, номенклатурных работников, — только овладев им, можно было на что-то претендовать. От такого открытия стало несколько веселее, и Азларханов уже с интересом выслушивал очередную бессмысленно-напыщенную речь, состоявшую сплошь из казенных клише, дежурных фраз, — чтобы такое наговорить, действительно надо было обладать специфическим талантом.

Прокурор не удержался и заговорщически шепнул шефу:

— Вы что-то изменили своему театру одного зрителя, решили попробовать своих актеров на массовом? Тут камерным театром и не пахнет.

Шубарин понял его сразу, выступления состояли сплошь из дифирамбов мудрому руководителю местной промышленности и его верному помощнику; правда, нашлись дальновидные льстецы, провозгласившие здравицы и в честь юрисконсульта, кто-то вспомнил и про главбуха с экономистом.

Так они и сидели, перебрасываясь репликами и потешаясь над выступающими. Артур Александрович весело заключил:

— Пусть говорят... Им так нравится держать речь за хорошо накрытым столом, чувствовать себя причастными к успеху большого коллектива, которому они якобы указывают путь в тумане, кормчие этакие. В конце вечера по традиции Икрам раздаст каждому по конверту, а тому, кто хвалит его больше других, наверняка добавит еще из своих. Впрочем, повода для огорчений не вижу, через полчаса, может, через час, когда пропустят еще по три-четыре рюмки водки особого разлива, что привезли вы из Москвы, спесь, чиновничье высокомерие слетит с них, и они снизойдут до нас и заговорят нормальным человеческим языком, если он у них еще не атрофировался.

И впрямь, через час чиновничий пыл и красноречие угасли, водка и вино сделали свое дело, да и тосты перешли к другим людям. На этот раз слово предоставили даже Коста и Ашоту, скромным труженикам управления, как отрекомендовали их.

Дальше время побежало быстрее, веселее, полетели над столом шутки, смех и опять же, как в прошлый раз, стали заглядывать из большого зала друзья и приятели завсегдатаев «Лидо».

Чинности, строгости в этот раз не было — за столом с самого начала сидели кучно, разные люди невпопад, а теперь в разгуле тем более все смешалось. Прокурор уже успел задать свои вопросы и Киму, и Георгади, понял, что Хаитов сегодня не появится, и хотел, сославшись на усталость с дороги, попрощаться с Шубариным и незаметно уйти, как вдруг подошел Адик и сказал шепотом шефу, что его требует к телефону Бухара, сам Первый. Шубарин удивился и, не скрывая волнения, попросил Азларханова:

— Пожалуйста, не уходите. Наверняка что-то стряслось, может, ваша помощь понадобится, не тот человек Первый, чтобы по пустякам разыскивать меня в гостиницах.

В зал Шубарин уже не вернулся, а минут через десять юриста вызвал из-за стола Адик и попросил, чтобы он поднялся на третий этаж.

Шубарин нервно расхаживал по своему просторному номеру — и без слов было ясно: случилось что-то из ряда вон выходящее. Но, увидев юрисконсульта, он сразу взял себя в руки, видимо, сработал в нем рефлекс — никогда и никому не показывать слабости.

— Что-то стряслось? — осведомился прокурор.

— Да, звонил сам, и действительно ЧП. В Хорезме час назад умер первый секретарь ЦК...

— Не может быть! Я только в половине восьмого смотрел по телевизору программу новостей, ни о чем таком не сообщали! — невольно вырвалось у бывшего прокурора.

— Никакой информации не будет еще три дня! — жестко перебил Шубарин.— Вы отдаете себе отчет, кто умер? Кандидат в члены Политбюро, хозяин одной из мощнейших республик. Тут ко многому нужно подготовиться, и не только к похоронам, главное — к внеочередному пленуму, где будет решаться вопрос о преемнике. Моего бухарца наверняка предупредили одним из первых — все-таки ходил в любимчиках, он теперь лихорадочно считает варианты и заручается поддержкой верных людей, чтобы заполучить этот пост.



— Первого секретаря ЦК? — удивился Азларханов, не веря своим ушам.

— А почему бы и нет? Много лет управляет крепкой областью... Да он и не скрывал своих честолюбивых замыслов стать когда-нибудь хозяином республики. И почему ему не воспользоваться неожиданно выпавшим шансом? Поэтому через три часа я должен быть в Бухаре, там в аэропорту уже дожидается наготове самолет. Без меня он не полетит в Хорезм. В этот ответственный час, как он сказал, самые верные и надежные люди должны быть рядом с ним. У меня к вам просьба... Пока я обзвоню кое-кого в Ташкенте, пожалуйста, поезжайте в управление, откройте сейф в моем кабинете, там лежит кейс, набейте его деньгами и приезжайте сюда. Вот вам ключи, Ашот уже внизу в машине.

Прокурор не спеша, пытаясь осмыслить ситуацию, спустился вниз. Машина с работающим мотором стояла у подъезда, и как только он сел, рванула с места, видимо, Ашот уже был в курсе происходящего. Они быстро поднялись на второй этаж в управление, шофер остался в приемной, а прокурор направился в кабинет; до самого последнего момента он предполагал какой-то подвох в затее с сейфом и деньгами. Но все оказалось так, как сказал Шубарин. В сейфе лежал пустой дипломат, а в глубине на верхней полке высились аккуратные стопки денег в банковской упаковке, одни сторублевые купюры. Прокурор раскрыл дипломат и тщательно, как детские блоки конструктора, стал укладывать твердые пачки денег. Кейс по размерам был словно рассчитан на сторублевки, и он укладывал не считая, сколько влезет. Видимо, Шубарин, как некогда его отец, рассчитавший размеры коробки для сотни пластмассовых шариковых ручек, знал без подсчета, сколько банковских упаковок помещается в его щегольском чемоданчике.

Закрыв кейс, прокурор вышел в слабо освещенную приемную, и они молча спустились вниз. Вся поездка заняла минут десять, не больше.

Когда они с Ашотом поднялись в номер, хозяин складывал в чемодан стопку рубашек, он даже не глянул на дипломат, который юрист продолжал по рассеянности держать в руках.

— Спасибо, — сказал Шубарин на ходу. — Бросьте его на диван, не обрывайте себе руки, вам вредно поднимать тяжести. — Он защелкнул замок чемодана. — Ну вот, я и готов. Может так случиться, что я позвоню вам, если понадобятся деньги. Ключ от сейфа пусть

останется у вас. За деньгами могут приехать только Коста или Ашот. А теперь давайте прощаться, и пожелайте нам удачи, в случае успеха пост министра будет у нас уже в будущем году. Коста и Ашота я забираю с собой, не исключено, что и для них найдется работа, может, придется сдерживать ретивых конкурентов нашего дорогого бухарца.— И Артур Александрович, попрощавшись, вышел из номера.

Прокурор спустился вниз проводить их до машины, и как только «Волга» рванулась с места, он не спеша вернулся в банкетный зал, как они и уговорились с Шубариным. Сообщение следовало хранить втайне даже от Икрама.

Часа через два, распрощавшись со всеми гостями, которые намеревались вместе с Икрамом поехать еще куда-то продолжать вечеринку, прокурор наконец-то поднялся к себе в номер. Он долго стоял у большого окна, не включая света. Внизу, у ресторана, в белый «мерседес» набивалась разгулявшаяся компания — пьяный смех, вскрики, обрывки разговоров доносились до четвертого этажа, но он всего этого не видел и не слышал, его мысли были о другом.

«У бухарца сегодня свой шанс, у меня свой!» Но вдруг, повторив эту мысль вслух, усмехнулся иронии судьбы: бухарец метил на место первого секретаря ЦК, а он, имея документы на руках, вряд ли мог гарантировать ему жизнь даже в кутузке — по всем статьям тот тянул на исключительную меру.

Но сегодня думать больше ни о чем не хотелось, время раздумий и сомнений кончилось, и Азларханов пошел спать. Наверное, оттого, что он не мучился больше неопределенностью, спал крепким глубоким сном и проснулся чуть позже обычного, но с ясной головой и легкостью в теле. Ощущал какую-то собранность и приподнятость и, принимая душ, даже насвистывал давно забытую мелодию, чего с ним давно не случалось.

Завтракал один — Икрам Махмудович, наверное, как всегда после загулов, объявится к обеду. Отсутствие Файзиева тоже обрадовало, иначе пришлось бы на ходу что-нибудь сочинять по поводу срочного отъезда Шубарина; он еще не решил, стоит ли сообщать заму о подлинных причинах, сорвавших Японца из-за стола.

На службу он немного опоздал, зашел по пути в универмаг и купил дипломат, конечно, не такой роскошный, как у Шубарина, но он вполне его устроил. Как и предполагал, ни Ким, ни Георгади не вышли на работу, и прокурор, едва войдя в кабинет, затребовал к себе старые подшивки бухгалтерских отчетов. Он уже знал, где,



в каких папках хранятся интересующие его ведомости, и, отыскав, не стал тратить времени на переписку, а аккуратно вырезал их и сложил в дипломат, где уже находились его юридические исследования, к которым он не притрагивался с того дня, как познакомился с артельщиками.

Дипломат быстро заполнялся разными бумагами, выписками, приказами, которые он загодя отметил в делах, а сейчас, возвращаясь к ним по второму кругу, просто изымал их. Отыскивая какую-то бумажку, бывший прокурор наткнулся в столе на диктофон, который толком ни разу не использовал, хотя оценил его достоинства сразу. И вдруг он представил себя исповедующимся перед незнакомым человеком; картина эта не совсем понравилась ему, и он решил сделать это сейчас, наедине с собой, настроение у него было самым что ни на есть исповедальным. Он зарядил новую кассету и стал потихоньку, не спеша наговаривать события своей жизни с того давнего августовского дня, пять лет назад, когда убили его жену. Девяносто минут пролетели незаметно, он не успел даже добраться до бюро обкома, где Бекходжаевы лишили его должности прокурора. К двум часам он успел записать еще одну кассету, и в ней не дошел до знакомства с Шубариным, хотя рассказывал о событиях, уже происходивших в «Лас-Вегасе».

Время от времени он останавливал диктофон и подолгу сидел в раздумье, потому что всплывала неотвязная мысль — куда бежать? В Москву или в Ташкент? Но однозначного ответа пока не находил. На обед он пешком отправился в «Лидо». Икрам уже был за столом, он наверняка надеялся встретить тут Шубарина, но, увидев юриста, пришедшего одного и с заметным опозданием, мрачно спросил:

— Куда вчера исчез с банкета Японец со своими головорезами?

Прокурор внимательно посмотрел на Файзиева, бывшего с похмелья не в духе, и подумал, что есть резон открыть ему тайну, потому что в таком случае он избавлялся от его общества по меньшей мере до конца дня, а больше времени ему и не требовалось.

— Это, позвольте спросить, где вас носит с утра? У меня есть для вас экстренное сообщение.

— В чем дело? Какая новость? — туго соображая, спросил Файзиев.

— Новость чрезвычайная, только возьмите себя в руки. Вчера в Хорезме в инспекционной поездке умер первый секретарь ЦК республики...

— Как умер? — Файзиев вскочил с места.

— Сядьте. Во-первых, не кричите, новость пока не для всех. А умер просто, как все люди, бессмертных не бывает, говорят — инфаркт.

— Теперь ясно, куда смылся Шубарин! — зло процедил Файзиев.— Побегал под знамена Бухары, труба в дорогу позвала! Наверное, честолюбивый коротышка-бухарец хочет попытать свой шанс, и Шубарин со своей мафией ему понадобился! — Он вытер взмокший от волнения лоб.— А наши дураки ничего не ведают, я ведь с ними с утра похмелялся. Скоты, только бы жрать! Спасибо, Амирхан Даутович, за откровенность, я ведь понимаю, что Японец наказал вам держать это втайне от меня. А сейчас я должен поторопиться, мы и так упустили часов пятнадцать, но ничего, мы ближе к Ташкенту, чем бухарец.— Файзиев моментально протрезвел от своих слов и, поднявшись, объявил: — Если наша возьмет, мы никогда не забудем вашей услуги.

«Какой сейчас переполох в республике! Зашевелились семейки Бекходжаевых, Файзиевых, разных бухарцев»,— подумал прокурор, но мысль эту развивать не хотелось. Спокойно пообедав, по дороге в управление зашел в универмаг и купил на всякий случай еще две кассеты. До конца дня он записал и эти две, в них уложилось уже все, до последнего сообщения о смерти секретаря ЦК.

Кончился рабочий день, распрощалась, уходя, секретарша, а прокурор не спешил возвращаться в гостиницу; к вечеру у него созрел еще один план, но он не мог реализовать его, пока рядом находилась Татьяна Сергеевна, верная помощница Шубарина. Как только стихли шаги на всех этажах, прокурор запер дверь приемной и направился в кабинет Артура Александровича. Вчера, набивая деньгами дипломат, он заметил там и кое-какие бумаги; может, в них хранились тайны, недоступные ему? В первой же папке он обнаружил расписки на крупные суммы денег — может, фамилии этих незнакомых людей и окажутся недостающим звеном в его будущем расследовании? Не менее любопытные данные содержали и другие папки, но он особенно вчитываться не стал, решил, что у него еще будет время внимательно ознакомиться с ними. Аккуратно выбрал из папок представляющие интерес бумаги и сложил в свой дипломат. Закрывая сейф, вспомнил о деньгах и решил на всякий случай навести на ложный след: пусть подумают, что это из корысти юрист совершил примитивное ограбление.



В несколько приемов он перенес деньги Шубарина к себе в сейф и, внимательно оглядев кабинет, спустился вниз, твердо зная, что сюда больше уже никогда не вернется.

Вечером, поужинав один в ресторане, чему Адик очень удивился, он вышел на последнюю прогулку в «Лас-Вегасе». В раздумье прошел до Шанхая, куда добирался крайне редко, но окончательного решения, где обратиться к властям, так и не принял; в любом варианте оказывалось много «за» и «против». Вернувшись в гостиницу, когда музыканты уже покидали ресторан, он и у себя в номере еще долго взвешивал свои шансы. Собираться в дорогу, даже если он и надумал ехать в Москву, не надо было, любая лишняя вещь в руках наверняка привлекла бы внимание и осложнила отъезд, рисковать не следовало. Утро вечера мудренее — вспомнил бывший прокурор поговорку; так тому и быть, окончательное решение примет утром.

Спал он крепко, но среди ночи его поднял междугородный телефонный звонок. Прокурор долго не мог проснуться, ему казалось, что звонок он слышит во сне. Звонил Шубарин. Говорил он как всегда спокойно, не торопясь, расспросил прежде о самочувствии, успел пошутить насчет богатырского сна, спросил, как Файзиев, и только под конец выложил суть, да и то, если бы кто подслушивал, вряд ли что понял бы. Он сказал, что Коста приедет завтра после обеда прямо на работу. На вопрос, когда вернется из командировки сам, ответил неопределенно, мол, обстановка требует его присутствия здесь. На том и разошлись.

«Деньги, значит, понадобились», — подумал бесстрастно Азларханов. Как ни странно, ни звонок, ни сообщение Шубарина не взволновали его, и он быстро заснул снова.

Проснулся он чуть раньше обычного, принял душ, сделал зарядку, чем себя обычно не обременял, но что бы он ни делал, свербила одна-единственная мысль — куда?

Но утро все-таки подсказало выход, он сказал себе: ты еще доберись до Ташкента, там решишь. До открытия ресторана оставалось с полчаса, но он не стал терять времени на завтрак и, подхватив дипломат, спустился вниз. Минут десять он стоял у подъезда, словно дожидаясь машины, а потом не спеша, переулками, направился в сторону автостанции. Похоже, за ним никто не шел.

В «Лас-Вегасе» делали остановку все проходящие на Ташкент междугородные автобусы, это тоже была заслуга Шубарина — он никак не мог упустить такой поток покупателей. Здесь следовало

быть осторожным и по возможности не привлекать к себе внимания, его-то теперь многие хорошо знали. Поэтому, подойдя к автовокзалу, уже оживленному, несмотря на раннее утро, он сразу наметил план. Проходящие машины останавливались на площади где придется, ни о каком порядке не могло быть и речи, и он понял, что ему лучше всего следует дождаться автобуса, который станет рядом с газетным киоском. Там всегда толпилась небольшая очередь, киоск торговал всякой мелочью: сигаретами, мылом, пластиковыми пакетами, книгами. Нужно было подойти к киоску в самый последний момент, когда отходящий автобус даст предупредительный сигнал. Такая удача выпала ему минут через пятнадцать, и он чуть не на ходу вскочил в отправляющийся «Икарус».

Автобус шел издалека, из Карши, и прокурор, пробираясь по проходу к свободному месту в конце салона, не увидел ни одного знакомого лица — это его успокоило. Экспресс вышел из Карши на рассвете, и большинство пассажиров спали или дремали, сонное настроение передалось и ему, и через полчаса задремал и он. Наверное, оттого, что его преследовала неотвязная мысль — куда? — ему и приснилась Москва, но не Москва его молодости, а столица, которую он покинул всего несколько дней назад. Снился богатый зал бывшего «Яра», цыгане, а за столом, рядом с Гольдбергом, дед Шубарина в купеческой тройке, с золотой цепью поперек живота, он что-то грозно выговаривал Артуру Александровичу в праздничном белом костюме, за спиной которого стояли, держа руки в карманах, Коста и Ашот. За столом через проход он вдруг увидел Николая Федоровича Кравцова и рядом с ним еще несколько ребят, с которыми заканчивал аспирантуру в Москве. Удивительным в этом сумбурном сне оказалось то, что он ясно представил лица своих давних товарищей, особенно четко он видел Колю Кравцова, болельщика «Спартака», а ведь все это время, получив его телефон от Шубарина, он никак не мог припомнить его внешность. Перед московским прокурором на столе лежали бумаги и кассеты, что сложил он вчера в дипломат, и Кравцов твердо говорил: «Все ясно, всех выведем на чистую воду, включая бухарца...»

В этот момент Азларханов очнулся, автобус трянуло. Глянул на часы: и задремал-то всего на пятнадцать минут. Сонливость как рукой сняло. Значит, в Москву надо ехать, слишком уж большие возможности тут у Артура Александровича и его покровителей, тем более, если коротышка-бухарец добьется своего. «В Москву,



только в Москву!» — решил прокурор. И до самого города вглядывался в унылый придорожный пейзаж, голые хлопковые поля и тысячи людей на них, собирающих ощипки.

При въезде в Ташкент, на Куйлюке, сошло несколько корейцев, в самый последний момент последовал за ними и прокурор. Он остановил первую попавшуюся частную машину и, протягивая десятку, сказал: «В аэропорт опаздываю». Купюра сработала безотказно.

Выстояв в очереди в билетную кассу с полчаса, прокурор подал в окошко паспорт и попросил:

— Пожалуйста, билет в Москву, на ближайший рейс.

Кассирша удивленно посмотрела на него и ответила:

— Гражданин, в Москву даже на завтра нет билетов,— и, считая, что разговор окончен, сказала: — Следующий...

От неожиданного сообщения прокурор растерялся. Но, отойдя от окошка кассы, вспомнил еще один ход, который нынче, увы, знает стар и млад. Увидев у свободной стойки для регистрации двоих в форме «Аэрофлота», решил попытать удачи.

Поставив дипломат на стойку, сказал без обиняков:

— Молодые люди, помогите улететь в Москву ближайшим рейсом, вот вам за содействие,— и положил перед ними сторублевую купюру.

Общение с Шубариным приносило свои плоды. Служащие переглянулись и, понимая, что из-за дипломата денег никто не видит, быстро убрали бумажку. Тот, что моложе, сказал:

— Давай, дядя, паспорт и деньги и подходи через полчаса, фирма гарантирует.

Действительно, через полчаса билет был готов. Отдавая его, нагловатый молодой человек сказал:

— Пожалуйста, подходите в любое время дня и ночи, мы рады будем вас обслужить и отправим непременно, даже если и придется кого-то снять с рейса.

Прокурор благодарить не стал, хотя немало удивился необычной гарантии сервиса в аэропорту. Заполучив билет, он глянул на часы: до регистрации оставалось еще пять часов. «Многовато»,— подумал он и, понимая, что аэропорт не самое безопасное для него место, решил поехать в город,— время перевалило за полдень и не мешало пообедать.

До ресторана «Ташкент» в центре города он добрался быстро, на площади перед гостиницей купил газеты и направился в обеденный

зал. Просидев с полчаса, без всякого внимания к себе со стороны официантов, он отметил, что услужливый и все понимающий Адик остался для него навсегда в прошлом, следовало привыкать вновь к нормальной жизни. Но опять выручил Шубарин, или, точнее — его подарок: в глаза кому-то из obsługi бросились его часы, золотой «Патек Филипп», особый знак или мета состоятельных людей, и уже через минуту возле него засуетились сразу два официанта. Этот пустячный эпизод поднял настроение прокурора, снял напряжение, и он уже не сопротивлялся атаке молодых прохиндеев, быстро заставлявших стол закусками, фруктами, зеленью. Принесли и немного коньяку, заговорщически шепнув при этом: «Французский, «Камю», только для вас».

Заканчивая обед, он глянул на часы и машинально отметил: Коста, наверное, уже в «Лас-Вегасе». Мысль на Коста почему-то не задержалась, он спокойно допил зеленый чай с лимоном, расплатился. И только оказавшись на площади перед оперным театром, где собирался посидеть у фонтана с газетами, опять вспомнил о нем и вдруг ужаснулся своему просчету. Какой аэропорт! Какая Москва! Уже час как Коста, не найдя его в «Лас-Вегасе», связался с Шубариным, и они давно подняли всех своих в Ташкенте и прежде всего перекрыли аэропорт. Те же услужливые ребята в форме за те же деньги уже небось доложили дружкам Ашота, купил ли человек по фамилии Азларханов билет в Москву, и там поджидают его сейчас незнакомые люди. Нет, в аэропорт хода не было, он опоздал...

«Спокойно, спокойно! — уговаривал себя Азларханов.— Безвыходных ситуаций не бывает.— И понял, что у него остался один шанс, который он держал про запас, на всякий случай,— это связаться с капитаном Джураевым. Но этот шанс сейчас, похоже, единственный.

Он направился к ближайшему автомату и, набрав телефон МВД, который еще помнил, узнал, как найти Джураева. Через минуту он уже звонил в районное отделение милиции, где Джураев возглавлял угрозыск. Трубку подняла секретарша, она ответила, что подполковник Джураев проводит совещание. Узнав, когда закончится, он попросил передать, что прокурор Азларханов через час ждет Джураева у республиканской прокуратуры по чрезвычайно важному делу.

Юрисконсульт вернулся на скамейку у фонтана, потому что прокуратура, где он назначил свидание подполковнику Джураеву, находилась недалеко,— если идти пешком, то с полчаса, не больше.



Не читалось и не сиделось, и, поднявшись, он не спеша направился к парку Горького, отсюда до прокуратуры оставалось уж всего ничего. В парке он выстоял небольшую очередь и выпил квасу, от волнения мучила жажда.

Время приближалось к назначенному сроку, и Азларханов поспешил на улицу Гоголя.

В прокуратуре он был в последний раз пять лет назад. «Какие там нынче перемены?» — размышлял он. Вспоминал людей, на чью помощь он мог рассчитывать. Задумавшись, он незаметно подошел почти к самой прокуратуре, оставалось метров тридцать-сорок, когда, подняв голову, он неожиданно увидел невдалеке, на другой стороне улицы, Джиеова. Можно сказать, они одновременно заметили друг друга, — наверное, Коста проглядел его, потому что ждал с другой стороны, к тому же прокурор шел в тени деревьев.

Коста на всякий случай держался от прокуратуры на расстоянии, Азларханов оказался ближе, и, мгновенно оценив ситуацию, телохранитель рванулся первым. Прокурор, парализованный неожиданностью, замер на какую-то долю секунды, но рывок Коста вывел его из шока, и он тоже бросился к спасительному зданию.

Хотя ему оставалось пробежать гораздо меньше, чем Коста, он со страхом ощутил, что не успеет, что сердце уже подкатило к горлу.

Казалось, Коста вот-вот схватит его за рукав, когда беглец распахнул знакомую стеклянную дверь и, ворвавшись в просторный холл, кинулся вверх по лестнице.

— Не уйдешь! — прохрипел сзади Коста.

Прокурор, оглянувшись на миг, споткнулся, упал на лестнице и выронил дипломат. Тот загромыхал по мраморным ступенькам, а вслед за дипломатом к ногам преследователя скатился и он сам. Падая, он краем глаза увидел, что старый милиционер на вахте от страха никак не мог расстегнуть кобуру. Коста, в руках которого уже был пистолет, подхватил дипломат и, выругавшись, пнул прокурора. Уловив движение за спиной, он резко обернулся и прошипел охраннику:

— Не шути, папаша, пристрелю!

И старый служивый, дрожа от страха, бросил пистолет, который успел все-таки достать.

И в этот момент сверхусилием воли прокурор поднялся на ноги и вцепился в руку, державшую пистолет.

Коста ударил его тяжелым дипломатом по голове раз, другой, кровь с разбитого лица брызнула на обоих. Но прокурор не разжимал пальцев, и тогда Коста со страшной силой ударил его головой в лицо. Но и теряя сознание, прокурор все же не отпустил Коста, и тот, хрипя от злости, выстрелил раз, другой — в упор.

Неожиданно какая-то сила вырвала нападавшего из рук прокурора. Слышно было, как хрустнула кость, и Коста закричал страшным голосом, отброшенный в сторону, он ударился головой об стену, свалился к ногам охранника-милиционера, шарившего по полу и не видящего свой пистолет.

Падающего прокурора подхватил на руки Джураев, ворвавшийся спустя секунды после Коста в вестибюль — издали он видел погоню возле прокуратуры.

Он держал окровавленную голову прокурора на коленях и, не замечая сбежавшихся запоздало людей, повторял:

— Прости, прокурор, не успел... прости...

*Ташкент, п. Голицыно, п. Коктебель,  
июнь 1987 года*



# Повести





# Жар-птица

Повесть

У

мер Толя Чипигин». Нуриев трижды перечитал текст, не вникая в страшный смысл слов. Рассыльный, доставивший за полночь срочную телеграмму, удивленно смотрел на спокойное лицо Нуриева и в какой-то момент засомневался, не напутал ли он чего... Но адресат взял протянутую ручку и расписался в квитанции.

— Что случилось, Раф? — спросила спросонок жена из спальни.

— Поздравительную телеграмму принесли, — ответил он равнодушно. У него вчера и впрямь был день рождения.

— О господи, юбиляр в возрасте Христа, — с иронией сказала жена, устраиваясь поудобнее. Заскрипели пружины старой кровати, которую давно следовало бы сменить.

Тридцать три — дата средняя, несолидная, да и особых успехов ко дню рождения не было, потому дома его и не отмечали. Жена поутру приготовила завтрак, достала свежую сорочку, шепнула за столом: «Поздравляю» и чмокнула Нуриева в тщательно выбритую щеку.

Правда, на работе это стало поводом для небольшого застолья в обеденный перерыв, который затянулся часа на три, а позже всерьез уже никто и не работал: мужчины разбрелись по отделам играть в шахматы, а женщины чаевничали до конца рабочего дня...



Нуриев с телеграммой в руках зачем-то зашел в туалет, машинально спустил в бачке воду, а потом долго сидел на краешке щербатой ванны тесного совмещенного санузла.

Из открытой спальни слышалось не по-женски тяжелое, с присвистом, сонное дыхание уставшей за долгий день жены. Нуриев потихоньку прошел на кухню, включил свет.

«Наверное, в таких случаях следует что-то делать», — подумал он. Но ничего путного, благородного в голову не приходило, и от бессилия памяти ему стало стыдно. В голове мелькало что-то книжное, киношное, отчего становилось еще муторнее.

«Дожить до тридцати трех, стать отцом двоих детей, вступить во вторую половину жизни и не знать, что сказать вслед безвременному ушедшему товарищу...» — упрекнул он себя.

И вдруг пришло спасительное, всплыло, словно кадр из фильма, — помянуть... помянуть!

Нуриев достал из холодильника початую бутылку водки и, налив стакан почти до краев, как когда-то наливал Толян, выпил залпом, как пили они давно, у себя в Мартуке, когда им вообще-то пить еще не следовало.

Но его мучила и другая мысль. Почему его уведомили о смерти Чипигина, кто отбил телеграмму? Ну, второе, пожалуй, было ясно: адрес недавно полученной квартиры мог быть только у матери. Но зачем извещать о смерти Чипигина? Ведь столько лет уже ничто их не связывает, далеко разошлись их дороги, да и не виделись они уже лет десять.

Можно было, наверное, написать об этом скорбном факте в письме. Ну, вспомнил бы Нуриев друга детства, школьного товарища, погрустил бы — не без этого... А телеграмма, она же к чему-то обязывала, требовала каких-то действий.

Сонливость, одолевавшая его еще несколько минут назад, пропала, несмотря на выпитое днем и опорожненный сейчас стакан, голова стала удивительно ясной. Он прикрыл дверь спальни, зашел в комнату к сыновьям. Мальчики спали беспокойно, как и мать, разбросав во сне руки, сбив одеяла. Пока Нуриев поправлял подушки и прикрывал худые загорелые ноги сыновей легким одеялом, его неожиданно осенило: «Конечно, телеграфировала мать. Для матери мои друзья остаются друзьями в любом случае, даже если между нами годы размолвок, если и разошлись наши пути-дороги, даже если мы и стали совершенно чужими. В памяти матерей

мы остаемся неразлучными друзьями, как в давние-давние отроческие годы... оттого и телеграмма».

Но эта догадка ничуть не успокоила Нуриева. Наоборот. Почему она просила приехать на похороны (а иначе телеграмму он расценивать не мог)? Вообще-то Нуриев понимал, почему мать послала ему «срочную», и оттого сник еще больше. Конечно, он много лет не был дома, мать не видел, да и с друзьями давно не встречался. А ведь их троица, «три мушкетера», была в Мартуке на виду — какое им прочили будущее! Как они дружили — дай бог всякому познать в отрочестве силу и притягательность такой дружбы! Но ведь прошло, пронеслось золотое времечко, улеглась боль, смирилась душа с потерями, даже не верится теперь, что когда-то проклял он с юношеской неистовостью закадычного дружка — Ленечку. Так зачем это знать матери, у которой, наверное, забот невпроворот? Проверяет, не закаменел ли сердцем в далеком столичном городе сын, а проверка-то — страшнее не придумать: Толик Чипигин. Эх, мать! Навидалась, поди, похорон в Мартуке, где не дождались старики деток дорогих в скорбный день, вот и вызвала на чужую панихиду. Последняя догадка была страшной, и Нуриев к утру твердо сказал себе: «Еду».

Сказать, душой решиться — еще не все. Повязан взрослый человек по рукам и ногам: работа, жена, дети, семейный бюджет... А если сидишь на зарплате в сто пятьдесят, кормишь двух ребятешек, тут самые святые порывы души осуществить нелегко. И, совершая в общем-то благородное дело, он выглядел далеко не благородным в глазах администрации, когда выклянчивал недельный отпуск без содержания по телеграмме, не заверенной врачом. Вдобавок неожиданная поездка пробивала брешь в семейном бюджете, и в глазах жены он выглядел уж совсем бесчеловечным, ибо мечта о долгожданном отпуске в местном пансионате становилась для них почти иллюзорной. В общем, выслушав немало упреков и на работе, и дома, Нуриев в тот же день к обеду улетел в родные края.

До Мартука, крупного районного центра, из города пришлось добираться еще два часа автобусом. Прямо с автостанции с дорожной сумкой в руках Нуриев пошел к Чипигиным. Райцентр в последние десять лет сильно разросся. Чипигины, как и Нуриевы, были старожилами Мартука, и поэтому дома их сейчас оказались в центре поселка. Двор Чипигиных — рядом с кинотеатром, где мать Толика, тетя Маша, работала билетером. Тогда им казалось, что нет на свете лучше ее должности: каждый день можно смотреть кино! Бесплатно!



Вечерело. Возле кинотеатра толпился народ, а во дворе у Чипиговых было безлюдно. Нуриев с сожалением подумал, что опоздал. У пустой собачьей конуры стояла грязная табуретка, и Нуриев, ничего не соображая, присел, сразу почувствовав, что устал.

Прислонившись спиной к шершавому стволу старого карагача, к которому, судя по ободранной внизу коре, привязывали собаку, он с грустной нежностью оглядывал знакомый двор, который некогда знал не хуже своего.

— Рафаэль! Рафаэль! — раздалось вдруг за спиной.

От калитки к нему спешила старая грузная женщина. Столкнувшись с этой женщиной где-нибудь на улице, он вряд ли узнал бы в ней мать своего друга. Они обнялись, и она долго плакала на его плече и что-то говорила сквозь слезы, но Нуриев ничего не слышал, мысли его унеслись далеко-далеко, в то время, когда этот могучий карагач был тонким, беззащитным саженцем, эта женщина — молодой, красивой и острой на язык билетершей, а он сам — юным и беззаботным, и когда вся жизнь, казалось, еще впереди.

Вытерев глаза платком, тетя Маша сказала тусклым голосом:

— Успел, успел...

И, видя растерянное лицо Нуриева, добавила:

— Похороны завтра утром. В десять. Ждем дочку из Алма-Аты. Люсю-то помнишь?

Рафаэль кивнул, припоминая, что у Толика действительно была старшая сестра.

— Хочешь увидеть его? — спросила неожиданно тетя Маша.

— Да, конечно, — как-то торопливо, без подобающей моменту скорбности ответил Нуриев, хотя этого ему совсем не хотелось.

В центре комнаты, мало изменившейся с тех пор, как он здесь бывал, на том самом столе, где «три мушкетера» резались когда-то в карты, стоял некрашенный гроб из свежеструганных досок. Книжное, киношное восприятие смерти продолжало довлеть над Рафаэлем, и он машинально припомнил высокие, роскошные, лакированные гробы из западных фильмов, и оттого гроб Чипигина показался ему нелепым. Он почему-то напоминал деревянный балконный пенал для цветов.

В зале стоял душный полумрак, окна были занавешены, только у старых икон в передних углах комнаты, жарко коптя, оплывали свечи. Тетя Маша откинула марлю, прикрывавшую лицо сына.

И в тот же миг Рафаэль закрыл глаза. Он не видел Чипигина десять лет, знал, что в тюрьме его дважды крепко избивали и от этих побоев у него на лице остались следы. Но он не желал этого видеть. Он хотел, чтобы Толик остался в его памяти таким, каким он его знал...

Мать словно и не ждала его, но видно было: приезду сына обрадовалась. Просидели они за самоваром на летней веранде допоздна. Разговор шел о Чипигине. Даже о внуках она справилась вскользь. Рассказывая о Толике, она потихоньку плакала, часто вытирая краешком платка блеклые старушечьи глаза.

«Пожалуй, о нем она знает больше, чем обо мне»,— думал Рафаэль, внимательно слушая мать. Немудрено. Толика она знала с детских лет, вырос тот у нее на глазах, бывал ежедневно у них дома, да и последующая его жизнь не была тайной. В маленьких местечках все на виду, хочешь утаить — не утаишь, а Чипигин, тот не таился, жил нараспашку. К тому же работала мать всю жизнь нянечкой в больнице, куда все слухи рано или поздно стекались.

— Бедный Толя, бедный Толя,— горестно прерывала рассказ мать, и Рафаэль только молча кивал головой, соглашаясь с ней.

— И умер-то от болезни, от которой сейчас не умирают, от ангины. В последнее время шоферил, изредка помогал мне: то угля подвезет, то удобрений на огород, то глины — дом подмазать. Я тут же самовар ставлю, пока он разгружается, значит. С детства любил он у нас чаевничать. Так вот, раздобыл, значит, Толик для механиков нашего пивзавода какую-то важную железку, денег за услугу брать не стал. Те на радостях да в благодарность и предложили ему целую неделю бесплатно пить отборное пиво в подвалах, к которым, кроме районного начальства и гостей сверху, никого не подпускают. Пиво-то ледяное. Привезли его ночью в больницу с высокой температурой. А к обеду он скончался. Уже по дороге домой я тебе телеграмму послала...

Среди ночи Рафаэль неожиданно проснулся, долго ворочался с боку на бок. Он потихоньку встал, оделся, стараясь не шуметь, вышел во двор. Ночь шла на убыль. Не замечая ночной прохлады, сшибая росу с одичавших роз и давно отцветшей сирени, он выбрался на улицу. Нуриев решил пройтись по безлюдной главной улице села. Он неспешно шел вдоль сонных дворов, припоминая их хозяев. И память вдруг сама вернулась к той яркой, незабываемой поре детства, когда у него еще была кличка Мушкетер.



В детстве их было трое — неразлучных друзей. Знали они друг друга с малолетства, а сошлись, кажется, школьниками. В году пятьдесят пятом на берегу речки Илек возле казахского аула Жанатан построили пионерский лагерь, который служит детворе и по сей день, потому что строили его с любовью, добротой, с верой в долгую и крепкую жизнь.

В том пионерлагере Чипига, самый отчаянный из троицы, бесстрашно шарил в реке по рачьим норам. Ловили раков ночью, тайно, с помощью керосинового фонаря или факела. Факельщиком всегда был Ленечка, называвший себя жрецом огня, а Рафаэль таскал ведро. Часто кроме раков Чипига ловил сонных жирных налимов — тогда река еще была богата ими. Раков варили здесь же, на берегу, — дело быстрое. Иногда на такие полуночные трапезы они приглашали девчонок, клятвенно заверявших, что не выдадут тайны ночных вылазок. Девчонки днем охотно соглашались, но когда наступала ночь, ребята тщетно вызывали их условными сигналами: избранницы то ли не могли разорвать сладких пут сна, то ли оказывались отчаянными трусихами. Пройти крадучись по территории лагеря, пробежать сквозь черноту мрачного шелестевшего каждым листком леса к темной реке, где в затонах глухо плескалась крупная рыба, было выше их сил, хотя посидеть у огня и отведать раков им очень хотелось.

Там же в лагере трое друзей получили от физрука прозвище — «три мушкетера». Физрук был неистощим на выдумки: организовывал рыцарские турниры, поединки фехтовальщиков с выбыванием. Их троица всегда выходила в финал. В Мартуке выросло несколько пятиборцев международного класса, и Нуриев, натываясь на фамилии земляков в газетах, всегда вспоминал пионерский костер в ночи и глухой голос физрука, бывшего фронтового разведчика, рассказывавшего легенду об офицере, доставившем в штаб пакет чрезвычайной важности. Чтобы выполнить задание, офицеру пришлось скакать на коне, стрелять, фехтовать, плыть, бежать — словом, преодолевать множество преград. Легендой, романтическим ореолом литературных героев он приобщал бледных, плохо кормленных тонконогих мальчишек послевоенных лет к спорту, к самосовершенствованию...

«Придет ли физрук на похороны?» — мелькнула вдруг мысль у Нуриева.

Наверное, компания могла распасться или, наоборот, увеличиться: уж очень многие набивались к ним в друзья-приятели. Но тогда, по малолетству, им это очень льстило. Три мушкетера...

Учились все трое на «хорошо», правда, Нуриеву приходилось труднее: он был на год старше и учился классом выше. При случае он всегда помогал Чипигину и Солнцеву.

Сафура-апа и тогда работала в больнице из-за какой-то неистовой любви к больным. Врачей она обожала: впрочем, и они за преданность медицине платили ей тем же. Разговоры дома постоянно были о больнице, поликлинике, врачах, операциях... И, конечно же, она хотела видеть единственного сына только врачом. Для такой мечты были свои основания: в школе сын шел на золотую медаль, медицинский институт находился рядом, в Актюбинске.

Самому Нуриеву из всей интеллигенции Мартука врачи нравились более всего: была в них какая-то притягательная сила, он даже подражал в мелочах молодому хирургу Аману Дарбаеву. Об операциях Дарбаева много говорили, его приглашали в лучшие клиники Алма-Аты. Дарбаев, местный, из Мартука, жил со своими стариками, которые ни на какие столичные блага не променяли бы степь. Кажется, тогда же, во времена волнений, связанных с взрослением, надеждами, мечтами, было окончательно решено, что Рафаэль станет врачом. Об этом он, разумеется, сказал товарищам. Те, особенно не раздумывая, тоже изъявили желание стать медиками. Врачей в Мартуке уважали, даже самых молодых величали по имени-отчеству, так что выбор этой профессии одобрил бы каждый — хоть учителя, хоть родители.

А заманчивее всего было то, что несколько лет они будут жить в Актюбинске вместе и, быть может, получать повышенную стипендию. Она казалась им громадной — аж дух захватывало.

В девятом классе они уже ходили на танцы, зимой — в районный Дом культуры, летом — в парк. В тот год впервые в Мартуке на танцах играл эстрадный оркестр. Организовал оркестр при Доме культуры врач-терапевт Виктор Александрович Будко.

Танцы редко обходились без драк, особенно свирепствовали ребята из училища механизаторов.

Ребятам из училища «мушкетеры» казались чистоплюями, маменькиными сынками: всем было известно, что они готовятся поступать в медицинский институт. Особенно не нравилось механизаторам то, что они держатся как братья. То ли проверяя их дружбу, то ли вымещая на них злобу, будущие механизаторы постоянно цапались с «мушкетерами». Троица поначалу уходила от драк. Но стычка была неминуемой, и «мушкетеры» готовились к ней.



Самый отчаянный драчун Мартука Альтаф Закиров, одноклассник Нуриева по прозвищу Торпеда, зная, что «мушкетеры» сшибутся с «ремеслухой», предложил ребятам несколько уроков рукопашного боя. Альтаф заверил, что, если «мушкетерам» придется худо, он непременно вмешается в драку на их стороне. Торпеда слов на ветер не бросал, друзья знали это.

Уроки Альтафа день ото дня придавали им все большую уверенность в собственных силах. Вечный троечник, Закиров обладал незаурядным талантом: режиссера, тренера, каскадера. В Мартуке о самбо, каратэ, джиу-джитсу, дзюдо только слышали, а Торпеда уже имел о них достаточное представление. «Вам легче втроем», — внушал он и учил «мушкетеров» тактике групповой обороны, в нужный момент переходившей в стремительное нападение. Он научил их молниеносным подсечкам, ударам в солнечное сплетение, ударам головой — «на калган», по его выражению.

Драться, конечно, «мушкетерам» пришлось не раз и не два, и не всегда с «ремеслухой»; но они ни разу не дрогнули, не побежали, никто не подвел товарища, и это еще больше сблизило их. В Мартуке с самой весны мальчишки сутками просиживают на улице. И в последнее школьное лето ночи напролет «мушкетеры» сидели у кого-нибудь во дворе, строили самые невероятные планы, а утром бежали на станцию разгружать вагоны: подряды устраивал им отец Чипиги.

А ночью опять разговоры, планы, мечты...

Нуриев еще никого не хоронил. Чипига был первой, горькой утратой, коснувшейся его. Утром он взял в сарае две лопаты и направился к русскому кладбищу. По дороге повстречался с матерью: Сафура-апа возвращалась с дальнего пастбища, сегодня был ее черед выгонять коров.

Узнав, что сын идет на похороны, вернула его домой, объяснила, что у русских хоронят не так, как у татар: могилу роют могильщики, а не всем миром, как принято у мусульман.

Когда к десяти Нуриев подошел к дому Чипигиных, во дворе и в переулке было многолюдно. Едва он миновал калитку, какая-то тетка подхватила его под руку и торопливо повела в дом, на ходу расталкивая людей и неизвестно кому объясняя: «Толика дружок, дружок Толика... Издалека приехал...»

Войти в дом не успели: выносили...

Едва появился в низкой двери край открытого гроба, тетка глазами показала Нуриеву, что Рафаэлю следует поддержать его:

видимо, так было кем-то решено, и толстый незнакомый мужчина без слов уступил ему свое место. К машине, усланной потертым красным ковром, в которой уже голосили старухи, гроб несли медленно, сквозь неожиданно начавшийся во дворе плач и причитания.

Нуриев заметил: гроб несет и сильно постаревший Альтаф.

Машина медленно тронулась, и неожиданно для Нуриева заиграл не совсем в лад духовой оркестр. Так, под траурные марши, заглушавшие плач и стенания старух, они дошагали до заовражного кладбища.

У могилы, показавшейся Нуриеву огромной, стоял дряхлый поп. Риза на нем висела, как на колу. «Жив еще батюшка», — почему-то обрадовано подумал Нуриев.

К ногам попа и опустили гроб. Когда батюшка начал осенять крестом покойника, плач и причитания разом стихли. Нуриев стоял в плотной толпе близко к могиле, не отрывая глаз от гроба, и вслушивался в слабый голос старика.

Вдруг кто-то положил ему на плечо тяжелую руку и прошептал на ухо:

— Здравствуй, Раф!

Нуриев, узнавший голос Солнцева, хотел было скинуть руку с плеча, но, к счастью, успел сообразить, что сейчас не время и не место сводить личные счеты, а уж по отношению к мертвому Чипиге это было бы полным свинством. Так они и стояли вместе, и всем казалось, что Ленечка утешает друга, прилетевшего издалека. А у Нуриева только теперь шевельнулось что-то в душе; дошло до него, что хоронят не только друга, но и часть его жизни, к которой возврата нет, и не было ему сейчас дела до Солнцева.

Нуриев плохо помнил, как помогал опускать гроб, как сбрасывал тяжелой грабаркой землю, глухо ударявшуюся о деревянную крышку. Очнулся; увидел Альтафа, вешавшего на свежевыкрашенный крест на могиле Толика рулевое колесо.

Альтаф, перехватив удивленный взгляд Нуриева, сказал:

— Он был шофером и хорошим человеком. Ну, идемте, ребята, помянем...

Закиров обнял за плечи Рафа и Ленечку, и втроем они медленно пошли с кладбища.

Стол для них был накрыт отдельно в глубине двора, на огороде. Хотя и выпивки, и закуски на столе было предостаточно,



Альтаф ненадолго отлучился и вскоре вернулся с бутылкой коньяка и тяжелой кистью винограда.

— От Люси,— сказал он, разливая коньяк, как привык, на три равные части. Нуриев заметил, как Солнцев сделал недовольное лицо, но, видя, что Раф потянулся к стакану, тоже поднял свой, и они молча, не чокаясь, выпили.

Во двор приходили и уходили те, кто хотел помянуть земляка, а они все продолжали сидеть. К их столу подходили: директор школы, физрук, Люся, прилетевшая из Алма-Аты, мать Толика, еще кто-то, кого Нуриев не знал. Вместе со всеми он поминал Чипигина. Уже отвели в дом захмелевшего Альтафа, а Нуриев, хотя и пил много, не пьянел.

На какое-то время они остались за столом одни, и Ленечка рассказывал ему о Чипиге — то, о чем не знал или позабыл сказать захмелевший Альтаф. Дважды у стола появлялся шофер Солнцева, показывая своим присутствием, что пора бы и уезжать, но Ленечка его словно и не видел. Когда шофер замаячил в третий раз, нервно поигрывая ключами, Солнцев заторопился: видимо, в городе его ждали дела.

— Когда отбываешь? — спросил он, вставая из-за стола.

— Послезавтра,— ответил Нуриев.— А что?

— Послезавтра суббота, улетишь в воскресенье,— ответил, словно приказал, Солнцев. Он протянул Нуриеву глянцевую визитную карточку и добавил: — О билете и гостинице не беспокойся. Подойдешь к администратору и скажешь — от Леонида Яковлевича. В субботу жду.

Дома, шаря по карманам в поисках сигарет, Нуриев достал визитную карточку, про которую уже забыл. На добротном глянцевом картоне значилось: «Солнцев Леонид Яковлевич. Хирург, кандидат медицинских наук, заведующий Горздравом». А ниже, помельче, телефон и адрес. «Хоть один оправдал надежды»,— просто, без зависти, подумал Нуриев, хотя о том, что Солнцев преуспел, он слышал.

Нашлись сигареты, и мысли о Ленечке улетучились: сегодня был день Чипигина.

Беда подкосила Толика на втором курсе мединститута, через полгода после того, как Нуриева неожиданно призвали во флот. Чипига вдруг хорошо заиграл в баскетбол, все свободное время проводил в спортзале, а к концу первого курса попал в сборную института. Однажды осенью после игры он решил принять душ; в душевой

холод был лютый, да и вода ледяная, а Чипига то ли уж сильно разгорячился и остывать ему было некогда, то ли, как обычно, покуражиться решил. В общем, принял он душ под улюлюканье команды, а к вечеру — температура сорок. Кто-то из умников еще лед к голове всю ночь прикладывал. Утром его без сознания увезли в больницу. Менингит. Почти год провалялся по больницам, чудом остался жив, выписался с инвалидностью. Об учебе и речи быть не могло — никакого умственного напряжения. Еще год провел в санатории в Боровом. Вернулся домой, жил на грошовую пенсию, сидел на шее у матери. Но организм молодой, сильный, — начал Чипига поправляться, только глаза немного косить стали. Физрук школьный вновь его в спортзал затащил, разработал для него специальный комплекс упражнений. Через полтора года инвалидность сняли, признали годным к работе. Чипигиных в Мартуке знали, да и беда не оставила людей равнодушными: директор районного банка предложил Толику должность инкассатора. Дело нетрудное — раз в день, к вечеру, собрать в магазинах выручку и доставить в банк. А магазинов в Мартуке всего-то пять. В общем, согласился Толик, и жизнь вроде стала налаживаться.

Вновь беда подкараулила его через год. Однажды вечером, когда на танцы только начал стекаться народ, кто-то из соседских ребят наткнулся у цветочной клумбы в глубине парка на валявшегося без сознания Чипигина, рядом лежала пустая инкассаторская сумка. Куда девались пятнадцать тысяч, следователю он объяснить не мог. Расследовали это чрезвычайное для Мартука событие долго и тщательно специалисты из области, и кончилось оно для Чипиги восемью годами тюремного срока.

В тюрьме Чипигин не попал в струю, — характера он был свое нравного, насилия над собой не терпел. Дважды его переводили из тюрьмы в тюрьму, потому что дрался он с тамошними паханами насмерть. В драках этих ему так изуродовали лицо, что когда он, досрочно, через шесть лет, освобовился, мать не узнала его.

После тюрьмы Толик шоферил на автобазе, неожиданно для всех женился на какой-то приезжей с двумя детьми. Баба попалась вздорная, крикливая, любительница выпить. В громких и неприглядных скандалах прожил он с ней два года, развелся, и тут такая нелепая смерть.

На другой день, когда мать ушла на работу, Нуриев открыл сундук. Хотелось почувствовать запах сандалового дерева, адохнуло



из старого китайского сундука прожитой жизнью: детством, коротким студенчеством, трудной службой во флоте.

В сундуке, в который он заглядывал лет десять назад, лежали какие-то странные вещи. Он-то хорошо помнил, что хранила в нем мать. Теперь же здесь, словно для будущего музея, были собраны все его вещи, оставшиеся дома. Книги, в основном по медицине, что покупал он, будучи студентом мединститута. В узком боковом отсеке увидел складной перочинный ножик, который считал давно утерянным и о котором в свое время долго сожалел. Лежали там компас и потрепанная колода карт, значок БГТО, тут же находилась коробочка из-под вазелина с рыболовными крючками. Белое кашне, пестрые галстуки, бархатная бабочка, старые перчатки — это были вещи его прошлой жизни, вещи, которые он с трудом припоминал.

Перебирая книги, он наткнулся на толстый, в сафьяновом переплете, альбом с фотографиями, который завел с первой же стипендии: была тогда такая альбомная мода. На первой наугад открытой странице — большая студийная фотография троицы. Он сидел на стуле, закинув ногу на ногу, а Чипигин и Солнцев стояли у него за спиной, положив руки ему на плечи.

Студенческие фотографии чередовались с флотскими. Флотских оказалось немного: он, переросток, служивший не со своими одноклассниками, да еще бывший студент, долго для многих оставался чужаком. Только годы и трудная служба притерли моряков друг к другу, и фотографии, в основном, были третьего или четвертого года. Нуриев и до службы не был балагуром и весельчаком, как Чипигин, а на флоте и вовсе замкнулся — за глаза его называли «молчуном».

Неожиданно он наткнулся на пожелтевший любительский снимок. К парадному входу института по широкой мраморной лестнице поднималась хрупкая девушка с книжкой в руке. Снимок был сделан издали и неумело, главным в кадре оказался величественный парадный вход. Ветер слегка взбил подол модной в то время широкой юбки и растрепал густые длинные волосы. Пожалуй, для того чтобы разглядеть девушку на плохо отпечатанной фотографии, а уж тем более увидеть книжку, растрепанные волосы, юбку-колокол, нужен был зоркий глаз, но Нуриев видел не фотографию, он вглядывался в тот давний ветреный день осени. Все вставало перед глазами как наяву: желтый с белым фасад здания, золотистые лакированные парадные двери, розоватый с темными прожилками мрамор изящной лестницы, багряные кленовые листья...

Он долго смотрел на фотографию, словно пытаясь остановить девушку, заглянуть ей в лицо, но это ему не удавалось, как не удавалось заглянуть ей в лицо в тех редких снах, когда она являлась ему из давней, счастливо-мучительной жизни.

Он забыл ее лицо. Он не помнил лица любимой! Он помнил все, что относилось к ней: ее платья, ее шубку, помнил улицу и номер ее дома, номер телефона, мог вдруг вспомнить заколку в ее тяжелых каштановых волосах, помнил ее купальный костюм, когда единственный раз встретился с ней на городском пляже, зеленый шарфик, развевавшийся вокруг разгоряченного лица, когда она неумело пыталась крутить «волчок» на катке. Лицо ушло из памяти начисто, его словно выкрали однажды, хотя там, на подводной лодке, девушка снилась ему каждый день. Снилось милой, доброй, как в те редкие дни ее любовного отношения к нему. Приходила в знакомых платьях, в знакомые места, смеялась, как всегда много шутила, но никогда больше он не видел ее лица, ее глаз, хотя в снах не раз пытался заглянуть ей в лицо.

Если кто-нибудь и попытался бы нарочно придумать тягчайшее наказание, то более жестокого и мучительного для Нуриева выдумать было нельзя. У него сохранились фотографии одноклассниц, сокурсниц, девушек, которым он нравился в институте, на флоте в далеком Мурманске, но не было ни одной ее фотографии, кроме этой пожелтевшей любительской карточки.

Нуриев вынул из альбома фотографию девушки у парадного входа. Он и не думал завтра ехать в город, останавливаться в гостинице и встречаться с Солнцевым. Город теперь был ему чужим, это когда-то, давно, особенно на флоте, от одного упоминания о нем у Нуриева замирало сердце, и как рвалась туда душа — не высказать! Ведь там жила она, его любимая — Галочка. А теперь и следов ее там не отыскать, замели их февральские поземки, запорошило сыпучим песком злых степных суховеев, смыло весенними ливнями многих лет... А Солнцев? Через столько лет выяснять отношения — все равно что после драки кулаками махать.

«Зачем возвращаться в прошлое, трогать старую рану? Посмотри на себя в зеркало... При твоих ли заботах да проблемах мучиться давними любовными историями?» — иронично спрашивал себя Нуриев.

Но память, которую он, как злую собаку, хотел усадить на короткую и прочную цепь, то и дело убегала в прошлое.

Впервые он увидел Галочку на осеннем балу, что по традиции давали тогда в медицинском в честь первокурсников.



В темном вечернем платье с глубоким вырезом на груди, с тщательно уложенными волосами, она мало походила на студентку, а по меркам Нуриева казалась просто кинозвездой. Никогда ему больше не приходилось видеть вблизи такую красивую и так одетую девушку. Рафаэль знал, что ее окружают институтские знаменитости: известные трубачи братья Ларины, баскетболист Мандрица, чемпион республики по боксу Кайрат Нургазин, был среди них и поэт Валентин Бучкин. Бучкина Рафаэль знал — тот жил в общежитии в соседней комнате.

Смелчакам со стороны, приглашавшим ее танцевать, она отказывала, а танцевала с Черниковым, высоким молодым человеком, популярным не только в институте, но и в городе эстрадным певцом. Тогда в концерте для первокурсников он спел в сопровождении джаза популярный «Вишневый сад» и несколько грустных песен на английском языке, названий которых Рафаэль не запомнил.

«С кем же ей и танцевать, как не с ним?» — безнадежно думал Нуриев, но глаз оторвать от нее не мог. И вдруг, когда заиграли «Арабское танго» и зал вмиг оживился, потому что в нынешнем сезоне это танго было самым популярным, Нуриев, оказавшийся рядом с ней, неожиданно для себя рискнул.

— Разрешите? — протянул он ей руку.

Черников, задержавшийся с приглашением, недоуменно посмотрел на Нуриева, соображая, откуда взялся этот мальчишка.

А она, уже готовая отказать ему, вдруг увидела на лацкане пиджака цифру «1». Бал давался в честь первокурсников, и она шагнула к нему.

— А вы смелый! Оставить Черникова с носом — не каждый бы на это отважился.

— Я думал о вас, а не о нем, — ответил, смелея, Нуриев.

— Никакого почтения к институтским «звездам», плохо начинаете, молодой человек, — улыбнулась девушка.

— Если в этом зале и есть звезды, то первая среди них — вы, — в тон отвечал Нуриев.

— А вы к тому же и льстец, оказывается, — шутливо нахмурила она брови. — Как вас зовут, непочтительный первокурсник?

— Рафаэль.

— О! У меня был в школе поклонник с таким именем. Я вас буду называть короче — Раф. Вас это не обидит?

— Ну что вы, как вам будет угодно. А как мне величать вас?

— А вы уверены, что вам необходимо знать мое имя? — Заметив, как сразу сник Раф, она улыбнулась. — Ну-ну... А зовут меня Галей, если хотите знать. Не хандрите, я не люблю унылых лиц...

Мечты об отличной учебе и повышенной стипендии, созревшие в короткие ночи последнего школьного лета в компании Чипигина и Солнцева, рухнули в первую же сессию. С двумя четверками по химии и анатомии о повышенной стипендии не могло быть и речи. Однако Нуриев не особенно огорчился. В институте отличников не набиралось и двух десятков, и странно: они не пользовались такой популярностью, как спортсмены и джазмены, не говоря уже о Черникове и Бучкине.

В первые несколько недель до злополучного бала, где он безнадежно с первого взгляда влюбился в признанную институтскую красавицу Галочку Старченко, учившуюся курсом выше, по субботам после занятий Нуриев бежал на вокзал и любым поездом — будь то товарняк или скорый — добирался домой, прыгая на ходу, на стрелках, когда поезд слегка сбавлял ход. Дома с нетерпением ждали его друзья.

После танцев в Доме культуры они допоздна засиживались у кого-нибудь дома, чаще всего у Нуриева. Сафура-апа дежурила и по ночам, считая, что не за горами то время, когда придется женить сына. Ребята спрашивали о городе, об институте, общежитии, преподавателях, о спортивных залах и площадках, об институтском оркестре, о котором они были наслышаны давно: в нем на саксофоне играл когда-то Виктор Александрович Будко, нынешний терапевт Мартука.

На октябрьские праздники Раф вернулся в Мартук менее восторженный, чем обычно, и друзья, без труда заметившие в нем перемену, заставили рассказать все как есть. Нуриев, не таясь, поведал, что влюбился, признался, что девушка — нереальная мечта, потому что сам Черников — слухи о его необыкновенном голосе и артистическом обаянии дошли и до Мартука — влюблен в нее.

Чтобы понравиться такой девушке, как Галочка Старченко — она играет на фортепиано, стихи пишет, — самому надо быть личностью, понял Нуриев. Но как бы он ни оценивал себя с разных сторон, ни на личность, ни тем более на знаменитость он никак не тянул. Ни петь, ни играть на трубе, как братья Ларины, или на гитаре, как Ефим Ульман, он не умел. На все нужен талант, а стать знаменитым боксером, как Кайрат Нургазин, ему было просто не под силу,



ведь на это годы и годы нужны, а знаменитым необходимо было стать сейчас, немедленно!

Он понимал, что ему мало быть ordinarily знаменитым, как Петька Мандрица, который в любом баскетбольном матче набирал не менее сорока очков, который, не глядя, клал мячи в кольцо и на спор бросал штрафные с завязанными глазами. Раф непременно хотел так же ярко говорить и мыслить, как поэт Валька Бучкин. Он уже заметил: когда рядом Валентин, редко кто выпендривался и демонстрировал свое красноречие. И Нуриев решил первым делом научиться говорить, набраться умных мыслей — благо Валентин жил рядом, так что слушать его он мог, когда хотел, и книг, из которых тот, наверное, черпал мудрые мысли, Валентин не жалел — бери какую хочешь, а комната его была прямо-таки завалена ими, куда ни ткнишь — везде книги.

И все же не было равных Черникову: этот был всегда подтянут, элегантен, туфли начищены, надраены — и как только это ему удавалось? Всем вышел Черников; казалось, не было в городе ему соперников. Девчонки забрасывали его письмами, а вот с Галочкой у него не ладилось.

Нуриев, страдавший от сознания своей ординарности, подавленный популярностью Черникова, в какой-то день совершенно успокоился и перестал считать того соперником; просто он понял: дело не в Черникове или в ком-нибудь другом, а в нем самом. С одержимостью провинциала Раф занялся самообразованием. Читал много, ночи напролет, и вскоре книг Бучкина стало недоставать. Валентин, в общем-то парень одаренный, страдал ленью, безынициативностью, был по натуре созерцателем, что, наверное, характерно для многих поэтов. Такие натуры время от времени словно просыпаются, начинают суетиться, как бы наверстывая упущенное, и тогда их обуревают жажда общественной деятельности, неистового служения надуманному идеалу или щедрого, прямо-таки безмерного покровительства слабому и униженному, даже в ущерб себе. В одно из таких озарений, когда Валентин решил жить, как говорится, с нуля, чтобы каждый день был если не во благо отечеству, то хотя бы во благо окружающим, он увидел, что парень из соседней комнаты быстро и, судя по всему, не без пользы одолел книги, на которые он сам, к своему стыду, потратил годы.

Как многие поэты, Бучкин был тщеславен, самовлюблен, и как же польстило ему однажды, когда он, возвращаясь поздно

с каких-то посиделок и проходя мимо комнаты Нуриева, услышал вдруг, как тот читал вслух ребятам его стихи. Судя по тому, что света в комнате не было, читал он наизусть и, как показалось Валентину, читал прекрасно, не перевирая ни одной строки, оттеняя то, что ему самому как автору хотелось выделить. Молодая память Нуриева без труда схватывала стихи соседа, может, еще и потому, что Валентин отдавал предпочтение лирике. Нуриев предполагал, что Бучкин тоже в кого-то безнадежно влюблен: все им написанное по духу и настроению было близко Рафу и воспринималось как свое. Хотя Нуриев прекрасно знал недостатки Бучкина — лень, заносчивость, пренебрежение к своему внешнему виду, тем не менее для Рафа он оказался в жизни первым и единственным кумиром. Вальку иногда захлестывали потоки красноречия в самых неожиданных местах — на кухне, в красном уголке, в прачечной, где он брезгливо и неумело стирал собственное белье. В такие минуты, зная, что Нуриева хлебом не корми, а дай послушать Бучкина, кто-нибудь непременно бежал за ним и, просунув в приоткрытую щель двери голову, орал: «Беги, Валька на кухню развыступался о какой-то Цветковой или Цветаевой!»

Иногда, когда слушателей не находилось, Валентин как бы случайно заходил в комнату Рафа, обнимал его за плечи и заговорщически начинал: «Я вот тебе, брат, что скажу...» — и уводил Нуриева к себе на долгие часы. Нуриев спохватывался только тогда, когда понимал, что о занятиях сегодня не может быть и речи. Стихи свои Валентин хранил в толстых потрепанных папках. Нуриеву был великодушно разрешен доступ к ним в любое время дня и ночи. Однажды в порыве душевной тяги к Бучкину из-за одного уж очень взволновавшего его стихотворения Нуриев купил роскошную, в тисненном кожаном переплете, с мелованной бумагой, тетрадь и своим каллиграфическим почерком, не ленясь, переписал все стихи, которые только удалось отыскать. Когда он показал Бучкину свою работу, впечатлительный Валентин был растроган. Через час Бучкин вернулся и, волнуясь, попросил подарить эту тетрадь ему; видимо, он понимал, что никогда не соберется переписать собственные стихи, тем более так изящно и красиво. Нуриев, конечно, отдал тетрадь, — рад был, что угодил своему кумиру. Но и самому Рафу нашлась награда: среди бумаг Бучкина он обнаружил шесть стихотворений Галочки Старченко — наверное, тех самых, о которых Бучкин хорошо отзывался. Стихи эти тоже без труда легли в память, словно он их всегда знал, но странно, они тоже были о безответной любви.



Шли месяцы. Нуриев ощущал, как теряет интерес к занятиям, но ничего поделать с собой не мог. В институт он ходил каждый день потому, что надеялся увидеть ее, услышать ее голос, перехватить взгляд или улыбку, не предназначенные ему, но и это ему удавалось не всегда: учились они на разных курсах, на разных факультетах, занимались в разных зданиях и аудиториях. Даже в тех случаях, когда он встречал ее, ни разу она не была одна, всегда ее окружала шумная свита. Могла ли она, увлеченная разговором, увидеть его сдержанный кивок или услышать задушенное волнением «здравствуйте»? Наверное, нет, но на громкое фамильярное «привет» или «салют», принятое в ее компании, он не решался. За полгода она ни разу так и не заговорила с Нуриевым.

Однажды в институте, когда она шла ему навстречу, опять же в окружении друзей, среди которых был и Бучкин, Раф вновь потянулся к ней взглядом, чтобы раскланяться и сказать: «Здравствуйте». Но Галочка не удостоила его даже легким кивком, и он расстроился как никогда. Нехотя тащился он в общежитие, когда по дороге его нагнал Бучкин, возбужденный от предстоявшего в тот день застолья, на которое он только что был приглашен. С ходу он шумно обнял Нуриева и, не давая опомниться, зачастил:

— Видел, брат, видел. И ты, значит, влюблен в Старченко,— вот бы не подумал. Забудь и выбрось из головы, иначе — гибель!..

Но и в самой беспросветной жизни случается удача, выпала она и Рафу. На 8 Марта «мужчины» решили устроить вечер для девушек на квартире у Лариных. К событию этому готовились долго и тщательно, и деньги собрали сразу после стипендии, избрав казначеем Бучкина. Встречаясь с Валентином не один раз на дню, Нуриев был в курсе всех приготовлений. Видел он и шуточные персональные приглашения девушкам, которые оформил Петька Мандрица, кроме баскетбола увлекавшийся еще и рисованием, а стихи написал каждой, конечно, сам Валентин.

Было приглашение и Старченко. Набиваться в компанию старшекурсников было делом бесполезным, да и неудобным; Валентин сам ничего не решал, хотя и был казначеем. Компания сложилась не сегодня, каждая новая кандидатура ревностно обсуждалась, да и желающих было много. С мыслью, что на праздник не попасть, Раф смирился и потому особенно не переживал. Утешало его то, что Валентин потом непременно перескажет ему весь вечер в лицах, обладал он и таким талантом. Нуриев даже помогал Валентину,

относил вместе с ним какие-то покупки в дом Лариных. Хотя Раф завидовал и, может, даже недолго любил кое-кого из «избранных», он отдавал должное тому, что развлекаться они умели весело, талантливо. Не какие-нибудь примитивные «фантики» или пошлые «бутылочки», танцы до упаду... Он знал, что Черников будет петь, братья Ларины будут играть на гитарах и петь цыганские романсы или в четыре руки выдадут джазовые композиции Гленна Миллера; в зале Нуриев видел прекрасный концертный рояль — на нем Старченко исполнит Шопена, а уж больше всех сорвет аплодисментов Бучкин — увлечение поэзией в те годы было модой в институте. Видимо, с праздником Валентин связывал какие-то надежды, потому был энергичен и старателен, даже брюки, купленные специально к этому вечеру, заузил до предписывавшегося жестокой модой минимума — еще полгода назад об этом не могло быть и речи. Настораживало и то, что, несмотря на занятость, лихорадочные приготовления к «балу», как Валентин называл вечеринку, ночи напролет он писал стихи. Стихи эти по дороге в институт он отдавал Нуриеву, а вечером вдруг забирал, приговаривая: «Не то, брат, не то», чего прежде с ним не случалось — к написанному он никогда не возвращался. В организации «бала» то и дело возникали какие-то, казалось, неразрешимые проблемы: финансового, бытового и даже дипломатического характера. Последнее дважды ставило под угрозу само мероприятие. «Прекрасный пол» никак не хотел выстраиваться в идеальный ряд, каким он виделся организаторам: то и дело возникало: «Я или она».

Деликатная миссия была поручена Черникову. И тот, по мнению Валентина, справился с ней превосходно, заработав от братьев Лариных кличку Дипломат. Но, как бы там ни было, все, наконец, утряслось, ждали праздника. И надо же такому случиться: за день до срока Валентин то ли простудился, то ли где воды ледяной напился, и у него заложило горло, он затих, замолчал. Кто-то даже беззлобно пошутил: «Почему выключили Бучкина?» Все, как будущие врачи, наперебой предлагали полоскания, компрессы, прогревания, но голос у Валентина сел окончательно.

С самого Нового года Бучкин не читал новых стихов, а тут пообещал на женский праздник всего навалом, и вот — вышла неувязка. Больше всего он огорчился оттого, что стихи на этот раз удались.

И вот тут Валентина осенило: что, если их прочтет Раф? Читал Нуриев, пожалуй, даже лучше, чем он сам, а отдельные стихи,



которые Бучкин никак не мог решиться обнародовать, гораздо лучше прозвучали бы в устах нейтрального человека и не выдали бы автора с головой, чего пуше всего боялся легкоранимый поэт. В том, что это выход, да еще удачный, он не сомневался, но как пригласить Нуриева? Когда Валентин сказал об этом братьям Лариным, те уперлись и предложили на сей раз вообще обойтись без поэзии, тем более что причина уважительная... Но это вовсе не устраивало Бучкина, он пошел за советом к девушкам. И те, конечно, решительно его поддержали, выразившись на удивление кратко: «Без поэзии праздник не праздник». Ребятам пришлось уступить.

О своих сложных переговорах насчет Нуриева Валентин Рафу не говорил — не был уверен в успехе,— а единодушная поддержка прекрасного пола удивила его самого. Когда днем в институте Валентин сказал Рафу, что тот приглашен на бал к Лариным, Нуриев поначалу не поверил, решил, что Валентин шутит.

Задолго до назначенного срока Нуриев в полной готовности зашел к соседу. Валентин лежал на кровати и читал переписанные Рафаэлем собственные стихи, делая на некоторых страницах пометки карандашом. Увидев Нуриева, он отложил тетрадь и оценивающе оглядел его.

— Да, брат, выглядишь ты, прямо скажем, слабовато. Они не стихи станут слушать, а будут разглядывать тебя, как чучело огородное. Ты и начнешь нести ахиною. Ребята там хоть и свои, но снобы жуткие. На мой внешний вид они махнули рукой, говорят: богема — что с него взять. Но сегодня и я не могу составить тебе компанию; вон брюки отутюжил, стрелки не хуже, чем у Черникова, рубашка свежая, даже бабочку взял у ребят в соседней комнате.

Видя, как моментально скис Нуриев, Валька встал.

— Да ты, брат, не расстраивайся, я сейчас что-нибудь организую.

Внимательно оглядев Нуриева, Валентин исчез в коридоре. Через полчаса вернулся с модным пестрым пиджаком, красной рубашкой и каким-то шнурком вместо галстука. Больше всего Валентин радовался шнурку, говорил, что даже у Черникова пока нет этой новомодной штучки.

Дом Лариных, некогда спроектированный и отстроенный их отцом — главным архитектором города, издали манил огнями. Бучкин и Нуриев поднялись на высокое, в пять ступеней, крыльцо и позвонили.

Встретил их Черников. Из слабо освещенного зала, где лишь на рояле горела свеча и в углу светился торшер, доносилась музыка, за инструментом спиной к ним сидела Старченко.

На кухне суетились только мужчины. Все что-то резали, открывали, раскладывали по тарелкам, а у плиты, на которой что-то жарилось, колдовал Кайрат Нургазин. Сервировать стол в просторной столовой доверили Черникову, а Нуриев был отдан ему в помощники. Раф, впервые попавший в такой роскошный дом, где все были прекрасно одеты, вежливы и учтивы, растерялся. Подобное он видел только в кино, и даже ребята, в общем-то знакомые, представлялись ему более значительными. От этого он робел еще больше. И потому, когда усаживались за стол, Раф постарался занять место подальше от Галочки, боясь, что от волнения и неуверенности что-нибудь прольет или опрокинет на белоснежную скатерть. Но Валентин понимал молодого друга и при первой же возможности ободрил его — держи хвост пистолетом! — и выпил с ним по рюмочке за удачу.

Веселье набирало обороты, в честь прекрасных дам провозглашались тосты — один изящнее другого. Прекрасные дамы в ответных спичах преклонялись перед кулинарным гением Нургазина и безупречным вкусом Черникова, сервировавшего стол, не был забыт даже казначей.

Вскоре гости включили на всю мощность мигавшую зеленым глазком радиолу, и начались танцы. Однако радиола кого-то не устроила, и Ларина попросили сесть за инструмент. Младший Ларин, подвинув поближе шандал с оплывшими свечами, заиграл попури из модных танго. Нуриев хотел кого-нибудь пригласить, но всех девушек быстро разобрали, и он, встав у рояля, смотрел, как бойко, без нот управляется с мудреным инструментом Ларин. Видимо, попури рождалось экспромтом, было незнакомым, хоть и вобрало все мелодии, которые хотели услышать танцующие. Как только он закончил играть, раздалось: «Браво! Браво!» Все зааплодировали, а Ларин, не изменяя принятой шутливой манере, сказал:

— Прошу зачесть как персональный подарок нашим очаровательным гостям.

Пока девушки осыпали Ларина комплиментами, Черников успел разлить по бокалам искрящееся шампанское.

— Шампанское и поэзия! — на весь зал сказала Женя Скорикова. И, не видя рядом Бучкина, так же громко продолжила: — Валентин, еще две недели назад вы обещали нам новые стихи, просим!



Девушки захлопали в ладоши, стали рассаживаться поудобнее. Ребята принесли кресла и стулья из других комнат. Раф поискал глазами, где сидит Старченко, и обнаружил ее рядом: она пристроилась на вертящемся стуле, откинув назад локти на прикрытую крышку инструмента, и свет от догоравших свечей освещал ее лицо. Валентин обнял Нуриева и тихо шепнул ему: «Спокойно, спокойно, все будет о'кей!» Взглядом он выбрал удобное место и неожиданно подвел друга к роялю. Еле слышным голосом он объявил:

— Друзья мои! С большим удовольствием представляю вам моего молодого друга, хорошо знающего и искренне почитающего поэзию, который любезно согласился выручить меня и почитать вам давно обещанные стихи.

Никогда до сих пор Нуриев не испытывал к себе такого внимания, как сейчас, и понимал, что должен начать с чего-то стоящего, настоящего. Неожиданно для самого себя начал читать любимое самим Бучкиным пастернаковское:

Что сделать мне тебе в угоду?  
 Дай как-нибудь об этом весть.  
 В молчаньи твоего ухода  
 Упрек невысказанный есть.

По затаившемуся залу Раф чувствовал, что пока все идет нормально. Чередуя малоизвестные стихи знаменитых поэтов со стихами Валентина, он смелел с каждой минутой, чужие строки распрямили ему плечи, вернули спокойствие, ровное дыхание.

К Рафу неожиданно пришло вдохновение. Он, как Ларин, экспромтом компоновал на ходу стихи разных поэтов, те, которые выстраивались в единый эмоциональный строй. Читал он долго, но усталости не ощущал, не ощущал и того, что может иссякнуть запас стихов, на память приходили строки, на которых он, казалось, никогда не останавливал внимания.

Погасла догоревшая свеча, и возникла минутная пауза. Опять же Скорикова с не свойственной ей грустью в голосе сказала в темноте:

— Все прекрасно до боли, до слез, но это мужские страдания, а любить истинно, мне кажется, могут только женщины...

В другой ситуации это стало бы предметом горячего спора, но сейчас никто не возразил Скориковой, каждый думал о своем.

Ларин принес новые свечи. На ходу легонько хлопнув Нуриева по плечу, шепнул: «Пожалуйста, продолжайте...»

Раф начал читать Ахматову, изредка перемежая ее стихи стихами Цветаевой, и вдруг, взглянув на освещенный профиль Галочки, вспомнил. Она ведь тоже пишет стихи. Нуриеву они запомнились, и он не сомневался в их успехе. Он смело начал читать написанное девушкой, радуясь, что сможет сделать ей приятное. Читал Раф медленно, несколько глухо, отчего получалось теплее, доверительнее, но не решался взглянуть в ее сторону. Он уловил стук откинутой крышки рояля, повернул голову. Галя пыталась тихо подыграть ему в такт. В какую-то минуту между ними установилась связь. Да, она безошибочно угадывала, что он будет читать дальше, и после небольшой паузы, когда он переводил дыхание, давала точный аккорд для вступления. Играя, она поворачивала к нему свое взволнованное лицо, подбадривала. Всхлипнула в дальнем углу тихая Эллочка Богданенко, но никто не прореагировал на это. Когда они закончили, кто-то включил огромную люстру под высоким потолком, и комнату залило ярким светом, как в театре. Все как-то медленно, тихо поднимались с мест, а потом разом зашумели, загалдели, стали поздравлять исполнителей. Скорикова от избытка чувств за то, что рассказал он и о женской любви с помощью Ахматовой и Цветаевой, растолкала всех и расцеловала Нуриева.

— Это надо обмыть,— зашумел Ларин, приглашая всех снова к столу.

— Идемте, Раф. Я не отпущу вас, ведь я вправе разделить с вами триумф! — сказала Галя, лукаво заглядывая ему в глаза.

Когда снова начали танцевать, она положила обе руки ему на плечи и, все так же улыбаясь, продолжила разговор, словно и не было долгих месяцев с того осеннего бала, когда она заговорила с ним впервые.

— Признайтесь, это Валентин придумал задобрить меня таким образом? Скажу прямо, вам это удалось, мне было приятно приятно принародно услышать свои слабые вирши. О таком подарке я и мечтать не могла.

— В ваших стихах много искреннего чувства.

— Опять льстите, Раф. Но, как бы там ни было, я, пожалуй, тоже расцелую вас, как другие...

Вечер в доме Лариных перевернул всю жизнь Нуриева. Кто знает, как сложилась бы его судьба, не притащи его Валька читать стихи.

В те ночи в Мартуке, когда они втроем, казалось, обсудили все в своей будущей студенческой жизни, на первое место была поставлена



учеба. Конечно, они не собирались ограничиваться только этим: спорт, концерты, танцы, диспуты — на все хватило бы сил... Но вот о том, что могут влюбиться, они как-то забыли. Правда, Солнцев как-то сказал, что, заканчивая учебу, нужно обязательно жениться. Они-то знали, что распределят их по маленьким райцентрам, поселкам, дальним казахским аулам. Тогда они согласились с Ленечкой: конечно, сельскому врачу жениться нужно, — но обсуждать эту проблему не стали, сошлись на том, что за этим дело не станет.

Но, оказывается, достаточно было одного взгляда на Галочку, чтобы круто изменилась жизнь, и все планы Нуриева полетели вверх тормашками.

Теперь Раф знал, что на следующий праздник или день рождения его пригласят в компанию непременно, — по крайней мере, об этом позаботятся девушки, которых тронули впервые услышанные стихи Цветаевой — Валентин читал им только свое. Нуриев также понимал: повторись он раз, другой — и интерес к нему пропадет. Поэтому он целыми днями пропадал в библиотеках, копался в книгах, запустив учебу до крайности.

Теперь уже не каждую субботу он бывал в Мартуке, хоть и знал, как ждут его Чипига и Ленечка. В первые его студенческие дни Сафура-апа уговаривала сына сшить новое пальто, заказать в ателье костюм. Тогда Раф возражал, говорил, что и так походит, шутил, что не одежда красит человека и нечего, мол, деньги по пустякам транжирить.

Но теперь его словно подменили: спустя месяц после вечеринки у Лариных он истратил треть сбережений матери, рассчитанных на долгие годы учебы. Появились у него светлый плащ и легкое твидовое пальто, костюм из бостона с узкими лацканами и мощными плечами, широкополая лихо заломленная велюровая шляпа, туфли на толстой белой каучуковой подошве, модные рубашки, пестрые галстуки...

Весна в степные края приходит поздно, зато держится долго, медленно пуская в цвет подснежники, степные тюльпаны, ландыши — все в свой черед.

Главная улица их города — улица Карла Либкнехта — в мае становилась особенно оживленной. Едва на город ложился весенний сумерки, Раф с Бучкиным, нарядные, выходили «прошвырнуться». Гуляя по запруженной людьми вечерней улице, то и дело раскланиваясь со знакомыми, они продолжали говорить о поэзии. Вскоре

они непременно встречались с кем-нибудь из друзей, компания час от часу росла, и ребята, облюбовав скамеечку где-нибудь в скверике или парке, сидели там допоздна. Иногда с таких посиделок вдвоем с Черниковым провожали Галю домой. Она с обоими держалась ровно, никого не выделяла, и в эти ночные часы Нуриев был счастлив. Ведь еще совсем недавно он и мечтать об этом не смел. Однажды, когда он сдал экзамены за первый курс и утром собирался уезжать на каникулы домой, вахтер пригласил его к телефону. Звонила Галя. Приглашала к себе. Дома у нее он еще не был.

Жила она за мостом в железнодорожном поселке, в старинном особнячке. Черников, с которым они однажды возвращались вместе, проводив Галю, рассказывал, что она из семьи потомственных железнодорожников и что в этом самом доме некогда жил ее дед, первый начальник станции их города, а после особняк отошел к отцу, начальнику отделения дороги.

Приглашению Раф обрадовался и вместе с тем растерялся, но к назначенному времени был у нее дома. Встретила она его шумно и весело и говорила с ним, как всегда, с лукавинкой, с едва заметной насмешкой, помогавшей ей держать поклонников на расстоянии.

— Раф, постоянно открываю в тебе положительные качества! Вот сегодня, например, убедилась, что ты пунктуален,— сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку.— А замечать одни достоинства — это опасно для девушки!

Галя взяла его под руку и повела в зал.

В просторной комнате окна во двор были распахнуты настежь, и из палисадника ветерок доносил вечернюю прохладу.

У соседей уже зажгли огни, а в старинном доме хозяйничали сумерки.

— Мне всегда приходят в голову неожиданные мысли, а удержаться нет сил. Ты уж извини меня, если оторвала от дел, я ведь знаю, что ты завтра уезжаешь на каникулы. Подумала, что все лето не увижу тебя, я ведь и сама через неделю уезжаю к морю. И почему-то вдруг стало грустно: все лето не услышу стихов. Надеюсь, ты простишь мой каприз и побалуешь на прощанье чем-нибудь новым. Ты ведь никогда не повторяешься. Но, в общем-то, лучше, если ты считаешь что-нибудь уже знакомое. А чтобы ты не считал меня эгоисткой, сначала я поиграю тебе. Хочешь?

В сентябре Нуриев вернулся в город с Чипигой и Ленечкой, которые тоже стали студентами. Втроем они заняли просторную



комнату в общежитии, опять же по соседству с Бучкиным. С первых же дней учебы первокурсников вывезли на хлебоуборку в соседний с Мартуком район. Бучкин на время переселился к Нуриеву, и вновь они ночи напролет говорили о книгах. За лето компания несколько поредела: Скорикова неожиданно вышла замуж и уехала в Москву, а Мандрицу включили в сборную республики по баскетболу, и он перевелся в Алма-Ату.

Ждали их и другие сюрпризы: распался знаменитый институтский джаз-оркестр. Братья Ларины с единомышленниками ушли из ансамбля. Оставшись не у дел, они сформировали свой оркестр и убедили руководство клуба завода «Большевик» на окраине города заключить с ними контракт. Финансовые дела у клуба были неважные, творческой работы никакой, на танцы под радиолу народ не ходил, предпочитая Дворец железнодорожников или областной Дом культуры. Ларины со своим предложением играть на танцах оказались кстати.

Оркестр Лариных сразу стал популярен. Молодежь дружно повалила в «Большевик», чему немало способствовали броские рекламные щиты, сделанные по просьбе братьев. У модного заведения неудобств оказалось с избытком: далеко, тесно, душно, зал без вентиляции, а главное — клуб находился на окраине, известной своими хулиганами.

С местной шпаной в те годы происходила странная метаморфоза: она от сезона к сезону меняла свое обличье. Неимоверной ширины клешам она стала предпочитать узкие брюки-дудочки, тельняшкам — яркие цветные рубашки, хромовым сапогам в гармошку — туфли с толстенной каучуковой подошвой, а кепочкам с куцыми козырьками — модные белые «кепи», которые нахлобучивались чуть ли не на глаза.

Пожалуй, тогда шпана, не изменив своей сути, сумела раствориться среди молодежи.

И впервые в клубе «Большевика» Нуриев столкнулся с этим странным гибридом так называемых «стиляг» и шпаны. Развязная манера поведения, косноязычная, жаргонная местечковая речь, татуировки, «фиксы» — всего этого никак не могла прикрыть даже самая яркая и модная одежда. Конечно, кроме шпаны ходили на танцы с нашумевшим джаз-оркестром братьев Лариных и другие люди: студенты, старшеклассницы и истинные любители джаза.

Старченко, вернувшаяся с моря в начале августа, была в курсе дела, она даже посещала первые репетиции нового оркестра.

Когда Нуриев с Бучкиным впервые пришли на танцы в «Большевик», то увидели, что общительная Галочка уже и здесь свой человек. Вокруг нее сколотилась прочная компания. Среди друзей Гали были двое-трое прекрасно освоивших новые танцы, и девушка чаще всего танцевала с ними, это получалось здорово. Остальные, восхищенные пластикой движений, невольно освобождали им место, и они отплясывали, как на эстраде, под восторженные возгласы и рукоплескания собравшихся. Эти минуты всеобщего внимания и поклонения, наверное, Галя и любила.

Рафу же «Большевик» понравился тем, что здесь трижды в неделю он мог видеть ее.

За вечер Раф успевал потанцевать с Галей раза три-четыре, ровно столько, сколько играли танго и блюзы — оркестр Лариных предпочитал быстрые ритмы.

А проводить Галочку домой после танцев не удавалось: за ней всегда увязывались какие-нибудь друзья из новой компании. Возле дома она, не задерживаясь с провожатыми, со всеми ровно и тепло прощалась. Проводив Галю, они еще долго выбирались из железнодорожного поселка, прежде чем разойтись в разные стороны, но разговор обычно не клеился.

Однажды, когда они проходили мимо мрачного здания вагонного депо, один из парней, часто танцевавший с Галей, сказал Нуриеву:

— Вот что, парень, ты недогадливый, придется тебе сказать, что ты в нашей компании лишний. Чтоб духу твоего в клубе больше не было, понял? Был до тебя один провожатый, Черников, мы обещали испортить ему карточку, он танцует теперь в другом месте. Ты просись к нему в компанию. Или зубри латынь, пограмотнее будешь, а то ведь на лекарства работать придется.

Нуриев, всегда чувствовавший их недружелюбие, все же не ожидал такого крутого поворота событий. Он испугался не за себя, а за Галю. Еще минуту назад парни говорили «пожалуйста», «извините», а сейчас изощрались на блатной «фене».

— Я, как вам известно, не пою и внешностью особенно не допущу, а куда мне ходить и кого провожать, как-нибудь разберусь. Спокойной ночи... — Нуриев зашагал прочь.

В том, что они сейчас вдвоем ничего не предпримут, Раф был уверен: повадки блатных он хорошо изучил еще в Мартуке. Знал, что если его не удастся запугать, как Черникова, они постараются привести угрозу в исполнение. Не ходить в клуб для него означало



не только не слушать джаз, но и прежде всего оставить Галю со шпаной. И вообще, как он объяснит ей, почему перестал ходить на танцы? Дескать, ему пригрозили, и он испугался? Об этом не могло быть и речи. Лучше уж умереть, чем оказаться в ее глазах трусом. Обидно ему было и за Черникова: запугали, негодяи, парня. А ведь Черников, с которым они не раз провожали Старченко, никогда не высказывал Нуриеву недовольства, пренебрежения, не пытался выставить его в смешном виде, хотя давно был влюблен в Галочку. Достойное поведение соперника вызывало у Нуриева искреннее уважение. А тут кулак под нос — и весь аргумент. Нуриев был уверен, что никто из компании Старченко в клубе всерьез не мог рассчитывать на ее благосклонность, просто это была ее очередная блажь, правда, на этот раз с риском. В следующую субботу на танцы Нуриев не пошел: ездил в Мартук, копал с матерью картошку. Но в среду в клубе «Большевик» появился. В середине танцев, когда второй раз пригласил Галю на танго, все тот же парень, улыбаясь, отозвал его в сторону и сказал:

— Мы уж думали, умный студент, все понял. А ты опять за свое. Выйдем, поговорим,— он, обняв Нуриева и продолжая улыбаться, повел его к выходу.

Со стороны казалось: друзья пошли покурить. Едва они вышли из освещенного фойе в темный двор клуба, кто-то направил Нуриеву прямо в глаза яркий свет карманного фонарика, и тут же его ударили в голову чем-то тяжелым, а когда он упал, долго били ногами.

Вернувшись с хлебоуборки, Чипига с Ленечкой застали Нуриева в постели — голова болит постоянно, на лице синяки. Раф, не раскрывший причины драки даже Бучкину, чтобы не впутывать в историю имя Старченко, друзьям рассказал все как есть. Чипига, недолго думая, сказал, что надо поквитаться. Нуриев на это и рассчитывал, иного выхода у него не было. Солнцев, одоббив идею Чипигина, все же высказал сомнение: их троих маловато...

Но как долго Нуриев ни перебирал в памяти своих новых знакомых в городе, понял, что рассчитывать ни на кого не мог: связываться с окраинной шпаной они бы не стали. Твердо полагаться он мог только на своих друзей. Среди недели Чипигу осенило: а что если вызвать на подмогу Альтафа? Идея эта вселила в ребят уверенность.

Альтаф, остриженный наголо, со дня на день ждал отправки на службу в армию и предложение «мушкетеров» выслушал с интересом. По рассказам одноклассников выходило, что били его земляка

за любовь, били нечестно, из-за угла, скопом, а Альтаф, хотя и был забияка и задира, справедливость уважал, не вступиться за правое дело считал большим грехом.

В назначенную среду Альтаф приехал в Актюбинск автобусом, в общезитии они подробно обсудили план действий. В клуб «Большевик» явились в разгар танцев. Нуриев как ни в чем не бывало подошел к компании и, хотя заиграли быстрый фокстрот, увел Галю танцевать. Он видел, как вновь что-то замышляют против него, видел он и Чипигу с Ленечкой, внимательно следивших за ним. Альтаф, в черном свитере, в клешах, с тяжелым флотским ремнем, скрестив на груди руки, казалось, безучастно подпирал стенку неподалеку от эстрады. Отсюда, с небольшого возвышения, Торпеда видел весь зал. Опытным глазом он уже выделил троих-четверых блатных, но должен был вступить в критический момент, когда выявятся все противники.

Едва закончился танец, Ларин из оркестра окликнул Галю, и девушка поднялась на эстраду.

Старый знакомый Нуриева был тут как тут; взяв Рафа под руку, он сказал:

— Выйдем, поговорим. Может, в этот раз поумнеешь.

Раф освободил руку и ответил:

— Зачем же далеко ходить? Можно и здесь!

И ударил первым.

Дружки блатного, услышав шум и девичьи крики, поспешили на выручку товарищу. Когда до Нуриева осталось два-три шага, на встречу им выступили Чипига с Ленечкой.

— Студенты наших бьют! — прокатился по залу истеричный вопль. Из фойе и закутков, расталкивая отдыхающих, кинулись на подмогу своим несколько парней.

«Мушкетерам» пришлось туго. Хулиганы попытались оттеснить их друг от друга. Вдруг какой-то летчик-курсант, крикнув Нуриеву: «Ребята, я с вами!» — ввязался в драку. Видимо, у него были свои счета со шпаной, или, как Альтаф, он не мог терпеть несправедливости. Помощь курсанта дала лишь минутную передышку. Его тут же оттеснил какой-то огромный красномордый дегтина, но тут с диковатым гортанным криком на помощь летчику кинулся Альтаф.

Местные опешили: вмешательство наголо остриженного Альтафа оказалось для них полной неожиданностью. Может, студенты



сговорились с их вечными врагами с Курмыша и привели с собой озверевшего уголовника, который, слава богу, еще не пустил в ход нож?

Этих минут растерянности студентам хватило, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Альтаф, у которого от чувства опасности силы удваивались, творил невозможное. Шпана сопротивлялась упорно, но, не привыкшая драться в открытую, сломленная жестокими и незнакомыми приемами неожиданно ввязавшегося в драку стриженного незнакомца, потихоньку покидала поле боя. Некоторые пытались даже затеряться в толпе, но публика, державшая сторону студентов, выталкивала таких обратно в середину зала.

— Уходим! — вдруг объявил Альтаф и потянул за собой летчика. На улице возле редких фонарей уже маячили фигуры — их поджидали. Альтаф нырнул вбок, в темноту, и вышел с заранее припрятанными в кустах обрезками дюймовой арматуры, а для себя оставил велосипедную цепь.

— Это для отхода, так не выпускают, — спокойно сказал он летчику. Выход на улицу к автобусной остановке был один, и там, перекрывая его, стояло человек десять. Увидев в руках отступавших «оружие», толпа медленно расступилась, оставив довольно широкий проход. Когда они выходили на улицу, вслед им неслись брань и угрозы. Но тут подкатил автобус, и они уехали.

Странно, но после нашумевшей в городе драки Галя вдруг остыла к клубу — может быть, поняла, что якшаться со шпаной — не к добру. Словно вина за случившееся, она стала внимательнее и добрее к Рафу, и они встречались почти каждый день.

К Новому году Галя написала неплохие стихи. На этот раз они уже тайно репетировали у нее дома, тщательно подбирали музыку. Старались не зря. После новогоднего вечера друзья попросили вновь собраться у Лариных, чтобы записать стихи на магнитофон.

Казалось, все у Нуриева шло прекрасно: друзья были рядом, он встречался с любимой девушкой, с учебой все утряслось... Но весной Раф неожиданно получил повестку: в трехдневный срок подготовиться к отправке в армию. Съездил на день в Мартук, попрощался с матерью. Из его компании в армию уходил он один, и друзья организовали проводы.

Собрались у Лариных. Братья по этому случаю даже отменили танцы в «Большевикке». Раф привел с собой Чипигу и Ленечку.

В тот вечер Раф много читал, и снова его записывали на магнитофон. С Галей они в тот день проговорили до рассвета. На вокзал

он должен был явиться днем с вещмешком. Прощаясь с Галей, Нуриев просил ее не приходить к поезду, шутил, что утра он подстрижется под «нулевку», уверял, что проводы — унылая картина. В назначенный час, когда объявили о подходе специального состава для призывников и Рафаэль в темном берете, подаренном Черниковым, стоял в окружении друзей, на тесную привокзальную площадь на огромной скорости влетела бежевая «победа» и, круто развернувшись, остановилась возле компании. Из машины торопливо выскочила Галя. Она, понимая, что у них остались считанные минуты, бросилась к Рафу, шепча:

— Раф, милый, я буду ждать, я люблю тебя...

Но он сердцем чувствовал, что видится с Галей последний раз...

Накануне отъезда Нуриев узнал, что служить ему придется на Северном флоте четыре года. Через полгода он ушел в свое первое подводное плавание. По возвращении на базу его ожидало несколько писем от Гали, в каждом из них она упрекала его за невнимательность, за молчание. Откуда же он мог знать, что уходит в океан надолго, — начальство с ним сроки не согласовывало. Потом она писать перестала, а Бучкин, с которым Рафаэль поддерживал связь, сообщил, что она встречается с Солнцевым. Позже он получил и два письма от Ленечки, но читать их не стал, разорвал, выбросил за борт.

Вот о чем напомнил сейчас Рафу пожелтевший любительский снимок. Нуриев приехал на похороны Чипиги, и в душе его впервые за многие годы поселился покой: оказалось, в Мартуке он отрезал пуповину, крепко связывавшую его с прошлым, которое мешало ему жить в дне сегодняшнем. Может, поэтому он и решил всё же встретиться с Солнцевым.

Из номера гостиницы Нуриев позвонил Солнцеву домой, но телефон не отвечал, тогда он на всякий случай позвонил на работу. Солнцев проводил какое-то неотложное совещание и пригласил его домой часа через три. Несмотря на жаркий полдень, Нуриев не остался в прохладном, с кондиционером, номере, а поспешил на улицу.

С того памятного дня, когда его призвали на флот, он ни разу не был в Актюбинске. Он не рассчитывал встретиться с кем-нибудь из старых знакомых хотя бы случайно: в лысом, далеко не импозантном мужчине вряд ли кто-либо из них признал бы студента Нуриева, но зато опытный глаз за версту признал бы в нем моряка.

В его распоряжении было три часа, за это время он мог объездить город вдоль и поперек, но город волновал его мало. Хотелось



взглянуть лишь на институт, где он не выучился на врача, на дом Лариных, где провел немало счастливых минут, на особняк в железнодорожном поселке, где некогда жила его любимая, и на клуб «Большевик», где родился и умер джаз в их городе. Часа через полтора Раф вернулся в гостиницу. Прогулка не подняла настроения: институт превратился в обшарпанное здание, нуждавшееся в капитальном ремонте, гостеприимный дом Лариных снесли, клуб «Большевик», с провалившейся крышей, с пустыми глазницами окон, лишь человеку с хорошей памятью и фантазией мог напомнить, что когда-то здесь звучали жизнерадостные ритмы. Лишь старинный дом Галочки в густой тени кленов и тополей выглядел по-прежнему.

Солнцев жил в центре. В назначенное время Нуриев нажал на кнопку звонка. Дверь ему открыл молодой полнеющий мужчина с рыжей бородой. Из кухни спешил навстречу Ленечка. Он обнял Нуриева, представил человека с бородой — сокурсника Ленечки по институту, но Нуриев его не помнил.

— Хозяйки нет дома. Жара. Она с детьми на даче. У меня их двое: мальчик и девочка, правда, еще совсем маленькие, я ведь поздно, почти в тридцать женился, — говорил Ленечка.

Когда сели за стол, Ленечка налил рюмки, и они помянули Чипигина. Разговор особенно не клеился, вспоминать веселое было как-то некстати, а о грустном говорить не хотелось. Ленечка с рыжебородым вспоминали студенческие годы, и неожиданно всплыло имя Галочки.

— Где она сейчас? — спросил Нуриев. Рано или поздно он все равно задал бы этот вопрос.

— В Ленинграде, — ответил Солнцев и тяжело вздохнул.

— Почему ты на ней не женился? Бучкин писал тогда, что у вас, похоже, дело идет к свадьбе.

— Я ведь тебе подробно написал об этом, пытался объяснить...

— Я получил эти письма, но читать не стал...

— Ах, вон что, так ты, Раф, не знаешь, сколько я пережил?!.. Не приведи господь никому... — Значит, начинать надо все с самого начала... — Ленечка расстегнул ворот рубахи. — Что ж, слушай. Хочу, чтоб ты понял меня... Познакомил с Галей меня и Чипигу ты сам в «Большевике». Она знала, что мы твои друзья, земляки. Встречая нас с Чипигой в институте, часто спрашивала о тебе: нет ли каких вестей. Летом у нее была трехмесячная практика. Она попала к нам в Мартук. Чипига все лето пропадал то на каких-то сборах,

то на соревнованиях. Он тут быстро занял место Мандрицы в команде. Кроме меня, у нее знакомых в Мартуке не было, и я, естественно, старался помочь ей. Нашел квартиру, по субботам брал у отца служебную машину и отвозил ее в город. Она постоянно расспрашивала о тебе: где мы купались, где ловили рыбу, куда ходили танцевать. Мы даже не раз бывали у тебя дома, и Сафура-апа поила нас чаем из самовара. В общем, целое лето я был рядом с ней. После обеда, когда она заканчивала дела в поликлинике, мы уезжали купаться и загорать на Илек, а вечером каждый день ходили в парк на танцы. Если ты не забыл, она могла танцевать сутками. Бывала она и у меня дома. Моих родителей она просто очаровала. Однажды меня пригласили на свадьбу к родственникам, и я пошел туда с ней. Свадьба ей понравилась, она танцевала, была в центре внимания, что ей обычно удавалось без труда. Но когда мы возвращались, вдруг заплакала и сказала, что когда ты вернешься, она уже будет старухой. Говорила, что сердцем она еще надеется, что у вас что-то будет, но разумом понимает, что это все, конец, у вас разные судьбы... Ты знаешь сам: не влюбиться в нее было невозможно. Честно говоря, каждый день я не мог дожждаться послеобеденных часов, когда мы уезжали на Илек. Пожалуй, в то лето я изменился как никогда, даже ходить и говорить стал как-то иначе, лучше. Но я влюбился в нее спокойно, безнадежно, как влюбляются в кинозвезду. Я понимал: вернемся мы в город, все встанет на свои места — у нее своя компания, в которую я и не мечтал попасть, у меня — своя. Впрочем, компании у меня никакой и не было, меня волновала учеба, твой пример меня страшил. Но в городе все пошло иначе, чем я думал: она часто звонила мне, просила в чем-нибудь помочь, мы продолжали встречаться...

Когда Галя отмечала день рождения, пригласила меня домой. Надо сказать, ваша компания меня так и не приняла, особенно язвил Бучкин, да и Ларины не жаловали — то ли помнили тебя, то ли я не ко двору пришелся. Но я на это не обращал внимания: для меня было важным, как относится ко мне она, важно, что она была со мной.

— Ну кому нужна твоя исповедь, Леонид Яковлевич, утомишь гостя, — пытался прервать Солнцева толстяк, но, глянув на Нуриева, осекся.

— Но не все было так ровно и гладко, как тебе может показаться. И на мою долю досталось. В тот год перевелись к нам из московского института несколько ребят из Грузии, там их то ли отчислять собрались, то ли они чего натворили — не знаю. В общем, оказались



в Актюбинске. Верховодил у них Мишка Мебуки. И вот угораздило его тоже влюбиться в Галю. Парень отчаянный... не чета твоему другу Черникову. Не давал он Галочке проходу ни в институте, ни в городе. Сколько раз он с дружками устраивал мне темную, когда я возвращался от нее, — не сосчитать. Однажды так избили, что Галя даже хотела заявить в милицию, но я отговорил, сам хотел поквитаться. И поквитался. Однажды я его без друзей застал, так почти месяц после этого он в больнице лежал. После больницы Мебуки взялся за старое, только теперь он поил шпану и натравливал на меня. Водились у него шальные деньги. Натерпелся я, Раф, всего не рассказать... Да вот, посмотри... — Ленечка встал с места и, подойдя к Нуриеву, показал шрам чуть ниже виска. — Кастетом шпана по наущению Мебуки...

Ленечка распахнул окно во двор, вернулся к столу.

— Может, то, что компания меня недолюбливала или, точнее сказать, не приняла, пошло на пользу. К Гале они относились по-прежнему тепло, видимо, считая, что я — ее очередная блажь. Но она не могла не чувствовать неприязненного отношения ко мне и мало-помалу отошла от компании. Мы проводили вечера вдвоем, часто ходили в кино, гуляли, бывали у нее дома. Ее комната выходила на парадное крыльцо. Мы уходили и возвращались в любое время, не мешая домашним. Она здорово изменилась после твоего отъезда, Раф. Засела за учебу, остыла к танцам — в общем, такой тихой, домашней тебе и представить ее трудно. Мы даже летом ездили отдыхать на море к ее родственникам, в Геленджик, и она представила меня там как жениха. Мне казалось, что все в моей жизни прекрасно... Тебе я об этом писал.

О тебе она никогда больше не заговаривала со мной, но, когда мы бывали у Лариных или у Черникова и если Бучкин начинал читать стихи, Галя потихоньку уходила в другую комнату. Однажды в Геленджике нам попала на глаза афиша: «Вечер поэзии». Участвовали в нем несколько известных московских поэтов. Как она загорелась, как ждала этого дня, но в разгар вечера, где читали удивительные стихи, она вдруг заплакала, и мы ушли. Тогда она спросила: «Солнцев, скажи, я, наверное, ужасный и подлый человек?» Я, конечно, уверял ее в обратном. Этот вопрос она задавала потом еще не раз.

Когда она оканчивала пятый курс, мы решили пожениться, и на радостях я заранее объявил об этом событии. О том, что Старченко выходит замуж, казалось, знал весь город. Вообще-то всех удивил ее выбор. Ну, был бы Черников или Мебуки, кстати, пользовавшийся

большим успехом у девушек... Кое-кто вспоминал тебя, за два года и ты успел оставить о себе память. И вдруг какая-то заурядная личность — Солнцев, комсорг института, ленинский стипендиат — все это не вязалось с шумной известностью Старченко...

— Давай выпьем за нее,— прервал вдруг Нуриев Ленечку.

Они чокнулись, но Ленечка не выпил, а только пригубил. Нуриев усмехнулся.

— В середине мая, когда в городе в каждом палисаднике зацвела сирень и до нашей свадьбы осталось чуть больше месяца, она как-то сказала мне: «Сегодня у одной девушки из нашей группы день рождения, и мы решили устроить девичник. Нужно быть там, иначе обидятся. Но и тебя жаль. Ты приходи попозже, вот ключ, подождешь, послушаешь музыку». Так и порешили. Я пришел часам к одиннадцати, но в ее комнате не было света. Я прождал с полчаса и решил пойти ей навстречу, хотя бы до моста. Разминуться мы не могли, а встретить ее в такое позднее время не мешало: привокзальный район не самый спокойный в городе, ты должен помнить. Когда я дошел до вагонного депо, еще издали услышал ее смех, смеялась она громко, счастливо, и я, порадовавшись ее настроению, заспешил навстречу. Шли они вдвоем, и хотя я не знал этого молодого мужчину, но сразу догадался: из цирка. Только на днях развесили рекламные щиты: «Икарыйские игры — силовая акробатика». Такого рослого, с невероятной шириной плеч, с могучими бицепсами человека воочию я видел впервые в жизни; кажется, они не замечали меня, пока на меня не наткнулись, хотя я стоял на аллее под единственным, ярко горящим фонарем.

— Меня, оказывается, встречают, Мишель,— сказала она, обрвав смех.

Мишель нехотя убрал с ее плеч руку,— тогда в нашем городе так еще не ходили. Он окинул меня неприязненным взглядом и, расплывшись в своей цирковой улыбке, обращаясь к Гале, словно меня и не было, сказал:

— Галочка, спасибо за приятный вечер. Никогда не думал встретить здесь такую удивительную девушку. До свидания, жду на спектакле.

Мы молча продолжали стоять на ярком световом пятнышке.

— Что, шпионим? — вдруг зло, с вызовом спросила она.

Я понимал, что сейчас может произойти ужасное, непоправимое, и попытался сдержаться.



— Уже поздно, я шел тебя встречать... с девичника,— неожиданно язвительно сорвалось у меня с языка.

И тут ее словно прорвало. Она говорила мне такие гадости — не пересказать. Такой злой, возбужденной она, наверное, никогда не была. Но и я вел себя не лучшим образом. Вместо того, чтобы молчать и успокоить ее, сгорая от ревности и думая только об этом Мишеле, я спросил:

— Ты была с ним?

Она, словно поняв, что меня волнует, расхохоталась:

— А как же, Мишель — настоящий мужчина! Не такой слюнтяй, как ты!

Как кипятком ожгли меня ее слова, и я ударил ее. Наверное, ударил сильно, потому что она упала.

Ленечка поперхнулся, закашлялся, но никто не прервал молчания.

— Затмение прошло у меня так же внезапно... Я склонился над ней... Она не дышала. Я решил, что убил ее. Поднял на руки и побежал к дому. Когда я внес ее в комнату и положил на кровать, я уже знал, что надо делать... пойду в милицию и заявлю, что убил человека. Когда я был уже у двери, послышался стон. Я кинулся назад: она очнулась... Плача, я целовал ее мокрое лицо и шептал: «Галя, милая, что я наделал!»

Она вдруг прошептала разбитыми губами: «Солнцев, ты сволочь...» — и стала громко звать маму...

Ленечка надолго замолчал.

— Ну и скотина ты, Солнцев,— вырвалось у Нуриева.

Но Ленечка ничего не ответил, памятью он сейчас был в той жуткой ночи. Бородатый воспользовался паузой и включил свет: в комнатах уже было темно.

Неожиданно зазвонил телефон в кухне, и Солнцев ненадолго отлучился: звонила с дачи жена.

Только сейчас, слушая исповедь Солнцева, Нуриев поверил, что и Ленечка любил по-настоящему, но подумал и о том, как любовь эгоистична,— ведь Ленечка говорил лишь о своих страданиях, хотя избитой и изуродованной была любимая, где уж тут вспомнить о друге, который тоже любил ее.

Ленечка вернулся из кухни, прихватив из холодильника еще одну бутылку водки.

— Давай как раньше, как Чипига наливал,— сказал вдруг Нуриев и пододвинул бокалы. На душе у него было муторно.

Бородатый удивленно глянул на Солнцева, но Ленечка недрогнувшей рукой разлил на троих.

— Таковую дозу разве что за любовь,— хмыкнул вдруг захмелевший толстячок.

— За любовь! — в один голос серьезно сказали бывшие друзья и подняли бокалы.

— Но ведь это еще цветочки, Раф. Дальше слушай. Тюрьмы, я думал, мне не миновать, и был готов понести наказание. Вот тут-то я вспомнил и про Чипигу, и про тебя. Думал, за что мне такая божья кара? Друзей, как у тебя, у меня не было, даже в такой тяжелый момент мне не с кем было поделиться бедой. Но что тюрьма, в которой я уже мысленно сидел! Я не представлял себе жизни без Гали. Однако все, как ни странно, обошлось. Не знаю, что уж она сказала родителям, но меня никуда не таскали. А вот жизнь наказала меня куда страшнее. Через несколько лет совершенно неожиданно я узнал, что она была на третьем месяце, и у нее тогда случился выкидыш. Я убил своего ребенка...

Ленечка смахнул набежавшую слезу.

— Летом она неожиданно для всех вышла замуж за одного из наших преподавателей, тот как раз получил по конкурсу вакансию в Ленинградском мединституте, и они уехали.

Так для всех и осталось загадкой, почему вдруг расстроилась наша свадьба; впрочем, большинство отнесло это на счет ее былой экстравагантности. Кто жалел меня, кто откровенно насмеялся, но мне в ту пору было все равно. Я понимал, что заслуживаю более сурового суда.

Хочешь верь, Раф, хочешь нет, хотел наложить на себя руки, да духу не хватило. Но и на этом наши пути не разошлись.

Институт я закончил с отличием, и меня оставили на кафедре. Что можно сказать о тех годах без нее? Учился, работал. Через год меня с кафедры направили в очную аспирантуру в Ленинград. Журавлева — теперь она носит такую фамилию — закончила ту же аспирантуру и работала в этом институте. Разминуться мы не могли. Она по-прежнему была хороша, время, казалось, не коснулось ее совсем, а я уже тогда был почти седой. Седина появилась у меня в ту трижды проклятую ночь. Потом она как-то сказала, что из-за этой седины и потянулась ко мне вновь, пожалела меня. Встречались мы часто: то у меня в аспирантской комнатухе, то у нее дома,— муж ее подолгу бывал в научных командировках



и экспедициях. Тогда я заметил, что она много курит и много пьет, а может, трезвым нам было трудно смотреть друг другу в глаза. Встречались мы как-то нервно, с надрывом, словно в последний раз. То, казалось, ссорились в пух и прах, а назавтра искали друг друга в аудиториях, то, только расставшись, ночи напролет говорили по телефону. Она говорила: хочешь — уйду от мужа? Я то соглашался, то малодушно избегал ее в те дни, когда что-то нужно было предпринимать. Ужас той ночи, как гранитный постамент, стоял между нами.

Сейчас мне кажется: три года прошли как один день, и, наверное, они были лучшими в моей жизни. Ничто будто не мешало мне принять окончательное решение: я ее любил, был свободен, но не получилось и на этот раз. Из-за моей нерешительности, моего малодушия. На прощанье мы снова здорово поскандалили, и она сказала: «Ты сломал мне жизнь, ты разрушил мою семью, ты ужасный человек. Но ты ломаешь жизнь и себе...» Сколько я слышал от нее ласковых, добрых слов, а помнятся только эти...

Ленечка опустил седую голову. Нуриев хмуро смотрел на него.

— Спасибо, что не врал, не изворачивался, не поливал ее грязью. Не бог тебя, Леня, покарал, это я долгие годы проклинал тебя со дна океана. Не знаю, значат ли что-нибудь проклятия друга в твоей жизни, но я проклинал тебя, Солнцев.

— Ты, мой друг, мой единственный настоящий друг, проклял меня? За что?

— За нее, Ленечка, за нее...

— Ты что же, всерьез рассчитывал на что-нибудь после стольких лет разлуки, не имея ни профессии, ни образования? Ей ведь, когда ты вернулся с флота, было двадцать пять лет...

— Нет, Леня, я ни на что не рассчитывал. Еще на перроне, когда она пришла проводить меня и сказала, что будет меня ждать, я знал, что это конец, что я целую ее в последний раз. Я понимал: это судьба. Никогда ни в чем я бы не упрекнул ее... Но ты, ты — другое дело. Ты, мужчина, мой друг, как ты мог?.. Для Мебуки, Иванова, Петрова, Сидорова, любого другого я был чужой человек, они могли и не знать о моем существовании. Но ты-то знал, что я любил ее!

— Любил? — устало переспросил Ленечка. — Нет, любил, страдал, сломал себе жизнь — я! Тебе первому, как брату, я исповедался, открыл душу, а ты говоришь — любил... Что у тебя было с ней,

какими страданиями ты заплатил за это? Да если хочешь знать, таких влюбленных, как ты, в нее было полгорода. И кто их помнит? — почти кричал, шагая по комнате, Солнцев.

— Эх, Леня, ничему-то жизнь тебя не научила. Всегда ты думал только о себе: о своей любви, своей боли, своих страданиях. Ты и о ней-то думал с оглядкой, куда уж обо мне. Ты говоришь, я ее не любил, утверждаешь, что у нас ничего не было и моя любовь ничего не стоит в сравнении с твоей. Что ж, давай выйдем на улицу и спросим у первых попавшихся людей, знавших меня: кого я любил в этом городе?

Рыжебородый как-то враз отрезвел и, видя, что страсти накалились до предела, вмешался;

— Ребята, да вы что, ошалели? Два друга, два солидных человека, не виделись двенадцать лет и сцепились из-за бабы. Она ведь вам обоим жизнь сломала, как я считаю, а вы слюни распустили, пьете за ее здоровье, копаетесь во временах царя Гороха. Давайте лучше выпьем и забудем. Я ведь тоже ее знал — ничего особенного, разве что чуть красивее других.

Нуриев беззлобно посмотрел на толстячка и с сожалением сказал:

— Эх ты, Лука-утешитель. Раз уж тебе все известно, так знай: мне она жизнь не сломала. Я благодарен судьбе, что знал ее, что она есть. Она — жар-птица, понимаешь, жар-птица! Тебе, борода, наверное, этого не понять, для этого ты слишком толстокож и рано заплыл жиром. А шеф твой, если раньше не понял, то теперь и подавно не поймет. Ну, что, Ленечка, вставай, пойдем искать свидетелей тех давних дней?

Оба они были сильно возбуждены, да и выпили прилично — удержать их было невозможно. Толстяк нехотя закрыл за ними дверь. Они прошли к кинотеатру «Казахстан», но, несмотря на то, что успели к началу сеанса, знакомых здесь не оказалось. Заглянули в ресторан, летнее кафе, но людей, знавших их в молодости, не встретили. Солнцев вспомнил тех, кто живет в городе и имеет телефоны, и они стали названивать из автомата, но никого не оказалось дома: одни были на даче, другие — на рыбалке, третьи — в отпуске. Когда они отчаялись и решили бросить эту затею, Солнцев вдруг вспомнил про Ларина. Они как раз проходили мимо парка и услышали музыку, доносившуюся с танцплощадки. Ленечка знал, что один из братьев Лариных оставил медицину и играл на танцах и в ресторане.



Они купили билеты и пробились к высокой эстраде. Нуриев узнал Мишку Ларина сразу: в белых джинсах, ярко-голубой, отливавшей блеском рубаше, он извивался у микрофона, бросая в него отрывистые чужие слова, от которых в экстазе заходила молодежь вокруг, а пальцы его в тяжелых перстнях рвали струны полыхавшей огнем роскошной бас-гитары.

Когда кончилась песня, Нуриев громко окликнул его. Ларин подозрительно посмотрел на двух солидных мужчин — явных переростков на танцевальной площадке — и, видя, что они настойчиво приглашают его взмахами руки, легко спрыгнул к ним с высокой эстрады.

— Что вам угодно? — спросил Ларин спокойно, без вызова, хотя еще с эстрады рассмотрел, что они пьяны.

— Мишка, не узнаешь? — спросил огорченно Нуриев.

И только услышав голос, Ларин вскрикнул:

— Раф, ты ли это, дружище?!

Они крепко обнялись.

— Да, помяла тебя жизнь. Рановато укатали сивку крутые горки, — сказал Ларин, оглядывая Нуриева.

— А ты молодец, хорошо выглядишь, и играешь здорово, — говорил обрадованный встречей Нуриев.

— Мы, Ларин, к тебе по делу, — вмешался Ленечка. — Вот скажи, в кого в нашем городе был влюблен этот лысый субъект?

Ларин, не понимая, то ли с ним шутят, то ли говорят всерьез, все же не задумываясь ответил:

— В кого же, как не в знаменитую Галочку Старченко, помню, большая любовь была, на моих глазах все происходило.

— Позволь, позволь, — перебил Ларина Ленечка. — Ты, Миша, что-то путаешь. Вспомни, ведь она должна была выйти замуж за меня.

Мишка внимательно посмотрел на Солнцева и недоуменно пожал плечами:

— Я знаю, что она вышла замуж за доцента нашего института и живет в Ленинграде.

— Как же ты, Миша, не помнишь? Я ведь бывал с ней у вас дома.

— Может, и бывали, этого отрицать не могу. Возле нее всегда бывали люди — мне кажется, она страшилась одиночества, — но вас я не помню, извините. Что касается Рафа, мы можем спросить еще у ребят из оркестра, они играли со мной когда-то в «Большевике»...

Ларин повернулся к Нуриеву:

— Как дела, моряк?

— Знаешь, Миша, пойдем выпьем за любовь, за нашу молодость, я ведь ночью улетаю, и бог знает когда увидимся, да и увидимся ли.

— Ну что ты, зачем так грустно? Увидимся. А за любовь, за молодость, за встречу, конечно, выпьем — и немедленно.

Ларин крикнул в оркестр кому-то, что отлучится, и, обняв Нуриева, повел его к выходу. Танцующие недоуменно уступали дорогу странной паре. На освещенной аллее Нуриев оглянулся. Солнца рядом не было.

*Ташкент,  
апрель 1974*



# Горький напиток счастья

Ретро-повесть

*Ирине Варламовой посвящается*

**Р**ушану почти пятьдесят. Немало. Помнится, у Фадеева в «Разгроме» вычитал когда-то фразу: «В бане мылся старик сорока с лишним лет»... «Сорока» — и старик... А тут — полтинник... Вроде рано еще подводить итоги, но слишком часто одолевает душу грусть, все чаще он простаивает долгие вечера у давно не мытого окна, и странные картины видятся ему в грязном дворе... Иногда ему кажется, что он одновременно пишет, читает и экранизирует какую-то книгу, роман без начала и конца. И вспоминается многое...

Но о старости, которая уже подступала вплотную, почему-то думать не хотелось, может, оттого, что до сих пор снятся молодые сны, а вернее, сны о молодости. Странно, но снятся возлюбленные прежними, юными, какими запомнил их на всю жизнь, да и сам не ощущаешь в снах груза своих лет, чаще тоже бываешь молодым, но непременно с опытом прожитой жизни, как мудрая черепаха Тортилла, и теперь-то тебе все ясно и понятно. Какие же это удивительные и прекрасные сны! И как горьки возвращения в действительность от этих снов!

Ведь милых и очаровательных девушек, чей образ ты пронес через всю жизнь и с одной из которых ты только что во сне уговорился о новой встрече или о том, чтоб больше никогда не ссориться, их давно уже нет. А есть женщины, уставшие от жизни, одни уже на пенсии, а другие на пороге ее, и мало что в них напоминает о былой красоте,



изяществе, легкости движений. Попробуй кого-нибудь из мало-знакомых людей убедить, какая она была прежде красавица, могут и на смех поднять: время безжалостно отбирает все: смех и улыбку, стройность фигуры и озорство взгляда, пышность волос и манящую, порой необъяснимую привлекательность.

Наверное, есть что-то справедливое в том, что, выходя замуж, девушки теряют свои исконные фамилии, тем самым как бы подчеркивая — нет больше ни Нововой, ни Давыдычевой, ни Резниковой, а есть некая Астафьева, Журавлева, Зотова. Эти новые фамилии твоих давних симпатий и привязанностей ничего тебе не говорят и ничего не значат, да и что требовать от незнакомых, чужих женщин!

Наверное, в нажитых седилах и морщинах тоже есть свои преимущества, по крайней мере, обретая их, меньше витаешь в облаках и объективнее рассматриваешь и прошлое, и настоящее, и будущее,— розовые очки к этому времени то ли разбиты основательно, то ли и вовсе затерялись. И дело не в том, что задним числом понимаешь, в какую дверь стоило входить, а куда и нет, а знаешь, почему вошел в другую, хотя многого не понять даже сейчас, особенно того, что касалось сердечных дел. Поступки женского, а особенно девичьего сердца неподвластны никакой логике, об этом написаны горы книг, на том стоит литература, да и сама жизнь, это было тайной до него и останется после него. Но все же даже через годы, десятилетия по-прежнему мучают какая-то фраза, жест любимой, которые не понял тогда и не можешь разгадать сейчас, это посложнее, чем шумерские письмена. Стороннему человеку, тем более молодому, заботы о том, что когда-то сказала или как посмотрела некая десятиклассница или студентка, показались бы смешными, нелепыми, но, как ни странно, для некоторых людей, казалось бы, уже проживших жизнь, это становится архиважным.

Окунаясь в прошлое, он вспоминает не только смерть родных и друзей, гибель волшебного вокзала в Актюбинске и исчезающие чайханы Ташкента, там осталось много тайн и невещественного характера. Сквозь годы он старается понять, что означал жест Светланки Резниковой, когда однажды весной он шел поздней ночью по Орджоникидзе, а из машины, на мгновение ослепившей его фарми на пустынной улице, вдруг высунулась девичья рука и помахала ему. Пока «Волга» Резниковых не скрылась в переулке напротив знаменитой «Железки» — Дворца железнодорожников, он видел адресованный только ему жест. Что он означал? Ведь «роман», так бурно начавшийся на новогоднем балу, оборвался у них еще в марте.

Или почему Ниночка Новова так настойчиво советовала ему посмотреть американский фильм «Рапсодия», и отчего она уехала в Ленинград сразу после выпускного бала, не предупредив его, хотя накануне отъезда они гуляли до утра и встречали рассвет у них в яблоневом саду, на улице Красная, 3?

Но память мучают не только события, конкретные факты и связанные с ними вопросы, на которые в свое время не нашел ответа, загадкой проходят через всю жизнь вещи и вовсе необъяснимые.

Однажды на «Бродвее» он увидел рядом с Жориком Стаиным, своим неразлучным дружкойм, удивительной красоты девушку. Но в память врезалась не изящная Сашенька Садчикова, а платье на ней, необычное и по покрою, и по цвету. Цвет платья очаровательной Садчиковой почему-то преследовал его всю жизнь, он хотел найти ему четкое определение. И вдруг сейчас, спустя почти тридцать лет, увидел по телевизору тибетского далай-ламу, находящегося в изгнании, его принимал другой диссидент, Вацлав Гавел, ставший президентом страны, в которой недавно находился вне закона. Увидел — и словно отлегло от души. Он понял: платье белокурой Сашеньки напоминало желто-оранжевый хитон буддийского далай-ламы. И это был вовсе не цвет апельсина, как казалось тогда многим. Так запоздало, с помощью далай-ламы, была отгадана еще одна загадка, долго мучившая его неопределенностью.

Казалось бы, что может связывать его со знаменитой Ниццей? Да, именно с Ниццей — фешенебельным городком на Лазурном берегу, впрочем, не с самим морским курортом, а всего лишь с ласкающим слух названием... Ницца... Оно тоже долго преследовало его воображение, часто навевало беспричинную грусть. Наверное, Ницца поселилась в его сердце в тот не по-весеннему мрачный день в конце мая, когда они с Ниночкой Нововой случайно попали на какой-то концерт в «Железке». Не бог весть какая программа, да и концертная бригада явно наспех была сколочена для гастролей по провинциальным городам из людей, некогда подававших надежды, но так по-настоящему и не состоявшихся, спившихся, разочаровавшихся во всем, единственным источником жизни для которых служат ненавистные им подмости захолустных селений. В том далеком мае Ниночка оканчивала школу, а он техникум, и от предчувствия скорой разлуки встречались каждодневно, как-то жадно, неистово, словно чувствовали, что разойдутся их пути-дороги навсегда, хотя, конечно, вслух они строили грандиозные планы, мечты захлестывали их воображение...



На концерт они опоздали и вошли в полупустой, гулкий зал старинного дворца, когда вяло катившаяся программа набрала темп и какой-то певец даже сорвал жидкие аплодисменты. Едва они заняли свои места, на эстраде появилась женщина, чья песня запала в душу надолго, на десятилетия, навевая несбыточные мечты о далекой Ницце. Высокая, уже чуть грузная певица в вечернем бархатном платье до пят вишневого цвета, с чересчур смелым для провинции декольте, выгодно оттенявшем стройную шею, по-женски мраморно-холеные плечи и грудь, затянутую в жесткий корсет, с трогательной веткой отцветающей персидской сирени в руках, прижившейся в их степных краях, объявила: «Цветок из Ниццы».

Солистка показалась Рушану пожилой, усталой, хотя она вряд ли преодолела сорокалетний рубеж, но в его восемнадцать лет виделось так, и он невольно почувствовал ее тоску, понял, почему женщина оказалась сейчас в полупустом зале заштатного городка. Песня, наверное, была чем-то близка ей, она давно поняла, что Ницца несбыточна для нее, и эта вселенская грусть, пронизывавшая и саму песню, и ее исполнительницу, и, возможно, давно витавшая в высоких стенах бывшего уездного собрания, овладела и Рушаном. Наверное, все воспринимали песню как лирическую, немного грустную, но для него она звучала иначе, словно забегая далеко вперед, в свою еще не прожитую жизнь, он как бы заранее ощущал тоску, скорбь о несбывшихся надеждах и несостоявшейся любви. Странное ощущение для восемнадцатилетнего юноши, стоящего на пороге самостоятельной жизни, тем более рядом с хорошенькой, кокетливо-изящной Ниночкой Нововой. Видимо, песня вызвала сходные переживания у обоих, поскольку Ниночка как-то грустно глянула на Рушана и придвинулась ближе, найдя в темноте его руку, стала гладить ее, словно почувствовала внезапную тревогу.

После концерта у Рушана на улице невольно вырвалось: «Цветы из Ниццы»... Она, видимо, готовая к разговору о грустной любви на Лазурном берегу, ответила сразу: «Оставь... Цветы из Ниццы не про нас...»

Тогда он не придал ее словам никакого значения, не пытался выражать, но сегодня с болью соглашается, что даже у истоков, у порога взрослой жизни, казавшейся бесконечной, они и мечтать не могли ни о Ницце, ни о Венеции, ни о Монте-Карло, ни об островах Фиджи и Мальорка, ни о Баальбеке, они изначально были запрограммированы на иную жизнь, на преодоление вечных преград по пути

к сияющим вершинам коммунизма. Сегодня Рушан с запоздалой грустью понимает, что все они оказались не только за порогом цивилизации XX века, но и вовсе отрезанными от нормальной человеческой жизни, где уж тут Ницца...

Но Ницца, запавшая Рушану в душу в полупустом зале «Железки», долго будоражила его воображение. Годы спустя в Ялте среди бурной субтропической зелени он увидел броскую рекламу на огненно-красном щите: «Посетите «Ниццу»!» Троллейбус несся стремительно, и он не успел разглядеть чуть ниже еще одно слово — «ресторан», и три дня подряд, пока вновь не наткнулся на рекламное объявление, Ницца не шла у него из головы.

«Ницца» оказалась обыкновенной стекляшкой с бетонными полами и отличалась от подобных ей заведений тем, что числилась вечерним рестораном с программой варьете. Чтобы скрыть или скрасить бедность и убожество зала, стекло изнутри задрапировали тяжелой материей вишневого цвета, наверное, чтобы тем, кто проходил мимо «Ниццы», казалось: там протекает невероятно шикарная жизнь. От неприкрытой бедности зала с пластиковыми столешницами обшарпанных столов и железными колченогими стульями спасали лишь полумрак и умелое, с огромной фантазией продуманное освещение самой эстрады, где выступало наспех сколоченное варьете и восседал небольшой оркестр — музыканты в соломенных шляпах-канотье. Тут шли в ход и елочная мишура, и часто менявшиеся рисованные задники сцены, и светящиеся, кружащиеся зеркальные шары, висевшие и над залом, и над сценой, они, видимо, означали причастность к какой-то веселой, роскошной жизни, бурлящей в сезон на известных морских курортах.

Рушан видел и бедность зала, и убожество варьете. Конечно, стекляшка с претенциозным названием «Ницца» не имела ничего общего с прекрасной Ниццей, которой он грезил долгие годы, и возвращался он оттуда в полночь по слабо освещенным улицам Ялты расстроенный, ему казалось, что его в очередной раз обманули. «Почему кругом пошлость, безвкусица, бедность, которую не в силах скрасить ни темнота, ни умелое освещение?» — думал Рушан, шагая по ночным улицам города, и световая реклама «Ялта — жемчужина курортов мира» воспринималась как насмешка, как издевательство.

Уносясь мыслями в отшумевшие годы, он все не решался как бы приблизиться к себе, хотя понимал, что все его воспоминания мало чего стоят без откровений, без собственной фотографии на фоне времени. Наверное, его жизнь по-иному осветят



события, о которых он хотел бы рассказать. Хотя, рассказать — кому? И для чего? Но это билось в нем и не давало покоя...

И он вновь и вновь возвращался назад, во вторую половину пятидесятих годов, в заносимый песками из великих казахских степей провинциальный Актюбинск, чтобы еще не раз мысленно постоять под окнами дома на улице 1905 года, где жила девочка с голубыми бантами, которую он однажды встретил у «Железки» с нотной папкой в руке и, как зачарованный, пошел вслед за нею. Порою ему кажется, что он до сих пор шагает за этой девочкой...

Вспоминать о ней легко, она часто приходит в снах, которые он видит. С шумами, запахами давно ушедших лет, их окружают музыка и быт того времени. В снах он вновь видит парки и кинотеатры своей молодости, «Бродвей» в час пик, школьные балы и танцы в «Железке», и повсюду их сопровождают давно забытые ритмы и мелодии — просто ретро-фильмы с собственным участием в главной роли. Когда ему тяжело, тоска одолевает беспричинно, он закликает кого-то свыше, властного над нашими судьбами: «Пусть приснится моя молодость!» А молодость — это любовь.

Прекрасные сны-фильмы, где запоздало, через тридцать лет, удастся разглядеть то, что не удалось в свое время. Правда, ни один из них он не может досмотреть до конца, они, как в детективном сериале, обрываются на самом интересном месте, и продолжения, как ни желай, не бывает. Эти сны-фильмы — одноразовые и для единственного зрителя, и после них очень трудно вписаться в повседневную жизнь. Но ни за что на свете Рушан не отказался бы от них.

В своё время друзья, беззлобно посмеиваясь над его безответной любовью к девочке из соседней железнодорожной школы, успокаивая его, говорили: не грусти, первая любовь — как корь, переболеешь, встретишь другую и забудешь свою гордую пианистку с улицы 1905 года. Сегодня, считай, жизнь прожита, а он ее не забыл, впрочем, он и тогда чувствовал, что это всерьез и надолго.

Когда в прорабской возникают разговоры коллег о первых увлечениях их детей, которые никто из родителей не воспринимает всерьез, по лицу Рушана пробегает грустная улыбка. Он не вмешивается в такие диспуты — кому нужен его душевный опыт? Да и, глядя на него, заезженного жизнью одинокого прораба, разве можно предположить, что и его когда-то одолевали страсти, и он почувствовал на себе волшебный огонь обжигающей любви, и что воспоминания о ней — самое дорогое, что осталось ему, ими он и жив.

«Воспоминания — единственный рай, откуда нас невозможно изгнать», — вычитал он где-то и запомнил на всю жизнь.

И все-таки, чтобы разобраться в жизни, хоть что-то в ней понять, ее надо одолеть. Как — вопрос другой. На долгом пути, может, и откроются давно мучившие тайны. До последних дней, возвращаясь памятью к девочке с нотной папкой в руках, он испытывал неловкость от сознания, что кто-то, заглянувший в эту «книгу», мог спросить: а как же Светлана Резникова, Ниночка Новова? Рушан, привыкший отвечать за свои поступки и никогда не прятывшийся за слова и чужие спины, от этого незаданного вопроса сникал, может, оттого и не касался откровений о себе.

Наверное, человек более тонкий, чем прораб — художник, например, или писатель, артист, — легко бы разобрался в своих отношениях, тем более давних и ни к чему конкретному ныне не обязывающих, но для Рушана это явилось непреодолимой преградой. Он не хотел унижать в воспоминаниях ни себя, не своих возлюбленных, ни тех, к кому был привязан и кем дорожил. Слишком дороги они были ему, оттого он и затруднялся заполнить страницы книги, которую и читал, и писал одновременно, событиями о личной жизни, где каждой из них, казалось бы, нашлось достойное место.

И вдруг он нашел ход к пониманию себя, того давнего, и всех своих привязанностей.

В одной мемуарной книге совершенно случайно попались ему на глаза страницы о Жане Кокто. Они-то дали ключ к пониманию давнишних событий. Оказывается, после смерти Кокто биографы обнаружили четыре полных любви и нежности письма, написанных им перед отправкой на фронт. Послания эти сравнивают с образцами любовной лирики. Все письма адресованы четырем разным женщинам, но... написаны словно под копирку. И, что еще более чем странно, ни одна из этих прекрасных дам, проживших долгую и счастливую жизнь, позже, узнав об этом, не только не отказалась от письма, а настаивала, что содержание адресованного ей признания отражает суть их истинных отношений с Кокто.

Конечно, он не француз Кокто, и прямой аналогии здесь вроде бы нет, но, только пытаясь понять известного драматурга и его поклонниц, рьяно отстаивавших свой приоритет на любовное послание, Рушан приблизился к разгадке давних событий собственной жизни.

Два коротких, но бурных «романа» со Светланкой Резниковой и Ниночкой Нововой, кстати, одноклассницами, входившими в одну



недоступную спаянную компанию, хорошо известную в их городе, случились в последние полгода, когда Рушан учился на четвертом курсе и уже работал над дипломным проектом. Сегодня он понимает, что дважды пришелся им ко двору в каких-то их девичьих интригах, интересах, до конца не разгаданных и сегодня. Одно ясно, они не расставляли ему специально ловушек, просто он подвернулся случайно и как нельзя лучше подходил для задуманной ими роли. Но в том-то и суть: обе они не ожидали, что затеянная легкомысленная интрижка заденет что-то и в их сердцах, обожжет надолго, как выяснится позже, — теперь-то Рушан знал это.

Наверное, подводя итоги прожитого, Рушан мог бы и не вспоминать об этих «романах», отнеся их к разряду легкомысленных увлечений. Тем более что на взгляд человека постороннего две «любви» в полгода могут показаться несерьезными, недостойными быть упомянутыми в разговоре о столь высоком чувстве.

Но сроки тут ни при чем — он встречал позже примеры из серьезной классической литературы, когда дни, даже часы многое значили, определяли судьбу на всю жизнь или становились духовной опорой героев. Был и более веский аргумент — на всем стоит тавро: проверено временем.

...К тому времени, когда в сорок пятой железнодорожной школе, где у Рушана неожиданно начался «роман» со Светланкой Резниковой, проводился новогодний бал, Дасаев уже три с половиной года был безответно влюблен в Томочку Давыдычеву. И в их провинциальном городке многие об этом знали. Там все на виду, невозможно уберечься от любопытных взглядов, а Рушан и не таился, да и любовь к такой заметной девушке не могла остаться незамеченной.

В ту пору школьники жили куда более насыщенной жизнью, чем нынешние, каждую субботу в той или иной школе проводились вечера, организованные с большой выдумкой, куда непременно приходили старшеклассники из других районов. На такие программы приглашались одни и те же лица, среди них и Тамара, а уж где она — там и Рушан. Хозяева сразу выделяли среди гостей девушку и наперебой зазывали на танец, но как-то сам собой быстро возникал барьер между нею и новыми поклонниками: по залу неслышной волной прокатывалось: «девушка Рушана». Так бывало и в «Железке», и на летней танцплощадке, и в «ОДО». Тамара, конечно, знала об этом, наверное, ей иногда даже нравилось такое опекуство.

В семнадцать мы все бываем кем-то очарованы, зачастую безответно, и в молодом эгоизме вряд ли замечаем, кто в кого влюблен,

тем более, не помним через годы... Но отношения Рушана и Тамары, наверное, запали в память многим. Спустя лет десять в один из своих наездов в Актюбинск он получил тому подтверждение.

Остановился Рушан в родном городе в гостинице «Казахстан» и часто гулял по улице Карла Либкнехта, давно утратившей название «Бродвей». По несколько раз он поднимался вверх от парка Пушкина к сорок пятой школе, стоящей на горе, напротив пожарки, и как вочию видел себя юным, азартным, раскланивавшимся с улыбкой направо и налево,— на «Бродвее» он был своим парнем. И вот однажды во время прогулки его остановила молодая женщина с двумя авоськами и, смущаясь, спросила:

— Извините, скажите, пожалуйста, как у вас сложились отношения с Тамарой? — Видя его удивление, она, растерявшись вконец, добавила: — Не знаю почему, но я часто вспоминаю вас. Никогда не забуду, как вы выискивали ее глазами на вечерах в нашей школе, мне казалось, ваш взгляд сжигал все на пути к ней. Поверьте, это не только моя фантазия, то же самое мне говорили подружки, многие за вас, Рушан, переживали.

— Спасибо,— ответил растроганный Дасаев.— Но, увы, она вышла замуж за другого и живет в Черновцах.

Пока женщина не скрылась за углом, он долго смотрел ей вслед, пытаясь припомнить ее на тех вечерах, которые отчетливо помнил, но, увы... Он заметил смущение незнакомки и от мятого, невзрачного платья и стоптанных туфель, и от тяжелых авосек с картошкой, и понял, как нелегко дался ей вопрос, у нее своих забот хватало, это бросалось в глаза сразу, и вот надо же...

Вообще, в тех местах, где он появлялся, знали, в кого он влюблен, и эта верность у многих вызывала симпатию. Впрочем, нужно оговориться, по тем временам это был не подвиг, а нечто само собой разумеющееся — верность окружающими ценилась. Но каково было тогда самому Рушану? Через полгода он оканчивал техникум, а что ожидает путейца? Полустанок, в лучшем случае — станция? Надеяться на то, что туда приедет Тамара, было бесполезно, тут даже на переписку не было надежды. Она знала, что он есть, влюблен в нее, и, кажется, воспринимала это как должное: иногда позволяла проводить после школьных вечеров, танцевала с ним, порою даже говорила ему приятные слова, кокетничала, изредка объявлялась на его соревнованиях по боксу и очень темпераментно болела, но все это было не то... Он-то видел, как «встречались» с девушками



его друзья — Валька Бучкин, Ленечка Спесивцев. Незнакомым девушкам, которые вдруг начинали интересоваться им, друзья говорили: оставь, его никто, кроме Давыдычевой, не интересуется, безнадежный однолюб. Вот такая у него была репутация в те юные годы.

Тот новогодний вечер для них был последним в Актюбинске. Летом он отбывал по направлению и понимал, что навсегда расстанется с беспечной студенческой жизнью, а впереди — нелегкие взрослые будни. Работа на транспорте требует человека целиком, он уже знал, что дорожный мастер не имеет права отлучиться с участка, не предупредив, где его могут найти, — такова специфика.

В тот праздничный вечер его одолевали грустные мысли, хотя после бала в школе он был приглашен Стаиным в одну интересную компанию. Жорик, с которым он пришел в сорок пятую, мотался по залу, пытаясь выяснить, кто же скрывается за «№ 14», завалившим его любовными посланиями, а Рушан, задумавшись, стоял у колонны, не решался пригласить на танец Тамару, почему-то державшуюся сегодня особенно капризно. Объявили «белый танец», и Рушана пригласила Светлана Резникова. Между собой ребята звали ее «Леди». Светланка, надменная, острая на язык девушка, из известной в городе семьи, нравилась многим и знала об этом. Рушан, давно не видевший ее, поздравил с наступающим Новым годом и спросил, зная про ее давний и прочный роман с парнем, учившимся в мединституте:

— А где же Славик?

Светланка, положив ему обе руки на плечи, — прежние танцы позволяли это, — сказала озорно и без всякого сожаления:

— А он бросил меня...

— Тебя, прекрасная Леди? В это трудно поверить, — подлаживаясь под ее шуточный тон, ответил Рушан.

— Да, вот такой он ветреник. И, как мне кажется, на сегодня мы — прекрасная пара. Ты не нужен Давыдычевой, я — Мещерякову, двое отверженных. Ну как, Рушан, закрутим любовь?

Она глядела на него с улыбкой и теснее сжимала пальцы рук у шеи. Близость ее, жар рук, аромат духов кружили ему голову. Видя, что Рушан не понимает, в шутку или всерьез она говорит, Светлана показала на вальсировавшую у елки пару: Славик увлеченно танцевал с давней соперницей Светланки — Верочкой Осадчей. Как только кончился танец, она взяла его под руку и, отведя к колонне, осталась рядом с ним. Глядя нежно, как не смотрела на него до сих пор ни одна

девушка, она поправила Рушану бабочку и с обворожительной улыбкой, от которой он терялся, заявила:

— Хочешь — не хочешь, Дасаев, я беру тебя сегодня в плен. Уходя на вечер, я слышала по радио призыв: обиженные в любви — объединяйтесь!

Дасаев, не понимая, разыгрывают его или это всерьез, смутился еще больше. Выручил объявившийся рядом Стаин... И тут Рушан почувствовал, что Светлана не шутит. Она, оказывается, знавшая об их дальнейшей программе, вдруг объявила оторопевшему Стаину:

— Жорик, на Рушана не рассчитывай, он сегодня мой. Я решила его украсть. Могу я позволить себе в качестве новогоднего подарка обаятельного чемпиона по боксу?

Стаин удивленно глянул на Светланку, — он знал, что своенравная Резникова в настроении могла учудить и не такое, и ей все прощалось. «Она знает свое место в обществе», — как высокопарно говаривал о ней Жорик, когда-то он безуспешно пытался за ней ухаживать.

— Не боишься? Славик в гневе бывает крут, — видимо, дразня Резникову, обронил Стаин.

— Не боюсь. Рушан оберегал Давыдычеву и не от таких, как Мещеряков, — ответила Светлана и демонстративно прижалась к Дасаеву.

— Ну, тогда я пошел, у меня тоже сердечные проблемы. Желая приятной встречи Нового года. — И, приобняв Рушана, добавил: — Помни, Татарка своих в обиду не дает... — Он имел в виду, что Славик живет на Курмыше, где обитала такая же оторва, как и на Татарке. И элегантный Стаин, по которому в тот вечер тосковал не один девичий взгляд, скрылся в толпе танцующих.

Новогодний бал становился все шумнее, напряженнее, сбивались последние компании, чтобы встретить полуночный бой курантов у кого-нибудь дома. Конечно, неожиданно возникший «дуэт» Резникова — Дасаев не остался без внимания, но в тот вечер вряд ли кто принял их отношения всерьез, ведь казалось: Резникова просто дразнит Славика, а Рушан с удовольствием подыгрывает очаровательной Светланке.

За окнами падал снег, медленно вращалась щедро наряженная елка, в зале заметно поредело, время неумолимо приближалось к полуночи, и властная Светлана, весь вечер не отпуская Рушана ни на шаг, сказала:



— Идем, пора и нам отметить Новый год и начало нашего романа,— и потянула его бегом к лестнице, ведущей в раздевалку.

Рушан предполагал, что Светлана пригласит его в какую-то компанию,— ей, как и Стаину, везде были бы рады,— но она, как о давно решенном, вдруг объявила:

— Ну, теперь идем к нам, нас ждет накрытый стол.— И, видя удивление на лице Рушана, с улыбкой пояснила: — Да, да, накрытый стол. Я была уверена, что буду отмечать Новый год с тобой, ты моя сознательная и давно избранная жертва. Не жалеешь? — Наслаждаясь его смущением, добавила: — А чтобы тебя не мучили угрызения совести или сожаление, скажу: я точно знаю — в новогодних планах Давыдычевой тебе места нет. Она на днях мне звонила, и мы с ней целый час болтали. Правда, я ей не сказала о ссоре со Славиком, а что мне хотелось, выведала. Представляю, как она сейчас бесится, тебя ведь еще никто не уводил. Но жизнь — борьба, как нас учат в школе. Ты не осуждаешь меня, Рушан? — И, приблизившись к нему, вдруг охватила его голову прохладными руками и одарила жарким поцелуем...

Резниковы жили в десяти минутах ходьбы от школы, и они, свернув с Карла Либкнехта на Орджоникидзе, поспешили вниз к вокзалу, где напротив «Железки» высился заметный особняк за высоким глухим забором. Стояла поистине новогодняя ночь — с легким морозцем, мягко падавшим снегом, и Светлана всю дорогу озоровала, сталкивала его в сугробы, бросалась снежками, пыталась лепить снежную бабу. Целовались почти у каждого дерева, и Рушану всякий раз приходилось опускать в снег ее завернутые в газету лаковые «шпильки». На катке во дворе «Железки» горела огнями наряженная елка, и стайки подростков в ярких спортивных костюмах мирно катались вокруг нее на коньках, для этой картины явно не хватало музыки, но радостный смех, визг, возгласы ошалелых от предчувствия близящегося праздника молодых людей слышались издали...

Ту давнюю прогулку в новогоднюю ночь он прокручивал потом в памяти сотни раз, припоминая все новые и новые подробности. Говорят, иногда прожитые годы проносятся перед человеком в считанные секунды,— может, и так, но Рушану со временем та пятнадцатиминутная дорога представляется прогулкой длиной в целую жизнь.

Он шел как в бреду, иногда невпопад отвечая Светланке, не до конца понимая, что все эти ласковые слова, жаркие поцелуи, вдруг обрушившиеся на него, адресованы ему... Он никогда не думал,

что от этого так может кружиться голова, биться сердце. Порою ему казалось: не сон ли это — надменная Светлана, недоступная Леди, о которой вздыхали многие, рядом с ним?

Она открыла дверь своим ключом и пригласила в дом. В прихожей, заметив его растерянность, одобряюще сказала:

— Не бойся. Мы одни. Родители в гостях, вернутся завтра утром. Семейная традиция — встречать Новый год у деда. Проходи, — и она распахнула застекленную белую дверь в зал.

За спиной щелкнул выключатель, и перед ним вспыхнула тяжелая люстра под высоким потолком, прямо над наряженной елкой. Казалось, тысячи хрустальных солнц струили на нее с потолка осколки своих лучей — это волшебное ощущение, которое он почувствовал в первый миг, надолго врезалось ему в память.

Удивительно, как в считанные минуты Рушан разглядел весь зал, его убранство, с тяжелыми, на восточный манер, коврами на стенах, громоздкими напольными часами в корпусе из потемневшего красного дерева, чей неслышный ход определял, наверное, долгие годы ритм этого дома, с книжными шкапами, блиставшими золотыми корешками незнакомых ему редких книг, сервантом между окнами, где в хрустальных бокалах, фужерах отражались огни люстры, отсвет легких елочных игрушек и матово поблескивало тусклое серебро чайного сервиза. Чуть поодаль елки — сервированный стол под белой крахмальной скатертью, заставленный салатами, закусками. Но Рушану прежде всего бросились в глаза две высокие вазы: одна с крупными золотистыми мандаринами, другая с красным алма-атинским апортом, — с тех пор у Рушана Новый год ассоциируется с запахом яблок.

В те же минуты он ощутил уют, тепло и надежность этого дома и был рад, что не ошибся в представлениях о жизни Леди, чувствовалось, что она, как редкий экзотический цветок, росла в любви и заботе. В ту пору считалось хорошим тоном бывать в доме девушки, с которой встречаешься, — старые милые традиции их провинциального городка, и Рушан понимал, что настал и его час, ведь в особняк на улице 1905 года его никогда не приглашали, и это сыграло в ту ночь немало важную роль. Все навалилось на него стремительно, неожиданно, поистине — новогодний сюрприз.

Не успел он осмотреться, обвыкнуться, как Светлана вдруг сказала с досадой:

— Простор зала и этот огромный стол гнетут меня. Ты не возражаешь, если мы переберемся в мою комнату?..



Рушан, еще до сих пор не осознавая, что с ними творится, в прострации лишь кивнул головой и привстал с кресла. Ее комната, довольно большая, выходящая окном во двор, оказалась напротив зала, и в приоткрытую дверь хорошо виднелась в темноте высокой комнаты светившаяся мерцавшими гирляндами наряженная елка. Между книжными шкафами, занимавшими стену напротив окна, располагался уютный уголок с двумя глубокими кожаными креслами и низким столиком, обтянутым зеленым сукном. К изголовью одного из старинных кресел склонился стеклянный абажур диковинного бронзового торшера. Рушан вмиг представил Светланку, забравшуюся с ногами в просторное кресло с книжкой в руках и даже укутанную тяжелым шотландским пледом, он как раз покрывал ее низкую деревянную кровать.

Но что-то инстинктивно насторожило Рушана: подняв тревожный взгляд от ложа Светланки с двумя туго взбитыми подушками, он сразу увидел на стене приколотую кнопками большую фотографию улыбающегося Мещерякова. Рушан так растерялся, что не мог отвести от нее взгляда, и Светланка, вошедшая в комнату со скатертью в руке, застала его в замешательстве.

— Это маман, ее происки. Где-то откопала любимого Славика. Видимо, решила новогодний сюрприз мне устроить,— прокомментировала она и, тут же сдернув фотографию, разорвала ее на клочки. Потом, взяв Рушана за плечи, озорно, в своей лукавой манере, сказала: — Жаль, у тебя нет подходящего фотопортрета, а то я бы организовала ответный сюрприз...

Она умело разрядила грозовую атмосферу: Рушан ни на минуту не усомнился, что все так и есть,— Леди отличалась искренностью и прямоотой, и в этом было ее очарование. Они часто общались, хорошо знали друг друга, возможно, и сегодняшний выбор Светланки не был минутным капризом.

Высокие напольные часы известили глухим боем, что до Нового года осталось всего четверть часа, и Светланка попросила его помочь. Вдвоем они быстро перенесли закуски, фрукты с праздничного стола в зале в ее комнату, и без пяти она зажгла на столе свечи в тяжелом, под стать торшеру, бронзовом шандале. Показав глазами на шампанское, волнуясь, сказала:

— Вот так я задумала неделю назад, и рада, что моя мечта сбылась. С Новым годом, Рушан!

Они сдвинули бокалы, и звон хрусталя слился с боем старинных часов в темном зале.

Та новогодняя ночь, как и дорога к дому Резниковых, спустя многие годы воспринимается как огромная и важная часть его жизни, и в воспоминаниях ни разу ему не удалось пробыть со Светланкой целиком — от порога до порога, хотя он знает, что провел там шесть часов. И все равно, чтобы описать эту встречу, понадобится целый роман, и ни в какой телесериал не уложиться, ибо год за годом всплывают в памяти вдруг забытые слова, их оттенки, краски, жесты, взгляды, шумы, шорохи, запахи, мелодии. Хотя, заставь его однажды записать хронологию новогодней ночи в доме Резниковой, он бы не смог. Как же так, если пронес в сердце это волшебное свидание через всю жизнь — вроде не вяжется? Но это и есть тайна, магия чувств, не всякому она открывается, не открылась и ему, хотя Рушан почувствовал, вкусил дыхание любви. Кто-то, более жесткий, наверное, сказал бы: вкусил и отравился. Пусть и так. Или не так. Или совсем иначе.

Как-то давно в одной компании зашел разговор о любви, в котором Рушан не принимал участия, но когда возвращались домой, товарищ, видимо, еще не остывший от горячего спора, любопытствовал:

— А как выглядела твоя первая любовь?

Рушан, миг вспомнив девушку с улицы 1905 года, ответил без раздумий:

— Красивая. Очень красивая.

— Это не ответ, слишком обще,— рассмеялся приятель,— какие у нее были плечи, грудь, ноги?

Видя, что Рушан надолго замолк, приятель решил, что Дасаев обиделся. Но он не отвечал по иной причине. Он действительно не мог сказать, какие у нее ноги или грудь. Правда, он помнил ее глаза, большие, карие, с влажной поволокой; мог еще сказать о трогательной родинке на правой щеке, чуть выше уголка хорошо очерченного рта, чувственных губ. Он мог бы долго рассказывать, как она сердилась, каким задумчивым бывал у нее взгляд, как она хмурила брови, как загадочно улыбалась, но... грудь — этого он не мог вспомнить, как и тот вечер целиком в особняке напротив «Железки» — это тоже осталось одним из таинств любви.

Каждый человек ждет от Нового года удач, радости, исполнения давних желаний, тем более в молодые годы, в восемнадцать лет, на пороге взрослой жизни. И так случилось, что к единственному празднику, в котором есть привкус волшебства и с которым люди связывают надежды, они оба оказались, по выражению самой Светланки,



отверженными. Да, да, отверженными в любви, хотя, по выражению Стаина, бытовавшему в их городе, они принадлежали к «выдающимся» в своем поколении ребятам — знакомства, дружбы и с Рушаном, и со Светланкой искали многие, опять же по Стаину, — «сочли бы за честь». Нет, не был случаен в тот день выбор Резниковой, и не нашлось бы парня, отказавшегося провести новогодний вечер с Леди, попасть в ее очаровательный плен.

Возможно, одного не учла девушка, что Дасаев, кумир болельщиков не только Татарки, безнадежно влюбленный в Давыдычеву, никогда не слышал таких волнующих слов, не ощущал на себе нежные взгляды, не смущался от ее по-девичьи ласковых и горячих рук, не задыхался от сладких губ. А уж самому Дасаеву и на миг не могла прийти мысль, что слова, поцелуи, объятия, так долго вызревавшие в душе девушки, предназначались другому, да хранить их было невозможно, разрывалось от тоски и горечи одиночества девичье сердце в праздник, суливший другим счастье и любовь. Вот тут он и подвернулся под руку — заметный, печальный, одинокий... Наверное, роман с ним уж наверняка сразу вызовет разговоры и ее перестанут жалеть. Может, все было и не совсем так, ведь здесь все просчитать невозможно — это не высшая математика, но такие мотивы неожиданно оказанного Рушану внимания не исключались.

Скорее всего, слова, жесты, улыбки Светланки можно было сравнить с криком в горах после долгого и обильного снегопада, или с ударом кочерги в лётку кипящего мартена, в обоих случаях рождалась лавина — снега или горячего, брызжущего огнем металла, удержать которую никому не удавалось, — подобное произошло и с Рушаном. Копившуюся годами в его душе страсть, нежность, любовь, не имевшую выхода, тоже прорвало в ту ночь, и Светлана, сама раненая, услышала то, что жаждала услышать ее изболевшая душа, прощя, встретились два сердца, открытых для любви. Конечно, они были пьяны не от бутылки шампанского, которую, кажется, и не опорожнили до конца. Их пьянили нежность слов, искренность взглядов, жестов, чистота помыслов, неожиданно открывшееся родство душ.

Наверное, тому способствовала и музыка. В ту новогоднюю ночь в комнате, освещенной лишь жарко оплывавшими свечами, звучала разная музыка, но чаще минорная, она больше соответствовала настроению. Их любимый Элвис Пресли в тот вечер не понадобился. Запомнилась и главная мелодия той ночи, та давняя зима

оказалась звездным часом рано ушедшего из жизни легендарного Батыра Закирова с его знаменитым «Арабским танго». Под щемящую грусть танго они танцевали в зале у светившейся огнями елки, и казалось, сама богиня любви Афродита осеняла их крестным знамением, и не было, наверное, в ту ночь влюбленных более счастливых, чем они.

Все способствовало тому, чтобы их отношения развивались стремительно, по нарастающей, и обстановка праздника окружала их долго, как по особому сценарию. Начинались школьные каникулы, а в них две недели подряд новогодние балы в «Железке», «ОДО», «Большевике» под джаз-оркестр братьев Лариных, вечера в каждой школе. Они жили в атмосфере праздника, музыки, веселья почти весь январь, потому что выпали три-четыре дня рождения, на которые их пригласили вместе, дважды они были званы и на вечеринку к Стаину. Они виделись каждый день и проводили по многу часов вместе. Иногда среди дня раздавался звонок в общежитии, и Светлана говорила с волнением в голосе: приходи, я соскучилась. Отбросив дипломную работу, Рушан спешил в особняк за зеленым дощатым забором. Кстати, первый в жизни номер телефона, которым Рушан пользовался,— Резниковой, он помнит до сих пор: 3—32.

В ту пору многое для него оказалось впервые. В начале февраля, опять же впервые, в их город приехал на гастроли Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением Рауфа Гаджиева. Красочные афиши, фотографии оркестра, певцов, танцовщиков, известного в ту пору конферансье Льва Шимелова, самого композитора Гаджиева украшали людные места их не избалованного артистами города. Казалось, на концерт ни за что не попасть. Выручил Стаин,— достал для него билеты, да еще на первый ряд. А уж сам он ходил на все четыре программы, перезнакомился со всеми оркестрантами.

Сегодня, хочет Рушан того или нет, «роман» с Резниковой представляется ему сплошным праздником, так вышло, так случилось. И как же не праздник?! Они сидят в первом ряду концертного зала «ОДО», а перед ними на эстраде в четыре яруса полукругом висится едва ли не до самого потолка огромный оркестр. Мерцающие в темноте пюпитры, серебро труб, черные фраки и ослепительные парчовые жилеты оркестрантов, золотые зевы саксофонов, а на самой верхотуре блеск меди и перламутровых огненных боков множества барабанов ударника. Многочисленные занавеси, меняющиеся в каждом отделении, хорошо продуманные задники, появляющиеся



с каждым новым исполнителем, настоящие театральные декорации в концертной программе,— то, к чему пришли звезды мировой эстрады много лет спустя.

Фантастика?! Да, пожалуй, при нынешнем упрощении всего и вся оркестр Рауфа Гаджиева и еще несколько коллективов, которые он узнал позже, например, оркестр Орбеляна из Армении, Гобискери из Тбилиси, Лундстрема из Москвы, Вайнштейна из Ленинграда, любой из джазов Кролла, вряд ли уступали в мастерстве столь облаканным артистам Поля Мориа.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем» — это о нас, о нашей стране, и не только о канувших в Лету первоклассных оркестрах.

Это было так давно, что еще не существовало знаменитого вокального квартета «Гайя», уже много лет назад распавшегося. А Теймур Мирзоев, Рауф Бабаев, Левка Елисаветский, Ариф Гаджиев просто пели вместе, и в ту пору, наверное, Лева даже не помышлял, что когда-то покинет воспевавшийся им в песнях любимый Баку. Кто теперь помнит лирический тенор Октяя Агаева, ведущего певца и любимца оркестра?

Но Рушану не забыть, как Михаил Винницкий, подойдя к краю рампы и чуть склонившись в зал, глядя прямо на Светланку, повторил рефрен грустной песни: «Придешь ли ты?», а она инстинктивно прижалась к Рушану, наверное, ее волновало, что ее, единственную, он выделил из партера...

Так катилась последняя студенческая зима Дасаева, и он был наконец-то счастлив. В марте у него начиналась двухнедельная преддипломная практика, и он еще с лета знал, что проведет ее дома, в Мартуке. Впрочем, в город Рушан должен был вернуться через неделю,— в составе сборной Казахской железной дороги по боксу он уезжал в Москву на первенство «Локомотива».

Уезжая, он договорился, что Светланка каждый день будет выносить к вечернему поезду письмо,— тогда в каждом пассажирском составе имелся почтовый вагон, и особо нетерпеливые пользовались им. Жаль, до наших дней не дожидка подобная форма связи, вот бы выиграли влюбленные!

Помнится влажный март, капель, оседающие на глазах сугробы, и он, стерегущий на улице почтальоншу. Еще увидя ее издали, он бежал навстречу, чтобы хоть на минутку раньше получить долгожданное письмо. Но... увы...

Как рассказать минувшую весну,  
Забывтую, далекую, иную,  
Твое лицо, прильнувшее к окну,  
И жизнь свою, и молодость былую?

Как та весна, которой не вернуть...  
Коричневые, голые деревья.  
И полных вод особенная муть.  
И радость птиц, меняющих кочевья.

Весенний холод. Серость. Облака.  
И ком земли, из-под копыт летящий.  
И этот темный глаз коренника,  
Испуганный, и влажный, и косящий.

О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.  
Запахло мятой, копотью и дымом.  
Тем запахом, волнующим до слез,  
Единственным, родным, неповторимым.

А он, как условились, исправно бегал к ночному поезду. Бросив письмо в щель сонного вагона, смотрел, как паровоз сыпал в морозную ночь, в темноту стылого неба, искры. Ночь, пустынный перрон, безлюдные улицы, светящиеся окна медленно отходящего скорого — о чем он только не думал в эти поздние часы!

Накануне возвращения в город, на сборы, он уже по привычке дожидался почтальоншу, и она, завидев его, издалека махнула белым конвертиком — как он помчался навстречу! Долгожданный конверт вблизи оказался бланком телеграммы: «Локомотив» срочно требовал его под свои знамена, отъезд намечался на три дня раньше. Наверное, хорошо, что до отбытия в Москву в городе у него оказалось несколько часов — из разговора со Светланкой по телефону он узнал, что она все-таки собралась замуж за Мещерякова.

Так внезапно начавшийся роман столь же внезапно оборвался.

«Есть радость ясная в начале, обида темная — в конце...» — но это опять поэзия.

Сегодня Дасаеву хотелось бы запоздало принести многим людям извинения за нечаянно нанесенные обиды, попросить прощения и у тех ребят, с которыми встречался на ринге на том первенстве «Локомотива», где он стал чемпионом. За две недели во Дворце спорта железнодорожников он заработал злую кличку — Лютый,



к его радости, так и оставшуюся в Москве. Не мог же он тогда объяснить каждому, что у него душа болит, жаль, если у кого-то осталось впечатление, что он патологически жесток.

Вернулись они домой уже в апреле, когда в их краях царила весна и ожил «Бродвей». В ту пору телевидение еще не стало повсеместным, но в городе знали об успехе земляков на первенстве «Локомотива», тогда, как ни странно, был силен местный патриотизм. «Роман» с Резниковой, внезапно начавшийся и так же неожиданно для самого Рушана оборвавшийся, остался незамеченным, отодвинулся на второй план, никто ему не сочувствовал, не обсуждал произошедшее. Скорее всего, «роман» этот был воспринят как каприз Резниковой, дальновидный предлог, чтобы вернуть Мещерякова. А может, потому так случилось, что отношения Светланки с будущим врачом все давно воспринимали всерьез, равно как и его отношения с Давыдычевой. В общем, всем казалось, что ничего не произошло, хотя его сердце, почувствовавшее дыхание любви, щемило от боли. Максималист, он ощущал себя еще и предателем по отношению к Тамаре, запутался вконец. И однажды по пути в общежитие, задумавшись, вновь оказался у окон дома на улице 1905 года.

Нигде в мире, наверное, не существовало такого отсчета времени: «пятилетку — за три года», «год за два», и хотя первая фраза — из идеологического лексикона, вторая — из уголовного, для советского человека суть обеих ясна. Нечто подобное происходило в ту весну и со временем Рушана и его друзей: они жили такой насыщенной жизнью с каждодневными открытиями, что можно было иной день зачесть за месяц. Они открывали мир, себя, упивались новыми, до толе не изведенными чувствами, и все в ту пору случалось впервые.

Тамара, учившаяся классом ниже, чем Светлана, неожиданно стала встречаться с одноклассником Резниковой, Наилем Сафиным. Наиль — тихий, болезненный, домашний мальчик, вдруг стал провожать Тамару из школы, о чем тут же не преминули доложить Рушану. Но теперь, после «романа» с Резниковой, он считал себя не вправе вмешиваться, как делал до сих пор, да и Наиля всерьез воспринимать было смешно, тут, наверное, как и в случае с Резниковой, была какая-то уловка.

События разворачивались с калейдоскопической быстротой. Рушан успел заметить одно: Светлана очень тактично избегала компаний, где он мог появиться, да и он почему-то боялся такой встречи. Настроения особого гулять не было, и Рушан усиленно занимался

дипломом и готовился к первенству города по боксу, финал которого, по традиции, много лет подряд приурочивался ко дню открытия парка. Не было соревнования, которое бы так жаждали выиграть боксеры, как это. Можно стать чемпионом республики, призером первенства СССР, выиграть Спартакиаду народов СССР, стать чемпионом любого знаменитого спортивного общества, будь то «Спартак» или «Динамо», но город признавал только своих чемпионов — вот кого знали, любили, почитали! Они становились кумирами на все долгое лето, а администрация парка вручала каждому победителю жетон, дававший право бесплатного входа на танцы на весь сезон. Для них оркестр мог повторить любимившуюся мелодию, а строгие вахтеры дружелюбно улыбались, когда обладатель жетона, пропускающая подружку вперед, говорил: «Эта девушка со мной...»

В ту весну случилось много всяких событий, радостных и грустных, нужных и ненужных. Однажды среди дня он вынужден был ввязаться в драку в центре города, и в этот момент прямо на них вышли Тамара с Наилем. Говорят, оцепенев от страха, она вымолвила Сафину: «И этот бандит еще пытался за мной ухаживать...» Он потом долго старался не попадаться ей на глаза.

А было это так. В конце апреля выпала Пасха, и благодаря новому батюшке, оказавшемуся не в пример своему предшественнику не только молодым и красивым, но и деятельным, приход в городе ожил, и впервые религиозный праздник отмечался заметно. В то воскресенье Рушан зашел в библиотеку в «Железке» и собирался подняться вверх по Орджоникидзе на «Бродвей», как вдруг подвернулись ему на улице братья Дроголовы, или, как их называли, «дроголята», отчаянные жиганы с «Москвы», где он жил в общежитии. Разумеется, они друг друга хорошо знали. «Дроголята» уже с утра «христосовались» с друзьями и знакомыми и пребывали в добром настроении. Узнав о намерении Рушана, и они решили прошвырнуться по «Бродвею» — праздник все-таки!

Близился Первомай, яркое солнце, зелень, кругом распахнуты настежь окна, цветут сирень, акация — поистине божий день.

Тут нужно оговориться, точнее, провести параллель между аристократией и уголовным миром. Да-да, прямую параллель: если аристократом можно быть только по крови, то и в уголовной среде, в высших ее сферах, та же ситуация, только мало кому известная, даже юристам, ибо их подготовка оторвана от жизни, как в никакой другой профессии. Редко даже свертотчаянному парню со стороны



удается подняться в блатном мире до самых высот, здесь авторитетами становятся по рождению, по крови, остальных презрительно называют «парчук», и нет им абсолютного доверия, даже если у них несколько судимостей.

Двое старших «дроголят», не раз сидевшие, были широко известны в городе. И младшие «дроголята», выросшие под ореолом «знаменитых» братьев-жиганов, знали свое положение и пуще всего берегли «репутацию», говоря на жаргоне, не «бакланили» по пустякам.

Обсуждая вчерашний футбольный матч, где Стаин забил «Локомотиву» три безответных мяча, отчего Татарку лихорадило всю ночь, они поднимались вверх по Орджоникидзе, мимо тех деревьев, у которых в новогоднюю ночь Рушан целовался со Светланкой. Дасаев издали заметил, что навстречу им спускаются вниз к вокзалу четверо рослых парней постарше них. По шумному разговору, жестикуляции, громкому смеху ощущалось, что они уже «разговелись», отметили Пасху. Узкий тротуар не позволял разминуться, если не уступить друг другу, но ни с той, ни с другой стороны никто, кроме Рушана, и не подумал сделать такую попытку, больше того, кто-то зацепил плечом одного из Дроголовых, и тут в секунду произошла цепная реакция. Увидев сверкнувшие злым блеском глаза «дроголенка», толкнувший презрительно выпалил:

— Что, козел, устался, не можешь старшему дорогу уступить?

Скажи тот что угодно без слова «козел», наверняка обошлось бы без стычки, но такие блатные «кронпринцы» не могли оставить безнаказанно. Видимо, пытаясь замять назревавший скандал, Дроголов на всякий случай переспросил:

— Повтори, я не расслышал?

И обидчик, явно уже подогреваемый подвыпившими друзьями, повторил, педалируя на слове «козел».

Не только для другого брата Дроголова, но и для Рушана стало ясно, что оскорбительный ответ — сигнал боевой трубы, такого унижения, да еще прилюдного, «дроголята» снести не могли. И в ту же минуту, когда они, не сговариваясь, кинулись на обидчиков, появились на углу Тамара с Наилем. Драка с тротуара переместилась на дорогу, и тут здоровенные парни, имевшие численный перевес, уверенные, что вмиг проучат зарвавшихся мальчишек, были позорно и жестоко биты. У одного из «дроголят» оказался легкий, незаметный плексигласовый кастет, и от его удара никто не мог устоять на ногах.

Все произошло стремительно, в несколько минут, и собравшиеся на тротуарах, перекрестках зеваки вряд ли заметили тонкую полоску изошренного кастета, но Рушан понял, отчего такой страшной силы удар, от которого уже не поднимались.

Кто-то, явно им симпатизировавший, крикнул: «Атас! милиция!» — и они исчезли в соседнем дворе. Все время драки Рушан видел испуганное лицо Тамары, а на него кидался парень крепкого сложения, и ему никак не удавалось отправить его в нокаут, хотя раз за разом сбивал того с ног. Дасаев избегал ближнего боя, где был силен, не хотел накануне праздника заработать синяк.

В тот день он высоко поднялся в глазах шпаны с «Москвы», ревностно относившейся к Рушану, который держался все-таки ближе к ребятам с Татарки, и не только из-за родства с Исмаил-беком и дружбы со Стаиным. Романтика блатной жизни его не привлекала, и близость с Исмаил-беком, и дружба «кронпринцев» Дроголовых для него не стоила и одной улыбки Давыдычевой. А он понимал, что теперь окончательно упал в ее глазах: о «бандите» доложили ему в тот же вечер.

Вот так, как на американских горках, или проще, по-русски: из огня да в полымя.

Иногда приходила шальная мысль, которой он, к счастью, ни с кем не поделился — пойти «разобраться» с Мещеряковым, припугнуть Сафина, чтобы забыл дорогу на улицу 1905 года. Но душа, открытая любви, выросла, мужала, не желала никаких разборок и конфликтов, и в случае с Мещеряковым он понимал, что посягнул на «чужое», — «сталинские дети» все-таки еще помнили библейское: «не убий», «не укради», «на чужое не зарься», впитанное от бабушек и дедушек, — не провозглашенный тогда еще Моральный кодекс жил в крови.

То же самое и с Наилем... Не будь «романа» с Резниковой, он, возможно, мог бы и припугнуть парня, хотя молодым умом уже начинал понимать, что насильно мил не будешь.

Вообще той весной он чувствовал какой-то внутренний разлад во всем и даже иногда радовался, что через два с небольшим месяца покинет город, где не сбылись его сердечные мечты, и на новом месте попытается начать все сначала — так думалось в ту пору. Казалось, с глаз долой — из сердца вон, и он с головой окунулся в проекты, хотя учился он легко, и сроки дипломной работы, на его взгляд, были непомерно растянуты.



В ту весну Рушан заметил странность: если ему решительно не везло в любви, то неожиданно многое открылось в боксе, где он уже был без пяти минут мастером спорта. И причиной послужила та драка на улице на Пасху. Отвлекая на себя одного из противников, он успевал помогать младшему «дрогоценку», тому приходилось трудно. Рушан, сбивая с ног своего соперника, наносил и чужому короткий и резкий удар, отчего тот тоже валился на колени, но упорно поднимался и лез вперед, ребята попались крепкие, но в состоянии опьянения они не были страшны. Хотя все происходило молниеносно, Рушан с холодной расчетливостью сдерживал свой удар, боялся выбить костяшки пальцев, раньше такое опасение ему бы в голову не пришло, азарт подавлял разум. Но и это не все: он легко держал в поле зрения обоих противников, и уж совсем немыслимо, но он почти все время видел испуганное лицо Тамары. Обладая и силой, и техникой, и характером, он вдруг почувствовал, что ему открылось главное в боксе: пришли уверенность, хладнокровие, расчет, а зрение сделалось объемным, как в голографии, он видел как бы насквозь и упреждал хитроумно задуманную атаку. Это он понял на первых же тренировках перед первенством города.

Неожиданная уверенность, пришедшая к нему в квадрате ринга, дала душе необходимое равновесие, он обрел спокойствие, так необходимое перед боями. А еще в то утро, во дворе «Железки» напротив дома Резниковых, он боялся повернуть голову в сторону глухого зеленого забора в переулке, так ныло от тоски сердце.

Его перевоплощение на ринге, новая, раскованная манера боя, в которой не сквозил бесшабашный азарт, бросались в глаза сразу, но связали это с опытом на первенстве «Локомотива»: в столице, мол, пообщался с мастерами, пришла пора зрелости. Рушан в объяснения не пускался. Только себе в эти дни грустно признался: жаль, что за четыре года я преуспел только на ринге. Да, только на ринге он чувствовал себя хозяином своей судьбы, мог диктовать свою волю, навязывать свою манеру, но это не слишком радовало Рушана, он не хотел связывать жизнь со спортом, хотя уже поступали заманчивые предложения.

Город с нетерпением ждал соревнований на призы парка, особенно в легком весе, там собралось наибольшее число отлично подготовленных претендентов, лихих парней в ту пору хватало, сборная СССР тогда на четверть состояла из казахстанцев, где бокс на долгие годы оказался спортом номер один.

Самому Рушану казалось, что он исчерпал себя в этом городе, где жизнь уже шла мимо него. Он снялся с военного учета, сдал книги и спортивный инвентарь, числившийся за ним. Оставались лишь два дела с его участием: защита диплома и первенство города по боксу, о котором только и было разговоров на «Бродвее».

Но судьбе было угодно, чтобы за два месяца случились события, наполнившие жизнь Рушана новым светом, и все дни со времени новогоднего бала с годами слились в один и стали той духовной основой, на которой формируется характер человека. Теперь, через десятки лет, когда на всем стоит несмываемое тавро «проверено временем», он понимает: то забытое, казавшееся случайным, временным, преходящим, оказывается, и было дарованным свыше озарением любви, тем, ради чего люди рождаются на свет — любить и быть любимым.

Благословенное время: оказывается, волшебная жар-птица была рядом, только поверни голову, протяни руку...

Бои на призы парка, начавшиеся за неделю до его открытия, дали Рушану нелегко. Особенно первый, из-за него, наверное, собралось невероятное количество зрителей, потому что волею слепого жребия в нем сошлись главные претенденты на чемпионский титул в легком весе: Дасаев — Кружилин, финальная пара, часто встречающаяся в судейских протоколах тех лет. В конце первого раунда, когда до гонга оставалось несколько секунд, Рушан увидел, как среди болельщиков, занимавших ближайшие места к рингу, появились Тамара с Наилем, он даже мысленно раскланялся с ней, и в этот момент сильнейший боковой удар справа чуть не отправил его в нокаут. Рушана спас гонг. Он мог бы поклясться, что видел в ту секунду, как его верные поклонники разом укоризненно оглянулись на Тамару, они поняли, что произошло. Но в оставшихся двух раундах таких оплошностей он себе больше не позволял.

Болельщикам понравилась его новая манера ведения боя, оказавшаяся неожиданной для Кружилина. Куда подевался постоянно рвущийся в атаку, напористый, жесткий Дасаев? Вместо него по рингу легко, по-кошачьи вкрадчиво, изящно передвигался боксер, скорее напоминавший фехтовальщика, его удары оказывались молниеносными и точными и возникали из ничего, уследить их, казалось, невозможно, а каждая атака противника словно читалась им, разгадывалась, упреждалась нырками, уклонами и мощными встречными. «Словно кошка с мышкой», как прокомментировал



Стаин первую победу Рушана. Он стал в ту весну не только чемпионом, обладателем заветного жетона, но и получил приз как самый техничный боксер турнира. Говорят, что с него начался «красивый» бокс у них в городе, но то было последнее выступление его в Актюбинске.

После торжественной части, вручения грамот, жетонов, призов, произошла незаметная, вряд ли кому бросившаяся в глаза сцена, — от нее, наверное, и следует вести отсчет еще одной влюбленности Дасаева.

Когда он спустился с высокой летней эстрады, где были натянуты канаты ринга, его обступили болельщики, знакомые и незнакомые, но ближе всех оказались к нему ребята и девушки из железнодорожных школ, для которых он был своим вдвойне, потому как представлял родной для них «Локомотив», что еще раз подтверждало: тогда местный патриотизм не был пустым звуком. Нечто подобное можно наблюдать в последние десятилетия в Америке, но там бросается в глаза патриотизм в отношении страны: нет дома, где не имели бы государственного флага США. Этот патриотизм, наверное, начинается с такой вот любви к своим парням, выигравшим обыкновенное первенство города. Когда его обступили плотным кольцом, стоявшая ближе всех к нему Ниночка Новова, проведя вдруг нежными пальцами по кровоподтеку под глазом, полученному в финале, с трогательным участием спросила:

— Не больно?

Рушан улыбнулся в ответ, и вдруг, не раздумывая, вручил ей приз — большую хрустальную вазу, в ту пору, видимо, из-за изобилия хрусталя, одаривали им, и только из знаменитого Гусь-Хрустального, — сказав при этом:

— А это мой личный приз самой очаровательной болельщице...

Кто-то предложил сфотографироваться вместе на память. И Ниночка, передав Стаину вазу, достала изящную пудреницу и припудрила налившийся синяк, и Рушану было очень приятно ее внимание.

Сфотографироваться рядом с чемпионом собралось так много друзей и знакомых, что фотограф стал рассказывать и расставлять их, а в центре оказались Рушан с Ниной. Пока шла суета, кого куда усадить или поставить, Светланка, находившаяся рядом с Мещеряковым, улучив момент, бросила Рушану веточку сирени. Вряд ли кто, кроме него, увидел этот жест.

В парке уже гремел джаз-оркестр. Первый танцевальный вечер сезона начался, и большинство болельщиков перешло из летнего театра эстрады, где проходил боксерский турнир, на танцевальную площадку.

Ниночка, обнимая огромную вазу, сказала вдруг Рушану:

— Твой подарок напоминает мне троянского коня. Надеюсь, он сделан без умысла? Я ведь пробилась к тебе, жаль, ты не видел, как я толкалась, чтобы хоть раз в жизни попасть на танцы по жетону для чемпионов, тем более в день открытия парка. Сегодня или никогда, такая я, Дасаев, тщеславная...

В ту пору они изошрялись в какой-то иносказательно-шутливой манере, с заметным налетом высокопарности, в которой всегда присутствовал подтекст. Особый стиль разговора их юности, позже он никогда не встречал подобного.

— Почему ты решила, что ваза помеха твоему желанию? Мы ее пристроим к музыкантам, на всеобщее обозрение... А на танцы, Ниночка, моя неожиданная болельщица, я приглашаю тебя с удовольствием...

Нина улыбнулась и опять в шутливой манере игриво добавила:

— Только при входе на танцы, где сегодня огромная очередь, которая наверняка расступится перед тобой, скажи, пожалуйста, контролеру погромче: «Эта девушка со мной...»

Все вокруг заулыбались. Неделю назад у них в городе прошел фильм Феллини «Ночи Кабирии», ставший навсегда знаменитым. Там была сцена, когда Джульетту Мазини у ресторана подбирает в свою роскошную машину с откинутым верхом некий известный актер, и она, захлебываясь от восторга, кричит товаркам: «Смотрите, смотрите, с кем я еду!» Запоминающийся момент, и Ниночка ловко переиначила удачную мизансцену, удвоив успех всеобщего любимца Дасаева.

После танцев большой компанией, продолжая обсуждать финальные бои, они возвращались на «Москву», в поселок железнодорожников, где на улице Красной жила и Ниночка Новова. Круг общих знакомых и у Ниночки, и у Рушана состоял в целом из одних и тех же людей, «выдающихся», по высокопарному выражению Стаина, кстати, имевшему прочное хождение в быту их провинциального города, и они, конечно, знали друг о друге все. Открытость вообще была характерной чертой того давнего времени.

Конечно, Ниночка знала, что Рушан безнадежно влюблен в Давыдычеву, слышала и о «романе» с Резниковой, с которой



дружила с первого класса и была в давно сложившейся симпатичной девичьей компании.

И Рушан ведал о Ниночке немало: она, как и Стаин, грезила Ленинградом, хотела стать врачом. Знал, что она тоже безответно влюблена в Рената Кутуева, высокомерного мальчика из второй школы, увлеченного только джазом, а точнее, саксофоном. Поговаривали, что ему уже зарезервировано место в знаменитом оркестре Эдди Костаки. Кокетливо-изящная, насмешливая Новова, на которой задерживалось немало влюбленных юношеских взглядов, ни с кем до сих пор не встречалась, а на дворе стояла последняя школьная весна, и через месяц-другой она отбывала на берега Невы, как ей казалось, навсегда.

Наверное, вечер в день открытия парка так и остался бы эпизодом, связанным с хрустальной вазой и трогательным вниманием Нововой, если бы на следующий день в общежитии не раздался телефонный звонок Стаина. Жорик передал приглашение Галочки Старченко из тринадцатой школы на день рождения и очень рекомендовал пойти, уверял, что соберутся там «интересные» люди. Планов на вечер, хотя и праздничный, первомайский, Рушан никаких не строил и согласился, ибо у Стаина был отменный нюх на подобные вечеринки, что и говорить, Жорик умел развлекаться: вокруг него и крутилась молодежная «светская» жизнь их городка.

Милые, трогательные дни рождения тоже глубоко врезались в память Рушана, столько радости они доставляли и имениннику, и его гостям. Сегодня, невольно сравнивая прошлое и настоящее, Рушан понимает, как много в ту пору было счастливых семей, ведь там, где нелады, гостей не созывают. Не была исключением и семья Старченко, где в любви и обожании росла еще одна прелестная девушка, по определению Стаина, из категории «выдающихся» — в это понятие вкладывался широчайший спектр качеств: от прекрасной учебы, высоких спортивных результатов до неординарной манеры одеваться, держаться, шутить, танцевать — короче, иметь свое лицо.

«Выдающиеся» служили как бы катализатором в своем поколении, благодаря им сближалась молодежь, наводились мосты между школами: второй, где учился высокомерный Ренат Кутуев, сорок четвертой, где учились Давыдычева и самый известный поэт их города — Валька Бучкин, и, конечно, сорок пятой, законодательницей юношеской моды и всех благих начинаний, где лидировал денди

Стаин, и оканчивали ее Светланка Резникова, Ниночка Новова, а благодаря Старченко в ту весну прославилась и тринадцатая. Самому Рушану через годы кажется, что он окончил обе железнодорожные школы, и сорок четвертую, и сорок пятую, его симпатии, интересы тесно переплелись между ними.

Актюбинск той поры на три четверти состоял из собственных разностильных домов. Как шутил Стаин: «У нас город на английский манер, весь — из частных владений». В собственном доме за хлебозаводом жили и Старченко. На удивление, встречал их сам отец Галочки, оказавшийся рьяным болельщиком, он не пропускал ни одного матча «Спартак», за который играл Стаин. Переживал он вчера в парке и за Дасаева и очень обрадовался, когда узнал, что тот сегодня будет у дочери на дне рождения.

Когда они с Жориком появились в просторном зале, уставленном столами в форме буквы «П», гости уже рассаживались. Хотя их отовсюду зазывали, обращаясь по имени, многие ребята не были знакомы ни Стаину, ни Дасаеву, видимо, Галочка, пользуясь случаем, решила широко представить своих друзей и подруг из тринадцатой. И вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос, обращенный к Рушану. Оглянувшись, он увидел Ниночку Новову, мило показывавшую ему на пустующее рядом место.

— А этот стул я берегла для тебя с той минуты, когда узнала, что ты зван к Галочке. Ты вчера об этом и словом не обмолвился, считай, сюрприз не только для Старченко...

Говоря шутливо, она так маняще глядела на Рушана, что ему невольно вспомнился новогодний бал, где Резникова сказала у колонны: «Ты мой пленник, мы сегодня двое отверженных...»

Много позже в Москве, в театре эстрады, он был на премьере программы Аркадия Райкина «Светофор-2», и там его поразила одна мизансцена, не типичная для великого актера, и наверняка мало кто помнит о ней. На сцене в полумраке стоят, чередуясь, мужчина — женщина, мужчина — женщина, десять человек, но назвать их парами нельзя: хотя они все и влюблены друг в друга, но влюблены невпопад — об этом говорят их письма, телефонные звонки, полные любви, нежности, страсти, мольбы, жертвенности; казалось бы, переставь их местами, поменяй им телефоны, и все они будут счастливы, каждый из них открыт для любви, достоин ее, страдает. Но в том-то и трагедия, что нет возможности изменить ситуацию — и несчастливы все персонажи.



Тогда, в зале театра на Берсеневской набережной, ему вспомнился день рождения Галочки Старченко, и тут же выстроился тоже знакомый ряд: Наиль Сафин, влюбленный в Ниночку Новову, встречается с Тамарой Давыдычевой, а на Рушана, не добившегося благосклонности девочки с улицы 1905 года, затаенно глядит Ниночка. Казалось бы, поменяй судьба местами, и все сложится... Но в том-то и загвоздка, что Наиль не нужен Тамаре, как и он Нововой, в том-то и беда, что никого и ничего нельзя поменять местами. И в этом — еще одна тайна любви или жизни, не поддающаяся разгадке... Но все это ясно теперь, когда прошли годы и прожита жизнь.

А тогда... Какие замечательные тосты провозглашал вдохновенный Стаин, казалось, никого не обошел вниманием: ни именинницу, ни прекрасную половину гостей, ни вчерашнюю победу Дасаева, ни Ниночку, оказывается, проявляющую интерес к боксу, особенно к чемпиону, — все тепло, мило, иронично, высокопарно. Возможно, со стороны это выглядело манерно, но таков был стиль, им тогда хотелось какой-то другой жизни, подсмотренной в зарубежных кинофильмах, вычитанной в книжках, и они старались приобщиться к ней как могли — здесь в ход шло все: спорт, музыка, наряды и, конечно, речь.

Весело катилось застолье, все были приветливы, любезны, учтивы друг с другом. Стоял теплый майский вечер, и запах персидской сирени, цветущих яблонь сквозь распахнутые настежь окна, казалось, пьянил и без вина. Но вино, шампанское они пили, что скрывать. Наверное, в этот день за столом собрались только влюбленные, и любовь, ее жар витали над столом, в зале, в спальне Галочки, куда уже украдкой кто-то скрывался на минуту-другую сорвать давно обещанный поцелуй. Как горели глаза у юношей, как пылали щеки у девушек!

Сегодня, опять же запоздало, через годы, наука доказала, что есть ощущения, которые передаются всем. Состоянием каждого в тот давний майский вечер могла быть только любовь, она околдовывала, обнадеживала даже тех, кого еще не коснулись ее крылья. Звучали разные ритмы, от рок-н-ролла Элвиса Пресли до буги-вуги Джонни Холидея, которые почему-то незаметно сменились минорными мелодиями танго. И вновь, как на Новый год, на темной улице чаще других слышался грустный голос Батыра Закирова, его знаменитое «Арабское танго».

Как хорошо, что в зале давно выключили свет и танцевали так близко, что Ниночка в эти минуты не видела глаза Рушана,

хотя ощущала его волнение... Ведь все было так недавно, а Батыр Закиров раз за разом напоминал ему об этом...

У Рушана так испортилось настроение, что в перерыве между танцами он предложил Стаину исчезнуть «по-английски», но Жорик не отходил от некой Зиночки, его очередного открытия того вечера: для нее, как для Наташи Ростовской, то был первый «выход в свет»,— и вдруг такой успех, многие ребята с интересом посматривали на нее. Но Стаин, почувствовав настроение друга, сказал: «Уйдем через час, когда кончится поэтическая часть». Он слышал, что Бучкин собирается сегодня читать новые стихи.

У молодежи уже давно сложилась традиция, что на вечеринках читали стихи, у них в компании имелись свои признанные поэты, и блистал среди них Валентин. Не возбранялось читать и чужое, но отдавалось предпочтение, конечно, лирике, и этого момента всегда с нетерпением ждали девушки, порой происходили такие скрытые объяснения в стихах... Удивительно благодатное время для поэзии, даже Стаин вряд ли мог тягаться в популярности с Бучкиным,— слово, рифма обладали тогда волшебной силой.

Валентин пришел в тот вечер к Старченко с Верочкой Фроловой, с которой у него шумно и нервно длился «роман», хотя вряд ли кто пытался вклиниться между ними. Бучкин называл Верочку своей Беатриче и не замечал восторженных девичьих взглядов, посылаемых ему отовсюду, ведь он писал такие стихи о любви...

В тот вечер Валентин выглядел грустным, но порадовать стихами не отказался, когда хозяйка вдруг выключила радиолу и объявила: «Час поэзии настал». Опять же по традиции он начал читать стихи первым, и сквозь полумрак зала его задумчивый взгляд все время тянулся к Верочке, притулившейся у голландской печи и почему-то зябко обхватившей руками плечи.

Удивительные стихи лились как музыка, а на лице Верочки, освещенном молодой луной, заглядывавшей в распахнутое окошко, не читалось ни любви, ни радости. Странной, нереальной казалась эта картина Дасаеву, хотелось закричать, спросить: «Вы же рядом, отчего печаль, почему такие грустные, до слез, стихи?» Это навсегда осталось для Рушана тайной. С Валентином они потом больше не виделись, не встречались в печати и его стихи, хотя он долгие годы искал в периодике его имя. В тот вечер Валентин как никогда был ему близок, понятен, может, из-за стихов, может, из-за за грустного взгляда, тянувшегося к девушке, зябко обхватившей тонкие плечи.



«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас...»

Ниночка, занявшая единственное кресло в зале, сидела у проема входной двери, и свет из коридора хорошо высвечивал ее лицо. Время от времени она нервным движением поправляла прическу, словно отбрасывала тяжесть волос от высокой и длинной шеи с тонкой ниткой жемчуга на ней. Как только Валентин начал читать, она вся подавалась вперед, и, казалось, ничто не в состоянии отвлечь ее внимание, вся ее фигура, осанка излучали нежность, изящество, незащищенность. «Лебедь», — пришло вдруг на ум Дасаеву.

Рушану доставляло удовольствие наблюдать за ней, но с каждым стихотворением все ниже и ниже опадали девичьи плечи, нервнее становились жесты, восторженный взгляд гас на глазах. В эти минуты Рушан понял популярность Бучкина, ощутил магическую силу слова, искусства. Ведь все, чем делился печальный поэт, было и ей знакомо, понятно — безответная любовь. Когда Валентин заканчивал, она сидела, вжавшись в кресло, и Рушан видел побелевшие от напряжения пальцы рук, впившиеся в узкие подлокотники кресла. Хотелось подойти, сказать ей что-нибудь приятное, ласковое, обнадежить, поцеловать в нежную шейку, шепнуть что-то волнующее, как это умел Стаин. Например: «Какая вы сегодня очаровательная, мадемуазель Новова» или «Поделитесь секретами красоты и обаяния, восхитительная Нина, вы несравненны всегда...» Но Рушан сказать так не мог, да и не умел, у него у самого от печали Валентина влажнели глаза, где уж тут приободрить другого, хотя в эти минуты он ощущал невероятный прилив нежности к Нововой, готов был на все, лишь бы с ее прекрасного лица исчезла пелена грусти...

Жорик, пристроившийся у стены за спиной Зиночки, время от времени наклоняясь к ней, что-то говорил ей на ушко, но она, сидевшая от Ниночки на расстоянии протянутой руки, вряд ли слышала жаркий шепот Стаина. Во все глаза, впервые так близко, она смотрела на самого известного в городе поэта, и, судя по всему, он ей тоже нравился; сердцеед Стаин предусмотрительно пытался разрушить эти чары, но вряд ли спортсмен мог тягаться с поэтом.

Как только Валентин закончил и в зале возникло некоторое замешательство, хлопки, возгласы одобрения, Жорик выскользнул в коридор и стал подавать Рушану знаки, он помнил о том, что собирались потихоньку покинуть дом Старченко. Но тут произошло невероятное, этот шаг Рушан не может осмыслить всю жизнь,

даже сегодня, когда «отцвели его хризантемы», это, наверное, тоже из разряда тайнств любви.

Когда совсем недавно, в марте, он ежедневно поджидал почтальоншу и бегал к ночному поезду, чтобы опустить письмо Светланке, ему случайно попал в руки томик Лермонтова. Он, как и многие его сверстники в те годы, полюбил поэзию, полюбил на всю жизнь и, исходя из своего опыта, мог сказать сегодня с уверенностью: «Любите поэзию, поистине в ней убежище от многих невзгод. В поэзии, как в Коране, есть ответы на все вопросы жизни, только ищите своего поэта, свои стихи, они есть...» Разве не удивительно, что когда он узнал о решении Светланки выйти замуж за Мещерякова, ему тут же пришли на память из глубины сознания строчки:

Такая долгая зима,  
Такая долгая разлука,  
До крыш занесены дома,  
Пойди найди в снегах друг друга.

Но легче зиму повернуть,  
Назад по временному кругу,  
Чем нам друг другу протянуть  
Прозящую прощенья руку.

Нарушь обычай, прибери квартиру  
И даже память вымети в сугроб...

В конце томика на первой же открытой странице оказался известный монолог Арбенина из «Маскарада»:

Послушай, Нина, я смешон, конечно,  
Тем, что люблю тебя безмерно, бесконечно,  
Как только может человек любить...

Эти строки как нельзя лучше отражали тогдашнее настроение Рушана, вот только имя «Светланка» не укладывалась в рифму, а так — словно по душевному заказу, точнее, будто это были его собственные строки. Эти стихи сами, без труда, легли в память, и он собирался прочитать их как-нибудь при встрече Резниковой, но все так неожиданно оборвалось, и казалось, эти строки никогда больше не пригодятся. И вот...



Пока девушки, препираясь, выталкивали друг дружку читать стихи вслед за Валентином, Рушан подал знак Стаину и двинулся к двери. И тут у самого порога обернулся... Нина словно почувствовала, что он уходит, и подняла на него свои затуманенные глаза, будто вопрошая: «И ты меня оставляешь одну?» Рушану даже показалось, что она протянула руку, словно хотела его удержать. И вдруг он театрально отступил назад и, обращаясь только к Нине, хорошо просматриваемой отовсюду в освещенном проеме двери, стал читать знаменитые лермонтовские строки: «Послушай, Нина...»

Он был в странном состоянии, как после тяжелого удара на ринге, когда автоматизм защитных движений спасает от нокаута, но строка за строкой придавали ему уверенности, возвращали в реальность. И снова, как на ринге, он видел своим неожиданно открывшимся объемным зрением все вокруг. Прежде всего Стаина, онемевшего, оцепеневшего, со смешно отвисшей челюстью, не понимавшего, что происходит, такого от молчалника Дасаева он не ожидал. Позже Жорик долго будет рассказывать эту сцену в лицах. Но мелькнувший на секунду Стаин его не волновал, он видел чудо преображения Нововой.

Она, замороженная, словно лебедь, оторвалась от спинки кресла и, готовясь взлететь, взмахнуть прекрасными крыльями, потянулась к нему взглядом, теплеющим лицом. В эти минуты для нее не существовало никого в целом мире, только — он и она, хотя Нина наверняка чувствовала, что на них, затаив дыхание, смотрят все гости, понимая, что это кульминация дня, тот сюрприз, которого так ждут на каждом поэтическом часе. Снова, как в начале вечера, она легким, изящным жестом отбросила тяжелые темные волосы от матовой шеи. И этот свободный, полный достоинства жест говорил: «Вот я какая, какие мне читают стихи!» Сегодня, спустя годы, он не стал бы отрицать, что это прозвучало как объяснение в любви к прекрасной Нововой, но тогда...

В лермонтовский монолог он вложил всю боль исстрадавшегося сердца, не познавшего любви, это было как бы его последнее «прощай» компании, с которой вот-вот предстояло расстаться навсегда. Возможно, он хотел подчеркнуть, что они с Ниночкой одинаково несчастны, одиноки в этот чудный майский праздник в гостеприимном доме именинницы Старченко. Но под чувства сложно подводить теории, анализировать их, он и сейчас не может объяснить, что с ним было, да и надо ли...

Слова, пришедшие внезапно, так же неожиданно иссякли, и Рушан стоял, не смея сделать шаг ни к двери, к ожидавшемуся Стаину, ни назад, чтобы протянуть Нине руку. Выручили ярко вспыхнувшая люстра под высоким потолком и неожиданные аплодисменты поднявшихся с мест гостей. Дальше читать стихи сегодня никто не решился бы. И вдруг, когда Ниночка, по-прежнему не замечая никого вокруг, поднялась ему навстречу, свет в зале снова погас, и тотчас зазвучало «Арабское танго». Она положила ему обе руки на плечи и, приблизив взволнованное лицо, тихо прошептала:

— Я так счастлива, спасибо тебе...

Со дня рождения Галочки Старченко и можно вести отсчет его новой влюбленности.

Май в их краях, без сомнения, самый дивный месяц. Весна в степные просторы приходит с запозданием, и только в мае природа набирает силу, во всей красе распускаются деревья, в каждом палисаднике цветут сирень, акация. Небольшой сад на улице Красной, словно окутанный дымом, белел шатрами цветущих яблонь. Позже, когда Рушан будет слышать известную песню «Яблони в цвету» рано ушедшего певца и композитора Евгения Мартынова, он всегда будет вспоминать тот давний май.

Это в конце мая Нина однажды сказала: «Мы с тобой как осужденные». И он понял: да, как заключенные, зная приговор, невольно считают дни, они тоже делали свои зарубки, ибо тоже знали даты своего отъезда, и даже точно, кому куда. К тому времени Рушан получил назначение в Кзыл-Орду, а Нину ждал Ленинград.

Оттого, словно наверстывая упущенное, они старались видеться каждый день. Встречались с какой-то взрослой страстью, упоением, не отказываясь ни от каких компаний. Они чувствовали себя по-свойски среди «дроколят» и рядом с друзьями Исмаил-бека, на веранде летнего ресторана в парке и в компании Стаина. В ту весну они были словно наэлектризованы — возле них всегда собирались друзья, приятели, поклонники, болельщики, их захватывало бесшабашное веселье, слышались шутки, смех. Наверное, в душе большинство из них ощущали, что навсегда прощаются с Актюбинском — городом их детства и юности.

Ниночка в веселье оказалась неудержимой, и вряд ли кто, кроме Стаина, уступал ей в фантазии, энергии. Какие импровизированные вечеринки возникали спонтанно после танцев где-нибудь в глухом скверике или у кого-нибудь в палисаднике, какие песни звучали под гитару!



Никто не узнавал тихую очаровательную Новову. Однажды она сказала небрежно контролеру танцплощадки: «Этот молодой человек со мной», — и сделала особое движение корпусом в стиле Дасаева, в точности повторив его коронный нырок, отчего весело заплодировали все стоявшие у входа.

В общем, они развлекались, пытаясь растянуть сутки, боясь расстаться до утра, а время сужалось, как шагреновая кожа.

За три дня до назначенного срока отъезда Ниночки в Ленинград Рушан находился в общежитии. Защита диплома позади, через неделю у него выпускной вечер, и он тоже отбудет из города, где сбылись и не сбылись его мечты.

В ту среду ему припомнился точно такой же жаркий июньский полдень, ровно четыре года назад, когда он на крыше ташкентского скорого добирался в город, чтобы сдать документы в техникум. Каким соблазнительным, таинственным виделся ему, поселковому мальчику, город, с невероятно долгой учебкой — и вот все промелькнуло как один день, и снова очередной виток жизни, и опять все начинать с нуля. Что ждет его в неведомой Кзыл-Орде? Такие вот невеселые мысли одолевали его в тот час, но на лицо набегала улыбка, когда он время от времени невольно думал о предстоящей встрече с Ниной. В последние дни летняя ночь казалась им такой короткой, невероятно быстро начинало светать, и гудок алма-атинского экспресса долгим сигналом на входных стрелках обрывал свидание. Ниночка, тяжело вздыхая, говорила:

— Пора прощаться, милый. Как жалко, что в июне так поздно темнеет и так рано светает, но мы с тобой не властны над природой...

Вдруг его мысли о предстоящем свидании прервал случайно заглянувший в дверь парень из соседней комнаты. Увидев Рушана, он удивленно спросил:

— Ты что тут прохлаждаешься, не провожаешь свою Ниночку? Я сейчас с вокзала, видел ее на перроне с родителями, уезжает.

Одним рывком Рушан вскочил с кровати.

— Как уезжает? — тревожно спросил он, не вникнув еще в суть неожиданного известия.

— Обыкновенно. В восьмом, купейном вагоне. Поспеши, еще минут десять до отхода московского, я на велосипеде с вокзала...

Рушан, не дослушав последних слов, кинулся к распахнутому окну и в мгновение ока оказался на улице.

Он бежал, распугивая по дороге одиноких прохожих, не замечая зноя, не пытаясь скрыться в тени придорожных карагачей, по обезумевшему лицу парня читалось — случилась беда.

Добежав до путей, он увидел нечетный состав, катящийся к вокзалу. Рискуя расшибиться, он сумел на бегу запрыгнуть на подножку нефтеналивной цистерны с переходным тамбуром. Как он торопил товарняк! Сигнальные огни хвостового вагона пассажирского поезда он видел хорошо, экспресс еще стоял.

Нечетный, сбавив ход, стал сворачивать на боковые пути для грузовых составов, и Рушан, спрыгнув на межпутье, побежал снова, до перрона оставалось несколько десятков метров. Как хотелось ему успеть! Увидеть ее лицо, глаза и, если удастся, спросить — почему тайком? Почему так жестоко, не по-человечески?! Словно он чувствовал, что будет мучиться потом этими вопросами всю жизнь.

Рушан уже вбежал на перрон, когда хвостовой вагон качнулся, слегка подался вперед, но он сделал усилие, оставляя за спиной вагоны под номером двенадцать, одиннадцать, десять. Вокзал в этот час был запружен провожающими, и, лавируя между ними, Рушан терял скорость. Задыхаясь, он бежал рядом с катившимся девятым вагоном и уже видел, как Ниночка, высунувшись из приспущенного окна, махнула рукой. Кому? Он рванулся из последних сил, пытаясь попасться хотя бы на глаза ей, но девятый вагон уже обгонял его, затем десятый, одиннадцатый... И он устало остановился, не в силах оторвать взгляд от тоненькой девичьей руки, еще махавшей кому-то.

Родители Нины увидели его сразу и, возможно, обрадовались, что состав стремительно набирал скорость, они боялись, что этот отчаянный парень вскочит в отходящий поезд. Но тогда подобная мысль не пришла ему в голову. Когда последний вагон скрылся за выходными стрелками, он обернулся и увидел, что стоит почти рядом с ее родителями. Не смея поднять заплаканное лицо, он медленно, по-стариковски сутулясь, поплелся прочь. Что он мог сказать им? Они и так все видели.

В тот вечер, впервые, он крепко выпил со Стаиным и с ребятами с Татарки. Возвращаясь из парка домой, в общежитие, повстречал Бучкина с Фроловой. Валентин уже знал о том, что случилось утром на вокзале. Верочка, жившая рядом со станцией, ходила на перрон за свежим хлебом, что подвозят к московскому скорому, и все видела. Валентин увел Рушана к себе, и они проговорили до глубокой ночи. Утром, когда они завтракали на кухне, Валентин вдруг сказал:



— Твоя история просится в стихи, послушай...

Я познал поцелуев сласть,  
Мое счастье было в зените...

Но Рушан протестующе замахал руками:

— Перестань, без тебя тошно...

Сегодня, спустя много лет, Дасаев жалеет, что остановил поэта. Какие строки шли дальше? Тайна, которой нет разгадки, а эти две строчки запомнились на всю жизнь: «Я познал поцелуев сласть...»

В оставшиеся дни до выпускного вечера, на котором должны были вручить дипломы, он почти не выходил в город, слонялся по пустевшим с каждым часом комнатам общежития. Словно вагоны в день отъезда Ниночки, мелькали, стремительно убывая, дни: пять, четыре, три... Как он торопил их! Жизнь казалась невыносимой. Если разрыв с Резниковой он еще как-то мог объяснить, то бегство Нововой принял как рок, как наказание свыше за... предательство. Да, да, за предательство, ведь иногда поздно ночью, зная, что все равно не уснуть, он потихоньку пробирался на улицу 1905 года и подолгу стоял у темных окон сонного дома Тамары. Как молил он ее мысленно о прощении, как жалел, что она не догадывается о творившемся в его душе! Он ведь не знал, что в те дни в одной компании, где какие-то девушки, пытаясь задеть ее, упомянули о влюбчивости некогда верного ей Дасаева, она сказала, гордо вскинув голову:

— Если в этом городе он кого и любил, то только меня, и не заблуждайтесь на этот счет...

Попасться ей на глаза Рушан не решался, хотя наблюдал иногда за нею издали, и в одно из ночных бдений у ее темных окон пришла мысль — попрощаться с ней хотя бы письмом, ведь не шутка — четыре года, столько времени в этом городе их имена произносили рядом, даже если и не сложились у них отношения.

Неожиданное решение наполнило на время жизнь смыслом. Целыми днями он не вставал из-за стола, но три школьные тетрадки, исписанные его четким почерком, трудно было назвать письмом, скорее исповедью его исстрадавшейся, запутавшейся души, где он пытался сказать, что она значила и значит для него. Выходит, сегодняшняя попытка исповедаться на склоне жизни не первая...

Однажды, вернувшись с обеда, он застал в слезах соседа по комнате Юрия Калашникова по кличке Моряк.

— Кто обидел? — первое, что спросил Рушан у своего верного поклонника, которого в общежитии называли его адъютантом.

Моряк зашмыгал носом и показал на тетрадку глазами:

— Ты, оказывается, так любишь Томку... У меня от твоего письма просто сердце заболело, так жалко тебя... Никогда не думал, что так можно терзаться... Ты уж извини, что прочитал,— и, продолжая шмыгать носом, обнял обескураженного Дасаева.

Такого от далеко не сентиментального Моряка Рушан не ожидал.

— Давай выпьем за любовь, за Тамару. Я уже сбегал за бутылкой,— предложил вдруг Калашников.

За бутылкой вина Моряк и убедил Рушана, что нужно пойти попроситься, и «письмо», конечно, отдать лично.

У него остался последний вечер в Актюбинске, отступить было некуда, завтра вечерним поездом он навсегда покидал город. После обеда, захватив тетради, он пошел на улицу 1905 года.

На звонок вышла сама Тамара и, что странно, не очень удивилась его визиту, улыбнулась, словно ждала, пригласила в дом, но он не решился войти. Сказал, что вчера получил диплом и сегодня у него последний вечер, завтра он уезжает навсегда и просит ее сходить с ним хотя бы в кино. Протягивая тетради, добавил: «А это то, что мне всегда хотелось сказать тебе». Тамара благосклонно взяла тетради и спросила, во сколько он зайдет за нею.

Не веря в реальность разговора, Рушан назвал время, мысленно благодаря Моряка за совет. Ведь не прочитай тот его «письма», вряд ли он решился бы показаться на глаза девушке.

Возвращаясь в общежитие, встретил Наиля Сафина, направлявшегося туда же, откуда он только что ушел. Он поздоровался с ним кивком головы, но радости выказывать не стал. Бедный Наиль наверняка был для Тамары тем же, чем и он для Резниковой или Нововой, оба они оказались глубоко обиженными, он понимал это еще тогда.

Задолго до назначенного времени он стоял в тени отцветших акаций напротив ее дома, до конца не веря, что сейчас распахнется калитка и выйдет Тамара. И вдруг он провалился памятью в то далекое лето, когда волею судьбы впервые встретил ее у «Железки» с нотной папкой в руках и, как зачарованный, пошел за ней следом и долго стоял на этом же самом месте в надежде увидеть ее силуэт за легкими тюлевыми занавесками в распахнутом окне. И вот сегодня — первое настоящее свидание; каким долгим, в четыре года, оказался путь к нему.



Она появилась минута в минуту, издали обворожительно улынулась и спросила так, словно они встречаются давным-давно:

— Ну, куда мы идем сегодня, Рушан?

У него были билеты в кинотеатр «Культфронт» рядом с парком, и он предложил пойти на английский фильм «Адские водители», а потом, если будет настроение, заглянуть на танцы. Все прошедшие с того летнего вечера годы Рушан мечтал когда-нибудь встретит повтор этого остросюжетного фильма, чтобы заново пережить ощущения той единственной встречи, когда он сидел рядом с Тамарой, держал в горячих ладонях ее руки, и она не пыталась убирать их, пальцы вели какой-то нежный, волнующий разговор, сплетаясь, узнавая, лаская друг друга. Он хорошо помнит и фильм, и как почти не отрывал взгляда от ее прекрасного лица, еще не веря до конца, что эта гордая, недоступная красавица сидит рядом с ним.

Весь вечер и до кино, и после, когда они прогуливались по «Бродвею», ему тоже хотелось кричать, подобно Кабирии в фильме Феллини: «Смотрите, с кем я иду! Я иду с Давыдычевой! Тамара рядом со мной!»

Но в тот июньский вечер появление их вместе не осталось незамеченным. Только закончились выпускные вечера в школах, прошли экзамены у студентов, молодежь бурлила, предвкушая долгие летние каникулы, и они встретили многих своих друзей и знакомых, им приходилось раскланиваться направо и налево. И опять Рушана поразило: никто не удивился, что он появился на «Бродвее» с Давыдычевой. После кино, гуляя по парку, Рушан спросил, не хочет ли она на танцы. Но Тамара вдруг сказала неожиданно:

— И на танцы хочется пойти, но еще больше хочется побыть с тобой, ведь ты завтра уезжаешь, и об этом знают многие, знала и я. Нам не удастся и двумя словами перемолвиться, будут подходить прощаться с тобой. Я не хотела бы, чтобы наш единственный вечер прошел на печальной ноте, не хочу, чтобы постоянно напоминали о твоём отъезде. Давай уйдем из парка, свернем с шумного «Бродвея» на тихую улочку и погуляем, нам ведь есть о чем поговорить?

Этот вечер, проведенный с Тамарой, Дасаев, как ни пытался, не мог воспроизвести хронологически, он тоже дробился на десятки частей, каждая в воспоминаниях выстраивалась в нечто трогательное и грустное и вряд ли вмещалась в одну ночь. Прогуляли они до рассвета, до гудка алма-атинского экспресса. Запоздалое свидание

напомнило новогоднюю ночь, та же неожиданность, то же волнение, те же признания, объятия, жаркие поцелуи и даже слезы.

Прощаясь, они верили в свое счастье, надеялись, что все недо-разумения, страдания — позади.

Много позже, когда увлечение поэзией естественно приведет его к живописи и он откроет для себя мир импрессионистов, Рушана поразят работы Клода Моне, его знаменитый Нотр-Дам в разное время суток, при меняющемся свете дня, причем взгляд всегда из одной точки. Вот тогда, наверное, он и определит свое отношение к трем очаровательным девушкам: Резниковой, Нововой, Давыдычевой, ибо исходной точкой, как и у Клода Моне, здесь была любовь. Как прекрасен Нотр-Дам утром, в полдень, на закате солнца, при одинаковости композиций, ракурса, но каждая работа является неповторимым творением, так и его «романы» освещены одним светом — любовью. И он никогда не унизил ни одно из своих чувств, что было, то было, и даже короткая летняя ночь, проведенная с девушкой с улицы 1905 года, заронившей в его сердце любовь, осчастливившей его таким редким даром природы, осталась с ним на всю жизнь. И подтверждением тому мог служить один жестокий факт.

В молодые годы в минуты отчаяния, когда казалось, что любовь навсегда покинула его, ему однажды пришла мысль уйти из жизни. Но он не мог уйти, не попрощавшись с теми, кого любил. Он написал письмо, где благодарил их за те давние минуты радости, счастья, что они успели дать ему, и объяснил, что жизнь без них потеряла смысл. И кончалось послание одинаково, словно под копирку: «Прощай, я любил тебя...» У него не оказалось под рукой только нового адреса Давыдычевой, и пока он наводил справки, мысль о самоубийстве потеряла остроту. Выходит, он обязан жизнью той девочке с улицы 1905 года. Удивительно, а ведь тогда он еще не был знаком с любовными посланиями знаменитого Жана Кокто...

А ты сегодня ходишь, каясь,  
И письма мужу отдаешь.  
В чем каясь? Есть ли в чем? Едва ли!  
Одни прогулки и мечты.

Ну, это для тех, кто любит заглядывать в замочную скважину, и как лишнее подтверждение, что в поэзии есть ответы на все случаи жизни. Поэтому ему всегда хочется сказать всем и каждому: «Любите поэзию!»



Так случилось, что никого из тех, кто посещал знаменитые вечера в двух железнодорожных школах в конце пятидесятых годов, не осталось в Актюбинске. Жизнь всех разбросала по стране, у многих и корни оборвались навсегда. Наверное, чаще других бывал в родных краях Рушан. Не забывал заглянуть на улицу 1905 года и на улицу Красную, там давно живут чужие люди, которые охотно впускали его в дом, где, конечно, уже ничто не напоминает о давних счастливых днях, разве что неохватные стволы тополей за окном и давно одичавшие кусты персидской сирени.

Иногда он говорил себе: все, в последний раз. Но любая прогулка в очередной приезд заканчивается у дома на улице 1905 года. Что это? Память сердца? Рушан знал, что она училась в Оренбурге, в пединституте, знал даже, где Тамара снимала комнату — на Советской, 100. И однажды он заехал в Оренбург и пришел в эту квартиру. Хозяйка легко припомнила очаровательную девушку, некогда квартировавшую у нее.

— А вас я не помню,— промолвила она огорченно. И когда он признался, что никогда прежде не бывал здесь, грустно подытожила: — И вы, значит, любили ее, Тамару...

Видимо, из-за одиночества или по какой другой причине она усадила его пить чай и за столом сказала:

— Знаете, она всегда переживала, сомневалась — любят или не любят ее. Хотя поклонники у нее были, и все ребята видные. Но она хотела какой-то непонятной любви, чтобы любили только ее и до гроба... Вы один пришли сюда через столько лет, а ведь она квартировала у меня пять лет, и никто не искал ее следов. Значит, вы любили ее сильнее всех...

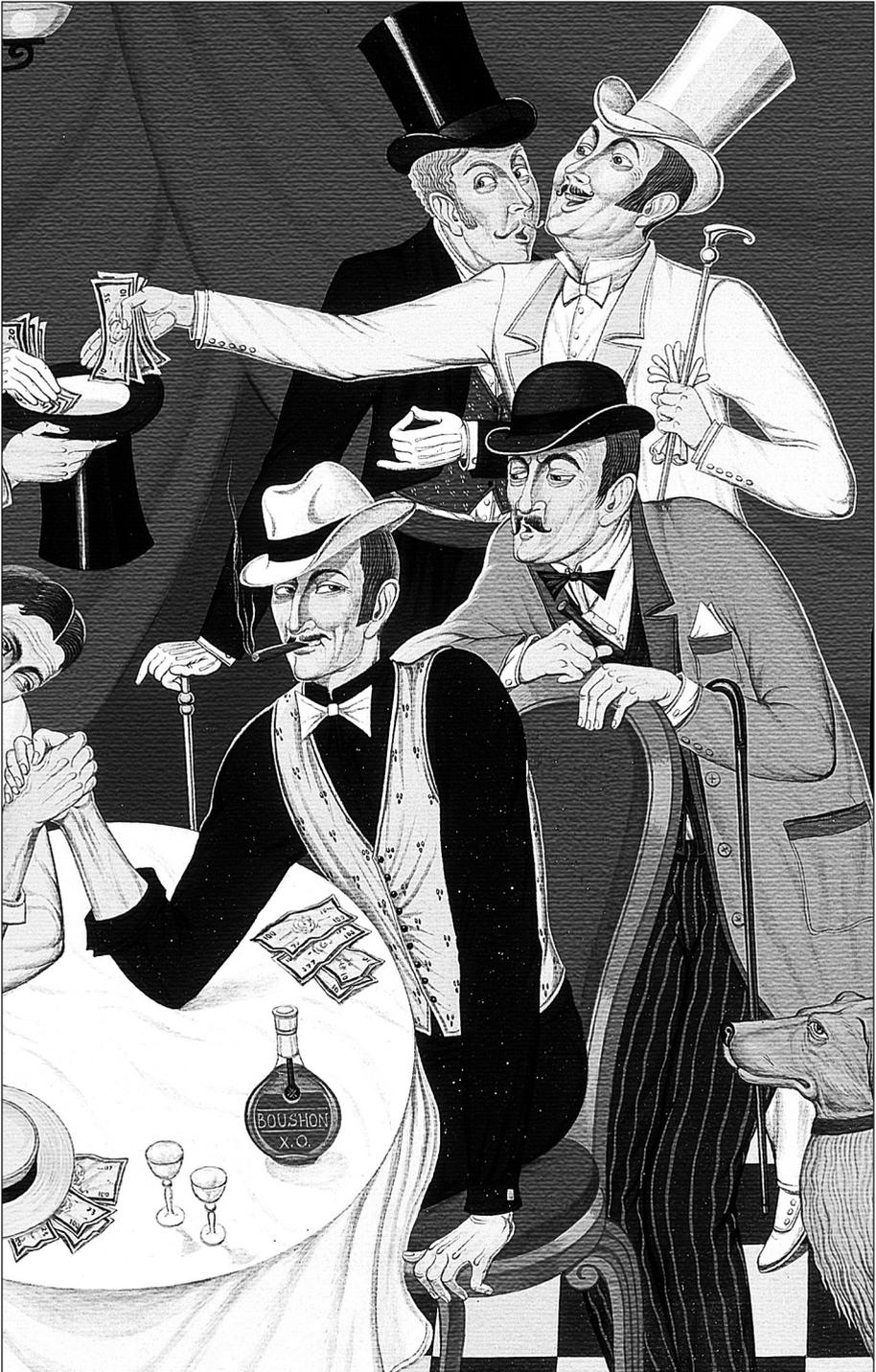
Много лет спустя, на закате жизни, Рушану попадутся на глаза новые стихи горячо любимого им с юности ташкентского поэта Александра Файнберга. Они словно персонально адресованы его юношеским романам, даже имена девушек не пришлось ни менять, ни добавлять. Но к этому времени Дасаев знал, что хорошая поэзия всегда адресована миллионам, тем более стихи о любви. И лучше всех поэтов об этом сказал Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина»:

Мы все в эти годы любили,  
Но мало любили нас...

Но Файнберг сумел поэтической строкой обобщить все душевные радости и муки, пережитые Рушаном в жизни.

Благословенна первая любовь.  
Благословенны первые печали.  
Ровесницы,  
        вы нас не замечали.  
Страдали мы,  
        какая это боль!  
Теперь уж мы не плачем понапрасну.  
Иная широта и высота.  
Мы любим женщин,  
        в осени прекрасных.  
Страдаем? Да.  
        Но эта боль — не та.  
Другие кроны  
        плещутся над нами.  
Кто дышит Крымом,  
        кто долбит Ямал.  
Мы по годам уже не вспоминаем  
ни Свет, ни Нин, ни Валь и ни Тamar.  
Но все ж,  
        когда я думаю о чуде,  
я вижу город,  
        серые дома.  
Я вижу, как на белом парашюте  
на переулок падает зима.  
И во дворе,  
        где с горок мчатся санки,  
я жду ее.  
        Не чью-нибудь.  
        Мою.  
И с неба снег  
        слетает на ушанку.  
Она не любит.  
        Я ее люблю.  
Далеких лет далекие обиды.  
Навек прощайте,  
        детства облака.  
Ровесницы,  
        мы вас вблизи любили.  
Любите нас теперь издалека.

*Переделкино,  
май 1990*



# Велосипедист

Повесть

# Щ

елкнул замок входной двери, и Руслан подумал: «Вот и все, ушла». Подумал без грусти, тревоги, жалости, подумал, как о ком-то постороннем, чужом, словно это его не касалось, и уходила не Татьяна, с которой прожито без малого двенадцать лет. Он понимал: происходит в его жизни что-то важное, серьезное, может, даже непоправимое,— ведь и впрямь не каждый день оставляет тебя жена, и должна была встрепенуться душа каким-то чувством — печалью, радостью, обидой или злостью, наконец. Но он ничего не ощущал, кроме пустоты и равнодушия.

Глядя в выпотрошенное нутро распахнутого платяного шкафа, где среди его рубашек, зацепившись за вешалку, одиноко висел чулок со спущенной петлей, Руслан пытался вызвать из памяти какое-нибудь доброе воспоминание, чтобы почувствовать, что уходит дорогой, близкий человек, но память словно выключили, стерли.

Из нафталиновых глубин старого шкафа, свидетеля их долгой совместной жизни, счастливые видения давних дней не являлись, но вдруг в высоком зеркале на внутренней стороне дверцы он увидел свое отображение.



Он так пристально вглядывался в мужчину, удобно расположившегося в мягком овальном кресле, что в какой-то момент ему показалось: напротив сидит не он, Руслан Маринюк, а некто чужой, незнакомый. Он даже привстал от неожиданности и подошел к дверце.

Из зеркала, которое он года два собирался закрепить как следует, да так и не собрался, глянул на него средних лет мужчина с усталым безразличным лицом. Ни одна черточка, ни взгляд, ни случайно мелькнувшая улыбка не выражали растерянности или смятения, — на него смотрел олимпийски спокойный человек.

Но ведь это было не так! Хотя и не бушевали в нем страсти, и не встрепенулась душа, мысль кружила только вокруг Татьяны. Какое уж тут спокойствие! И, глянув вновь в зеркало, Руслан подумал: «Опять это: быть или казаться».

За свои сорок лет Маринюк встречал в жизни всяких людей: хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, и таких, чья душа похожа на чемодан с двойным дном, снаружи один, а разберешься — два разных, диаметрально противоположных человека. Днем один, вечером другой, на работе сама любезность, дома — хам и скандалист. Сталкивался с журналистами, посмеивающимися над собственной писаниной, с врачами, которые терпеть не могут больных, да мало ли с кем сводила судьба... Но все эти черты характера, человеческие пороки и слабости были или на виду и быстро становились очевидными для близких и внимательных людей, или открывались со временем для всех окружающих.

У Маринюка складывалось иначе, сложнее. Он не обладал ни явными, ни тайными пороками, был в меру открыт, общителен, со всеми в дружбе, душа компании, словом, не принадлежал к тому числу людей, на которых смотрят в упор и не замечают.

Но была у него беда, которую он осознал гораздо позже, чем следовало, и которая, как оказалось, подтачивала его изнутри и, помимо его воли, стала определять поведение, взгляды, а затем составила и его сущность.

Слишком часто его принимали за другого... Справедливости ради надо сказать, что он никогда не давал для этого повода, не делал двусмысленных намеков, не пользовался загадочным молчанием, не подыгрывал в создавшихся ситуациях. В жизни он не знал, да и не слышал, чтобы кто-то внешне так походил на разных людей, разве что видел подобное в комедиях ошибок прошлого столетия,

да и там роковое или комическое сходство обыгрывалось с одним двойником. Однажды на досуге, когда он попытался с улыбкой перечислить, за кого его только не принимали, то вдруг с удивлением обнаружил, как далеко-далеко, в самую юность, уводит его память.

В ту давнюю осень, когда он был еще студентом, произошла с ним странная история, если быть точнее — так, приключение, не более, но последствия его наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

Учился он в ту пору в строительном техникуме и в родной Мартук, что в двух часах езды от Актюбинска, навещался каждую субботу: заpastись на неделю картошкой, яйцами, прихватить каравай домашнего хлеба, а зимой еще и сала. Тянуло его к друзьям-приятелям, девушкам мартукским, — видно, крепко сидели корни его в отчей земле.

Мартук в пору его юности отличался нравами суровыми, окраины враждовали между собой по поводу и без повода, но особенно зло не любили чужих: практикантов, молодых людей, приезжавших в гости, солдат, прибывших на уборку: вероятно, парни инстинктивно видели в новичках потенциальных соперников. Против чужих, забыв свои распри, всегда выступали сообща, особенно дурной славой по этой части пользовалась Татарка, где жил Маринюк.

Верховодили на Татарке соседи Руслана Рашид Тунбаев и Славик Рудченко. Славик даже приходился Руслану каким-то дальним родственником. Роль Маринюка в воинстве Татарки была самая незначительная, если сравнить с театром, то статист, не более. Но, приезжая теперь домой на воскресенье, он появлялся в кино, на танцах всегда в компании Рашида и Славика. Город уже успел наложить свой отпечаток на Руслана: держался он более непринужденно, чем его приятели, и шутку мог ввернуть ладно и к месту, и с девушками знакомился легко. За год жизни в городе он неожиданно вытянулся, стал по-юношески строен, легок в движениях. И тому, кто видел троицу со стороны, — а появление лидеров Татарки никогда не оставалось незамеченным — могло показаться, что этот молодой человек с повадками горожанина, к которому двое других то и дело обращались с вопросами, главный в компании. Но это не соответствовало действительности, друзья просто выделяли Руслана: студент, горожанин, и, конечно, отдавали должное его обаянию, остроумию, той свободе действий и суждений, которые всегда отличают городского от провинциала.



В ту осень в Мартук на строительство элеватора приехали несколько демобилизованных моряков. В первый же вечер они явились на танцы при полном параде. Морская форма не оставляет девушек равнодушными, да и ребята были как на подбор — рослые, статные. Они сразу завоевали расположение у прекрасной половины Мартука. Это и стало причиной постоянных стычек моряков с местными. Хотя держались моряки дружно и друг друга в обиду не давали, доставалось им крепко, — драться в поселке умели, да и численный перевес всегда был за местными. В те же осенние дни призвали на службу в армию друзей Руслана. Проводив приятелей на областной сборный пункт, в воскресенье, еще засветло, он дождался в парке девушку, с которой познакомился на проходах в доме Рашида. Настроение было неважное, болела голова от выпитого и бессонной ночи, было грустно, что расстался с друзьями на долгих три года.

Девушка не появлялась, то ли забыла о свидании, то ли что иное помешало, и Руслан уже собирался уходить, как вдруг из магазина напротив парка вышли моряки. Увидев Руслана, одиноко прогуливающегося по аллее, они остановились и о чем-то заговорили. Вдруг двое, отделившись от группы, быстро пересекли пыльную улицу и направились к парку. Глядя на решительно приближающихся парней, Руслан подумал: «Ну вот, влип. Будут бить».

Было еще время развернуться, прибавить шагу и исчезнуть в парке или откровенно задать стрекача. За углом неподалеку находилась пивная, где он всегда мог кликнуть на подмогу. Но не страх, а какое-то равнодушие охватило Руслана, и мелькнула вялая мысль: «Плевать, чему быть, того не миновать». И он продолжал вышагивать по аллее, краешком глаза замечая, что в парк не спеша двинулись и остальные моряки. Заметил и то, что у одного из них голова была перебинтована, а у другого под глазом красовался такой здоровенный синяк, что Маринюк поежился.

Моряки приближались, и Руслан приготовился к самому худшему.

— Привет, Руслан! Нам бы хотелось поговорить с вами, — сказал один из парней, как только они поравнялись на аллее.

— Не возражаю, у меня есть как раз несколько свободных минут, — ответил Маринюк. — Но, если вы ничего не имеете против, я бы хотел, чтобы мы отошли подальше, в глубь парка, где у нас обычно принято выяснять отношения.

Неожиданно для себя Руслан не испугался и говорил уверенно, с достоинством, в изящно-блатном стиле, типичном для Мартука. Предложил им отойти он просто так, на всякий случай, хотя и мелькнула мысль: уж если будут бить, так хоть в сторонке, подальше от любопытных глаз. К тому же могла подойти на свидание запоздывающая Наташа, а кому хочется быть битым на глазах у девушки? Не дожидаясь ответа, словно иначе и быть не могло, Руслан неторопливо направился в парк. В центре, за запущенным розарием, стояли скамейки. Ноги его предательски подрагивали, и Руслан с удовольствием присел на ближнюю, поправив яркие носочки, модные в те далекие годы, закинул ногу за ногу и широким жестом пригласил на скамейку напротив следовавших за ним парней.

«Пропадать, так с музыкой», — подумал Маринюк, втайне гордясь, как лихо, почти как Рашид, он себя ведет.

Моряки, однако, усаживаться не спешили. Один из них, видимо, старший, с татуировкой «Север» на тыльной стороне правой руки, вдруг спросил: может, не мешает для лучшего взаимопонимания пропустить, и изобразил рукой поллитровку.

— Думаю, не помешает, — согласился Руслан, не совсем понимая, куда клонится такое начало.

И тотчас из-за кустов появились еще двое и подали пакет, с которым они только что вышли из магазина. Стаканы нашлись здесь же, под скамейкой. Бутылку разлили всю сразу, без остатка, на троих, каждому вышло почти по полному стакану, да иная мера по тем временам в Мартуке была оскорбительной. Выпили молча...

— Ну, так слушаю вас, — сразу хмелея, но не притрагиваясь к закуске, сказал Маринюк.

И оба моряка, перебивая друг друга, заговорили. Они говорили, что прибыли сюда не на один день, что им здесь по душе. Не нравится лишь одно, что их кругом задирают: на танцах, в кино, на любом краю села, куда они ни пойдут провожать девчат. Так и до беды недалеко... И они хотели бы, чтобы это прекратилось.

Руслан слушал внимательно, не перебивая, и вдруг у него неожиданно вырвалось:

— А почему вы решили обратиться ко мне?

— Во дает, — расхохотались морячки. — Не такие мы уж темные, видим, как Славка и Рашид, эти атаманы, выются вокруг вас. Да и поспрашивали кое-кого: все в ваших руках, Руслан, не хитрите.



От такого поворота событий Маринюк протрезвел и заерзал на скамейке, а моряки поняли это как сигнал ко второй бутылке. На вторую Маринюк велел кликнуть и остальных моряков.

Так до самых танцев и просидели они в парке, распив еще не одну бутылку. Весь вечер Руслан убеждал ребят, что не имеет влияния на ребят ни в поселке, ни у себя на Татарке. И ему в ответ не возражали, только вежливо усмехались. В конце концов захмелевший Руслан клятвенно обещал сделать все возможное, чтобы ребят оставили в покое.

На танцы он заявился в окружении приезжих, и весь вечер, забыв про коварную Наташу, мирил моряков с теми, с кем считал нужным, а ориентировался он безошибочно. И, как ни странно, все уладилось, быстро и легко, к большой радости моряков, а еще больше — симпатизировавших им девчат. И еще долго, пока они не вышли из азартного возраста танцплощадки, в глазах бывших морячков Маринюк ловил неподдельное восхищение его умением влиять на окружающих.

А ведь никакого влияния не было, просто стечение обстоятельств, случай!

Правда, эта история для самого Маринюка не прошла бесследно. Еще года два дома, в Мартуке, или в общежитии, иногда вдруг находило на него ощущение всевластия над окружающими, и он начинал вести себя вызывающе, высокомерно: задирали беспричинно тех, кого следовало бы обходить за версту. Но опять судьба была милостива к Маринюку, ни разу не пришлось ему расплатиться за свое поведение, а то раз и навсегда избавился бы от неожиданно находившего комплекса всевластия. Дома то ли помнили его дружбу со Славиком и Рашидом, то ли снисходительно относились как к горожанину, или просто не принимали его всерьез. Всякий раз, когда любому просто надавали бы по шее, распалившегося Маринюка уговаривали и уводили от греха подальше.

Тогда же, в студенческие годы, неожиданно для себя он сделал открытие, которым позже не раз втайне гордился. Открытие для нашего времени не бог весть какое, но нужно учесть, что он сделал это сам, и то, что оно за давностью лет не только не теряло смысла, а наоборот, что-то значило, по крайней мере, лично для него, Маринюка. Связана была эта история с его первой школьной любовью.

Однажды летом вернулся он из пионерлагеря. Учился он тогда не то в пятом, не то в шестом классе, и в первое же воскресенье

отправился с приятелями в кино, — фильмы для детей тогда показывали только по субботам и воскресеньям. Пока дружки, все те же Славик с Рашидом, дружно штурмовали кассу, Руслан увидел растерянную девочку. Большеглазая, с голубым, под цвет глаз, бантом на длинной тугой косе, она с ужасом наблюдала за тем, что вытворяли мальчишки у кассы. Зал был мал, желающих много, и она, видимо, потеряла всякую надежду попасть в кино. Руслан почувствовал её настроение и вдруг неожиданно для себя подошел к ней и спросил:

— Вам сколько билетов?

— Один, — выпалила девочка, словно только и ждала этого рыцарского поступка, и протянула к нему горячую ладошку, где влажно блестела серебряная монета.

С этого дня можно вести отсчет влюбленности Маринюка.

Жили они в разных концах села, учились в разных школах. Поэтому видел Руслан ее редко, чаще всего по воскресеньям, когда она приходила в кино на дневной сеанс.

Его расторопные приятели, с которыми Руслан поделился сердечной тайной, быстро разузнали о ней все. Валя оказалась единственной дочкой шофера дяди Васи Комарова, которого они знали. Веселый был мужик Комаров; добрый, никогда по дороге к речке не проезжал мимо «голосующей» детворы.

Дочь он, видимо, любил, потому что баловал без меры. Ходила Валя в редких для провинциального Мартука нарядных платьях, и даже велосипед — специальный дамский, неслыханная роскошь тогда на селе — появился у нее раньше, чем у других. И в то лето, хотя рядом были речка и лес с ежевикой и грибами, ездила она к бабушке — не то в Саратов, не то в Куйбышев. Дошли до Руслана слухи, что мечтает она стать балериной. Мечтать о балете в Мартуке, где электрический свет был только при станционных домах, где смело можно было биться об заклад, что ни один житель никогда в глаза не видел никакого балета, могла только девочка особого душевного склада. Вот в такую девочку, необычную, мечтавшую о сцене и славе, влюбился Маринюк.

В седьмом классе Валентина так повзрослела, похорошела, что на нее стали засматриваться старшекласники, но это мало тревожило Руслана, его отпетые дружки взяли соперников на себя. С наиболее строптивыми иногда случались стычки, а в общем обходилось мирно, связываться со шпаной с Татарки желающих не находилось.



Нельзя сказать, что Валя не замечала Руслана, но ей, видимо, хотелось нравиться не только ему одному.

После седьмого класса Руслан поступил в городе в техникум, а Валя перешла из семилетки в школу, где учился Маринюк. В те времена для старшеклассников часто устраивались в школе вечера с непременными танцами под аккордеон или радиолу. Приходил к своим бывшим одноклассникам на такие вечера и Руслан. На танцах, под аккомпанемент трофейного, сиявшего перламутром аккордеона «Вальтмейстер», на котором самозабвенно играл Толик Пономаренко, почти весь вечер Руслан танцевал с ней. Целую неделю в Актюбинске он жил ожиданием этого вечера и прямо с поезда, торопливо переодевшись, бежал в школу, и суббота не казалась субботой, если вечера в школе не было. То, что он стал студентом и учился в городе, где есть настоящий театр, правда, без балетной труппы, на время возвысило его в глазах Вали. Она без устали жадно расспрашивала его о городе, словно этот ушедший окраинами в голую степь, одноэтажный, засыпаемый в начале лета тополиным пухом дремотный городишко, где повсюду слышна бойкая татарская речь, был чуть ли не центром вселенской культуры. А много ли мог тогда рассказать он, каждую субботу торопившийся в Мартук, знавший дорогу лишь из общежития в техникум и обратно, к тому же живший на пятнадцатирублевую стипендию целый месяц.

Однажды весной, накануне Восьмого марта, когда в их краях еще вовсю хозяйничала зима, провожал он Валу с вечера домой. За год жизни в городе он несколько осмелел, да и танцевала Валя в этот вечер с ним как-то трогательно — нежно, внимательно, положив в танго обе руки ему на плечи, — на что отваживались только выпускницы, да и то не все, а кто посмелее, — и потому собирался он сегодня непременно ее поцеловать. К событию этому он готовился третью субботу подряд, особенно тщательно, дважды за вечер, чистил зубы, чем удивил и насторожил мать, даже надушился каким-то одеколоном, от которого за версту разило спиртом, но каждый раз что-то мешало ему совершить столь решительный поступок. В этот вечер все складывалось как нельзя лучше, и первый в жизни подарок — крошечный флакон духов, купленный им в городе, кажется, обрадовал избалованную Валентину, и настроение у нее было праздничное.

В общежитии по вечерам Руслан с друзьями иногда ходил в гости к своим сокурсницам, ровесницам Валентины, и видел, что почти

каждая из них вела альбом, где чуть ли не на первой странице, рядом с алой розой или сердечком, пронзенным стрелой, было изящно выведено изречение: «Умри, но не дай поцелуя без любви!»

Эта многократно встречавшаяся фраза и настораживала Руслана...

...В тот день потеплело. Улеглась бушевавшая весь день метель, и близкое зимнее небо, усыпанное звездами, освещало занесенную сугробами улицу. Оба в предчувствии чего-то необычного волновались и несли всякий восторженный вздор. А дорога, поначалу такая неблизкая, все сокращалась и сокращалась, и уже вдали завиднелся огонек в окне ее дома. Руслан, помогая ей одолевать сугробы, переходил то слева направо, то справа налево, все примериваясь, как бы неожиданнее и половчее поцеловать ее. Но все казалось не так, не то, и он даже взмок от волнения. Она, конечно же, догадавшись о его намерении, волновалась не меньше и считала, что, будь она мальчишкой, уже десять раз сумела бы исполнить свое желание. Одолевая очередной невысокий сугроб, она, как бы падая, повернулась к нему лицом и ухватилась за него, словно обняла, и Руслану ничего не оставалось, как ткнуться губами в близкое, жаркое, чуть запрокинутое лицо. На мгновение он ощутил мокрую прядь ее волос и краем губ уткнулся в высвободившийся пуховый платок, вот и весь скоротечный, в секунду, поцелуй. Едва у него мелькнула мысль, что нужно бы повторить этот полусостоявшийся поцелуй, как вдруг она залепила ему такую затрещину, что у него посыпались искры из глаз, и, вырвавшись из его рук, побежала. Побежала, широко, как крылья, раскинув руки. В ту же секунду Маринюка словно пронзило: все происшедшее и происходящее он уже где-то видел, и неоднократно, и знал, что будет дальше. Да, все это он видел в кино. Сейчас «героиня» будет осторожно, незаметно оглядываться, а он, «герой», значит, согласно киноверсии, должен побежать вслед. И действительно, отбежав на несколько шагов, не сбавляя темпа, она потихоньку оглянулась. Сделать это ловко, изящно, как в кино, она не могла — мешали тяжелое зимнее пальто и теплый пуховый платок. Она все бежала и все чаще оглядывалась, а он стоял, как вкопанный, не включаясь в киноигру, и вдруг разразился смехом, перешедшим в истерику. У дома руки-крылья Валентины обвисли, она постояла минутку, так ничего и не поняв, и исчезла в залитом лунным светом дворе.

Когда истерический смех неожиданно оборвался, Руслан заплакал. Плакал горько, навзрыд. Утирая мокрой шапкой лицо, только



пуще размазывал по щекам злые слезы... До каких высот поднял он ее в своем воображении, какими чертами наделил, какой возвышенной видел ее, что сам с ней рядом казался ничтожным и недостойным... и надо же... Даже беспросветные дуры — сестрички Деменюк или незаметная Динка Могилева, безуспешно добивавшаяся его благосклонности, не догадались бы так глупо копировать кинозвезд.

Много позже, когда подводил в жизни какие-то итоги или вспоминал прошедшее, никогда первой своей любовью он не называл Валю Комарову, хотя история их взаимоотношений была долгой, тянулась целых три года. Она почти не вспоминалась ему, а ведь когда-то казалось, что девочка с голубым бантом, в жаркой ладошке которой поблескивает серебряная монетка, никогда не изгладится из его памяти.

На пустынной заснеженной улице горькими отроческими слезами была оплакана первая любовь, и такой ценой было сделано открытие, должное служить предупреждением всю жизнь: как смешно и небезопасно лицедействовать в жизни...

\* \* \*

Последние семь лет работал Маринюк в крупной организации республиканского значения в группе АСУ (автоматизированная система управления), с тех пор, как была принята благая директива, на американский манер, повсюду перейти на компьютерное решение проблем. Беда в том, что проблемы были, имелась группа, не было только компьютера, и в обозримом будущем его тоже не предвиделось. В группе, кроме начальника, имевшего специальное образование по вычислительным установкам, никто компьютера и в глаза не видел. Руководство понимало фиктивность группы, но упразднить отдел не могло, требовалось внедрять АСУ, нужно было шагать в ногу с прогрессом, и штаты были спущены сверху — не пропадать же деньгам зря! Отдел вычислительной техники оказывался кстати, когда требовалось устроить на время чью-нибудь племянницу, жену, дочку, которой понадобилась справка с места работы для поступления в вуз. В таком вот отделе и работал последние годы Руслан. Нельзя сказать, что они совсем уж ничего не делали. Приходил вдруг какой-нибудь запрос, и работники АСУ бежали то в плановый, то в производственный отдел и, получив данные, вычитанные на арифмометрах и обыкновенных счетах с костяшками,

писали отчеты по своему ведомству. Года два подряд занимались они, по японскому образцу, тем, что высчитывали неблагоприятные дни в месяце, когда не следовало выходить на работу или требовалось быть особо осторожным, нужное в общем-то дело. Для этого они собирали многочисленные данные о работниках и закладывали в компьютер, арендуемый в другом конце города. Этих листов с крестиками и ноликами, что вывешивались в холле рядом с приказами, ожидали с большим нетерпением. Особенно радовались те, кому выпадали подряд три нуля: они означали, что в этот день на работу ходить не рекомендуется. Неизвестно, как долго бы действовала японская система в тресте, если бы один из работников, получивших таким образом выходной, не учинил в ресторане скандал и схлопотал пятнадцать суток.

Если заглянуть в трудовую биографию Маринюка повнимательнее, обнаружилось бы, что занимался и он серьезным и стоящим делом. Учился Руслан в техникуме хорошо и диплом имел с отличием, что давало ему право на зачисление в институт на льготных условиях. Но, как ни хотелось Маринюку учиться, жизнью на стипендию он был сыт по горло. В девятнадцать лет получив направление в пристанционный совхоз неподалеку от Ченгельды, через два года он уезжал оттуда, в селе остались школа, больница, пекарня, клуб да с десятков сборных домов. Все эти стройки он начал с нуля, а сдал под ключ, хотя не было тогда ни «Межколхозстроя», ни передвижных механизированных колонн «Сельстроя», все было построено собственными силами, или, как называют теперь, хозяйственным способом. Одного этого поселка на берегу Сырдарьи было бы достаточно, чтобы зачелся ему след на земле, но там, в жарких, продуваемых насквозь ветрами казахских степях, он оставил и еще одну память о себе.

Кому доводилось проезжать поездом Ташкент — Москва, тот непременно видел между станциями Арысь и Актюбинск мусульманские захоронения — мазары. Они появляются неожиданно среди голой, ровной, как стол, степи, словно сказочные восточные города. К высокому, выцветшему от жары небу тянутся дивной архитектуры голубые купола и изящные башенки — минареты мазаров, фамильных склепов степных казахов. Обычай этот — возводить в степи мазары знатым или «святым» людям, воинам или девушкам, молва о красоте которых достигла Балхаша или песенного Баян-аула, — идет у казахов из глубины веков. За редким исключением, возводились



усыпальницы из обыкновенного сырцового кирпича, и время свело их на нет. Каменные, дошедшие из глубины веков до наших дней, сохранились лишь на станции Туркестан. Но описание дивных мазаров живет в легендах и преданиях, что рассказывают акыны под аккомпанемент домбры на больших торжествах. В последние двадцать с небольшим лет, с тех пор как в эти края пришел достаток, связанный прежде всего с освоением целины, появились новые мазары, радующие глаз среди бескрайней степи. Если бы кто-нибудь занялся изучением архитектуры мазаров, возникших в самом начале шестидесятых годов, то непременно обнаружил бы, что разновидностей их всего шесть.

Конечно, время вносит новые детали, орнаменты, но до сих пор даже среди вновь построенных чаще всего встречаются шесть вариантов, некогда спроектированных Маринюком. Да, так получилось, что автором этих легких, изящных сооружений был Руслан.

Через полгода, когда он энергично взялся за совхозное строительство и имя его уже с уважением стали произносить в округе, а потому был он зван гостеприимными казахами на свадьбы и иные торжества, услышал Руслан в доме чабана Османбека-ага, что до сих пор не выполнил тот просьбы отца — не возвел на его могиле мазар, как обещал когда-то. И деньги, мол, есть, и с материалами нет проблем, сокрушался чабан, да как его строить, если отец только на словах описывал, каким хотел видеть свой «последний дом». Чабана Маринюк уважал и видел, как переживает этот немолодой, с седой головой человек, потому и вызвался помочь. Как в каждом журналисте живет тайная надежда стать писателем, так почти каждый строитель в душе архитектор.

В долгие зимние ночи удивительно быстро сделал он проект мазара для Османбека-ага. Общий вид набросал на отдельном листе ватмана, в красках, как должно быть в натуре. Не поленился, подсчитал даже расход материалов и стоимость работ. Чабан был обрадован и тронут таким подарком и при всех объявил, что жалуется Руслану Октая — каурого жеребца, победителя последней, осенней байги. Поскольку Октая Руслану держать было негде, да и конь ему был ни к чему, чабан скакуна продал и, как ни отказывался Маринюк, вручил ему деньги, — хороший скакун в казахских степях иногда дороже машины стоит.

Второй проект он вычертил для человека, прибывшего издалека. Мазар он заказал для дочки, ловкой и смелой наездницы,

нелепо погибшей в скачках, где она одна соревновалась с джигитами. Стройным, изящным, высоким, выше всех остальных, спроектировал он склеп для юной Айсулу.

Сделал он мазар и для панфиловца, парня из этих мест, погибшего в грозном 41-м под Москвой на Волоколамском шоссе. Эта работа настолько увлекла Руслана, что он неожиданно решил поступить в архитектурный институт, «гонораров» вполне хватало для безбедной студенческой жизни лет на пять. Может быть, спроектировал бы Маринюк еще не один мазар, но больше к нему не обращались, отпала необходимость, каждый теперь выбирал себе по вкусу из тех шести, что уже выросли на осыпавшихся могилах. Как в песнях, ставших народными, авторы не упоминаются, так и в зодчестве, если оно стоит на народной основе, творенья становятся безымянными, и в этом, наверное, признание таланта.

Много позже, возвращаясь в Мартук или уезжая из Мартука, он, как и все пассажиры, льнул к окну, когда неожиданно возникали на горизонте мазары, но никогда не признавался, что он архитектор этих сооружений, хотя обычно пассажиры горячо спорили о его давней работе.

Отроческая любовь к Вале Комаровой прошла у него в первую студенческую весну, и рана эта, как и свойственно молодости, затянулась скоро, не оставив сколь-нибудь заметных следов. Следующей осенью, вернувшись в город с каникул, Руслан влюбился вновь.

Училась Она в музыкальной школе, жила в большом красивом доме неподалеку от общежития, и виделась ему такой возвышенно-неземной, что рядом с ней Валентина показалась бы бедной Золушкой.

Вокруг него и в общежитии, и в техникуме было много девчонок, добиться расположения которых не составило бы труда, но его тянуло к другим, недостижимым, словно из другого мира, девушкам. Она и впрямь оказалась для него недостижимой, мечтой, хотя все оставшиеся три года учебы он упорно добивался ее внимания. Единственное, чего он достиг: она знала, что он есть и что он в нее влюблен. Уезжая, он рискнул прийти к ней домой попрощаться. На вопрос, можно ли ей написать, она спокойно спросила: «Зачем?» Но, спохватившись, видя, как больно слышать ему это, сказала: «Я поздравлю вас с первым же праздником». Но так никогда ни с чем и не поздравила.



Маринюку часто вспоминался силуэт девушки, склоненной над фортепиано. Единственная радость тех лет, что в ее доме были большие окна с легкими тюлевыми занавесками и огней не жалели, — люстра под высоким потолком искрилась тысячами хрустальных солнц. В этот дом на улице 1905 года в далеком Актюбинске и шли его письма с берегов Сырдарьи. Ни на одно из них она не ответила. Может быть, заносчивые подружки даже посмеивались над ней, что ее воздыхатель забрался так далеко — в какой-то совхоз... Но безответная любовь дала ему, наверное, гораздо больше, чем могла бы дать сама возлюбленная. «И слаще явного знакомства мне были вымыслы о них»... Эти светлые строки, вызывавшие грустную улыбку, встретились Маринюку гораздо позже, и он смог оценить их глубину...

Еще там, в Актюбинске, он чувствовал — ему многого не хватает, чтобы быть на равных со своей избранницей, и старался изо всех сил восполнить этот пробел... Здесь, в совхозе, за два года он прочитал столько книг, сколько иной и за жизнь не одолеет. Здесь же он приобщился к «толстым» журналам, стал разборчивым, как истинные книголюбы. В те годы книжный бум еще не захлестнул города, и библиотеки двух близлежащих городов — Кзыл-Орды и Джусалы, куда он наезжал по воскресеньям, располагали таким книжными кладезями, что у нынешнего читателя вызвали бы искреннюю зависть. А радиоспектакли?! С каким трепетом там, в совхозе, он ждал этих слов — «Театр у микрофона»!

Театр у микрофона... Дощатые стены и своенравная Сырдарья, шумевшая днем и ночью у порога, переставали существовать, и в тесную, заваленную книгами и чертежами комнату вселялась другая жизнь. То ли по молодости лет, то ли из-за усердной работы воображения он не мог воспринимать спектакли как бы со стороны, а видел себя то Оводом, то страдающим Отелло, и каждый был ему искренне дорог.

Часами он слушал симфонические концерты и открывал для себя неведомый доселе мир музыки. Порою музыка напоминала что-то давно слышанное, и он как воочию видел распахнутое по весне ее окно в Актюбинске, когда играла Она. Но, наверное, это все-таки казалось... Ему очень хотелось соединить ее со всем тем прекрасным, что он открывал для себя впервые.

Он продолжал писать на улицу 1905 года, втайне надеясь, что когда-нибудь получит от нее весточку и в его жизни сразу все

образуется. Невольно, исподволь он словно готовился к этому дню и ощущал огромное желание говорить с ней обо всем на свете: о литературе, музыке, искусстве, о том, чем, казалось, жила его возлюбленная.

Провинциалов всегда привлекает даже мнимая порой интеллигентность горожан. А может быть, еще проще: все мы тянемся к тому, чем не обладаем сами или обладаем в малой степени.

\* \* \*

Знакомству с Татьяной Руслан обязан железной дороге. В переполненном вагоне он ехал в Ташкент по вызову архитектурного института на экзамены. Из совхоза он уволился, хотя его уговаривали повременить годик-другой или поступить на заочное отделение. Сулили золотые горы: и участок под строительство личного дома предлагали, и за счет совхоза по собственному проекту разрешили поставить этот дом. Даже одну из трех «Волг», что должен был получить совхоз, обещали оформить ему по льготной цене как молодому специалисту. Не согласился. Уж очень влекла его тогда архитектура. В молодости кажется, что, стоит только захотеть, и любые желания свершатся сами собой.

На прощанье в правлении кто-то из начальства сказал: если не сложатся дела с институтом, возвращайся не задумываясь. Совет старших, умудренных жизнью людей Руслан не принял, даже в душе оскорбился: молодости порой свойственна неумемная гордыня.

Сел он в поезд в прекрасном настроении: впереди — столица, студенческая жизнь, новые друзья, новый город, все начиналось заново... Девушку у окна с журналом «Иностранная литература» он заметил сразу. Не рискуя быть застигнутым врасплох (читала она с упоением), Руслан смело разглядывал ее.

Вечером они случайно оказались в тамбуре и разговорились. Беседа, начатая с книг, с журнальных новинок, затянулась, проговорили они до рассвета, до самого Ташкента. Татьяна оканчивала институт легкой промышленности в Москве и возвращалась домой после практики. Руслан поделился с ней своими планами, и она долго и увлеченно рассказывала ему о Ташкенте, где родилась и выросла. Расставаясь, пригласила его в гости и оставила адрес и номер домашнего телефона.

Несмотря на стаж и «красный диплом», в институт он не поступил. Это оказалось столь неожиданным, что Руслан растерялся:



рушились все его планы. О возвращении назад, в совхоз, не могло быть и речи, гордость не позволяла.

\* \* \*

Ташкент начала шестидесятых годов оказался одноэтажным, зеленым, уютным. На время экзаменов Руслан снял в самом центре города, на берегу Анхора, комнату. Скорее даже не комнату, а квартиру: кроме большого зала, здесь имелась еще и крошечная, с одной кроватью, спальня в безоконном закутке. А самое главное — жилье имело отдельный вход. Хозяева, татары, выходцы из Оренбуржья, Руслану пришлись по душе, плата оказалась умеренной, а двор, утопавший в цветах и увитый виноградником, напоминал Маринюку какие-то неведомые страны, где вечная весна и где очень хотелось побывать.

Провалившись на экзаменах, Руслан решил задержаться на время в Ташкенте, а там уже решить: или возвращаться домой в Мартук, или податься на Север. Север в ту пору притягивал молодежь как магнитом.

Ташкент понравился ему сразу. В сентябре начался театральный сезон, и он зачастил в театры, концертные залы. Гастролеры любили Ташкент за мягкую, теплую осень, обилие фруктов, и Маринюк почти каждую неделю видел тех, о ком раньше только читал в газетах или слышал по радио. Он открыл для себя рестораны с восточными названиями «Бахор», «Шарк» и особенно «Зеравшан», мало что утративший от своего прежнего великолепия. Завсегдатаи по старинке называли его «Региндой», а кинорежиссеры любили за то, что здесь можно было показать, как прожигали жизнь «осколки старого мира». Те далекие годы были расцветом джаза, и в «Регину» Маринюк ходил не из-за роскоши просторных зеркальных залов и пышных палм в неохватных кадках, не из-за голубого хрусталя и тяжелого серебра на столах, — там играл лучший в Ташкенте джаз-секстет, а еще точнее — он ходил слушать саксофониста Халила, высокого, смуглого до черноты парня-узбека с нервным, подвижным лицом.

Что-то жуткое и одновременно прекрасное было в его игре, завораживавшей зал. Когда приходил его черед соло-импровизации, все стихало. Играл он стоя, с закрытыми глазами, раскачиваясь, словно в трансе, играл до изнеможения, бронзовое аскетическое лицо его преображалось, ворот красной рубашки был распахнут, вспухали вены на шее. Каждый раз Халил солировал, будто в последний

раз, он, наверное, предчувствовал, как мало ему отпущено жизни... Через год, в расцвете ресторанной славы, после шумного вечера, где он играл до полуночи, он повесился, оставив после себя разбитый вдребезги саксофон и лаконичную записку: «Ухожу, никому не желаю зла».

Конечно, каждый раз, направляясь в театр или на концерт, на выставку или в кино, Руслан мечтал встретить Татьяну, но в ту осень пути их разминулись. Позвонить или заехать к ней по адресу после провала на экзаменах у него не хватало духу.

Праздное время летело быстро, и в какой-то день он ощутил, как будет ему не хватать того, что так щедро предоставила столица. Это натолкнуло его на мысль попытаться устроиться на работу в Ташкенте. Интересной работы было немало, но у него возникли проблемы с пропиской. Когда он уже отчаялся, на помощь явился случай.

Ему нравилось, гуляя по старому городу, обходить бесчисленные торговые ряды базара. Уходя, он каждый раз покупал тяжелую кисть винограда, персики или сочные груши и направлялся в какую-нибудь чайхану, которых немало вокруг шумного базара среди кривых, узких улиц. У него уже была и любимая чайхана на Сагбане. Находилась она чуть поодаль от рынка и отличалась чистотой, малолюдьем и постоянными посетителями. У чайханщика глаз зоркий, он быстро примечает частых посетителей, и, наверное, потому, подавая кок-чай, однажды вдруг спросил у Маринюка, отчего тот невесел. Руслан ответил, что, наверное, последний раз он в этой чайхане, уезжает, не сумев ни прописаться, ни устроиться на работу, и, слово за слово, рассказал о себе. Чайханщик выслушал не перебивая и сказал, что вверх по Сагбану, квартала за два отсюда, находится монтажное управление, где всегда нужны люди, немногие задерживаются там надолго: с командировками, мол, работа. С легкой руки чайханщика Руслан в тот же день устроился инженером производственного отдела.

Жил он по-прежнему на Анхоре, хозяева и квартира его вполне устраивали, и он, окрыленный успехами, отважился письменно сделать предложение своей музыкантше. Ответ пришел на удивление скоро, но радости Маринюку он не доставил. Сказать по правде, отправив письмо, он порядком перетрусил. Нет, не потому, что вдруг разлюбил или испугался трудностей семейной жизни. Существовали другие причины. Даже сейчас, имея за плечами



солидный стаж семейной жизни и несколько приземлив, что ли, свои чувства, тот давний момент, возникший в связи с предложением, и сейчас не вызывал у него иронии, как могут вызывать подчас улыбку воспоминания о тех или иных проблемах, так мучивших нас в молодости.

Он не мог, например, вообразить, как представлял бы ее своим близким и многочисленным родственникам в Мартуке, людям несдержанным, плохо воспитанным, крикливым, острым на язык. А его друзья! Мог ли он оставить ее наедине с ними хоть на минуту, не рискуя, чтобы она не услышала глупость, пошлость или мат, нет, этого гарантировать он не мог.

Да что там родня и друзья, вся поездка в Мартук, без которой никак не обойтись, оказалась бы сплошным унижением для нее: и грязный вокзал, и пыльные улицы с разъезженными дорогами, на которые за долгую зиму ссыпают тонны золы, и дом, в котором он вырос, маленький и неказистый, без всяких удобств и, по ее меркам, наверное, не очень чистый. Все это приводило его в отчаяние. О чем бы она разговаривала с его родными и близкими? Зато он уже заранее слышал, как, похихикивая, судачили бы родственники, что она слишком тонка, а руки у нее чересчур изящны, чтобы вести хозяйство, а тетка уж непременно бы отметила, что с такой фигурой на детей особенно рассчитывать не приходится, а может, сказала бы шепотом, слышимым на весь квартал, еще какую-нибудь пакость.

А свадьба? Это уже совсем вгоняло Руслана в отчаяние. Он помнил ее родителей — старомодных, чопорных интеллигентов. А его отец, у которого вряд ли были приличный пиджак и брюки (если бы это была единственная проблема, Руслан решил бы ее просто), с отеком лица алкоголика, уже после первой рюмки мог разразиться матом на весь дом, а к середине свадьбы непременно сцепился бы с кем-нибудь, потому что гулянье всегда заканчивал дракой и битьем посуды, отчего его уже лет десять никто не приглашал на свадьбы. И еще множество всяких проблем, которые он ясно представлял себе и о которых и упоминать-то стыдно, не давали Маринюку душевного покоя.

Однажды, когда он только отправил письмо и еще не получил ответа на свое предложение, ему приснилась собственная свадьба. К этому времени из-за саксофона Халила он уже стал завсегдатаем «Регины» и видел там немало торжеств. Гостями на его свадьбе оказались постоянные клиенты «Регины», люди разные, но публика

солидная, хорошо одетая, умевшая держаться с достоинством, даже с некоторой манерностью, что тогда особенно нравилось Руслану. Но самое удивительное: за столом, там, где должны были сидеть его родители, он увидел Софи, певицу из оркестра, высокую изящную женщину с длинными, разбросанными по плечам густыми каштановыми волосами, и Марика Яцкаера, ее любовника, крупного импозантного мужчину, который каждый вечер появлялся за небольшим столиком у оркестра.

Софи и Марик, одетые по такому случаю с особой изысканностью и являвшие собой голливудскую пару родителей, говорили прекрасные тосты и так трогательно-нежно опекали молодых, что никто бы не усомнился в счастье прелестной пары.

Конечно, Руслан был не настолько глуп и бездушен, чтобы не устыдиться сна, он понимал, что даже «свадебный генерал» — уже пошло и безнравственно, а тут — подменить собственных родителей на более изысканных и вальяжных! Ему сразу припомнилось, — где-то он читал, — что человек, устыдившийся своих близких, порочен, с червоточинкой в душе. Но, как ни мучительно было это осознавать, он все же решил, что лучше опереточный Марик, картежный шулер, чем пьяный отец, при одном виде которого все гости тотчас начнут шушукаться о наследственности. Соглашаясь в душе на подмену, а проще сказать — подлог, он признавал за собой некую порочность, раздвоенность души...

Все эти годы он так долго пестовал свою любовь к ней, создал такой утонченный и изнеженный ее образ, что не мог представить, как Она, его возлюбленная, сможет стирать его грязные рубашки, как будет умываться по утрам у колонки, как делали это все его соседи, как будет ложиться рядом с ним на скрипучий хозяйский диван. Ему казалось, что Она может и, конечно же, должна жить в каких-то невысказано-прекрасных условиях, о которых он мог только догадываться.

При всем своем воображении он не мог представить ее занятой будничными делами на кухне или просто в переполненном трамвае. Ясно ощущал одно: всю жизнь будет чувствовать себя виноватым, что не сумел воздать должное ее красоте. И молодым умом в те дни отметил для себя, что большая любовь — не только счастье, но и страдание. И потому, когда получил от нее отказ, даже вздохнул облегченно. С этого дня Она, ничуть не потускнев в его глазах, стала для него близкой как-то иначе, уже не мешая ему жить. «И слаще



явного знакомства мне были вымыслы о них...» Она прошла через всю его жизнь, часто являлась в снах, и если бы у него спросили, кто у него первая любовь, Маринюк не задумываясь назвал бы пианистку с далекой улицы 1905 года.

Работа в Ташкенте пришлась ему по душе. Управление вело работы по антикоррозийной защите в республиках Средней Азии и Казахстана, и почти не было в тех краях города, где бы Руслан не побывал в командировке. Аэропорты, вокзалы, гостиницы... Ему нравилась такая суматошная жизнь, свои служебные командировки в душе он называл путешествиями, и это скрашивало трудности. Ему нравились ночные рейсы и дорога в ночных поездах. Каждый раз, вглядываясь в тамбуре в законную тьму, он представлял, что впереди, в городе, куда он едет, с ним произойдет что-то невероятное, интересное и наполнит его жизнь новым смыслом и содержанием. Ожидание иной жизни или игра в другую, придуманную жизнь рождались именно здесь, у вагонных окон.

Работа предоставляла ему возможность повторять поездки в любимившиеся и заинтересовавшие его города.

В Ташкенте его ничего не держало, и он мог, например, имея командировку в Джекказган с понедельника, вылететь в пятницу, ночным рейсом в Алма-Ату и, проведя там субботу-воскресенье, прибыть в Джекказган к предписанному сроку. Для Руслана, человека легкого на подъем и не знавшего других городов, кроме Оренбурга, работа щедро предоставляла возможность увидеть мир.

Работа у Маринюка была не из легких. Через полгода, когда за плечами у него остались четыре «горящих» объекта, стали называть его «специалистом по авариям», «специалистом по кризисным ситуациям». Работал Руслан только на пусковых объектах. Частенько подменял начальников участков или прорабов, даже по пятьдесят-шестьдесят тысяч зарплаты не раз доставлял монтажникам вместо кассира на дальние участки. И как бы наградой за столь тяжкий и ответственный труд были для него поездки иного рода.

В начале тех шестидесятых годов, как никогда ни до, ни после, проводилось бесчисленное количество всевозможных симпозиумов, совещаний, и все это организовывалось и проводилось масштабно, щедро, с помпой. Не миновала эта игра в совещания и управление, в котором работал Маринюк.

В те годы отправиться даже в такую представительскую командировку желающих не находилось, ведь любая дорога — суета,

маята, и руководство, зная безотказность молодого инженера, посылало Маринюка.

Поездки действительно напоминали хорошо организованные путешествия: номер в гостинице забронирован, стол в ресторане зарезервирован, культурная программа по высшему разряду. Руслан быстро научился определять, какие совещания действительно важны, а какие — так себе, и потому не всегда выслушивал долгие и скучные доклады, а гулял по шумным улицам Алма-Аты, любовался парками Львова или пропадал на пляжах Ялты.

Однажды он был командирован на Кавказ, сначала в Баку, а затем в Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, с ним произошла любопытная история.

Командировка эта тоже походила на приятное путешествие, в Баку он попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду он пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.

Вагон заполнялся понемногу, и Руслан стоял у окна, никому не мешая. К поезду он явился прямо с концерта и мало походил на инженера, едущего по командировочному делу.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город...

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а Руслан все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью, замечал запоздавшую машину с зажженными фарами, торопившуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо него через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи. Его попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних с ним купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и Руслан, все время стояла у окна, но, в отличие от него, как показалось Маринюку, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец



с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилисским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо Маринюка, они окинули Руслана восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и продолжать стоять у окна стало неинтересно. Его попутчики давно поужинали, а Руслан раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого он принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Руслан так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой его зазывали, начала раздражать Руслана, и он поспешил ретироваться в купе. Едва он расположился у себя на полке, распахнулась дверь и показала седовласая голова моложавого старика, который попросил Маринюка в коридор на минутку.

Старик оказался краснобаем и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которые приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, Руслан понял, что из немощных, но цепких рук старика ему не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на его пиджаке, то хватал за рукав, — и он сдался. Когда Маринюк в сопровождении Георгия Павловича — так старик отрекомендовался — появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Руслана усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индюшка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и Руслан показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывавшая зелень, что Маринюку, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали Маринюка, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть. Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стаканы, и ловко распоряжались содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко созданной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — вяло ответил Маринюк, предчувствуя, что интерес к нему тотчас иссякнет, был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам, — обратился Георгий Павлович к своим спутникам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только... Пейзаж, закат, пленэр... А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников, — перебил старика удивленный Руслан.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясало от смеха.

Маринюк, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один его жест, глядят на него странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне он никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, кого старик назвал Дато.



— Вы что-то путаете, я — Маринюк, инженер из Ташкента,— не понимая, разыгрывают его или же в самом деле принимают за какого-то Марсея, ответил, трезвея, Руслан.

Купе снова зашло смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Маринюк...

По Мартуку Руслан хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, он протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловко пальцы старика вертели паспорт так и эдак. Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщательно принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но Руслану было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему,— сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт.— Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся... Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой на одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток,— сказал Маринюк, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво потянул его обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое, знать тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров... Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе,— и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек пиджака Руслана заранее заготовленный листок. На том они и расстались, одни довольные встречей, а другой — удивленный донельзя: за кого же его приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили ему о себе...

Гостям Тбилиси советуют побывать на Мтацминда, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав

от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, Руслан решил заодно и поужинать на Мтацминда.

В зале и на открытой веранде веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в его любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Руслан с трудом отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и он сам.

Официант во всей доступной мере выказал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, Маринюка и подобных ему он и на порог не пустил бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет... нет... кончилось... не бывает... никогда не будет...

Руслан понимал: любое его возражение еще более усугубит незавидное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва Руслан пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент Маринюк даже и не признал его, хотя между ними только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка,— частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из рук Руслана фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отравка.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал Руслану на ухо завзалом, поглядывая на его соседей, но Маринюк отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобю с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, не знакомыми Руслану, а метрдотель собственноручно налил



в невесть откуда взявшийся тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на Руслана.

Маринюк прикинул, что ужин обойдется ему раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски великолепные, оркестр на высоте, и настроение у него поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, он, пригласив какую-то девушку на танец, назвался... Марселем.

Может, он сам приглянулся девушке, а может, понравилось его имя, весь вечер она щебетала: «Марсель... Марсель...» Чужое имя не раздражало его, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, он прожил не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов... Возможно, вкус к игре в чужую жизнь, желание прожить ее в тысячах лиц, быть одновременно сыщиком и вором, родились у него на Мтацминда.

Татьяна появилась в его жизни вновь через два года. Появилась так же неожиданно, как и в первый раз. Он стоял в фойе концертного зала, обмениваясь с приятелем впечатлениями о только что услышанной игре трубача из японского джаз-оркестра «Мерубени», когда его окликнули. Руслан повернулся на знакомый голос и увидел Татьяну в длинном вечернем платье, отчего она казалась еще выше и стройнее.

— Я рада вас видеть...— Она протянула узкую ладошку, и Руслан, ошеломленный встречей, ощутил тепло ее руки.

Сейчас, спустя много лет, он с грустью и нежностью вспоминал начало романа с Татьяной.

Жила она неподалеку от него, тоже в центре, в большом собственном доме с ухоженным садом, куда по вечерам доносилась музыка из парка. Ташкент, еще не познавший властной руки архитектора, был уютен и притягателен. Тенистые, утопавшие в зелени улицы с неумолчно журчавшей водой полноводных арыков, парки, притягивавшие по вечерам тысячи отдыхающих, гостеприимные открытые кафе, многочисленные шашлычные. Единый центр, одна общепризнанная, манящая улица для вечерних прогулок, называемая местными, теперь уже состарившимися, пижонами Бродвеем.

Работала Татьяна в Доме моделей, часто выступала перед молодежью и потому имела много знакомых. Куда бы они ни пришли, где бы ни появились, везде у нее находились друзья-приятели. Руслан по-прежнему часто пропадал в командировках, но теперь из каждого города он непременно звонил ей домой, в Ташкент. Эти звонки — то из Москвы, то из Алма-Аты, Фрунзе или Еревана — создавали впечатление у родителей Татьяны, да и у нее самой, что Руслан занят важными делами, хотя, бывая у них, Маринюк всегда уверял, что дело его самое обыкновенное, просто такова география работы. Но они решили, что молодой человек скромничает, а это еще выше поднимало его в глазах родителей. Танина мать такие разговоры заканчивала по-своему: «Всякого в Москву не командируют...».

Руслана тянуло к ним в дом, где его ждали, где ему были рады. В зале у них стоял старинный рояль, и каково было удивление Руслана, когда Татьяна однажды села за клавиши и сказала просто:

— Мне хочется сегодня поиграть для тебя...

В соседних дворах жгли пожухлую листву, и дым, хранивший запахи уходящего лета, долетал сквозь распахнутые настежь окна зала. Он надолго запомнил этот осенний вечер, дымные сумерки и чарующую музыку, что звучала только для него.

Отказ возлюбленной из Актюбинска раскрепостил его отношения с девушками, и Руслан был уверен, что теперь у него чувство никогда не перехлестнет разум, он научился как бы видеть себя со стороны. Он понимал противоестественность такого состояния, на что-то навсегда умерло в нем с той «любовью».

Например, он мог спокойно сказать Татьяне, какой пьяница у него отец, а раньше содрогался даже от мысли, что признается кому-то в этом. Подолгу, не приукрашивая и не сгущая красок, рассказывал он ей о своей жизни в Мартуке. Иногда ему казалось, что она вдруг встанет и скажет: «Ты, выросший в грязи и нищете, больше слышавший брани, чем музыки, недостойн меня». По она гладила его по волосам и тихо говорила: «Милый мой, бедный Руслан, как все это ужасно»...

В его отношениях с Татьяной все было так, как некогда он мечтал. Он приходил всегда с цветами, из каждой командировки привозил подарки: книги, дорогие безделушки. В «Регине» теперь он бывал только с нею, и где бы они ни появлялись, непременно слышали: «Какая дивная пара!».



Он не собирался делать ей предложение. Ему нравилось быть с ней «дивной парой», нравились свидания, нравилось положение жениха, но в ее доме все чаще и чаще, будто случайно, заводили разговоры о свадьбах, о семье, о детях. На приятельских вечеринках ее подружки, выбрав момент, во всеуслышанье спрашивали, когда же они будут гулять у них на свадьбе.

Татьяна сама никогда не намекала на то, что пора бы и определить их отношения, но увидит в «Регине» очередное свадебное празднество — и как-то нахмурится, замкнется... В общем, Руслан вдруг стал ощущать со всех сторон мягкое, но настойчивое подталкивание: женись, женись, женись.

В тот день, когда Руслан попросил руки Татьяны и получил согласие, он, возвращаясь домой, успел к закрытию «Регины» и крепко выпил с оркестрантами. Он был счастлив, весел, щедр, как и подобает человеку в таких случаях. Принимая поздравления, ни единым словом, ни жестом не выдал того, что весь день пребывал и глубокой тоске. Он остро чувствовал, что вместе с предложением уходит навсегда часть жизни, так похожая на ту, о которой он грезил у вагонных окон в ночных поездах. Обретая Татьяну, он терял нечто большое, необходимое его беспокойной душе...

\* \* \*

По вечерам в пустой квартире Маринюк мысленно возвращался к далеким дням.

Был ли он счастлив в семейной жизни? Вопрос этот он задавал себе все чаще. По мнению друзей-приятелей, родителей, брак их был более чем удачным: их даже ставили многим в пример. Татьяна оказалась не только хозяйственной, но и деловой, и Руслан не переставал удивляться, откуда в ней, хрупкой, нежной женщине, столько энергии, азарта жизни, а ведь он был убежден, что хорошо знал свою невесту.

Руслан через год-два должен был получить квартиру, но о таких дальних сроках она и слышать не хотела. Зная, что у Руслана есть на книжке деньги, на которые он когда-то собирался учиться в архитектурном, Татьяна отыскала в новом районе достраивавшийся кооперативный дом, и уже через три месяца после свадьбы они въехали в собственную трехкомнатную квартиру.

Сейчас вся прошлая семейная жизнь представлялась ему как хорошо спланированное расписание поездов. Наверное, будь

Маринюк человеком другого душевного склада, на такую жену надо было каждодневно молиться.

Возвращаясь из командировки, он всякий раз находил в доме новую вещь: то какие-то необычные тюлевые занавески, то торшер, то бра, то кофейный сервиз, то немецкую люстру, то крытый пластиком набор кухонной мебели. Улыбаясь, она рассказывала, что ее зарплату, на год вперед, всю без остатка, бухгалтерия расписала магазинам за кредит, а стереорадиолу, новинку, которой ни у кого нет, она оформила под его получку. Расписав в кредит обе зарплаты, она не успокоилась, заняла у тетушек, дядюшек и родителей необходимую сумму и купила сразу два импортных гарнитура.

Мебель эту Руслан передвигал по квартире целый год, пока Татьяна не нашла самый выигрышный, на ее взгляд, вариант и не успокоилась.

Иногда он пытался образумить ее, говорил, к чему, мол, такая спешка, нервотрепка. Но у нее тут же влажнели глаза, и она отвечала, что не для себя же старается, для семьи. Лозунг «для семьи», по ее убеждению, сомнению подвергаться не мог.

Ему и впрямь было трудно упрекнуть ее в чем-то: «для семьи» — было для нее прежде всего. С первого дня в их доме появилась швейная машинка «Зингер», подарок Таниной бабушки, и когда бы он ни возвращался из командировки, заставал жену за шитьем. Это необычайно трогало Маринюка, вызывало к ней жалость: он запрещал ей брать заказы, но у Татьяны на этот счет было свое мнение.

Конечно, они старались не пропускать концерты, ходили в кино, но все равно жизнь их теперь резко отличалась от той, что они вели прежде. Зато о них теперь все чаще говорили: «Какая хозяйственная пара!»

В то лето, когда они окончательно обустроились в своей кооперативной квартире, Руслану выпала командировка в Актюбинск, и он, конечно, выкроил несколько дней, чтобы посетить родной Мартук.

\* \* \*

В Мартуке Маринюк не был давно и возвращался туда совершенно другим человеком. Поселок заметно изменился, чувствовалось, что достаток пришел и в эти края. С тех пор, как в каждом дворе появилась собственная колонка, Мартук зазеленел, и цветы, столь редкие здесь в прошлом, теперь украшали все дворы. У Маринюков



мало что изменилось, только неожиданно крепко вымахали деревья, посаженные некогда Русланом, да буйно цвели одичавшие кусты роз. Отец дорабатывал до пенсии в сторожах и пил по-прежнему. Не стало и коровенки, столь привычной во дворе, земли вокруг поселка распахали, негде стало выгуливать коров, негде сена на зиму запasti. Живут на городской манер, все из магазина. Многих друзей Руслана уже не было в поселке: Славик завербовался на флот и ловил где-то у далеких берегов Исландии селедку, Рашид сидел в тюрьме за драку. А многие не вернулись после армии, уехали на комсомольские стройки или женились и остались в благодатных краях. Но его, первого дружка Тунбаева, узнавали, помнили. Днем он чинил прохудившуюся крышу, менял электропроводку в доме, в грозу случались замыкания и мог возникнуть пожар. Ездил с матерью на огороды, поливал и окучивал картошку. Иногда среди дня брал у соседского мальчишки велосипед и отправлялся на речку. Как-то вечером, после кино, даже заглянул на танцевальную площадку. А наутро, когда он обрезал сухости на деревьях, к калитке подъехала на велосипеде девушка лет пятнадцати и, почему-то озираясь по сторонам, окликнула Руслана. Когда он подошел к ограде, она протянула ему записку и тут же, не дожидаясь ответа, укатила. Маринюк развернул аккуратно сложенный листок в клетку. Знакомым летящим почерком было написано всего несколько слов: «Руслан! Только сейчас узнала, что ты в Мартуке. Была бы рада увидеть тебя. Валя».

Забытым милым детством дохнуло от записки, и Руслан тут же вспомнил синеглазую девочку с голубым бантом, в жаркой ладошке которой поблескивала серебряная монетка. Когда-то он клялся друзьям, что никогда не забудет ее, и только случай помешал ему тогда выколоть на тыльной стороне руки крупными буквами вечное — «Валя».

Весь день на него наплывали какие-то теплые воспоминания: первый поцелуй и первые горькие слезы, полутемный кинозал и дорогой силуэт тоненькой девушки, танцы под трофейный аккордеон и бесконечная, в сугробах, улица его детства...

Вечером он пошел к дому Комаровых. В юности Руслану казалось, что Мартук огромен, конца-края ему нет, а Валя, по меркам того времени, жила далеко-далеко, на Оторвановке. Сейчас же этот путь он одолел минут за десять.

Еще издали он узнал угловой дом, крытый оцинкованным железом. Некогда огромный, теперь в соседстве с вновь отстроенными

особняками он казался игрушечным, и клены, которые он помнил маленькими прутиками, теперь шумели высоко над крышей.

Он подошел к калитке, отыскал глазами звонок, как вдруг из палисадника его окликнули:

— Руслан...

Зашелестели давно отцветшие кусты сирени, звякнула щеколда калитки, и перед ним явилась Валя, стройная, в белом платье.

— Пройдемся, погуляем? — сказал она и, не дожидаясь ответа, взяла его под руку.

Она знала, неизвестно откуда, о его жизни все, даже сказала, что его жену зовут Татьяной. О себе рассказала коротко: «сходила замуж» в Оренбурге, неудачно, вернулась, работает, как и его жена, закройщицей, только в ателье.

— А как же балет? — вырвался у Маринюка нелепый вопрос.

Она рассмеялась, как смеются взрослые, самостоятельные люди, вспоминая милые детские шалости.

— Балет... А ты, оказывается, помнишь, — ответила с грустью в голосе Валя. — В четырнадцать всем девочкам хочется быть необыкновенными, вот я и придумала балет...

Потом она с таким остроумием, которого он в ней и не предполагал, рассказывала о нелепых случаях, связанных с игрой в балерину, и они от души смеялись. Неожиданно с отчаянием в голосе Валя тихо сказала:

— Пойдем ко мне. У меня ведь и стол накрыт, и я даже выпила для храбрости... очень волновалась, боялась, что не придешь...

Дома, когда они выпили, она взяла гитару и запела какой-то грустный романс. Вдруг остановившись на полуслове, спросила:

— Руслан, весь вечер не могу понять, что в тебе изменилось?

— Постарел, поумнел, — попытался отшутиться Маринюк.

— Я не о том, — перебила его Валентина и снова запела. Потом, когда они сидели в палисаднике и он пытался в лунном свете разглядеть ее лицо, она вдруг встрепенулась.

— Вспомнила! Раньше ты так хорошо, заразительно смеялся, а теперь... Я всегда узнавала твой смех... и, кажется, слышала его и с Татарки, и со двора Вуккертов. Мне так нравилось, как ты смеешься...

Она резко повернула к нему возбужденное лицо.

— Руслан, милый, ты потерял свой смех....

Неожиданно, ткнувшись ему в плечо, она заплакала.



— Милый, ты потерял свой смех... как это ужасно,— повторяла она, захлебываясь от слез, и погрузневший Руслан никак не мог ее успокоить.

\* \* \*

Из монтажного управления в старом городе, где Руслан проработал почти десять лет, он ушел неожиданно. И работа ему нравилась, и зарабатывал прилично, но вдруг он потерял интерес делу. Маринюка словно подменили. У него была, конечно, причина... Многим причина показалась бы смехотворной, потому он никому, даже Татьяне, не говорил об этом.

Сдавали в Ташкенте в эксплуатацию ледовый Дворец спорта. Сооружение, интересное по архитектуре и сложное по строительству. Как на любой пусковой стройке, суматоха невероятная. Организация Маринюка выполняла главное — готовила ледяную арену.

Когда уложили основание из морозоустойчивого пластика, вдруг выяснилось, что нет дефектоскопа для проверки сварных швов. До пуска считанные дни, полетели срочные запросы в Москву, Ленинград, и вдруг неожиданная телеграмма из Госнаба СССР, есть, мол, у вас в республике аппарат, выделили года три назад. Переворошили гору документов и обнаружили, что действительно установка получена и занаряжена в Нукус.

Маринюку, как специалисту по кризисным ситуациям, поручили найти и доставить дефектоскоп. Когда он на базе в Нукусе предъявил документы, там только руками развели: нужно, дескать, отыскать бумаги: есть ли у них такая штука. Весь день и почти всю ночь Руслан перебирал небрежно подшитые бумаги базы, отыскивая среди тысяч накладных наряд на необходимую установку. Только к исходу второго дня он обнаружил его. В бумагах-то отыскал, а как найти установку на захлавленной территории в несколько гектаров, где все свалено валом? К тому же он смутно представлял, как она выглядит. Руководство базы в помощи ему отказало — таких ходков у них каждый день десятки. Два дня с восхода до заката, разбив территорию на квадраты, Маринюк тщательно искал дефектоскоп. Раздвигая ломом завалы, в кровь исцарапал себе руки, насадил синяков и шишек. В ржавчине, солидоле вымазал костюм, порвал брюки, но все же в субботу отыскал. Установка весила килограммов сто двадцать, даже вытащить ее из завала и доставить до проходной

оказалось проблемой. Надо было ждать до понедельника. А ждать он не мог, дата открытия Дворца была известна в Ташкенте каждому. С собой у Руслана были деньги: Татьяна просила посмотреть в тех краях сапоги. Эти деньги и выручили Маринюка. Он нанял машину, нашел грузчиков и вместе с ними доставил дефектоскоп на станцию. До самого вечера торчал возле него на вокзале, а потом были осложнения с проводником: тот никак не разрешал везти груз в тамбуре, советовал хорошенько упаковать в ящик и сдать в багажный вагон. Загрузился он перед самым отходом поезда, вручив проводнику оставшиеся деньги. Так всю дорогу, охраняя дефектоскоп, и проехал в тамбуре.

Оборванный, грязный, голодный, без заказанных сапог и без денег, но счастливый, что уложился в срок, заявился он тогда домой.

Вскоре после открытия Дворца приехал на гастроли в Ташкент ленинградский балет на льду. Балет на льду в Ташкенте — зрелище новое, с билетами творилось что-то невообразимое. Татьяна, с ее связями, билеты достать могла, но Руслан уверил ее, что двери Дворца спорта для него всегда открыты. Так, по крайней мере, заявила ему администрация, когда он доставил к сроку дефектоскоп.

Но билетов он не достал, хотя был и у директора Дворца спорта, и у главного инженера, и у инженеров-наладчиков, в общем, у людей, знавших его. Дай он десятку сверху, слесари или другая мелкая обслуга Дворца тут же принесли бы ему билеты на любой ярус, но Маринюк не хотел в «свой» Дворец ходить с черного хода. Эта равнодушная «забывчивость» так подействовала на Маринюка, что он потерял интерес к своей работе. Татьяна тогда зло обругала Руслана и неделю не разговаривала с ним из-за того, что они не попали на спектакль, и это только усугубило его охлаждение к работе. С тех пор, какая бы интересная программа ни шла, как бы ни уговаривала Татьяна, во Дворец спорта он никогда не ходил. И, переживая обиду, он не жалел о ста сорока рублях, которых никто ему и не подумал вернуть, не вспомнил об угробленном костюме, даже об ушибленной ноге забыл, а всю жизнь помнил, как величайшее унижение, хождение из кабинета в кабинет, где ему отказали в двух билетах.

Новое место работы он выбрал, учитывая все: и транспорт, и столовую, и близость реки Анхор, где можно было купаться в обеденный перерыв все долгое ташкентское лето. Он даже не слишком прогадал в зарплате, а ведь прежняя работа была во много раз труднее, ответственнее и связана с постоянными разъездами. К тому



времени Маринюк уже наглядился на чиновничью работу, где главное — никогда не опаздывать и не выказывать особого рвения, короче, не высовываться, не умничать. Не стал он заводить и новых друзей на работе, общался настолько, насколько требовала служба. Избегал и курилки, где треть дня терлись любители почесать языки, что бросалось в глаза руководству, и его даже стали отмечать за служебное рвение. А все рвение заключалось в том, что он не выходил из кабинета. В просторном кабинете с кондиционером он выбрал себе дальний и неприметный угол, где без риска мог читать книги, писать письма, не торопясь думать и размышлять.

Но многим за подчеркнутым безразличием Маринюка мнилась какая-то тайна. При всем старании ему не удалось сыграть роль человека, случайно затесавшегося в строительство, хотя таких людей вокруг пруд пруди. Какая-то скрытая инженерная интуиция чувствовалась в его редких и едких репликах, в умении одним взглядом ухватить в чертеже или проекте главное. «Профессионал», — сказал о нем кто-то из молодых.

К нему стали обращаться за советом из других отделов. Он не отказывал никому, и помощь его была дельной, но почему-то второй, третий раз к нему уже не подходили, и разговоры о том, что такой толковый парень, как Руслан, случайно попал к бездельникам в АСУ и что он далеко пойдет, скоро поутихли.

Раньше, возвращаясь из командировок, он подолгу рассказывал Татьяне о своих делах, о друзьях, о монтажниках, работающих на пятидесятиметровой высоте, теперь подобные разговоры иссякли. Через год-полтора встревожившаяся Татьяна несколько раз забегала к нему на службу, посмотреть, чем же занимается ее Руслан. Безделье мужа пугало ее, она просила Руслана вернуться к прежней работе или подыскать другое, мужское занятие. Но Руслан говорил, что наконец-то нашел работу по душе и не намерен больше ничего менять.

В это время и появился у Маринюка велосипед. Тогда еще не наступил повсеместный велосипедный бум, кстати, и позже не затронувший ташкентцев, если не считать подростков, прельстившихся яркими моделями малогабаритных машин.

Покупку велосипеда он, пожалуй, не мог объяснить и себе. Сказать, что такой велосипед он хотел иметь в детстве, было бы неверно: велосипеды его детства, в пятидесятых годах, были несравненно красивее и изящнее: с хромированными ободами и крыльями,

с хромированной фарой, стоп-сигналом, звонком и багажником, седлом из настоящей кожи — по внешнему виду они могли тягаться с нынешними дорожными гоночными.

Татьяна, поначалу принявшая велосипед за очередную блажь, терпела, не выговаривала, хотя велосипед, висевший в тесной прихожей, не радовал ее. Она с улыбкой смотрела иногда по утрам в окно, когда он уезжал на работу. На ее взгляд, ничего не могло быть нелепее человека, разъезжающего на велосипеде в костюме и при галстуке. Осенью, когда наступала пора ранних сумерек, она беспокоилась, как он там пробирается сквозь нетерпеливые ряды машин, как пересекает плохо освещенные улицы и переулки. К этому сроку одинокий велосипедист уже примелькался на улицах Ташкента, у одних он вызывал улыбку, у других иронию, у третьих злость.

И первый по-настоящему серьезный конфликт в семье возник из-за велосипеда. Татьяна требовала убрать его из дома, говорила, что устала отвечать знакомым, не ее ли это муж разъезжает по городу, сокрушалась, что над ней потешаются все подруги. Нормальные мужчины, мол, могут помешаться на «жигулях», это понятно каждому, но велосипед... И тут же предложила занять деньги и приобрести машину. Но Руслан, как никогда прежде, был тверд и стоял на своем — велосипед и только... Татьяна даже ушла тогда к родителям и не приходила домой почти месяц, но потом накатила зима, и она вернулась. А по весне все началось сначала. Тогда она и стала называть его «велосипедистом», хотя ее мать и подруги уже давно Руслана иначе и не называли.

Пожалуй, в то время, когда Татьяна убедилась, что велосипед застрял в прихожей надолго, когда она уже не содрогалась от вопроса, как поживает ее «велосипедист», появился у нее поклонник, архитектор Карен Акопович Адалян.

Сейчас, после ухода жены, Маринюк вдруг понял, что обходительный Адалян, который иногда подвозил ее домой, был поначалу как «SOS» Татьяны: «Одумайся, семья в опасности! Посмотри, кроме велосипеда у тебя есть жена, молодая, интересная женщина». Но он в непонятном эгоизме словно не замечал ничего вокруг. Наверное, если бы хоть однажды, даже в шутливой манере, выскажи он свой протест, может, и исчез бы навсегда неожиданно объявившийся архитектор.

В то лето, когда появился Адалян, Татьяну назначили директором Дома моделей, и ей предстояло организовать выставку узбекской



моды в Варшаве. И назначение, и поездка в Польшу — все пришлось вдруг, Руслан вынужден был в одиночку ехать отдыхать в Ялту, в санаторий «Морская волна».

Отпуск они всегда проводили вместе, отдыхали неподалеку в местных санаториях с романтическими названиями «Су-кок», «Кумышкан». «Рохат», дважды побывали в Москве и Ленинграде, и эта поездка в Ялту должна была стать их первым совместным путешествием к морю. За много лет семейной жизни впервые в отпуске он был предоставлен самому себе. То ли море и обстоятельства явились тому причиной, то ли женщина настырной оказалась, то ли Руслану вдруг другой жизни вкусить захотелось — случился у него в санатории роман с молодой москвичкой. Санаторный роман — событие не редкое в наше время, чтобы упоминать о нем, но для Маринюка и он не прошел бесследно.

Настенька, двадцатипятилетняя жена полярного летчика, сама выглядела Руслана среди отдыхающих и, как потом призналась, дала слово санаторным подружкам, что непременно закрутит любовь с чернявым ташкентцем.

Как бы там ни было, она понравилась Маринюку, и он ухаживал за ней, как много лет назад за Татьяной. Каждый день после обеда ходил на набережную в цветочный магазин, простаивал за билетами в летний театр на эстрадную программу, дарил трогательные безделушки, водил в ночной бар в «Ореанде», и проводить до аэропорта, до самого Симферополя, не поленился. И потом отвечал на ее письма, как обещал. Даже после какой-то неожиданной премии отправил к Новому году флакон французских духов. Удивительно, но этот скромный флакон духов сыграл в их отношениях странную роль. Получив подарок, Настенька ответила письмом на пяти страницах. Ее восторгу, умилению, благодарности не было предела. Руслану даже неудобно было все это читать. Она писала, что муж, хотя и очень ее любит и, не в пример Маринюку, много зарабатывает, никогда не дарил ей французских духов. Потом еще месяца три в каждом письме упоминались эти духи, так что Маринюк уже со скукой на лице вскрывал ее письма.

Когда, устав от ее назойливых писем, в каком-то ответе мягко высказав мысль, что у него не всякую неделю бывает настроение отвечать на ее частые послания, он получил скорый ответ. Тон этих страниц резко отличался от предыдущих. Она писала, зачем, мол, он ей голову морочил на море целый месяц, цветы и подарки дарил,

тратился на рестораны, даже целый пляжный день потерял, провожая в Симферополь. Про французские духи упоминалось раз десять, и выходило, что такой подарок — больше, чем признание, и что нормальные люди не дарят так духов, а если дарят, то только тем, на ком собираются жениться. Писала, что он испортил ей жизнь, она уже чуть не всей Москве объявила, что расходится с мужем, и всем рассказывала и показывала, какие подарки он шлет из Ташкента. А у него, видите ли, нет настроения писать. В общем, кончалось послание тем, что он подлец и негодяй, каких свет не знал.

\* \* \*

В общем, семейная жизнь Руслана текла во взаимных обидах, упреках, и Татьяна, больше всех нуждавшаяся в поддержке, в родных стенах покоя и утешения найти не могла. Единственным человеком, кто понимал ее и пытался помочь, оказался архитектор Адалян.

В какой-то день Татьяна почувствовала, что ее шаткая семья с чрезмерно впечатлительным и странным мужем может распасться. Двое сорокалетних людей в роскошной трехкомнатной квартире вдруг поняли, что в погоне за чем-то необычным, призрачным не нашли времени завести детей, в заботе о которых, может быть, текла бы дальнейшая жизнь, лишённая мелочного самокопания и самолюбования.

Был момент, когда Татьяна вновь потянулась к Руслану, попыталась наладить прежние отношения. Ей казалось, стоит Руслану сменить работу, попасть в иную среду, и их отношения наладятся сами собой.

Дом моделей, который она возглавляла, не выполнял частные заказы, но в исключительных случаях кое-кто пользовался услугами известных модельеров, были среди них и люди, курировавшие строительство. Они-то обещали помочь Татьяне. Учитывая многолетний стаж Руслана, гарантировали приличное место. Руслан к радостному сообщению жены отнесся равнодушно, хотя знал, что новая должность предоставила бы ему персональную машину и более солидный оклад.

Ожидаемое женой примирение закончилось еще большим разладом.

\* \* \*

Странно, но после ухода Татьяны Маринюк остыл к велосипеду и без сожаления подарил его мальчишке из соседнего подъезда.



На службе в долгие часы безделья он не раз пытался понять, что же мешало ему сделать это раньше, когда так просила, умоляла жена, и выходило, как ни крути, как ни изощрайся в оправданиях — иначе, чем капризом, это не назовешь.

В эти дни впервые приснилась ему Валя Комарова. Снилось молодой, красивой, только вот наряды у нее были почему-то Татьянины, и знала она о нем гораздо больше, чем он предполагал. Но не была она мила и нежна, как в тот раз, не говорила о его утраченном смехе, и даже улыбкой, ласковым взглядом не одарила.

Припомнила она тот давний-давний вечер и их первый в жизни несостоявшийся поцелуй. Она призналась, что действительно хотела, чтобы все было как в кино, но стоило ли судить ее так строго, ведь ей, провинциальной девчонке, было всего пятнадцать...

— А не играл ли и ты в жизни чужие роли, мой строгий судья? — серьезно спрашивала Валентина. — Разве оскорбился ты, разве пытался отмежеваться, когда тебя принимали за некоего Марсея? Нет! Тебе хотелось быть сыщиком и вором одновременно, хотелось прожить жизнь в тысячах лицах. Людей, давших тебе жизнь, ты стыдился, стеснялся их, таких, какие они есть...

— Уйди прочь! Не трави душу! — хотел крикнуть Руслан, но безжалостная Валентина в платье Татьяны и рта не давала раскрыть.

— Хотел прожить, как в оперетте — грустно и красиво. Но жизнь без борьбы не бывает, тем более у мужчин. За два билета на балет обиделся на весь свет и оставил работу, нужную себе и людям.

Он покорно склонил голову. Она была права, что и говорить.

— А за жену ты боролся? Смотрел со стороны, как уводят ее. Тебе не было дела до нее, ты занимался самокопанием и игрой в подставные лица...

— Оставь меня! Не желаю слушать, — хотелось кричать Руслану, но он почему-то не мог издать ни звука. Так бывает, когда падаешь в пропасть, хочешь кричать, проснуться — и не можешь.

— Ты всегда желал, чтобы понимали тебя, чтобы угадывали даже малейшие капризы твоей утонченной, как ты считал, души. А попытался ли ты хоть раз понять близких тебе людей?

Руслан вдруг сник и, не смея возражать, сидел, вжавшись в кресло, ожидая, когда же она замолчит, уйдет, растает, оставит его одного.

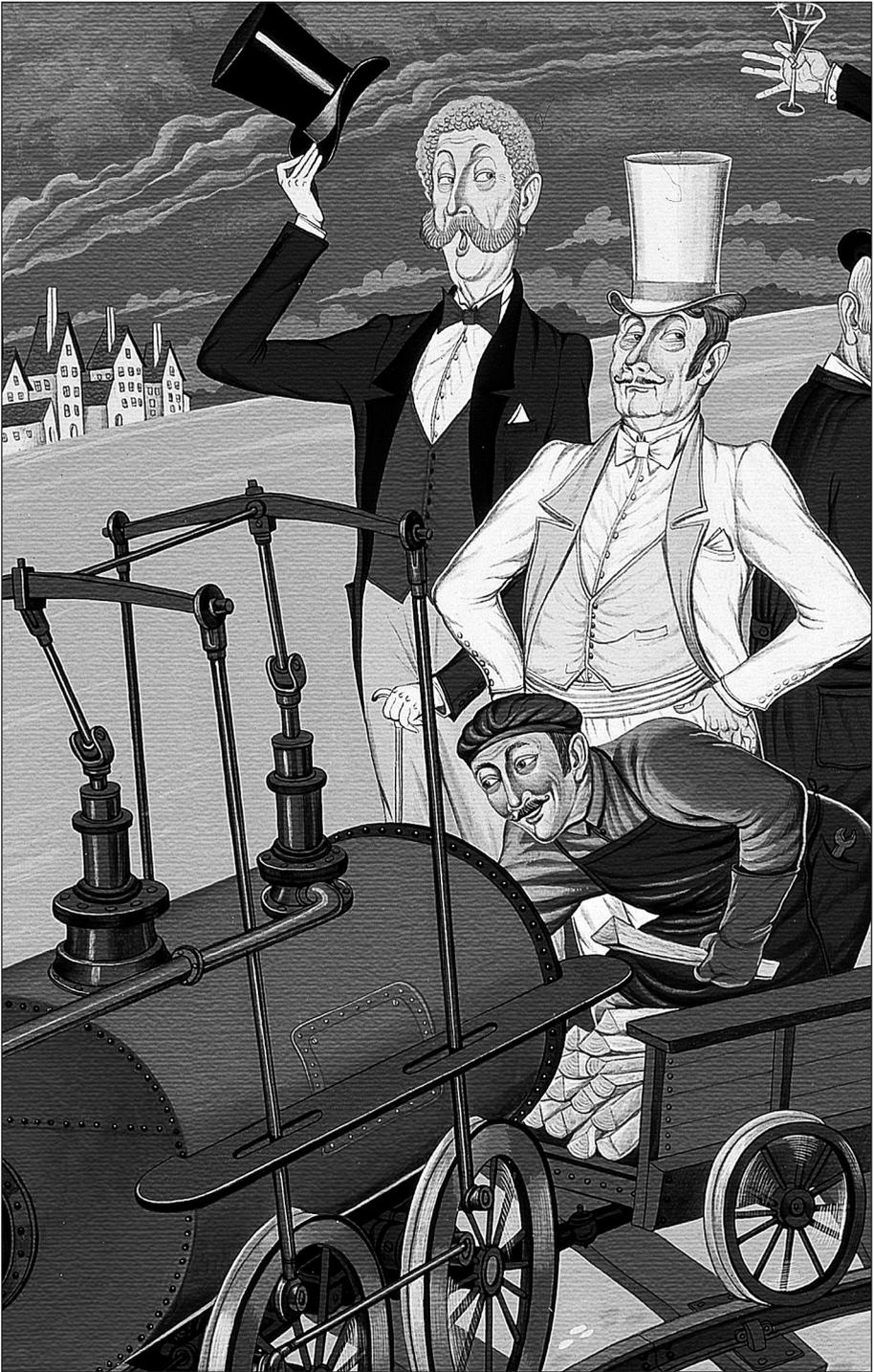
— А как назвать вас, сорокалетних Игорьков, Славиков, Русланчиков, на чьих плечах не лежат ни семейные, ни родительские, ни государственные заботы? Умные, образованные, утонченные — как вы считаете,— вы сознательно уходите от трудностей, свысока поглядываете на всех вокруг, иногда снисходите до советов, а потом вдруг удивляетесь, что и без вас идет жизнь и земля по-прежнему крутится.

Что молчишь? Может, я не права? Говори, теперь я послушаю тебя, хотя знаю, что ты припас аргументы на все случаи жизни,— сказала Валентина и отошла к окну.

— Да нет у меня никаких аргументов,— устало ответил Маринюк и проснулся.

До рассвета было еще далеко, но глаза больше сомкнуть не удалось, мысли кружились вокруг странного и неприятного сна. «Надо написать родителям, что приеду на Первое мая,— вдруг подумал Маринюк. А может быть... может быть... позвонить Татьяне?».

*Ташкент, Ялта,  
май 1981*



# Сезонные работы

Повесть

**Н**ад свежей пробоиной в стене, выходявшей в пристанционный палисадник, висела наспех написанная вывеска: «Касса».

«Что-то затянулся ремонт»,— подумал Самвел и постучал в окошко.

— Билетов нет! — донеслось из-за фанерной заслонки.

— Почему?! — рассердился Самвел.— Всем есть, а нам нет...

Неожиданно окошко распахнулось, и сухонький старичок, заражаясь раздражением Самвела, ответил:

— Не всем, молодой человек, а студентам из стройотряда, москвичам. Билеты им заказаны еще две недели назад. С честью поработали, с честью и проводы! — и хлопнул заслонкой.

— Они строили, а мы, значит, баклуши били?! — продолжал горячиться Самвел.

— Пойдем, поезд уже на подходе,— тянул его от кассы молчавший до сих пор Карэн.

Самвел еще раз ткнулся было в закрытую кассу, обругал старика по-армянски и, оглядываясь,— а вдруг распахнется окошко,— поплелся за товарищем.



Перрон маленькой степной станции знал такие людские нашествия обычно не более двух раз в году, когда из района в область провожали призывников. И сегодня, в этот августовский полдень, все напоминало проводы на службу в армию.

У здания станции столпились машины из колхозов, играла гармонь, у багажного пакгауза слышались переборы гитары. Поодаль от шумных компаний стояли грустные парочки.

Самвел торопливо прошелся вдоль перрона. Вернувшись к Карэну, с тоской поглядывавшему в сторону поезда, сказал:

— Каро, я думаю, ничем мы не отличаемся от студентов. У меня вот даже сумка, как у того очкарика. Да и ты, особенно в профиль,— вылитый студент...

— Слушай, Самвел, с меня хватит. Давай хоть уедем без приключений...

— Ну, ладно, дорогой, успокойся и вспомни, что твоя мама, тетя Шушаник, велела тебе во всем полагаться на меня.

Послышался долгий гудок тепловоза, и на перроне все пришло в движение, рассыпались парочки, умолкла гитара.

Карэн видел, как Самвел с завистью смотрел на ребят в зеленых куртках, выцветших от жары и вылинявших от частых и неумелых стирок, на которых еще можно было прочесть: «МВТУ».

— Бауманцы,— с восхищением сказал Карэн.

— Что-что? — переспросил Самвел и, спохватившись, добавил: — Сам знаю, не глупее тебя... Бери-ка вещички, студент, а я помогу вот этой сероглазой,— и подхватил чемодан у проходившей рядом девушки.

— С какого вы курса? — спросила она. Самвел остановился на миг.

— К глубочайшему сожалению, не с вашего... Приближаясь к концу состава, Самвел обрадовался: — Хорошо живем, специальный вагон...

— Это наши ребята из областного штаба постарались,— разъяснил шагавший рядом крепыш в матросской тельняшке.

У вагона поджидал парнишка в мешковатой, не по росту, форме железнодорожника.

— Какой молодой проводник,— удивился кто-то из девушек. Паренек услышал, заулыбался.

— Да я тоже студент, практика у нас такая...

Началась посадка.

— Студентам-железнодорожникам наше почтение, — поприветствовал проводника Самвел, оказавшись лицом к лицу с практикантом, и жал ему руку до тех пор, пока Карэн не внес вещи сероглазой незнакомки в вагон.

Едва состав тронулся, все прильнули к окнам, а друзья поспешили занять местечко подальше, в предпоследнем пустом купе.

Прошло не более получаса, а приятели, с глубокомысленным видом склонившись над шахматами, с которыми Карэн не расставался ни при каких обстоятельствах, вполголоса обсуждали свое положение.

— Вот где они спрятались!.. Шахматисты? А я-то думала, какие веселые ребята... Да, внешность обманчива!

Перед ними стояла хозяйка желтого чемодана, и не одна, а с подружкой.

Самвел вскочил, опрокинув крохотные фигурки.

— Вы не ошиблись, прекрасная! Это от большой грусти, что целое лето я работал не рядом с вами, решил разогнать тоску за шахматами... Знакомьтесь, Каро.

Вытащив из-под столика собиравшего шахматы товарища, Самвел подтолкнул его к девушкам...

— Светлана... Ирина...

— Ну, а я — Самвел. Садитесь, ясноглазые, сейчас что-нибудь организуем.

— Нет-нет, — запротестовали подружки, — мы за вами, там у нас компания, идемте...

— Спасибо, нам нужно еще кое-что решить, — стал отказываться Карэн.

— Он шутит, девочки. Идем, Каро, — ласково пригласил Самвел, но на всякий случай крепко взял друга за локоть.

В купе рядом с проводником набилось полно ребят, даже на вторых полках расположились по двое.

Знакомый парень в тельняшке потихоньку перебирал струны гитары. Маленький купейный столик был заставлен высокими бутылками болгарского сухого вина, из промасленного и порванного пакета, дразня аппетит, выглядывала куриная ножка. На пакете с курицей лежали малосольные огурцы в целлофановой кулке...

— Отыскала... знакомьтесь... — Светлана представила ребят.

Несмотря на тесноту, нашлось и для них место.

— Ну, за дело, давайте чемоданы, — сказал, передавая гитару наверх, студент в тельняшке.

М

Три чемодана образовали столик. Кто-то попросил Карэна передать вино.

— По какому случаю нарушаете принятый в стройотрядах сухой закон? — так строго спросил Самвел, что Карэн от удивления едва не выронил бутылку.

Все на мгновение растерялись. Раньше других нашелся парень в накрахмаленной белой рубашке, сидевший напротив Самвела.

— Это я виноват, — кивнув в сторону бутылок, объяснил он. — Вот только вчера вечером с Танюшей уговорились насчет свадьбы. Дали мне ровно неделю: и на свадьбу, и на дорогу в оба конца. Комбайнер я. И, выходит, мы с друзьями, — парень показал на чернявых близнецов, — до невесты едем. А по русскому обычаю — какой же сговор без песен и вина? В Москву приедем в четверг, в субботу свадьбу и сыграем, милости просим к нам.

— Поздравляю, поздравляю! Что ж, причина уважительная... Тогда разрешаю... — поднял руки Самвел.

— Ура! — раздалось в купе, словно им так не доставало чьего-то разрешения.

Поздравлял Татьяну и Сергея чуть ли не весь вагон, и хотя бутылки скоро опустели, шумное застолье продолжалось.

Короткий августовский день быстро угасал, потянуло вечерней прохладой, девушки попросили прикрыть окна. В вагоне зажгли свет.

— Можно, дорогой, я сыграю? — Самвел потянулся к гитаре.

— Что же ты молчал, а то я мучаю ее, а не играю.

Самвел взял два замысловатых аккорда и неожиданно запел:

...Яблони в цвету —  
Весны круженье.  
Яблони в цвету —  
Любви смятенье...

Голое у него был сильный, чистый, и видно было, что с гитарой он был в ладах. Едва он закончил, как посыпались заказы.

— Начинаю концерт по заявкам ударниц, но прежде — для жениха и невесты:

Ах, эта свадьба, свадьба...

Песню дружно подхватили все.

Пока Самвел пел, Карэн несколько раз порывался уйти, но его не отпускали. Вытирая взмокший лоб, Самвел отложил гитару, чтобы перевести дух и выпить стакан чаю, предложенный Светланой.

— Жаль, Самвел, что ты не попал в наш стройотряд. С тобой не заскучаешь,— сказал хозяин гитары.

— Да теперь я и сам жалею,— Самвел выразительно посмотрел на сероглазую Светлану.

— Что же вы строили? — спросил очкарик, оказавшийся комиссаром стройотряда.

— Крытые тока. Ставили щитовые домики и успели заложить фундаменты кормоцеха.

— Молодцы, а у нас объекты были попроще,— он похлопал по плечу сидевшего рядом Карэна.

Неожиданно Карэн встал.

— Мы... мы строили,— от волнения он растерял и без того небогатый запас русских слов,— хорошо построили, но мы не уважаемый строитель... — забыв какое-то слово, покраснел и что-то сказал Самвелу по-армянски.

— Шабашники мы,— перевел Самвел.

Взволнованное лицо Карэна, спокойная и неожиданная фраза Самвела вызвали смех в купе.

— Ну и шутники! Вы непременно приходите к нам на свадьбу,— сказала Татьяна.

— Карэн правду говорит, мы действительно шабашники,— Самвел, успокаивая, обнял друга за плечи.

— Какие же вы шабашники? Они всегда до поздней осени работают и расчет по окончании сезона. У них закон суровый — ушел раньше уговора, значит, за харчи работал.

— Шабашить — это не на гитаре играть, наверное, как слабаков отчислили? — вмешался комиссар отряда, невольно отодвинувшись от Карэна.

— Нет, нет, мы хорошо трудились. Работать умеем, Самвел в армии строил, я сам каменный дом в деревне сложил,— и как бы в подтверждение своих слов Карэн протянул крепкие, в ссадинах и порезах руки.

— Любопытно, и давно вы шабашите? — спросили с верхней полки.

— Пропади оно пропадом, первый раз...



— На чем же вы не сошлись с коллегами? — не унимался комиссар.

Карэн что-то сказал другу по-армянски, Самвел задержался с ответом.

— Не сошлись характерами...

— На идейной основе, значит? — подсказала Светлана.

— Можно и так сказать,— Самвел улыбкой поблагодарил девушку.

На какое-то время в купе установилась тишина.

— Что же все-таки у вас произошло? — спросил молчавший до сих пор Сергей, комбайнер.

— Подлеца разоблачили, но это — долгая история, не стоит рассказывать, поверьте, а за авантюру с вагоном простите, ребята, билетов не было. Поезд на этой станции останавливается только почтовый, раз в день. Ждать мы не могли, денег в обрез, как раз на билеты. Мы под утро сойдем в Куйбышеве, там прямой рейс на Кировакан, а оттуда домой — рукой подать.

— Ну что ты, Самвел, не горячись. Поезжайте с нами до Москвы, на свадьбе погуляете, а там мы вас отправим,— комиссар оглядел свой отряд,— верно я говорю, ребята?..

— Ну, конечно, поехали с нами...

— А что, если пригласить Карэна с Самвелом в следующем году в наш стройотряд? — обратились с верхней полки к комиссару.

— Хорошая идея. И, думаю, если они захотят работать с нами, организовать это будет несложно.

— Спасибо, ребята, за доверие. Мы с Карэном и так обязательно вернемся по весне. Возьмем в «Межколхозстрое» бригадный подряд на строительство кормоцеха... Так или иначе, мы непременно встретимся в следующем году.— Самвел пристально посмотрел на Светлану и, обратившись к комиссару, добавил:

— Может, еще посоревнуемся: и за количество, и за качество!

Потом пили чай, обменивались адресами. Вернулись в свое купе друзья поздно. Не включая света, молча сидели у окна.

— Каро, я вижу, ты мучаешься — поймут ли нас дома? Почему не поймут?! Поняли же ребята! Разве дома нас не знают, не поверят?..

— Село не стройотряд, Самвел. И Аршавэл не так прост, чтобы последнее слово осталось за нами.

— Ложись, Каро, утро вечера мудренее.

Ночью почтовый останавливался реже. Из леса, вплотную подступавшего к путям, тянуло влагой и сыростью: пахло дождем, грибами, скошенным сеном. Давно, по-детски разметав руки, спал Карэн, а к Самвелу сон не шел. В пустом коридоре гулял ветер, тревожно шуршали занавески на плохо прикрытых окнах, из соседнего купе доносился богатырский храп...

\* \* \*

Аршавэл... Аршавэл...

Вернулся домой Самвел со службы к майским праздникам, когда запоздалая весна еще гуляла в горах. Приехал без телеграммы, но дома его ждали.

— Раз был приказ о демобилизации, то явится Самвел к Первомаю,— говорили домочадцы.

— В праздники на самолеты и поезда с билетами сложно,— сомневались соседи.

Но дед Самвела хитро улыбался, поглаживая по-крестьянски припущенные прокуренные усы, и отвечал:

— Плохо вы моего внука знаете, хоть на хвосте самолета, но к праздникам прибудет!

Так оно и вышло. Из пяти ожидавшихся в селе парней к праздникам успел только Самвел. А в первый будний день мая, рано утром, явились и остальные: два стройных морячка и два рослых, широченных в плечах, десантника.

Односельчане, поздравляя ребят с возвращением, непременно добродушно добавляли: «Ну что, обставила вас пехота? Самвел уже на двух свадьбах успел отгулять...»

На свадьбе Самвел впервые и услышал это имя — Аршавэл.

— Жаль, что не приехал Аршавэл,— сокрушался отец невесты,— ведь обещал: будешь отдавать Искуи, непременно приеду на свадьбу.

— Только и дел у него, Гурген, что на свадьбах гулять. Да и на дворе уже май. Сезонные работы не терпят промедления. Сейчас наш дорогой Аршавэл, наверное, не знает минуты покоя. Думаешь, легко найти хороший подряд? Давайте лучше выпьем за его здоровье, ведь о нашем благополучии печется...— успокоил соседа самый уважаемый в селе человек — каменотес, хромой Погос Меликян.

За столом дружно подняли стаканы, поддержал тост и Самвел.



Утром, когда дед возвращал к жизни любимого внука собственноручно приготовленным хашем, обильно сдобренным чесноком, Самвел спросил:

— Скажи, дед, кто такой Аршавэл, за здоровье которого сам Погос-каменотес предложил тост?

— Ты ешь, ешь, Самвел,— говорил дед, наливая внуку стаканчик домашней сливовой водки,— что же про хорошего человека не рассказать? Живи он в нашем селе, большим бы почетом и уважением пользовался.— Дед Мушег налил и себе стаканчик и торопливо закусил ломтиком брынзы.— Сыновей моего друга Назара, что живут на другом краю села, у родника, помнишь?

— Месропа и Вартана? Конечно, не забыл, хотя они и вдвое старше меня.

— Да-да, я о них,— продолжил дед.— Дружно живут сыновья старого Назара, и цель у них одна — купить машину. Сам знаешь, будь у них машина, они могли бы работать в райцентре, там делом всем хватит. В ту весну, когда тебя проводили на службу, уехали они на заработки в Казахстан. Где-то услышали, что там нужны строители. Что же, молодцы они крепкие, а уменя строить нашим мужикам не занимать. И в старое время из нашего села подряжались на стройку. Работы в степях казахстанских оказалось много. Колхозы богатые там.

За лето поставили Месроп с Вартаном три двухквартирных дома. Строили как для себя. По душе пришлась их работа председателю, и за деньги, что они заработали, отдал сыновьям Назара предназначенную для колхоза машину. Так на правлении колхоза народ решил.— Дед неторопливо набил самодельную кизилковую трубку.— В тех краях и познакомились они с Аршавэлом. Аршавэл там большую бригаду имел, строил коровник и школу.

Обрадовался Аршавэл землякам, Месропу и Вартану, и сразу оценил работу братьев. Пригласил к себе в бригаду, но они отказались. Дома уже под крышу подводили, и была уверенность, что сами управятся до осени. Аршавэл им помогал: сидели они как-то без гвоздей — два ящика привез. Другой раз автокран подогнал, перекрытия уложить. Неделю мужикам сэкономил. Вот они и подружились, а то как же — свои люди, земляки!

Аршавэл давно живет в тех краях. Крепко живет, дом справный имеет, «Волгу», скот держит. Даже машину помог он нашим отправить по железной дороге, а то пришлось бы гнать своим

ходом через всю страну, а на дворе уже осень стояла. Погостили они тогда у Аршавэла в райцентре.

Как-то за столом Аршавэл и спросил: «Много у вас в селе мужиков, что строить не хуже вас умеют?» — «Да какие из нас мастера?» — отвечал Вартан.

«И то правда, есть у нас мастера и получше, чем сыновья Назара», — не преминул вставить дед Мушег. И начали братья перечислять достойных мужиков, а как дошли до Погоса Меликяна, на нем и остановились.

Аршавэл тут же и предложил: «Если есть у мужиков желание заработать, то я по весне всегда найду работу и в деньгах не обижу, коль работают не хуже вас». Да и мне, говорит, легче с земляками работать. И прибавил: «Народ, похоже, в вашем селе серьезный и умелый...» Теперь выходит, что Аршавэл там вроде как представитель от нашего села. Душевный человек.

За зиму работу подыщет, договор заключит и вызывает через Погоса людей. Два сезона работали наши селяне с Аршавэлом, очень довольные остались. Вот и нынче со дня на день ждут телеграмму, волнуются, сколько затребует людей. Желających поехать на заработки хоть отбавляй, да не всякого возьмет хромой Меликян.

— Ну, если так, и я бы не прочь поработать с Аршавэлом.

— Выбрось из головы, Самвел, холостяков в бригаду не берут, говорят, одна морока с вами.

— Несправедливое, дед, ограничение, — буркнул Самвел, выходя из-за стола.

А к вечеру в тот же день у ворот Петросовых остановился мотоцикл Меликяна. Дед Мушег суетливо вскочил со скамеечки и, опираясь на палку, поспешил к нежданному гостю.

— Самвел дома?

— Да, Погос, ты проходи во двор.

— Некогда, Мушег, — перебил каменотес старика, — телеграмма пришла.

— А... — понимающе сказал дед и засеменял во двор, срывающимся от волнения голосом выкрикивая: — Самвел! Самвел!

— Что, Самвел, не забыл в армии дедова ремесла? — встретил парня Погос.

— Он и в армии строил, — вмешался Мушег.

— Я в инженерных войсках служил, бригадиром был, — подтвердил Самвел.



— Добро, добро. Решил тебя в артель взять, уж больно мужики тебя хвалят; ловкий парень, говорят. Согласен?

— А кто поедет с вами?

— Тебе не все равно с кем... — зашипел сзади дед.

Погос, словно не слышал Мушега, начал перечислять отъезжающих.

— Нет, с ними я не поеду...

— Почему?! — Погос даже привстал с седла.

— Эти мужики за день больше десяти слов не скажут, умру я со скуки там.

— А ты, шельмец, что — ляды точить едешь? — усмехаясь, спросил Меликян.

— Нет, но я люблю весело работать, с шуткой... Вот если вы моего дружка Карэна возьмете, с большой охотой поеду.

Бригадир секунду раздумывал, поглядывая на Мушега.

— Ну ладно, по рукам. Пусть будет по-твоему. Только уговор, беру под твою ответственность, чтобы без фокусов. Не любит Аршавэл молодых.

\* \* \*

Прибыли на место поездом. Маленькая станция с ярко-зеленой крышей и небольшим палисадником, освещенная заходящим солнцем, выглядела нарядно. Воздух был напоен запахом цветущих акаций, легкий ветерок доносил из степи едва уловимый запах близкой пашни. Самвел, сошедший вслед за Погосом, заметил:

— Поздненько в эти края приходит весна.

Из трех последних вагонов выгружались строители.

Погос с тревогой поглядывал в сторону станции; вдруг, бросив ящик с инструментом, закричал:

— Аршавэл! Аршавэл! — и, прихрамывая, побежал навстречу высокому ладному мужчине.

Поезд, отстояв положенные минуты, тронулся, и Самвел на прощание помахал рукой проводнице.

Радостный и возбужденный Аршавэл обнимался и целовался с земляками, поздравлял с благополучным прибытием, тут же извинился перед Гургенем, что не смог прибыть на свадьбу дочери, — по всему чувствовалось — свой человек!

Чуть в стороне, потихоньку переговариваясь, стояли те, кто прибыл на работу впервые.

Наконец Аршавэл освободился от объятий и, обращаясь к Меликяну, сказал:

— Ну, давай, бригадир, знакомь с новенькими.

Погос неторопливо, не забыв о достоинстве каждого, представил остальных. «Много, видно, ему потребовалось людей, иначе не попасть бы мне в бригаду», — подумал Самвел, пожимая влажную ладонь Аршавэла.

Меликян, знавший характер Аршавэла, ожидал, что он тут же проявит недовольство его самоуправством.

Но Аршавэл только и сказал:

— Молодежь?.. Добро пожаловать! — и из всех новеньких обнял одного Карэна.

Обнесенная высоким, почти двухметровым, глухим забором усадьба Аршавэла находилась в десяти минутах ходьбы от станции. Широкие ворота, обитые кованым железом, были распахнуты настежь, и встречать гостей вышла вся его семья: мать, жена, две дочери и высокий, похожий на отца, сын.

Все во дворе свидетельствовало о том, что гостей ждали. В огромном казане на открытом огне готовили полубившийся землякам казахский бешбармак. Белели сколоченные в два ряда столы из чистых строганных досок, высокий штабель которых высился у стен сарая.

Пока гости умывались с дороги, осматривали хозяйство, дочери торопливо накрывали на стол. Погос тем временем вручал Аршавэлу подарки из села.

Шумное застолье затянулось допоздна. Аршавэл много пил, с аппетитом уплетая жирную баранину. Алкоголь, казалось, был бессилен против его могучего организма. Когда он заговорил, захмелевший Самвел подумал: «Крепок Аршавэл, ведром водки не свалить!»

— Друзья мои, земляки, позвольте сказать немного о деле... — Разом утихли разговоры за столом. — Начинаем мы в этом году неделей позже, но это не беда, наверстаем. Работаем, как и в прежние годы, световой день, в воскресенье — до обеда. Подряды нынче, похвалюсь, неплохие. При хорошей работе ставка каждого из вас — пятьсот, и молодым тоже. — Аршавэл взглянул в сторону ребят. — Работать будем тремя бригадами в разных колхозах. Сегодня мы с Погосом решим, кому куда ехать. На местах все готово. Завтра и начнем.



\* \* \*

Шортанды по-казахски означает — Щучье. Лет десять-пятнадцать назад река Илек была полноводной, рыбной. Берега ее, поросшие густым тальником, прятали ежевичные и земляничные поляны. Широко разливалась река в половодье, заливала луга и низины, до середины лета шумела сочная трава в зарослях, скрывая тихие озера с линиями и карасями и необычно прожорливой щукой, попадавшей в озера в весенний разлив.

Давно высохли Щучьи озера вдоль Илека, а за поселком, в котором разместилась центральная усадьба колхоза «Светлый путь», название так и осталось — Шортанды. Да и как не высохнуть озерам, пьют из них без удержу и сбрасывают отходы в узенький Илек металлургические и химические заводы Актюбинска и Алги.

Нешадно вырубается тальник на берегах, и уже по весне не спешит детвора за Илек — нет там тюльпанов, не полыхают маками облысевшие от степных ветров холмы. Жалко речку, пропадет, наверное...

Рано утром после пышной встречи, когда все уже рассаживались по машинам, Аршавэл, исправляя составленные ночью списки, сказал Погосу:

— Комсомольцев возьми к себе,— и пересадил Самвела и Карэна в крытую техничку. Гурген неохотно пропустил их в угол.

Так друзья оказались в Шортанды, и в первый же день узнали грустную историю названия поселка.

Аршавэл слов на ветер не бросал. В Шортанды строителей ждали. Еще недавно на краю села стояли три заколоченных дома — к сожалению, уходят люди в город и здесь. В заросших лебедой и чертополохом огородах пасся чужой скот, а во дворах, густо поросших сочным шпарыжом, гуляли гуси. К приезду бригады распахнули заколоченные окна, проветрили свежевыбеленные комнаты, восстановили освещение и радио. Из районной «Сельхозтехники» привезли железные кровати и свежие комплекты белья. Почистили колодец, обновили сруб, прицепили новое ведро, рядом с вмурованными котлами сложили печь-временку, определили в кухарки тетю Нюру, в общем, обо всем позаботились — работай только!

Самвел отличился в первый же день. Бригада, разделившись на группы, начала разбивку дороги и двух токов. Самвел, ходивший следом за Погосом с большой бобиной шпагата, огорчился,

что с такой разбивкой и за два дня не управиться. Улучив минуту, он исчез с тока.

В правлении колхоза пожилой казах в вельветовом пиджаке и каракулевой шапке заполнял какие-то бланки.

— Скажите, а есть у вас нивелир или теодолит? — спросил Самвел с порога.

— Ну, прежде всего, здравствуйте, молодой человек, с приходом. Мы ждали вас.— Человек вышел из-за стола.— Я — агроном, Нуржан-ага, чем могу быть полезен?

— Мне нужен нивелир или теодолит.

— Есть эти штуки у нас, только пользоваться ими не умею, практик я.

— Я сам сделаю отметки, я умею...— обрадовался Самвел.

— Дорогой инструмент, я его дома храню.

А к обеду они с Карэном кончили разбивку и токов, и дороги меж ними, даже места опор разметили. Месроп с Вартаном только и успевали колышки забивать и натягивать шпагат.

— Где ж ты этому выучился? — спрашивали за обедом.

— В армии,— отвечал повеселевший Самвел.

— Умная штука, когда дома начнем ставить, она нам здорово пригодится,— одобрил Погос.

— Я и логарифмическую линейку прихватил, любой объем вмиг могу подсчитать.

— Линейка хорошо, а я вот тебе лопату побольше отложил,— недобро пошутил Гурген.

После обеда началась настоящая работа. На всей размеченной площади предстояло на глубину лопаты снять слой дерна.

Самвел сбросил гимнастерку, осмотрел лопату и огляделся вокруг. Перед ним лежало огромное никогда не паханное поле, выбитое колхозным стадом. Через дорогу в дальнем углу своей делянки Погос в нижней рубаше, подняв голову, шевелил губами и крестился. Наверное, он желал, чтобы ток не знал неурожайных годин и лихолетья...

— За казахстанский миллиард! — вспомнив название какой-то статьи, воскликнул Самвел, ощущая, как и старый Погос, потребность сказать что-то в этот важный момент, и глубоко вонзил лопату в весеннюю землю...

— Коротковат еще майский денек,— сокрушался Погос, когда в сумерках усталая бригада возвращалась домой.

Карэн сразу, не раздеваясь, валился на кровать.



— Вставай, вставай,— тормошил друга уже успевший умыться и переодетый Самвел,— идем ужинать, на такой работе без хорошей заправки быстро ноги протянешь. Да и мужики скажут: слабаки...

Утром, едва полоска зари загоралась за Илеком, сбивая росу пыльными сапогами, шли на объект. Пока повариха Ньюра приносила на ток завтрак, обычно гречневую кашу с тушенкой и кофе, успевали сделать немало.

С утра солнце припекало по-летнему, и от влажной земли парило, хотелось пить, и взгляд все чаще задерживался на деревянной бадье, но подходить первым, выказывая слабость, Самвел не хотел, терпел. Первым всегда направлялся к бадье Гурген — пил он долго, смакуя каждый глоток. Возвращаясь на свою делянку, поравнявшись с Самвелом, однажды сказал:

— Ты поменьше о бульдозере думай, оно быстрее и легче пойдет,— и, ехидно улыбаясь, уверенный и сильный, зашагал дальше.

Самвел ничего не ответил, потому что как раз думал о бульдозере.

Основание под дорогу и площадки для токов расчистили к исходу недели и, уходя на ночь, полили. Трамбовать землю тяжелыми метровыми чурбаками из лиственницы Самвелу понравилось. Занятые работой, они и не заметили, как подъехал Аршавэл. Машина свернула с бетонки и въехала прямо на расчищенную площадку. За рулем «Волги» сидел Сурен, сын Аршавэла.

Гурген, находившийся ближе других, бросил трамбовку и услужливо открыл заднюю дверцу, помогая Аршавэлу выйти. На ходу натягивая рубаху на мокрое тело, спешил к машине Погос. С Погосом Аршавэл обнялся и, не снимая руки с плеча бригадира, увел его в сторону.

— Ну, рассказывай, как дела?

Погос неопределенно пожал плечами:

— Работаем...

— Вижу. Ты мне скажи, когда кончишь трамбовать? Я машины с гравием и щебнем хочу заказать, первый слой прямо на площадке самосвалами и отсыплем, носилками еще натаскаетесь.

— Думаю, что завтра...

— «Думаю» меня не устраивает. Пройдем, я сам посмотрю,— и они начали осмотр с дороги.

— Ну, молодцы! — просиял довольный Аршавэл, проверив работу.— Послезавтра ждите гравий.— И, зорко оглядев

работающих — а в Шортанды работало большинство новичков, — нарочито громко крикнул: — Сурен, остаемся обедать, съезди в магазин, попроси из председательского фонда «Столичной».

Сурен, лениво поигрывая ключами, нехотя завел машину.

— Пойдем, бригадир, поторопим Ньюру с обедом, по дороге и поговорим о делах. — Аршавэл взял Погоса под руку. — После обеда я заберу твоих комсомольцев с собой. Три вагона битума в брикетах достал, пока не расплавился на таком пекле и не разнюхали другие, нужно срочно вывезти. Не то будем куковать без асфальта, а так — мы тока за шесть недель и сдадим. Досрочно, как любит выражаться районное начальство.

— Возьми, Аршавэл, других, — попросил Меликян.

— Что, лентяй?

— Напротив. Самвел умеет обращаться с нивелиром и теодолитом, и я завтра собирался их отправить на разбивку фундаментов под те сборные дома, что будем ставить рядом с правлением колхоза.

— Надеюсь, ты не шутишь? — Аршавэл остановился.

— Ты думаешь, как мы день сэкономили? Идеально расположили тока и дорогу к бетонке привязали — все сделано по нивелиру!

— Прекрасно, уговорил. Только не завтра, а сегодня же. Не только разбивку, но и опалубку пусть выставят и выверят по инструменту. Сразу на все шесть домов, досок не жалеть. Потом навалитесь и все фундаменты забетонируете. Место видное, и шесть готовых фундаментов — хороший аргумент для аванса, — Аршавэл, довольный неожиданным решением, рассмеялся.

Во дворе пахло свежесвепеченным хлебом. Восемь больших караваев, прикрытых махровым полотенцем, двухдневная норма бригады, уже лежали на хозяйственном ларе.

— Давно я не ел хлеба домашней выпечки, — сказал Аршавэл. Увидев выходящую из хаты повариху, весело спросил: — Как с обедом, хозяйка?

— У нас насчет режиму строго, полчаса еще до обеда, — и показала на ходики, висевшие на дереве.

Погос нашел в доме забытые или брошенные за ненадобностью хозяевами часы и пристроил их на карагаче специально для Ньюры. Перед сном Погос подтягивал гирьки, строго запрещая другим прикасаться к ходикам.

За обедом, проходившим весело, с шутками, Аршавэл, подзадрывая земляков, пообещал:



— Будет ток в шесть недель — в подарок получите полный выходной и живого барашка, сам шашлыки готовить приеду.

— Аршавэл, оставь Сурена у нас. С моими комсомольцами не заскучает, да и делу научится, за лето денег немало заработает.

— Нет, Погос, молод он еще, да и мне нужен...

— И то верно, успеет еще на работе наломаться, пусть погуляет,— поддержал Аршавэла Гурген.

— Работа, она не ломает, работа выправляет человека,— жестко ответил Погос и, глядя на ходики, добавил: — Обед кончился. На работу пора.

— Сурен, ты выполнил мое поручение? — спросил Аршавэл, видя, что бригада собирается расходиться.

Сурен поспешил к машине, достал бумажную папку и попросил, чтобы все подошли к нему. Небрежно бросив па капот «Волги» сколотую скрепкой стопку бумаг, попросил каждого расписаться напротив своей фамилии на всех листках.

— Что это за бумаги? — поинтересовался Самвел, подписывая не то девятый, не то десятый бланк.

— Кровать брал? Простыню брал? Лопату брал?..— затараторил Сурен.— Давай расписывайся скорее, отцу некогда...

— Он у нас очень грамотный, не обижайся на него, Сурен,— вмешался нетерпеливо ожидавший своей очереди Гурген.

Самвел все-таки перевернул один из бланков.

— «Ведомость на выдачу заработной платы»,— прочел он вслух.

— Аванс собираюсь при случае вырвать, не бегать же мне за твоей подписью,— перебил Самвела неожиданно оказавшийся рядом с сыном Аршавэл.

\* \* \*

В воскресенье «на домах» побывали многие колхозники. Одни молча пробовали крепость опалубки, другие на глазок выверяли, ровно ли выставлена. Давали советы, спрашивали, ругали, хвалили. После обеда, в перекур, к ребятам, сидевшим в окружении мальчишек, подошла молодая пара, и парень, волнуясь, спросил:

— Неужели все шесть домов поставите в этом году?

— Обязательно,— ответил Самвел.

— Поймите, для нас это очень важно. Мы — молодые специалисты, и нам обещали здесь квартиру,— робко вмешалась женщина.

— Поздравляем, вот, выбирайте любую. Фундаменты уже есть, и вообще, квартиры будут удобные, просторные.

— А вы не бросите работу, не докончив?..— парень замялся.— Шабашники, говорят, народ ненадежный...

— Мы не шабашники,— ответил, распаяясь, Самвел,— вы посмотрите, как мы работаем...

— Да, работаете вы здорово, я за вами уже несколько дней наблюдаю... Вы не возражаете, если я вам немного подсоблю, вложу свой камень в фундамент нашего будущего дома? — неожиданно предложил повеселевший парень и, не дожидаясь ответа, снял пиджак.

В сумерках, когда друзья собирались домой, у стройки остановились две девушки и, о чем-то пошептавшись, спросили:

— А почему вы в клуб не приходите?

— За день так натанцуемся, особенно в такие дни, как сегодня, что к вечеру об одном мечтаем — дойти бы скорее до кровати,— объяснил Самвел, но вдруг весело добавил: — Мы еще придем, девочки...

В Шортанды на токах Аршавэл бывал часто, но, радуясь размаху работ, уезжал с нарастающим в душе беспокойством. Колхоз никак не мог достать опоры и перекрытия — стройка была внеплановая. Бежевая «Волга» Аршавэла рыскала по области в поисках железобетона, но старые связи не помогали. У Аршавэла, правда, был резервный план, потому он и торопил Меликяна.

В конце июня Аршавэл выдал каждому крупный аванс. Друзья купили сапоги и рабочую одежду, а оставшиеся деньги, как и все земляки, отправили домой. Таких денег им до сих пор держать в руках не приходилось. Вечером в тот же день решили сходить в клуб.

За ужином Гурген насмешливо посмотрел на выутюженные брюки Карэна и спросил:

— Куда это вы вырядились?

— Хотим в кино сходить,— ответил Карэн.

— Денежки завелись, повеселиться захотелось?

— Гурген, не приставай к ребятам,— вмешался Вартан.

— Что же, мне и слова им сказать нельзя?! — вспыхнул Гурген.—

Вы не первый год приезжаете и знаете — Аршавэл не любит, когда с местными общаются. Они и так, слава Богу, десять дней на домах трепались с каждым прохожим.

— Пусть идут. Самвел только из армии вернулся, считай, и недели не отгулял,— перебил Меликян.



— Ну и зануда этот Гурген, что он к нам пристаёт? — удивился Самвел.

— Говорят, он метит выдать Седу, младшую дочь, за Сурена. Вот и пытается угодить Аршавэлу. Да и Погоса лишит бригадирства он бы не прочь...

— Этого ему не видать, до Меликяна ему далеко...

В тесном и душном, несмотря на настежь распахнутые окна, зале клуба посмотрели фильм. После сеанса молодежь не расходилась. Киномеханик вынес из клуба проигрыватель, во дворе начались танцы. Обычно в воскресенье на центральной усадьбе собиралась молодежь и из других отделений колхоза, были и студенты, приехавшие на каникулы. Самвел заметил и тех девушек, что когда-то приглашали их в клуб.

Поздно вечером, когда уже собрались уходить, к ребятам подошел высокий светловолосый парень.

— Мне сказали, что вы строители, — начал он. — Нельзя ли мне на месяц к вам устроиться? Каникулы у меня, да и заработать студенту не помешает.

— Работы у нас много, но этот вопрос не мы решаем. Вот придет Аршавэл, я узнаю насчет вас, — пообещал Самвел.

Когда они возвращались домой, неожиданно загремело, загрохотало, заблестали молнии, и впервые за лето хлынул дождь. Пока добежали до двора, промокли насквозь.

Во дворе, босой, в нижней рубаше, стоял под дождем Погос и улыбался.

— Дождь... дождь... как по заказу...

Видя недоумение на лицах парней, объяснил:

— Эх вы, строители! Завтра начинаем крыть тока асфальтом, а я ломал голову, как полить, очистить от пыли готовое основание. Лучше такого проливного дождя ни одна поливомойка не сработает.

— Наверное, еще придется трамбовать? — спросил Карэн.

— Обязательно. Но теперь я буду спокоен за работу. И через десять лет краснеть не придется.

\* \* \*

Работы с покрытием двигались медленно, хотя Гурген, главный в бригаде специалист по асфальту, разве что не ночевал у котлов. Прокоптился, осунулся, зарос щетиной, но никого не подпускал к двум дымящимся котлам.

«Шеф-повар» — прозвал Гургена агроном Нуржан-ага, увидев, как тот колдует над котлами.

Аршавэл, впервые имевший дело с асфальтированием, приезжал каждый день и сразу же спешил к котлам. Он упрекал Гургена, что тот слишком медленно готовит массу. Гурген вежливо, но с достоинством возражал.

— Аршавэл, дорогой, я на асфальте зубы съел, половину бакинских улиц покрыл, когда вы еще за девочками бегали. И не бульвар, дорогой, мостим — хлебу место готовим...

— Что вы, помешались на своем мастерстве? — шутил со строителями Аршавэл, но бригадиру раздраженно и зло говорил: — Погос, до срока осталось восемь дней...

Аршавэл в сердцах хлопал дверцей машины, а Сурен рвал ее с укатанного щебня — визжали шины. И так каждый день.

Исчезал он так же неожиданно, как и появлялся, и Самвел никак не мог выбрать момент обратиться к нему с просьбой студента.

Погос понимал нетерпение и обеспокоенность Аршавэла: ждали областную комиссию по проверке готовности к хлебоуборке, и представлялся случай выпросить у высокого начальства перекрытия для почти готовых токов.

Накануне приезда комиссии Аршавэл появился на объекте с председателем колхоза и бухгалтером и долго водил их по току, что-то объясняя.

За обедом он обрадовал земляков:

— Хотя с токами затянули на неделю, обещанный барашек будет к вечеру. Молодцы! По-русски говорят: «Дорога ложка к обеду» — вашими стараниями она у нас в руках ко времени. К концу дня объект закончить подчистую, чтобы комиссия смогла достойно оценить работу. Завтра с утра, как всегда, всем выйти на дома. Самвелу с Карэном на разбивку кормоцеха, только сейчас с начальством об этом решили. На кормоцехе работы и на следующий год хватит — машина! — За столом пронесся одобрителный гул.— Шашлыки, как обещал, готовить буду сам и потому остаюсь с ночевкой у вас, не возражаете?

С обеда бригада ушла в приподнятом настроении, с шутками. Даже Гурген одобрително похлопал Самвела по спине и сказал:

— Смотри, сгодился малец, я-то думал, по танцам избегаешься...

На шашлыки пришли и бухгалтер с председателем, до глубокой ночи засиделись они с Аршавэлом за отдельным столом.



Комиссия приехала на центральную усадьбу колхоза «Светлый путь» к обеду, когда Аршавэл уже отчаялся дождаться. Он покинул бы Шортанды, но где-то задерживался Сурен с машиной. Первым почетных гостей заметил Погос, на всякий случай Аршавэл держал бригадира при себе. Машины свернули с бетонки и поехали по свежему асфальту. Но, въезжая на ток, развернувшись на новой дороге, встали.

Аршавэл поправил маловатую по его мощной фигуре и непривычную курточку спецодежды и поспешил к зеленому вездеходу. Из него торопливо выбрался председатель и, озираясь по сторонам, поискал глазами Аршавэла.

Вышли и остальные, оставляя тут же у машин на свежем черном асфальте пыльные следы, — видно, немало походили с утра по степи. Погос, в обгоревшей при укладке асфальта спецовке, растерялся от многолюдья и мгновенно возникшей суеты, волнуясь, первым делом смахнул с головы широкую мятую шляпу, спасавшую от палящего солнца, и, не зная, куда девать ее, захромал к знакомому колхозному газику. Невысокая полная женщина, единственная среди приехавших, первой сделала шаг, образовавший едва уловимую дистанцию, и комиссия двинулась на ток.

Два огромных черных, как сажа, поля и широкая двухрядная дорога меж ними, умело обложенная по краям бордюром из светлого камня, среди ровной и выжженной степи казались декоративным панно. Женщина, шагавшая впереди, не могла остановиться, пока не дошла до края тока и не потрогала руками работу сыновей старого Назара. Видимо, она понимала толк в строительных делах и, повернувшись к членам комиссии, не обращая ни к кому конкретно, спросила:

— Кто строил?

Шепот, словно шелест в саду, пронесся в рядах, но тут председатель вытолкнул вперед Аршавэла. Женщина мельком взглянула на него, и с лица ее исчезла набежавшая улыбка. Пройдя мимо Аршавэла и не удостоив его словом, переспросила:

— Я спрашиваю, кто строил?

— Вот он строил, Айсулу Ахметовна, — колхозный агроном Нуржан-ага показывал на стоявшего в задних рядах Погоса, и все дружно обернулись к нему.

Секретарь обкома сделала несколько быстрых шагов.

— Спасибо, отец. С душой сделано, — и она пожала Меликяну руку.

Бригадир засмутился от неожиданного внимания и, показывая на Аршавэла, путая русские и армянские слова, заговорил:

— Вот он начальник, Аршавэл главный... Мы, что же, мы просто строим...

— Знаем мы твоего главного, известная в области птица... — перебила его женщина и, взяв Погоса под руку, пошла с ним по току.

Увидев в асфальте глубокие бетонные стаканы под опоры, по краям выложенные таким же камнем, что и бордюры, секретарь обкома спросила:

— Товарищ Меликян, а сколько нужно времени, чтобы тока перекрыть?

Погос оглянулся вокруг, взглядом призывая Аршавэла на помощь, и, не найдя его, ответил:

— Мне, уважаемая, десяти дней достаточно, да вот беда, опор-то и перекрытий нет...

— Как так — нет? — спросила она у председателя колхоза.

— Все пороги обили, говорят — неплановая стройка, и в обкоме у вас были, — председатель показал на одного из членов комиссии, — обещали при случае выделить...

— Приезжайте завтра, найдем вам железобетон — пообещала Айсулу Ахметовна и, взглянув на часы, спросила: — Успеем, товарищи, еще в «Победу» заскочить?

Члены комиссии потянулись к машинам.

— Спасибо вам, добрый след вы оставили на казахской земле, — сказала секретарь обкома, дружески прощаясь с Погосом.

Машины, выбравшись на бетонку, сразу прибавили скорость, и, пока они не исчезли за холмом, Меликян так и стоял, держа шляпу в руке.

\* \* \*

Через несколько дней Аршавэл получил наряды на железобетон. На домостроительном комбинате опоры и перекрытия дать-то дали, но с условием — вывезти должны были сами. Трейлеры-панелевозы Аршавэл нашел быстро: в автохозяйствах он был своим человеком. Задерживал самый что ни на есть пустяк. Комбинат требовал, чтобы при самовывозе изделий стропальщики получателя прошли техминимум и сдали экзамен на строповку грузов в домостроительном комбинате.



Как ни пытался Аршавэл заполучить комбинатовских такелажников, ответ был один: «Время отпускное, и на плановую работу людей не хватает, извините...»

Возмущаясь новыми порядками — Аршавэл знал и другие, фартовые, времена на комбинате, когда он эти несчастные опоры вывозил в один заход,— он вернулся в Шортанды.

Как ни хотелось ему снимать ребят с кормоцеха, но иного выхода не было. Остальные и по-русски говорили плохо, и техминимум могли не сдать, и жить три дня в незнакомом городе наотрез отказались.

Аршавэл отвез ребят в город на своей машине. По дороге, пользуясь хорошим настроением Аршавэла, Самвел решил попросить:

— Аршавэл Арташесович, парень один к нам на работу хочет. Студент, каникулы у него, решил немного заработать...

Аршавэл, сидевший впереди, рядом с Сурепом, словно и не слышал.

— Я спрашивал дядю Погоса, он не возражает, говорит, работы остается много, а лето кончается...— продолжал Самвел.

Аршавэл резко обернулся:

— Самвел, ты работаешь — и работай, остальное, запомни, не твоего ума дело... Работы остается... лето кончается...— все решаю я! Такой уговор давно существует между мной и твоими земляками, и я не люблю, когда суются в мои дела. Заруби на носу, если хочешь здесь работать.

Каждый раз, когда панелевоз возвращался из Шортанды, Самвел первым делом интересовался у шофера, появился ли автокран на току.

— Нет, сгружают эти махины вагами и канатами, да так ловко, что иной и с краном быстрее не управится. А главное, бережно, и крошки бетона не вывалится.

Самвел знал, как давалась землякам эта внешняя легкость, потому и спрашивал постоянно о кране. Пока поджидали трейлеры, друзья осматривали каждую опору, каждое перекрытие, не хотелось из-за чужого брака портить свою работу. С последними опорами и вернулись на панелевозе, успели поработать вагой и пожечь руки джутовыми канатами.

Опоры и перекрытия, разложенные по всему току на деревянных прокладках, лежали уже три дня, а Меликян оглядывался на каждый звук машины, с волнением ожидая Аршавэла. Тот запретил монтировать вручную, обещал прислать мощный автокран.

Дни шли: ни крана, ни Аршавэла.

Для Меликяна это были непростые дни: в десять дней обещано секретарю обкома перекрыть тока, отчет дням он начал, как только Самвел с Карэном доставили последние опоры.

Понимал старый Погос тревогу Айсулу Ахметовны — уборка на носу. Хлеб уродился на славу, осталось собрать и сберечь. Сложное дело хлебоуборка — капризна осень в казахских степях: задождит, засвищут ветры, гоняя низкие тучи из края в край, и сгорит мокрый хлеб на токах... Крытые-то в области по пальцам пересчитать можно, а вывозить зерно на элеваторы прямо от комбайнов машины не успевают, урожайная, щедрая земля... А новые тока Шортанды смогут упрятать от ненастья хлеб не одного колхоза.

Погос не стал дожидаться крана и самовольно вывел людей ставить опоры. Первые монтировались долго и тяжело. К обеду забетонировали и закрепили распорками только четыре, но Погос повеселел, дальше должно пойти быстрее, приноровились. Пока выставят опоры, надеялся Меликян, Аршавэл пришлет автокран, а без него не обойтись, слишком большой пролет между опорами, не одолеть вручную.

На следующий день после обеда приехал Аршавэл.

— Что надрывается, кран идет следом,— едва открыв дверцу машины, закричал он. Но увидев, как много сделано, повеселел: — А перекрытия вам без этого богатыря не одолеть,— показал он на съезжавший с бетонки автокран.

Отведя в сторону Погоса, Аршавэл похвалил бригадира:

— Ты как чувствовал, что с краном у меня неувязка, молодец, что догадался. С утра ставьте опоры вручную, кран сможет приезжать только после обеда, на несколько часов, тогда и перекрывайте. Сварочный аппарат я привез, скажи Самвелу, пусть посмотрит. Вот ведь — молодой парень, а уже пятый разряд имеет, дипломированный сварщик, а мой Сурен от стройки нос воротит...— неожиданно вырвалось у Аршавэла.

— Я же тебе говорил, отдай его к нам в бригаду,— перебил Меликян.

— А...— Аршавэл махнул рукой и, увидев Самвела, повел его к сварочному аппарату. Знал Аршавэл, как важно тщательно приварить мощные перекрытия, всякое бывало в его бурной жизненной практике.

С краном дело пошло на лад, и Погос повеселел, крыша, словно послеобеденная тень, росла по часам; но случилось непредвиденное.



К вечеру, когда заканчивали перекрывать левый ток, на объект ворвались два запыленных самосвала.

— Так вот где ты, оказывается, ремонтируешься, Лагунов! — обратился к крановщику прораб. — А ну, разворачивайся, и чтоб духу твоего здесь больше не было! Отработаешь свои послеобеденные ремонты, а там посмотрим! — И, обратившись к Погосу, сказал: — Передай, отец, Аршавэлу, в другой раз — морду ему набью за такие дела...

Машины развернулись вслед за краном.

«Что-то не клеится дело у Аршавэла», — подумал Меликян и позвал Самвела:

— Самвел, дело есть. Вот что, дорогой, иди переоденься — и на бетонку, поедешь домой к Аршавэлу. Расскажешь, что видел... Пусть с утра пойдет в райком, там помогут. Кран нужен только на два дня...

Аршавэл, услышав, что произошло, хотел тут же отправить Самвела назад, в Шортанды, даже послал Сурена в гараж выводить машину, но в последний момент передумал. «А вдруг и в «Межколхозстрое» заартачатся, без инструктажа стропальщику не дадут кран?» — мелькнула у него мысль.

Сельские райкомы начинают работу рано, а в жатву тем более. Не успел Самвел прочитать во дворе обязательства хлеборобов, как появился, складывая на ходу какую-то бумажку, сияющий Аршавэл.

— Дуй, Сурен, в «Межколхозстрой», пока начальник по объектам не уехал, потом и не поймаем его, неугомонный человек...

Несмотря на ранний час, во дворе управления стоял знакомый вездеход начальника, и Аршавэл облегченно вздохнул. Двери пустых кабинетов были открыты настежь, к приходу сотрудников уборщица протирала полы, проветривала комнаты. Дверь в приемную тоже была распахнута, и вымытые полы еще хранили утреннюю прохладу.

— Здравствуй, хозяин, — громко приветствовал Аршавэл молодого, начинающего полнеть мужчину.

Самвел задержался в приемной.

— С утра к тебе по делу, — разворачивая бумажку, подошел к столу Аршавэл.

— Знаю, знаю твое дело. Уже звонили...

— Хорошо, что позвонили, знают — упрямый ты человек, — Аршавэл сел в предложенное кресло.

— Вот если бы ты вчера попался на глаза моему старшему про-рабу, наверное, сегодня не пришел бы за краном. Ох, и зол он на тебя! Откровенно говоря, давно плачет по тебе тюрьма, Аршавэл: весной чужой битум переадресовал, краны с чужих объектов уводишь, железобетон, предназначенный другим, получил, сегодня кран тебе отдай, а мне он разве не нужен? Я же тебе не раз говорил, приходи со своими людьми, возьми любой подряд, объект — на выбор, тогда и требуй: и материалы, и механизмы, никто на тебя не обидится, а уважать будут. Не знаю, сколько ты платишь своим, но думаю, в «Межколхозстрое» при такой выработке они получили бы не меньше и по закону. А так, договора ты на себя заключаешь, случись что-нибудь, прав-то у них никаких... С огнем играешь, Аршавэл...

— Завидует начальник, что у меня на объектах дела лучше идут, не нравится ему,— словно оправдываясь перед Самвелом, говорил Аршавэл, когда они вышли из управления.

Самвел ничего не сказал в ответ.

\* \* \*

По утрам заметно похолодало, но днем пекло по-прежнему. Опустели пляжи вдоль Илека, не успевала прогреться за день река, лето клонилося к закату.

Погос был доволен сезоном. Тока сдали, в срок уложились. Не зря волновался Меликян, не забыла Айсулу Ахметовна его обещание. На следующий день после сдачи объекта госкомиссии получили телеграмму: секретарь обкома поздравила строителей, а Погоса отметила лично. Сейчас бригада работает на домах, материалов хватает, вот только стекла нет, но Аршавэл и здесь нашел выход: выменяет на известь, что гасится в старых силосных ямах у кормоцеха. Как быть недовольным? Жилье нормальное, кухарка попалась умелая и совестливая. И на следующий год работу предложили на обжитом и привычном месте. Обиделся весной Погос на Аршавэла, что всех новеньких ему в Шортанды определил. Но не зря говорят: не знаешь — где найдешь, где потеряешь. Хорошие ребята оказались, а Самвелу так и вовсе цены нет, за что ни возьмется — любое дело горит в руках. Вчера закончили они разбивку на кормоцехе — без теодолита еще неделю пришлось бы сгонять углы, а там их не счесть, большой и сложный объект. Теперь только выставить опалубку по инструменту, а там навалится бригада и забетонирует фундаменты, будет председателю основание включить кормоцех в план строительства



следующего года. С такими приятными мыслями строгал Меликян доски для новых колхозных домов.

— Привет строителям! — У опалубки, поддерживая велосипед, стоял знакомый студент.— Хочу попрощаться, завтра уезжаю.

Самвел отложил в сторону топор и протянул парню руку.

— Карэн, идем, перекурим,— пригласил Самвел товарища.

Студент предложил ребятам сигареты.

— Ты уж извини, ничего не вышло с твоей просьбой...

— Да что уж там! За меня и мать хлопотала. Отказал Аршавэл, сказал, бригада против.

— Странно... Как раз Погос не возражал, да и нам разве жалко, видишь, сколько дел, с нами бы и работал...

— Аршавэл говорит, что армяне никогда чужих не берут...

— При чем здесь армяне, он же все сам решает,— вмешался в разговор Карэн.

— А может, и прав Аршавэл, что не взял меня, заботится, чтобы вы заработали как следует, лето ведь не резиновое...

— За пятнадцатичасовой рабочий день, да без выходных, деньги, что нам платят, не ахти какие, так что не завидуй, студент,— Самвел весело хлопнул парня по плечу.

— Ну и аппетит у тебя, Самвел, и тысяча для тебя не ахти какие деньги.

Самвел с Карэном переглянулись и рассмеялись.

— Это завистники тебе нашептали, пятьсот наша ставка, студент...

Парень на секунду растерялся.

— Не нашептали. У меня мать в бухгалтерии работает. Она говорила, наверное, обманывает Аршавэл земляков в зарплате, потому и не берет тебя в бригаду, выплывет все сразу. А меньше тысячи вам и не начисляли, спросите у нее. И Сурен, между прочим, числится в вашей бригаде.

— Ах, подлец! — Самвел вскочил на ноги.

— Года четыре назад, когда Аршавэл еще с молдаванами работал, случилась у него похожая история. Говорят, с месяц провалялся тогда Аршавэл в больнице. Да, видно, урок впрок не пошел... — продолжал студент, но, видя, что ребятам уже не до него, стал прощаться.— Ну и задал я вам задачу, сам не рад...

— Ах, подлец, ну и подлец! — Самвел не находил себе места. Не будь кормоцех в стороне от поселка, он уже побежал бы в бригаду.

— Да не вертись, как будто тебя змея ужалила, сядь.— Карэн силой усадил товарища.— Что ты собираешься делать?

— Надо поехать в район, к прокурору, так, мол, и так, разберитесь.

Карэн долго молчал, обдумывая сказанное.

— Конечно, разберутся, не откажут. Только когда начнут выяснять, работать нам некогда будет, затаскают по судам. А нас бригада просила об этом? Мужики почти все на пятый да на шестой десяток шагнули, и придется им на старости лет по судам бегать: доказывать, что честен, доверял земляку, подписывал, не глядя, что давали. Для суда, дорогой, это не аргумент... К тому же по-разному к нам здесь относятся, вот обрадуются наши недруги: скажут, шабашники деньги не поделили, пересудились.

— Да меня меньше всего деньги волнуют! — возмутился Самвел.

— Пойди докажи это некоторым, они считают, что мы, шабашники, за деньги готовы друг другу горло перервать... А дома, в селе, что скажут? Неприятная история. Нет, Самвел, тут нужно крепко подумать, прежде чем шум поднимать...

Друзья принялись за опалубку, но работа не клеилась. Припрятав инструмент, потихоньку, через лесополосу, направились к поселку. Шли молча, обдумывая положение.

— Выход один, Самвел, нам нужно сначала переговорить с Аршавэлом, вдруг все это вранье?

— Пожалуй, ты прав, Каро, подождем нашего благодетеля.

\* \* \*

Прошла неделя, а Аршавэл, как назло, в Шортанды не приезжал. Самвел похудел, осунулся. Даже Погос за обедом как-то сказал:

— Самвел, что с тобой, таешь прямо на глазах, по дому соскучился?

— Нет, влюбился, наверное,— вмешался Гурген,— я видел, как он одной черноглазой казашке нашу известь ведрами дарил.

За столом оживились.

— Дядя Погос, а когда приедет Аршавэл? — спросил Самвел.

— Если ты насчет аванса, не горюй: я тебе ее без калыма засвтаю,— продолжал шутить Гурген.

— Что здесь делать Аршавэлу, слава Богу, у нас все идет хорошо. Говорят, у Вазгена, в соседнем колхозе, дела неважные, там Аршавэл.



Самвел порывался съездить к Аршавэлу домой, но Карэн удерживал, говорил, зачем спешить, сам приедет, никуда не денется наш начальник.

Аршавэл появился в Шортанды среди недели, прямо с бетонки и завернул на кормоцех. Самвел распиливал тонкие жерди на распорки и не слышал, как подъехала машина.

— Привет, Самвел. Ты что, один сегодня на объекте? — окликнул его издали Аршавэл.

— Один. Карэна до обеда попросили пойти на дома. Он у нас специалист по жести, водосточные желоба устанавливает.

— У тебя, я вижу, все в порядке, поеду к ним. Ну, бывай, за обедом встретимся, — и Аршавэл направился к машине.

— Аршавэл Арташесович, у меня к вам серьезный разговор, — окликнул его Самвел, почувствовав, как от волнения вмиг вспотели ладони.

Начальник остановился.

— Только выкладывай поскорее, трепаться мне некогда.

Заинтересовавшись, подошел ближе и Сурен.

— Вы почему отказали студенту от имени бригады?

— Ах, вон ты о чем. Опять за старое? Но я сегодня добрый. — Аршавэл уселся на шаткий верстак.

— У вас фальшивая доброта.

— Может, объяснишь, какая муха тебя укусила? — продолжал отшучиваться Аршавэл.

— Объясню. То, что вы нас обсчитываете, понятно: обман, жадность — ваша сущность. Подлость в том, что вы выставляете нас, своих земляков, в таком же свете. От нашего имени вы требуете за работу непомерную оплату, о которой мы и не предполагаем даже, нашим именем вы шантажируете заказчика, наш труд, старание объясняете одним — погоней за длинным рублем. Вы воспользовались трудолюбием, мастерством земляков, их доверием и преступно злоупотребили этим...

— Ну, продолжай, продолжай, — побледневший Аршавэл соскочил с верстака.

— Я сказал, что вы поступаете преступно и подло. И ваш двухметровый сын, который, по вашим словам, еще молод работать, хапает деньги из колхозной кассы, да еще за чужой счет, не стесняется. Уверен, что он получает и у Вазгена в бригаде, и у Ашота тоже...

Сурен, до этого безучастно слушавший, побледнел, отступил на несколько шагов, словно собрался бежать, но вдруг схватил с верстака нераспиленную жердину.

— Ты, босьяк, деревня неблагодарная! Угрожать?! Денег из нашего дела захотел?.. Не боишься, вдруг несчастный случай произойдет?! — и Сурен ткнул жердью прямо в грудь Самвелу.

Тот едва успел отскочить.

Аршавэл на секунду оцепенел, затем торопливо схватил распорку подлиннее, и они вдвоем стали теснить парня к залитой до краев силосной яме, где пузырилась, шипела гасившаяся известь. Самвел, отступая, пытался перехватить жердь Сурена, который наступал стремительнее Аршавэла.

«Утопят, сволочи», — подумал Самвел, но страха не ощутил — ничего, кроме злости, не чувствовал он сейчас.

Вдруг за спиной наседавших раздался треск и звон стекла, а вслед за тем властный окрик:

— Сурен!!

У машины возле разбитого лобового стекла с топором в руках стоял бледный Карэн.

Аршавэл грязно выругался и отбросил жердину в сторону. Сурен последовал его примеру. Карэн приближался, не выпуская из рук топора.

— Ну, вот, Каро, мы и поговорили, — тяжело дыша, улыбнулся Самвел.

Карэн одним ударом глубоко всадил топор в столб у ямы и подошел к другу.

— Пошли, Самвел, нам здесь больше делать нечего, — и, обняв еще подрагивавшего от волнения товарища, он повел его от кормоцеа.

Когда ребята отошли на изрядное расстояние, Аршавэл сорвался с места и побежал вслед.

— Стойте! Стойте!

Друзья остановились.

— Вот что, ребята... У меня предложение: вас я рассчитаю как следует, но при условии: придумайте повод для срочного отъезда, получите по пять тысяч рублей и убирайтесь завтра же. Не мутите мне артель и больше никогда сюда не приезжайте. Думаю, молчание стоит таких денег...

Самвел взглянул на Карэна.



— Каро, он так ничего и не понял. Аршавэл, не все продается за деньги... Мы уедем сегодня, пользуйтесь великодушием тех, кого ваш сын называет «неблагодарной деревней». А что касается оплаты, рассчитаетесь «как следует» со всеми: с бригадой Вазгена и с бригадой Ашота. На будущее — оставьте наше село в покое, не марайте доброе имя людей. Об этом как раз говорил вам начальник «Межколхозстроя». Это наши условия, и не выполнять их не советуем. Пошли, Карэн.

«Волга» Аршавэла уже стояла у колодца. Погос с Нюрой помогали Сурену выбирать остатки лобового стекла.

Друзья подошли к бригадиру.

— Мы уезжаем, дядя Погос...

Погос, занятый машиной, не обратил внимания на сумки в руках товарищей, и Самвел настойчиво повторил:

— Мы уезжаем, дядя Погос...

Погос от неожиданного сообщения уронил стекло обратно в машину.

— Что случилось, Самвел, не дури,— он растерянно переводил взгляд с молчавшего Аршавэла на Самвела и обратно.— Какой-то сумасшедший день сегодня, Аршавэл стекло разбил, вы надумали уезжать... Что случилось, Карэн?

— Дядя Погос, пусть Аршавэл сам расскажет для своего же блага, что произошло и почему машина без стекла...

Друзья направились к бетонке. Погос кинулся им вслед.

— Самвел, Карэн, вы же знаете, что у Аршавэла закон — кто уехал раньше срока, ничего не получит...

— Не беспокойтесь, дядя Погос, на этот раз у него особый случай — всех рассчитает как следует.

\* \* \*

Почтовый, прорезая зыбкую летнюю ночь мощными прожекторами тепловоза, рвался вперед. На пути стали чаще встречаться речушки, на мостах стыки грохотали сильнее, распугивая сонную рыбу.

Из соседнего купе по-прежнему раздавался чей-то богатырский храп...

Хотя позади был трудный день, и бессонная ночь подходила к концу, Самвел не чувствовал усталости...

Возвращая в памяти дни в Шортанды, он все чаще вспоминал разговор, услышанный в «Межколхозстрое». «Вот куда нужно было зайти перед отъездом»,— подумал Самвел.

В коридоре, продуваемом утренним ветерком, глядя на бледную полоску зари нарождающегося дня, Самвел неожиданно ощутил в себе молодые силы, способность принять на плечи заботы и тревоги земляков. От ощущения этой силы, уверенности он едва не задохнулся: «Знаю! Знаю!»

Он знал, что следующей весной сам привезет бригады Погоса, Вазгена, Ашота и всех тех, кто захочет строить в казахских степях. Знал, как обрадуется этим бригадам неугомонный начальник «Межколхозстроя», чью фамилию «А. Ф. Пайзюк» он успел прочитывать на распахнутой настезь двери кабинета.

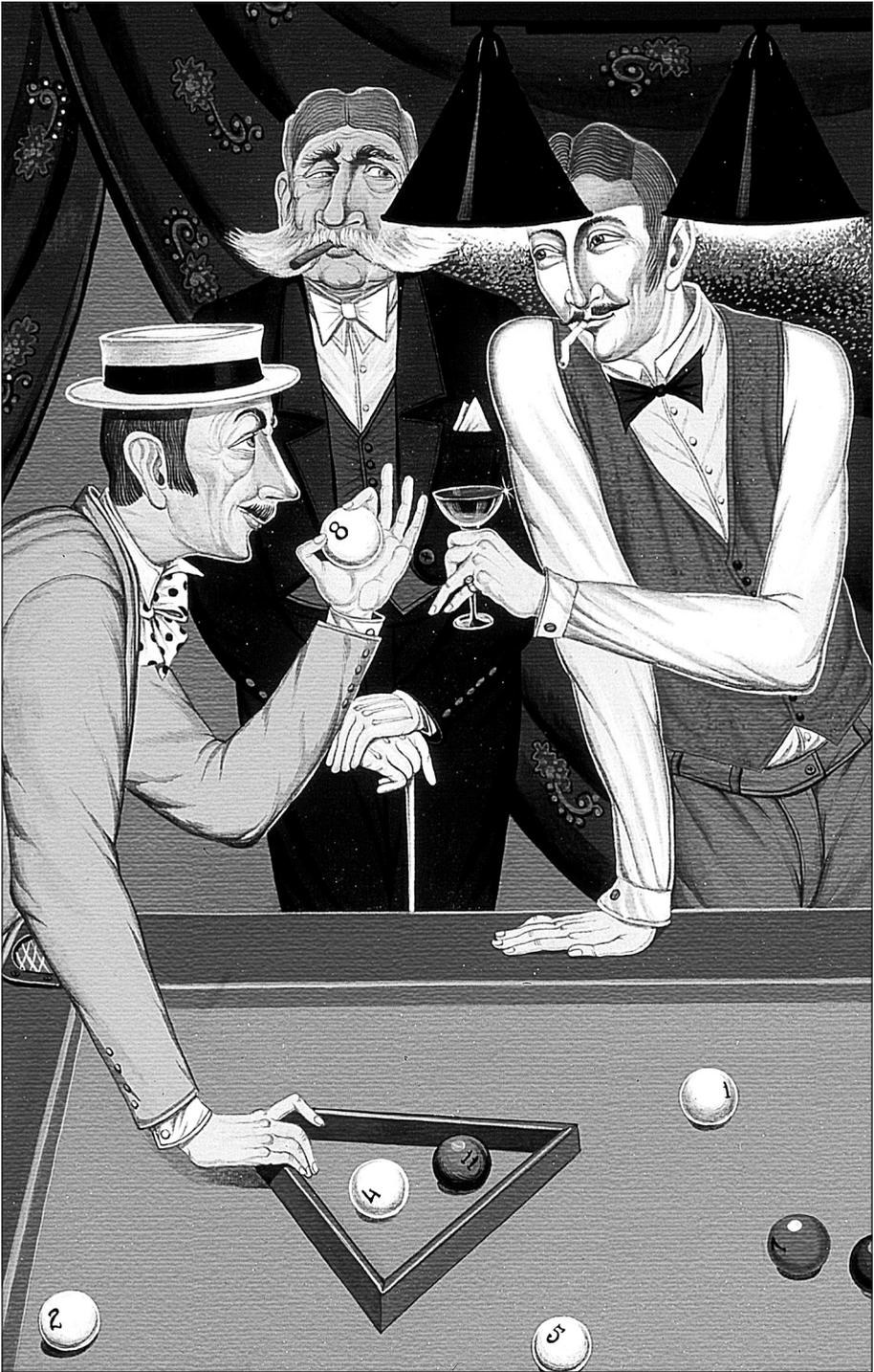
— Пора! — вслух сказал Самвел и пошел будить товарища.

*Малеевка,  
1976*



# Рассказы и интервью





# Македонский

Рассказ

**К**оротенькая телеграмма извещала о том, что главный специалист по антикоррозийным работам Искандер Амирович Акчурин срочно вызывается на консультацию к генеральному подрядчику. Такие неожиданные сообщения после сдачи проекта заказчику восторга в институте не вызывали, особенно у бухгалтерии, но в телеграмме оговаривалось, что все расходы, связанные с поездкой, берет на себя химкомбинат.

Телеграмма не встревожила главного специалиста, хотя проект реконструкции химкомбината был, пожалуй, самым крупным заказом института за последние годы.

За двадцать лет своего существования институт снискал себе добрую славу, потому что как-то сразу, без раскочки, сложился коллектив, и в творческой атмосфере, утвердившейся в лабораториях и мастерских, быстро выросла плеяда не только кандидатов, но и докторов наук. Главные специалисты знали свое дело, и уровень проектных и изыскательских работ был высок. Поэтому и старались разместить у них заказы даже дальние подрядчики. Но Акчурин не волновался не только потому, что верил: в десятках папок пояснительных записок, технологических карт, сотнях чертежей не может быть серьезных ошибок, но и оттого, что знал — такой вызов последует.

В мае прошлого года в конце рабочего дня неожиданно широко распахнулась дверь его кабинета и на пороге появился улыбающийся незнакомец. Был он высок, элегантен, тонкий кожаный пиджак облегал спортивную фигуру.



Если бы не улыбка на лице, Акчурин принял бы его за архитектора. Но архитекторы с выправкой теннисистов к Акчурину с улыбкой не приходили, они воевали с ним за каждый метр городской земли.

— Что, зазнался, однокурсников не узнаешь?

И, только услышав бодрый, энергичный голос, Акчурин признал Алика Пруха, легендарного капитана институтской команды баскетболистов, соседа по комнате в общежитии.

В те давние студенческие годы Акчурин не был с Аликом наколотке. Прух был знаменитостью, гордостью института, первым денди в их небольшом областном городке, но кто же не обрадуется товарищу студенческих лет, тем более такому знаменитому?

Уже через полчаса Искандер Амирович настойчиво приглашал гостя домой, на что Прух резонно возражал, что жены не любят неожиданных визитов даже родных братьев, не то что старых приятелей, и, в свою очередь, настаивал на ресторане при гостинице, где он снял номер.

В ресторане, несмотря на многолюдье, для них быстро нашелся столик у окна. «Прух есть Прух», — отметил Акчурин, обаяние бывшего однокурсника срабатывало безотказно.

Прух остановился в двухэтажной каменной гостинице, оставшейся от прежних времен. На высоких лепных потолках ресторанный зал летали обшарпанные, с истершейся позолотой крыльев, амуры, а в распахнутые окна прямо к столу свисала сирень.

Там, в далеком провинциальном городке, где они когда-то учились, царицей цветов тоже была сирень, и каждый взгляд в окно вызывал восторженное: «А помнишь?»

Оказалось, что Олег Маркович работает начальником отдела капитального строительства крупного химкомбината, в этих краях оказался по делам.

Между воспоминаниями и частыми «а помнишь?» Прух выложил и дело.

Приехал он в проектный институт разместить заказ на реконструкцию комбината. О том, что главным специалистом по антикоррозийной защите в институте работает однокурсник — знал, не раз встречал утвержденные им проекты. Более того, рассчитывал на помощь Акчурина.

Две недели каждый день встречались они и дома, и на работе, и Искандер Амирович все больше и больше подпадал под обаяние Олега Марковича.

В студенческие годы Прух учился неважно, и Акчурин, вызвавшись помочь товарищу, где-то втайне сомневался, сможет ли тот достойно вести переговоры с руководством института. Волнения оказались напрасными. Олег Маркович был вполне компетентен и даже слегка бравировал своим знанием производства, к тому же был вооружен экономическими показателями комбината, цифровыми выкладками, сулящими выгоду от реконструкции.

Редкий заказчик приезжал с такой четкой программой.

Даже о том, что они сокурсники, Прух просил до поры до времени никому не говорить. Впрочем, приводить этот аргумент в поддержку заказчика Акчурина не пришлось. Очаровал Алик и семью Искандера Амировича: сыновья-подростки тут же записались в баскетбольную секцию и по утрам гремели на веранде гантелями, а жена не раз удивленно говорила, что не ожидала встретить среди строителей такого элегантного, обаятельного, милейшего человека, и восхищенно прибавляла: «Артист, настоящий артист!»

Дела Пруха были улажены в самый кратчайший срок, к удовлетворению обеих сторон.

Заказчик не мелочился, не оговаривал каждый пункт договора с институтом, даже особые условия, прилагаемые к типовому соглашению, пробежал мельком и подмахнул своей щедрой, в пол-листа, подписью.

К моменту подписания столь крупного заказа и выяснилось, что щедрый и великодушный подрядчик — сокурсник Искандера Амировича, и проводы, как ни настаивал Прух на ресторане, были организованы у Акчурина дома. Акчурины, муж и жена, оба работали в институте, круг их знакомых ограничивался коллегами по службе, и Олег Маркович был приятно удивлен, застав вечером за праздничным столом главного инженера института и нескольких главных специалистов с женами. Вечер прошел славно, Прух был в ударе, играл в четыре руки с хозяйкой дома на пианино, танцевал со всеми дамами, рассказывал истории из студенческой жизни, из которых явствовало, какими неразлучными друзьями и лихими парнями были они с Акчуриным.

Самое удивительное было в том, что Искандер Амирович действительно припоминал рассказываемое Прухом; ну, может, его личное участие в событиях несколько преувеличивалось и приукрашивалось, но доля правды была.



Прух заметил, как это преобразило самого Акчурина, он вроде помолодел, постройнел на глазах, и это не осталось незамеченным гостями, они увидели хозяина совсем иным: молодым и озорным. И без того уважаемый в коллективе и среди друзей, Искандер Амирович теперь еще вырос в глазах сослуживцев: это чувствовалось в тостах, провозглашаемых в честь хозяина дома; это же было заметно в теплых взглядах жены.

Расходились далеко за полночь. Искандер Амирович провожал товарища по сонному, притихшему городу пешком. Настроение было прекрасное, уговаривались почаще звонить, даже замахнулись следующим летом с семьями отдохнуть в Паланге, Прух обещал снять роскошную дачу в сосновом лесу...

Уже у гостиницы, прощаясь, Олег Маркович вдруг сказал:

— Искандер, дружище, у меня к тебе личная просьба, от которой у меня в жизни многое зависит, и мне бы не хотелось, чтобы ты мне отказал.

Изложено это было таким неожиданным для Пруха просительным тоном, что Акчурин рассмеялся, считая это очередным розыгрышем веселого приятеля.

— Да полно, Алик, может ли какой-то заштатный проектировщик сделать что-нибудь для всесильного Пруха! — в тон, сквозь смех, ответил Искандер Амирович.

— Может, может,— нетерпеливо перебил Прух и продолжал: — В той части проекта, что коснется тебя лично, я имею в виду очистные сооружения, прошу, заложи старую технологию: кислотоупорный кирпич в два-три слоя, чем больше, тем лучше, на кислотоустойком цементе с окисловкой швов.

— Зачем это тебе? Такие очистные сооружения станут в копейчку!

— Знаю, дорогой, знаю. Не спеши, объясню. Во-первых, строить таким образом очистные сооружения площадью три гектара я не намерен. Не хуже твоего знаю новейшие эпоксидные смолы, химически стойкие пластикаты, пленки, эмали, а чего не знаю, надеюсь, ты не утаишь от меня. Почему я намеренно хочу удорожить строительство? Под проект реконструкции комбината смогу выбить сотни тысяч штук дефицитного кислотоупорного кирпича. На комбинате только и успеваем латать дыры, летит футеровка не по дням, а по часам, ни в какие нормативы по кирпичу не укладываемся, как строили — бог знает. Так что не волнуйся, кирпич пойдет на доброе дело. Дальше: разве ты знаешь хоть одну стройку, уложившуюся в первоначальную

сметную стоимость? Даже получив колоссальный экономический эффект от замены технологии строительства очистных сооружений, едва ли мы уложимся в те миллионы, что определит ваш институт, а если уложимся, ходить руководству, да и мне, в героях.

Пойдем дальше. В наших краях с трудовыми ресурсами не густо, только за красную зарплату и можно привлечь людей. Реконструкция, брат: газ, пыль, теснота, вредные условия. А фонд заработной платы от общей стоимости работ определяется. Как ни крути, дорогой, ты должен мне помочь.

— Положим, Алик, что так... — Акчурин медленно трезвел. — Как же ты собираешься сменить проект?

— Ах, святая душа, провинция. — Прух бережно обнял Искандера Амировича. — Я подам рацпредложение на замену способа защиты от агрессивной среды на очистных сооружениях. Приложу обстоятельный, наивернейший, наиталантливейший проект... который ты мне подготовишь... Чтобы это крупное предложение прошло в местном Стройбанке и не шокировало обывателей суммой вознаграждения, нужно письменное согласие института на замену, в данном случае — твое согласие, мой друг.

Акчурин долго и молча раздумывал, и Прух нетерпеливо заговорил вновь:

— Наверное, я должен был начать с этого, но тогда бы ты совсем не понял меня. Для меня это редкий и крупный шанс отличиться, не век же мне отделом заведовать, Искандер. — Прух продолжал обнимать Акчурина. — Я знаю, очистные сооружения — дело твоего престижа, ты в них большой дока. Мы построим самые лучшие очистные, какие только ты спроектируешь, я клянусь тебе в этом. Хочешь, возьми авторский надзор, а я под твой проект добуду любые материалы, дефицит из дефицита, хоть из космического центра, ну как?

Незаметно они повернули от гостиницы, и уже Прух провожал Акчурина.

— Ну, что тебе не помочь старому товарищу, — продолжал наседать Олег Маркович, — десятки институтов и без моей просьбы накидали бы мне три слоя кирпичей на три гектара, вот и все очистные... Послушай, а может, тебе помочь нужно, соответствующие анализы грунтов подготовить, чтобы на кирпич упор делать?

— Да нет, это не проблема, — откликнулся наконец Акчурин.

— Я тоже думаю, не проблема. При твоём авторитете в этом вопросе и знаниях любую теоретическую базу можно подвести,



даже под обыкновенный кирпич,— обрадованно рассмеялся Прух, но Искандер Амирович разговора не поддержал.

Молча они пересекали квартал за кварталом, и Олег Маркович чувствовал, как он упускает, казалось бы, решенное дело.

У дома Акчуриных Прух вдруг предложил:

— Может, еще по одной на посошок?

В окнах еще ярко горели огни, и Искандер Амирович пригласил его снова в дом.

— Что, никак не можете распрощаться, молодость вспомнили? — радостно встретила их хозяйка дома.

Оставив друзей в кабинете, она продолжала начатую уборку.

Дома, в собственных стенах, а может, считая, что разговор исчерпан, Искандер Амирович повеселел.

Но Олег Маркович так не считал и после кофе, любезно предложенного расторопной хозяйкой, вдруг продолжил:

— Искандер, надеюсь, ты понял, что не из приятельских отношений я прошу тебя оказать мне услугу. Сумма вознаграждения такова... Короче, многим хватит, а твоя доля будет... — Прух лениво поднял глаза к потолку и, немного подумав, сказал: — Ну, положим, стоимость «жигулей-люкс», колес-то у тебя нет... — Но, глядя на бесстрастное лицо Акчурина, торопливо добавил: — Конечно, ты можешь настаивать на большем — дело есть дело...

Искандер Амирович встал и молча прошелся по кабинету.

— Ну, вот что, Акчурин, надоело на твою постную физиономию смотреть. Сейчас пойду к твоей жене и скажу, от какого ты предложения отказываешься. Она инженер и поймет меня, такой шанс не каждый день представляется...

Это уже был просто треп, холостой выстрел, на который Прух особенно не рассчитывал. Но вдруг Акчурин устало опустил в кресло и сказал:

— Алик, ради бога, не впутывай жену в темные дела. Так и быть, сделаю я тебе очистные. Только сейчас — до свидания, пакостно что-то на душе.

— Пройдет, дорогой, пройдет, по себе знаю,— перебил улыбавшийся Прух и, налив бокал до краев, выпил одним махом.

В зале, на ходу чмокнув в щеку улыбающуюся жену Акчурина и напевая опереточный мотив, Прух быстро распрощался, в два прыжка одолел лестничную клетку и исчез в темноте улицы.

Прух уехал, и размеренная жизнь Искандера Амировича вошла в прежнее русло. Правда, и дома, и на работе еще долго вспоминали Олега Марковича, но Акчурин такие разговоры не поддерживал, впрочем, это было в его характере, да и временем на праздные разговоры он никогда не располагал.

Разговоры о Прухе разгорались с новой силой, когда собирались компанией на праздники или семейные торжества, ставшие столь частыми в последние годы.

В такие дни женщины, разгоряченные вином и воспоминаниями, вдруг требовали, чтобы главный инженер вызвал Олега Марковича в институт немедленно. Энергичнее других настаивали на этом женщины, не попавшие на ту знаменитую вечеринку с Прухом, они считали себя несправедливо обойденными. Прух становился легендой. И легенда постоянно обрастала новыми деталями. Инженеры-проектировщики, командированные на комбинат, попадали под опеку Олега Марковича, они-то и подбрасывали дрова в незатухающий костер разговоров о Прухе. Олег Маркович, как и обещал при подписании договора, создал проектировщикам идеальные условия для работы. Поселил в лучших номерах заводской гостиницы, разумеется, бесплатно, даже на усиленное спецпитание за счет комбината в столовой для вредных цехов определил, работой только! От желающих поехать на химкомбинат отбою не стало. «Чудеса, да и только, вот если бы все заказчики так», — удивлялась заведующая кадрами, оформляя поток командировочных удостоверений.

По праздникам Акчуриным приходили поздравительные телеграммы, нарядные, на лаковых художественных бланках. Длиннющий текст телеграмм вызывал восторг дома, столько в нем было блеска, остроумия, юмора. Сколько деталей из уклада семьи Акчуриных было схвачено зорким глазом Пруха и мило обыграно в этих телеграммах! Искандер Амирович даже подозревал, что жена телеграммы эти тайком носила на работу, и там ее коллеги, высокообразованные женщины, не таясь, дружно тщательно выписывали в свои записные книжки щедрое словоблудие Олега Марковича.

Изредка Прух звонил Искандеру Амировичу на службу, но звонки эти были деловыми, Олег Маркович уверенно готовил комбинат к реконструкции. Разговора об очистных сооружениях Прух не заводил.

Выжидать Олег Маркович умел, да и заложенная в проекты мощная трехслойная кладка из кислотоупорного кирпича его вполне устраивала.



Но перед самым Новым годом — то ли нервы подвели Олега Марковича, то ли время подпирало его,— поздравляя Искандера Амировича с наступающим праздником, Прух в своей обычной шутиливой манере все же спросил: мол, не осчастливит ли его сокурсник долгожданным подарком?

Искандер Амирович пребывал в добром расположении духа, вокруг него, да и во всем институте уже царил предпраздничная суэта, и, подстраиваясь под манеру Пруха, он ответил, что некоторые товарищи вообще не заслуживают подарков, не то что новогодних...

На другом конце провода возникло минутное замешательство, чего Акчурин не ожидал. Получив мелочное удовлетворение от ничтожного укола, он все же сказал, что отошлет обещанное к февралю.

На вызов комбината Акчурин отправился поездом. По натуре он был домосед и в командировки выезжал только в случае крайней необходимости, даже в отпуск старался попасть куда-нибудь поближе, в местный дом отдыха или санаторий. Самолет по состоянию здоровья ему был противопоказан. И эта, по нынешним меркам, близкая, в двое суток, дорога показалась Искандеру Амировичу путешествием в дальние-дальние края. И дома готовили и провожали его в дорогу, словно в космический полет. На дворе стоял май, отпускные страсти еще не начались, и Акчурин ехал в совершенно пустом купе мягкого вагона, главным специалистам бухгалтерия такую роскошь позволяла.

В залитом ярким электрическим светом купе Искандер Амирович перелистал журнал, сунутый в чемодан предусмотрительной женой, и лениво подумал, что ехать поездом не так уж и нудно, как расписывали молодые инженеры из его отдела. Неторопливый ужин с традиционной дорожной курицей, обжигающий чай в подстаканниках, пожалуй, сохранившихся лишь на железных дорогах, а затем долгое и бесцельное глядение в законную тьму привели Искандера Амировича в доброе расположение духа, он даже и не вспомнил о цели своего визита на далекий химкомбинат, хотя после телеграммы три дня, до самого отъезда, ходил скованным, в каком-то нервном напряжении. Проснулся он бодрым и энергичным и с самого утра мерил шагами пустой коридор малолюдного вагона.

Узкий коридор был устлан новой синтетической дорожкой, и оттого в вагоне стоял знакомый Акчурину сладковатый запах химволкна. Искандер Амирович слегка приоткрыл окна, и ветер заиграл занавесками.

Закононый ветер и напомнил Акчурина, что на дворе весна, и он стал жадно вглядываться в степь, в мелькающие полустанки, разъезды. И удивительно, запоздалая и уже отцветающая весна степного края что-то напоминала, была чем-то близка Акчурина... Овраги, на дне которых поблескивала талая весенняя вода, а на северных склонах, среди кустов еще серел последний снег... Склоны небольших холмов, вдруг полыхнувшие тонкошеими маками... Скот, ошалевший от простора и света после тесных и слепых сараев... Босоногая ребятня, высыпавшая за околицу и от переполнявшей радости весны махавшая кепчонками всем проходящим поездам...

Где, когда это было с ним, да было ли? И вдруг его обожгло. Та тоненькая речка, что утром в мгновение ока сверкнула под колесами его поезда, и есть речка его детства. Пропетляв какую-нибудь сотню верст, зелеными своими берегами свернет она к его отчому дому. И от этой неожиданной догадки закружились мысли Акчурина. Припомнилось, что, когда Прух назвал комбинат, который представляет, мелькнула тогда и тут же пропала мысль, что это где-то в знакомых краях. Оказывается, комбинат хотя и в соседней области, а всего-то ничего от тех мест, где родился и вырос Акчурин. А значит, оттесняя воспоминания, пронеслась новая стремительная мысль, эти очистные сооружения — для его реки-кормилицы. Да, да, кормилицы, ведь на речке, от ее щедрот и выжили они, босоногие мальчишки голодных военных, да и первых послевоенных лет.

Неожиданное открытие то радовало, то печалило Акчурина. Радовало тем, что появилась возможность посетить родные места, Олег Маркович на своей машине доставил бы его туда враз. Печалило его то, что он понимал — душой не готов к такой встрече.

Помнил ли он, тосковал ли по дорогам своего детства? Никогда. Нет, Искандер Амирович не считал себя черствым человеком, не считали его таковым и друзья, и сослуживцы, не считали черствым и домочадцы. Но вот сейчас, под стук колес, наедине с собой, называть себя душевным человеком Акчурин бы не стал.

Двадцать пять лет назад, после семилетки, с котомкой на плече, на крыше ташкентского почтового поезда подался он в близлежащий город. Уехал не по чьей-либо подсказке, не надеясь на чью-либо помощь, уехал с твердой программой: учеба — работа. Конечная цель — институт. Уехал и как отрезал, поначалу не возвращался, а позже уже не к кому стало. А там, на заовражном мазаре, покоится немало



близких ему людей. Сможет ли он среди этих бедных, неухоженных могил найти дорогие памяти? Конечно, нет. А просить кого-нибудь, чтоб отыскали, подвели тебя к самым запущенным, осыпавшимся, сровнявшимся с землей и заросшим бурьяном и чертополохом могилам,— что может быть мучительнее для человека, который считал, что жил и живет достойно?

И уже, может быть, не к месту Акчурин вспомнил своих сыновей, которых очень любил и занимался их воспитанием, как он считал, тщательно и всерьез. Рассказывал ли он им о своей родине, об их корнях? Нет, потому что считал: неинтересными, темными людьми были его родичи, кроме труда и забот, в жизни ничего не видели. Да и они, дети, не интересовались, иные проблемы наваливались на них день ото дня. А по-человечески это — не знать, как по отчеству звали дедушку или бабушку, не знать свой род, пусть даже неграмотными, дикими были они, давшие тебе фамилию и жизнь? Что посеешь, то и пожнешь. И Акчурин почему-то подумал: а вдруг его сыновья, ради которых он жил, так же десятилетиями не придут на его могилу. Вконец расстроенный, Искандер Амирович начал собирать вещи и складывать белье.

Встречать сокурсника Олег Маркович пришел с женой. Одного взгляда, даже через оконное стекло, было достаточно Пруху, чтобы понять, что гость чем-то расстроен. Но Прух, зная характер Искандера Амировича, отнес это за счет издержек дорожного сервиса, который у нас, увы, еще далек от совершенства. В машине, когда жена расспрашивала о семье, о детях, Искандер Амирович несколько оживился, повеселел. Но, несмотря на это, Олег Маркович все же решил круто изменить намеченную на сегодня программу. Первоначально он предполагал, что посидят вечером тихо-мирно, в семейном кругу, а позже, по дороге в гостиницу, возможно, и дела обговорят.

«Нет, никаких дел сегодня. Веселья, огня на всю катушку, вот что нужно»,— думал Олег Маркович, обгоняя машину за машиной по пути в лучшую городскую гостиницу.

В гостинице они поднялись прямо на второй этаж, ключ от номера был в кармане Олега Марковича. Двухкомнатный «люкс» приятно удивил Акчурина, в таких апартаментах он еще не жывал.

Друзья-приятели Пруха знали о том, что Олег Маркович со дня на день ожидает товарища, однокурсника, крупного специалиста по антикоррозийным работам, и на приглашение явиться откликнулись дружно. Круг знакомых Пруха в основном тоже составляли

сослуживцы, люди, связанные с комбинатом. И пока женщины в зале первого этажа коттеджа Пруха накрывали на стол, в просторном кабинете Олега Марковича на втором этаже у Искандера Амировича завязался профессиональный разговор с коллегами, стихия, в которой Акчурин чувствовал себя всегда уверенно, на высоте. Когда жена Олега Марковича поднялась пригласить мужчин к столу, то едва разглядела гостя сквозь табачный дым. Акчурин, уже без пиджака, окруженный друзьями мужа, с карандашом в руке за письменным столом Олега Марковича что-то оживленно доказывал остальным.

Погуляли на славу, от мрачных мыслей, возникших в дороге, не осталось и следа.

Утром Акчурин проснулся рано, то ли вчерашняя вечеринка сказала, то ли смена обстановки повлияла. Голова побаливала, но настроение было нормальное. По дороге в ванную он машинально дернул ручку холодильника и от удивления остановился. Чуть в глубине, рядом, аккуратно стояло бутылок пять темного чешского пива «Дипломат», несколько бутылок минеральной воды «Нарзан» и две бутылки кефира.

«Ну и Прух!» — вырвалось у Акчурина, и его охватило какое-то радостное предчувствие удачи. Напевая и насвистывая мелодию, услышанную вчера, он принял ванну. Затем по рецепту, услышанному от Пруха, смешал пополам кефир с минеральной водой и с удовольствием выпил стакан, другой, сразу почувствовав, как исчезло неприятное ощущение во рту. Времени до условленного часа встречи с Олегом Марковичем было еще много, и Искандер Амирович решил отправиться на комбинат пешком.

Ему вдруг захотелось увидеть комбинат самому, без сопровождающих, захотелось пройти по безлюдным цехам, мастерским, хранилищам.

На территории даже неопытному человеку бросилось бы в глаза, что комбинат готовится к реконструкции. Почти вдвое предполагалось удлинить главный корпус, и Искандер Амирович увидел готовые подкрановые пути, вплотную примыкающие к старому зданию. Рядом на земле лежал готовый к монтажу башенный кран.

У стен, не загромождая проходов и проездов, были сложены десятки тысяч штук кирпича, предназначенного для очистных сооружений. Дальше, под навесом, стояли изящные и мощные японские автокраны «Като». Двадцативосьмиметровый вылет их стрел позволял выполнять наиболее сложные работы на высоте, а таких



работ предстояло немало. Чем дальше шел Акчурин по территории, тем больше дивился он энергии, хватке Пруха.

Во всем чувствовалась его крепкая рука и хозяйский глаз. Постепенно в цехах, мастерских, гаражах, у аппаратов начали появляться люди, из распахнутой настежь двери бесплатной спецстоловой дохнуло запахом крепкого кофе, на комбинате заканчивался завтрак.

Неожиданно от группы рабочих, стоявших у столовой, отделился невысокий плотный мужчина в противокислотном костюме и направился к Искандеру Амировичу, разглядывавшему необычную градирию сернокислотного цеха.

Не доходя нескольких шагов, остановился и, обернувшись к остальным, заорал:

— Я же говорил — это Македонский! — Быстро приблизился и своими короткими сильными руками крепко обнял растерявшегося Акчурина.

Македонский... Искандер Амирович вспомнил свое школьное прозвище. Как давно это было, он даже сам позабыл... Македонский... а ведь иначе его в школе и не называли, даже классный руководитель, учитель немецкого языка Давид Генрихович, иногда, особенно в гневе, называл его Македонским.

И тут же, еще в объятиях своего земляка, а, может быть, даже одноклассника, которого Искандер Амирович не признал, отчетливо припомнил он, что их маленький, бедный степной поселок в первые послевоенные годы поставлял юношей только в гурьевскую мореходку и в ремесленное училище, готовившее химиков-аппаратчиков и слесарей по ремонту химического оборудования.

Ведь там кормили, пусть не всегда досыта, да и привлекала парней красивая по тем временам форма.

Так вот, оказывается, какому комбинату принадлежало училище, откуда приезжали на праздник в щегольской парадной форме кумиры их мальчишеских лет!

— Что, не признал? — И улыбка на миг сбежала с крупного обветренного лица. — А впрочем, что тут удивительного, — продолжал земляк, улыбаясь, — укатали сивку крутые горки. Двадцать пять лет нынче, как на комбинате. Прямо из училища в семнадцать лет — и во вредный цех, скоро уж на пенсию. Цеха здесь не кондитерские, как у нас шутят. А ты молодцом выглядишь, орел! Так и не узнал? — Он отступил на шаг и засмеялся: — Фаттах я, сосед твой, земляк; через плетень жили. Вспомнил?

И только теперь Акчурин узнал соседа, заступника и покровителя детских лет.

А тут подоспели и остальные. Среди них Искандер Амирович признал своих односельчан: Вовку Урясова, Юрку Курдуляна, Рашата Гайфуллина, Мелиса Валиева, Богдана Гибадулина, Андрея Эппа, Сансызбая Бектемирова, Лермонта Берденова... Глядя на этих рано состарившихся мужчин, Искандер Амирович вдруг припомнил их в светлый весенний день. «Ремесло» прибыли домой на майские праздники. Они стояли компанией у райсада в тщательно выутюженных «клевашатах», в лихо надвинутых фуражках. Из-под урезанных до предела козырьков на юные лбы свисали аккуратные челки — мода тех далеких лет. Он помнил молодыми их всех, помнил даже горевшую золотым блеском медную фикса на переднем резце Курдуляна и не забыл, что у Богдана на мощных бицепсах имелась наколка: «Аллах, спаси от друзей, от врагов я сам оборонюсь». Тогда эта наколка, казалось, имела глубокий философский смысл, и не на одну руку перекочевало «мудрое» изречение. Запомнил он их потому, что они были свои парни. И в целом свете конкуренцию им могли составить только земляки — ребята из мореходки; что ни говори, а морскую форму девушки уважали больше... Рано понявшие, что такое кусок хлеба и справная пара обуви, эти юноши знали, что всю жизнь им придется пахать во вредных цехах на «химии», знали, что не за здорово живешь в пятьдесят пойдут на пенсию, а слышал ли кто-нибудь от них ныть? Никогда. Считали, работа как работа, мужская, а еще знали — надо. Потому эти неунывающие, веселые парни и были кумирами мальчишек рабочих пригородов и маленьких сел.

— Ребята... — только и сказал Искандер Амирович, и от волнения у него перехватило в горле.

Наступило время начала смены, и они направились к цеху флотации, где работало большинство его земляков. По дороге Акчурину то и дело напоминали фамилии его одноклассников, друзей, соседей, даже родственников, работавших на комбинате. Искандер Амирович на многочисленные «а помнишь?» отвечал вежливым «да» или «а как же!», хотя многие фамилии, даже родственников, были для него сейчас пустым звуком. И он на секунду ужаснулся глубокому провалу памяти, ведь с этими людьми, как напоминали идущие рядом, он ездил на сенокос, ходил с ночевкой на озера, собирал со сжатых полей колоски, страшась лютого конного объездчика Кенесары-чулака.



В цехе Искандер Амирович выдержал минут двадцать, хотя по дороге храбрился и обещал пробыть с ними час-другой, желая увидеть каждого за работой. Фаттах, провожая земляка до дверей, шутливо успокаивал:

— Даже Македонскому, Великому Искандеру Двурогому, не выдержать без респиратора во флотации и получаса, для этого пять лет нужно пообвыкнуть в цехе.— Глядя на расстроенное лицо земляка, Фаттах на этот раз бережно обнял Акчурина.— Встретимся в перерыв в нашей столовой, поделимся по-братски трудовым обедом, теперь-то ты понял, почему нас бесплатно кормят, а то есть среди вашего брата, начальства, горячие головы, которые не прочь бы отменить или урезать питание, говорят, накладно, мол, государству.

Олега Марковича Акчурина нашел в кабинете.

— Донесли уже, что по цехам разгуливаешь, с народом общаешься,— встретил Искандера Амировича улыбающийся Прух.

Акчурина, оглядывая светлый и просторный кабинет Олега Марковича, увидел, что стены завешаны схемами, планами, рисунками из проекта реконструкции, а в углу на низкой подставке высился макет будущего комбината. Макет впечатлял.

— Ты чего это такой зеленый, нездоровится? — спросил участливо Прух, придвигая товарищу кресло.

— Да нет, в цехе флотации побыл, земляки там у меня работают... Знаешь, Алик,— оживился вдруг Акчурина,— пожалуй, половина кадровых рабочих комбината — мои земляки, да что там земляки, одноклассники, родственники, друзья, соседи, а теперь, наверное, и дети их уже работают... А ведь и я мог...

Вдруг раздался звонок внутреннего телефона, перебивший Акчурина. Олега Марковича срочно требовали к директору.

Прух отсутствовал долго, и Искандер Амирович успел осмотреть макет, схемы на стенах, затем, приметив на столе Пруха папку с пояснительной запиской и альбом с чертежами, на которых значилось «Очистные сооружения», отошел с ними к окну.

Отсылая зимой свой вариант проекта, Искандер Амирович сделал его вчерне, многого нарочно не рассчитал, хотя указал, как это сделать. Не делал он и чертежей, просто наброски. А теперь он держал в руках солидную работу, на уровне хорошего проектного института.

От окна Акчурина вернулся к столу, и рука его машинально потянулась за записной книжкой. В проекте он нашел кое-что для себя новое, интересное.

«Откуда он это взял?» — думал Акчурин, торопливо листая пояснительную записку и сверяясь с чертежами. За этим занятием его и застал Прух.

— Послушай, Алик, ты уже знал такую технологию, когда говорил со мной в прошлом году?

— А ты думал, ты один мозгой ворочаешь, а другие только и ждут твоих рекомендаций?

— Ты видел в деле такие очистные?

— Да, видел. В позапрошлом году были у наших коллег, химиков ГДР, в городе Галле. Оттуда кое-что и прихватил. Видел, наверное, какая градирня у сернокислотного цеха?

— Видел. Но почему ты скрыл от меня эти новинки? Ведь мы бы все это взяли на вооружение в институте. Все, что ты добавил, очень просто, надежно и эффективно.

— Значит, даешь «добро» на замену, главспец? — заулыбался довольный Прух.

— Дать-то даю, но разве дело в этом? Давай лучше поговорим, что ты еще увидел там, у немецких друзей?

— Искандер, обещаю: вечером в номере у тебя на столе будут две толстые амбарные книги. Дарю и ничего больше не утаиваю.

Акчурин набросал на четвертушке бумаги текст и подал Пруху фирменный бланк института. Олег Маркович через несколько минут вернулся в кабинет с отпечатанным письмом. Искандер Амирович, не вычитывая, тут же подписал.

— Ну, вот и гора с плеч. Ты уж извини, Искандер, характер у тебя девичий, не знаешь, что в следующий момент выкинешь. Где будем обедать?

— Я уже обещал, что буду обедать с земляками. Наверное, и вечер проведу с ними... Уж извини, как-то неловко получится, если откажусь, да и мне самому что-то вдруг захотелось побыть с ними.

Все три дня пребывания на комбинате Искандер Амирович проводил с земляками. В свой роскошный номер он приходил поздно ночью, да и то дважды они с Фаттахом проговорили до утра.

Земляки, особенно старшего поколения, жили в добротных домах, выстроенных собственными руками. Каждый вечер шумной компанией в сопровождении лихой тальянки Богдана переходили они из дома в дом; везде Акчурина ожидали друзья, родственники, одноклассники.



Узнав о том, что Акчурин — один из авторов проекта строительства, застольные разговоры они в конце концов заканчивали проблемами реконструкции. И Акчурин, многоопытный проектировщик, не раз брался за карандаш, хотя знал, что вряд ли уже можно что-либо изменить в проекте этого комбината. Искандера Амировича обрадовало известие, что именно его земляки внесли в партком предложение о своем добровольном участии в реконструкции комбината. «Свои цеха — своими руками», — как выразился Курдулян.

Но гораздо больше удивлял и радовал Акчурина все тот же неунывающий Фаттах. Он раскритиковал проект очистных сооружений в пух и прах и даже посоветовал Искандеру Амировичу съездить в Самарканд на родственное химическое предприятие. Фаттах, оказывается, в прошлом году ездил с семьей в далекую Среднюю Азию, старину вековую смотреть, но, прослышав, что там есть химкомбинат, не удержался, считай, треть отпуска провел с коллегами. Там он и очистные сооружения осмотрел... И когда через день, собравшись с духом, Искандер Амирович объявил за столом, что в проект очистных сооружений будут внесены крупные изменения, сообщение его было воспринято бурно. И Акчурин, как-то враз ощутив искреннюю заинтересованность в делах завода сидящих рядом простых людей, почувствовал жгучий, неотступный приступ стыда.

Эти приступы охватывали его и потом, особенно когда он оставался один. Нет, он не жалел о поездке, нарушившей его покой, она открыла ему глаза на многое, о чем он ранее и не задумывался.

Всю жизнь он проектировал и считался хорошим специалистом. Да, Искандер Амирович был принципиальным инженером и в технических вопросах не шел против своих убеждений. Он никогда бы не дал «добро» на такие общеизвестные проекты, как, например, потолки высотой два с половиной метра, или совмещенные санузлы, или линолеумные полы на бетоне в жилых квартирах, или картон на входных дверях, и примеров, только более специфических, известных не столь широкому кругу людей, он мог бы привести множество. А ведь те, давшие «добро», его коллеги ходили в героях. И получили немалое вознаграждение за свои «изобретения», «рационализаторские предложения».

А как же! Ведь столько сэкономлено перегородок за счет санузлов, столько пиломатериалов сэкономлено за счет дешевого линолеума, а уж сколько бетона и кирпича сэкономлено за счет высоты квартир — не счесть! Жаль, что занизить потолки еще сантиметров

на двадцать-тридцать не позволили, остановили. Вот бы экономии в такой большой и строящейся стране было! А люди? О людях в таких случаях «изобретатели» особенно не думали.

Акчурин не принадлежал и к тем расплотившимся в последнее время «деятелям», которые прикрывались звонкими лозунгами и призывами к «экономичности», «эффективности», а на самом деле жили по принципу: «После меня хоть потоп».

Не один проект «зарезал» Акчурин, не одну эффектную идею, за которой на самом деле стояла халтура, развенчал он потому, что знал: даже через десятки лет большой бедой, трагедией для человека или природы могли стать скоропалительные и необоснованные решения. Химия есть химия. За эрудицию и огромный опыт, инженерную принципиальность ценили его в проектно-изыскательских кругах страны.

А как же насчет людей? Видел ли он их за своими проектами? До сих пор считал, даже был убежден, что видел. Но теперь, обойдя комбинат вдоль и поперек, побывав не только в цехах, но и в закутках, приспособленных под душевые, комнаты отдыха или раздевалки, проведя долгие часы на работе и на отдыхе с теми, кто стоял у аппаратов и газгольдеров, он понял, что видел абстрактную массу, а не живых людей. И понимал, что уже давно мог сделать для химиков, таких же, как и его земляки, гораздо больше. И мысль эта была горше всего. Всю жизнь проектируя, он ни разу не подумал, что сам мог стать химиком-аппаратчиком или слесарем по ремонту химического оборудования, как призывали рекламные объявления, вывешиваемые каждую весну в их школе. Ну ладно, о себе не вспомнил, но как мог забыть, вычеркнуть из памяти людей, знавших, помнивших, даже любивших его. Фаттах, ежегодно навещавшийся в родные края, присматривал за могилой его матери, оказавшейся соседкой его родителей и на этом последнем пристанище человека на земле. И, как говорил Фаттах в ту бессонную ночь, никогда он не думал плохо об Искандере, а жалел, что пропал, мол, человек, затерялся след соседа. Сказано было искренне, великодушно. А вот он никогда не вспоминал Фаттаха, покровителя юных лет. А ведь никто его, даже в хмельной компании, ни разу не упрекнул, что позабыл край родной, двадцать пять лет не заявлялся. Наоборот, Акчурин чувствовал: они рады ему, рады его успехам, гордились, что земляк выполняет для комбината такое важное задание.



В эти дни он почти не виделся с Олегом Марковичем. Не потому, что избегал его, а просто так складывалось, да и Прух был человек очень занятой. К тому же земляки Акчурина не оставляли гостя одного ни на минуту. Иногда они переговаривались по телефону, а пару раз по вечерам Олег Маркович отыскивал Искандера Амировича в поселке химиков, но увести его оттуда ему не удавалось. Посидев с полчаса за столом, Прух, чувствуя себя здесь лишним, уезжал.

В день отъезда у Искандера Амировича было единственное желание: как-нибудь разминуться с Олегом Марковичем. Накануне Прух настаивал по телефону на прощальном ужине у него дома, но Искандер Амирович отказался, сказал, что уже решено отметить отъезд у Фаттаха.

Весь вечер у Фаттаха Акчурин ловил себя на мысли, что постоянно смотрит на калитку, не появится ли вдруг Прух, но Олег Маркович так и не пришел. В конце застолья Акчурин повеселел, он радовался, что избежал разговора и расчета с Прухом. Все случившееся он воспринимал как дурной сон. В машине, которую на вокзал вел сын Фаттаха, он даже от души безгололо подпевал Богдану. Заскочили на минуту в гостиницу за чемоданом. Искандер Амирович в последний раз получил у портье ключ от своего шикарного номера и на всякий случай спросил, нет ли ему письма или записки, но ничего не было. Довольный, мурлыкая под нос веселый мотивчик, Акчурин с Фаттахом поднялись в номер. На полу стоял заранее уложенный чемодан, а на кровати, на кипенно-белом покрывале лежал, сверкая лаком и никелем, хищно-изящный «атташе-кейс», дипломат, давняя мечта Акчурина.

На вишневой, под «крокодила», кожаной крышке чемоданчика белела записка: «Искандер! Спасибо за все. Кейс — подарок, несолидно главспецу ходить с бухгалтерской папкой».

Искандер Амирович рассеянно щелкнул замками и на миг в чуть приоткрытую щель увидел флаконы, флакончики, тюбики, брикеты, баночки, подумал: наверное, французская парфюмерия для жены, и между ними — пачки денег в нетронутой банковской упаковке. Закрыв кейс и от растерянности даже опустил в кресло. Внизу уже сигналила машина, и Фаттах, прихватив чемодан и дипломат, поспешил вниз.

На вокзал следом подъехали и остальные земляки Акчурина. На перроне до прихода поезда шумно откупорили несколько бутылок шампанского. Земляки то и дело объясняли каким-то своим знакомым

на вокзале, кого они провожают, и на все лады хвалили Акчурина, и про очистные сооружения упоминали с гордостью.

Запоздавший состав продержали на станции долго. Чемодан и кейс занесли в пустое купе и кинули на вторую полку, а Акчурина все не отпускали в вагон. Богдан продолжал наигрывать на тальянке озорную мелодию «Апипа», и Фаттах пустился в пляс, стараясь затянуть в круг Акчурина, но Искандер Амирович, вяло перебирая ногами, смотрел в вагонное окно и видел в раскрытую дверь купе дипломат, и тоскливо думал: «Хоть бы кто утащил его, Господи...»

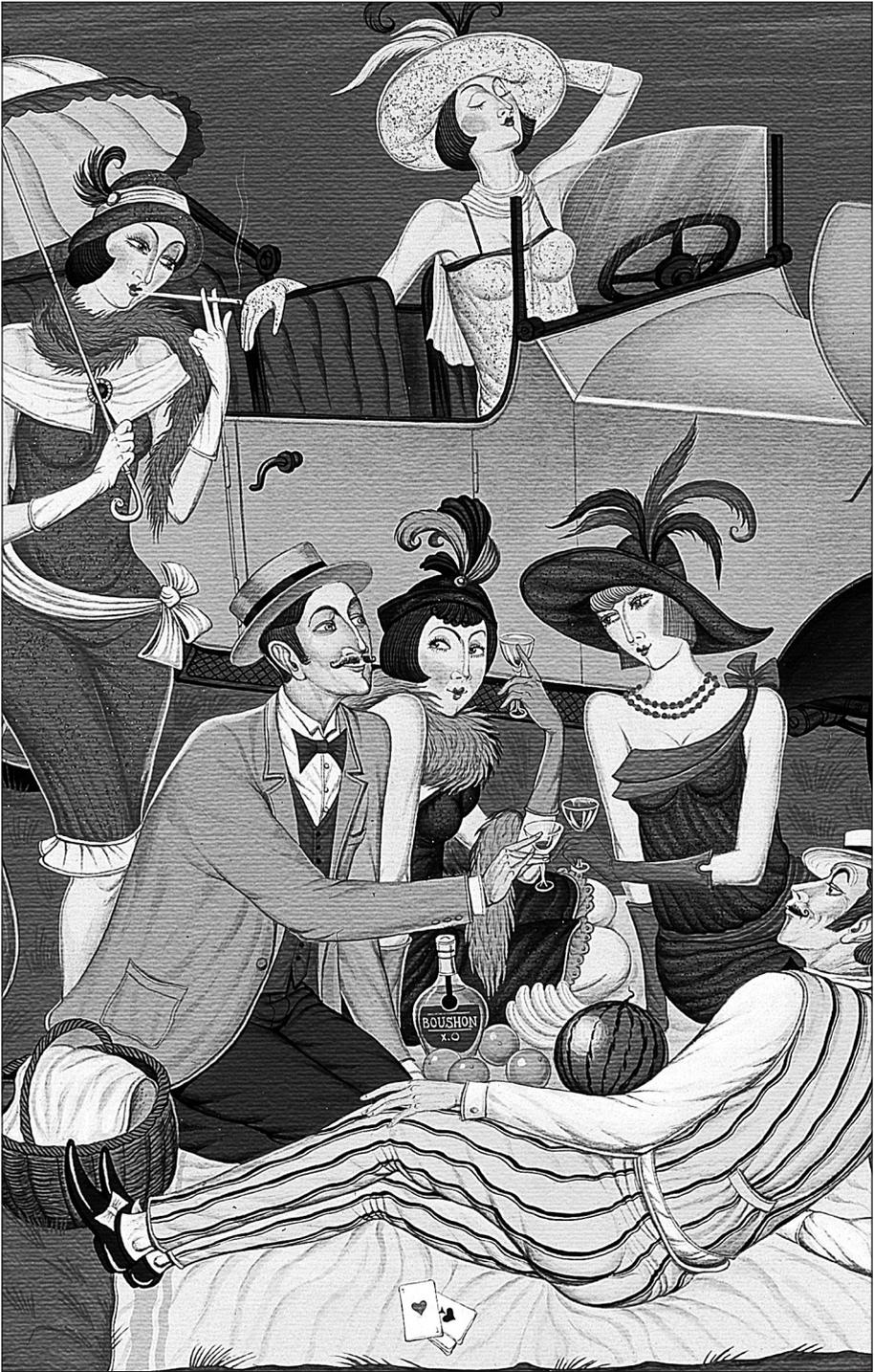
Словно нехотя поезд тронулся и медленно-медленно стал набирать скорость. Искандер Амирович, стоя у опущенного коридорного окна, машинально улыбался землякам, поспевавшим за медленно катившимся вагоном. Никогда в жизни его так торжественно не провожали.

В какой-то миг ему хотелось закричать: «Не тот я добрый и порядочный человек, за которого вы меня принимаете,— мерзавец и взяточник я»,— но на это у него не хватило духу.

Потихоньку вагон оживал: собирали билеты, раздавали белье, уже заварили чай, а Искандер Амирович все стоял у открытого окна, вглядываясь в ночную темень. Но он не замечал ни машин на переездах, слепивших вагоны мощными фарами, ни полустанков, мелькавших огнями каждые шесть километров, он думал о себе, о своей жизни.

Он думал, что, какие бы ни создавались законы, инструкции, правила, все равно, если не работают в душе человека очистные сооружения, толку от назиданий и мудрых инструкций мало. Не представишь же к каждому человеку милиционера. А к нечестному милиционеру кого приставить? И Акчурин мучительно искал для себя какое-то особенно уничижительное слово, но все слова, что он знал, не подходили. И Искандер Амирович вдруг вспомнил, как однажды за столом Курдулян сказал после ухода Пруха: «Умный мужик, но не наш...» Вот, верно! И он, как бы обрадовавшись, повторял: «Не наш... не наш...».

*Ташкент,  
1977*



# Голубые самосвалы

Рассказ

Проезжая станцию с весенним названием Март, проводники непременно покажут промелькнувший у окна указатель — длинную обоюдоострую стрелу, сообщающую: «Азия — Европа». Указатель находится на перегоне, и поезда проходят мимо на высокой скорости, создавая ощущение, что стрела летит навстречу.

Не каждому селению дано стоять на стыке двух континентов, а Март возник давно, даже не подозревая, какую честь оказала ему география. Ничем другим районный центр Март от соседних не отличался. У широких прямых улиц, недавно покрытых асфальтом, стояли аккуратно выбеленные, ухоженные дома под шифером. Хотя почти все дома заново отстроены в последнее десятилетие и строительство продолжалось, разнообразием архитектуры поселок не отличался. Дома как дома: добротные, не лучше и не хуже, чем у соседа. У каждого дома палисадник.

Весна в этих краях неторопливая, степенная: напоит запахом талого снега и тонкого ледка весенних луж, наполнит воздух сладким дурманом набухших почек кленов и тополей, дружно пустит в цвет сирень-черемуху, белым снегом в одно утро окутает яблони, усыплет поля тюльпанами, даже крыши сараев окропит багряными маками. До первых знойных ветров, гонцов сухого лета, стоит весна-краса в Марте.

Хоть внешне Март и не отличался от соседних селений, что вправо, что влево от знаменитой стрелы, разница меж ними все же



была. Почти все мужское население поселка работало на автобазе. Казалось бы, что здесь удивительного, мало ли селений, где мужчины — рыбаки, охотники, лесорубы, каменотесы, шахтеры... Но эти профессии складывались, так сказать, географически, по традиции, десятилетиями, а то и веками. А в Марте еще в сорок девятом пылила лишь одна машина, трофейная полуторка, принадлежавшая колхозу «III Интернационал».

Профессия, характеризующая время? Наверное. Но не только... Точнее сказать: это сделали время и Родион Ильич Карташ.

Весной 1954 года вместе с первым отрядом добровольцев Родька Карташ, механик Горьковского автомобильного завода, прибыл на казахстанскую целину. То, что Март стоял на железной дороге, определило его судьбу как перевалочной базы для прибывавших людей, грузов, машин. Ежедневно приходили составы со сборными финскими домами, новенькими, еще пахнущими краской газиками, серыми, под цвет брони, тяжелыми тракторами ДТ-54.

На первые машины нашлись шоферы, и своим ходом они ушли разбитыми весенними дорогами в дальний путь, к целинным совхозам. Но бесконечный поток прибывавших машин требовал все новых и новых водителей. Тогда-то и были организованы первые шоферские курсы. В две смены, с раннего утра дотемна, Родька Карташ — директор, преподаватель и механик в одном лице — готовил кадры.

Здесь же, в зале для занятий, в углу, стояла его раскладушка.

Повезло молодому механику с курсантами: Март не баловал своих мужчин работой. Да откуда же ее взять: станция, баня да мало-мощная артель — вот и все предприятия. А тут вдруг курсы со стипендией, и немалой для здешних мест. Отбою от желающих стать водителями не было. Пожилые отцы семейств, молодежь, даже девушки Марта потянулись к новой профессии.

Поначалу Карташа настораживала атмосфера на занятиях: ни шутки, ни смеха, даже в перерывы. Но чем дальше уходили по программе, тем большей симпатией проникался Родион к своим курсантам. Теперь он понимал: для них эти курсы в нетопленной, наспех переоборудованной конюшне колхоза открывали надежды на лучшую, сытую жизнь. Порою в глазах слушателей, вдвое старших его, Родион читал сомнение: «Неужели так и будет — сдашь экзамен, получишь машину и работай?» Им, знавшим цену постоянной работы в Марте, слышавшим за долгую жизнь немало обещаний, казалось, что здесь что-то не так.

Гараж, где шли практические занятия, не пустовал даже по воскресеньям. Затемно в дверях появлялся моторист. Вытирая ветошью обожженные на фронте руки, виновато говорил: «Все. Выключаю движок». Медленно гасло тусклое освещение, и только тогда курсанты нехотя расходились весенними улицами Марта по домам.

За первым выпуском последовал второй, третий... А через два года Родион праздновал новоселье. Силами курсантов отстроилась новая добротная школа с учебными классами, механическими мастерскими, просторными гаражами, общежитием. Потянулись к шоферскому делу из колхозов и соседних районов.

Хотя и появились у Карташа помощники, дело держал он в своих руках. Родион был из тех, кого судьба метит яркой метой — одаряя слухом или голосом, умелыми руками или необыкновенным видением мира. Машины были его единственной страстью, и знал он о машинах все, что только можно было знать. По одному ему ведомому признаку мог Родион определить неисправность машины, для этого ему достаточно было услышать ее. В Марте у Родиона обнаружилось новые способности — организатора и педагога. В первую целинную весну в райкоме партии усталый секретарь, в промокшем насквозь брезентовом плаще, только вернувшийся из дальних колхозов, не дослушав его до конца, сказал:

— Родион, мысли у тебя дельные. Но из всего, что ты принес, я возьму лишь графики выпусков. Шофера нужны позарез. Действуй, как считаешь нужным.

Организаторские способности Карташа не остались незамеченными в районе и даже в области.

Удивительная вещь природа: горный аул, похожий на десятки других, но этот ни с чем не сравним — Кубачи. Неприметные с виду селения, каких на Руси тысячи, но они ее гордость — Палех и Мстера. Чем объяснить, что их жителям из поколения в поколение даются секреты подлинного мастерства? Задумывался об этом и Родион в Марте. Занимаясь со своими первыми курсантами, Родион не раз ловил себя на тщеславной мысли: «Я сделаю их шоферами высшего класса, сотворю их по своему образу и подобию. Я создам свою школу, слава о выпускниках которой будет бежать впереди их дальних дорог».

И чтобы сбылись эти честолюбивые замыслы, Родион вкладывал в каждого курсанта все свои знания и любовь к машинам. Надежды Родиона Карташа сбылись даже раньше, чем он предполагал, слава мартовской школы перешагнула границы Казахстана.



Мартовским шоферам передалась страстная любовь учителя к машинам, его поразительное чутье на малейшую неисправность. На Кавказе говорят: «Джигит прежде заботится о коне, затем уже о себе». Сказанное можно было с полным основанием отнести к мартовским водителям. Машины их, всегда свежеевыкрашенные, с аккуратно выписанными номерами, начищенными зеркалами, дополнительными подфарниками, выглядели словно на смотре.

Часто застрявший в ночи на обочине шофер молил судьбу, чтобы мелькнули фары машин именно мартовских шоферов. Эти не проедут мимо, и всегда у них найдется и трос, и запасное колесо, и другие запчасти. А если надо, дотянут до первого села или переберут все нутро машины, чтобы двинулась собственным ходом. Шоферский закон: «Не бросай в беде товарища» — карташевцы соблюдали строго.

В первые же годы богатых целинных урожаев мартовские шоферы побили все рекорды республики по вывозу зерна. Первые автопоезда из прицепов пришли по душе в Марте, и в центральной печати замелькали портреты мартовских капитанов хлебных караванов. А в тенистых аллеях школы, в скверике и розарии, разбитом первыми выпускниками, готовилась к экзаменам очередная группа юношей.

В красном уголке школы, где проводились торжественные собрания и вручались дипломы, висели портреты знаменитых выпускников. Были среди них два Героя Социалистического Труда, а в центре в траурной кайме висела фотография улыбающегося юноши в солдатской форме. Это он ненастной осенью ночью вывел с переполненного аэродрома загоревшийся бензозаправщик.

Возвращаясь с молодой женой из гостей, пересекая центральную площадь райцентра, Родион шутя, но не без гордости иногда говорил: «Вот здесь Март поставит мне памятник». И Март не забывал заслуг Карташа — избрали его в поселковый Совет, был он и членом райкома партии.

Щедра оказалась целинная земля, и осенью шестидесятого разродилась таким урожаем, что справиться ни мартовским шоферам, ни шоферам всей области было не под силу. Вновь потянулись в Март на уборку со всех концов страны составы с машинами и водителями.

До поздней осени круглосуточно вывозили зерно на элеваторы близлежащих городов и селений, грузили прямо в составы на железнодорожных путях, так много уродилось хлеба! А с первым снегом за станцией Март на пустоши в целый гектар выстроились тысячи разных машин.

Шоферов задерживать не стали, свое они отработали с честью — с честью и проводили.

Райком снова обратился за помощью к Родиону Карташу. Как привести в порядок сотни машин, как перегнать эту армаду на станции близлежащих городов, как организовать их быстрейшую отправку? И тут Родион обнаружил прямо-таки государственный ум. Он убедил районное и областное начальство, что нет смысла возвращать машины владельцам. Гораздо выгоднее иметь в Марте, на стыке двух республик, мощную автобазу, благо, кадры найдутся на месте. Вскоре в степи за станцией выросла невиданная в здешних, да и не только в здешних, местах мощная автобаза, директором которой стал Родион Карташ.

Автошкола обрела нового директора, но по-прежнему называли ее карташевской. Родион ревниво следил за своим детищем, заботясь о ее нуждах, направляя развитие школы по лично разработанному плану.

Создание огромной автобазы, оснащенной современным оборудованием, с многоярусными подземными гаражами, полуавтоматическими линиями сборки, просторными механическими и кузнечными цехами, охваченными диспетчерской радиосвязью, далось Карташу нелегко. И как-то незаметно для окружающих он вдруг погрузнел. Некогда буйная, растрепанная шевелюра изрядно поредела, а виски густо покрыла седина. Его вездесущая серая, неприглядная снаружи «Волга» с бесшумными дверцами, мощным мотором, оснащенная радиосвязью, была знакома каждому жителю Марта. Родион Ильич никогда не пользовался положенным по штату личным шофером, разве что за его машиной постоянно следил дед Бахмут, из первого, памятного для Родиона выпуска.

Из тех, кто окончили курсы в конюшне колхоза «III Интернационал», на автобазе работало человек сто. В большинстве своем они стали теперь начальниками колонн, механиками, завгарами, но были среди них и шоферы. Родион никогда не скрывал своей симпатии к ним и говорил: «Моя старая гвардия!» Они были опорой Родиона в полуторатысячном коллективе. С ними Родион часто держал совет, и во всех его начинаниях впереди шла старая гвардия.

Когда в стране было решено ввести профориентацию в школах, в Марте сразу и единодушно постановили готовить водителей. Родион Ильич, заранее предвидя выгоду, с присущей ему энергией и знанием помог поставить дело в школах. Практику ребята



проходили на автобазе, а председателем экзаменационной комиссии был сам Родион Ильич. Карташ смотрел далеко. Сколько бы ни выпускала шоферов его школа, могучая автобаза требовала их все больше. Уж слишком далеко ушли дороги его машин: пятьсот мартовских самосвалов работали в Средней Азии, отсыпали автодорогу Ташкент — Алмалык, две колонны возили крепежный лес из Башкирии на шахты Караганды; другие перевозили алтайский хлеб и руду Темиртау, гурьевскую соль и даже скот доставляли на мясокомбинаты Семипалатинска. И когда колонна возвращалась в Март, своим ходом или по железной дороге, приходили зачастую по одному к Карташу неловко переминавшиеся с ноги на ногу не больно разговорчивые мартовские шоферы: «Отпусти, Ильич, по душе жизнь в Башкирии: лес, река...» А то говорили: «Жениться хочу, Родион Ильич, отпустите...»

— Такова жизнь: спасибо и на том, что самовольно машин не оставляют в далеких краях,— говорил Родион Ильич и продолжал готовить шоферов не только для своей автобазы.

С годами Март разросся, стали поговаривать, что будет он называться поселком городского типа. Появилось много новых предприятий. Рядом с автобазой выросли три параллельные улицы с двухэтажными коттеджами. Автобаза утонула в зелени: весной душно цвела сирень, летом сладко благоухали чайные розы.

— Зачем такую красоту развел, ведь не парк культуры? — спрашивали заезжавшие коллеги-директора.

— Специфику работы понимать надо. Хлопцы за тысячи верст от базы работают, а дом вспоминают. Так пусть помнится красота. Немало автобаз повидают в дальних краях, больше гордости будет за свою,— отвечал Родион Ильич. И два штатных садовника исправно несли службу.

Особых развлечений жители Марта не имели: три кинотеатра, где изредка выступали заезжие гастролеры, вот, пожалуй, и все.

Но если не упомянуть о стадионе — значит, исказить истину. Дело в том, что в Марте было еще одно поприще, где можно было завоевать любовь и признательность односельчан, даже не выигрывая авторалли по Скандинавии.

Футбольные матчи и лыжные гонки собирали не только мужскую половину Марта. Почему футбол и лыжи? Право, объяснить это трудно. Хотя в Марте были неплохие легкоатлеты, велогонщики, борцы, но сердца мартовцев по-настоящему занимали лишь футбол

и лыжи. Любое, самое маленькое предприятие Марта имело футбольную команду, окрестные колхозы и совхозы тоже выставляли команды на осенний и весенний розыгрыши кубков. Успехи футбольных коллективов поднимали престиж предприятий, и потому матчи отличались особым накалом.

Родион Ильич долго не разделял страстей своих земляков. Уже будучи директором громадной автобазы, без особой гордости принимал он поздравления, когда команда «Водитель» выигрывала первенство района или кубок. Не вызывали у него огорчения и проигрыши команды, и потому особенно не любил Родион Ильич, когда просили освободить шоферов для очередных игр.

Но однажды Родион Ильич по ранней весне отдыхал в Лазаревском, что под Сочи. Ранняя весна и поздняя осень — единственное время отдыха для крупных администраторов, хозяйственников. В санатории Родион Ильич был окружен директорами заводов, управляющими строек, начальниками всевозможных управлений. С утра, приняв процедуры, они спешили на стадион. Дело в том, что весной в Лазаревском тренируются многие футбольные клубы страны. Поначалу Родион Ильич ходил с отдыхающими на стадион просто так, за компанию.

Когда сосед по палате, директор одного из украинских заводов, пригласил Родиона Ильича к своим знакомым, киевским динамовцам, и Карташ стал ездить на предсезонные игры в соседние приморские городки в автобусе с футболистами, директор мартовской автобазы был уже в плену этой захватывающей игры. Как и всякая поздняя любовь, любовь к футболу оказалась страстной и всепоглощающей. Теперь Родион Ильич внимательнее прислушивался к разговорам коллег, и день ото дня крепла уверенность: будет и у него команда не хуже, чем, положим, у директора консервного завода или у директора мясокомбината...

Вернувшись в Март, Карташ с присущими ему энергией, энтузиазмом, а теперь любовью и знанием футбола (а кто не считает себя знатоком футбола!) взялся за свою команду «Водитель».

Первое же появление Родиона Ильича на мартовском стадионе не осталось незамеченным. Но и Карташ опытным взглядом хозяйственника увидел недостатки стадиона. Нестандартное, без травяного покрова поле, отсутствие раздевалок и душевой для команд. Всего три ряда скамеек вокруг поля. Голый, без зелени стадион разочаровал директора автобазы. И тут Родион Ильич вспомнил



архитектора из области, который уже второй год просил «устроить» мотор для личной «Волги» и не прочь был сменить кузов.

Архитектор обрадовался неожиданному звонку. Разговор Карташ завел издали: трудно, мол, нынче архитекторам, почти невозможно выразить себя — проектные институты, творческие группы, а сидит в каждом мечта создать что-то свое. Архитектор, задетый за живое, соглашался.

И Родион Ильич, как и всякий деловой человек, решил не затягивать разговор и объяснил, что поможет осуществить голубую мечту и к тому же намерен исполнить давнюю просьбу архитектора. Для этого от архитектора требовалось одно — сделать проект небольшого стадиона.

То ли повезло Марту, то ли Карташ действительно безошибочно определял людей способных, архитектор оказался человеком небесталанным. Вместе с Карташем они выбрали место для стадиона, и к осени проект был готов.

За автобазой, в большом молодом парке, бережно пересадили часть деревьев, и внутри парка началось строительство футбольного стадиона. Не одно взыскание получил Родион Ильич, пока велось строительство, но стадион вышел на славу!

С годами подросли деревья в парке, и стадион стал излюбленным местом отдыха. Был теперь у команды автобазы свой стадион и условия для тренировок получше, чем у многих других, а вот особенными победами «Водитель» похвалиться не мог — в футбол мартовцы играть не умели.

Чернее тучи ходил Родион Ильич, когда в финале первенства или розыгрыша кубка местного значения футболисты какого-нибудь элеватора или лесхоза, штатом-то всего в триста человек, побеждали команду его автобазы. Зачастую «Водитель» проигрывал оттого, что лучшие игроки находились в дальних рейсах, а достойной замены не было. Постепенно у «Водителя» сформировались первая и вторая сборные, несколько юношеских. Теперь при случае можно было выставить равный во всех линиях состав. Все реже Карташ стал отправлять в дальние рейсы тех, кто мог на поле повлиять на судьбу футбольного матча. Нередко оказывалось, что лучший игрок другой команды вдруг переходил на работу в автобазу.

В финале осеннего кубка района «Водитель», с трудом отбивавшийся весь матч, в единственной контратаке второго тайма забил гол «Кооператору». Вратарь Николай Цихмистро по кличке Сова

пропустил безобидный мяч. А через два месяца он перешел на работу в автобазу и сразу получил новую машину. И хотя на улицах уже лежал снег, события финального матча ожили у мартовцев перед глазами, словно это было вчера. По Марту пошли пересуды.

В приемной и в просторном кабинете директора автобазы вдоль стен стояли аккуратные стеллажи, сделанные местным столяром-краснодеревщиком по эскизам Родиона Ильича. В стеллажах выстроились всевозможные кубки: хрустальные, бронзовые, потемневшего серебра, крытые никелем. Висели вымпелы: нарядные, шитые золотом и попроще, грамоты и фотографии в рамках из светлой вишни. Гости автобазы, прикомандированные инженеры, члены всяких комиссий, бывая у директора, непременно говорили:

— Родион Ильич, да у вас все кубки, вам и завоевывать-то больше нечего!

Карташ любезно соглашался, но лишь только за посетителями закрывалась дверь, на лицо его набегала тень. Иногда ему казалось, что они сознательно бьют его в больное место. Откуда им было знать, что у директора автобазы была заветная мечта — добыть еще один кубок. Этот более чем полуметровый хрустальный кубок не выходил у него из головы с той самой минуты, когда он, раскрыв газету, увидел снимок: счастливые обнявшиеся футболисты, растерянное лицо тренера, еще не осознавшего, что все позади, и гордая улыбка директора завода, того самого, консервного, вскинувшего над головой тяжелый хрустальный приз. Под снимком несколько слов о заводе, директоре, чьи футболисты прошли столь тернистый путь до победы. Шутка ли, в борьбе за почетный приз участвовало двенадцать тысяч команд! Да, Родион Ильич надеялся, что когда-нибудь его «Водитель» выиграет кубок СССР для коллективов физической культуры. Мечтой своей Карташ ни с кем не делился, даже с футболистами. Путь долгий и трудный, на годы. Кубок СССР в Марте? На такое мог замахнуться лишь Родион Карташ.

В зоне отдыха рабочих автобазы у Чудных озер вырос еще один двухэтажный коттедж. Над входом висела искусно вырезанная фигурка футболиста, а зимой — лыжника, изогнувшегося в вираже. Рядом построили футбольное поле, теннисный корт. Что-то наподобие спортивной базы возникло в зоне отдыха. Родион Ильич знал лично всех футболистов, игравших и в юношеских командах «Водителя», и во взрослых, не говоря уже о тех, кто играл за сборную автобазы. О том, чтобы посылать их в дальние рейсы, теперь не могло быть и речи.



«Новая гвардия», — называли с иронией футболистов на автобазе. Старые друзья часто говорили Карташу, что футболисты злоупотребляют его любовью. Но поздняя любовь слепа, и Родиону Ильичу не нравились жалобы на игроков.

Когда «Водитель» попал на финальный турнир розыгрыша кубка СССР в своей зоне, Родион Ильич сопровождал команду сам. В турнире «Водитель» занял последнее место, а ведь это был лишь финал одной из двадцати зон. Видел Родион Ильич: в составах большинства команд на ключевых позициях играют бывшие игроки класса «Б», а то и высшей лиги. У команд квалифицированные тренеры.

Но неудача не остудила пыл Родиона Ильича.

В первое же воскресенье после возвращения «Водителя» из бесславного турне в Марте прошли две полуфинальные игры осеннего кубка. В первом матче игроки «Водителя» забили в ворота противника пять безответных мячей. В другом матче случилось непредвиденное — «Локомотив», беспорный фаворит, проиграл, и проиграл по всем статьям, команде местной средней школы номер три.

Финальный матч, назначенный на следующее воскресенье, ждали с большим интересом, только о нем и шли разговоры.

Проигрыш «Водителя» в кубке СССР для коллективов физической культуры был забыт. Смогут ли юные, быстрые, играющие с задором школьники выиграть у опытной команды района? Мнения разделились.

В воскресенье на переполненном стадионе автобазы кипели страсти. Юность, дерзания всегда вызывают симпатии болельщиков, и у школьников их оказалось, пожалуй, больше, чем у «Водителя», что случалось в Марте крайне редко.

«Вот она, моя будущая команда!» — присматриваясь к школьникам, думал Родион Ильич, хотя уже к концу первого тайма со счетом 2:0 вели футболисты его автобазы.

Наблюдая за игрой, Родион Ильич впервые не волновался ни за своих любимцев, ни за кубок, который они могли и не выиграть. Глядя на разворачивающиеся события, Карташ чувствовал, что школьники, несобранно начавшие матч и моментально наказанные опытными игроками, вот-вот «поймают» свою игру, и защита его «Водителя» не справится с маневренной и изобретательной игрой нападения.

Наблюдавший немало матчей и уже не дилетант в футболе, Родион Ильич впервые видел столь неожиданные и, казалось бы, нелогичные решения в атаке.

От этой-то нелогичности стала в тупик защита «Водителя». Порою школьники закручивали такую карусель в штрафной площадке противника, что Родион Ильич невольно сравнивал нападение команды мартовской средней школы с хорошим джаз-оркестром, где импровизация любого инструмента стройно вплеталась в общую мелодию, где каждому предоставлялась возможность солировать, развивая и углубляя тему.

Не по годам рослые, выносливые ребята приняли навязанный «Водителем» высокий темп, и когда при счете 2:2 водители пытались сбить атаки жесткой игрой, школьники не дрогнули.

Предчувствие Карташа не обмануло, его команда была бессильна противостоять шквалу атак школьников. На последних минутах игры их капитан Хамза Кадыров, совершив сольный проход, прошел всю защиту «Водителя», выманил из ворот Сову и легонько вкатил мяч в пустые ворота. 3:2!!! Три гола центрального нападающего школьных футболистов впервые за последние годы лишили автобазу осеннего кубка.

В раздевалке водителей стояла гнетущая тишина, футболисты, отдавшие все борьбе, не находя сил стянуть мокрые и грязные футболки, исподлобья поглядывали на дверь. Иным уже виделись суровые зимние дороги на Семипалатинск. Вдруг скрипучая дверь распахнулась, и вошел улыбающийся Родион Ильич.

— Что за похоронное настроение? Вот не думал, что вы такие жадные. Пусть молодежь сегодня порадует, а то играть вам скоро не с кем будет. Банкет, который я самоуверенно заказал на Чудных озерах, не отменяется. Гости при параде, правда, немного сконфуженные, но не расходятся. Так что живо собирайтесь, жду вас в автобусе.

Футболисты, знавшие крутой нрав Родиона Ильича, недоумевая, заспешили в душевую.

Наутро Карташ, едва закончив планерку, придвинул к себе микрофон:

— Наталья Павловна, разыщите мне Кравцова.

Механик Кравцов из года в год ведал в профсоюзе спортивно-массовой работой, за «Водитель» радел не меньше, чем Родион Ильич. Сергей Никифорович, услышав по радио, что его вызывают к директору, скинул халат, протер ветошью руки и, переглянувшись с находившимися рядом шоферами, нехотя двинулся к конторе.



В кабинете директора находился бухгалтер, принесший бумаги на подпись, и Кравцов потихоньку уселся в глубокое кресло в углу у кондиционера.

— Как вчерашняя игра, понравилась? — спросил Родион Ильич, лишь только бухгалтер прикрыл дверь.

«Так и знал», — подумал Сергей Никифорович и ответил:

— Не узнал школьников, и в прошлом году они играли в этом составе, а нынче — прямо московский «Спартак», ничем не оставишь. А капитан у них, ну, прямо бери и — в класс «А». Высший пилотаж, как говорят у меня в колонне.

— Что ж, я очень рад, что мнения наши совпали. У меня к вам просьба. Кажется, в третьей школе автодело ведете вы?

— Да, они учатся у меня, — сказал Сергей Никифорович.

— Пожалуйста, постарайтесь собрать сведения о команде: что за ребята, их увлечения, чем собираются заняться, все-таки выпускники. Недели хватит? — спросил Родион Ильич, вставая из-за стола.

Ровно через неделю после обеда Карташ долго беседовал с Сергеем Никифоровичем. Оказалось: ребята из двух параллельных десятых классов играют третий сезон. Особые увлечения? Конечно, автомобили! Мечтают после школы попасть на автобазу, поначалу хотя бы в слесари, но до армии хотели бы сесть за руль. Только один в команде, вратарь Коля Дмитриенко, давно увлекся юриспруденцией и собирается поступить в университет, за что в школе прозван Прокурором. У семерых родители с автобазы. Отец капитана команды работает на мойке, а остальные — на машинах.

«Вот она, команда, которая добудет мне кубок!» Директор мысленно уже видел этих ребят тренирующимися на базе в Чудных озерах под руководством опытного специалиста. Он знал, что создаст им самые благоприятные условия для работы и игры.

Увлечение Родиона Ильича, однако, нисколько не отразилось на работе. Автобаза считалась в области одной из передовых, колонны, работавшие в дальних краях, перевыполняли планы перевозок, и в Март, в адрес руководства, шли благодарности. На текущий счет автобазы набегали немалые премии за досрочно пущенные объекты, за своевременно доставленные сотни тысяч тонн грузов, за победы в социалистическом соревновании.

О новых планах директора едва ли кто, кроме Кравцова, догадывался. Переговорить с юношами Карташ не доверял даже Кравцову,

ждал весны. Родион Ильич надеялся, что весной, когда выпускники придут на практику на автобазу и будут сдавать вождение, представится удобный момент для разговора. Но случай представился неожиданно и даже раньше, чем он предполагал.

В апреле, накануне майских праздников, он вернулся из области. В приемной Кравцов, раздвинув стекла стеллажей, что делалось крайне редко, показывал ребятам спортивные трофеи автобазы. Родион Ильич искренне обрадовался мальчишкам и, широко распахнув двери кабинета, пригласил их к себе.

Просторный уютный кабинет, сверкающие призами стеллажи словно заворожили ребят. Но радушие хозяина кабинета, поданный секретаршей чай в ажурных подстаканниках быстро растопили атмосферу неловкости, возникшую поначалу при появлении директора. Вскоре Кравцов ушел, а Родион Ильич все беседовал с ребятами: о машинах, об автобазе, о футболе. Оказалось, что и они болеют за московский «Спартак». Неожиданно Родион Ильич спросил:

— А тайны вы хранить умеете?

— Умеем,— нестройно ответило несколько голосов.

— Не все, значит...— улыбаясь, сказал Карташ.

— Умеем! — твердо, в один голос ответила команда.

— Вот так мне нравится больше,— сказал директор и склонился над микрофоном: — Наталья Павловна, попросите, пожалуйста, чтобы подали автобус к конторе, водитель не понадобится.

Вскоре подали автобус, и Родион Ильич пригласил всех в машину. Ребята, предчувствуя что-то занятное, весело заняли места. Директор сел за руль, улыбнувшись, обвел взглядом салон и сказал:

— Поехали!

Автобус долго петлял между корпусами автобазы, миновал зеленую зону и остановился у боксов, прижатых к глухому забору. Когда ребята сошли, Родион Ильич нетерпеливым жестом пригласил их с собой, и они зашагали к самому крайнему строению. Директор осмотрел пломбу на двери, аккуратно сняв ее, открыл замок.

В боксе пахло пылью и сыростью. Подслеповатое оконце, затянутое паутиной, не пропускало свет, и Родион Ильич, включив освещение, пригласил застывших на пороге ребят пройти внутрь.

Перед ними в ряд, словно на линейке, стояли пятнадцать новеньких голубых самосвалов.

— ЗИЛы — пятьсот пятьдесят пятые,— сказал кто-то шепотом.



Словно и не было запаха пыли и плесени, мальчики вдруг ощутили, как пахнет свежая краска, услышали запах шин, новенькой кожи сидений. Крытые никелем фары машин, поблескивая тонким слоем смазки от коррозии, глядели в упор на зачарованных ребят.

Родион Ильич, отойдя в глубину бокса, наблюдал за ними. Вдруг он сказал:

— Вот это и есть моя тайна. На следующий же день после выпускного бала можете приходите на базу — они ждут вас! — и Карташ, выйдя из тени, открыл дверцу ближайшего самосвала.

— Это наши машины? — чуть ли не в один голос воскликнули ребята и бросились к директору.

Кто-то первый сел в кабину и крикнул:

— Машина с краю — моя!

Вмиг были разобраны и остальные.

Родион Ильич незаметно покинул бокс и, вернувшись в автобус, стал дожидаться ребят. Ждать пришлось долго, и он нажал на сигнал.

Когда счастливые школьники шумно заполнили салон автобуса, Родион Ильич сказал:

— До самого последнего школьного дня это тайна, договорились?

Радуюсь и считая, что вопрос с командой улажен, Карташ целыми днями не покидал свою серую служебную «Волгу». Автобаза готовилась к весеннему техосмотру. Почти каждый день директор ездил в областное управление ГАИ. Две большие автоколонны должны были как можно раньше отбыть на Мангышлак. Звонки с полуострова не давали покоя Карташу ни днем, ни ночью. Прошлым летом там работала мартовская комсомольско-молодежная колонна: отсыпали новые дороги, доставляли нефтяникам оборудование, возили песок и гравий на домостроительные комбинаты. В безводных и бездорожных степях Мангышлака самыми безотказными оказались мартовские машины и их водители, потому ждали их там с нетерпением. Родион Ильич вновь отправил комсомольско-молодежную колонну. А второй — ту, в которой работала его «старая гвардия», вопрос о соревновании между ними был решен в Марте. К удовольствию обеих колонн, директор решил потряхнуть стариной и на десятитонном МАЗе повел колонны сам.

Когда отцвела сирень-черемуха, а в степи начали выгорать травы, с первыми знойными ветрами, гонцами сухого лета, вернулся Родион Ильич в Март. А тут и радость подоспела. По итогам Всесоюзного

социалистического соревнования первого квартала одно из переходящих Красных знамен ВЦСПС и крупная денежная премия были присуждены коллективу мартовской автобазы.

В зоне отдыха на Чудных озерах готовили комнаты для гостей. На территории наводили лоск, на митинг, посвященный торжественному событию, пригласили семьи рабочих.

Рыбалка, купание на озерах, гуляние в парке — все было предусмотрено директором, однако ему казалось, что для такого торжественного случая чего-то не хватает. И вдруг в канун праздника Карташа осенила идея: нужно организовать футбольный матч. Рабочий день клонился к концу, и пригласить какую-либо команду на игру уже было невозможно. И Родион Ильич вспомнил о ребятах из МСШ-3. Вот кто ему нужен! Он попросил диспетчера вызвать слесаря Звонарева, сын которого Геннадий играл в команде центральным защитником.

Звонарев за долгие годы работы на автобазе был в кабинете директора впервые. Смущаясь своего промасленного комбинезона, задержался на пороге.

— Да вы проходите, Савелий Степанович, садитесь,— пригласил Карташ.

Когда Звонарев неловко уселся на краешке кожаного кресла, Родион Ильич спросил:

— Гена ваш сейчас дома?

— Да где ж ему быть, дома, конечно. Завтра в школе у них выпускной вечер, готовится.

— У меня к нему срочное дело, а я не знаю, где вы живете, может, вы со мной в машине проедете?

— Отчего же не поехать, Родион Ильич, коль надо.

Карташ договорился с Геннадием, что завтра тот соберет команду, и в последний раз в форме МСШ-3 они выйдут на поле против «Водителя».

На другой день в Марте только и было разговоров об утреннем митинге на автобазе, где почетный гость из Москвы вручил Карташу шитое золотом знамя. И футбольный матч явился как бы продолжением праздника. На стадионе работали буфеты, продавали пиво, у входа выстроились в ряд несколько автолавок.

Футболисты из МСШ-3 собрались на стадионе, как и договорились, за час до матча. «Водитель» еще не подъехал, и раздевалки были закрыты, поэтому ребята стояли в тени и оживленно говорили



о сегодняшнем выпускном вечере. Форма и бутсы, завернутые просто в газетку или в хозяйственной сумке, лежали рядом на поломанной скамье. Со стороны они едва ли напоминали футбольную команду. Неожиданно ребята почувствовали оживление на стадионе и повернулись на шум. На стадион медленно въезжали три львовских автобуса, в первом они без труда узнали машину, на которой постоянно разъезжала команда «Водителя».

— Они вчера поздно вечером уезжали на свою спортивную базу и сейчас прямо с озер,— сказал кто-то из ребят.

Автобус остановился недалеко, и из салона начали выходить футболисты в синих спортивных костюмах из эластика, у каждого в руках яркая вместительная дорожная сумка. Сразу у автобуса собралась оживленная толпа, слышались шум, смех. Последним сошел вратарь Сова. Он, улыбаясь, догнал мальчишек, вынесших из этого же автобуса ящик с запотевшими, видно, только из холодильника, бутылками минеральной воды, и, взяв одну, ловко перекинул своему приятелю Пантелею Палому, которого в Марте называли Пэпэ. В руках у Пэпэ был флажок бокового судьи. Во внешности вратаря «Водителя» не было ничего свиного. Высокий, стройный, с крупным и открытым лицом, по-девичьи большими, чуть навывкате карими глазами, с крутыми смоляными, сошедшимися на переносице бровями, он получил свое прозвище еще в детстве. За что, никто теперь уж не помнил.

Равного ему вратаря в Марте не было и не предвиделось. Во время того злополучного зонального турнира на кубок СССР Родион Ильич, который сам сопровождал тогда команду, видел, что и там Сова был надежнее и увереннее всех вратарей. И его откровенно переманивали в другие команды, суля всяческие блага, но Николай без колебания отверг все предложения. Вне Марта он жизни себе не представлял.

Футболисты автобазы, сопровождаемые поклонниками, прошли в раздевалку, теперь из раскрытых настежь дверей лилась мелодия. Это включили магнитофон, подарок Карташа команде. Кто-то вывел посторонних из раздевалки и коридоров, и только тогда школьники прошли к себе.

Родион Ильич, приехавший в одном из двух автобусов с гостями и администрацией автобазы прямо с озер, был весел и выглядел нарядно. «Все идет прекрасно»,— думал он, оглядывая переполненный стадион. То и дело к нему подходили знакомые, друзья и поздравляли с заслуженной наградой. Неожиданно у него мелькнула тревожная мысль, и, извинившись, он отошел от собравшейся вокруг него группы.

Приближаясь к служебному корпусу, Родион Ильич услышал голос Совы, то и дело перебиваемый дружным смехом. В раскрытых дверях раздевалки «Водителя» стоял Кравцов и что-то объяснял центральному защитникам.

Коридор, судейская — все потонуло в запахах камфарного масла и растираний. Стучали мячи... Кто-то, высоко выпрыгивая, тяжело опускался на деревянный пол...

Родион Ильич решительно распахнул дверь раздевалки с надписью «Гости», и тут же ему пришлось сыграть головой — прямо в него летел мяч.

Разминавшиеся футболисты дружно повернулись к неожиданному гостю. Карташ как-то рассеянно поздоровался с ними и, обращаясь к сидевшему напротив Звонареву, торопливо сказал:

— Гена, надеюсь, вы понимаете, что школа — пройденный этап, завтра вы получите обещанный сюрприз, и престиж автобазы должен быть для вас главным. Сегодня, так уж получилось, в игре равных победа должна быть за «Водителем», у нас большие гости, праздник...

— Ясно, Родион Ильич, не беспокойтесь, все будет как по нотам,— ответил Звонарев.

— Ну, вот и хорошо,— как-то устало выдавил из себя Карташ и поспешил из раздевалки.

Секунду в комнате стояла гнетущая тишина.

— Звонарь, что означает обещанный сюрприз? — спросил Прокурор.

— Тебя это не касается.

— В таком случае ты, может, объяснишь, что означает «все будет как по нотам»?

Защитник поднялся во весь свой каланчовый рост и, обращаясь к вратарю, ответил:

— Ясно как день, играть нужно почти по бразильской системе, забивать на гол меньше, чем противник.

— На меня можете не рассчитывать, я в поддавки играть не умею,— сказал Прокурор, забирая из-под чьих-то ног мяч, и двинулся к двери.

Выходя в коридор, он успел переглянуться с Булатом Исановым, с которым дружил с детства. Прокурор был уверен, что даже если вся команда решит отдать игру, центральный защитник приложит все силы, чтобы прикрыть ворота.



— Ветер жизни бьет в лицо с разбегу,— хихикнул огненно-рыжий Яшка Мартенс, весельчак и балагур в команде.

Но никто даже не улыбнулся. Молчание прервал Звонарь.

— А самосвалы, на которые мы завтра сядем, думаете, за красивые глаза он нам дает или за твои рыжие кудри, Яшка? Что, желających сесть на них не найдется? Да в эту осень до самых снегов вывозили хлеб из Домбаровки, сколько машин побилось. Парторг хлопотал о самосвалах для передовиков, но хозяин сказал: «Забудьте про машины, их не существует, это мой личный резерв». А знаете, чего он хочет? Выиграть новое хрустальное ведро, помните, уже замахнулись на него прошлой осенью, да руки оказались коротки. Какое нам дело до его тщеславия, машины он нам дает, а уж если выиграем эту роскошную плевательницу, наверняка получим, когда надо будет, квартиры в коттеджах.— Игорь вытер вспотевшую от волнения шею.

— Противная у тебя философия,— сказал Булат и тоже потянулся к выходу.

Еще не успела закрыться за ним дверь, как все повернулись к капитану. Хамза от неожиданного внимания встал.

— Чего вы ждете от меня? Это не школьное собрание, где нам подавали готовое решение и оставалось скопом проголосовать. Это уже жизнь, и решение должен принять каждый сам. Что касается меня, Звонарь, можешь не рассчитывать. А как остальные, не знаю... Игра покажет, кто какое принял решение.

В коридоре раздался свисток судьи. Пора! В раздевалке еще с минуту стояло тягостное замешательство.

— Вы не слышали свистка? — спросил возникший на пороге судья.

— Привет, Лимонадный Джо,— сказал судье Геннадий и, проходя, фамильярно обнял его за плечи.

Судья Джемал Читаури заведовал в местном промкомбинате лимонадным цехом и не обижался на прочно приставшее к нему прозвище.

Команда молча построилась за воротами и по сигналу судьи без обычных шуток побежала к центральному кругу для приветствия.

Хамза бежал впереди команды, и путь, который он проделывал, не замечая, десятки раз, сегодня показался ему бесконечно долгим. Он успел разглядеть переполненный стадион, увидел, как много на трибунах девушек в белых платьях — во всех трех школах сегодня выпускные вечера. Успел заметить даже отца с соседом, невдалеке от углового флага.

Свисток. Хамза откатил мяч назад, вправо Звонарю, получил обратный пас и рванулся вперед... Матч начался...

Прошло больше половины первого тайма, пока Хамза понял, что их пятеро. Странная сложилась игра. В футболе не возбраняется переговариваться между собой по ходу матча, подсказывать, но футболисты МСШ играли молча. Какая-то нервная обстановка царила на поле.

Водители понимали, что школьники непременно хотят выиграть матч, ведь у них тоже праздник — выпускной вечер, и потому прибавили скорости, стали играть плотнее в штрафной площадке. Молчание, царившее в стане противника, раздражало водителей, постепенно и они перестали переговариваться. Лишь изредка над штрафной взлетал истеричный голос Совы:

— Взять Хамзу!

Гнетущая тишина, перебиваемая тяжелым прерывистым дыханием, жесткими ударами по мячу и гортанными вскриками выпрыгивающих в борьбу за высокие мячи, стояла над полем. Шло время, а на табло значились нули. «Водитель» организовывал атаку за атакой, сегодняшний матч нужно было выиграть непременно.

Оттягиваясь назад, Хамза видел, как потемнели фиолетовые футболки двух центральных защитников — Булата и Володи Колосова. Лишь только мяч попадал к ним, они мгновенно отыскивали на поле Яшу Мартенса и его. В глазах молчаливых защитников Кадыров словно читал: «Все в порядке, капитан, мы выстоим — дело за тобой...»

В конце тайма «Водитель» подавал угловой.

На прострел выпрыгнули несколько игроков, а выскочивший из ворот Дмитриенко, пытаясь кулаком отбить мяч, промахнулся. Булат, выигравший воздушную дуэль, неожиданно «срезал» мяч в свои пустые ворота.

Начали с центра. Хамза откинул мяч чуть назад, влево Мартенсу, и рванулся вперед. Темная от пота, его футболка мелькнула среди белой формы водителей и уже оказалась в штрафной площадке. В последнюю секунду, сделав ложное движение для Совы, капитан собирался пробить в противоположный угол ворот, и тут защитник, от которого он только ушел, откровенно снес его. К штрафной бежал Лимонадный Джо, а глаза школьного капитана кричали: «Пенальти!»

Судья помог встать Кадырову и показал — удар от ворот. Весь вид судьи говорил: знаем мы, как назначать пенальти в ворота «Водителя». Он еще не забыл, как прошлым летом после пенальти,



назначенного в ворота футболистов автобазы, не пришли заказанные на понедельник машины. И пропало сто двадцать ящиков. Лимонад — продукт скоропортящийся.

Раздался свисток на перерыв, и футболисты молча разошлись по раздевалкам. Хамза снял футболку и выжал ее, пройдя в душевую, подставил голову под освежающую струю воды. В раздевалке никто не разговаривал. Он молча откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, дожидался свистка на игру. Запекшиеся губы шептали: «Родион Ильич, зачем вы пришли к нам в раздевалку, ведь мы вам так верили?! А теперь мы не имеем права проигрывать... Понимаете, не можем проиграть!»

Вдруг кто-то тронул его за плечо. Перед ним стоял Прокурор и протягивал стаканчик с чаем.

— Попей, капитан, и пошли — пора!

Едва начался тайм, длинным диагональным пасом Хамза вывел Мартенса в прорыв. В тот же момент, когда он, опередив защитников, вышел на ударную позицию, боковой судья Пэпэ, размахивая флагом, вбежал на поле — он усмотрел положение вне игры.

Гол, забитый школьниками в свои ворота, явно не устраивал «Водителя», игроки команды автобазы жаждали убедительной победы и шли вперед. Чувствуя свою вину за опрометчиво покинутые ворота, Прокурор сегодня был неузнаваем. Все его выходы на верховые мячи, прострелы были своевременны и безошибочны. Не раз стрелой вылетал он из ворот и отчаянным броском в ноги спасал почти безвыходное положение.

Форварды «Водителя» удивленно разводили руками: заколдованные ворота.

Едва лишь мяч попадал к Хамзе, как он пытался поддержать его подольше с тем, чтобы дать перевести дух вратарю и защитникам. Нелегко приходилось и ему самому. Только он переходил на чужую половину поля, его встречали уже трое: один атаковал, двое подстраховывали.

Отходя назад, капитан видел, как мечется в штрафной обессиленный Булат, как, прихрамывая, отбивается Володя Колосов.

«Я должен забить, должен забить!» — упрямо шептал Хамза, то и дело врываясь в штрафную площадку «Водителя», но и Сова играл безупречно.

Вновь водители прижали МСШ к воротам, и угловые следовали один за другим. Мартенс, прикрывая ближнюю штангу, придерживаясь рукой за стойку ворот, шепнул капитану:

— Хамза, не могу больше, я сейчас упаду...

— Держись, Яша! Ни падать, ни проигрывать нельзя!

Последовал мощный прострел вдоль вратарской площадки, и Прокурор стремительно вылетел из ворот, но стоявший за штрафной Хамза успел заметить: засиделся Коля.

Да, чуть промедливший с выходом из ворот вратарь не успел на перехват, рослый центрфорвард «Водителя» в толчее все-таки успел протолкнуть мяч, и он медленно катился в пустые ворота...

Справа, в углу штрафной площадки, лежал сбитый своим вратарем Булат, прихрамывающий Колосов отчаянно рванулся к воротам. Инстинктивно кинулся и Хамза, но Звонарь опередил всех, достал мяч у самой лицевой линии и спокойно откатил его вскочившему Прокурору.

— Вышли все из зоны — дальше, дальше! — раздался властный голос Звонаря. — Пошли вперед, вперед, а ты, Коля, выбей подальше, — и он побежал к центральному кругу, увлекая за собой товарищей.

Напрасно Пэпэ размахивал флагом. Умудренный жизненным опытом, Лимонадный Джо понимал: школьников теперь не остановишь. С первой же атаки на табло появилось 1:1. Рядом с Прокурором, придерживаясь за штангу, стоял обессиленный Мартенс, у другой штанги находился прихрамывавший Колосов. Чуть впереди, за штрафной — Хамза с Булатом, а дальше, словно прикрывая их грудью, но не давая игре пересечь центральную линию, боролись за каждый мяч их товарищи.

Побледневший Родион Ильич почувствовал, что произошло у школьников, и знал — ни отчаянно отбивающийся «Водитель», ни безупречно играющий Сова игры теперь не спасут. Табло бесстрастно меняло счет: 2:1, 3:1...

Карташ незаметно встал, пригнувшись, прошел между рядами и покинул стадион.

Ташкент,  
1974



# Оренбургский платок

Рассказ

*Памяти Сани, сестры моей*

**Н**аверное, поезд опоздал», — Фарид то и дело дышал на оконное стекло, но, сколько его ни отогревай, не отогреть.

Мороз в этом году постарался: даже между рамами тянулся целый ледяной хребет, и от окна несло холодом, как от двери. Фарид плотнее подоткнул куски старого одеяла в щелях и шерба- том пороге.

«Успело намести», — подумал он и смел снег с земляного пола, а то заругает мать, что не следил за дверью, выстудил землянку.

Печка едва теплилась, но Фарид боялся подложить кизяку: с топливом в этом году было худо. Задуло и задожило с сентября, и теперь в полуразвалившемся сарае кизяк занимал крохотный угол- лок, а зима по календарю еще не наступила.

Забравшись на нары, поближе к печи, Фарид придвинул к себе узелок с нечесаным пухом и принялся выбирать волос, как ему на- казалась мать.

«Скорее бы пришла Фания-апай из школы», — думал Фарид, хотя знал, что вторая смена у восьмого класса кончается затемно.

Горка выбранного пуха росла медленно, и Фарид опытным глазом прикинул, что с этим узелком возиться ему еще с неделю.

— У тебя, сынок, глаза молодые, острые, — говорила мать. — Никто в Мартуке лучше тебя пух не вычистит.



Долгие зимние ночи сидели они на топчане вокруг большой керосиновой лампы, каждый за своим делом. Фания пряла. Мать говорила, что пальчики у нее чувствуют пух и быть ей хорошей шальчи — вязальщицей платков: пряжа у нее получалась ровной, тонкой. Мать пропускала выбранный Фаридом пух через страшную ческу — двухрядный частокол высоких иголок, их почему-то называли цыганскими. Руки матери взлетали высоко над ческой, и Фарид всегда боялся: а вдруг она поранится о блестящий частокол. Как бы мать ни хвалила их, своих помощников, за ловкость и быстроту, истинной сноровкой шальчи владела только она сама. В Мартуке, где треть жителей кормилась вязанием, Гульсум-апай считалась искусной мастерицей, ее платки быстро и легко пушились, носились долго, а кайма у них была на загляденье — широкая, зубчики ровные, один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый.

Завмагу сельпо Кожевякиной, толстой краснолицей хозяйке узелка с пухом, в Мартуке никто бы не отказался связать платок. Характер у Нюрки был крутой, и на паевую книжку она давала продуктов сколько бог на душу положит, но и она, первая поселковая модница, пришла к Гульсум.

Фарид слышал, как мать говорила:

— Нюра, пух по цвету богатый, у меня и нитки подходящие есть, но волоса слишком много, и за две недели не выбрать. И в работе у меня еще три платка, люди добрые за них давно уж расплатились.

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют, слава богу, есть что носить. Ваш прошлогодний платок у многих баб в Мартуке зависть вызывает, а мне вот теперь темненькую шаль захотелось. Насчет добрых людей... Ведь и Кожевякина — не последний человек в Мартуке! Пуд муки вам авансом приготовила, — Нюра оглядела сырую, по углам в наледях землянку и добавила: — Нехай Фаридка к вечеру в сельмаг забежит. Будут ящики из-под мыла, не пожалею.

Зная далеко не щедрый характер Кожевякиной, мать попросила:

— Чаю плиточного с полкило да сахару, Нюра, добавь к авансу, пух-то...

— Ладно-ладно, по рукам. За мукой счас, что ли, пойдешь?

— Счас, счас, — заторопилась мать и, уходя, улыбнулась сыну.

Едва дверь захлопнулась, Фарид заплясал: ему уже чудился запах горячих лепешек.

...Ошиблась мать на радостях, увидев Кожевякину с заказом: третью неделю одолевал Фарид узелок.

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она и пух-то выменяла у наших казахов из аула за чай да за кило халвы,— горячилась соседка Науша-апай, забежавшая на огонек.

Мать, тяжело вздыхая, молчала. Непоседливая Науша скоро распрощалась, и мать, поплотнее прикрыв за ней дверь, вернулась к печи. Фания завороженно смотрела, как спицы, словно шпаги, мелькали у нее в руках, и думала: «Неужели и я когда-нибудь смогу вязать так быстро и красиво, как мама?»

— Опять ссутулился, как старичок. Смотри, девочки любить не будут,— добродушно ворчала мать.

Фарид густо краснел, на какое-то время выпрямляя плечи, но частый и мелкий волос снова гнул к лампе. Вот и сейчас Фарид приподнял плечи и оглянулся: в низкой и плохо протопленной землянке сгущались сумерки, а матери все не было.

«И уроки еще не сделаны»,— мелькнула и тут же пропала мысль. В тревоге за мать Фарид то и дело выскакивал на улицу и окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные страхи.

«А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с платком по вагонам... А вдруг его вырвали у нее?» Фарид знал, что, хотя война давно кончилась, в теплые края, к Ташкенту, еще охотнее потянулась разная шпана. «А может, конфисковали? — Фарид знал и это недетское слово.— Только бы дядя Великданов сегодня на станции дежурил»,— молился он, как бабушка Рабига, сложив ладошки и повторяя короткую суру, которую обычно произносил перед сном.

Недавно прошел слух, что увольняют Великданова. Говорили, развел на станции спекуляцию.

«Кто теперь предупредит маму, да и других, что будет облава и что лучше перетерпеть несколько дней, чем остаться без шали, без пуховых перчаток или дюжины шерстяных носков?»

А может, маму задержали, ведь ее уже предупреждали, чтобы не ходила к поездам с шальями?»

Фариду вдруг стало так страшно, что он заплакал.

— Сынок, что случилось? — уронив у двери какие-то свертки, кинулась к сыну Гульсум.

Фарид прижался к ее промерзшей куцей телогрейке и, не чувствуя холода, плакал навзрыд.



— Ну, хватит, ты уже большой, единственный мужчина в доме. Лучше спроси, как у меня дела.— Гульсум гладила сына по давно не стриженной головенке.— Сейчас зажжем лампу, протопим печь, поставим чай. Ну, смотри, что я принесла,— и она стала собирать с полу свертки.

Кипел, похлопывая крышкой, на плите чайник, мать на чистом бараньем сале жарила в казане баурсаки.

Заправленная под горлышко, с новым фитилем, лампа освещала дальние углы землянки. От печи, щедро заваленной кизяками, струилось тепло.

— Продала? — прямо с порога спросила вернувшаяся из школы Фания.

— Продала, доченька, продала, раздевайся, у меня все уже готово.

Фания быстро скинула валенки и, притулив их к печи, уселась на топчане рядом с Фаридом.

— Ты сегодня долго не шла, я уже соскучился,— тихонько сказал мальчик и прижался к сестре.

Гульсум расстелила скатерть.

— Ну, рассказывай, мама,— торопила Фания. Подкладывая в деревянную чашу обжигающие баурсаки, Гульсум начала:

— Стоим, значит, на перроне час, другой, а московского все нет. Я так намерзлась, что решила было уйти, как вдруг далеко у semaфора паровоз прогудел. Ну, слух у нас тонкий. Пассажирский, решила, а тут и он. Мороз. Никто из вагонов и носа не высунул. Нагима с соседней улицы и говорит: «Давай, Гульсум, до следующей станции проедем, успеем половину вагонов обежать». Вдруг распаивается напротив нас дверь, и молодой военный с подножки спрашивает: «Мамаша, сколько за платок просите?» А из-за плеча у него барышня выглядывает — наверное, она из окошка платок приметила.

Я уж самую малость и назвала, ведь неделю с ним к поездам хожу. «А вы не могли бы подняться к нам?» — спрашивает барышня, а военный, такой вежливый, даже руку подал. Накинула она платок на плечи — и к зеркалу, а оно у них во всю дверь.

«Какая прелесть! Какая прелесть! — щебечет барышня, а шаль ей и правда к лицу. Потом спохватилась она, что поезд может тронуться, и так удивленно переспрашивает: — Семьсот?»

Тут я и обмерла. Неужто торговаться станет? А уступить мне и копейки нельзя.

«Семьсот»,— говорю, и шаль стала сворачивать. «Вадим, заплати, пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль хороша, да и апа нас пусть помнит»,— и так хорошо засмеялась барышня и обняла меня. «Рахмат,— говорю,— доченька, рахмат»,— а у самой слезы на глазах, денег, что он отсчитывает, не вижу. Так и сунула, не глядя, в карман.

Я уже к выходу пошла, как догоняет меня Вадим этот и протягивает коробку. «Возьмите, мамаша, говорит,— это мой сухой паек. Здесь галеты, тушенка...»

Галеты эти, сухари такие, Фариду сразу понравились.

— А из тушенки я вам завтра суп сварю. Какие красивые, счастливые люди, храни их Аллах!

Гульсум достала из потайного кармана стеганой душегрейки узелок и, развязав его, положила у края скатерти пачку денег.

— Только я соскочила с подножки, тут же набежали товарки. Особенно спешили те, кому я задолжала. Десятку-другую пришлось взаймы дать. Одной только мне сегодня и подфартило. В воскресенье пораньше пойдем с Фаридом на базар, купим возок кизяка у казахов.— И Гульсум отложила половину оставшихся денег в сторону.

— А это вам на кино,— Гульсум протянула сыну трешку: не дашь тут же, не выкроить потом и рубля.

Фарид на радостях чуть не опрокинул пиалу.

— Это — керосинщику, это — за радио, это деду Матвею за валенки, три раза без денег подшивал, а это — Нюрке старый долг, уж больно косо смотрит, прямо в магазин не ходи.— И стопки денег как не бывало: перед Гульсум лежало несколько измятых рублевков и горстка мелочи.— А это нам на расходы...

Видя, как торопливо Фарид припрятал трешку, Гульсум улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки целы, ноги целы — проживем. С такими помощниками не пропаду,— потрепав Фариду по голове, Гульсум стала убирать со стола.

Поздно вечером, снова усевшись в кружок возле лампы, сгнулись все над Нюркиным узелком. Гульсум потихоньку напевала «Кара урман», лилась песня о привольных берегах далекой Ак-Идели. Иногда вдруг замолкала: каждый зубец требовал точного счета петель.

— Мама, уже вторая четверть, а у меня за учение не уплачено, не отчислят меня из школы?



— Глупенькая, не беспокойся. Пока Кузнецов — директор, такому не бывать. Летом встречает меня на улице и говорит: «Гульсум-апай, ваша Фания — способная девочка, вот кончит десятилетку, вам помощь и опора будет, грамотный человек нигде не пропадет. А с одежкой мы вам поможем, выкроим что-нибудь из школьного фонда. Война позади, теперь легче пойдет».

А ведь как в воду глядел. Думала я, хватит тебе и семилетки, платки вязать ума большого не надо. А терпением и сноровкой Аллах тебя не обидел. Да и в чем тебе на занятия ходить, ломала голову, ты уже девушка. Не хотела говорить тебе, да к слову пришлось. Форму, и платье шерстяное, и пальто, и валенки — все в школе мне выдали. Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и говорит: «Вот, Гульсум-апай, для дочки вашей». А на стульях и для других учеников одежда лежит, а пальтишки разных цветов и фасонов... Тонкий человек ваш учитель, все учел, меня одну вызвал, от любопытных глаз и глупых языков оберегал. Аккуратно подарок завернул, перевязал и наказал, чтобы вам не говорила, что одежда казенная: мол, учтите, детская душа — штука сложная. Так что учись, дочка, не одна я о вас пекусь. А за учење мы заплатим как-нибудь.

Гульсум прикрыла задвижку у печи и продолжила неторопливо:

— И пенсию нам, хоть и малую, тоже Кузнецов выхлоптал. Пришла к нему в слезах: «Помогите,— говорю,— Юрий Александрович, в собесе крутят: мол, похоронка у меня не та. Как не та, когда почти все мужики из Мартука в один день полегли под Москвой. И в один день нам казенные письма почта принесла. В тот вечер плач из Мартука, наверное, в самом Оренбурге был слышен».

А директору ли не знать об этом: митинг-то на другой день в школе прошел. В похоронке нашей, одной-единственной, написано было: «Пропал без вести». А куда ему, отцу вашему, там пропасть, когда мужики из Мартука вокруг него и держались. Весельчак и верховода отец ваш был, да и партийный к тому же. И в эшелоне, который целый час простоял в Мартуке, он старшим по вагону ехал.

Пошли мы тут же с директором вашим в собес, правда, я во дворе осталась. Сил моих больше не было, боялась — драться кинусь. Час жду, другой — вылетает вдруг Юрий Александрович и, на ходу оборачиваясь, совсем не по-учительски ругается:

«Сволочи! Бюрократы!» Потом немножко поостыл и говорит: «Ты уж, Гульсум-апай, наберись терпения и жди, а я в Москву напишу». Полгода ждала, а Кузнецов все это время в разные учреждения писал, но пенсию все-таки выправил. Добрыми делами и на добрых людях земля держится, никогда не забывайте об этом, дети...

Декабрь пришел в занесенный снегами Мартук студенными ветрами. На дню несколько раз меняя направление, ветер сбивал с ног прохожих. Закрутило, заметелило. В школе отменили занятия.

Ветер, завывая в трубе, рвался в землянку, словно собирался ее разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели за окном натянутые, как тетива, заиндевелые провода. Гульсум, подкладывая кизяк в ненасытную утробу печи, с тревогой думала: «И в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто рискнет приехать из аулов в такой буран?»

Купленный ею с Фаридом кизяк убывал, казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним и близким: купить, взять займы, выменять десяток кизяков. Иногда удавалось.

«Только бы пурга унялась к воскресенью», — молила Гульсум и, хотя денег у нее на такую большую покупку, как воз кизяка, не было, верила, что казахи, не раз выручавшие ее, поверят в долг и в этот раз.

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-то было страшно, приходил гость. Появлялся он всегда неожиданно, и скрипучая дверь отворялась бесшумно. Сначала дверной проем заполнял большой грязный канар с заплатами, который гость ставил тут же, у двери, а сам возвращался в сенцы и долго отряхивал там полушубок и казахский малахай — тумук. Входил в землянку уже в гимнастерке.

— Гимай-абы, вам идти с другого края села, из-за станции, не боитесь сбиться с пути в пурге? И как это у вас ловко с нашей старой дверью получается? — спрашивала Фания.

— Я, дочка, с первого дня начинал в дивизионной разведке, а кончил во фронтовой.

— А почему вы папу с собой не взяли? — Фарид перебирался поближе к гостю.

— На войне, Фарид-батыр, не спрашивают, кто с кем рядом хочет воевать. Меня в эшелоне приметил какой-то майор; не доезжая до Москвы, я и распрошался с Мирсаидом.



Гульсум молча возилась у плиты.

— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды,— говорила она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся.

— Сколько раз объяснял тебе, что за мной числятся только штуки кож, а посылают нам в вагонах нестриженные шкуры. Кожзавод наш — одно название, а на деле — артель кустарная. Дубить не успеваем, не то что стричь шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее приходится выбрасывать, животы надрываем... По совести говоря, за это тебе еще платить бы надо. Остриженных шкур в чан вдвое больше влезет, на чистке чанов день экономим, раствор сохраняем. Кругом, считай, выгода.

— Так-то оно так,— соглашалась мать, но упорно гнула свое: — А шерсть все-таки государственная.

— Оттого в бураны и хожу, что людей дразнить не хочу, а бояться мне некого. Я не вор и не мошенник, я и на фронте с поднятой головой ходил.

Одним неувловимым движением Гимай оказывается у канара, и сильные руки его выбрасывают на середину землянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро губить? Смотри, вот несколько козых, с пухом. На шаль пойдет, а на перчатки — загляденье!

— Мериносая...— слышится с полу тихий голос Гульсум. Она ползает по шкурам, вырывая, где можно, клочья шерсти.— Какие паутинки связать можно...

— А я о чем! — Гимай выбрасывает последние шкуры, и пустой канар, как у фокусника, исчезает в полушубке.— Я вот наточил, как обещал.— Из кармана полушубка он вынимает завернутые в тряпицу острые тяжелые ножницы. Из другого кармана достает ком вязкого мыла, которое варят на том же кожзаводе, и идет к ручкомойнику.— Только мыла не надо жалеть, а то в этих шкурах любую заразу можно подцепить.

Прямо по шкурам довольный Гимай возвращается к самовару.

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, словно поняв, что не сломить ей маленький, по трубы занесенный поселок. И, как бы винась за разметанные по ветру обледенелые стога, за стужу в сырых землянках, за пучки соломы, развеянной по безлюдным улицам, за ягнят, не выживших и дня в продуваемых

насквозь кошарах, за поезда, застрявшие на голодных полустанках, вдруг установились в Мартуке такие дни, какие помнили старожилы только в добром давнем, довоенном времени.

Что-то произошло не только с погодой, повеяло и от жизни теплом близких перемен. Все чаще слышалось полузабытое слово «надежда».

И правда, словно расчищая дорогу наступающему новому году, у Ньюркиного магазина появилось объявление о том, что с первого января будут снижены цены на промышленные товары, и следовал длинный перечень нужных и не нужных жителям Мартука вещей.

Но еще более радостная весть прокатилась как-то солнечным днем по поселку: обещали открыть надомную артель вязальщиц — настоящее предприятие с авансом и зарплатой. «С авансом и зарплатой! С авансом и зарплатой!» — катилось от одного заснеженного двора к другому.

Уже не отменялись занятия, и мальчишки с окраин Мартука катили в школу на прикрученных к валенкам коньках. Ожил школьный двор на переменах. Оттаяли и умолкли провода, появились наголодавшиеся за зиму воробьи. В эти радостные дни сбылась давняя мечта Фариды: мать разрешила ему ходить на станцию к поездам за шлаком.

Гульсум, изучившая кормилицу-станцию как собственный пустой двор, долго противилась этому, потому что знала: шлак и та малость, которую можно было добыть у паровозов, — монополия дружных, не по годам дерзких ребятишек железнодорожников, живших тут же, в кирпичных домах при станции, за огромными огнедышащими горами шлака.

Но Фарид страстно уговаривал ее, что самый отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, учится с ним в одном классе, да и не каждого, мол, задирают станционные, а только тех, кто из жадности пытается урвать больше всех. А он не буржуй, ему больше всех не надо.

Последним доводом он развеселил мать так, что Гульсум рассмеялась от души, легко и весело, как много-много лет назад.

— Не буржуи, значит, мы?

— Не буржуи...

После школы Фарид установил на санки крепкую корзину, кинул в нее помятое и залатанное цыганами ведро и поспешил на вокзал.



Дух станции, особенный, неповторимый, ощущался за квартал, а отвалы на фоне вросших в землю саманных построек Мартука казались горами и были видны с каждого двора. Запахи тлевшего в недрах отвалов шлака, подпаленных креозотовых шпал в местах чистки топок, машинный дух больших сдвоенных паровозов и пар, клубившийся вокруг них, всегда волновали и влекли мальчика.

Он знал: отсюда по двум тонким нитям путей уходит дорога в какую-то иную жизнь. Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, пахнущие теплом и летом, красным апортом и желтыми мандаринами, поезда, в которых, как рассказывала мама, зеркала во всю дверь и настоящие ковровые дорожки, и в которых едут вежливые военные и красивые барышни, и еще много всяких других людей, кому Фарид отказал бы в таком праве. Как и подобает человеку, занятому делом, проходя мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на торги у вагонов, хотя слышал воркотню толстых пассажи-рок в тяжелых шубах, накинутых на яркие китайские халаты:

— Какой узор! Какая изящная кайма!

— А пушится, а пушится-то как!

Как мудрец среди шаловливых детей, Фарид улыбался и беззлбно думал: «Пушится? Да как же ей не пушиться?»

Он-то знал, как немисливо долог путь до того момента, когда шаль могла оказаться на чьих-то зябнущих плечах.

Он словно воочию видел своих сверстников в казахских аулах, выхаживающих маленьких шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в день, из года в год, в стужу и в зной кочующих со стадами в скудных степях, продуваемых летом и зимой злыми ветрами. Видел он быстрых и умелых, как мама, женщин, счесывающих по осени пух. Знал не понаслышке, сколько тепла человеческих рук — детских, женских и суровых мужских — вложено в красавицу-шаль, знал, сколько слез пролито над ней в холодных кошарах и в тени керосиновых ламп, и не удивлялся восторженным восклицаниям покупательниц...

Пережидая, пока женщины перетасчат на носилках шлак после ташкентского скорого, Фарид с высоты отвала впервые оглядывал лежавший внизу Мартук. Вдали виднелась крытая шифером школа, а рядом под ярко-зеленым железом — сельсовет с обвисшим флагом, остальные дома можно было различить лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль путей высился похожий на одногорбого верблюда элеватор.

На потемневшем цинке обшивки прямо на горбу криво и некрасиво было написано: «1927 год». Заслонив элеватор облаками пара, пронесся скорый на Москву. Когда облако рассеялось, Фарид увидел, как путейцы поставили на рельсы мадерон и стали грузить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, молотки, кувалды.

Фарид всегда невольно отличал путейцев от всех других людей. Может, оттого, что пока он знал одну-единственную профессию, которая не зависела ни от времени года, ни от погоды, ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще.

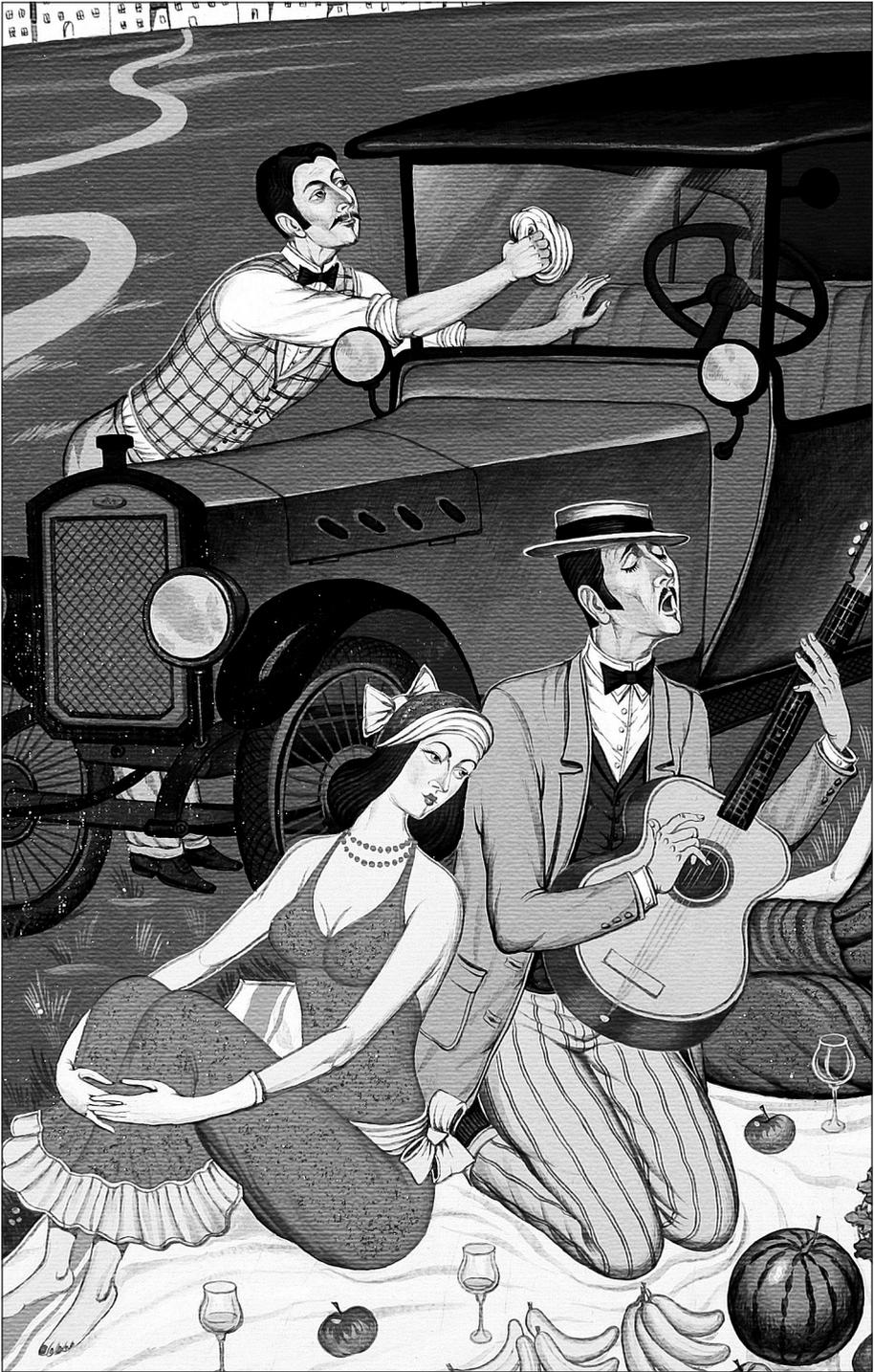
Сколько Фарид себя помнил, столько и знал он каждого путейца Мартука в лицо, и всегда у них была работа, а значит — аванс и получка. А еще он знал, что им положен настоящий уголь и они могут выписывать старые шпалы, а из них ставить добротные теплые сараи. А главное — и это казалось уж совсем волшебством, — каждому ежегодно полагался бесплатный билет в любой конец Советского Союза — и обратно, конечно. В любую окраину! Перед Фаридом при этом всегда оживал старенький школьный глобус.

«Вырасту и стану путейцем», — глядя вслед удалявшемуся на перегон мадерону<sup>1</sup>, подумал мальчик и улыбнулся.

*Ташкент,  
декабрь 1971*

---

<sup>1</sup> М а д е р о н — тележка для перевозки тяжелых инструментов путейцев.



# Казань В моей жизни

Беседы о культуре

Интервью

**Ч**то значит в вашей жизни Казань?

— Казань... У редкого татарина, живущего вне родины, не вздрогнет сердце при упоминании имени древней столицы Татарстана. Для татар, живущих на чужбине, а нас, к сожалению, семьдесят пять — восемьдесят процентов от всех татар, Казань — как Мекка. А Мекка в комментариях не нуждается. С Казанью связан каждый татарин: кто духовно, кто родством, кто происхождением предков, кто делами, кто учебой, а большинство мечтами — хотя бы раз увидеть светозарную столицу, которую так с любовью называл Тукай. Живущим в Татарстане, в Казани даже в голову не приходит, что миллионы живших и живущих ныне татар никогда не видели Казани и вряд ли ее когда-нибудь увидят. Особенно при нынешних ценах на билеты, гостиницы, не говоря уже о таможах и визах.

Впервые я увидел Казань в 1979 году. Легендарный Заки Нури пригласил меня на съезд писателей. Я приехал раньше, и Заки-абы сам три дня подряд открывал для меня город. Показывал не только исторические места и достопримечательности, а, прежде всего, увязывал тысячелетнюю Казань с жизнью выдающихся татарских деятелей культуры, религии, меценатов. С людьми, определившими весь исторический и духовный путь татар. Эти трехдневные лекции для меня равны университетской программе. С тех пор я и полюбил Казань.



Чем интересна для меня Казань? Тем, что в Казани была заложена наша государственность, сформировались татарская культура, религия. Здесь сложился наш язык, зародилась письменность. Здесь жили выдающиеся богословы, Казань дала мусульманскому миру великих теологов и мыслителей. В Казани жили все крупные поэты, Казань — колыбель татарского театра, культуры, здесь издавались книги для всего мусульманского мира. Если в России духовных центров всегда было несколько — Петербург, Москва, Новгород, Киев, то Казань была и остается единственным духовным, культурным, политическим центром для всех татар на планете. У Казани нет конкурентов, что и хорошо, и плохо. И вчера, и сегодня нельзя представить жизнь татар без казанских театров, библиотек, музеев, мечетей, медресе, издательств, университета. В Казани живет цвет нашей нации: поэты, прозаики, художники, ученые, артисты, политики, крупные бизнесмены, философы.

Для двадцати — двадцати пяти процентов татар, живущих в Татарстане, это высочайшая концентрация всех духовных и интеллектуальных сил нации, думаю, такого нет ни в одном народе, ни в одной столице. Казань словно магнитом притягивает лучшие татарские умы.

Я двадцать лет — член Союза писателей Республики Татарстан и регулярно бываю в Казани, участвовал в нескольких Всемирных конгрессах татар. Что-то меня радует в Казани, что-то огорчает. Я горд, что в Казани есть достойные литературные журналы: «Казан утлары», «Сююмбике», «Идель». Восхищает меня и новый «Казанский альманах» Ахата Мушинского. Серьезное место в татарской литературе занял журнал «Майдан». Особенно я горжусь журналом «Казань», убежден, это визитная карточка не только Казани, но и Татарстана. Изящно, со вкусом изданный, интеллектуальный, глубоко философский журнал — он достойно представляет татар в мире! Мэрия Казани создала прекрасный журнал!

Какая Казань мне больше нравится, старая или новая? Тут я приведу финальную строку из моей давней повести: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».

Я счастлив, что успел застать старую Казань, она осталась в моем сердце. Слишком поспешно и безжалостно сносили старый город. А тайная ликвидация прекрасного здания, где последние годы жил Тукай, первое, что показал мне в 1979 году Заки Нури — это варварство, невежество, вызов обществу, плевок в свою

историю. Хотел бы узнать, подал ли в отставку после бури возмущения казанцев главный архитектор города? Где были рьяные национал-патриоты, считающие себя единственными и непререкаемыми авторитетами в любом вопросе, касающемся жизни татар?

Каждый раз, когда приезжаю в Казань, мои друзья с радостью показывают новостройки: ипподром, стадион, рестораны, супермаркеты, Пирамиду — и ждут моих восторгов. А чем восторгаться? Да, что-то строится, но строят сегодня везде. И я цитирую им выдержку из своего давнего интервью, касающегося Москвы: «Если вы хотите увидеть настоящее строительство, большие перемены, поезжайте в Эмираты с интервалом в пять-шесть месяцев. И тогда вы увидите, с какой скоростью, размахом, качеством, фантазией, архитектурной смелостью меняется страна, город. Уникальные здания строятся тысячами. И вы поймете, то, что еще вчера вам казалось «успехом», на самом деле — топтание на месте».

Конечно, я рад прорыву, сделанному городом к тысячелетию Казани. Я рад, что воссоздали мечеть Кул Шариф, рядом с возвращённым к жизни православным храмом, реставрировали Казанский Кремль. Кажется, на это ушло десять лет. Но все в мире познается в сравнении — в моем родном Актюбинске, областном центре Казахстана, построили копию мечети Кул Шариф, такую же роскошную и богатую, а рядом возвели, как и в Казани, величественную православную церковь, обустроили набережную реки Сазда, построили все это за два с половиной года. В сентябре 2008 года в Актюбинске побывал президент России Д. А. Медведев, он посетил оба культовых сооружения и отдал должное их красоте и величию.

При всей любви к Актюбинску я, конечно, равнять его с Казанью не стану, Казань есть Казань, столица древнего государства. Я говорю это к тому, что строят везде, кругом большие перемены. Искренний восторг, большую радость, гордость могут вызывать грандиозные перемены не только в облике столицы, но и в жизни людей. Хочу сказать, что к 1000-летию Казани я написал песню «Казань, моя Казань», которую впервые в дни праздника исполнил Ренат Ибрагимов. Песня стала лауреатом конкурса.

— *Есть ли у вас в Казани родня, друзья?*

Мои родители родом из Оренбурга, поэтому в Казани близких, к сожалению, нет. Друзья? Я человек контактный, общительный, и друзья-товарищи у меня есть. Я уже тридцать пять лет в литературе и знаю почти всех татарских писателей, кроме молодого поколения.



Татарские писатели любили Дома творчества, и я там со многими из них душевно общался: с Амирханом Еники, Рафаэлем Мустафиным, Мухаммедом Магдеевым, Атиллой Расихом, Аязом Гилязовым, Ахатом Гаффаром, Зульфатом и многими другими.

Прекрасные отношения связывали меня с писателем Рафаэлем Сибатом — он знал все мое творчество и в меру своих возможностей пропагандировал меня. Он оставил обо мне несколько серьезных литературоведческих работ. Рафаэль Сибат сказал обо мне крылатую фразу: «Для нас, татар, Рауль Мир-Хайдаров — неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы...». И еще он сказал обо мне: «Пора нам своих возвращать в свою культуру».

Глубокая дружба, личные симпатии связывали меня с Марсом Шабаевым — он перевел три моих романа, несколько повестей, монографию академика Сергея Алиханова обо мне.

Много лет я дружу с Шагинуром Мустафиным, он тоже знаток моего творчества, выпустил книгу бесед со мною «Культуру восстановить труднее, чем экономику». Прекрасные отношения были у меня с Флюсом Латифи, он перевел два моих романа, написал статью обо мне «Он наш, татарин». В добрых, приятельских отношениях я с романистом Факилем Сафиным, благодаря ему и переводам его коллег из журнала «Майдан» в 2004 году вышел целый номер, посвященный моему творчеству.

Постоянно общаюсь и с академиком Юлдуз Галимзяновой Нигматуллиной, ее интересует не только моя проза, но и моя большая коллекция современной живописи.

Крепкие творческие связи у меня с коллективами журналов: «Казан утлары», «Идель», «Майдан», «Казань».

Своим появлением в татарской литературе я обязан Мустаю Кариму, Мусе Гали, Заки Нури, Ринату Мухамадиеву, Равилю Файзулину, Гарифу Ахунову, Рафаэлю Мустафину, Лирону Хамидуллину, Нурисламу Хасанову, Ибрагиму Нуруллину, Мухаммеду Магдееву.

Добрые творческие связи наладились у меня с молодежью: Азатом Ахуновым, Ркаилом Зайдуллиным. К сожалению, мир литературы жесток, он состоит из группировок, которые порою гораздо сильнее официальной власти. И тут друзей много не бывает, особенно у таких одиночек, как я, но у меня уже появился свой татарский читатель, мне часто пишут, звонят — вот читатели и есть мои главные друзья, моя прочная опора в татарском обществе.

— *Что значит для вас Габдулла Тукай?*

— Наверное, то, что и Казань, ибо для меня эти два имени связаны воедино: Тукай — Казань или Казань — Тукай, как хотите. Г. Тукай своей жизнью захватил почти поровну от двух веков, 19-го и 20-го, по крохотному кусочку, но для меня он ассоциируется не с конкретными датами рождения и смерти. Мне кажется, Тукай жил среди татар всегда, часто ловлю себя на том, что, читая исторические романы Мусагита Хабибуллина, Флюса Латифи, Вахита Имамова, я не раз думал: а что же в это время делал Тукай? Вижу Тукай среди последних защитников Казани. Мистика? Нет — он живет в крови многих татар, оттого и сегодня Тукай остается в нашей духовной жизни, он никогда не расставался с нами. Тукай для татар все равно что для казахов Абай, для туркмен — Махтумкули, для азербайджанцев — Ниязи, для таджиков — Саади и Хафиз. Тукай имеет глубочайшие корни не только в жизни татар, но и в культурной жизни всех тюркоязычных народов.

Странная, почти мистическая связь у меня сложилась с именем великого поэта. В нашей семье, в революцию после Оренбурга оказавшейся в Казахстане, в тысячах километрах от Казани, бережно хранилась прижизненная фотография Г. Тукая. В 1999 году во время публикации романа «Ранняя печаль» я передал ее в архив журнала «Казан утлары», где она сейчас и находится.

В Москве, когда отмечали 110 лет со дня рождения Габдуллы Тукая, мне звонит Фарид Мубаракшевич Мухаметшин и говорит: «С ног сбились, не можем в Москве найти портрет Тукая, а завтра вечер памяти состоится, нет ли в твоей коллекции портрета?». Конечно, портрет великого поэта у меня был, и не один, а целая серия его портретов работы известного художника Шакира Закирова. На другой день портрет поэта в солидной раме украшал сцену Колонного зала Дома союзов. Портрет поэта понравился высоким гостям из Казани, прибывшим на юбилей, и они попросили меня подарить его казанскому музею. Конечно, отказать музею и высокопоставленным людям я не мог, хотя портрет и мне самому очень нравился, он занимал достойное место у меня в коллекции. Этот портрет уже пятнадцать лет выставляется в экспозиции музея Г. Тукая. Несколько других портретов поэта я подарил позже журналу «Казан утлары» и Союзу писателей Татарстана — они до сих пор украшают стены этих учреждений.

Наверное, узнай Г. Тукай, что меня не допустили до участия в конкурсе на Госпремию его имени, очень обиделся бы.



— На ваш взгляд, существует ли проблема русскоязычных татар в Казани или это домыслы неудачников?

— Вопрос настолько глубок и серьезен, что на него в газетной статье не ответить, но я постараюсь. Чтобы не быть субъективным, хочу сослаться на статью главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашида Ахметова от 28 ноября 2010 года. Цитирую по памяти. Ахметов пишет, что последние двадцать лет, с приобретением суверенитета, из-за явного приоритета татарского языка в Казани во власти, во всех сферах жизнедеятельности, будь то наука, юстиция, силовые структуры, здравоохранение, политика, культура, транспорт, печать и т. д., все руководящие должности заняли дружные люди, выходцы из села, и они вытеснили отовсюду даже самих коренных казанцев-татар, более образованных, культурных, компетентных, интеллектуальных, толерантных к русским и другим нациям. Татары Казани не смогли противостоять нахрапистым татарам из деревни, единственными преимуществами которых являются клановость, круговая порука и знание языка. По выражению писателя Диаса Валиева — деревня затоптала казанскую интеллигенцию, завела там свои порядки.

Сложившаяся ситуация не нова, но о ней стали писать только сейчас, с переменой власти в Казанском Кремле. Конечно, эта проблема касается и меня, наверное, я и есть тот неудачник, о котором вы заявили в своем вопросе. Я двадцать восемь лет ждал книгу на татарском языке, которую на свои же средства и перевел. Меня, писателя с миллионными тиражами книг, единственного прозаика-татарина, издавшегося в самом престижном издательстве СССР «Художественная литература», имеющего пять раз изданные собрания сочинений в России и на Украине, напечатавшего в «Казан утлары» шесть романов и три повести, в 2010 году не допустили даже к участию в конкурсе на Госпремию имени Г. Тукая. Сказали примерно так: он пишет на русском, живет в Москве, пусть русские его и награждают.

Я выписываю татарские газеты, журналы, смотрю казанское телевидение, весь 2010 год всем татарам, живущим от Калининграда до Владивостока, высшие татарские чиновники постоянно напоминали, чтобы они при переписи записались татарами, даже русскоязычные, мишары, тептяри, кряшены, тобольские, сибирские, крымские, какие только есть, которые в обычной жизни не особенно и нужны казанским властям. Хочется спросить — зачем мы вам?

Я понимаю, что ваше обращение относится и ко мне, зачем вам нужно, чтобы я записался татарин? Какой татарин вам нужен, мне уже хорошо объяснили в Министерстве культуры. Грубо, противозаконно, но зато откровенно, от души. Тут мне, несмышленишу, разъяснили, почему нас должно быть много — чтобы чиновники Республики Татарстан получили в масштабах России еще большие штаты и полномочия. Чтобы заботиться о нас, «горемыках», оказавшихся вдали от теплых объятий родных татарских чиновников. Какие великие помыслы, какая трогательная забота, поистине, другим народам остается только позавидовать татарам!

Но я тут же напомнил радетелям за татарских чиновников, что еще несколько лет назад читал в «Независимой газете», издававшейся в ту пору известным политологом В. Третьяковым, огромную статью, целую страницу, посвященную именно чиновникам Татарстана. Скажу только о сути статьи: ни в одном регионе России нет столько чиновников, как в Республике Татарстан. По количеству чиновников татары опережают некоторые схожие по численности и территориям регионы в разы!!! Запомнил термин из той статьи — самая чиновничья республика. Не знаю, радоваться или горевать, все-таки мы — первые? Любопытна судьба этой статьи, ни один номер о расплодившихся чиновниках в Татарстан не попал. Какая чиновничья мощь, сила! А может быть, я зря, может, татарские чиновники самые лучшие, добрые, отзывчивые? Кривить душой не стану — таковых не встречал. А каковы татарские чиновники сегодня, возвращаю читателя к статье Рашида Ахмедова, кстати, выпускающего очень достойную газету, ее читает вся татарская Москва, волосы встают дыбом, когда читаешь о татарских чиновниках, но я воздержусь от комментариев.

Может быть, чтобы так нагло не нарушались мои права и права других русскоязычных писателей татарского происхождения, мне стоит организовать Общественное движение или политическую партию — «Партию русскоязычных татар»?

Уверяю вас, на первых же выборах в Татарстане ни «Справедливая Россия», ни «Единая Россия», никакая другая партия не сможет выиграть у этой партии. Заверяю вас, такая партия, создай я ее, никогда не будет ущемлять права меньшей части татар, знающих родной язык. У русскоязычной части татар есть понимание целостности нации. Мы не делим татар на мишар, тептяр, кряшен, сибирских, нижегородских, казахских, узбекских, как делают



это национал-патриоты в Казани. Моя партия уравнила бы в правах всех татар, знающих язык и не знающих. А литературное поле сделали бы конкурентным, чтобы каждый татарин, даже пишущий о татарах по-английски, а такие уже есть, имел права на признание на исторической родине.

В народе, имеющем катастрофические языковые проблемы, нельзя заигрывать с одной частью в ущерб другой. И тут татарская особенность — игнорируется большая, высокоинтеллектуальная часть татар, которая не знает родного языка и вряд ли когда-нибудь будет знать его, к сожалению.

Только по этой причине последние двадцать лет, которые стали великим переселением народов из-за развала СССР, татары едут мимо исторической родины.

Знаю проблему не понаслышке, общаюсь плотно с татарами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, и на вопрос — почему они не возвращаются в Татарстан, а едут в Калининград, Подмосковье, Санкт-Петербург, Австралию? — получаю ответ: «Не хотим из-за незнания языка быть людьми второго сорта, не хотим калечить судьбы детей. Хотим жить в обществе равных возможностей».

Начали с судьбы одного писателя, а кончили судьбой огромной части татар, которая уже безвозвратно потеряна для Татарстана. Татарское общество давно озабочено несправедливостью по языковому признаку. Не все благополучно в нашем татарском доме.

Я устал стыдиться и краснеть от вопросов русских, украинцев, грузин, узбеков, каракалпаков, издавших около полусотни моих книг пятимиллионным тиражом: когда же вас наконец-то издадут свои, татары? Не издали. Потому и вынужден был выпустить к 65-летию за свои деньги собрание сочинений, чтобы только на титульном листе книг появилось название столицы татар — Казань. Горько постоянно слышать от татарских властей, что на издание моих книг у них нет средств. Свои кровные 24 тысячи долларов, что я заплатил за пятитомник, считал и считаю личными инвестициями в «Идел-Пресс» в трудное для него время.

Одни писатели за собрание сочинений получают деньги, а я вынужден платить свои деньги Татарстану только за название столицы на моих книгах. Обидно. Несправедливо.

Однажды узнав, что М. Ш. Шаймиев любит прозу Чингиза Айтматова, я написал ему: «Я очень часто радуюсь, что мать Чингиза

Айтматова в 1938 году, после расстрела мужа, не вернулась с детьми в Татарстан. А ведь могла! Какое счастье, что она не вернулась, вернись — не было бы всемирно известного писателя, прославившего страну, народ. Почему? Потому что Айтматов писал на русском языке. А в Татарстане писатель, даже татарин, пишущий о татарах по-русски — второсортный писатель. Мучился бы Айтматов, как Диас Валеев, Рустем Кутуй, Айдар Сахибзадинов, ждал бы, как и я, двадцать восемь лет книгу на родном языке».

В 1987 году на презентации моей книги в Тбилиси директор издательства «Мерани» Гурам Гвертецели сказал: «Впервые в истории грузин мы издаем книгу татарского писателя, о татарской жизни, которую мы мало знаем...».

В 1967 году Ибрагим Нуруллин, доктор наук, впервые опубликовавший меня в Казани, сказал мне прилюдно вещице слова: «Не огорчайся, что пишешь по-русски, главное, пишешь о татарах. Вот мы — непонятно для кого пишем. У тебя есть адресат, хоть через таких, как ты, мир будет знать о нас, татарах».

Академик Флера Садриевна Сафиуллина в январе 2000 года в своем докладе по итогам литературного года в Союзе писателей дала высокую оценку моему роману «Ранняя печаль», вышедшему в трех номерах журнала «Казан утлары», она признала мой роман значимым для татарской литературы, самым ярким событием за последние двадцать лет. За моим творчеством она следила, оказывается, с начала 80-х годов и позже, в 2002–2003 годах, написала монографию по моей прозе. Такая оценка моего творчества для меня большая честь — сертификат качества.

За всю историю литературы татарских писателей, пишущих прозу на русском языке, было сотни, но состоявшихся в русской литературе — всего восемь: Явдат Ильясов, Ильгиз Кашафутдинов, Альберт Мифтахутдинов, Роман Солнцев, Рустам Валеев, Рустем Кутуй, Диас Валеев и ваш покорный слуга. Пожалуйста, вдумайтесь — всего восемь писателей! Из них сегодня жив только я! И даже мне одному в новом Татарстане нет места в национальной литературе.

Но писатели, пишущие на русском языке, есть не только в татарской литературе. В Киргизии это — Чингиз Айтматов, у азербайджанцев — Рустам Ибрагимбеков, у грузин — Александр Эбаноидзе, у казахов — Олжас Сулейменов и Роллан Сейсенбаев, у чукчей — Юрий Рытхэу, у нивхов — Владимир Санги, у абхазов — Фазиль



Искандер, у узбеков — Тимур Пулатов, у молдаван — Ион Друце, у армян — Гранд Матевосян, у таджиков — Тимур Зульфикаров и так далее. Все они пишут на русском языке, но это не мешает им считаться национальными писателями, и они не ждут издания своих книг на родном языке по тридцать лет. Мне кажется, есть что-то неправильное в политике властей Республики Татарстан к писателям-татарам, пишущим на русском языке, и особенно к тем из них, кто живет вне Татарстана, но рвется душой в Казань. Подобное отношение к «своим» и «чужим» противоречит Конституции России и Конституции Татарстана.

Уверен, будь жив Нуриев, и окажись он сегодня в Казани, вряд ли бы даже в кордебалет попал. Ему сказали бы в лицо: у нас таких танцоров сотни, станьте в очередь. А сцены Гранд-опера, Ла Скала, Ковент-Гардена, на которых Нуриев блистал, для чиновников ничего не значат, как не значат для них и мои книги, изданные в лучших издательствах страны, включая «Худлит», миллионными тиражами в разных странах.

Диас Валеев, чьи пьесы шли в пятидесяти театрах СССР, недавно признался печатно: «чувствую себя изгоем на родине». Это как же надо довести человека, философа, чтобы он так сказал о себе.

Недавно умерший Роман Солнцев, известный поэт, драматург, чьи пьесы тоже шли по всей стране, в своем стихотворении «Татарский вальс» написал:

Возле близких изгоем  
Я стою, сжав кулак.  
И беру вечно с боем,  
что берут за пятак.  
Я дружу больше с теми,  
кто гоним как еврей.

Я подписываюсь под словами моих коллег. Боль, отчаяние, тупик, обида.

Я тоже чувствую себя изгоем у татарской власти. Каждый серьезный писатель знает свое место в национальной и общероссийской литературе. Конечно, и я, имея в багаже пятимиллионный тираж книг, пять раз изданные собрания сочинений, имея публикации и книги на многих языках, присутствуя на сотнях сайтов в Интернете,— тоже знаю свое место в татарской литературе.

Я отметил татар-прозаиков, состоявшихся в русской литературе только за XX век. Вслед за нами подросло уже новое поколение татарских писателей, всерьез заявивших о себе в русской литературе уже в XXI веке, и их гораздо больше нас. С удовольствием перечислю их имена: Айдар Сахибзадинов, Ахат Мушинский, Мансур Гилязов, Салават Юзеев, Нагимов, Лилия Газизова, Алена Каримова, Галина Зайнуллина, Абузяров, Наиль Ишмухаметов, Азат Ахунов и многие, многие другие. Я знаю, их тоже не очень устраивает положение в татарской литературе, если мы чувствовали себя изгоями, они, в лучшем случае, ощущают себя пасынками в родном отечестве.

Нельзя игнорировать творческий потенциал русскоязычных людей татарского происхождения в жизни Татарстана. Нужно пустить их в татарскую жизнь на равных условиях, только в конкурентной борьбе рождаются Нуриевы, Губайдулины, Акчурины, Нигматуллины и другие русскоязычные татары, составляющие мировую славу нашего народа. Ведь в спорте не видать успехов ни «Рубину», ни «Ак Барсу», ни «Униксу» без русскоязычных — тут готовы любого африканца принять под знамена Татарстана и обласкать его, лишь бы был результат. Если быть принципиальным, то надо быть принципиальным во всем, пусть только татаро-говорящие и добывают спортивную славу для Татарстана.

— Однажды в Интернете я наткнулся на большую статью известного искусствоведа Ирины Таратуты о вашей коллекции живописи, но поразила меня не сама статья, а справка о владельце коллекции. Прочитую: заслуженный деятель искусств, лауреат премии МВД СССР, пять раз изданные собрания сочинений, почти вся проза, на русском и татарском, имела журнальные публикации. Большинство повестей и рассказов записаны на Всесоюзном радио, Общество слепых Татарстана записало три ваших романа, объемом звучания 87 часов. Все ваши романы стали бестселлерами и изданы по 15–20 раз, тиражом 5 миллионов экземпляров. Вы вошли в энциклопедии нескольких государств, почетный гражданин Казахстана. Переводились на иностранные языки, на языках народов СССР у вас вышло восемь книг, вы попали во фразеологические словари. По вашему творчеству написаны академиком С. Алихановым и Ф. Сафиуллиной серьезные монографии. На родине, в Казахстане, у вас при жизни есть улица вашего имени, в Государственных музеях Актюбинска и Мартука есть



залы, посвященные вашему творчеству. В связи с этим вопрос: довольны ли вы своей литературной судьбой, ведь у вас в следующем году юбилей, 70?

— И да, и нет. Я сполна реализовал себя в русской литературе, издавал книги в лучших издательствах, сполна познал почести и внимание в России. Счастлив оценкой моего творчества у себя на родине в Казахстане, там тоже почестями меня не обошли — дважды на государственном уровне отметили юбилеи.

Двадцать лет я член Союза писателей Татарстана, но отношения с властями не складываются, трудно издавать книги, нет творческих вечеров в Казани, все это огорчает, особенно в год юбилея. Обидно, когда тебя не привечают на исторической родине. Поистине — нет пророка в своем Отечестве.

— Когда и где пересекались ваши пути в литературе с татарскими писателями?

— В 1971 году я впервые опубликовал в московском альманахе «Родники» рассказ «Полустанок Самсона». Альманах попался на глаза Тауфику Айди, и он прислал мне теплое письмо и подробную анкету, которую мне следовало заполнить. Письмо Тауфика Айди я много лет принимал за официальное, думал, что я попал в орбиту внимания Казани. Письмо сильно окрылило меня. Как наивен я был! В 1979 году, когда Заки Нури пригласил меня на съезд писателей, тогда я и узнал, что письмо Тауфика Айди — частная инициатива. Он всю жизнь собирал материалы об известных татарах в мире, честь и хвала ему! Тауфик Айди первый увидел во мне татарского писателя.

С зимы 1975 года я регулярно бывал в Малеевке, а летом в Ялте, Коктебеле, Пицунде. В Малеевке я не пропустил ни одну зиму с 1975 по 1991 год включительно, а с 1980 года, когда ушел на «вольные хлеба», я бывал там, да и на море, всегда по два срока.

В 1976 году в Малеевке я познакомился с Мусой Гали и Мустаем Каримом, и все последующие годы, до самой их смерти, был с ними рядом. Они во многом сформировали меня как литератора, привили любовь к татарской литературе. Благодаря им в 1977 году у меня впервые в Уфе перевели на татарский рассказ «Оренбургский платок», сделал это Айдар Халим, позже в журнале «Агидель» напечатали повесть «Не забывайте нас» на башкирском.

Мои недоброжелатели в Казани по незнанию упрекают меня, что я не знаю татарской литературы, ее истории, наверное, оттого,

что я не закончил факультет татарской филологии Казанского университета. Но если подходить с такой меркой, то я одолел не только этот факультет, но и его аспирантуру. Почему? Объясню. Моим татарским университетом и моими профессорами на долгие годы оказались лучшие татарские писатели, только мой университет был выездным в Домах творчества и для одного благодарного студента. Могу утверждать, что долгие зимние вечера в Малеевке почти каждый день проходили в совместных чаепитиях, застольях, частных беседах, и разговоры там шли только о литературе. На таких посиделках я впервые услышал о Заки Валиди, Маджите Гафури, Гаязе Исхаки, Шаехзаде Бабиче, Чонакае, Марджани, Ризе Фахретдинове, Юсуфе Акчуре. С тем, что я услышал о татарской литературе от Мустая Карима, Мусы Гали, Ибрагима Нуруллина, Амирхана Еники, Атиллы Расиха, Мухаммета Магдеева, Заки Нури, Рината Мухамадиева, Виля Ганиева, Наби Даули, Айдара Халима, ни одна университетская программа сравниться не может. Я ведь получал знания без идеологической подкладки, без оглядки на цензуру, от людей, создававших литературу.

Одно общение с Амирханом Еники чего стоит! В Малеевке я трижды был у него на праздновании дня рождения — это пир для души, для слуха, для сердца! Разве постные университетские лекции могут сравниться с воспоминаниями его гостей на этих скромных торжествах?! Какие забытые страницы татарской литературы, какие канувшие в Лету фамилии всплывали вдруг за столом! Кроме дней рождения Амирхана Еники, я сидел с ним за одним столом в Переделкино, Ялте, Пицунде. Семьдесят два дня по три раза в день рядом с Еники! Такое выпало не каждому. Он, как в прозе, дозировал и свое устное слово, но иногда его прорывало, страсти сидели в нем глубоко, жизнь научила его смолоду сдерживать себя. Много из тех давних разговоров я понял позже, когда прочитал его воспоминания «Страницы прошлого». В последние годы жизни он приезжал в Переделкино, где я прожил в Доме творчества в комнате № 106 безвыездно восемь лет, и я всегда приглашал его в гости, иногда одного, иногда с другими писателями, но чаще с Мустаем Каримом и Мусой Гали. О таких встречах, к счастью, остались фотографии. К концу жизни чуть ослабли тугие струны внутри, и он был гораздо добрее, мягче. Я называл его Патриархом. Он поистине и был Патриархом татарской литературы. Я очень любил его, недаром главного героя в романе «Пешие прогулки» зовут Амирханом.



Существенно повлиял на меня и Мухаммет Магдеев, мы с ним познакомились в Пицунде в 1988 году, он отдыхал вместе с сыном, вернувшимся из армии. По моей просьбе он прочитал роман «Пешие прогулки» и рукопись романа «Двойник китайского императора». На сегодня эти романы выдержали по двадцать изданий и переведены на татарский язык. Он тоже рассказывал мне о духовной жизни Казани, о писателях, чьи книги я должен читать. Светлый, чистый был человек Мухаммет-абы, пусть земля ему будет пухом! Я не забуду его наставлений.

Частые искренние встречи в Домах творчества были у меня с Нурисламом Хасановым, он первый написал обо мне большую статью, считая меня татарским писателем.

Полный курс университетского образования я прошел с Адхатом Синегулом, который в конце 70-х годов женился на дочери ташкентского писателя Шамиля Алядина и переехал в Узбекистан. Кто знал Синегула, может подтвердить, что он очень любил поговорить.

В Ташкенте, где я прожил тридцать лет, работали Аскад Мухтар и Зиннат Фатхуллин, классики узбекской литературы. Аскад-абы и Зиннат-абы, заметившие татарскую направленность в первых же моих публикациях, всячески поощряли мой ориентир на Казань. Когда к ним приезжали гости из Татарстана, они часто приглашали и меня. Конечно, все разговоры за столом были только о литературе, о писателях. Оба они имели крепкие связи с Татарстаном. Аскад Мухтар познакомил меня с Гарифом Ахуновым, а Зиннат Фатхуллин — с Заки Нури. Я знаю, оба они писали, говорили обо мне в Казани. Наверное, поэтому в 1979 году меня пригласили на съезд, и Заки Нури очень настойчиво пытался ввести меня в круг татарских писателей, но наткнулся на стену равнодушия и очень огорчился. Мне кажется, он не ожидал от коллег такого отношения ко мне, молодому человеку, с восторгом и надеждой приехавшему на родину отцов. Вот тогда я стал утверждать, что фраза: «Иван, не помнящий родства» — татарская. Чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь. До последних дней своей жизни Заки Нури следил за моими успехами в русской литературе и искренне радовался им. Светлая память о вас, Заки-абы, легендарном человеке, всегда будет в сердцах людей, близко знавших вас.

Не могу не сказать несколько слов о создании повести «Знакомство по брачному объявлению». В 1982 году в Ялте отдыхало много писателей из Казани и Уфы: Заки Нури, Наби Даули,

Рахмай Хисматуллин, Рафаэль Сафин, человек десять, не меньше. Однажды после ужина, когда писатели собрались вокруг Заки Нури, я обратился к обществу, мол, хочу завтра всех вас пригласить к себе в гости и заодно почитать новую повесть. В Домах творчества существовала традиция — читать друг другу новые тексты. Заки-абы, как всегда, отвечает с юмором: если выпивки и угощения будет достаточно, готовы послушать. Моя комната на третьем этаже располагала просторной верандой с видом на море, там я и накрыл столы. Пришли все, началась читка, время от времени перебиваемая гомерическим хохотом. В общем, застолье удалось, слушали внимательно, с любопытством, повесть имела почти детективную интригу. Бутылки не успели ополовинить, как я закончил читать написанное. Сразу дружно стали спрашивать, чем же закончится история и на ком женится Акрам-абзы? Вдруг Заки-абы встал и сказал грозно: «Что ж ты втянул уважаемое общество в историю с недописанной повестью? Нехорошо. Чтобы вернуть наше расположение к себе, ты обязан дописать повесть до нашего отъезда и тем искупить свою вину».

Раздались аплодисменты всеобщего одобрения, не возражал и я. Кто мало-мальски знает меня, тот всегда отмечает мою обязательность. Я забыл про море, пляж, соблазнительные компании, вечеринки и дописал повесть. За день до отъезда я снова собрал гостей у себя на веранде. Среди гостей из Уфы был поэт Рафаэль Сафин, холостяк, и во время читки все неволью поглядывали на него — мол, смотри, как геройски действует Акрам-абзы. Повесть имела счастливую судьбу. Впервые я напечатал ее той же осенью в журнале «Дальний Восток», в Хабаровске, там служил мой сын. Она много переводилась, но особенно я рад публикации в журнале «Казань утлары». Строки из повести часто цитируются: «Акрам Галиевич не знал, что такое аэробика, но понял, что с кухней это никак не связано». В том же 1982 году я отправил повесть в Казань, в театр Марселло Салимжанову, которого знал лично, принимал его с коллегами дома в Ташкенте. Я всегда был уверен, что повесть — готовая пьеса. Но, как обычно поступают в Казани, мне не ответили. Жаль, тридцать лет назад это была бы первая в СССР пьеса о знакомстве по брачному объявлению на татарской основе. В 2008 году поэт Ркаиль Зайдулла написал пьесу по этой повести, и ее поставил Оренбургский театр, идет она и в Мензелинском театре с успехом. Упущено три десятилетия! А в искусстве ценятся новизна, первое слово.



В Домах творчества я познакомился и с русскоязычными писателями-татарами: Рустамом Валиевым, Ильгизом Кашафудиновым, Романом Солнцевым, Рустемом Кутуем, Альбертом Мифтахутдиновым, Явдатом Ильясовым. С Альбертом, жившим в Магадане, я долгое время состоял в переписке, где мы постоянно затрагивали болезненную для нас проблему — отношения к нам Казани. Возможно, это огромная страстная переписка когда-нибудь всплывет, все-таки он был известным писателем. Из названных мною писателей только я и Рустам Валиев крепко держались в творчестве татарской линии и все время стремились в Казань. Но даже те, кто чурался татарских тем, даже они были в обиде на Казань, говорили, что нас там не вспоминают, не приглашают, не издают. А ведь нас, татар, пишущих прозу, состоявшихся в русской литературе, и десятка не наберется, говорю вам ответственно, в эту десятку входят и казанские писатели Рустем Кутуй, Диас Валиев. Отчего к нам, единоверцам, такое равнодушие? Мы дети одного народа, и на нас, наверное, распространяется татарская государственность?

Возвращаясь к моим татарским университетам, хочу отметить отрадную деталь. Всякий новый писатель, с кем я знакомился, считая своим долгом просветить меня, говорил: это тебе обязательно надо знать! Это могли быть беседы о Дэрдменде или моем земляке Мирхайдаре Файзи, или о Наки Исанбете и Нури Арслане, Гумере Баширове и Абдрахмане Абсалямове, Аделе Кутуе и Кави Наджми. Я все впитывал как губка и никогда не путал Назара Наджми с Кави Наджми. Особенно любезны были со мной писатели, не обласканные славой и вниманием, они дарили книги, татарские словари. Я всегда помню о них с благодарностью.

Я один из немногих, кто общался почти со всеми известными татарскими писателями за последние тридцать лет, и о каждом из них оставил страницы в дневнике, сейчас работаю над мемуарной книгой «Вот и всё... я пишу вам с вокзала», куда войдут и эти дневники..

— Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, сильнее в татарской литературе: проза, поэзия, драматургия?

— Безусловно, поэзия!

— Почему?

— Татарская поэзия выросла из тысячелетней традиции, она всегда питалась из вечного родника устного народного творчества.

А проза от Галимджана Ибрагимова до Факиля Сафина имеет за плечами только век. Татарская романистика еще не сказала своего слова, в сравнении с поэзией.

— *Какой жанр, на ваш взгляд, будет востребован в XXI веке?*

— Исторический роман. Несмотря на глобализацию, XXI век пройдет под знаком национальной самоидентификации народов. В силу известных исторических причин на татарскую историю был наложен жирный крест, табу. История народа познается не только по учебникам и научным трактатам, а прежде всего по выдающимся романам, тому примеров много. История казачества — это «Тихий Дон» М. Шолохова, история казахов — роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Народ хочет знать свою историю в художественных образах, мелодиях, играх и даже в национальных костюмах. Такой интерес проявился у всех тюркских народов. У казахов, например, один за другим переиздаются романы Ильяса Есенберлина, в Ташкенте — романы о Тимуре Великом.

Я думаю, уже в ближайшие годы мы увидим новые романы, освещающие татарскую историю, они обязательно поднимут тонус народа. Уверен, найдется и библиотека татарских рукописей, исторических документов, пропавшая при взятии Казани, и писатели смогут работать с первоисточниками.

— *Оптимист вы, однако!*

— Почему же нет, если бы какой-нибудь татарский меценат объявил, что даст миллион долларов тому, кто укажет, где спрятана библиотека царицы Сююмбике, я думаю, долго ждать не пришлось бы, может, даже очередь образовалась.

— *Рауль Мирсаидович, мне не дает покоя ваша похвала поэзии. Не пытаетесь ли вы льстить поэтам? Поэтому задам каверзный вопрос: отчего, в таком случае, поэзия не прозвучала во всю мощь в советское время, когда к литературе относились всерьез?*

— Татарская поэзия обойдется без моей лести и без моих похвал. А не прозвучала она только по одной причине — отсутствия государственной поддержки, понимания властями важности литературы не только для своего народа, но и для утверждения ее места в семье народов страны, мира.

— *Можно понятнее, подробнее?*

— Вы думаете, грузинская или какая-либо другая поэзия интереснее, глубже, тоньше татарской? Я отвечу — нет, и меня



поддержат татарские поэты. Они ведь чувствуют емкость, образность, философию любой поэзии. Нужны только умные, талантливые, тонкие переводчики. Вернемся к грузинам, которых я очень хорошо знаю и люблю, они еще лет двадцать пять назад перевели на грузинский язык мою книгу «Чти отца своего». Я дружил со многими деятелями культуры Грузии, с ее футболистами: Месхи, Метревели, Цховребовым. Кто переводил грузин: Пастернак, Тарковский, Заболоцкий, Антокольский, Тихонов, Ахмадулина, Евтушенко, Луконин, Межиров, Леонович, Корнилов. Если буду продолжать, могу назвать еще два десятка достойнейших имен. Даже в годы войны Пастернак мало бедствовал, потому что переводил Тициана Табидзе, Реваза Маргиани, Карло Каладзе, Ираклия и Григола Абашидзе, Георгия Леонидзе, Паола Яшвили. Евтушенко даже построили дачу на море в Гульрипшах. Это в то время, когда под Казанью шесть соток невозможно было получить. А мы даже переводчика нашего великого дастана «Идегей» Семена Израилевича Липкина, переводившего, кстати, и Мусу Джалиля, не обласкали как следует. Я ведь последние годы жил в Переделкино с ним по соседству. Что ему запоздалая Государственная премия Татарстана в девяносто лет, он нуждался в тепле, заботе, ремонте своей разваливающейся дачи. В начале 1980-х он вышел из Союза писателей из-за «Метрополя» и вовсе бедствовал, больше, чем Пастернак во время войны. Жаль, Липкину не довелось грузин переводить. Хороший переводчик внимания, любви, заботы требует, повышенные гонорары — само собой. Переводчиков, а точнее, пропагандистов грузинской литературы принимали как оперных примадонн или великих теноров, сам не раз видел это в Тбилиси, гулял с ними на закрытых госдачах. У нас в Казани самих-то поэтов вряд ли часто привечают на госдачах и госприемах, какой уж тут разговор об их переводчиках.

К сожалению, не выпало татарской поэзии иметь своего Наума Гребнева и Якова Козловского, хотя свои Гамзатовы у нас были и есть. Не буду называть фамилии, сыпать соль на раны, имена наших корифеев у всех нас на устах. Искать переводчиков, ублажать их должны не сами поэты, это дело литературных чиновников, власти. Государство должно заботиться о своих творцах.

Пишу эти строки, а перед глазами стоит недавно ушедший от нас растерянный от дикого российского капитализма прекрасный поэт, если не сказать больше, Мударрис Аглямов. Когда ему

было думать о переводчиках, чтобы про его талант узнали в Европе, в мире? У него проблема была важнее — как выжить сегодня, и что будет завтра, если искусство, литературу переведут на коммерческие рельсы?

Даже в Узбекистане, на грандиозном юбилее Аскада Мухтара в 1980 году, году его 60-летия, я видел, сам устраивал в гостиницах и на госдачах переводчиков прозы и поэзии Аскада-абы, провожал их в аэропорт тяжело груженными. Думаете, это были заботы Аскада Мухтара? Нет, это ему и в голову не приходило, он встречался с гостями только за богато накрытыми столами, все остальное делали те, кому поручили курировать узбекскую литературу, и, конечно, высшая власть. Да и сам юбилей, отмечавшийся в лучших залах Ташкента и только что отстроенном роскошном ресторане «Зеравшан», вряд ли отнял у Аскада-абы много времени и сил, от него требовалось одно — дать подробный список высоких гостей, которых он хотел бы видеть на своем торжестве. День рождения крупного поэта — это государственная забота.

Запомнилось, как Аскад Мухтар говорил мне в дни юбилея: «Единственное место в стране, где еще почитается писатель, это Кавказ и Восток. Я даже в Москве никогда не признаюсь, что я писатель, ибо это вызовет только негативную реакцию». Он знал, что говорил. В конце 1970-х всем наиболее известным писателям в Ташкенте построили в черте города в лучших районах двухэтажные особняки с хорошими участками. Хотя они имели в Дурмене (это как Переделкино или Рублевка в Москве) двухэтажные каменные госдачи с огромной территорией и персональными садовниками. Даже я, только вступив в Союз писателей, имея квартиру, тут же получил новую четырехкомнатную в элитном доме на Гоголя, где сосед справа был прокурор республики, слева — министр строительства. А после романа «Пешие прогулки» сразу получил участок под строительство загородного дома там же, в Дурмене, где через забор моим соседом был президент Усманходжаев. Только теперь, пытаясь издать свои книги в Казани и устроить там творческий вечер, я понимаю, как мудр был Аскад-абы, когда говорил: «только Восток ценит своих писателей».

Вот какую господдержку поэзии я имел в виду. Повторю очевидную истину: искусство, литература без любви, внимания, заботы, без меценатов, без финансирования — вообще умирает.



— *Может, вы и правы, наших поэтов государство так не баловало. Но это было давно, а теперь повсюду намекают на самокупаемость, самофинансирование.*

— Приносить прибыль, быть рентабельными могут только бордели и шоу-бизнес. А мы с вами говорим о национальном искусстве. Для нашего большого и разбросанного по всему свету народа культура куда важнее экономики, только она еще объединяет татар и ничего больше. Даже такая еще вчера цементирующая сила, как религия, вдруг потеряла свою значимость. Любой татарин в европейской, арабской, азиатской стране может легко удовлетворить религиозную потребность без Казани.

Какие мечети в Лондоне, Париже, Амстердаме, Варшаве, Мадриде, Хельсинки! Чтобы расцвела культура, нужна, как модно сейчас выражаться, только политическая воля. Хотите пример? Пожелали в Казани иметь конный спорт, автоспорт, футбол, хоккей, баскетбол европейского уровня — он мгновенно и появился. Чему я, большой болельщик, безусловно, рад. Радуюсь взлету профессионального спорта в Казани, как человек, знающий, что почем в спорте, сколько стоят приглашенные со стороны игроки, тренеры, содержание команд, спортивных баз, стадионов, медицинского обслуживания, миллионное страхование звезд, их быт, их передвижения, зарплата чиновничьего аппарата и еще многое другое, хотел бы обратить внимание на эти астрономические суммы. Могу с погрешностью в пять-семь процентов даже назвать суммы этих затрат, но не хочется сыпать соль на раны коллегам, людям чутким и эмоциональным. Однако сравнить попытаюсь, уверен — надо.

Как вы помните, в советское время деньги на культуру выделялись по остаточному принципу, главными статьями расходов были: армия, космос и содержание левацких режимов во всем мире. Но даже тот период в Казани вспоминают как лучшее время для искусства. На мой взгляд, все яркие достижения литературы и искусства связаны с советским периодом, имена, известные миру: Рудольф Нуриев, София Губайдулина, Ирек Мухамедов — из того времени. Если бы культура получала хотя бы двадцатую часть того, что имеет сегодня спорт, у нее настал бы золотой век! Я не ставлю задачу противопоставлять культуру спорту, слава Аллаху, хоть спорт у власти в почете. Но в условиях российской действительности, где вся жизнь пронизана коррупцией, взяточничеством, и спорт весь продажный: от судей до самих игроков. Оттого любая победа,

успех — сомнительны, не греют душу, не радуют. Если бы спорт в России был чистым, честным, то победы как-то оправдывали бы столь высокие расходы, а так — деньги на ветер.

Я вырос вдали от Татарстана, но кто знает меня, может подтвердить, во мне татарского гораздо больше, чем у многих живущих там. И эти качества сложились благодаря силе искусства, благодаря тем песням и мелодиям, что я слышал в детстве, тем рассказам, что я внимал в застольях родителей. Для меня, повторюсь, человека, не чуждого спорту, творчество одного Ильгама Шакирова гораздо выше любых побед «Рубина» и «Ак Барса» или кубка в ралли Париж — Дакар, или награды за победу любимого жеребца президента на ипподроме.

Уже почти век живет на сцене «Зангар шаль», уверен, что и следующие сто лет она будет греть сердца людей. Искусство, литература, как правило — труд одиночек. И их, творцов, казалось бы, поддержать легче, чем спортивные команды, но не получается, к сожалению.

Балетные спектакли готовят годами, но идут они десятилетиями, балетам Дягилева, Фокина уже почти сто лет, и они не сходят со сцены. Музыка Фариды Яруллина к балету «Шурале», его оркестровые пьесы уже полвека пробуждают в татарах гордость за свою культуру, задевают в душе национальные струны. Я уверен, что победы слетевшихся со всего света за огромные деньги в не очень богатую республику варягов-легионеров, бьющихся за казанский футбол, хоккей, баскетбол, не могут вызывать подобные глубокие чувства. Уверен, гораздо больший эмоциональный подъем чувствуют зрители, когда чествуют на сабантуях истинных богатырей земли татарской.

Профессиональный спорт — часть масс-культуры, и я думаю, он не должен иметь преимуществ в финансировании перед национальной культурой. Это несравнимые величины, ни по каким параметрам, ни в краткосрочной перспективе, ни с оглядкой на будущее нашего народа. А спорт, прежде всего массовый, конечно, надо развивать, татары — спортивная нация, это общеизвестный факт.

Позволить себе рассчитывать на окупаемость культуры может только очень большой народ, например, русский, где читателей, слушателей десятки миллионов. В России одних писателей, даже сегодня, под сто тысяч. Они могут рискнуть пойти рыночным путем, хватит и тех, кто выживет, не умрет. Коммерциализация русской



культуры уже дает о себе знать, результат известен каждому, и нет нужды обсуждать ее плоды. Татарская культура может выжить только с помощью государства — это аксиома. Она не выдержит даже кратковременного эксперимента.

Убежден, культуру восстановить гораздо труднее, чем экономику. Примеров тому немало: возьмите процветающую Турцию, там нет профессионального театра, книгоиздания, в нашем понимании, да и литература не развита. То же самое и в Греции, где бываю часто, там только восемь лет назад появился оперный театр европейского уровня. А казанскому оперному театру уже более полувека. Отстав однажды в культуре, останешься навсегда на задворках истории, это не спорт — сегодня проиграл, завтра выиграл.

— *И все-таки я хочу вернуть вас к поэзии, которую вы так высоко оценили. Какой период поэзии, какие поэты вам близки по духу?*

— К поэзии я приобщился в пору, когда формируются вкусы, взгляды на жизнь, на искусство — в пятнадцать лет. В Актюбинске мне дали на ночь аккуратно переписанную от руки толстую в колленкоре тетрадь запрещенного в ту пору Сергея Есенина, с тех пор я и дружу с Поэзией. В ней, как я уже не раз говорил, есть ответы на все вопросы бытия. Поэзия мне нужна и в радости, и в дни печали, в нее я убегаю от невзгод, неудач, плохого настроения. Не побоюсь высказать крамольную, на взгляд литературоведов и национал-патриотов, мысль, что большая поэзия внациональна, она не имеет границ. Хотя я прекрасно понимаю, что любая поэзия сильна национальными корнями. Но лучшие ее образцы становятся достоянием всего человечества и воспринимаются вне национального контекста. В этом сила больших литератур, больших поэтов, питаюсь национальными корнями, им удастся воспарить над местечковостью и подняться не только над своим аулом, но и над всем миром. В последние десятилетия, когда открылся мир, я часто бываю за границей, всегда захожу в Европе в книжные магазины и везде встречаю прекрасно изданные книги Омара Хайяма, Рудаки, Хафиза. К переводам этих поэтов хорошо приложили руки англичане еще полтора века назад, а от них, да и от русских переводов А. Тхоржевского тоже, отпочковались немецкие, французские, испанские, итальянские переводы. Но это сути не меняет, важна данность, поэзия Востока востребована как никогда.

Мое увлечение поэзией пришлось на время, когда она оказалась на пике своего расцвета, популярности, она могла соперничать

с эстрадой, собирала полные залы Дворцов и переполненные трибуны стадионов. Тиражи поэзии равнялись тиражам прозы. Шестидесятые-семидесятые годы стали временем поэтов, ежегодно издавался альманах «День поэзии», страна знала, любила своих поэтов. Увлечшись поэзией, я, конечно, не пропускал и татарскую, прежде всего Мусу Джалиля и Габдуллу Тукая. В начале 1970-х я приобрел книгу стихов Равиля Файзуллина «Саз», изданную в «Молодой гвардии», до этого я часто встречал его стихи в периодике, его имя уже гремело в литературе.

По-настоящему я полюбил татарскую поэзию, когда начались мои татарские университеты в Домах творчества. Стихи Туфана, Сибгата Хакима, Зульфата я впервые услышал из уст Мустая Карима и Мусы Гали. Очень красиво читал стихи Рафаэль Сафин. На всех вечеринках в Домах творчества читали стихи. В Домах творчества сложилась традиция устраивать творческие вечера с участием приехавших на отдых поэтов. Однажды в 1978 году в Коктебеле я слушал на таком поэтическом вечере Рената Хариса. Помню, на русском он читал стихотворение «Русские ворота» и еще четыре стихотворения по-татарски. Читал великолепно, зал аплодировал ему долго, хорошая поэзия чувствуется по ритму, размеру, звуковому ряду. К этому вечеру в Крыму я уже ориентировался в татарской поэзии. К восьмидесятым годам, хотя и работала еще старая гвардия больших поэтов: Туфан, Сибгат Хаким, уже сформировалась группа литераторов, которая на долгие годы станет определять лицо нашей поэзии. Уже четверть века я внимательно слежу за их творчеством, редко в какой поэзии выпадает на один временной отрезок такой щедрый звездопад талантов. На всякий случай зарезервирую для себя в литературоведении определение этой группы как Великое поколение. Большинству из них сегодня за шестьдесят, кому чуть больше, кому чуть меньше. Это, на мой взгляд, Равиль Файзуллин, Зульфат, Радиф Гаташ, Мударрис Аглямов, Ренат Харис, Гарай Рахим, Рустем Мингалимов, Зиннур Мансуров, Роберт Ахметзянов, некоторых из упомянутых, к сожалению, уже нет с нами. Выскажу и такую парадоксальную мысль: родись они в разные периоды истории, каждый из них, индивидуально, стоял бы на золотом пьедестале поэзии. Нам выпало счастье знать, видеть, читать их в одно время, но по-настоящему разглядят их только наши потомки. Бывает так, что среди многих бриллиантов трудно разглядеть единственный, самый-самый. О них написано столько статей, исследований,

М

монографий, что моя хвалебная оценка их творчества — излишняя. Любопытна она одним — это взгляд человека любящего, знающего поэзию и наблюдающего, что ни говори, со стороны. В этом мое право на оценку. Обидно, что никому их них, кроме Файзуллина, не удалось вырваться на всесоюзную орбиту, но это не их вина и не слабость их поэзии. Повторюсь, поэзия нуждается в покровительстве.

— *Я согласен с оценкой названных вами поэтов, но вы сами говорите, средний возраст у них за шестьдесят, а поэзия — дело молодое. Отчего ярко не заявляют о себе, как ваши кумиры, молодые?*

— Поколение поэтов, которых я назвал, подняло планку поэзии столь высоко, что еще десятилетиями мы будем замечать этот провал, немощь идущих вслед поэтов. Тут причин много — и слабость образования в последние двадцать пять лет, и резкое падение уровня культуры, и потеря интереса к самой литературе, признаем это. Каждый из названных мною поэтов и все они вместе сделали революцию в татарской поэзии. Они раздвинули ее границы, обогатили рифмой, формой и, прежде всего, философичностью, интеллектом, кругозором, образностью. Это поколение имеет прекрасное образование, за плечами некоторых и очная аспирантура, оно впитало не только родную культуру, историю, но и мировую. Идущий впереди них по возрасту Марс Шабаев, чувствуя потребность в развитии границ поэзии, перевел даже Уитмена. Сегодня я думаю, что его перевод в первую очередь был адресован этому поколению. К сожалению (может, я ошибаюсь в своем личном мнении), это первое такое мощное интеллектуальное поколение и, скорее всего, последнее. Этому поколению, к которому принадлежу и я, повезло, нас воспитало время, расцвет национальных культур, благополучие и мощь страны и высокое место писателя в культурной жизни общества.

Конечно, поэзия никогда не иссякнет, есть и в молодом поколении таланты: Ркаиль Зайдулла, Марат Закиров, но перед ними взяты такие высоты, такие эвересты, что дух захватывает! Это, если сравнить со спортом, всё равно что после Боба Бимона, двадцать семь лет назад прыгнувшего в длину на восемь метров девяносто сантиметров,— заниматься прыжками. И после Боба Бимона каждый год появляются чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы, им вручают золотые медали, безумные гонорары, но никто, уверяю вас, не забывает, что были восемь метров девяносто сантиметров!

Великое поколение оставит после себя не только большую поэзию, но и её высоко поднятую планку возможностей. Вот такими ориентирами и сильна мировая поэзии.

— *Сегодня в беседе с вами мы забрели далеко в литературу, и, пользуясь тем, что вы не уходили от вопросов, отвечали искренне и на все имели свой выстраданный взгляд — не шутка тридцать лет биться за место в татарской литературе, имея за собой реализованный успех в русской словесности,— я задам вам вопрос, очень волнующий меня самого, кстати, он неожиданно возник из нашего разговора. В шестидесятые у идеологов Кремля родилась благая идея — выделить из национальных литератур яркие имена и, всячески поддерживая их, демонстрировать заботу о литературах больших и малых народов. Для примера напомним: Киргизия — Чингиз Айтматов, Казахстан — Мухтар Ауэзов, Туркмения — Берды Кербабаяев, Таджикистан — Мирзо Турсунзаде, Узбекистан — Гафур Гулям, Калмыкия — Давид Кугультинов, Башкирия — Мустай Карим, Дагестан — Расул Гамзатов, Чукотка — Юрий Рытхэу. Почему не нашлось такого лидера у нас, и кто, на ваш взгляд, мог претендовать на такую миссию?*

— Этот вопрос беспокоит уже которое поколение татар, волновал он и меня. Сегодня мне 69, я отдал десятки лет литературе, и я скажу, каков был бы мой выбор.

Я вижу кандидатуру только Хасана Туфана, он имел для этого все: талант, авторитет, любовь народа.

— *Но вы упустили из виду, что он был репрессирован и долгие годы провел в Сибири.*

— Знаю, хорошо знаю. Много о нем читал, много слышал от людей, близко знавших его. В такой же ситуации и там же, в Сибири, находился и Давид Кугультинов, но это не помешало ему стать одним из самых заметных поэтов страны. Дело не в Туфане, а во власти, к сожалению, власти не нужен был вольнодумец Хасан Туфан. И писатели не очень рвались отдать пальму первенства одному, даже Туфану. Если не я, то и никто другой — и сегодня прослеживается в наших рядах. Не судьба, не повезло ни татарской литературе, ни великому Туфану, как не везло ему в жизни с книгами, переводами. Жаль, какое прекрасное сочетание, какая великая преемственность получилась бы: Тукай — Туфан! А был еще один вариант, для многих он может показаться фантастическим. Но я все же пофантазирую на эту тему, ибо так поступили



мудрые казахи. Вместе со стареющим Мухтаром Ауэзовым казахи все время упорно поднимали молодого Олжаса Сулейменова. Когда Мухтар-ага ушел из жизни, Олжас автоматически занял его место. Я хочу сказать, что вместе с Туфаном следовало делать ставку и на Равиля Файзуллина, звезда которого в то время разгорелась даже ярче, чем Олжаса Сулейменова.

Сегодня, когда прошли десятилетия, Равиль Файзуллин своей жизнью, талантом, многотомным творчеством подтвердил, что вырос в крупнейшего поэта. Я думаю, что в те годы он уже стоял рядом с Евтушенко, Вознесенским, Рождественским, тем же Олжасом Сулейменовым и Мумином Каноатом, который мгновенно сменил умершего Мирзо Турсунзаде.

— *Почему вы выбрали для жизни Ташкент? И что вас натолкнуло на занятие литературой?*

— Я пришел в литературу из строительства. Пришел поздно — первый рассказ написал в 1971 году в тридцать лет. Меня с молодых лет, с юности влекло искусство: музыка, балет, живопись, литература, театр, кино, эстрада. В Ташкент я приехал в 1961 году и поставил себе задачу пересмотреть репертуар всех столичных театров. За год я с этой программой справился, включая и узбекский театр Хамзы, где тогда блистали непревзойденные актеры Шукур Бурханов, Аброр Хидоятов, Сара Ишантураева. Я даже стал ходить на концерты узбекской музыки, и с тех пор для меня лучшим певцом остается Фахретдин Умаров. Репертуар театров я пересмотрел не один раз. Мое постоянное присутствие в театрах было замечено кругом ташкентских театралов и меломанов. В те годы я подружился с молодым балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Почти вся вторая половина XX века узбекского балета связана с его именем. В 1964 году Ибрагим Юсупов поставил в Ташкенте балет «Спартак». На премьеру приезжал сам великий композитор Арам Ильич Хачатурян. В ту пору любой творческий коллектив, гастролировавший по стране, непременно посещал Ташкент.

Не могу удержаться от перечисления коллективов, бывавших в Ташкенте, или, точнее, тех, чьи выступления мне удалось увидеть самому: Ленинградский БДТ Георгия Товстоногова, театр Николая Акимова, Кировский балет, где блистала ташкентская балерина Валентина Ганнибалова. Знаменитый МХАТ, «Современник», Театр сатиры, театр Аркадия Райкина. В Ташкенте регулярно с большой помпой проводились Декады национальных искусств

всех республик. Столица в ту пору имела пять больших концертных залов: театр имени Свердлова у сквера, театр эстрады на Навои, Ледовый дворец, концертный зал с органом «Бахор» и, конечно, великолепный театр оперы и балета имени Навои, а чуть позже появится и роскошный Дворец дружбы народов. Кто только в них не выступал! Доминико Модунио, Жильбер Беко, Марсель Марсо, Сальваторе Адамо, Том Джонс, Хампердинк, Джорж Марьянович, Радмила Караклаич, Эмил Димитров, Лили Иванова, великий Николай Гяуров, Марыля Родович, Карел Готт, Дан Спатару и т. д.

О советских звездах и именитых коллективах я и не говорю, все достойные побывали в Ташкенте, и не раз. В те годы были модны мюзик-холлы, был и ташкентский, в котором блистали Юнус Тураев, Науфаль Закиров. Ни один мюзик-холл, а их в стране было четырнадцать, не проехал мимо Ташкента. Гастролировали у нас и мюзик-холлы из-за рубежа. Приезжали в Ледовый дворец Ташкента и мюзик-холлы на льду — незабываемое красочное зрелище!

А какие оркестры, великие биг-бенды оставили свой след в Ташкенте: оркестр из ГДР «Шварц-вайс», испанский оркестр «Маравелья», оркестры Олега Лундстрема, Эдди Рознера, Юрия Саульского, Александра Цфасмана, Рауфа Гаджиева, Мурада Кажлаева, оркестр Дмитрия Покрасса, Леонида Утесова, оркестр Анатолия Кролла «Современник». В 1960-е годы А. Кролл возглавлял Государственный эстрадный оркестр Узбекистана, в котором пел незабвенный Батыр Закиров!

Знаменитый джаз-оркестр Карела Влаха с его бессмертным «Вишневым садом»! А несравненный саксофонист Папетти с итальянским оркестром «Палермо»! Даже легендарный оркестр Бенни Гудмана (США), давший в СССР всего два концерта, один из них провел в Ташкенте.

Когда в столице появился новый орган зал «Бахор», по тем временам лучший в СССР, все известные органисты, такие как Гарри Гродберг, бывали у нас по пять-шесть раз в году.

Вот почему я выбрал для жизни Ташкент.

Высокое искусство формировало зрителя, и я благодарен времени, Ташкенту, своему окружению, что они повлияли на мои вкусы, мировоззрение. Дали мне культурный багаж, с которым можно было вступать в литературу, в жизнь.

Но прежде чем перейти к тому, как я начал писать прозу, мне хотелось бы сказать несколько важных слов о кино.



Наверное, человек, внимательно читающий этот текст, уже задался вопросом: почему молодой провинциал из казахской глубинки решил одолеть репертуар всех ташкентских театров? Верно. Человек не может вдруг, в одночасье, стать заядлым театралом или меломаном, для этого нужна веская причина или чье-то влияние: семьи, друзей, возлюбленной.

Ташкент прельщал меня как культурный центр, он близок мне по ментальности, а к решению переехать сюда подтолкнул кинематограф, давший мне первые представления о культуре, другой жизни. Я дружу с кино с детства.

Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает.

С киношниками Ташкента я познакомился сразу. Я хорошо знал Джамшита Абидова, Мелиса Авзалова, Равиля Батырова, Али Хамраева, Адильшу Агишева. Киношники и указали мне путь в литературу, можно сказать — командировали. Как-то на презентации фильма Али Хамраева я сделал невинное, на мой взгляд, замечание, которое задело мэтра, и он мне ответил с иронией: напиши что-нибудь сам, а я обязательно это экранизирую. Сказано было прилюдно, и меня это крепко задело. Я вернулся домой и за три дня написал рассказ «Полустанок Самсона». Он был напечатан в московском альманахе «Родники» и с тех пор издавался раз тридцать, по нему делали радиопостановки. Это случилось осенью 1971 года.

Сегодня я понимаю, что те десять первых лет жизни в Ташкенте, прошедшие в насыщенной высокой культурой среде, и явились причиной того, что я начал писать, а реплика знаменитого режиссера лишь послужила толчком, рано или поздно это все равно бы случилось. В сорок лет я оставил строительство и уже тридцать лет живу жизнью профессионального писателя. Написав с десятков книг повестей и рассказов, я вдруг почувствовал, что мне тесно в рамках малого жанра. Наверное, к роману меня подтолкнуло и время, я видел закат коммунистической эпохи. К тому времени я общался не только с людьми искусства, среди моих друзей уже были представители высшей власти. В начале 1980-х годов меня стала волновать тема «человек во власти», «власть и закон». Я видел заметное раздвоение личности у людей во всех структурах власти, ощущал все нарастающую несправедливость вокруг, как и сегодня. Общество ждало перемен. И я написал роман «Пешие прогулки». Роман почти

одновременно вышел в Москве и в Ташкенте, причем местный тираж был 250 000 экземпляров! Беспрецедентный случай! С выходом «Пеших прогулок» я получил широкую известность.

— *Что, на ваш взгляд, более всего объединяет татар, живущих вне исторической родины: религия, культура, литература, язык, музыка?*

— Конечно, важны все, без исключения, названные вами факторы, но, отвечая без раздумий на ваш вопрос, скажу — песня! Да-да, татарская песня — и народная, и современная. С первых сознательных шагов я запомнил песню — её пела мать, долгими зимними вечерами вязавшая пуховые платки, пела с подружками сестра Саня, пели в застолье мужчины-фронтовики. В Мартуке на каждой улице жили свои гармонисты. В нашем доме чаще всего бывал с тальянкой Гани-абы Кадыров, потерявший на фронте ногу и с одной ногой плотничавший! Позже его сын Хамза, физик-ядерщик, тоже замечательно играл на свадьбах. Сейчас обоснованно и необоснованно принято ругать коммунистов, но я хорошо помню, что долгие годы по четвергам по радио шел концерт татарской песни, а по праздникам давали концерты по заявкам. Для татар на чужбине это были святые дни — не меньше. Многие из Мартука тянулись в отпуск в Татарстан, и им всегда заказывали пластинки. Пластинка из Казани могла быть и свадебным подарком.

В 1984 году мой сын служил в армии, на Дальнем Востоке. Из Хабаровска во Владивосток я добирался экспрессом «Океан», и вдруг по радио начали передавать концерт по заявкам рыбаков. Хотите верьте, хотите нет, девяносто процентов заявок были татарской песней. Для мичмана Валлиулина, для старшего механика Яруллина, для матроса Валиева — гордостью наполнилось моё сердце, что и тут, на краю земли, не унывают мои земляки. Позже писатель Альберт Мифтахутдинов, живший на Чукотке, в Магадане, говорил мне, что и там, на Колыме — много татар.

В 1978 году я был в Доме творчества в Ялте и познакомился... с Ильгамом Шакировым. Он отдыхал в другом санатории и пришел проведать Амирхана Еники. Амирхана-абы дома не было, и я пригласил Ильгама подождать у меня. Ильгам и представил меня в тот вечер Еники, выходит, в один счастливый день я познакомился с двумя выдающимися корифеями нашей культуры. Узнав, что пришел Ильгам Шакиров, стали подтягиваться и другие писатели, отдыхавшие в это время. Быстро организовали на просторной веранде



стол и сидели до глубокой ночи. По просьбе Амирхана-абы Ильгам пел в тот вечер много и от души. Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Все оставшиеся дни в Ялте я провел с Ильгамом. В романе «Ранняя печаль» есть сцена с рестораном-варьете «Ницца», там мы не раз бывали с великим певцом. С собой у меня была только одна книга «Полустанок Самсона», и я подарил её с надписью: «Ильхаму Шакирову — удивительному человеку, видевшему в лицо весь свой народ». Поверьте, не было в СССР поселка, где живут татары и где бы Ильгам не пел!!! Поистине, ни одному владыке, царю не удавалось увидеть глаза в глаза весь свой народ, и только он видел татар от мала до велика. На его концерты ходят всей семьей, с девяностолетними старухами и грудными младенцами на руках, ходят и по пять, и по десять раз.

Я давно ношусь с идеей постройки ему народного памятника при жизни (чтобы он сам выбрал проект, место) не только как великому певцу, но и как объединителю, хранителю нации. И на постаменте должны быть выбиты эти слова. А под ними — карта СССР с Казанским Кремлём в центре, и от него тысячи и тысячи лучей к местам поселения татар, где он побывал по велению сердца. Хочу упомянуть и Рашида Вагапова, Альфию Авзалову, Зифу Басырову и многих, многих других певцов, поэтов, композиторов, чьи песни тоже сохранили татар, татарскую культуру на чужбине.

Песней объединены татары, песней спаслись, с песней воевали и побеждали и с песней живут до сих пор.

Та летняя ночь на ялтинской веранде закончилась для меня еще одним сюрпризом — Амирхан Еники подарил мне роман «Гуляндам» о композиторе Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя.

И еще один штрих к рассказу о татарских песнях и исполнителях. На 75-летие Мустая Карима съехались видные гости отовсюду, и каждого он поблагодарил в заключительном слове, и только про одного сказал так: «а Хайдара Бигичева мне словно бог послал...». Татарская песня оказалась самым дорогим подарком для сердца великого поэта.

— *Вы прожили в Ташкенте тридцать лет, какую нишу в общественной, культурной, хозяйственной жизни Ташкента занимали татары?*

— В среде татар в ходу живучая мысль, что якобы им нигде не давали хода. Но это совсем не так, посудите сами на примере

Ташкента. Начну со строительства. Я сам работал в строительно-монтажных организациях — министром был Гази Сабилов. Заком министра в Министерстве стройматериалов работал отец известного ныне в Москве и в Казани предпринимателя и мецената Александра Якубова — Рустам-абы Якубов. В Министерстве строительства министром был Сервер Омеров, а министром сельского строительства — Таймазов. Главным архитектором Ташкента и архитектором знаменитой гостиницы «Ташкент» был всемирно известный Мидхат Булатов, автор многих фундаментальных работ по архитектуре. Один из крупнейших строительных трестов Ташкента возглавлял Наиль Клеблеев, республиканский трест механизации — Эрнест Ховаджи. Если названные навскидку первые лица были татарами, надо понимать, сколько при них работало соотечественников. Профсоюзом строителей руководил Исхак Забилов, доктор наук, издавший несколько книг по жизни и творчеству Мусы Джалиля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. Адаманов, начальником железной дороги был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» руководил Н. Рафиков.

Возьмем партийные органы. В ЦК комсомола, а позже в ЦК партии отдел пропаганды возглавлял Максуд Зарифович Узбеков, доктор наук. Секретарем горкома партии по идеологии, а позже и обкома был Карим Расулов, а его брат Рахим более десяти лет являлся прокурором Джизакской области, родины Шарафа Рашидова. Министром юстиции была Васикова, к сожалению, я многих уже не помню по имени-отчеству. В прокуратуре, в Верховном суде, МВД, КГБ много высочайших постов занимали татары. Министром МВД в конце 80-х был Вячеслав Мухтарович Камалов, чью фамилию я взял для своих книг «Масль пиковая» и «Судить буду я», ранее Камалов был первым замом председателя КГБ республики. Даже в суверенном Узбекистане ключевой пост главы таможенного комитета получил Рим Генниатуллин. Советником по внешней политике сегодня у Ислама Каримова — Рафик Сайфуллин. Большой вклад в создание Конституции современного Узбекистана внес академик Шавкат-абы Уразаев.

Но продолжим экскурс в долгое советское время. Коснемся культуры. Председатель Союза композиторов — Эльмар Салихов. Главный композитор «Узбекфильма» — Румиль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр Ишмухамедов — известнейшие режиссеры, и у знаменитого Али Хамраева тоже татарские корни. Главный



киносценарист студии, её идеолог — Одылыша Агишев. Талгат Нигматуллин, актер, тоже прославился там. Возьмем театр оперы и балета имени Навои. Долгие годы прима-балеринами были там всемирно известные Галия Измайлова и Бернара Каримова, и у главного балетмейстера Ибрагима Юсупова тоже татарские корни. Заглянем в Союз писателей. До сих пор мало кому известно, что один из любимых писателей Сталина Сергей Бородин — татарин. В 1942 году он издал культовую для русских книгу «Дмитрий Донской». Классиком узбекской литературы слыл Аскад Мухтар. Высоко ценился властью Зиннат Фатхуллин, драматург. У него очень известные сыновья — Дильшат, лауреат Ленинской премии, а младший — один из создателей легендарного ансамбля «Ялла». Я хорошо помню их дом, сад в Рабочем городке. По-настоящему большим писателем был Явдат Ильясов, писавший по-русски. Хотя он умер больше пятнадцати лет назад, татарскому читателю еще только предстоит ознакомиться с его творчеством. Наверное, его книги очень сильно повлияют на форму и стилистику молодых писателей — это другая кровь, но истоки у нее явно татарские. Очень известен и любим в Узбекистане доктор наук, искусствовед, сын нашего классика Хади Такташа — Рафаэль Такташ. Из художников, которых там много, надо назвать академика Чингиза Ахмарова, автора изящных восточных миниатюр. Он оформил классические узбекские поэмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». Он же иллюстрировал большую подарочную серию восточных поэтов: Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чингиз Ахмаров оставил после себя не только учеников, но и новейшую школу забытой восточной миниатюры. В моей коллекции есть работы его талантливых учеников — Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из молодых художников, ныне известных на Западе, хочу назвать Айдара Шириязданова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В знаменитые годы «Пахтакора» там играли Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Владимир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вилли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали Имамов. Общество «Пахтакор» представлял чемпион Европы легкоатлет Родион Гатауллин. Единственный чемпион мира по боксу — Руфат Рискиев, и гимнастки, многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — Венера Зарипова и Алина Кабаева.

Даже на ежегодных пушных аукционах в Ленинграде, куда поставлялся лучший в мире бухарский каракуль, узбекскую комиссию

возглавлял мой сосед, выпускник Плехановки — Максуд Зиганшин. Назову и выходца из Ташкента миллионера Аниса Мухаметшина и братьев Расима и Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, или даже более благоприятная, была в те годы и в соседнем Казахстане. Многие связывают такую благосклонность к ним властей с родословной самого Кунаева и его жены-татарки, действительно, крепко помогавшей талантливому татарам. Но я, живший и в Казахстане, и в Узбекистане, утверждаю, что это больше связано с ментальностью казахов и узбеков, с их открытостью и широтой их души.

Вспомнил Ташкент и Алма-Ату и неожиданно подумал: а готовы ли сегодня в Татарстане так же щедро предоставить высокие посты, должности тем же узбекам, казахам? Вряд ли. Сужу по своему опыту. Двадцать пять лет с татарским упорством я пытался издать в Казани книгу — и только сегодня, на двадцать шестом году мытарств, она вышла, хвала Аллаху.

Но вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рассказать, а кому-то напомнить, как принимали здесь татарский театр. Отдавали ему самый большой и красивый зал, в ту пору театра имени Хамзы. С билетами были проблемы, как и на концерты Ильгама Шакирова, хотя приезжали надолго, на месяц-полтора. В эти дни разговоры в среде ташкентских татар — только о спектаклях, артистах. Актеров постоянно приглашали в гости. Однажды уже упоминавшийся Максуд Узбеков, работавший в ЦК партии, пригласил домой руководство театра и ведущих артистов. Там, в гостях, я познакомился и с Марселем Салимжановым, и с Азгаром Хусаиновым, директором театра. С Азгаром связь поддерживалась долгие годы.

Татарская диаспора Ташкента жила полнокровной национальной жизнью, на Шота Руставели находился большой книжный магазин, где много лет имелся отдел татарской литературы, тут же оформляли подписку на казанские газеты и журналы, назначали встречи. В узбекской столице любили гастролировать казанские театры и эстрадные звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у филармонии её директора Ашота Назарянца, спрашиваю: когда приедет Доминико Модунио? Гастроли были уже давно объявлены, а знаменитый итальянец не появлялся. Назарянц, человек с хитрецей и юмором, отвечает: «А на что мне Модунио?» Я в ответ: «Будут аншлаги, большие сборы, сразу квартальный план...» А Назарянц с улыбкой: «Ну, эти проблемы гораздо лучше



любой капризной звезды мне может закрыть Ильгам Шакиров, стоит мне только дать телеграмму в Казань!»

Я возражать не стал, знал, что творилось на концертах Ильгама. Пожалуй, он первый в СССР начал давать два концерта в день, для того, чтобы не разнесли вдребезги концертный зал. Ведь приезжали на выступления и из казахских городов: Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, из таджикского Ленинабада, киргизского Оша. Сейчас примерно такое происходит на концертах Алсу и Земфиры. И еще об Ильгаме и татарской диаспоре, и о любви народа к песне. В середине 60-х я часто и подолгу бывал в Москве по работе. Вечерами заходил в кафе «Синяя птица», где один день играл саксофонист Клейбанд, а следующий день — гитарист Громин. Там я познакомился с молодым пианистом Владимиром Ашкенази, тем самым, который уже лет тридцать входит в мировую элиту исполнителей. Через год после нашего знакомства Володя, как и Нуриев, остался после гастролей на Западе. А тогда Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: «У вас есть очень хороший певец — Ильгам Шакиров». Я с удивлением спросил: «А ты-то откуда знаешь? Он исполнитель народных песен, поет исключительно на родном языке». «А мне о нем Ростропович рассказал», — ответил Володя и поведал краткую историю, которую я не забыл и через сорок лет. Оказывается, Ростропович днем репетировал со своим оркестром в каком-то Дворце, где вечерами выступал Ильгам Шакиров. Ростропович — человек увлекающийся, поэтому часто не укладывался в свое время и уходил перед самым концертом, когда музыканты уже настраивали инструменты. Каждый раз, когда Ростропович стремительно выходил на площадь перед Дворцом, он встречал огромные толпы людей, не обращавших на него никакого внимания и лихорадочно ищущих лишней билетик. Так произошло раз, два и три, на четвертый раз Ростропович подошел к афише, а на следующий день остался на концерт и все первое отделение простоял за кулисами, наблюдая и за залом, и за сценой, чтобы понять феномен невероятной народной любви к артисту. В перерыве он подошел к Ильгаму Шакирову, поздравил его с успехом и сказал много теплых слов. Через пятнадцать лет, познакомившись с Ильгамом, я получил подтверждение истории, рассказанной мне Владимиром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повествования вокруг одних и тех же имен татар, и казанских, и ташкентских, да и всех остальных,

живущих от Калининграда до Владивостока. При всей нашей раздробленности живем мы одними песнями, одними молитвами, преклоняемся перед одними и теми же людьми — цветом нашей нации.

— *О чем, о ком вы не успели написать?*

— Жалею, что не успел создать серьезные книги о Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине, Рудольфе Нуриеве — это моя тема. Я неплохо знаю балет, серьезную музыку. С юных лет я дружил со многими творческими людьми, некоторые из них стали сегодня значительными фигурами в мировом искусстве.

— *Почему вам не начать эти книги сейчас?*

— Слишком затоптана тропа к дорогим для меня именам, то есть написано много книг, особенно о Р. Нуриеве и С. Сайдашеве, уже сложился стереотип, который не одолеть.

— *И последний вопрос, Рауль Мирсаидович, что бы вы напечатали в первую очередь, если бы вдруг стали директором Таткнигоиздата?*

— Первое, что бы я сделал, перевел на русский и английский языки всего Хасана Туфана, издал бы о нем книгу в серии «ЖЗЛ», в которую бы вошли книги и об Амирхане Еники, Мухаммете Магдееве, Гарифе Ахунове, Заки Нури, Мирсае Амуре, Гумере Баширове, Нури Арсланове и о ранних деятелях нашей культуры: Гаязе Исхаки, Кави Наджми, Аделе Кутуе, Хади Такташе. Все издал бы на трех языках, как казахи. Надо признать как данность: к сожалению, две трети татар не знают родного языка и вряд ли когда-либо будут знать его. Отрезать их от татарской культуры только из-за того, что они не знают языка — значит потерять нацию окончательно. Остается одно, доносить татарское до татар на других языках. В XXI веке одна лишь культура цементирует нашу нацию, а новый век будет ассимилировать татар еще быстрее.

Следующим моим шагом было бы издание избранного всех тех, кого я назвал Великим поколением, конечно, открыв дорогу в этот список еще нескольким достойным поэтам. Из старшего поколения добавил бы Сибгата Хакима, Марса Шабаева, Ильдара Юзеева, оставил бы место и молодым: Ркаилю Зайдулле, Мударрису Валееву, Кадыру Сибгатуллину. Издал бы всех их на двух языках: русском и английском, на родных языках их творчество и так широко известно.

Отдельным томом издал бы рубаи Равиля Файзуллина, это особо мудрая поэзия, форма, дающаяся редко кому. Когда я вижу



в западных магазинах книги Омара Хайяма, Хафиза, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Саади, я невольно воображаю этот том Равиля Файзулина, уверен, он будет востребован, ибо у Файзуллина нет прописных истин, банальщины, он отразил весь XX век, самый сложный и кровавый в истории человечества.

Перевел бы на татарский язык романы: Рустама Валеева «Земля городов», Явдата Ильясова «Заклинатель змей» и «Золотой истукан».

Издай бы книгу о парижанине Харуне Тазиёеве, его родители ташкентские татары. В шестидесятые-семидесятые годы он был на Западе культовой фигурой. Он самый известный вулканолог в мире, спускался в кратеры почти всех известных вулканов. Он известен на Западе не меньше, чем океанолог Ив Кусто.

Издай бы книги о выдающихся спортсменах: Гайнана Сайтхужине, Галимзяне Хусаинове, Ренате Дасаеве, Вагизе Хидиятуллине, Зинэтуле Билялетдинове, Габдрахмане Кадырове, Венере Зариповой.

В татарскую серию «ЖЗЛ» включил бы книги об Ильгеме Шакирове, Рашиде Вагапове, Хайдаре Бигичеве, Зифе Басыровой, Алмазе Монасыпове, Назибе Жиганове, Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине и других деятелях культуры — такие книги сегодня нужны как воздух. И многое, многое другое — но об этом в следующей нашей беседе.

*Казань, Москва,  
2010–2011*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ТОМ ПЕРВЫЙ

#### Горький напиток счастья

Пешие прогулки. Роман .....	13
Жар-птица. Повесть .....	253
Горький напиток счастья. Повесть.....	295
Велосипедист. Повесть.....	339
Сезонные работы. Повесть.....	379
Македонский. Рассказ .....	413
Голубые самосвалы. Рассказ.....	433
Оренбургский платок. Рассказ.....	455
Казань в моей жизни. Интервью .....	467

Литературно-художественное издание  
Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович  
Собрание сочинений в шести томах

**Том первый**

Казань. Издательство «Kazan-Казань». 2011

Редактор  
*Ю. А. Балашов*

Художественное оформление:  
*Г. Л. Эйдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка:  
*А. Р. Ермолаева, Р. М. Шарафутдинов, С. А. Саакян*

Корректор *Л. З. Саямова*

Собрание сочинений оформлено картинками из личной коллекции  
Рауля Мир-Хайдарова.  
На обложках использованы картины  
Айдара Шириязданова.  
В оформлении книг использованы картины  
Сергея Широкова.

С оригинал-макета подписано в печать 05.12.2011. Формат 70x100<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.  
П. л. 31,5. Усл. печ. л. 40,95. Тираж 2000. Заказ????.

Издательство «Kazan-Казань». 420066, Казань, ул. Чистопольская, 5  
Филиал ОАО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс  
«Идел-Пресс»  
420066, Казань, ул. Декабристов, 2